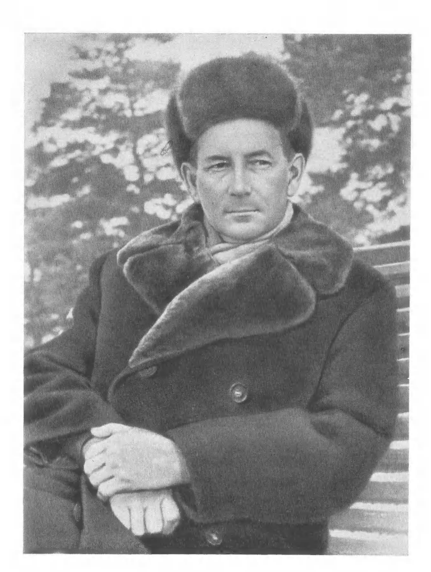
ВСЕВОЛОД КОЧЕТОВ





ИХЛ

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ЛИТЕРАТУРА»

# ВСЕВОЛОД КОЧЕТОВ

## СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
## В ШЕСТИ ТОМАХ





МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1973

# ВСЕВОЛОД КОЧЕТОВ

## СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
## ТОМ ПЕРВЫЙ

ТОВАРИЩ АГРОНОМ

●

ЖУРБИНЫ

РОМАНЫ




МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1973

Р 2
К 75

Вступительная статья
П. СТРОКОВА

Оформление художника
А. ЛЕПЯТСКОГО

К $\frac{0732-170}{028(01)-73}$ Подп. изд.

# ТВОРЧЕСТВО ВСЕВОЛОДА КОЧЕТОВА

Среди писателей, начавших творческий путь в огне Отечественной войны и не утративших с годами ни зоркости солдат переднего края, ни боевого наступательного духа, Всеволод Кочетов занимает свое, особое место. Идейно целеустремленные книги писателя-коммуниста, активно вторгающиеся в жизнь, давно привлекли к себе пристальное внимание читателей.

Четверть века едва ли не каждое новое его произведение становилось литературным и общественным событием, вокруг которого разгорались жаркие споры и дискуссии, происходило столкновение взглядов и художественных вкусов. И в этом нет ничего удивительного, если учитывать ту остроту, с какой ставил и решал он актуальнейшие проблемы современности. Романы В. Кочетова всесторонне охватывают нашу действительность, показывают ее в разных планах и «разрезах», освещают жизнь и труд рабочего класса, крестьянства, интеллигенции. Взятые в своей совокупности, они дают многогранную картину жизни советского общества в годы, отмеченные целым рядом глубоких социальных изменений и сдвигов.

«Ленинград — фронт.

1942—1943 гг.» — читаем в конце повести «На невских равнинах» указание автора на время и место работы над своим первым художественным произведением. Однако есть прямой смысл обзор

---

творчества В. Кочетова начать не с этой повести, а с художественно-публицистического повествования «Улицы и траншеи. Записи военных лет». История создания и публикации этого произведения заслуживает особого внимания.

Когда началась война, штатный сотрудник сельскохозяйственного отдела газеты «Ленинградская правда», в недавнем прошлом агроном, Кочетов Всеволод Анисимович, по состоянию здоровья безоговорочно списанный врачами в разряд «белобилетников», не смирился с этой безрадостной для него участью и очень скоро сумел найти свое место в боевом строю. Он стал корреспондентом вновь созданного военного отдела «Ленинградской правды», по существу превратившейся во фронтовую газету.

Уже сама специфика журналистского труда открывала перед В. Кочетовым широкие возможности для того, чтобы день за днем запечатлевать живые свидетельства беззаветной преданности советских людей Родине, примеры их доблести и отваги в борьбе с врагом. И корреспондент «Ленинградской правды», а потом фронтовой газеты «На страже Родины» не упускал этих возможностей. Он писал статьи, заметки, очерки, зарисовки о боевых делах пехотинцев и артиллеристов, моряков и летчиков, танкистов и разведчиков, снайперов и медсестер. Он бывал среди ленинградских ополченцев, насмерть стоявших на берегах Луги, и в рабочих отрядах, преградивших путь врагу на подступах к своим заводам, ему доводилось проходить легендарной «Дорогой жизни» в только что освобожденный Тихвин и той же дорогой возвращаться в голодный и холодный, но не сдающийся Ленинград, зажатый в железном кольце блокады. В основу «Записей военных лет» и положены его заметки из блокнотов, дневники и многие публикации того времени.

Конечно, этот материал автор нередко дополняет свидетельствами своей острой и емкой памяти. И здесь «Записи» сближаются с мемуарной литературой. И все же это не мемуары в их привычной, традиционной форме. Мемуары рассказывают о том, что *было* и происходило когда-то, «Записи» рассказывают о том, что *есть* и происходит сейчас, то есть давно прошедшее предстает как настоящее. И это не какой-то литературный прием. Это вторжение самого времени, когда производились записи. В. Кочетов неизменно сохраняет их первоначальный вид как заметок, сделанных в ходе или по горячим следам событий, что и придает «Записям» особую свежесть и непосредственность в освещении этих событий.

И еще одна существенная черта отличает «Записи военных лет» от мемуарной литературы. Мемуарист волен давать оценки людям, фактам, событиям давних лет с высоты тех взглядов и того понимания жизни, которых достиг, приступая к писанию своих

воспоминаний. С той же высоты он волен корректировать собственные мысли и чувства, поиски и заблуждения в минувшие времена. Автор «Записей» решительно отверг этот путь вторжения в повествование своего позднейшего «я». Он сознательно избегает соблазна как-то корректировать факты и события, мысли и чувства людей того времени. Никаких подправок и модернизации, никаких «предвосхищений» и «предвидений» задним числом, пусть люди и факты той эпохи сами говорят за себя! — таково правило, которого придерживался автор, подготавливая свои дневники и журналистские заметки к печати в 1964 году. При всей необходимой доработке и редактуре этих материалов, В. Кочетов последовательно выдерживает их изначальный дух и строй, что еще больше повышает ценность «Записей» как прямых документальных свидетельств очевидца и участника ожесточенных сражений за Ленинград. Все это вполне правомерно обернулось боевой актуальностью и современностью произведения.

На множестве живых, достоверных примеров в «Записях» показан массовый героизм советских воинов, их мужество и отвага в бою, неисчерпаемость их нравственных, духовных сил. В. Кочетов изображает войну как тяжелый, опасный повседневный труд во имя победы. В недрах этой героической повседневности ежедневно, ежечасно рождались подвиги невиданной красоты и силы. На берегу Луги более двух недель за каждым шагом противника, до которого — рукой подать, день и ночь из своего блиндажа следили никогда не смыкавшиеся «глаза батальона» — горстка бойцов-наблюдателей, корректировавших огонь нашей артиллерии. Взбешенные фашисты делали все, чтобы сокрушить ненавистный им блиндаж, а «глаза батальона» жили, сражались и исполняли свой долг в условиях, казалось бы, совершенно невозможных для человека. Вчерашние «обыкновенные» люди капитан Голышев и старший политрук Гуппалов, окруженные немцами, до конца обороняли свой дот, а в критическую минуту взорвали себя вместе с дотом. Воспитанник комсомола — молодой летчик Алексей Севастьянов, расстреляв в ночном бою над Ленинградом все патроны, ринулся на таран и сбил бомбардировщик матерого гитлеровского аса.

Корреспондент «Ленинградской правды» уже в первые недели и месяцы войны с гордостью замечал все более яростное сопротивление врагу, утверждение железной дисциплины и организованности в наших полках и дивизиях, растущее воинское мастерство бойцов, командиров и политработников Красной Армии.

Отмечая героику «Записей», надо сказать, что автор далек от какого-либо приукрашивания суровой действительности того времени. С тяжелым сердцем пишет он о переживаниях советских людей, привыкших верить, что враг будет бит и разгромлен на его

собственной территории, по лицом к лицу столкнувшихся с другой реальностью, смертельно опасной для первого в мире государства рабочих и крестьян. Пишет и о подразделениях наших войск, потерявших управление и беспорядочно отступавших под натиском превосходящих сил противника. Здесь же В. Кочетов дал ряд таких драматически насыщенных картин, по которым нетрудно представить себе масштабы неслыханных бедствий, обрушившихся на трудящихся Ленинграда. Но он же поведал и о том, с какой непреклонностью, стойкостью и верой в победу ленинградцы сражались у стен родного города, крепили его оборонную мощь и трудились для фронта.

По своим жанровым признакам «Записи военных лет» — произведение, стоящее на «стыках» дневниково-мемуарной, газетно-очерковой и художественно-повествовательной литературы, слитых воедино. В соответствии с этими жанровыми особенностями описание только что увиденного и пережитого автором сменяется, к примеру, корреспондентской записью беседы с отличившимися в боях воинами, информация о сложившейся ситуации на том или ином участке фронта — художественно выразительными зарисовками военного быта, очередного боя и т. д. При всей «многослойности» стилевых потоков язык произведения в основном лаконичен, ясен и прост.

На основе фронтовых впечатлений, дневников и корреспондентских записей в годы войны созданы и повести В. Кочетова «На невских равнинах» и «Предместье».

В первой из них рассказывается о боевых действиях, делах и людях одной из ленинградских дивизий народного ополчения. Сформированная в июле 1941 года, дивизия в том же июле, не успев пройти даже самой необходимой воинской подготовки, прямо из эшелонов была брошена во встречный бой и на своем участке фронта по реке Луге не только остановила противника, но и почти на месяц задержала его. Пройдя славный боевой путь, дивизия впоследствии влилась в состав регулярных войск Красной Армии. Вот этот героический путь преображения стойкой по духу, но неопытной ополченческой дивизии в боевое соединение, воины которой — вчерашние токари, монтеры, слесари, инженеры — превратились в закаленных солдат, овладевших «наукой побеждать», и нашел свое отражение в повести «На невских равнинах».

Этой науке люди учились и между боями, и в ходе самих сражений. Мастера мирных профессий становятся мастерами меткого огня, разведки, умелого руководства боем. В финале повести дивизия, сражающаяся на Пулковских высотах и приневских равнинах, удостаивается ордена Красного Знамени. На торжестве по поводу этого награждения командир дивизии Лукомцев говорит слова,

в которых звучит гордость не только за своих солдат и офицеров, но и за все народное ополчение. «Друзья,— сказал он,— помните, как иной раз иронически отзывались по нашему адресу: ополченцы! Да я и сам немножко грешил вначале: принимая дивизию, сомневался, сможем ли мы воевать по-настоящему. А теперь я горд, что нахожусь с людьми, взявшими оружие по призыву партии, я уважаю их как доблестных солдат».

Написанная в самый разгар войны, повесть и поныне сохраняет свое значение как одно из немногих художественных произведений, посвященных великому подвигу народного ополчения. Это произведение свидетельствовало и о том, что молодой писатель с первых же шагов встал на плодотворный путь изображения масс в динамике, в развитии.

Повесть «Предместье» (1943—1944) примечательна тем, что в ней проявляется такое качество В. Кочетова-художника, как своевременность и актуальность в постановке и решении важных вопросов общественного развития. Действительно, нельзя не оценить по достоинству партийную чуткость и зоркость писателя, который уже в 1943 году поднимает тему восстановления колхозной жизни, да еще в прифронтовой полосе. Он показывает огромные трудности, которые стояли перед людьми, занятыми этим делом. Его герои находятся в особых, исключительных условиях: ведут возрождение колхоза в предместье блокированного Ленинграда прямо под огнем, несут большие потери и жертвы, для начала не имеют даже самого необходимого — и тем не менее выходят победителями.

Начиная с этой повести в творчестве В. Кочетова зазвучала и тема труда. Свежо, непосредственно, с точным знанием всех особенностей сельской жизни здесь опоэтизирован и возведен в степень подлинного героизма повседневный, кропотливый труд по собиранию людей, сил и средств для возрождения колхоза, а потом и сам крестьянский труд. Душой всех дел и начинаний в повести выступает секретарь райкома партии Долинин, которым открывается галерея портретов партийных работников, созданных писателем.

Тема войны надолго войдет в книги В. Кочетова. Ее грозовое опаляющее дыхание чувствуется в каждом рассказе, в каждой повести военных и первых послевоенных лет (рассказы «Гром в апреле», «Дом на перекрестке», «Маки во ржи», «Бисерный кисет», повесть «Профессор Майбородов» и др.).

Работая над произведениями о людях, вернувшихся с поля боя и приступивших к мирному труду и творчеству, писатель не мог не заметить, что деловитая сдержанность и лаконизм его военных повестей уже не отвечают в полной мере новым художественным

задачам. Нужны были новые средства и приемы для изображения советского человека, героизм и духовная красота которого теперь не так зримы и очевидны, как на войне, но именно потому-то и требующие более образного и психологически убедительного воплощения. Начинаются нелегкие поиски в области языка, стиля и других средств изобразительности — порой с определенными издержками. В этом отношении интересна повесть «Нево-озеро» с ее, как впоследствии скажет сам автор, «излишествами» в языке.

Однако это был не формальный, а подлинно творческий эксперимент, который помог писателю освободиться от известной сухости и информационности стиля, обогатить его стихией сочного, многоцветного народного языка. Кроме того, выдвинутая в повести тема большой, дружной трудовой семьи — целого «ковчега», как и тема «династической» преемственности трудовой профессии, получат свое развитие в «Журбиных». Опыт работы над «Нево-озеро» сказался и на первом романе В. Кочетова «Товарищ агроном» (1947—1950).

Роман насыщен раздумьями о путях развития колхозной деревни, картинами нелегкого, самоотверженного, но одухотворенного труда большого сельского коллектива, рассказами о сложных, нередко драматических судьбах героев. Автор рисует реальную картину жизни села конца сороковых годов. В романе тяжелое наследие войны ощутимо на каждом шагу: не хватает людей, износилась, обветшала даже имеющаяся техника, заболочены или поросли бурьяном пахотные земли. И все же люди непоколебимо уверены в своем будущем. «Для того чтобы увидеть правильность избранного пути, всегда надо брать передовое — и по нему судить о нашем завтрашнем дне»,— говорит главный герой романа агроном Лаврентьев. Уже тогда, сидя в ежегодно затопляемом вешними водами северном селе Воскресенском, ломая голову над тем, как бы поскорей и поразумней осушить заболоченные земли колхоза, улучшить севообороты и повысить урожайность полей, Лаврентьев не просто мечтает о будущем: в самой жизни он видит ростки того нового, что со временем войдет в повседневный быт и культуру нашей деревни.

Лучшие люди села Воскресенского — агроном Петр Лаврентьев, секретарь парторганизации Дарья Кузовкина, председатель колхоза Антон Сурков, самородок-умелец Карп Гурьевич, звеньевая Клавдия Рыжова — близки и дороги нам как представители того героического поколения, которое вынесло на своих плечах все лишения и бедствия войны, а потом и все трудности восстановительного периода. Их заботы и тревоги — это, конечно же, прежде всего заботы и тревоги того времени, их радости — это радости людей, порой начинавших с самого малого. Как великому достиже-

нию, радуются они, зажигая первую «лампочку Ильича» от обыкновенного движка. На митинге в честь такого знаменательного события колхозник Анохин, напомнив ленинский завет: коммунизм есть Советская власть плюс электрификация всей страны, говорит, что их «плюсишко, понятно, невелик, мелковат, скажем прямо. Но ведь это начало, граждане дорогие! Ведь подумать только: в Воскресенском, в лесной, болотной дыре, зажегся плюс коммунизма, а?»

Первые успехи порождают веру в себя, а значит, и новые дерзания. И хотя роман заканчивается далеко не завершенными делами — на заболоченных землях только еще идут изыскательские работы гидротехников, а реальность нового поселка, строящегося вместо затопляемого Воскресенского, кое-где еще приходится доказывать и доказывать,— мы верим в свершение и этих и других начинаний коллектива, о котором секретарь райкома партии Карабанов с удовлетворением говорит: «Какие-то вы там, в Воскресенском, удивительно боевые стали и инициативные». Верим потому, что поддержка всего нового, передового — одна из закономерностей развития советского общества. Окрыленный тем, что сначала через колхозную партийную организацию, дальше через райком, а вот уже и через обком партия услышала его голос, увидела его усилия и готовность к решительному переустройству природных условий хотя бы на небольшом клочке родной земли, Лаврентьев с гордостью думает: «Так построена партия большевиков, так построено Советское государство: инициатива идет и сверху и снизу; вверху всегда подхватят, поддержат все ценное, дельное, идущее снизу, и тогда оно становится общим делом партии, общим делом государства».

Сравнительно небольшой по объему роман «Товарищ агроном» так наполнен, говоря словами Горького, историями роста и организации характеров, что начинаешь ощущать явное тяготение В. Кочетова к форме многопланового романа, в котором он и достигнет крупных успехов и заслуженного признания.

При всей разносторонности художественных интересов Всеволода Кочетова одно из центральных мест в его творчестве занимает рабочий класс как ведущая сила советского общества.

Жизнь, труд и нравы этого класса будущему писателю стали близки и дороги еще с тех пор, как в первый год первой пятилетки семнадцатилетним юношей, по путевке давно уже неведомой для нашей молодежи биржи труда, он начал работать на одном из судостроительных заводов Ленинграда. Обогащая свой давний опыт изучением жизни и борьбы рабочего класса в годы войны

и мирного труда, писатель накопил обширный материал, на котором построены не только «Журбины» (1952) и «Братья Ершовы» (1957), но и другие романы.

Роман «Журбины» открывается шутливым, но исполненным глубокого смысла «салютом наций» в честь пополнения рабочей династии новорожденным, а завершается плакатно-символическим образом пролетария с молотом, от мощных ударов которого гудят материки и рушатся цепи, сковывавшие земной шар. Движение повествования от этого зачина, написанного с мягким юмором, до высокой патетики финала выражает идею бессмертия трудового народа, идею ведущей роли рабочего класса как вождя трудящихся всего мира в их освободительной борьбе. Но это, так сказать, основополагающая мысль, одухотворяющая многие произведения советской литературы. Поэтому всякий раз необходимо выявлять своеобразие ее воплощения, которое в подлинно реалистическом произведении в конечном счете определяется своеобразием избранного художником исторического этапа жизни и борьбы рабочего класса.

Приступая к работе над своим романом, писатель понимал, что начинает он отнюдь не на голом месте, что «материк рабочей темы» осваивается давно и основательно, что на нем уже воздвигнуты «Мать» М. Горького, «Цемент» Ф. Гладкова, «Как закалялась сталь» Н. Островского, «Соть» Л. Леонова, «Время, вперед!» В. Катаева, «Танкер «Дербент» Ю. Крымова. Однако время идет, а с движением времени изменяется и сам «великий класс творцов», как называет В. Кочетов в одной из своих статей рабочий класс. За его плечами осталась эпоха индустриализации и коллективизации страны, он испытан всеми бурями и грозами Отечественной войны, ему пришлось подпимать из руин не только фабрики и заводы — целые города. Каков же он теперь, этот класс? Показать его на современном этапе, раскрыть его творческий и духовный облик — в этом и состояло, с одной стороны, продолжение лучших традиций предшественников, с другой — истинное новаторство, продиктованное самой жизнью. Успех «Журбиных», быстро завоевавших всенародное признание, как раз и объясняется этим органическим синтезом традиций и новаторства.

Романы В. Кочетова о рабочем классе сразу же обратили на себя внимание той свежестью, теплотой и сердечностью, с какими описывается «ковчег» Журбиных или уже формально разъединенная, но единая по своим нравственным устоям семья Ершовых. Кстати сказать, изображая героев в семейных и личных связях, автор не только добивается необходимой полноты в раскрытии личности, но и существенно дополняет ее «производственный» облик, поскольку и в домашней обстановке советские люди, прирож-

денные коллективисты, продолжают жить интересами своих заводов, цехов, бригад.

Философы и социологи не зря называют семью первичной ячейкой государства. В советской семье, как солнце в капле воды, отражается весь дух и строй нашего социалистического общества: его мировоззрение, его мораль, его нравственные, гуманистические устои. В. Кочетов умеет показать «частную» жизнь людей так, что за ней вырисовываются характерные черты классов и социальных слоев. Духовное здоровье, нравственная чистота, сплоченность, всегдашняя готовность к труду, а понадобится, и к бою во имя Отечества — это ведь не только фамильные черты Журбиных, это качества того авангардного класса, к которому они принадлежат.

И, однако, есть в «Журбиных», как и в «Братьях Ершовых», еще две тенденции, для воплощения которых понадобилось изображение именно потомственных рабочих семей. Прежде всего это стремление автора наиболее зримо, наглядно показать единство и преемственность революционных поколений.

Старый Журбин в царской России прошел тяжелую, полную невзгод и лишений жизнь солдата, рабочего, матроса. В Октябре участвовал в штурме Зимнего дворца, на разных фронтах, но в одном строю с сыновьями Ильей и Василием сражался за Советскую власть; отвоевав, по призыву партии вместе с сыновьями отправился на реку Ладу восстанавливать судостроительный завод. С этого и началась династия кораблестроителей Журбиных, достойно представляемая уже третьим поколением, которому пришлось защищать родину на фронтах Отечественной войны. Теперь все три поколения идут в одной шеренге, сплоченные единством коммунистических идей и творческим трудом.

В этой эстафете, выраженной через ряд поколений, раскрывается и другой замысел писателя.

Еще критический реализм начал показывать процесс деградации и распада буржуазных семей — не только нравственного, но даже и физического вырождения их от поколения к поколению. Одно из таких художественных свидетельств этого распада и разложения — судьба рода Ругон-Маккаров в серии романов Э. Золя. М. Горький в своем творчестве, особенно в «Деле Артамоновых», продолжил раскрытие этого явления на судьбах русской буржуазии, объясняя его, конечно, не биологическими законами, как это порой бывало у реалистов прошлого, а социальными — и прежде всего отрывом господствующих классов от живых родников народной жизни и созидательного труда. Вместе с тем Горький положил начало художественному исследованию процесса восхождения, укрепления и духовного роста рабочего класса и трудящихся масс

в ходе освободительной борьбы, а с завоеванием политической свободы — в творческом труде по строительству нового общества. Такое историческое ви́денье буржуазии, с одной стороны, и трудового народа, с другой, отражающее закономерности самой действительности, стало одной из важнейших традиций нашего искусства, получившей дальнейшую разработку в произведениях выдающихся художников социалистического реализма.

Осваивая опыт предшественников, В. Кочетов пришел к мысли, что потомственная рабочая семья, взятая, скажем, в трех поколениях, — а таких семей в нашей стране теперь множество, — может послужить благодарным материалом для художественного отражения того исторического процесса, который свидетельствует о движении рабочего класса по пути духовного прогресса, о его интеллектуальном росте и подлинном расцвете при социализме. Осуществление этого замысла уже само по себе раздвигало рамки семейно-бытового романа и превращало его в роман социально-политический.

В статье «Кому отдано сердце» В. Кочетов пишет, что «в наше время для художника открылись неслыханные возможности ви́дения нового в человеке, его красоты. Это новое, эта красота завоеваны в тяжкой борьбе...». «Журбины», «Братья Ершовы» и другие романы писателя и являются художественным утверждением и развитием этих идей.

Весь жизненный путь Матвея Журбина вызывает глубокое уважение. В беседе с парторгом ЦК Жуковым он сам говорит, что в книгах по истории партии о положении рабочего класса в царской России и его самоотверженной борьбе — это все про него «тут, куда ни посмотри». Но с какой горечью он же вспоминает, что полвека «серый был» и «просветлел в самую революцию», когда служил на «Авроре» и услышал Ленина. И все же Матвей так и остался вне партии, объясняя это тем, что ко времени, когда «просветлел», уже стар стал, да и неучен, не мог идти впереди других, — а какой же это коммунист, если он не впереди.

Его сын, Илья Матвеевич, пошел дальше: коммунист, начальник стапельного участка, это человек огромной энергии и инициативы, нравственной стойкости и красоты. Однако в условиях реконструкции судостроительного завода и перевода его на поточное производство и Илья Журбин страдает от наследия проклятого прошлого — малограмотности. Нелегко ему, ломая все свои представления о чести, гордости и авторитете старого кадрового мастера, идти на выучку к молодому инженеру Зине Ивановой.

Третье поколенье Журбиных тоже росло и мужало отнюдь не в тепличных условиях. Антон прошел войну и только после ранения закончил институт и стал одним из талантливых технологов-

судостроителей, по проекту которого происходит реконструкция его родного завода. Алексея сам отец привел на завод недоучившимся подростком — надо было заменять рабочих, ушедших на фронт. Но у новых поколений — все еще впереди. И тот же Алексей не только сравнительно легко переквалифицировался с одной профессии на другую, но и смог без отрыва от заводского труда получить среднее образование и успешно продолжать учебу в вузе. А для его младшей сестры Тони путь к знаниям уже вообще ничем не прегражден.

Энергия, сила и красота Журбиных раскрываются прежде всего в труде. Вместе с Зиной Ивановой мы восхищаемся тем, как мастерски владеет своим пневматическим молотком Алексей. Характер Виктора проявляется в том самозабвенном упоении, с каким он работает над изобретением своего универсального столярного станка. Уйди Илья Матвеевич с родного стапельного участка — и он во многом утратил бы свою богатырскую мощь и обаяние. Даже одряхлевший глава рода дед Матвей словно бы молодеет, когда чуткие руководители завода подобрали ему дело, в котором он может проявить свой богатый житейский и производственный опыт.

Заводские процессы показаны в романе без ненужной детализации, образно и живописно. Они не оттесняют и не загораживают человека, как это порой бывало в «производственных» повестях и романах. Техника судостроительного производства в его прежнем состоянии и характер реконструкции завода в «Журбиных» изображены так, что читатель постепенно и заинтересованно входит в суть дела. А дело это первостепенной важности для судеб почти всех героев романа: одни проявляют себя как талантливые организаторы технического перевооружения завода, другим приходится переучиваться, кому-то, неспособному перестроиться, надо уходить с привычного места и т. д.

Таким образом, В. Кочетов не ограничивается изображением какого-то трудового эпизода или ряда эпизодов. Он берет производственный процесс в целом, причем тоже в развитии, так что этот процесс становится одной из движущих «пружин», определяющей развитие сюжета и характеров. Поэтому общее сюжетное движение в романе «Журбины» следует рассматривать и в *историческом* плане — как историю роста русского рабочего класса и преемственности его революционных традиций, и в *производственном* — как историю самоутверждения и духовного расцвета этого класса в свободном творческом труде в эпоху строительства социализма, и в *семейно-бытовом* — как историю типичной рабочей семьи, поднявшейся из тьмы и нищеты к счастливой жизни, к свету и знаниям.

В романе воедино сливаются личные и общественные интересы героев, их труд на себя и на общество, их устремления семейные и общегосударственные. Только принимая во внимание все эти планы и аспекты романа, и можно по-настоящему понять обобщающий характер раздумий директора судостроительного завода: «Великая сила — Журбины», — говорил иной раз он самому себе, но, поминая Журбиных, думал о чем-то таком, что невозможно ограничить рамками одной семьи, о чем-то огромном, гигантском, что владеет судьбами мира, судьбами всего человечества».

Уже в «Журбиных», где в центре внимания рабочий класс, заметное место занимает техническая интеллигенция. В романе «Молодость с нами» (1955) научно-техническая интеллигенция выдвигается на первый план.

Сложный, порой крайне противоречивый путь интеллигенции в годы революции и первых пятилеток нашел свое художественное отражение во многих произведениях нашей довоенной литературы. С течением времени коренные изменения в психике старых специалистов, осознавших истинно народный характер Советской власти, выход на общественную арену отрядов интеллигенции, воспитанных уже при социализме, по существу сняли некогда острый вопрос о путях интеллигенции в социалистической революции. Возникли другие вопросы и проблемы. Научно-техническая революция, огромная роль науки в строительстве материально-технической базы коммунизма, обострение идеологической борьбы на мировой арене по-новому поставили многие проблемы, связанные с жизнью и творчеством интеллигенции.

Дать решительный бой тем, кто подвизается в высоких научных сферах, не имея на то никакого морального права, сблизить науку с практикой, с нуждами и задачами производства — вот цель, которую ставят перед собой передовые люди в романе «Молодость с нами».

Уместно отметить, что во главе этих сил выступает человек, сам вышедший из недр рабочего класса, — черта биографии, характерная для того поколения научной и технической интеллигенции, которое шло на смену «спецам» в годы первых пятилеток. Рабочий-слесарь, за плечами которого новостройки Магнитогорска и Харькова, Челябинска и Кузнецка, начальник участка, начальник цеха, главный металлург крупного завода— таков инженерный путь вновь назначенного директора отраслевого Института металлов Павла Петровича Колосова.

О предшественнике Колосова сотрудники института говорят, что с ним было спокойно жить, но работать невозможно: заигры-

вал с людьми, старался быть хорошим для всех, «призывал к какой-то беспринципной консолидации». Однако и нового директора встречают настороженно: «Инженер с производства, способен ли он...» Правда, с некоторым облегчением те, кто в этом по-настоящему заинтересован, узнают, что Колосов не только инженер, но и кандидат наук, еще до войны защитивший диссертацию, прочно вошедшую в научный обиход.

Как и во всяком советском коллективе, в институте, безусловно, были люди, на которых сразу же смог опереться новый прогрессивно мыслящий руководитель. Это старый ученый-большевик Малютин, доктора наук Бакланов и Румянцев, такие представители молодежи, как Ратников. Но вместе с тем в институте есть и люди вроде Красносельцева, который, как говорится, с порога объявляет свое «кредо»: «Подчинить науку исключительно интересам производства — значит, ее уничтожить. Наука тем и велика, что может существовать сама по себе». И, конечно, не столь уж опасен сам Красносельцев, «капитальное исследование» которого так и названо в центральной печати: «толстая, но пустая книга», сколь всякие ничтожества типа Мукосеева, паразитирующего на труде научного коллектива. Составляя в нем абсолютное меньшинство, такие люди шумихой о своих мнимых заслугах и талантах создают видимость некоего «большинства».

При полной поддержке передовых людей института Колосов начинает пересмотр плана научно-исследовательских работ института в сторону сближения его с запросами и нуждами производства. Шаг за шагом автор раскрывает становление Колосова как настоящего руководителя и организатора научной работы, рост исследовательской и общественной активности сотрудников института, утверждение в нем подлинно творческой обстановки. Это движение научного коллектива от застоя и рутины, царивших в институте, к широким, перспективным планам и свершениям, оплодотворяющим практику, и составляет сюжетную основу романа.

В этих условиях не могли не выявиться творческое бессилие и псевдоученость Красносельцева, Самаркиной, Мукосеева. И, борясь за свое место под солнцем науки, которое им явно противопоказано, они переходят в наступление. Как это ни удивительно, в одном ряду с ними оказалась и действительно имевшая заслуги перед наукой блистательная Серафима Антоновна Шувалова. Впрочем, что ж тут удивительного, если Шувалова творчески тоже давно уже бесплодна и способна присвоить новаторский труд целого коллектива инженеров-практиков. Дело с перестройкой работы института осложнилось также и тем, что не на высоте оказался секретарь партбюро Мелентьев. Словом, на определенном этапе эти люди раскинули вокруг Колосова такую хитроумную сеть интриг,

что ему не поздоровилось бы, если бы не вмешались партийная организация и научный коллектив в целом.

Победа передовых, прогрессивных сил в романе — это не просто «благополучная» концовка, а отражение закономерности жизни советского общества. Однако напряженность конфликта в романе говорит о том, что разбитое в Институте металлов «воинствующее меньшинство» — вполне реальная сила, которой не следует пренебрегать. В финале автор счел необходимым указать, что эта сила не рассыпалась в прах. Красносельцев уехал с Лады «не то в Ленинград, не то в Москву», Самаркина собралась преподавать в индустриальном институте, Шувалова так и осталась «пребывать во всем блеске своей славы крупной ученой». А это значит, что борьба с карьеризмом, своекорыстием, приспособленчеством в науке, как и в других сферах жизни, далеко не окончена.

Сильнейший удар по «воинствующему меньшинству» с его эгоистическими, антиобщественными устремлениями наносят герои следующего романа В. Кочетова «Братья Ершовы».

В этом романе рабочий класс выступает в тесном единстве не только с инженерно-технической, как это уже было в «Журбиных», но и с творческой интеллигенцией, что отражает реальные процессы, происходящие в самой жизни. В обществе, где все явственней стираются грани между умственным и физическим трудом, где рабочий по своей культуре поднимается до уровня интеллигента, такое единство приобретает вполне зримый, повседневный характер. Рабочий и инженер связаны у нас не только производственным трудом, но и общими идеалами и устремлениями. Художник, озабоченный правдивым отражением действительности, не может не вступать в постоянное общение с рабочим и инженером, а для них, в свою очередь, всегда открыты двери театров, концертных залов и художественных выставок. Поэтому и в романе В. Кочетова нет так называемых переходов из одной «среды» в другую, а показано постоянное сотрудничество и живая связь рабочих-металлургов Ершовых, инженера Искры Козаковой, артиста Александра Гуляева, художника Виталия Козакова, партийного работника Горбачева и других.

В статье «Черты советского рабочего» В. Кочетов подчеркивает, что «рабочий-интеллигент становится типичным рабочим в нашем обществе». Это знамение времени во многом раскрыто уже в «Журбиных». Но если там писатель сосредоточил внимание главным образом на росте *технической* культуры рабочего человека, то в «Братьях Ершовых» он идет дальше, раскрывая общий рост *духовной* культуры рабочего, его всестороннее, гармоническое развитие. Наиболее обстоятельно в этом направлении разработан образ Дмитрия Ершова.

Дмитрий изображен как рабочий, достигший уровня инженера. Упрекая его, старшего оператора блюминга, за неосторожные слова, сказанные в адрес интеллигенции, Оля Величкина говорит: «Если хочешь знать, ты ведь тоже интеллигенция». И добавляет: «Ты вот так считаешь: ты рабочий, и все тут. А какой рабочий? Вдумайся. На такой машине работать, которая сама чуть не целый завод, это же инженерская работа, Дима». А дальше открываются новые черты нравственного и интеллектуального облика Дмитрия, проявляющиеся в его поступках или увиденные глазами других героев. Познакомившись с ним поближе, Искра Козакова отмечает его ум, начитанность, увлечение героическим, романтичным, любовь к поэзии и музыке. Она же сказала: «он человек сложный», понимая под этим сложность разностороннего, духовно богатого человека. Капа Горбачева, вступившая в семью Ершовых и сначала побаивавшаяся немногословного, с виду сурового Дмитрия Тимофеевича, вскоре проникается большим уважением и к легендарному прошлому этого человека, расстрелянного немцами, но воскресшего из мертвых, и к его настоящему, наполненному творческим трудом, устремленностью к знаниям, заботой о людях. Капу удивляет, с каким упорством и настойчивостью он самостоятельно изучает английский язык. «А читал сколько Дмитрий Тимофеевич!.. Пусть бы посмотрел кто, какие книги носит он из заводской и городской библиотек». Она восхищается его чуткостью, деликатностью, тактом. О высоте нравственного облика Дмитрия можно судить хотя бы по его внешне сдержанной, но глубоко человечной заботе об Оле Величкиной или по той бескомпромиссности, с какой осуждает он брата Степана, в годы войны запятнавшего честь семьи Ершовых.

Словом, не случайно талантливый художник Виталий Козаков, задумав писать портрет современного рабочего, воплощающего лучшие качества своего класса, пишет его именно с Дмитрия Ершова.

Как уже отмечалось, в этом романе впервые у В. Кочетова столь широко представлена художественная интеллигенция и отражены ее связи с народом. Совсем уж было увядшее творчество Виталия Козакова обретает новую силу, когда он обращается к жизни человека труда. Молодой драматург Алексахин, сбитый с толку «знатоками»-эстетами и зашедший в творческий тупик, вышел из него только благодаря тому, что приник к родникам народной жизни. Маститый актер Гуляев, призванный играть «гигантов духа», а вынужденный довольствоваться ролями «пигмеев» и «хлюпиков» и потому переживающий духовный кризис, снова расправляет крылья в пьесе Алексахина, посвященной патриотическому подвигу родоначальника семьи Ершовых.

В романе, где в центре внимания проблема формирования духовного облика современного рабочего, вполне естественна атмосфера идейной борьбы за передовое социалистическое искусство, помогающее партии в воспитании нового человека. Позицию истинно народных художников в этом вопросе хорошо выразил один из героев, который отрекомендован в романе как «автор многих книг из народной жизни». «Вопросы души запускать нельзя,— говорит он.— Их всегда оттачивать надо. Главный оселок для этих вопросов — искусство и литература. Ни через что так до души человеческой не доберешься, как через книгу, через спектакль, через полотно живописи. С помощью этих могучих рычагов душу можно поворачивать и к добру и к злу. Наша с вами задача заключается в том, чтобы поворачивать ее к добру и противостоять поворотам к злу».

С этой позицией, конечно же, не согласны ни режиссер театра Томашук, ни инженер Орлеанцев, который плетет сеть интриг не только на производстве, но и в кругах местной творческой интеллигенции. Томашуку его режиссерский «рычаг» нужен только как средство для достижения личного успеха, славы, материальных благ. Поэтому он легко поддается всяким модным веяньям в искусстве. Без каких-либо душевных мук и сомнений он может сегодня отречься от того, чем клялся вчера. Так, в сложившейся благоприятной — что ему явно показалось — обстановке Томашуку ничего не стоило выступить в печати со статьей, призывающей «не делать панацею из метода социалистического реализма», а «всем вместе» творить на основе некоего конгломерата, который «вберет в себя все методы, все течения и направления».

Наиболее зрело мыслящие герои романа не преувеличивают, но и не преуменьшают опасности томашуков, составляющих ничтожное меньшинство в большой семье советской творческой интеллигенции. «Не в том дело, что томашуки способны нас вспять повернуть,— говорит Чибисов.— На это уже никто не способен, нет таких сил в мире. А в том дело, что медленнее едем, приходится все время палки из колес вытаскивать, которые томашуки вставляют».

С иронией и сарказмом в романе говорится о тех, кто, подобно художнице-«вещунье», склонен полагать, что он сам себе «и партийное руководство и совесть народа». Относительно искренне заблуждающихся сторонников «абсолютной свободы» творчества поучительны раздумья секретаря горкома партии Горбачева: «Неужели же они думают, что искусство, «освобожденное» от руководства партии, способно существовать «само собою»? Что на него не начнет охоту буржуазная идеология? Буржуазная идеология

еще сохранила цепкость и хитрость... Странно, что чудаки, рассуждающие о «свободе искусства», этого не понимают...»

Глашатаи безыдейного искусства встречают в романе решительный отпор не только со стороны самих художников, прочно стоящих на позициях партийности, но и со стороны активно вторгающихся в их «профессиональные» споры рабочих, инженеров, студентов. Немало метких, совершенно справедливых суждений, оценок и замечаний по современной литературе и искусству мы слышим от Дмитрия Ершова, Искры Козаковой, Капы Горбачовой и других. Они единодушны в своем требовании партийного, подлинно народного искусства.

Все эти споры и дискуссии, в конечном счете отражающие борьбу за нового человека, за формирование всесторонне развитой личности, придают «Братьям Ершовым» черты идеологического романа. Такая форма романа не только не исключает, а, напротив, часто делает даже необходимым вторжение элементов публицистики в ткань художественного произведения.

В своих ранних произведениях В. Кочетов сравнительно редко обращался к приемам публицистики. Они взяты на вооружение в зрелый период творчества, когда окрепло мастерство писателя в построении сюжета, композиции, в типизации характеров и обстоятельств, когда богаче и разнообразнее стали средства психологического анализа, выразительней язык и стиль повествования. Только при наличии такого мастерства и открылись по-настоящему возможности для введения элементов публицистики без опасения нарушить художественную гармонию произведения. Синтез оказался вполне органичным: публицистика В. Кочетова, как правило, интересна, содержательна, отличается боевым, наступательным духом. Во всяком случае, она не оставляет места равнодушию.

Обостренное чувство нового, активная поддержка передового, прогрессивного в жизни советского общества и столь же активное неприятие того, что мешает нашему продвижению вперед, потребовали от писателя поисков новых средств изобразительности, обогащения своей «творческой лаборатории» арсеналом средств и утверждения и отрицания. Так, добрый юмор, лиризм и патетика, свойственные и прежним произведениям В. Кочетова при создании дорогих ему образов людей, теперь дополняются приемами сатиры, обличающей эгоизм, своекорыстие и духовное убожество тех, кто встает на пути поступательного движения нашего народа. Уже в романе «Молодость с нами» эти приемы взяты на вооружение при обрисовке героев, оказавшихся в плену эгоизма, рутины и косности. Еще очевидней сатирическое заострение при изображении подобных людей в «Братьях Ершовых». Явно сатиричен образ

злобного, всё и всех ненавидящего горе-изобретателя Крутилича. Средствами психологического гротеска выявляются сокровенные мысли, чувства и настроения Орлеанцева, который своей барственностью, внешним «аристократизмом» и внутренней опустошенностью напоминает «самою» Серафиму Антоновну Шувалову. Такое глубинное раскрытие психологии этих героев делает их жизненно достоверными, по-своему полнокровными и художественно убедительными.

Всей своей предшествующей творческой деятельностью, охватывающей разные стороны нашей действительности, отражающей жизнь рабочего класса, крестьянства, интеллигенции, В. Кочетов подготовил себе почву для создания такого обобщающего произведения, в котором советский народ как новая историческая общность людей выступал бы в своем единстве и монолитности. Таким в его творчестве стал роман «Секретарь обкома» (1961), который явился своеобразным подведением итогов по всем существенным проблемам, поднятым писателем в прежних произведениях, а вместе с тем и развитием этих проблем в новых условиях.

И надо сказать, что для осуществления своих широких замыслов писатель удачно избрал центрального героя романа. Уже само положение Василия Антоновича Денисова как первого секретаря Старгородского обкома партии обязывает его интересоваться всеми гранями нашей действительности, вникать в дела и помыслы, в запросы и нужды рабочих, крестьян, интеллигенции области, живущих интересами всей страны. Положение этого героя дает автору возможность глянуть на нашу кипучую, многообразную жизнь с известной высоты, но в то же время человечность, демократизм и принципиальность Денисова как партийного руководителя нового типа исключают какое-либо верхоглядство и отрыв от масс; напротив, он постоянно с народом, среди людей разных профессий, устремлений и склонностей.

Картины жизни, труда и быта рабочего класса в этом романе показывают дальнейший интеллектуальный рост рабочего человека в эпоху научно-технической революции, стирание существенных различий между умственным и физическим трудом. Этот процесс автор раскрывает уже не на отдельных личностях, а на примере целого молодежного коллектива одного из цехов химкомбината, борющегося за звание цеха коммунистического труда.

Любовно описывая рабочую молодежь, В. Кочетов снова возвращается к вопросу о преемственности революционных поколений, подчеркивая единство, сплоченность «отцов и детей», политическую и гражданскую зрелость нашей молодежи, ее верность ком-

мунистическим идеалам и надежность в борьбе за утверждение этих идеалов.

В романе широко поставлены вопросы хозяйственного и культурного строительства советской деревни. Если герои ранних повестей В. Кочетова только еще мечтают о том, чтобы приблизить жизнь и быт колхозной деревни к жизни социалистического города, то молодежь села Заборовье в беседе с секретарем обкома прямо говорит об этом как о назревшей и вполне осуществимой задаче. А вскоре руководители этого колхоза приезжают в обком с деловыми соображениями по переустройству села и в своих начинаниях встречают полную поддержку. За разработку проекта строительства нового, вполне современного поселка берутся опытные специалисты.

Правда, неверно понятые задачи культурного строительства в деревне порой оборачиваются такими экспериментами, как открытие в селе Заозёрье своей, «колхозной Третьяковки». Но подобные «открытия» вскоре же уступают место реальным планам и свершениям, как это произошло и в Заозёрье.

Многое из сказанного в романе о значении моральных и материальных стимулов в укреплении колхозного строя, о новых чертах в психологии и нравственном облике советского крестьянина, о стирании существенных различий между городом и деревней и поныне остается актуальным.

В «Секретаре обкома» В. Кочетов подводит некоторые итоги своим раздумьям о месте художника в общенародном строю. Призвание истинного художника — в служении своим искусством массам, сила его — в неразрывной связи с действительностью, неиссякаемый источник вдохновения — в глубинах народной жизни. Именно на этом пути добиваются серьезных творческих успехов герои романа, представляющие творческую интеллигенцию,—писатель Баксанов, художник Тур-Хлебченко, архитектор Забелин. Постоянное общение с народом, участие в его созидательном труде оберегает их от застоя, безыдейности, ремесленничества и других бед, свойственных, к примеру, поэту Птушкову. Отвечая на эстетские упреки одного из снобов, Баксанов с гордостью за свою нелегкую, но яркую и содержательную жизнь художника-солдата, идущего впереди, говорит: «Извините. Вы устроились у литературного камина, заложив ногу за ногу и подставив огню подошвы домашних туфель. А я в походе». Эти идеи нашли свое развитие и в романе «Чего же ты хочешь?» (1969).

Начиная с повести «Предместье», В. Кочетов последовательно разрабатывает образы партийных руководителей. В «Секретаре обкома» искания писателя в этом направлении привели к созданию двух крупных характеров, противостоящих друг другу по стилю

руководства массами. Написанный до октябрьского (1964 г.) Пленума Центрального Комитета партии, роман отразил некоторые отрицательные черты, связанные с субъективистскими, «волевыми» методами руководства. Живым, образным воплощением этих методов является первый секретарь Высокогорского обкома партии Артамонов.

Нет сомнения, что в определенных исторических условиях Артамонов был дельным и нужным работником. В нем и поныне сохранилось немало привлекательных качеств: незаурядная сила воли, огромная энергия, умение самоотверженно работать. Но несомненно также, что в условиях широкой демократизации нашей общественной жизни даже многие из достоинств Артамонова стали оборачиваться недостатками. Кого, скажем, может теперь вдохновить его «безоглядное» рвение в работе. «Я считаю,—говорил он,— если взялся за какое-нибудь дело, то работай на всю железку, во всю свою силу, рви вперед без оглядки. Или грудь в крестах, или голова в кустах». Этот отнюдь не социалистический стимул тем более несостоятелен, что, привыкнув с годами к высокому положению в обществе и борясь за него до конца, Артамонов явно предпочитает «кресты» для своей груди, а «кусты» для голов других. Непомерное самомнение, жажда славы, стремление удержаться у власти во что бы то ни стало толкнули его на очковтирательство, на обман партии и государства, что не могло не закончиться падением «всемогущего» Артамонова.

Безнадежно устарел весь стиль работы Артамонова, основанный на бездушном администрировании, нажиме, подавлении инициативы, идущей снизу. Главный порок Артамонова как руководителя — пренебрежение к партийно-политической и воспитательной работе. У него, кроме приведенной выше, есть еще одна «заповедь», которая гласит: «Дал мясо, дал хлеб, дал молоко — вот тебе и партийная работа». Однако не было настоящей партийной работы с людьми, — вскоре же в области, руководимой им, пришли в упадок и земледелие и животноводство. И выправлять положение придется уже не Артамонову, а новому секретарю Высокогорского обкома партии Денисову.

Стиль работы Денисова как партийного руководителя основан на глубоком понимании тех изменений, которые внесены в нашу общественную жизнь решениями XX съезда партии. О нем писатель Баксанов верно сказал: «Он руководитель нового типа. Без вождизма, без позы...» И действительно, Денисову чужда какая бы то ни было поза, он прост и человечен в обращении с людьми. Оставаясь твердым и принципиальным в решении вопросов, которые выдвигает перед ним жизнь, он не претендует на непогрешимость и постоянно прислушивается к мнению товарищей по партии,

к голосу масс. В. Кочетов показывает своего героя на заводах и в колхозах, среди рабочих и крестьян, в общении с молодежью и творческой интеллигенцией, в разъездах по области и в семейном кругу. И везде перед нами это большой человек, умный, сердечный, по-своему обаятельный, заслуживающий уважения и доверия.

Конечно, Денисову тоже присущи человеческие слабости и недостатки. Сколько, например, он наслушался справедливых нареканий за то, что долгое время прикрывал своим авторитетом друга — давно вышедшего «в тираж» директора химкомбината Суходолова, спасшего ему жизнь на фронте. Придирчивый критик найдет немало упущений и в деятельности Денисова как секретаря обкома партии: то-то, мол, не обсудил, там-то не выступил, здесь не провел такого-то мероприятия. Но В. Кочетов и не собирался писать лик идеального партийного работника, так же как не пытался охватить всю бесконечно разнообразную деятельность секретаря обкома партии.

Писатель стремился передать самые существенные черты партийного руководителя нового типа и с этой задачей, думается, справился успешно. Во всяком случае, когда Денисов с трибуны областной партийной конференции бросает боевой клич: «Коммунисты, вперед!» — мы знаем, что он имеет на это моральное право, завоеванное его нелегкой жизнью и верным служением делу ленинской партии, делу народа. Мы поверили в его реальное человеческое бытие, в его качества партийного организатора, воспитателя и вожака масс.

Романы В. Кочетова, посвященные современности, раскрывают ведущие тенденции в жизни советского общества. В «Секретаре обкома» горизонты раздвинулись до постановки и решения такой сложной и ответственной темы, как тема партийного руководства массами. Если иметь в виду не только Денисова и Артамонова, но и занимающих значительное место в повествовании Лаврентьева и Владычина, то можно без преувеличения сказать, что в нашей послевоенной литературе это, пожалуй, одно из первых произведений, где так масштабно показаны крупные партийные работники в их повседневных трудах и заботах, с их успехами и просчетами, достоинствами и слабостями, с их гражданскими и человеческими связями и отношениями.

Однако сосредоточение на главной проблеме, чем и объясняется выдвижение Денисова на первый план, не мешает автору воссоздавать широкую картину нашей жизни в ее многогранности. Точнее, только благодаря этой картине и выявляется смысл и значимость самой проблемы стиля и методов партийной работы. В итоге перед нами большой многоплановый роман, герои которого представляют все слои нашего общества. Сложность

идейно-творческих задач, стоявших перед писателем, вызвала и сложную систему изобразительных средств. В работе над романом он использовал творческий опыт, накопленный за два десятилетия. Вместе с тем этот опыт обогатился более утонченной манерой реалистического письма, убедительней стал анализ духовного мира героев, разносторонней приемы художественного обобщения при типизации характеров и обстоятельств.

К пятидесятилетию Октябрьской революции В. Кочетов публикует роман «Угол падения». Обращение писателя, прочно связавшего свое творчество с современностью, к эпохе гражданской войны, в конечном счете тоже продиктовано требованиями нашего времени. Там, в эпохе Октября, видит он истоки наших прошлых, настоящих и грядущих побед. Всем ходом своего повествования автор показывает неизбежность краха сил реакции, направленных против социалистической революции, и закономерность победы нового общественного строя. При всех особенностях «Угла падения» как художественного произведения историко-революционного жанра, отчетливо зрима его связь с предшествующим творчеством писателя, последовательно утверждавшего идею непобедимости советского народа в любых испытаниях истории. «Угол падения» подлинно историчен и вместе с тем современен.

Роман отражает сложность и кровопролитность борьбы, развернувшейся в грозовом 1919 году под Петроградом. Майско-июньское, а затем октябрьское наступление полчищ Юденича, поддержанного Антантой, наличие глубокого контрреволюционного подполья в самом городе, предательство многих «военспецов», находившихся в рядах Красной Армии, наконец, капитулянтская позиция Троцкого и Зиновьева, казалось бы, с неотвратимостью вели к падению Красного Питера. Но волей большевиков, чекистов, рабочих и сознательных солдат революции, воодушевленных Лениным, город был превращен в несокрушимую крепость, о которую разбились мутные волны контрреволюции.

В романе В. И. Ленин ни разу не появляется в качестве действующего лица. Но к нему тянутся нити всех событий, происходящих на многочисленных фронтах зажатой в кольцо блокады молодой Советской республики. От Ленина идут все распоряжения и указания по ее обороне, поражавшие не только друзей, но и врагов своей четкостью, прозорливостью, стратегической и тактической необходимостью. С документальной достоверностью автор показывает, что непосредственное вмешательство Ленина и Центрального Комитета партии в дела обороны Петрограда не только много раз спасало положение, но и в конечном счете обеспечило

полную победу на этом фронте, имевшем важнейшее политическое и военно-стратегическое значение.

Однако истинный историзм художественного произведения состоит не только в бережном и точном использовании различных документов, органически входящих в ткань повествования, но прежде всего в глубинном проникновении в смысл и дух изображаемой эпохи, в политику классов, а также в достоверности характеров, представляющих эти классы и общественные силы.

В романе выступают как подлинно исторические личности, так и вымышленные по законам художественного творчества.

С большой психологической убедительностью нарисован Зиновьев, самомнение и вождистские устремления которого, сочетающиеся с обидчивостью и завистливостью, не раз ставили дело обороны города перед катастрофой. В этом ему способствовал Троцкий, который в дни октябрьского наступления Юденича разработал приказ, согласно коему предполагалось сдать Красный Питер, чтобы, «заманив» в него противника, превратить город в «большую западню для белых».

Исторически достоверны и убедительны образы матерых врагов революции, например, генерала от инфантерии Юденича, которого его же подчиненные за тупоумие прозвали «кирпичом». И этот-то «кирпич» мечтал не только о въезде в Петроград на белом коне, но и о короне русского самодержца! В дни похода «Северо-западной армии» под «белым крестом» быстро вспыхивает и еще быстрей закатывается звезда племянника бывшего председателя Государственной думы скороспелого генерала Родзянко. Воскрес на страницах романа авантюрист и проходимец «батька» Булак-Балахович, в финале похода хитро обобравший своего бывшего главкома на несколько миллионов фунтов стерлингов, финских и эстонских марок.

Здесь вот пришлось повторять слово «бывший». И действительно, это именно «бывшие» люди, дошедшие в борьбе против народа и революции до самой крайней степени политического и нравственного падения. Еще не растерявший до конца представления о чести и достоинстве белогвардейский офицер Горчилин в минуту откровенности говорит Ирине Благовидовой: «...Мы все за два послефевральских года до омерзения опустились в нашей морали. Мы готовы целоваться с жабой, лишь бы жаба тоже боролась против большевиков».

Таков крутой «угол падения» всех этих юденичей, красновых, люндеквистов, лианозовых, савинковых, незнамовых и им подобных. Не случайно наиболее честные представители свергнутых классов и буржуазной интеллигенции порывают со своей средой и переходят на сторону сражающегося народа. Так поступил

генерал Николаев — кстати, личность тоже историческая. К пониманию необходимости связать свою судьбу с судьбой народа приходят подполковник Ларионов и штабс-капитан Снегирев. Но как жестоко мстят им бывшие соратники по борьбе за «единую неделимую»! Генерал Николаев публично повешен под бой барабанов «в назидание». Изуверски покарало офицерское подполье Ларионова. Расправилась эта камарилья и с беспартийным инженером Ильей Благовидовым, честно сотрудничавшим с Советской властью, но отказавшимся служить белогвардейским насильникам.

Несмотря на то, что в романе показаны судьбы многих героев, путь которых символически выражен в заглавии, подлинным героем романа является революционный народ, взявший судьбы страны в надежные руки. Эта бурлящая, взрывчатая сила, вопреки всем невзгодам и бедствиям преисполненная энергии, веры в святость своего дела и воли к победе, — отнюдь не «фон» и не безликая «толпа». Здесь каждое, даже эпизодическое лицо наделено своим характером, своими индивидуально-неповторимыми чертами.

До конца последовательным, убежденным большевиком-ленинцем выступает Павел Благовидов, который, несмотря на молодость, уже завоевал заслуженный авторитет видного партийного и военного руководителя, мужественно вступающего в полемику по сложнейшим вопросам обороны города даже со «всемогущими», не терпящими возражений Троцким и Зиновьевым. Привлекает душевной открытостью, доверчивостью к друзьям и вообще к «простому люду», а к врагам непримиримостью молодой чекист из рабочих Костя Осокин — талантливый ученик и продолжатель дела неусыпного стража революции Яна Карловича. Высокой героикой овеян образ комиссара бригады Александра Ракова, в одиночку сражавшегося в кольце разъяренных врагов до последнего вздоха. Запоминаются образы рядовых красноармейцев Козлова и Озерова, спасших незнакомого им Костю Осокина от смертельной опасности чуть ли не ценой собственной жизни. А какая самоотверженность, какое бесстрашие потребовались от некогда забитой, неграмотной деревенской девушки Сани, оказавшей неоценимую услугу чекистам в разоблачении и ликвидации матерых главарей контрреволюционного подполья!

Сражающиеся насмерть коммунисты, комиссары, командиры, красноармейцы, сутками не выходящие из горячих цехов рабочие и работницы — вся эта многоликая народная масса изображена в романе как живая несокрушимая крепость, которую никаким приступом взять и покорить нельзя.

За четверть века, прошедших со времени создания первой повести «На невских равнинах», неизмеримо возросло художественное мастерство писателя в изображении народа как подлинного творца истории.

В советской литературе и искусстве прочно утвердился тип художника-гражданина, творчество которого неразрывно связано с современностью, с жизнью народа, с его горестями и радостями. Путь такого художника избрал для себя и Всеволод Кочетов. Он пришел в литературу из народных глубин. В молодости— рабочий, потом агроном, военный корреспондент, после войны — профессиональный писатель, редактор ряда известных литературно-художественных изданий, общественный деятель, он был постоянно среди людей, много ездил по стране, изучая жизнь рабочих, крестьян, интеллигенции. Личный жизненный опыт, обогащенный пристальным изучением нашей непрерывно изменяющейся действительности, дали ему обильный материал для художественных и публицистических произведений.

Убежденный в том, что публицистика предоставляет писателю возможность постоянно держать руку «на пульсе народной жизни», В. Кочетов в зрелый период своего творчества часто выступал в печати с очерками, корреспонденциями, статьями, поднимающими важные вопросы развития нашей общественной жизни и социалистической культуры. В своих публицистических произведениях, собранных в книге «Кому отдано сердце» (1970), он с воодушевлением пишет о ленинской партии — организаторе и вдохновителе всех наших побед, о нашем героическом рабочем классе, о советском народе как авангарде всего трудового человечества, прокладывающем новые пути в истории.

Публицистика В. Кочетова проникнута духом непримиримости к буржуазной идеологии, пафосом утверждения принципов партийности, народности и реализма. Писатель горячо поддерживает и развивает горьковскую мысль о том, что социалистический реализм изображает бытие как деяние, как творчество, что все величие человека можно показать только в созидательном труде, возведенном у нас в степень искусства. Выступая против различных модернистских концепций с их «теорией дегероизации», против попыток утвердить в качестве основного героя нашей литературы «маленького человека», В. Кочетов пишет, что «литература и искусство обязаны поднимать человека, давать ему крылья для большого полета, а не ставить его на подножный корм обывательщины, не расслаблять его душу. Они должны вести вперед, а не отводить в сторону, не тянуть назад». В своих статьях, посвященных

литературе и искусству, писатель утверждает современность как главный источник вдохновения для советского художника. В этом отношении слово Всеволода Кочетова вполне авторитетно. Оно подкреплено всей его художественной практикой, прочно связанной с жизнью и борьбой советского народа.

Часто выезжая за пределы нашей Родины, достойно представляя за границей советскую культуру, В. Кочетов создал цикл зарубежных очерков, которые привлекают глубиной выраженных в них чувств патриотизма и интернационализма, уважением к другим странам и народам, горячим сочувствием угнетенным нациям, борющимся за свободу и независимость. Своеобразные по вйдению жизни и художественному мастерству, эти очерки примечательны и той эрудицией, которую проявляет автор. Издавая их отдельной книгой, В. Кочетов предпослал ей эпиграф из Леонардо да Винчи: «Познание минувших времен и познание стран мира— украшение и пища человеческих умов». Эпиграф этот подтвержден содержанием книги. Писатель свободно входит в жизнь стран и народов, о которых ведет речь, сообщает массу интересных и полезных сведений об их историческом пути, о вкладе, внесенном ими в развитие мировой культуры. При всем уважении к героическому прошлому этих народов и преклонении перед их творческим гением В. Кочетов крайне далек от объективистского описательства с «общечеловеческих», абстрактно-гуманистических позиций. И здесь он остается принципиальным советским художником, оценивающим прошлое и настоящее страны, явления ее культуры и искусства с партийных позиций. Историзм в его зарубежных очерках сочетается с ясным пониманием перспектив развития всех народов мира по пути прогресса, демократии и социализма.

Вот уже более полустолетия советские писатели вдохновенно творят художественную летопись революционного преобразования нашей страны, начатого Великим Октябрем. В этой летописи, имеющей не только национальное, но и интернациональное значение, достойное место занимают страницы, созданные Всеволодом Кочетовым — художником целеустремленным, который всегда шел вровень с веком. Его лучшие произведения переведены на многие языки не только в нашей стране, но и за рубежом. И это еще один из множества примеров притягательной силы литературы социалистического реализма, утверждающей идею дружбы и братства народов, вселяющей твердую веру в грядущий день трудового человечества.

*П. Строков*

# Товарищ агроном

РОМАН

# ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

## ГЛАВА ПЕРВАЯ

### 1

На новом месте Лаврентьев спал плохо. Всю ночь он слышал давно, казалось, позабытый скрип обозных колес, отчетливый и резкий хруст минных разрывов; тревожно гудел фронт. А под утро, когда мгла беспокойной ночи стала медленно, будто нехотя, уступать место серому полусвету, вновь началась та последняя контратака... Батарея едва успела развернуться — прямо на мокром бетоне автострады,— и сразу же надо было открывать огонь: танки противника из окруженного Кенигсберга тараном шли на Пиллау. Сближались встречные пушечные удары; надрывая горло, Лаврентьев выкрикивал команды, но расчеты и сами знали, что и как им делать...

Туман над дорогой побагровел, как зарево, в нем уже дымно дрожало пламя от горящих машин, уже осталось возле орудий по два, по три бойца, кровью и копотью покрылся бетон вокруг батареи, а танки все шли и шли, и все трудней было стоять под их огнем в густых веерах осколков, в пороховых обжигающих вихрях. Уже сам он, командир, наводит и стреляет из орудия; кто-то — Лаврентьев так и не узнал в кровь разбитого черного лица — подает ему снаряды, торопливо хватая их с лотков, и отшвыривает ногой горячие гильзы, на которых, шипя, тает ленивый мартовский снег.

Память этого не сохранила,— только в сновидениях воскресала порой конечная минута тяжелого поединка: не

веер осколков — танковый снаряд с прямой наводки ударил в орудийный щит, смял его, изорвал; острые брызги металла сбили Лаврентьева с ног.

Он полетел куда-то, как часто бывает во сне, и раскрыл глаза. За стеной глухо били часы; по толевой кровле, свесившей с карниза черные лоскутья, ходил утренний ветер; за широкими окнами, разгоняя туман, взмахивали ветвями старые яблони, желтые листья летели вкось и прилипали к мокрым стеклам. На рябине, которая скрипуче терлась тонким стволом о водосточную трубу, сидела сорока. То одним, то другим глазом птица засматривала внутрь веранды, интересуясь, должно быть, часами, перочинным ножом и портсигаром на столе.

Последний бой приснился неспроста. Ныло сердце, болели грудь и левая рука, все те нервы и сухожилия, которые были порваны в тот страшный день и затем под полотняной крышей просторной палатки сшиты иглой военного хирурга. Прошли годы, но к изжеванной, измятой руке еще не вернулась в полной мере прежняя способность движения, она все еще была наполовину вещь, и при ходьбе ее, именно как вещь, надо было класть в карман, чтобы не мешала; ожили только пальцы,— в них достаточно прочно, чтобы чиркнуть другой рукой, держался коробок спичек, им можно было поручить папиросу; они, если положить руку на стол, могли отстукивать такт несложных мелодий...

Осторожно, боясь тревожить старые раны, Лаврентьев натянул брюки, заправил их в сапоги, надел пиджак, кепку, накинул на плечи не просохшее от вчерашнего ливня бобриковое пальто и по гнилым, замшелым ступеням высокого крыльца спустился в сад: сердце требовало воздуха.

Осклизаясь на преющих листьях, он сделал несколько шагов под черными от дождя ветвистыми яблонями и огляделся. Большое приземистое здание в кирпичных колоннах с облупленной штукатуркой, с пустыми глазницами сводчатых окон, с промятой полусферической кровлей, одиноко стояло среди сада. Левый флигель его был разрушен. Меж разбросанных каменных глыб и деревянных балок росла бузина; высокие груши и липы вокруг были мертвы — их убило пламя пожара, — толстая кора свисала волокнистыми пластами, ветры и дожди до блеска отполировали обнаженную древесину сухих стволов.

Правый флигель сохранился, к нему лепилась та светлая веранда, где на пыльной и жесткой кушетке Лаврентьев провел беспокойную ночь. К стеклам окон, соседних с верандой, жались изнутри широкие листья гераней и фикусов, густая их зелень была плотней любых занавесей и штор; взгляд не проникал сквозь нее в комнаты, где жила тихая старушка, безмолвно поднявшаяся в полночь с постели, чтобы устроить на ночлег его, Лаврентьева, прозябшего и измокшего в дороге. Она хотела, помнится, уступить ему свое деревянное ложе с перинами и лечь на сундуке, но он, полусонный, отказался и был отведен на веранду, куда, все так же безмолвно, старушка вынесла свежее белье, большую подушку и стеганое одеяло.

Напрасно она хлопотала: не помогли ни мягкие подушки, ни толстое одеяло, Лаврентьева знобило.

Подняв воротник, он продолжал путь по саду. Ветер хлестал по коленям мокрыми полами пальто; не дождь — тонкая водяная пыль летела из низких клочковатых туч и покрывала ворсинки бобрика мельчайшим светлым бисером. Под ногами среди палой листвы попадались никем не найденные яблоки, тронутые гнилью и бородавчатой плесенью. Лаврентьев поднимал их, вдыхал запах брожения, очищал от гнили перезревшую мякоть,— вкус, как и запах, был винный и приятный.

Через колючее сплетение шиповника он вышел к реке. Под невысоким, но крутым обрывом метались от ветра бурые метелки тростника; желтые сухие стебли, сталкиваясь, издавали тонкий металлический звон, брунжали, как струны, в струях быстрой, по-осеннему мутной, илистой воды. На противоположном берегу из темного ельника, густо облепившего пологий холм, высунула шатровую крышу маленькая звонница, рядом с которой зеленел плоский, как репка, куполок белой церковки.

Картина эта поразила Лаврентьева. Она напомнила ему детство и тот лесной скит, к которому он и его сверстники, блуждая по лесу в поисках ягод и грибов, подходили не без душевного трепета. Говорили, что в скиту, не подымаясь из гроба, устланного хвоей, полвека жил старец Феодосий, отчего и скит назывался Федосов. Все это было тогда таинственно и загадочно; на память приходили страшные сказки, которые ребятишки по очереди рассказывали друг другу вечерами где-нибудь на сеновале, в огородном шалаше или на бревнах возле мельницы за околицей.

Не каждый день взрослый человек вспоминает свое детство,— разве лишь в минуты горькой обиды, когда ему самому становится жаль себя, или при встрече с друзьями детства, или при возвращении в родные места после долгих лет разлуки. Не часто вспоминал детские годы и Лаврентьев. Последний раз это было, кажется, в санитарном вагоне, увозившем его в далекий тыл, когда, покачиваясь в подвесной койке, после немецких и польских ландшафтов он вновь увидел за окнами родные леса и рощи, луга и озера, смоленские, новгородские, вологодские деревеньки. Да и зачем вспоминать? И было ли для этого время? Окончил школу в селе, поехал в Ленинград, поступил в сельскохозяйственный институт, за месяц до войны получил диплом агронома. Но не успел купить чемодан, с которым по путевке Наркомзема собирался отправиться на Смоленщину,— началась война; чемодан не понадобился: агроном ушел на артиллерийские курсы с вещевым мешком за плечами. А там — бои и походы...

Так же вот, в нескольких словах, рассказал он вчера о себе и здешнему врачу Людмиле Кирилловне Орешиной, когда встретил ее, забежав от ливня в сенной придорожный сарай. Молодая женщина сидела там на сухом березовом бревне и растирала ладонями голые колени. Увидав его, она поспешно, до голенищ сапог, одернула узкую юбку, смущенно улыбнулась.

Лаврентьев раскинул пальто на свежем сене. Потом вынул папиросу из портсигара,— началась обычная возня с коробком и спичками. Людмила Кирилловна хотела помочь, но он вежливо отказался от помощи, прикурил сам. Она поинтересовалась, что у него с рукой. Нехотя, потому что не в первый раз, отвечал, как лечился в госпиталях и клиниках, на грязях под Одессой и на побережье Кавказа; тайком разглядывал при этом свою собеседницу и никак не мог определить, какого цвета у нее глаза — то ли голубые, то ли синие; каштановыми или черными надо назвать ее вьющиеся волосы? Все в Людмиле Кирилловне казалось ему каким-то неопределенным, и даже голос,— одни и те же слова она произносила то глухо и грубовато, то звонко и мягко. «Будете здесь работать,— говорила она с сочувственной улыбкой,— займемся вашей рукой. Ее нужно упражнять, массировать, делать теплые ванны...»

Затяжной осенний дождь приутих только к ночи. Вдвоем они топтали вязкую дорожную грязь, поддержи-

вали друг друга, перебираясь через наполненные водой рытвины. «Я бы вас пригласила к себе,— в раздумье сказала Людмила Кирилловна, когда из тьмы показались крыши строений,— да сама не знаю, что у меня дома. Три дня пробыла на врачебной конференции в городе. Может быть, все пришло в запустение, сыро, холодно. А главное — далеко: на другом конце села. Лучше я сведу вас к одной очень симпатичной женщине. Увидите, какой она интересный человек. Вот сюда... Это бывший барский дом».

Но Лаврентьев так вчера и не увидал, симпатичный ли, интересный ли человек дал ему ночной приют, — он устал и хотел спать, и сейчас, все еще под впечатлением тяжелого сна, смотрел и смотрел на церковку, похожую на Федосов скит, вспоминал детство, находился в непривычном для него состоянии созерцательности. Странный дом, странный ночлег, запущенный старый сад, церковка... Если бы не два трактора, размеренно бороздившие поле за рекой, можно было бы подумать, что и это сон. Но тракторы рокотали деловито, бодро, как бы напоминая Лаврентьеву о той цели, ради которой он приехал сюда.

## 2

Лаврентьев ощутил беспокойство, какое испытывает человек, которого долго и пристально разглядывают со стороны. Он обернулся. Позади, под пятистволой коряжистой яблоней, стоял улыбающийся старичок. Был старичок мал ростом, по-детски узок в плечах, длинный клин его белой бороды, начинаясь под глазами и возле ушей, волнами спадал по холщовому чистенькому пиджачку до самого пояса; короткие прямые ножки так плотно упирались в землю, точно он, подобно позднему грибу, поднялся на них из-под опавших листьев. Сходство с грибом дополнялось надвинутой до бровей желтой соломенной панамой, которую опоясывала черная широкая лента. Когда Лаврентьев обернулся, старичок приподнял эту до крайности неуместную под осенней изморосью панамку, приветливо сощурил выцветшие белесые глазки и сказал:

— Доброе утро, товарищ агроном! Хозяйка к столу звать велела.

Он повел Лаврентьева по мокрой дорожке, разрисованной извилистыми следами дождевых червей; маленький,

едва до плеча Лаврентьеву, шагал твердо, крепко, что совсем не вязалось с его древним видом, и молчал.

Через веранду, где постель с кушетки уже была убрана, они прошли в комнату. Ночью, усталый, при свете керосиновой лампы, Лаврентьев плохо разглядел жилище своих хозяев; тем более он был поражен теперь и чистотой и уютом.

Хозяйки не было. Дед пригласил его сесть в плюшевое кресло и через узкую дверь, завешенную портьерой, вышел в соседнюю комнату. Лаврентьев с интересом осматривался. Окна — он это уже заметил из сада — сплошь застилала цветочная листва, в комнате стоял зеленоватый полумрак. Неторопливо, тускло взблескивая, вышагивал под стеклом латунный маятник высоких часов в резном футляре, бой которых Лаврентьев слышал утром за стеной. В проволочной клетке, подвешенной к своду окна, цепляясь за прутья, тихо возился и попискивал чижик. В широкой квадратной банке на круглом столике, придвинутом к окну, меж длинноногих и тонких, как нити, водорослей, плавали золотые караси. Посредине комнаты, на большом, покрытом голубой клетчатой скатертью столе, вокруг которого симметрично располагались дубовые стулья с узкими спинками, были расставлены тарелки, окаймленные синим, вазочки цветного стекла, прикрытые никелированными крышками, разложены массивные ножи, вилки и ложки нескольких размеров. Все это, так же как и темный широкий буфет, и стеклянная горка с посудой и фарфоровыми фигурками, и пушистые дорожки на полу, уводило в какую-то незнакомую Лаврентьеву стародавнюю жизнь. И странно среди деревянных блюд с грушами и яблоками, развешанных по стенам, выглядел поясной фотографический портрет в черном багете: молодой красноармеец с веселым энергичным лицом, в конусном шлеме и с угловатыми петлицами времен гражданской войны, которые и увидишь теперь разве что на портретах да на старых фотографиях в музеях.

Занятый размышлениями о, должно быть, сложных путях, какими в этот тихий мирок могла попасть не очень соответствовавшая всей остальной обстановке фотография, Лаврентьев не заметил, как снова вошел старичок и, распахнув портьеру, пропустил женщину с подносом.

— Простите, что заставила ждать,— сказала она грудным низким голосом и поставила на стол поднос с кастрюльками и со сковородками, на которых что-то шипе-

ло.— Доброе утро, вернее — добрый день, ведь почти уже двенадцать.

Лаврентьев видел, что женщина эта упорно борется со старостью. Она была в длинном, коричневого тонкого сукна платье с тугим, расшитым сутажом лифом и пышными рукавами. Белый, такой же как и воротничок, кружевной ее передник едва превосходил в размерах носовой платок и имел, конечно, лишь чисто символическое значение — служил знаком того, что здесь, за столом, хозяйка — она. Седые волосы над бледным лицом были зачесаны высокой короной. Голову она держала прямо, и сама держалась прямо, легко и свободно.

— Не смущайтесь,— сказала с приветливой улыбкой.— Садитесь к столу. Вчера вы назвали меня бабушкой и не ошиблись. Вам сколько лет? Ну вот, нет тридцати! А мне пятьдесят семь. Когда плохое настроение, я горблюсь, хожу в шлепанцах. А когда настроение хорошее, я вновь молода, насколько, конечно, возможно при этой седине и морщинах. Сегодня у меня хорошее настроение. Я очень люблю осень, желтые листья, ненастье, дождь и ветер. А вы?..

— Дождь и ветер? — недоуменно переспросил Лаврентьев.

— Да, дождь и ветер, именно — ненастье. Это воспоминание. Ну, садитесь же. Остынет, будет невкусно, а я старалась приготовить повкусней. Антон Иванович прислал для вас все свежее и лучшее.

Она произнесла это имя и отчество так, будто ее гость давным-давно знал человека, о котором она говорит. Лаврентьев хотел спросить, кто такой Антон Иванович, но хозяйка, пододвигая ему сковородку с яичницей, масленку, муравленый горшочек с топленым молоком, продолжала говорить, и прервать ее никак было нельзя.

— Я уже о вас многое знаю, Петр Дементьевич,— говорила она.— Чуть свет ко мне забежала Людмила Кирилловна. Милая женщина, не правда ли? Сколько энергии, упорства! Да вы кушайте!.. Почти всю войну провела сестрой в медицинских батальонах, в госпиталях... Потом пошла в институт, восстановила в памяти забытые школьные знания, училась. Теперь участковый доктор, наш сельский врач. Послушайте только, как о ней отзываются пациенты! И удивительно — уверяет, что ей нисколько не скучно в нашей глуши, вдали от городского шума. Я-то здесь более четверти века, иного мне ничего и не

надо: прекрасные места, прекрасные люди. Но вам, молодежи...

Она говорила о колхозе, об урожаях, о детях, о том, как нужны деревне специалисты, и о том, как хорошо, что здесь будет работать теперь и он, Лаврентьев,— о чем и о ком угодно говорила, только не о себе. Лаврентьева это заставило насторожиться. Он испытывал двоякое чувство. С одной стороны, ему нравилась обстановка, в которой он так неожиданно очутился, нравилась и сама хозяйка, — нравилась своей приветливостью, поразительным умением не поддаваться старости, оптимистическими суждениями, желанием видеть в людях одно хорошее. С другой стороны, он никак не мог понять, кто же в конце концов она, кто этот молчаливый старичок, который осыпает хлебными крошками непомерную для его роста бородищу и, повторяя «медку, медку...», двигает к нему округлую берестяную посудину. Чем они тут занимаются?

Лаврентьева не удивляло, что в полосе минувших боев, в доме, наполовину снесенном бомбой, остались нетронутыми и клетки с чижами, и караси, и портьеры, и старинные часы, и плюшевая мебель. Вчера утром, перед тем как отправиться в свой пеший поход по осенним дорогам, он беседовал с главным агрономом района Серошевским, худосочным, вялым человеком в очках. «Вы увидите контрасты, товарищ Лаврентьев, — предупредил Серошевский многозначительно.— Найдете в своем сельсовете, рядом с сожженными дотла, вполне сохранившиеся села и колхозы. Дело в том, что фронт у нас проходил так...— Он положил на стол кисти рук, растопырил желтые пальцы и сдвинул их встречно, одни между другими.— Немецкие клинья вошли в нашу оборону, наша оборона вклинилась в позиции немцев. Село Воскресенское, где вы будете жить и работать, очутилось на таком вот, не занятом немцами, отростке...— Не размыкая рук, Серошевский шевельнул пальцем, который охватывало золотое кольцо.—Это село большое и трудное. Неосвоенные земли, кислые почвы и длительное невезение со специалистами. До последнего времени было много пришельцев с разоренных мест. Тоже сказалось...»

Хозяйку свою и ее древнего мужа или сожителя — такое место отвел Лаврентьев белому старичку в этой странной семье — нельзя было причислить к пришельцам. Хозяйка сама сказала, что живет здесь более четверти

века, и понятно, как сохранились ее портьеры и резные деревянные фрукты на стенах. Но чем объяснить, что вместе со шкафами и комодами за двадцать пять лет остались нетронутыми и обветшалые слова, проскальзывающие в ее разговоре, и сентиментальное любование осенним ненастьем?

Завтрак тем временем окончился. Лаврентьев поднялся со стула и поблагодарил, готовый как можно скорее отправиться в колхоз. Но хозяйке, видимо, не хотелось, чтобы он уходил.

— Прошу вас, Петр Дементьевич, осмотреть мое гнездо.

Невозможно было обидеть радушных хозяев. Лаврентьев пошел в соседнюю комнату, через которую его провели вчера на веранду и где вновь он увидел предложенную было ему монументальную кровать из орехового дерева. Со стен, прямо на него, из золоченых рам смотрели десятки женских глаз — и голубых, и карих, и непроницаемо черных, и зеленых.

— Мои далекие подруги,— повела рукой хозяйка.— Где они?..— И вздохнула.

Здесь же висели зачем-то две желтые от времени афиши. Одна — тамбовского городского театра, тысяча девятьсот четырнадцатого года, объявлявшая гастроли какой-то оперной труппы, которая играла не только «Прекрасную Елену» и «Веселую вдову», но еще и «Кармен», с участием некой В. Подснежиной, о чем оповещалось особо, большими буквами. На другой афише та же Подснежина была поименована попросту Варенькой, и выступала она в концерте со старинными романсами. Судя по изображенному на афише морскому пейзажу и пальмам, концерт происходил в каком-то южном городке, в театре с замысловатым названием «Цитро-Метрополь».

— Помилуйте! — всплеснула вдруг руками хозяйка.— Да ведь я вам еще не представилась. Называю вас по имени-отчеству, а сама остаюсь инкогнито. Ирина Аркадьевна Пронина.— Она подала старчески жесткую ладонь. — Надеюсь, мы будем добрыми соседями? Как жаль, что вы не застали моей дочери. Вам интересно было б с ней побеседовать: Катюша очень-очень душевный человек.

Пронина взяла с фортепьяно, заставленного фарфоровыми вазочками, фотографию в расшитой бисером рамке.

Лаврентьев увидел лицо девушки с пухлыми губками, с удивленными, широко раскрытыми глазами, должно быть, наивненькой и капризной. Что-то знакомое было в этом лице, где-то Лаврентьев видел его. Может быть, девушка походила на белого деда? Может быть, на свою мать, Ирину Аркадьевну? Нет, скорей на исполнительницу старинных романсов, на Вареньку Подснежину. Но тоже нет.

— Дочь гостила у меня все лето,— говорила Пронина. — Она у меня оканчивает медицинский и, как Людмила Кирилловна, будет врачом. Они уже сговорились работать вместе, если им разрешат. Как вы думаете, разрешат? — Ирина Аркадьевна заглянула в глаза Лаврентьеву.

— Не ручаюсь,— ответил он.— Врачи везде нужны.

— Но как можно разлучить ребенка с матерью? Это жестоко.

— Поедете с ней туда, куда пошлют ее.

— Что вы! Покинуть это гнездо, этих людей, к которым я так привыкла!.. Нет, разрешат, я добьюсь, буду писать правительству, просить. Ей нужны мои заботы, у нее плохое здоровье. Она и институт так поздно кончает, почти двадцати семи лет, потому что долго, годами, болела. Знаете, дитя тревожного голодного времени. Гражданская война... Было очень трудно. Из-за нее, из-за Катюши, я и забралась в деревню. Но теперь, слава богу — не сглазить бы,— все наладилось. Уверена, что разрешат, Петр Дементьевич!

Лаврентьев не стал перечить, он собрался идти.

— Возвращайтесь к обеду,— сказала Пронина, проводив его через кухню до подъезда, захламленного обломками рухнувших карнизов.— И застегните пальто! — крикнула вслед, когда он шел среди лип по гравийной аллее к воротам, от которых остались только серые каменные столбы.

Мелкий дождик по-прежнему сеялся с неба, затянутого низкими тучами, земля до предела набухла влагой, и вода выжималась из нее подошвами при каждом шаге.

Уже миновав каменные столбы и свернув на дорогу к селу, Лаврентьев увидел, что безмолвный старичок тоже шагал куда-то в глубину сада своей твердой походкой, посмотрел на мелькавшую под яблонями соломенную панамку и решил сюда, в эти развалины, не возвращаться ни к обеду, ни к ужину. При всем своем радушии непо-

нятная хозяйка его стесняла. Ему припомнился случай военных лет, когда однажды пришлось ночевать у священника в освобожденном от немцев селе. В поповском домике тоже было уютно, тепло, чисто, приветливо. Говорили, что священник помогал партизанам. И тем не менее Лаврентьев так и не нашел с ним общего языка. Смотрел на него, слушал его рассказы и думал: «А все-таки ты, папаша, из прошлого; так сказать, тень былого».

### 3

Село Воскресенское лежало в полуверсте от бывшего барского, как его назвала вчера Людмила Кирилловна, дома; вернее, там, в полуверсте, начинались первые строения,— дальше село тянулось вдоль реки несколькими вкривь и вкось расположенными улицами.

Лаврентьев спускался к селу в низину; туда же, рядом с дорогой, лениво струились осенние ручьи. Они проникали под амбары, под бани на огородах, под фундаменты изб. Казалось, вся почва тут напиталась грязной водой, село стоит на зыбкой трясине, вот-вот провалится, и только хлюпнет над его кровлями огромная лужа. Ни плодовых деревьев не было на пустынных приусадебных участках, ни тополей,— лишь худосочные ветлы кое-где перекинули через плетни свои плакучие ветви да на противоположном конце вздымалась вокруг церкви густая квадратная куща,— видимо, кладбище.

Строения главной улицы с двух сторон смотрели оконцами на разбитое, ухабистое шоссе, по которому когда-то очень давно проносились со звоном почтовые тройки, ползли обозы прасолов с сена́ми и снедью. Путь был торговый, и сметливые хозяева оседлали его заезжими дворами, трактирами с музыкальными шкафами и ящиками в питейных залах, с разбитными половыми — мастерами дурачить подгулявших мужиков скоростью двух арифметических действий — умножения и сложения: «Пятью пять — рупь пять», «семь да семь — тридцать семь», с «отдельными кабинетами», полными тревожных и притягательных соблазнов.

От тех далеких времен осталось несколько двухэтажных, полукаменных, неоштукатуренных домищ, торговые ряды, длинной сводчатой галереей сложенные из кирпича на площади перед церковью Николы Горшечника, да

разукрашенные убогой фантазией рассказы стариков и старушек, нет-нет и вспоминающих развеселую «жизню». Поистерлось в памяти ходячих летописей то, что село их со всех сторон, подобно острову, было окружено угодьями барона Иоганна Шредера, или Ифан Ифаныча Шредера, как величал он себя перед народом; что тосковали мужики по земле и от безземелья отдавали своих парней в половые и в конюхи на заезжие дворы, а девок посылали в «кабинеты»; что из года в год, без надежды расплатиться когда-либо, должали они в скобяные, в шорные, в бакалейные лавчонки, за прилавками которых, графя обслюнявленными лиловыми карандашами страницы объемистых кредитных книг, плели прочную сеть местные пауки в касторовых долгополых сюртуках и белых, льняного полотна фартуках. Все нерадостное запамятовали, а шкафы и ящики с музыкой помнили и любили порассказать о них приезжему: вот-де село у нас было какое, без малого — город!

О прошлом Воскресенского Лаврентьев услышал от костистого бойкого старикашки, который, не подымаясь с мокрых бревен, наваленных возле моста через глубокий ручей, поманил его желтым, точно корень хрена, потрескавшимся пальцем и попросил огонька. Цигарка у него поминутно гасла, и он не отпускал Лаврентьева. «Погодь маленько, еще что скажу...» — говорил каждый раз, как только Лаврентьев собирался идти дальше.

Старикашка рассказал, что Антон Иванович, о котором упоминала хозяйка и который прислал сегодня продукты,— это председатель правления колхоза, что он пьяница, что докторша путается с ним, крадет для него денатурат в амбулатории, что в колхозе никогда толку не будет, потому что гиблые вокруг места и мужиков нехватка; и много других удивительных сведений почерпнул Лаврентьев за полчаса. Он дал старику на прощанье еще две спички, которые тот запрятал в лохматую шапку из шкуры неизвестно какого зверя, и продолжал путь по селу. Он читал вывески: «Приемный пункт Заготживсырье», «Сберкасса», «Ларек Сортсемовощ»; рассматривая свежую дранку на избах, смолистые бревна, врубленные в старые серые венцы, царапины на стволах ветел, догадывался о том, что село не только бомбили с воздуха, но доставала до него и артиллерия. «Что же дед не упомянул об этом? — подумал он.— От отдельных кабинетов — и прямо к пьянице председателю, к докторше, ворующей денату-

рат». Сомнительным казался источник первых сведений о колхозе. Председателя Лаврентьев не знал, — тот, может быть, и в самом деле грешил выпивкой. Но Людмила Кирилловна... Трудно было этому поверить.

Лаврентьев остановился, хотел окликнуть желтоволосую девочку, перебегавшую через дорогу, и спросить, как пройти к правлению, но сам услышал оклик:

— Петр Дементьевич!

С крыльца окрашенного охрой домика его манила легкая на помине Людмила Кирилловна — в белом, обтягивавшем фигуру халате с отворотами и отложным воротничком; из нагрудного кармана торчала трубка стетоскопа; не то черные, не то каштановые волосы Людмилы Кирилловны были повязаны такой же свежей и белой, как халат, косынкой.

— Петр Дементьевич! — повторила она.— Вижу из окна — идете, озираетесь, точно ищете чего. Не на прием ли? Куда? В правление? Да там днем никого нет. Вечером надо. Я вас отведу потом. Уж такая, должно быть, моя судьба — указывать вам дорогу. А сейчас — прошу ко мне!..

Посещение амбулатории в планы Лаврентьева никак не входило. Он в нерешительности стоял перед крыльцом светлого домика, в одном из окон которого виднелись металлические части и шнуры бормашины. Следовало, конечно, идти дальше, надо было разыскать председателя колхоза, председателя сельского Совета, начинать знакомиться с делами, с людьми. Секретарь райкома партии Никита Андреевич Карабанов, перелистывая два дня назад странички его партийного билета, как нельзя более удачно перепутал пословицу: «Время, товарищ Лаврентьев, не воробей, упустил — не поймаешь. Езжайте и действуйте без промедления». Но не так просто сделать это — начать действовать на новом месте, среди незнакомых людей, и особенно когда ты не выспался, когда тебя знобит, когда ноющие боли ходят по всему телу.

Людмила Кирилловна, очевидно, догадалась о его колебаниях. Сойдя с крыльца, она бесстрашно шагнула туфельками в вязкую грязь и, взяв его под руку, повела за собой. Лаврентьев не упирался. Он послушно ходил за Людмилой Кирилловной по кабинетам маленькой амбулаторийки, рассматривал плакаты, которые учили распознавать первые признаки рака, звали раз и навсегда покончить с потреблением табака и алкоголя и предостерегали

от случайных любовных встреч. Увидел он и объемистую бутыль с тем фиолетовым содержимым, до которого, если верить болтливому старикашке, был столь неравнодушен Антон Иванович.

Показывая свое докторское хозяйство, Людмила Кирилловна шутила по поводу плакатов, рассказывала всякие случаи из своей практики, рассказала даже древний анекдот о том, как сельский врач заставил раздеться явившегося к нему в кабинет крестьянина, и только когда крестьянин разделся, выяснилось, что это лесоруб и привез для больницы дрова. Потом, хотя Лаврентьев и отказывался, Людмила Кирилловна упросила его снять пиджак и рубашку, осмотрела исполосованную косыми багровыми шрамами руку и потребовала сжать холодный эллипс динамометра.

— Три килограмма! — воскликнула она.— Сила новорожденного! Петр Дементьевич, над вашей рукой необходимо работать и работать.

Лаврентьеву не хотелось объяснять ей, что он уже второй год «работает» над своей парализованной конечностью, каждый вечер выполняя серию упражнений, рекомендованных ему одним из московских светил нейрохирургии, и что год назад не только на три деления, но даже на одно не сдвигалась стрелка динамометра от его пожатий. Он ответил:

— Надо, вы правы, товарищ доктор.

Людмила Кирилловна засмеялась, так забавно-официально были сказаны эти слова «товарищ доктор», сбросила свой халат, перед зеркальцем над умывальником поправила волосы, переменила туфли на уже знакомые Лаврентьеву сапоги, в которых вместе с ним она месила вчера дорожную грязь, и, накинув пальто, решительно заявила:

— Теперь пойдемте обедать. Вы мой пациент, и до вечера я вас от себя не отпущу!

В верхнем этаже бывшего трактира, обшитого серым от лишайников тесом, она занимала две комнатки, разделенные дощатой перегородкой. Пронинского великолепия тут не было. В обеих комнатушках — два или три гнутых венских стула, стол, черный посудный шкафик с треснувшим стеклом, узкая железная кровать, застеленная белым пикейным одеялом, что-то вроде мягкого диванчика, под который вместо четвертой ножки был подставлен березовый чурбак,— вот и все, если не считать еще ситце-

вой занавески, заменявшей створку двери между комнатами, да ходиков на стене.

Людмила Кирилловна принялась хлопотать: по всей квартире стучали ее каблуки, то и дело дребезжали стекла шкафика, в клетушке — рядом с передней — зашумел примус, запахло керосином. Чтобы занять гостя, пока она готовит обед, хозяйка вынесла из спальни альбом с фотографиями. Перебрасывая листы шероховатого серого картона, Лаврентьев внутренне усмехался. Перед ним во всех видах представала Людмила Кирилловна. Ее едва можно было узнать в тоненькой девочке, обнимающей большую полосатую кошку. Взрослей выглядела она в белом гладком платьице среди подруг по девятому «б» классу. На групповом снимке была проставлена дата: «16 июня». Заканчивался учебный год, и Людмила Кирилловна, должно быть, одна из лучших учениц, с широко раскрытыми радостными глазами сидела на почетном месте возле сухой и строгой, как предположил Лаврентьев, директорши школы. Дальше — среди валунов и песков южных пляжей, в пологих прибрежных волнах — мелькало ее обнаженное тело; на решетчатых скамейках пальмовых аллей, на парапетах каменных террас, как на выставке мод, раскидывались складки шелковых туалетов. Вперемежку с ними шли гимнастерки с узкими погонами медицинского лейтенанта, белые халаты. Видел Лаврентьев рядом с Людмилой Кирилловной и наголо остриженных раненых в госпитальных одеждах, и какого-то мрачного майора с латунными танками на погонах, и высокого красавца блондина в роскошном широком костюме, и летчика-капитана с рассеченной щекой. Мелькали лица, пиджаки, платья, и было это скучно. Не часто Лаврентьев держал в руках подобные альбомы, но в каждом из них видел всегда одно и то же. Непременно пальмы и пляжи, непременно блондины, непременно полуголые люди среди камней на песке. Он снова перелистал альбом, точно отыскивая еще один непременный кадр: лодку среди заросшего лилиями тихого пруда, на дно которой, к ногам героини, ворохом брошены поэтические водяные цветы с длинными и гибкими, как плети, стеблями. Но лодки не было.

Людмила Кирилловна уже накрывала на стол. Лаврентьев следил за ее быстрыми движениями и думал: «Ну зачем вам этот альбом и эти картинки? Неужели это ваша биография?»

— Как насчет рюмочки? — спросила она, задерживаясь возле шкафа.
— Денатурату, что ли?
— Почему денатурату? — Людмила Кирилловна обиделась. — Настойка, на вишнях. — И встряхнула графинчик с рубиновой жидкостью.
За обедом она спросила:
— Как понравилась вам Ирина Аркадьевна? Правда, интересный человек?
— Любопытный.— Лаврентьев кивнул головой.— За краткостью знакомства не понял только, кто же она. Впечатление такое, точно старушка эта полвека провела в сундуке с нафталином.
— Что вы, Петр Дементьевич! — воскликнула Людмила Кирилловна.— Вот уж действительно не разобрались. Ирина Аркадьевна и музыку в школе преподает, и на детской площадке музыкальные занятия проводит, и самодеятельностью в колхозе руководит. Что вы, что вы!.. — Она налегла на край стола, как бы желая приблизиться к собеседнику, и понизила голос: — Ирина Аркадьевна — бывшая артистка. Так поет!.. так поет!.. Я слышала однажды, стоя у нее под окном.
— Старинные романсы? — рассеянно спросил Лаврентьев.
— А вы почему знаете? — удивилась Людмила Кирилловна.— Она вам рассказывала?
— Нет. Просто показалось, — ответил Лаврентьев уклончиво. Он уже был уверен, что Ирина Аркадьевна Пронина и есть та самая певица, о которой поминали ветхие дореволюционные афиши. Варенька Подснежина — трогательно-сентиментальный псевдоним. Одно оставалось неясным — кто же такой безмолвный белый дед?
— Брат,— ответила ему на вопрос об этом Людмила Кирилловна.— Колхозный пасечник. Бросив сцену после революции, Пронина приехала к нему сюда, да так и осталась. Непонятно — с таким голосом!.. Ах, мне бы этот голос! Налейте еще по рюмочке, Петр Дементьевич. Если бы только от рюмочек зависело исполнение наших желаний, как провозглашают домашние тосты, я бы выпила весь графин!..
— Многовато, пожалуй.
— Так и желаний немало.

Разговор пошел о медицине, о новых методах лечения инфекционных болезней, о новых препаратах. Людмиле Кирилловне хотелось иметь в селе не амбулаторийку и не больничку с десятком коек, а целую клинику.

— Да, желаний порядочно,— вынужден был признать и Лаврентьев.— Но насчет клиники — это фантазия, конечно.

— Смешно! — Людмила Кирилловна отложила в сторону вилку.— Фантазия!.. Вы, Петр Дементьевич, рассуждаете, как заведующий райздравом: у вас, говорит, пять больных за год, вам и больница не нужна. Дичь какая! Да, может быть, у нас так мало и болеют, что мы хорошо обеспечены всем необходимым для предупреждения болезней — вакцинами, сыворотками и тому подобным. Райздрав — ладно, их я еще понимаю: сметы, ассигнования, всякое такое... Но вы, агроном, как можете так рассуждать! Что-то агроном скажет, когда столкнется со здешними недородами? Обойдется одной золой да известью или потребует сюда академиков? Если вы настоящий агроном, вам захочется решить все свои агрономические задачи непременно здесь, на месте, в колхозе. Вот и врачу хочется решать свои задачи на месте. Я обязана не только лечить болезни, но и по-настоящему их изучать, глубоко изучать! Иначе какой я врач?.. Фельдшер!

Против этого возразить было трудно. Так горячо, как Людмила Кирилловна, Лаврентьев о своих планах говорить не мог,— они были еще очень расплывчаты.

— Завидую вам,— сказал он со вздохом.

— А я вам,— ответила Людмила Кирилловна.

— В чем же?

— Как в чем! Новое место, новые люди, новое дело. Все начинай сначала. Весь интерес жизни в новизне. Для вас все интересное впереди. А я... я уже немножко погрязла в обыденщине, передо мной уже всякие мелкие трудности, препятствия, тупички. И вообще... Вы, в сущности, правы насчет фантазий. Хочешь много — не получается ничего.

— Ничего? Не слишком ли? — возразил Лаврентьев.— Я слышал иной отзыв о вашей работе.

— От Прониной? — Людмила Кирилловна грустно улыбнулась. — Она всех хвалит. Но разве в отзывах суть, Петр Дементьевич? Никакие отзывы не помогут, если у тебя самого нет внутреннего убеждения в том, что ты...

как бы вам выразить?.. ну, хотя бы в том, что ты живешь в полную свою силу.

— Кто же вам, уважаемому сельскому врачу, мешает жить в полную силу? — спросил Лаврентьев и пожалел, что сделал это.

— Во-первых, не «кто», а «что», — ответила она неожиданно резко. — Во-вторых, это долгий разговор и вам нисколько не интересный. Когда-нибудь в другой раз... Поговорим лучше вот о чем. Долго намерены гостить у нас, в Воскресенском?

— Не гостить, а работать, Людмила Кирилловна. Пока не прогонят,— пошутил он.

За разговором время шло быстро; стало смеркаться, ходики показывали седьмой час, когда Лаврентьев спохватился, что надо же ему и дело делать когда-нибудь. Он уговорил Людмилу Кирилловну не провожать его по грязи до правления,— не маленький, не заблудится. Прощаясь, Людмила Кирилловна просила заходить почаще: «Всегда вам буду очень, очень рада, Петр Дементьевич». Голос ее утратил ломкую неопределенность, звучал мягко, без грубоватых нот. Лаврентьев поблагодарил за приглашение.

Выйдя на улицу, он оглянулся. Людмила Кирилловна, упершись руками в косяки, стояла в окне и смотрела ему вслед. Он поспешно отвел взгляд и сделал вид, что рассматривает не окно, а темнеющее небо. Дождь прекратился, тяжелые тучи с синими доньями поднялись высоко над землей, попутный северный ветер гнал их грозной нескончаемой лавиной. Утром Лаврентьев, может быть, сравнил бы их с теми плоскими серыми танками, которые раздавили его батарею в последнем для него бою. Но теперь они казались ему кораблями, упрямо идущими в неведомую даль.

## 4

Путь к правлению колхоза лежал через церковную ограду, по тропинке, протоптанной между заброшенными могилами. Под вековыми вязами и липами, плотно обступившими церковь, вечерние сумерки стали еще гуще. Лаврентьев спотыкался о каменные плоские плиты, скользил на размытых дождями глинистых холмиках и опасливо огибал намогилья, провалившиеся глубокими

впадинами, в которых студено блестела гнилая вода. Он вспомнил другое кладбище, Смоленское, в Ленинграде, узкую аллейку, по которой — как это было давно! — гулял однажды с однокурсницей Натой Ефремовой. Их обоих поразил тогда вид заросшей сорными травами могилы известного гидрографа-геодезиста, имя которого они не раз видели на географических картах. Дорогой мрамор затерялся в кустах бузины, и не он хранил память об исследователе полярных морей.

Почему они, восемнадцатилетние и полные сил, задумывались о смерти и бессмертии,— этого Лаврентьев припомнить не мог, но он ясно помнил, чем окончился тот разговор. Стараясь не употребить ни одного, как ему казалось, громкого, пафосного слова, он заявил, что хочет жизнь прожить точно так же, как все великие душой люди, — скромно и для других, чтобы народ о нем не позабыл. Он любил Нату, и Ната любила его. Помолчав, она ответила с виноватой улыбкой: «Странно — а я хочу жить только для тебя». На второй год войны он узнал, что Ната умерла в Ленинграде от голода, оберегая семенной картофель одного из подсобных заводских хозяйств, куда пошла работать по окончании института, или, вернее, после отъезда его, Лаврентьева, на фронт.

Воспоминание было тяжелое. Лаврентьев поспешил выбраться из церковной ограды, дошел до пожарной каланчи, возле которой отыскал наконец бревенчатую хибарку правления. О том, что в хибарке правление, он догадался по желтой трухе, обильно рассыпанной вокруг ее плитнякового фундамента. Большеглазая колхозница, повстречавшаяся возле кладбища, так ему и сказала, когда он попросил объяснить дорогу: «Не перепутаете. Нижние венцы до того сгнивши, что мука из них точится». Подошвы мягко ступали по этой муке, мягче, чем по опилкам.

Одно из трех тускло освещенных квадратных оконцев было приоткрыто, из него валил влажный банный дух, смешанный с махорочным дымом, и прорывался разноголосый говор.

— Прибегает баба Устя в огород,— слышал Лаврентьев молодой, восторженно захлебывающийся басок,— а Карпентий наш в выси небесной маячит, надетый на хмелевом колу!

В халупе захохотали, и, когда Лаврентьев шагнул на порог прямо с земли, потому что крыльцо сгнило и проломилось, и распахнул кривую скрипучую дверь, смех все

еще продолжался. На вновь вошедшего не обратили внимания, никто даже не обернулся на стук захлопнутой двери. Лаврентьев остановился у порога. Дымная коптилка освещала только лица сидевших на лавках возле грубого стола, за спинами их уже было мутно и сине, а дальше — к стенам и в углах — клубился густой, словно копоть, мрак.

Все сидели, человек двенадцать или пятнадцать, лишь один, с наголо обритой конусообразной головой, возвышался над ними в распахнутом дырявом полушубке, зло посматривал из-под стариковских тяжелых надбровий и, тиская кулаком в залитые чернилами, испещренные надписями доски стола, негромко повторял:

— Брехня, брехня! Тошно слушать.

— Ну как это брехня! — тем же восторженным баском перебил его чубатый парень в расшитой рубашке, на которой слева двумя рядами висело множество медалей на разноцветных ленточках, а справа был привинчен орден Отечественной войны.— Как брехня, когда мне еще батька покойный о твоем полете рассказывал. Как-никак соседи вы с ним были, рядом дворы ваши стояли. Да и баба Устя, живой свидетель, подтвердит. Все знали про твои чудачества.

— И дворы рядом стояли, и в соседях мы с твоим батькой ходили, и человек он был хороший, не в пример тебе, и полет он мой видел,— отвечал на это тот, кого называли Карпентием.— Все верно. Одно брехня: не сидел я на хмелевом колу! А кабы и сидел — ошибки у человека бывают. Ты лодырь, вот у тебя и нет ошибок, вот у тебя и полета никакого не предвидится.

— Лучше не летать, чем турецкую казнь себе устраивать! — Парень нисколько не смутился.

Лаврентьев разглядывал смеющихся и пытался определить, кто же здесь председатель колхоза.

Он увидел на краю скамьи старика, который извел у него днем половину спичек, повествуя о колхозных неурядицах; не без удивления рассмотрел и седовласого брата Ирины Аркадьевны. Хотя Лаврентьев и знал уже, что белый дед ведает в колхозе пасекой, он казался ему столь бессловесным и тихим, что видеть его на народе было удивительно. Разглядел черного, похожего на цыгана, широкоплечего здоровяка в глубоко надвинутой шапке,— подумал, что это кузнец. Переводил взгляд со стариков на молодых, с бородатых на безбородых — и все не мог решить, кто же наконец из них Антон Иванович.

Догадки ни к чему не приводили. Лаврентьев вышел к столу, поздоровался, сообщил, кто он, и сказал, что ему нужен председатель. Известие о том, что он агроном, никого, казалось, не удивило и даже не заинтересовало; на приветствие закивали головами только пчеловод с дедом, у которого гасли цигарки, да цыган-кузнец. Цыган потеснился на лавке.

— Присаживайтесь. Слыхали о вас, слыхали, как же! Антон третий день ждет. Он вышедши, придет, надо быть, скоро. У нас вот разнарядочка была — кому что завтра делать. Бригадир к дому отправился, а мы, значит, вроде клуба устроили. Беседуем.

Лаврентьев втиснулся между ним и парнем с медалями, которого называли тут Пашкой, и, чувствуя на себе внимательные взгляды, вытащил портсигар; там оставались две папиросы. Тогда достал из другого кармана запасную пачку, и она тотчас наполовину опустела. Только пчеловод не протянул руки.

— Святой жизни человек! — захохотал Пашка, когда белый дед отстранился от предложенной Лаврентьевым папиросы.— Не пьет, не ругается, не курит. И бабу за все свои шестьдесят три года ни разу не обнял.

— И все-то ты знаешь, пустомеля! — Карпентий стукнул по столу ладонью.— Всем дыркам затычка.

— Но, но, но, Карп Гурьевич! — повысил голос Пашка. — Какие слова говорить изволите! А то и я знаю на тебя слова...

Возникал довольно цветистый разговор. Чужого человека не стеснялись. Лаврентьев нахмурился. Ну разве возможен был бы такой разговор на заводе, не говоря уж об армии... Черт знает что!

Карпентий не выдержал словесной борьбы, плюнул и сел у окна прямо на пол. Тихий пасечник, стараясь не скрипнуть дверью, вышел из избы. Только цыган, протянув руку за спиной Лаврентьева, тряс за плечо распоясавшегося Пашку.

— Павел, Павел, уймись! Что товарищ агроном о нас подумает!

— Видал я ваших агрономов! — Парень повернулся к Лаврентьеву, и Лаврентьев увидел его взбешенные глаза. — Учить меня всякий будет! Видал я их! Мы на смерть иди, а они за Урал — бабами командовать!

Положение создавалось сложное. В Лаврентьеве заговорил офицер, командир батареи, который должен был

немедленно принять меры, навести порядок, одернуть распоясавшегося. Он напрягся, готовый дать отпор бесшабашному языку Пашки. Но и спешить было нельзя. Здесь не батарея, а колхоз, и он не командир, а только агроном, специалист. Собрав все силы, всю свою выдержку, он терпеливо выслушал длинную тираду парня о тыловиках.

— Послушайте,— сказал он,— вас, кажется, Павлом зовут. Вы были, Павел, на Урале?

— А что я там забыл!

— Там делали танки и пушки, те самые танки и пушки, которые, судя по ленточкам, довели вас до Кенигсберга, до самого гнезда прусской военщины.

— Ну и что? Политграмоте меня учить будете? — не сдавался Павел.— Без вас ученый! — Он не сдавался только внешне. Пыл его охладевал. Спокойные глаза нового агронома напомнили ему его командира, который никогда ничего не повторял дважды: сказал — исполняй.

— Да, немножко политграмоты будет вам не во вред,— продолжал Лаврентьев.— И на Урале, и за Уралом люди ночей не спали, недоедали, лишь бы у вас, Павел, были и снаряды, и патроны, и обмундирование, и пища. В чем и когда вы испытывали на фронте недостаток? Молчите? Потому что и сказать нечего. Об Урале кричать, не подумав, не советую. Перед Уралом шапки снимать мы должны. А за Уралом женщины пахали на коровах, сеяли, растили для вас хлеб, шили теплые рукавицы и вязали носки,— вам разве не приходилось получать таких подарков?

— Я не про то. Про Урал сам знаю. Только нечего меня учить!

Лаврентьев прикурил от коптилки новую папиросу, огляделся. Все смотрели на него, смотрели внимательно, заинтересованно, словно еще чего-то ожидая. Карпентий тоже вернулся к столу, нагнув шишковатую голову, топырил космы густых бровей.

— Прощения просим, товарищ агроном,— сказал он и погладил ладонью макушку,— не знаю вашего имени-то отчества.

— Петр Дементьевич.

— Так вот, Петр Дементьевич, ежели довелось вам бывать на Урале, хотелось бы послушать про него, про Урал, еще. У нас ведь не один Пашка Дремов в колхозе, у нас народу много, и не все горлодеры. У нас поговорить-послушать любят.

— Точно, точно — любители мы,— поддакнул цыган.

— Чего говорить-то,— проворчал истребитель спичек. — Все в газетах сказано.

— Сказано, ну и шагай себе до дому, Савельич!

— А и уйду, чешите себе языками сколько влезет. Старик пошел к двери и на пороге столкнулся с широкоплечим человеком в черном пальто.

— Вот и Антон сам!

Широкоплечий подошел к столу, увидел среди мужиков незнакомого, спросил:

— Товарищ агроном?

— Антон Иванович? — Лаврентьев встал.

— Так точно, Сурков! О вас уже третьим днем в сельсовет из района звонили. Вовремя вы прибыли. Что-то такое неважнецко мы хозяйствуем: у соседей хлеб родится, у нас ни то ни се. Гляжу, с народом вы уже ознакомились?

— Да побеседовали мал-маля,— усмехнулся цыган.

— Ну пойдем тогда до моего дома,— предложил Сурков. — Здесь сидеть нет расчета, свинушник форменный.

Все стали подыматься из-за стола, с лавок. Поправил на голове шапку цыган, запахнул полушубок Карпентий, накинул суконную тужурку Павел; прежде чем дунуть на огонек коптилки, в последний раз прикурил от нее Савельич.

Вышли на улицу. Антон Иванович повел Лаврентьева в сторону реки. Долго еще позади слышались голоса, и опять там Лаврентьев различал крикливый басок Павла; должно быть, отругивался парень от укоров односельчан и снова петушился.

Дом Суркова, недавно, видимо, срубленный, стоял близ берега, двор еще не был обнесен изгородью, и потому прямо из-под сеней, гремя цепью, с лаем вырвался большой кудлатый пес. Хозяин цыкнул на пса и через темные сени провел гостя в избу. Молодая женщина с пшенично-светлыми волосами, заплетенными в толстую косу, и с высокой пышной грудью, заметив гостя, подвернула фитиль пятнадцатилинейной лампы, и лишь тогда Лаврентьев по-настоящему разглядел Антона Ивановича. Глаза председателя смотрели умно и спокойно. На загорелом худощавом лице они были расположены один к другому несколько ближе, чем следовало, и от этого, казалось, слегка косили.

— Собирай-ка ужинать, Марьянка! — сказал он женщине, молчаливо разглядывавшей гостя, и представил: — Жена моя, Марьяна Кузьминишна. Полгода, как поженились. А это новый наш агроном, товарищ Лаврентьев.

Потом хозяин влил несколько ковшей воды в гремучий рукомойник, прибитый над кадушкой в углу за печью,— предложил умыться. Хозяйка подала Лаврентьеву хрусткое свежее полотенце, пахнувшее рекой. Старательно мыл руки и сам Антон Иванович, то и дело брякал медным стерженьком умывальника, ловко подбрасывая его ладонью кверху.

За столом, когда хозяйка положила на тарелку большой кусище копченого судака, Лаврентьев сказал:

— Вот это закусочка! Под такую и выпить можно.

— Верно,— согласился Антон Иванович,— закуска знаменитая. Бывало, как начнут батарейцы крыть меня за пшенный концентрат, всегда вспоминал: судачка бы вам, братцы, нашего!.. На перемет ловим. А что касается выпить — не пью, товарищ Лаврентьев. С тех самых пор, как вместе с осколком половину кишок из меня вырезали, и рюмки брюхо не принимает. Только выпей — все обратно выкинет. Строгое стало брюхо. Нервоз, доктора говорят, в нем.

Лаврентьев стал расспрашивать о людях, с которыми встретился в этот день. Болтливый Савельич, как выяснилось, летом был паромщиком, зимой сторожем. Карпентия звали Карпом Гурьевичем, он столярничал в колхозе. «Классный мастер,— сказал о нем Антон Иванович.— Таких поискать». Цыган и в самом деле носил в себе цыганскую кровь, но был он не кузнец, а старший конюх, Илья Носов.

— Серьезный мужик и работящий. Не в пример Пашке Дремову. Занозистый малый Пашка. Хотя, разобраться если, в общем-то и он может работать.

Узнав, что Лаврентьев командовал батареей, Антон Иванович выразил искреннюю радость: он тоже служил в артиллерии, был старшиной на батарее пушек-гаубиц. Лаврентьев мысленно представил себе стволы могучих этих орудий, все большое батарейное хозяйство, обслуживающее их работу, и покачал головой.

— Эх, Антон Иванович, Антон Иванович! С таким делом справлялись, а тут у вас правленческая изба, сами говорите, на свинушник похожа. Посмотрел бы я, как такую грязь вы на огневых бы развели...

— Руки не доходят за все ухватиться,— посетовал Антон Иванович.— Все вижу, все понимаю, а сделать... Вот сделать всего не могу!

Он заговорил о колхозных планах, о колхозных возможностях, о землях, о севообороте. Лаврентьев слушал и чувствовал, как только что воскрешенная память об огневых, об орудиях, о войне вновь отходит в далекое прошлое. Перед ним возникало новое, незнакомое. Агрономический институт он окончил, но агрономом никогда не работал, многое из того, что изучал, позабыл за годы войны, а большее, что достигается только опытом, годами работы и что совершенно необходимо хорошему агроному, еще не приобрел. Тревогу за то, как он будет работать, как справится с новыми обязанностями, Лаврентьев почувствовал не сейчас, значительно раньше, еще когда решил покинуть областное земельное управление и пойти в колхоз — от папок и бумаг к земле и людям. Но сейчас, слушая Антона Ивановича и сознавая, что многое в рассказах председателя для него не только неясно, а даже просто непонятно, он забеспокоился еще сильней. Антон Иванович беспокойства его, конечно, не замечал и был искренне рад, что к нему прибыла солидная подмога.

Лаврентьев рассчитывал заночевать у председателя, но, когда Антон Иванович сказал, что вторая половина дома у него еще не оборудована и полы там даже не настланы, он подумал, что не следует стеснять молодоженов, тем более что ночлег ему приготовлен, и стал искать кепку.

Антон Иванович оценил его деликатность.

— Вы уж поживите у Прониной,— говорил он, выходя вместе с Лаврентьевым на улицу.— Потом как-нибудь сообразим отдельное жилье. Гляжу и ничего подходящего для вас пока не замечаю. Со временем, может, в том же клубе квартирку отремонтируем.

— В каком клубе? — спросил Лаврентьев.

— Да домище тот, шредеровский, у нас до войны клубом был. Так и зовем по-старому: клуб, клуб. А какой клуб?.. Развалины. Но помещеньице, подходящее для ремонта, там есть. Имею, в общем, на примете.

На улице было светло. Небо очистилось от туч. Вызвездило. Взошла полная луна и, точно легкой кисеей, обволокла деревню белым холодным светом. Белая лежала дорога, белые глядели на нее стены домов под белыми крышами, белые качались деревья, и только узорчатые

тени от их ветвей были синими и четко печатались на белой земле.

Лаврентьеву утром казалось, что в жилище старой артистки и ее молчаливого брата он больше не пойдет. Но теперь, столкнувшись с Павлом, потолковав с Антоном Ивановичем, вновь почувствовал себя боевым командиром батареи. А в скольких домах пришлось ночевать ему, командиру, за время войны на путях наступления, в какие семьи вторгаться! И было это тогда в порядке вещей: солдат воюет, ему нужна крыша для ночлега, и он заходит в первый попавшийся дом, не заботясь о том, как его там встретят. Так что же изменилось? Солдат по-прежнему воюет, ему нужна крыша для ночлега.

На повороте с дороги на липовую аллею, возле каменных столбов, Лаврентьев попрощался с Антоном Ивановичем и бодро зашагал к дому.

Его встретила Ирина Аркадьевна в черном шелковом халате, попеняла за то, что он не пришел к обеду. С улыбкой сообщила, что знает, где Петр Дементьевич обедал, и в конце концов спросила, не разогреть ли ему тушеное мясо, а можно и яичницу зажарить. Вступать в долгие разговоры Лаврентьеву не хотелось,— наговорился за день; он прикинулся до крайности усталым, что было недалеко от истины, и Ирина Аркадьевна проводила его на веранду, где уже была приготовлена постель.

Укладываясь под одеяло, Лаврентьев с удивлением почувствовал, что в его бока не впиваются разлезшиеся жесткие пружины. Он ощупал свое ложе и убедился, что под ним уже не та знакомая ему пыльная развалина, а мягкий ковровый диван. Солдат нашел не только крышу, но и заботливую хозяйку. Какой бы свиньей он оказался, не приди ночевать в этот дом.

## ГЛАВА ВТОРАЯ

### 1

После долгих холодных дней с ветрами установилась та ясная и тихая погода поздней осени, когда в звездных ночах каменной делается поверхность почвы, когда по утрам дорожные колеи и

полевые борозды белеют инеем. Кажется — вот еще день, и застынут реки, закружат метели, но восходит солнце, сгоняет иней, мягчит на полях корку, и в природе возникает обманчивая надежда, что до зимы еще далеко. Из-под амбарных крыш выползают тогда полусонные крапивницы, на обтрепанных, потерявших яркую пестроту, слабых крыльях бесцельно кружат, как запоздалые бурые листья, над пустыми огородами и, не найдя цветов, усаживаются где-нибудь на припеке и могут сидеть так часами, пока не потревожит любознательный воробей или нехотя не склюет разжиревшая за лето курица. Вихрящимся столбиком толчется в воздухе мошкара. В какой-то неуловимый для глаза миг столбик вдруг распадается — то ли ветер дунул, то ли тень набежала от облака, — и вот он уже вихрится в другом месте.

Воздух чист от пыли, утратил летнюю истому, грудь наполняется им упруго, как парус; вдохнув этой свежести, человек выше подымает голову, расправляет плечи, тверже ставит ногу и, как ни в какую другую пору года, чувствует себя деятельным и полным сил.

Лаврентьев радовался ясным дням. Прошли боли в руке и сердце, исчезла ревматическая, принесенная дождями, простудная вялость в теле. С утра до ночи он был на ногах и не чувствовал усталости. Он все больше и больше входил в новую для него жизнь, и чем больше входил в нее, чем глубже, обстоятельней с нею знакомился, тем чаще ощущал, что ему не хватает знаний, что он не умеет найти себе должное место в колхозе. В бытность свою в институте, точнее — в самом ее начале, колхозный агроном представлялся ему так: живет в опрятном, по-городскому обставленном домике, ходит в болотных высоких сапогах по полям, иной раз с ружьем за плечами, берет пробы почв, проверяет качество посевного зерна, проводит беседы с крестьянами об агротехнике, по вечерам к нему собираются ребятишки, он им что-то читает, рассказывает. Всем он нужен, все идут к нему за советом, за помощью.

Представление это строилось на воспоминаниях детских лет. Лаврентьев хорошо помнил землемера Смурова. Землемер жил в их деревне именно в таком окруженном плодовыми деревьями домике, держал рыжих сеттеров и костромских гончих; он часто выезжал на рессорной тележке, из которой, даже когда она была отпряжена и стояла под навесом, никогда не убирались длинные

гремучие цепи, стальные ленты, пестрые рейки, расчерченные на красные и черные деления, ясеневые треноги геодезических приборов. Если же землемер бывал дома, он копался в саду, подрезая, обвязывая ловчьими кольцами яблони, рассаживая усы земляники на аккуратных грядках. Туда, в сад, к нему сходились мужики, сидели в решетчатой, обвитой диким виноградом беседке, о чем-то часами толковали, то мирно, спокойно, то горячась и споря. О чем толковали — мальчишкам было неинтересно, мальчишек привлекала внешняя сторона жизни землемера: непохожий на избы их отцов его домик, его тележка с цепями, вислоухие псы, беседка, земляничные гряды, ружья в плоских, как ящики, черных футлярах.

Но как бы ни были безразличны мальчишкам разговоры взрослых, мальчишки все же иногда к ним прислушивались. Мужики говорили с землемером о плодосмене, о зловредной трехполке, о клеверах, о том, что в соседнем совхозе появился трактор — запахло керосином на полях, и от этого пчела, дескать, хиреет. «Не знаю про пчелу, но вы, друзья мои, если и к вам придет трактор, от него только в барыше будете»,— отвечал землемер. Он объяснял, что в каждой такой стреляющей, как пулемет, машине скрыто восемь лошадей, что при своей силе она может перевернуть землю на пол-аршина в глубину, способна поднять и ракитовые заросли, и вековой кочкарник, покажет себя также и на севе, на молотьбе. Мужики качали головами, не то не веря, не то изумляясь, а мальчишки слушали с раскрытыми ртами: землемер казался им великим мудрецом.

Приходили к Смурову и бабы, просили лекарств для ребят: до амбулатории, до врача было верст десять; ждали совета, как мужика отвратить от водки или как отвести его глаза от бесстыдной солдатки-вдовы. И для каждого, для каждой у землемера находилось доброе слово, и слыл он в окру́ге первым человеком.

Когда Лаврентьев поступил на первый курс института, в его деревню уже который год, начиная с весны, приходили тракторы, и не в восемь сил, а куда мощнее; вместе с тракторами, пешком и на велосипедах, появлялись агрономы. Но не по ним, суетливым, замученным, строил студент Лаврентьев представление об избранной профессии, а по воспоминаниям о землемере Смурове, которого к тому времени уже перевели в другое место.

С годами учения, от поездок на летнюю практику представление это изрядно изменилось. Лаврентьев увидел и понял, что агроном хотя и действительно не последний человек в сельскохозяйственном производстве, но несколько в ином роде, нежели Смуров. Агроном в колхозе должен делать и знать все — от составления планов до организации бригад, до проникновения в характер, в душу каждого колхозника. Место агронома не в тихом домике под яблонями, а в поле, с людьми, иначе он превратится в чиновника и будет никому не нужен.

Так и на войну Лаврентьев ушел с твердым убеждением, что агроном — это человек поля. Но вот он целые дни проводил теперь в поле, где поднимались последние гектары пашни под запоздалую зябь, на току, где обмолачивались ржаные снопы, в амбарах, на скотных дворах — все время на людях, с людьми, а места себе, прочного, только ему, агроному, и присущего, так и не мог определить среди этих людей. Они и без него знали, где и как надо пахать зябь, куда и в каком виде ссыпáть обмолоченное зерно, чем кормить коров, сколько выкопать котлованов под новые парники. Никто от него никаких советов не ждал, никто к нему ни с чем не обращался, за исключением разве немногословного бригадира Анохина да Антона Ивановича. Антон Иванович — тот, конечно, требовал и ждал от агронома многого, слишком даже многого. Председателю надо было во что бы то ни стало вывести колхоз из прорыва, сделать его передовым в районе. Но как, черт возьми, это сделать? С чего начинать? Кругом были какие-то неурядицы, и главное — земля из года в год давала удручающе низкие урожаи.

— И агротехнику будто бы соблюдаем, и супер подсевали, и калийную соль, и наземец ложили,— говорил Антон Иванович,— а все вот кислятина...

Они стояли так однажды среди поля на узком островке жнивья, оставленного тракторным плугом. На стерне густо щетинились черные, побитые морозом стрелки хвощей; в бороздах, развороченных широкими лемехами, блестела под холодным солнцем вода. Антон Иванович смотрел на Лаврентьева так, будто тот был командиром его батареи, и, как бывало от командира батареи, ожидал от него коротких, исчерпывающих и ясных приказаний.

А Лаврентьев?.. О чем думал Лаврентьев? Конечно, на батарее и он нашел бы для любого случая верное решение. Но тут было поле, поросшее хвощами.

— Известковать надо,— высказал он то, что известно было ему из учебников.

— Известь? Ложили.— Антон Иванович ковырнул землю носком сапога.— По тонне, по две, по три на гектар. Все равно фирюльки эти прут. Сверху кислоту отобьем, она снова из глубины подымается. И до войны так было, и нынче опять... Кудрявцев — тот вовсе от наших дел сбежал. Как начались по весне вымочки, только мы его с той поры и видели. А тоже попервоначалу за известь агитировал.

Не в первый раз слышал Лаврентьев о Кудрявцеве, молодом агрономе, который после окончания техникума проработал в колхозе года полтора и сбежал. Разные ходили толки о причинах его бегства. Одни говорили: по невесте заскучал,— отказалась городская ехать в деревню. Другие — что дело не в городской невесте, а в сестре председателевой жены, которая, мол, дала отставку мальцу.

Антон Иван[illegible] назвал третью причину.

— Был он у [illegible]с на колхозном бюджете. Не как вы,— добавил председатель.— Вычеркнули из списков. А искать... разыскивать... Не такая фигура, чтоб за нее держаться.

Лаврентьев снова задумался о месте, о роли агронома. Неужели ей, этой роли, так и положено быть столь незначительной, что пребывание агронома, его жизнь, труд в колхозе ни в сердцах, ни в памяти людей не оставляют никакого следа? Что-то делал, кипел, волновался — молчат об этом. Сбежал — толкуют, интересно. Но, может быть, Кудрявцев и не кипел и не волновался?

Лаврентьева потянуло взглянуть, в какой обстановке жил его предшественник. Он разыскал на околице дом вдовы Звонкой. Это была та большеглазая женщина, которая в первый день жизни Лаврентьева в Воскресенском объясняла ему путь к правлению колхоза. Редкостная фамилия к ней никак не шла. Худенькая, белокурая, Елизавета Степановна выглядела значительно моложе своих сорока лет, не очень любила бывать на виду у людей, держалась всегда в сторонке, на собраниях отмалчивалась; если и выступала, то немногословно: «да», «нет», и только в том случае, когда отмолчаться было нельзя, когда задавали вопрос непосредственно ей. Она боялась вопросов на собраниях, потому что отвечать приходилось под хмуро скрещенными взглядами десятков глаз и говорить

совсем не то, чего бы желало сердце. Хотелось бы рассказывать об успехах, а их и нет, говоришь о бедствиях. Бывало и так, что поднятая обычным вопросом: «А как дела в телятнике?» — она постоит минутку и снова опустится на скамью, не произнеся ни слова.

Винить Елизавету Степановну особенно не винили, но и похвально о ее работе не высказывались. Все видели — днюет и ночует Елизавета в телятнике, печи сама топит, солому не один раз в сутки меняет, скребет, чистит своих питомцев, пойло для них и так и этак подогревает; зоотехник приедет — замрет перед ним, как в старые времена бабы перед Николой-чудотворцем замирали в престольный праздник, слушает, каждое слово ловит. Но все без толку — падают телята, половина их и до трех месяцев не доживает. Хоть плачь. Звонкая и плакала. Прижмет к себе шишковатую голову хворой телушки в стойле и плачет. Перемешаются слезы — и те, что от неудачливого хозяйствования Елизаветы Степановны, и те, что от вдовьего ее одиночества, от тоски по не возвратившемуся с войны мужу, и, думается, не [illegible]ь их; но стóит войти кому в телятник, Звонкая тут как тут перед ним, сердитая,— когда и лицо успела утереть? — совсем не похожая на ту, какой она бывает на собраниях. Выпроводит гостя за дверь, отчитает: вход-де посторонним строго запрещен. На людях владеть собой умела, из равновесия не выходила никогда, со временем не считалась, с телятами ласковая, заботливая.

Ценя эти качества Елизаветы Степановны, председатель выдержал не одну стычку с правленцами; он упорствовал, когда ему предлагали снять Звонкую, пока, мол, окончательно не завалила дело. Антон Иванович чувствовал, что корень зла не в телятнице, а в чем-то другом, но вот в чем — неизвестно.

Лаврентьев знал: и на этот вопрос председатель ждет от него ответа. Задумав посмотреть, как жил тут агроном Кудрявцев, он хотел одновременно, с глазу на глаз, более обстоятельно, чем при коротких и официальных встречах в телятнике, поговорить с Елизаветой Степановной. Лаврентьев рассуждал просто, не таясь от себя: подготовки по животноводству он почти никакой не имел, да и то, что почерпнул в институте, давно позабылось, но зато он в какой-то мере обладал умением анализировать явления жизни, — так, во всяком случае, ему казалось. А Елизавета Степановна, видимо, богата практическими знаниями,

опытом. Вот они потолкуют вечер-другой, и не исключена возможность, что найдут и причину телячьих бедствий, и пути к их устранению.

Смеркалось, когда он вошел в дом телятницы.

— Хозяйка! — окликнул негромко.

Не дождавшись ответа, откинул занавеску из кухни в горницу. В горнице было сумеречно, тепло и дремотно. Тикали ходики. Гири у них напоминали еловые шишки. Кроме ходиков, на стенах ничего — ни бумажных цветов, ни фотографий, ни картинок из журналов, что часто бывает в деревенских домах. Свежие пестренькие обои — и только. И все вещи — комод, большое зеркало на подставке, стол, покрытый скатертью с кистями, ножная швейная машина под футляром, высокая кровать, застланная покрывалом, дубовый, обитый медными полосками сундучок, на котором в большой эмалированной кастрюле рос раскидистый фикус,— выглядели опрятно.

Лаврентьев присел возле стола, стал сравнивать уютную горенку с жилищем Людмилы Кирилловны. Людмила Кирилловна, он заметил, жила неуютно. Впечатление неуютности объяснялось, может быть, тем, что хозяйки несколько дней не было дома и, возвратясь с конференции, она не успела привести свою квартиру в порядок. Теперь, возможно, все переменилось. Убедиться в этом Лаврентьев не мог, потому что у нее с тех пор не бывал. Через санитарку Людмила Кирилловна посылала ему записочки, просила навестить. Несколько раз сама приходила к Прониной, где все еще — но уже не на веранде, а в большой комнате — жил Лаврентьев, и, укоряя в невнимательности, в отшельничестве, по-прежнему удивляла его переменами цвета своих глаз, переливами голоса, жестами — то резкими, то женственно-мягкими. Лаврентьев оправдывался перед ней тем, что очень занят, и это оправдание было правильным до последней встречи. С последней встречи он стал сознательно избегать Людмилу Кирилловну. «Вы нелюдим,— сказала она ему тогда, прощаясь возле каменных столбов.— Думала, будем с вами друзьями. Но вижу, что друзья вам не нужны. Индивидуалист!» Сказано это было, конечно, с улыбкой, как бы в шутку. Лаврентьев же призадумался. Шутка имела, по его мнению, серьезную почву. Он понял, что нравится Людмиле Кирилловне, и, не чувствуя к ней никакого влечения, решил и ее избавить от беды. К любви он относился как к самому священному из человеческих чувств, иг-

рать любовью считал постыдным. Ну, в самом деле, что ему и ей принесут отношения без любви с его стороны? Радость? Конечно же, нет. Для него, во всяком случае, это совершенно ясно, только горечь и стыд. Стыд перед самим собой и перед Наташей, милой, любимой Наташей, образ которой он пронес в сердце через всю войну.

— Что же это вы в потемках? Лампу бы зажгли, товарищ агроном,— проговорил кто-то, шаркая подошвами о половичок в кухне.— Увидела вас, да не могла дойку бросить. Извините.

— Елизавета Степановна? — Лаврентьев поднялся.

Звякнул отставленный подойник, через горницу к комоду легкими шагами прошла в темноте, как думал Лаврентьев, хозяйка, нашарила спички, подышала — он слышал ее дыхание — в ламповое стекло и, только когда занялся желтый керосиновый свет, ответила:

— Нет, не Елизавета Степановна. Ася.

Влажно сверкнули большие глаза под круто изогнутыми бровями. Он видел их, эти глаза, и на молотьбе, где дочка Елизаветы Степановны ловко подавала снопы к барабану, и в амбарах, где перелопачивали зерно, и на заседаниях в правлении; и лицо это видел, в румянце, с ямочкой на левой щеке, и голос слышал — как только его теперь не узнал! — горловой, чистый голос, вот уже поистине соответствовавший фамилии — Звонкая, по имени девушки не знал. «Ася? Красиво...» — подумал и сказал:

— Отлично, товарищ Ася! Будем знакомы — Лаврентьев.

— Будто незнакомы! — засмеялась она, подавая руку.

— Ну все-таки... Официально — нет.

Лаврентьев знал свою слабость. Он не умел разговаривать с девушками. Бывало, на фронте, забегут в землянку санинструктор Лида или парикмахерша Надя,— офицеры рады поболтать с ними, хоть весь вечер просидят за разговорами, острят наперебой. Девушки хохочут. А он жмется на табуретке, скажет наконец как будто бы и остроумное, интересное, но никто не заметит, не услышит его слов.

Да разве только на фронте так было! А в институте, когда увидел Наташу? Повлекло к ней с первого взгляда. На лекциях старался сесть рядом или хотя бы поближе, молча смотрел на нее со стороны, молча подсовывал под руку резинку или карандаш, если замечал, что они ей нужны; молча подавал пальто. Так тянулось это унылое

молчание до новогоднего студенческого вечера. Лаврентьев на него и идти-то не хотел, знал, что будет там лишним: танцевать не умеет, острить не умеет, игр, шумных, с беготней и визгом, не любит. Пошел ради того, чтобы увидеть Наташу. Пусть танцует с другими, пусть, лишь бы глядеть на нее, быть с ней под одной крышей и в завершение всего подать ей пальто в раздевалке.

В предположениях своих он не ошибся, прослонялся часов шесть по клубным коридорам, пересидел почти на всех диванах, но, когда пальто было подано, случилось нечто для него неожиданное. «Петя,— сказала Наташа.— Я очень устала и от танцев этих, и от болтовни. Мне хочется помолчать. Проводите меня, если можете».

Почти не проронив ни слова, они вышагали по гололедице до Александро-Невской лавры. Там, возле каких-то высоких сводчатых ворот, Наташа заметила скамеечку сторожа. «Посидим минутку.— Она смахнула варежкой снег со скамьи.— Отдохнем. Идти еще далеко». Скамейка была тесная, только на двоих, сидели, касаясь друг друга. Потом у нее озябли руки, она сняла варежки и стала дышать на кончики пальцев, улыбнулась, вспомнив что-то забавное, и рассказала, как однажды отморозила нос. Ей было тогда лет восемь, она каталась с горы на ледянке. Гора большая, на берегу Каменки, ребятишек много, домой уходить — разве уйдешь, ну и вот — обморозилась.

Речка Каменка есть без малого в каждом русском селении. Была она и в деревне Лаврентьева. Носа он не отмораживал, катаясь по льду на самодельном коньке, зато ловил в камнях под берегом пескарей, вилкой ловил, обыкновенной старой, ржавой вилкой.

И показались им в ту ночь такими интересными и эти вилки, и ледянки, и родные Каменки, что уже пошли трамваи, в окнах стали зажигаться огни, а они все еще сидели вместо сторожа у чьих-то чужих ворот, и расставаться им не хотелось...

Но о чем говорить с Асей, не о детстве же. С какой стати? И о молотьбе не совсем складно будет...

Ася сама выручила:

— Простите, Петр Дементьевич. Мама скоро придет. Мне похозяйствовать надо.

— Пожалуйста, пожалуйста! — обрадовался Лаврентьев.— Я только задам один вопрос. У вас Кудрявцев жил...

— Жил. Миша. Вот его комната.— Ася распахнула дверь в боковушку.— Тут все так и осталось. Мама не велит трогать, может, говорит, еще вернется. Хотите посмотреть? Лампочку зажжем, у него своя была. Абажурчик сделал из синей бумаги. По вечерам занимался.

Она ушла в кухню. При синем свете Лаврентьев разглядывал книги, аккуратно расставленные на полке, железную кровать, с которой было убрано одеяло, и на матраце лежала лишь подушка без наволочки, из-за пробившихся наружу перьев похожая на плохо ощипанную курицу.

Лаврентьев взял наугад несколько книг. Костычев, Докучаев... Лысенко, Мичурин, Тимирязев... Ценные, хорошие книги, знакомые по институтским временам. Меж страниц торчали закладки, сделанные из обрезков газеты. Лаврентьев видел подчеркнутое красным карандашом, видел пометки на полях, тетрадочные листки с выписками. Пометки, выписки — все они объединялись общей темой: известкование. Можно было догадаться, что Кудрявцев, как и говорил об этом Антон Иванович, причину систематических недородов искал в закислении почв колхоза. Искал упорно,— целая тетрадка была у него заполнена таблицами анализов почвенных проб и предположительных норм внесения извести по годам.

Листая страницы книг, просматривая тетради — среди них были еще и записи давнишних лекций,— Лаврентьев чувствовал, как меняется его мнение о Кудрявцеве. До этого дня он представлял себе своего предшественника легкомысленным юнцом, который вечерами бегал под окна к сестре председателевой жены, был завсегдатаем на танцульках, существовал весело и бездумно, а когда жизнь поприжала его, потребовала от него знаний, решительности, опустил крылышки и оказался в нетях. Лаврентьев вынужден был признать, что, пожалуй, ошибся насчет Кудрявцева, и это его огорчило. Огорчило по простой причине: он рассчитывал на то, что будет работать совсем не так, как работал Кудрявцев,— больше, энергичнее, а главное, на научных основах, и это само по себе принесет успех. Кудрявцев, оказывается, тоже помнил о научных основах и тем не менее никаких успехов не добился.

Ероша рукой мягкие волосы, Лаврентьев пристально смотрел на синий самодельный абажурчик и так просидел до тех пор, пока не пришла Елизавета Степановна.

Вместе поужинали, попили чайку. Разговор пошел сначала о Кудрявцеве.

— Молодой человек, а душевный был, заботливый,— говорила Елизавета Степановна. — Бывало, вместе мы с ним над телятками горевали. А поля — все своими ногами выходил. Натащит тут землицы, в стеклянных трубочках разведет ее, разболтает, бумажками — синей да красной — пробует. Уж и я от него научилась, как по лакмусу кислоту и щелочь определять. Травы сушил, в институт в какой-то отправлял. И чуть что, заминка какая — за книжки садится.

— А почему все-таки он уехал, почему тайком?

— Не знаю, Петр Дементьевич. Чего не знаю, того не знаю. И мне не открылся. Чемоданчик сложил, сказал — в райзо, да так я его и не дождалась. Потом письмо прислал: извините, мол, книги дарю вам, мне то есть, сам-де в совхозе работаю, доволен.

— Да-а...— только и смог сказать Лаврентьев.

Заговорили о телятах. Долго, подробно рассказывала о них Елизавета Степановна, так долго, что Ася стала зевать и, пожелав спокойной ночи Лаврентьеву, ушла за перегородку. Вскоре оттуда донеслось ее ровное дыхание. А старшая Звонкая все говорила. И чем дальше она говорила, тем больше Лаврентьев убеждался в том, что никаких ошибок в работе телятницы нет. Все делалось правильно, по указаниям участкового зоотехника, добросовестно, с любовью делалось, но телята дохли и дохли.

— Может быть, и верно — снять меня надо? — Елизавета Степановна вздохнула.— Не гожусь я. Давно народ Антону толкует про это. Слышать не хочет. А почему не хочет — не пойму. С горем я человек, с большим горем. Кто знает, не от него ли, не от горя ли моего, и напасть такая идет?..

Видимо, расположил чем-то Елизавету Степановну к себе Лаврентьев, что заговорила она о своем горе, о чем не любила говорить с односельчанами.

Лаврентьев знал, про что толкует телятница, и промолчал, не желая тревожить ее душу. Но она снова вздохнула.

— Да, горькая я, всем от меня горечь. Вот и на вас, гляжу, тоску нагнала — приумолкли. И что это взялась дура-баба чаем поить мужика, простите за грубое слово, деревенское оно, да крепкое. Стопочку бы вам полагалось поднести.

Она выдвинула ящик комода, порылась там, и в руках ее удивленный Лаврентьев увидел бутылку с зеленой этикеткой.

— Что вы, что вы, Елизавета Степановна! — Как бы отстраняясь от бутылки, он поднял руку.— В праздник выпить — я еще понимаю, а сейчас — зачем!

— Для праздника и готовилось, Петр Дементьевич. Муженька своего ждала на побывку. Жди, написал, отпуск дают за хорошую службу. К Новому году жди. Как раз сорок пятый год подходил. Я и жду, жду, сама не своя, ноги легкие стали, что птица летаю. Ан, летаю, а уж и Новый год прошел, и еще неделя миновала. Тут-то ударило меня по темени — похоронную прислали. Схватилась за бутылку за эту злосчастную,— думала, напьюсь смертно — да и в прорубь головой. Где там!.. В сердце бабьем всегда зацепка найдется. Реву, а сама думаю — вдруг ошибся писарь, вдруг не тот адрес в руки ему попался, и жив-здоров едет где-нибудь в вагоне ко мне мой Феденька. Да так вот и дожила до сего дня — сколько лет прошло — с думкой такой... И бутылка живет, ждет кого-то. Только уж какая в ней водка — слезы мои.

Елизавета Степановна вынула полотенце из выдвинутого ящика комода, приложила чистый холст к глазам, утерла лицо, потом завернула бутылку и снова спрятала под стопку белья; задвинула ящик.

У Лаврентьева начинал ныть нерв в плече, он поморщился, потер плечо ладонью. Елизавета Степановна заметила это.

— Петр Дементьевич, глупая я, лишнего наговорила. Горе, горе! А и тебе не больно сладко. Хороший ты человек — присматриваюсь к тебе, да тоже вроде меня — бобылем живешь. Залетка-то или жена есть у тебя? Где она?

— Умерла, Елизавета Степановна.

Бесстрастно отсчитывали время деловитые ходики, подвывал ветер в сенях, хлопал не запертой на щеколду калиткой, шипело в лампе — все вокруг жило, как бы дышало, даже половица скрипнула без видимой причины, и лишь два человека сидели друг против друга безмолвные, тихие, погруженные каждый в свою думу.

— Ничего, Елизавета Степановна, выдюжим,— сказал Лаврентьев.— Где наша не пропадала!

Слова были бессмысленные, но он и она рассмеялись,— им очень хотелось «выдюжить».

Над селом висела черная осенняя ночь, когда Лаврентьев, не разбирая дороги, по памяти, как лошадь на пути домой, шагал по улицам. В окнах было темно, люди спали, только во втором этаже неуклюжего строения теплился розовый — от шелкового абажура — свет. Людмила Кирилловна бодрствовала. На занавеске отпечаталась тень — руки вскинулись к голове, и голова потеряла привычные очертания: вынута шпилька, волосы рассыпались. Зайти, что ли? Удивить, а может быть, и обрадовать? «Думала, будем с вами друзьями...»

Лаврентьев потоптался возле крыльца среди подмерзшей грязи, но розовый свет вдруг вспыхнул и погас — задули лампу, и он зашагал дальше. Наташа, Наташа, неужели ты никогда не вернешься? И никогда не расскажешь вновь о катанье на ледянках, о мальчишках и крутой горе, об отмороженном девчоночьем носике?..

## 2

Белый старичок, брат Ирины Аркадьевны, оказался занятным человеком. В отличие от сестры, он носил фамилию не Пронин, а Прошин, а по отчеству его величали — Антропович.

Лаврентьев узнал об этом лишь из расчетных ведомостей, потому что за полтора месяца никто ни разу не упомянул при нем ни фамилии, ни отчества колхозного пчеловода. Ирина Аркадьевна звала его — Дмитрий, колхозники же совсем просто — дядя Митя. Но в разнобое паспортных данных брата и сестры не было в общем-то ничего ни занятного, ни удивительного. Дореволюционный артистический мир, особенно провинциальный, насколько знал его Лаврентьев по литературе, требовал имен звучных. Легко можно было догадаться, что, попав на театральные подмостки, Арина Антроповна превратилась в Ирину Аркадьевну, и не в Прошину, а в Пронину.

Удивило Лаврентьева другое — то, что молчаливым дядя Митя был только в трех случаях: дома, при незнакомых ему людях и в местах официальных — в сельсовете, в колхозном правлении, куда он хаживал читать газеты, на собраниях. Зато на пасеке, где старик проводил добрую половину суток, он без умолку говорил. Тут, даже если вокруг него не было ни души, он давал языку полную свободу. Говорил с пчелами, с кустами смородины,

с яблонями, с дымарем, медогонкой, вощиной. К вощине речь держалась примерно такая: «Экая ты складная-то, аккуратненькая. Вот мы тебя разрежем, в рамочку вставим — пчелкам подмога будет, от лишних трудов избавятся матушки, на готовенькое медок понесут. Сколько бы хлопот им было понапрасну, а тут — вот тебе... Летай беззаботно, клюй нектар хоботком, тащи его в домик,— и людям и себе запасец на зиму...» Цеплялось слово за слово, и не было словам конца.

Пчелы — те, наверно, и работу бы бросили, прекратись однажды привычное им монотонное бормотанье деда. Дед напутствовал их на утренних зорях, поторапливал, подгонял в разгар дня, встречал вечерами, просил не сердиться, когда вытаскивал из ульев рамки, и не путаться в его бороде.

Если же случалось, человек зайдет на пасеку, поток речей обрушивался на него. Но колхозники к дяде Мите заходили редко, избегая пчел, которые, несмотря на повседневную воспитательную с ними работу старика, отличались характером злобным и неуживчивым. И только с прошлого года у старого пчеловода появился постоянный слушатель — Костя Кукушкин, белесый и, под стать пчелам, сердитый паренек лет четырнадцати. По собственной Костиной просьбе правление поставило его в помощники к дяде Мите.

Костя увлекся пасечным делом нежданно-негаданно для себя и при обстоятельствах не совсем будничных. Как раз в тот день, когда ему должны были вручать свидетельство об окончании семилетки, он заболел скарлатиной. Лежа в больнице, Костя мечтал о поступлении в техникум — в индустриальный, конечно. Кем он станет после техникума, это еще было неясно, но привлекало само слово «индустриальный», полное таинственного значения и связанное с другими, не менее величественными словами: блюминг, домна, мартен, прокатный стан, думпкар, конвейер... Он мысленно уже прокатывал что-то на этих станах, задувал домны, управлял блюмингом, представляя его себе в виде огромного утюга, как вдруг в руки ему попался листок из книги про пчел. В листок была завернута клюква, которую с передачей принесла мать. Красные кляксы от раздавленных ягод не помешали Косте прочесть о пятнадцатилетней Марусе Савкиной из кубанского колхоза, с десяти ульев получившей семьдесят пудов меду. «Вот так штука! — подумал пораженный

Костя.— На полуторке едва увезешь». Ему и в голову никогда не приходило, что с десяти таких дощатых ящиков, какие стоят на пасеке дяди Мити, можно накачать автомобиль меду. У Костиной матери мед хранился в глиняных кринках в кладовой, таскать она его не позволяла, выдавала только к чаю, и то не каждый день. А тут бочками, грузовиками... Но это еще что! Дело не в бочках,— Савкину-то орденом наградили за пчеловодство. Пятнадцать лет, девчонка,— и уже орден, как у Костиного отца, который, ой-ой-ой, сколько на свете прожил, да еще и на войне воевал. Ну и Маруська!

Разглядывая пропитанную клюквенным соком страничку, Костя принялся читать о том, как Савкина добивалась своего успеха. Но рассказ об этом оборвался на самом интересном месте — именно там, где говорилось, как девчонка, пробежав три километра за улетевшим роем, увидела его на вишневом дереве и как ей предстояло прежде всего поймать и посадить в маленькую клеточку всем делам заводчицу — пчелиную матку.

Второго листка не было. Костя лежал и раздумывал: поймает или нет? Наверно, все-таки поймает. А вдруг и нет, возьмет матка и дальше уведет свой сердитый народец.

Вечером Костя отдал листок санитарке тете Дусе и попросил ее зайти в школу, поглядеть, нет ли там в библиотеке такой книжки. «Если есть, принеси, тетенька Дусенька, пожалуйста».— «Ладно»,— пообещала тетя Дуся и целую неделю морочила Косте голову: то школа заперта, то библиотекарши нет, а под конец сказала, что книг ему библиотечных не дадут, он же инфекционный. Так Костя больше ничего и не узнал о Марусе Савкиной, но зато, когда он вышел из больницы, сразу побежал на пасеку к дяде Мите. Услышав о семи пудах меду с улья, дядя Митя покачал головой.

— Многовато хватил, малец. И не девчоночье это дело, Костенька. Пчела степенности требует, а откудова она, степенность-то, у девчонки. Семь пудов! Эко! Да я полста лет при пчеле, а вот три пудика... четыре собираю. И то хорошо, и за них хвалят в районе. Хвалят, Костенька. А что не хвалить? Пчелиную душу знаю, не отнимешь. Ты вот забежал сюда как шальной, потому — неученый. Ходить по пасеке неспешно надо, шагом ровненьким, спокойным. Или, скажем, улей. Попробуй подойти к нему задом,— нельзя.

— А на что к нему задом идти, дядя Митя?

— Оно верно, не к чему,— согласился озадаченный пчеловод.— Да только, если будет такое дело, взъярится пчела, крепко взъярится. Не любит. Лошадь потную опять же не любит. До смерти зажалить может. Слыхал, поди, про здешнего барона, который до революции владел тут всем. Вот не поостерегся, пренебрег, влетел на пасеку на жеребце. Чистых кровей конь был, огневой конь. Пчела навалилась — пал, тут ему и смерть пришла.

Дядя Митя призадумался, лицо его потемнело, брови повисли над глазами, что-то хотел еще сказать, не сказал. Но долго молчать не мог,— походили меж ульев вдвоем, снова заговорил:

— Хмельной — тоже сюда не лезь. Приезжал прошлым летом к нам председатель из захонского колхоза. Духовитый этакой, веселый заявился, прямо, думается, из винного погреба. Бац ему под один глаз, бац под другой, да за ухо, да в шею, в бровь, в нос... Перекосило, разнесло всего. Ты, кричит, натравил на меня их, собак! А разве я? Сам.

Завлекли Костю дяди Митины рассказы, завлекли книжки, которые он все-таки раздобыл, заманила удивительная пчелиная жизнь, и попросился паренек на пасеку. Не жалел теперь о том, что сбился с индустриального пути. Научился отделять в навыках и приемах старика толковое от пустого, ненужного, стал его правой рукой, а иной раз и сам верховодил; из книжек черпая уверенность в своей правоте, вступал с дедом в споры, настаивал на своем, помнил о кубанской казачке Марусе, которую за упорство, за смекалку наградили орденом.

Спорили, ссорились пчеловоды не на шутку — оба были упрямые, несговорчивые,— но никто никогда не слыхал этих ссор и, пожалуй, даже и не подозревал о них. Молодой, как старый, тоже считал, что пасека — святое место и тут должны царить покой и нерушимый мир. Пчела работает — мешать ей нельзя. Поэтому, когда возникал конфликт, оба уходили за омшаник, в заросли малины, и там, втайне от пчел — а получалось, что и от людей,— высказывали друг другу свое недовольство.

— Ты что же это,— свирепо шепчет дядя Митя,— дымарем-то глушишь без всякого смыслу! Пчела тут тебе или божия коровка?

— Да нá, нá!..— Костя тычет ему в лицо усыпанные черными точками пчелиных укусов, загрубевшие пальцы.—

Хочешь, чтобы всего, как баронского жеребца, меня съели? Подумаешь, подымлю маленько! Зато в глаза не лезут. Человек у нас дороже всего, понимать это надо!

— Тьфу! Человек! А мед-то для кого мы собираем, сивая твоя голова, как не для человека. О человеке и забота наша.

— Ну и нечего заживо меня насекомым скармливать. Дымил и дымить буду!

— Прогоню.

— Не выйдет!

Дядя Митя и сам знал, что «не выйдет» расстаться с Костей. Привык к нему, и даже к ссорам с ним привык, затосковал бы, уйди от него этот ершистый парнишка. Пятьдесят лет в одиночку на пасеках жил, думал — так и надо, иначе и быть не может, а появился рядом с ним живой человек, пусть еще и не больно самостоятельный,— привязался к нему всей душой, и до того привязался, что даже Ирина Аркадьевна удивлялась: «Такой затворник был, а теперь чуть что — к Костьке своему бежит. Метаморфоза на старости лет! С чего?»

Лаврентьев не знал, каким дядя Митя был до появления Кости Кукушкина на пасеке, видел обоих пчеловодов всегда вместе, чувствовал, что они дружны, и думал: «В общем, славная бригадка, хоть и маленькая».

Сделав для себя правилом систематический обход колхозного хозяйства, он не очень часто, но все же регулярно заглядывал и на пасеку. Пасека была по здешним местам богатая — более полусотни ульев. Пятью рядками стояли они в глубине сада, в том его краю, где яблони подступали к речному обрыву. Дощатый сарайчик, с окнами, в которые были вставлены парниковые рамы, отчего он издали казался теплицей, хранил пчеловодный инвентарь и служил убежищем для пасечников в летние полуденные часы. Бревенчатый омшаник, окруженный кустами малины, как нельзя лучше оправдывал свое мохнатое название. Крыша его покрылась изумрудными пластами похожего на бархат мха, стены жесткой серой чешуей обкидал лишайник. Щурами и пращурами веяло от этой избушки, древними славянскими лесными стойбищами. Так и думалось — вот распахнется дверь, грубо сколоченная из толстых тесин, возникнет на пороге, кряхтя, старый-престарый серебряный дед с льняной бородой, в белой рубахе до колен, выведет трех молодцов. Натянут молодцы тугие луки, пустят в белый свет калены стрелы

и уйдут вслед за ними на тридцать три года — искать счастье. А дед сядет на валун-камень и будет терпеливо ждать их обратно — кого с мешком золота, кого с добрым конем, а кого и с лягушкой в узелке.

Но как бы ветхо и сказочно ни выглядел седой омшаник, он свое дело делал, исправно оберегая пчелиные семьи от зимних холодов.

В конце ноября повалил снег, густо, будто там, вверху, по выражению дяди Мити, лопнули все небесные перины. Лаврентьев в этот день застал на пасеке необычную суету.

— Говорил тебе,— выкрикивал дед,— вчерась надо было управиться!

Они с Костей на носилках таскали ульи в омшаник. Костя хотя и виновато, но упрямо отвечал, стараясь не сбиться с ноги:

— Холоду пчела не боится. У других они и вовсе на улице зимуют.

— Зимуют! А сколько меду съедят? От холоду они прожорливые.

Лаврентьев подошел к омшанику. В тесных сенцах возился Савельич. Он веником сметал с ульев рыхлый снег.

— Здорóво, дед! — окликнул его Лаврентьев.

— Здоров-то здоров, да не больно. Дай-кось прикурить.

— Омшаник спалишь.

— Ништо, он завороженный, сорок лет стоит.— Старик прикурил, хмыкнул.— Лодырь, толкуют, Савельич, харч не оправдывает. А гляди, как спозаранок втыкаю. Пар от спины валит.

— Незаметно что-то пару,— послышался голос из темной глубины омшаника. Оттуда вышел Карп Гурьевич.— Спина твоя сухонькая. Вот, Петр Дементьевич, привел его пчеловодам подсобить — никакого толку. Ульи там расстанавливаю, прошу: «А ну, взяли!» Пупок, говорит, дрожит, не сдюживает. Велел хоть снег сметать, и то дело.

У Савельича кашель перемешался со смехом.

— Мне, голова, осьмой десяток,— перхал он.— Мне полный пенцион полагается, законно если судить. Пирог с печенкой от казны, сороковка и все прочее.

— От казны! А казна-то от тебя много получила?

— Не спопашился, Карп Гурьевич, опоздал. Старый. Будь моложе, делов бы наворочал.

— Ну давай, давай, маши веником! — Карп Гурьевич снова исчез во мраке омшаника.

Лаврентьев отошел, присел на камень, на котором сказочный дед должен был поджидать своих сыновей из дальних странствий, задумался. Удивительное дело, до чего издревле пчеловодство привлекает стариков. Что их манит сюда? Не мудрое ли и размеренное трудолюбие пчел, или, может быть, тишина, покой, которые как нельзя лучше отвечают неспешному течению старческой мысли?

Для Савельича это, пожалуй, да — важен покой. Но Карп Гурьевич... Нет, он не созерцатель, он сам трудолюбив, как пчела. Дядя Митя рассказывал однажды его историю. Разговор начался с того, что Лаврентьев спросил, о какой посадке Карпа Гурьевича на хмелевый кол болтал Павел Дремов. Дядя Митя подтвердил — посадка была, но совсем не такая, как изображал ее злоязыкий Павел. Еще в молодости, прослышав от кого-то о летательных аппаратах, Карп Гурьевич, в те времена Карпуха, соорудил крылья из лучин и овечьей кожи и прыгнул с крыши отцовской избы. Ветром его отнесло в огород, в шиповниковые кусты, он изодрался в кровь, охромел на неделю, но ходил гордый и самодовольный. Доказал односельчанам, что человек летать может, лишь бы он этого захотел.

Кожаные крылья не были единственной и случайной фантазией молодого Карпухи. Он родился с душой изобретателя и, переняв от отца столярное мастерство, меньше всего занимался табуретками, столами, оконными рамами и другими полезными в крестьянском обиходе поделками, а, как говорили односельчане, штукарил. Было дело как-то на пасху. При большом стечении народа с церковного пригорка пошла невиданная зверюга — натуральный телок, с глазами, хвостом, молодыми рожками. Телок тяжело переставлял неуклюжие, негнущиеся ноги, переваливался с боку на бок — и шел, и был он деревянный. Сработал его Карпуха,— всю зиму над ним возился. Телка́ у Карпухи купил трактирщик, перепродал заезжему чиновнику из земства; о деревянном самоходе писали в губернской газете — диковина, мол, плод российской дури. Так и пошло это, прилипло к Карпухе — дурит человек. Сдурил он и с подводной телегой.

Река воскресенская, Лопать, в летние месяцы мирная, ленивая — весной непреодолима, долго идут льды, потом

разлив начинается, стремнины. Недели на две возникает бурная преграда на пути в заречье, где, бывало, в стогах зимовали помещичьи сена́ да бурты с турнепсом. Как подавать корм на ферму? Карпуха подумал — и предложил барону устроить деревянный ящик на тележных колесах, чтобы прямо под ходом льда таскать этот ящик по речному дну на канатах, как паро́м. Барон посмеялся, сдал Карпухе заказ на такую механику. Паро́м получился на славу, просмоленный, прочный, с глухой, не пропускающей воду крышкой. Действовал он тоже на славу, воротом перетягивали его с берега на берег. Двадцать рублей отвалил Шредер мастеру за труды. Но паром жил недолго — застрял в подводных камнях и так и по сию пору гниет где-то в черных омутах. Может, сам соминый царь — есть тут такой сомище, как из пушки бухает хвостом по воде июльскими вечерами — квартиру себе в нем оборудовал.

Кто его знает, сколько бы еще куролесил Карпуха, если бы беды не натворил. Беда пришла в самую неподходящую пору. Женился парень, красивую девку, Стешу, взял из соседней деревни, и вот надумал отцовскую усадьбу благоустроить — яблонь насадить, ягодников, цветничок разбить. Здоровенный камень лежал посреди огорода. Как такие камни убирают в крестьянском хозяйстве? Выроют рядом яму, спихнут его туда, закопают, лишнюю землю — враскид. У Карпухи все делалось не по-людски. Ухнуло как-то раз, грохнуло в Карповом огороде, дым к небу взметнуло. Прибежали соседи, видят — лежит Стеша на земле возле коровника, в крови, в молоке, пролитом из подойника. А дальше, меж гряд с репой, и самого Карпуху нашли. Убились оба. Камень-то он порохом подорвал. Да не предупредил Стешу свою, как раз вышла она из коровника, окончив дойку. Гранитным осколком и ударило ее в голову. И самого не пощадило. Но сам выжил, только волос лишился — опалил череп, перестали расти, а Стеша, как говорится, отошла. Похоронил ее, и завял человек. В то время мировая война начиналась, четырнадцатого года, ушел Карпуха на нее добровольно и только через девять лет вернулся в село — с тремя «георгиями» и с орденом Красного Знамени. Где ни воевал, в какие пекла ни кидался, по жене тоскуя, — смерти не нашел, лишь геройством везде отличался невиданным. Живет теперь бобылем. Хотя как сказать — бобылем: двух сирот чужих растит, взял из детского дома;

старшему уже шестнадцатый год пошел, младшей не то четырнадцать, не то пятнадцать. Одним из первых в колхоз записался в свое время, хороший мастер, в чьем только доме мебелишки не сыщешь, изготовленной его руками. И по красному дереву может, и под птичий глаз, и как хочешь. Да, большой мастер. А в жизни неудачливый.

Рассказал эту историю Лаврентьеву дядя Митя как-то вечером, когда Ирина Аркадьевна ушла погостить к Людмиле Кирилловне и они остались в квартире одни. Лаврентьеву после этого очень хотелось самому поговорить с Карпом Гурьевичем, человеком такой необычайной биографии, но все не было подходящего повода к обстоятельному разговору. Говорили, что старый Карп не любит, когда его попусту тревожат дома, а в столярной мастерской — там он занят, хмур и неразговорчив, там он орудует рейсмусом, фуганком, пилой — не подходи.

Теперь случай был, пожалуй, удобный: Лаврентьев решил дождаться окончания работы в омшанике и пойти, как бы невзначай, по дороге с Карпом Гурьевичем в село. Погруженный в свои мысли, он не услышал, как, мягко ступая, подошел дядя Митя.

— Ну вот, Петр Дементьевич, и управились.

Савельич раскуривал цигарку. Карп Гурьевич, сняв шапку, синим платком утирал лысую голову, на которой таяли снежинки. Костя Кукушкин запирал на висячий замок дверь омшаника.

— Товарищ агроном,— говорил паренек, не оборачиваясь,— мышеловки велите купить. А то мышь теперь, как похолодает, с полей в дома повалит, на зимовку. Гляди, и до ульев доберется.

— Верно, верно,— поддакнул дядя Митя.— Напакостит. Надобны мышеловки. Две есть,— мало... Капканчиков бы еще...

Заперли омшаник, заперли инвентарную сараюшку, оглядели все в последний раз,— пошли, протаптывая в снегу пять стежек. Дядя Митя свернул к дому, пропал в яблонях и вишнях. Костя убежал вперед — не выдержал степенной ходьбы. Скоро и Савельич попрощался, зашаркал красными, из автомобильной резины, галошами в свой проулок.

— Богатое хозяйство — пчельник наш,— сказал Карп Гурьевич, вышагивая рядом с Лаврентьевым.— Вторая по

доходности колхозная статья. Первая — огородное семеноводство. Крепко его поставила Клашка.

О Клавдии, старшей сестре жены Антона Ивановича, Лаврентьев уже слыхал не раз. За два дня до его приезда в колхоз, закончив все свои огородные дела, она отправилась в область на семеноводческие курсы и вернется только в феврале. Ему не терпелось ее увидеть, потому что о ней рассказывали просто чудеса. Антон Иванович, тот прямо заявил, что, если бы не Клавдия,— колхозу бы форменная труба была. В прошлом году сто восемьдесят тысяч доходу семеноводки дали и нынче полных двести. А звенишко — пять баб, да и то одна из них старуха, бабка Павла Дремова — Устинья.

— Рыжова у вас молодец,— согласился с Карпом Гурьевичем Лаврентьев.— Двести тысяч!..

— Дядя Митя почти сто дал,— продолжал Карп Гурьевич.— И больше бы вышло,— хозяйство у нас неправильное, Петр Дементьевич. Клевера вот... Где они, клевера? Вымокают. Видели сами, поди, севооборот какой непутевый составлен. Бились, бились с клевером лет десять, бросили: убыток, да и только. На верхних местах семь деляночек — гектаров восемь от силы. Или за гречиху, скажем, взяться... Пчела бы разгулялась, она бы нанесла меду. Эх, Петр Дементьевич, Петр Дементьевич! Губит нас болото, без ножа режет, крылья связывает. И откуда идет — ума не приложишь. Вроде бы и леса кругом, и река воду сосет, а вот на тебе.

— Карп Гурьевич,— спросил Лаврентьев,— вы здешний старожил, хорошо, наверно, помните, как хозяйствовал помещик?..

— Э, помещик! — поняв его мысль, не дал договорить Карп Гурьевич.— На дешевых наших руках помещик держался, поля у него через каждые пять сажен — а то и чаще — канавищами были исполосованы. Его дело какое? Ни трактора ему не надо, ни сеялки, ни жнейки — батрак на своем горбу все вывезет. Далеко вперед барон не заглядывал, живет сегодня, сам-три, сам-четыре получает, сыт, на ром — ром он любил,— на картишки монета есть, и доволен. Дикий человек был, серый. Не годится нам, Петр Дементьевич, на помещика оглядываться. Не через канавы наш путь лежит... Ну, может, ко мне зайдете?

Они стояли возле заметенного снегом крыльца домика Карпа Гурьевича. Лаврентьев обрадовался такому

приглашению,— разговор с колхозным столяром ему нравился, и сам столяр нравился, и вся его удивительная биография.

— С удовольствием! — согласился он, подымаясь на крыльцо.— Ноги озябли. А что это у вас? — заметил над окном белые чашки фарфоровых изоляторов.— Разве в селе было электричество?

— Я не барон,— ответил как-то непонятно Карп Гурьевич.—Не одним сегодняшним днем живу. Пошли!

В доме у него были две комнаты. В первой вместо русской печки стояла голландка с плитой, выложенная голубыми изразцами, круглый стол, полированный под красное дерево шкаф, деревянная кровать, мягкий диван. Тут было тесновато. Когда Лаврентьев снял пальто, Карп Гурьевич сказал:

— Это ребячье жилье, вот скоро из школы придут, за уроки усядутся. В мое логово прошу! — И распахнул дверь во вторую комнату, пропуская гостя вперед.

Лаврентьев вошел и остановился, пораженный. Ему показалось, что он попал по меньшей мере в кабинет какого-нибудь научного работника. Вдоль стен до самого потолка — полки с книгами; как и в первой комнате — мягкий диван, но уже не с подушками, а с высокой спинкой, над которой снова полки и снова книги. Отличные стулья, глубокие кресла, ковровая дорожка на крашеном полу. И главное — стол, большой письменный стол, с львиными мордами, с зеленым сукном, чернильным прибором из уральского камня и с лампой на высокой бронзовой подставке. В узких простенках между окнами — обрамленные строгим багетом портреты Ленина и незнакомого, с косматой бородой, хмурого старика.

Карп Гурьевич заметил, какое впечатление произвела на Лаврентьева обстановка кабинета, и сказал:

— Полный буржуй, думаете? На масло, на яйца выменял, как иные? Ошибочка будет. Собственными руками каждая вещь сработана. Не каждая, положим,— поправился он тут же.— Приемник вот — купил. Книги двадцать лет приобретаю...

— Радио, значит, слушаете? Завидую вам, Карп Гурьевич. От жизни отстанешь без него — районная газета и та лишь на второй день сюда приходит.

— Не завидуйте, Петр Дементьевич. Молчит. Батареи выдохлись. Вот вы про изоляторы спросили. Скажу без утайки — для собственного обману их поставил, и про-

водку для этого же сделал. Видите! Штепселя, выключатели... Наперекор всему иду. Нет, говорю, электричества,— будет! Плюну тогда на эти батареи, включу приемник в штепсель — и заговорил. Другие как рассуждают? Лампочка Ильича! Зажжется, мол,— тараканы уйдут из домов, ложку мимо рта не пронесешь. А мы и так ее, ложку-то, не пронесем мимо, и при керосиновой лампе. Другое дело — приемники эти глохнуть не будут, молотьба, опять же, куда как проще пойдет и всякое такое, хозяйственное... Спорчей труд. Вот, думается, как Ильич мыслил про электрификацию. Не про одну лампочку — про большую силу. Электрическими плугами, слыхал я, пахать стали где-то на Украине. Это — да. Для себя-то если — для себя и ветрячок поставить можно с динамкой.

— Можно?

— А почему нельзя! У меня тут есть... Да вы садитесь, Петр Дементьевич. Не бойтесь, мебель прочная, свои, говорю, руки постарались. Вот сюда.

Карп Гурьевич усадил Лаврентьева на диван, достал из ящика стола альбом с чертежами типовых проектов энергетических колхозных установок, сел рядом.

— Антону предлагал: давай установим ветрячок, хотя бы воду качать на скотный. Обрадовался Антон, ничего не скажу, уцепился, давай, говорит. А как до дела дошло, кого мне в бригаду назначить, рук-то свободных и нету. Вот тебе и давай. Второй год с предом этак объясняемся, и все на мертвой точке. Ну, шут с ним, с ветряком. Главное, Петр Дементьевич, болото бы побороть. Хитрое ведь какое — сверху сухо, снизу мокро. Корни гниют. До чего дошло! В самом что ни на есть засушливом году, в сорок шестом, когда у других и репьи, не то что хлеб, погорели, в нашем краю — вымочка! И смех и грех.

Лаврентьев уже с полчаса слышал шаги в соседней комнате, негромкие голоса. Наверно, ребята вернулись из школы. Он подумал, что, может быть, Карп Гурьевич и в дом к себе редко кого приглашал, чтобы не мешали ребятишкам уроки готовить, и поднялся.

— Мне пора. Хочу еще спросить вас — кто этот старик?

— Этот? — Хозяин обернулся ко второму портрету.— Отец мой. Маслом писано. В давние времена. Я еще мальчишкой был, художник к нам в село приезжал из Москвы. У нас в доме останавливался, ходил по округе, картины рисовал — рощицы, речку, поля. Россия у вас,

говорил, настоящая Россия. Вот она, матушка. Красивше ее нет на свете. Ну и вот отца изобразил. Тоже, мол, Россия. Один портрет с собой увез, другой — в точности — отцу подарил.

Лаврентьев не ошибся. Надевая пальто, он увидел приемных детей Карпа Гурьевича. Мальчик и девочка сидели друг против друга за круглым столом и старательно писали в тетрадках.

### 3

Бригадир-полевод Анохин был самым многодетным жителем Воскресенского: десять сыновей и одна дочка. Восемь из них родились до войны, трое — в последние годы. «Ну, брат, ты того, Ульян!..— недоумевали и одновременно восхищались его сверстники, когда, то ли весной, то ли осенью, зимой или летом, снова и снова приходили поздравлять Анохиных с прибавлением семейства.— Уж и поздравлять ли, неведомо... До коих же пор такое дело мыслится?» — «А чего не поздравлять! — отвечал Анохин.— Поздравляйте. Принимаю. Вот догоним с Василисой до двадцати, тогда скажем: точка».

Не все ребята жили в семье. Старшей дочери перевалило за двадцать один, она училась на филологическом факультете Московского университета. Как начала в школе писать стихи, так и пошла, пошла по этой, вначале сильно изумившей отца с матерью дороге. «Беда,— говорил в ту пору Анохин.— «Возле печки две овечки, под кроватью сапоги. Поплывем с тобой по речке, только трогать не моги». Какая же это профессия!»

Минувшим летом к Василисе примчалась секретарь сельсовета Надя Кожевникова. «Тетя Вася! — закричала она еще с порога.— Шурка-то ваша, Шурка!..» — и бросила на стол раскрытый на середине журнал.

Василиса испуганно взяла журнал в руки, увидела черные большие буквы: «Мать» и под ними помельче: «Александра Анохина. Рассказ». Поспешно, трясущимися пальцами надела очки. Ее дергал за подол юбки Семка ползункового возраста, тыкался в колени и хныкал ходунок Витюшка, во все горло орал в кроватке грудной Генька, толпились вокруг, выжидательно смотрели, щиплясь, показывая языки, отвешивая друг другу подзатыльники, Васька, Лешка, Фролка и Борис. Но Василиса как рас-

крыла журнал, так никого и ничего не слышала и не видела. Перед ней проходила ее трудная жизнь, со всеми этими Геньками и Васьками, с бессонными ночами возле их колыбелек, с тревогами и радостями, с ошпаренными кошками, разбитыми носами, с ожиданием отцовских писем с фронта. «Правда, правда, доченька, все правда...» — шептала она, и слезы капали на раскрытые страницы. Не выдержала, всхлипнула. Ребята кинулись ее обнимать, ползунки и ходунки заревели пуще прежнего. «Отца зовите! — приказала Василиса старшим.— Живо чтоб его найти, ребятушки...»

Пришел с поля Ульян, тоже читал дочкино сочинение, тоже чуть не прослезился; изменил мнение. «Да,— хмыкал и гмыкал,— а профессия-то вроде бы и ничего, мать. За печенки взяла нас с тобой Шурка. Считай, в люди вышла».

Вышли в люди и старшие сыновья — Кузьма с Николкой. Кузьма служил механиком на лесоразработках, Николка — трактористом в МТС. От обилия мальчишек в доме творилось невообразимое. Шум, крики, ссоры весь день; неистребимый хлам в углах, на печи, под столом, в сенях — всяческие самострелы, рогатки, западни для ловли птиц, банки с вьюнами и щуренками, ежи, хромоногие сороки, щенки и котята. На крыше день и ночь гудят ветряки, фундамент избы подкапывают кролики, в бесчисленных скворечниках пищат птенцы. «Как у тебя, Ульян, помутнение разума не случится от такого веселья?» — спросит иной раз кто-нибудь из соседей. «Привычка»,— отмахнется Анохин.

Но не только привычка помогала Анохину справляться с громадным своим семейством. Была у него особенная система воспитания ребят. «Человек учится у человека, и человек учит человека — так на земле ведется,— внушал он им.— Ты, Лешка, к примеру, в восьмом классе, а ты, Васька, в седьмом. Значит, что? Значит, Лешка Ваське шефом должен быть, полным руководителем. И Ваське от этого польза-помощь, как говорится, и Лешке — не позабудешь пройденного».

По этой системе вся ребячья лестница, начиная с малышей, последовательно подчинялась старшему. Неразрешимые вопросы решал он сам, отец. Было их, этих вопросов, множество, ребята то и дело обращались к отцу, и получалось так, что вместе с сыновьями год за годом учился и отец. Довольно основательно, хотя и в беспорядке,

знал он в пределах школьной программы историю, естествознание, химию, физику, постиг грамматику настолько, что, когда ребята устраивали ему коллективную диктовку, особо грубых ошибок они в ней не находили. Только алгебра и тригонометрия никак не давались Анохину. «Мозги, видать, ребята, у батьки вашего подсохли, — посмеивался он. — Заработался старик».

Работал он много,— у колхозного бригадира всегда работы хватает. И работал хорошо. Привыкнув заниматься с ребятами, читал агрономические журналы и книги, следил за наукой, за достижениями передовиков сельского хозяйства и, как ни странно, при такой ответственной должности и при громадной шумной семье был человеком на редкость спокойным. «Вот семейка-то меня и закалила,— объяснял он причину своей выдержки и спокойствия.— Нервов у меня нету, заместо них луженая проволока».

Лаврентьев Анохину понравился, и тоже, как все у Анохина, по особой причине. «Дел, конечно, мы от него еще никаких не видим. Да как увидишь! В неудачливую для этого пору он к нам заявился: осень, зима. Но вот что скажу тебе, Антон, в нем главное: выдержка и опять же спокойствие»,— высказался он перед председателем с глазу на глаз.

Вскоре после того, как Лаврентьев побывал у Карпа Гурьевича, Анохин залучил его к себе. Было воскресенье, вся бригадирова орава отдыхала от школьных трудов. Галдеж, шум потасовки, гулкие удары со двора в наружную стену, в которую мальчишки метали копья, визг и лай щенят поначалу ошеломили Лаврентьева.

— Про жизнь хочу потолковать, Петр Дементьевич,— начал могучим басом Анохин, принимая к себе на колени ходунка Витюшку, который сразу же взялся размазывать ладонью оброненный на столе кусочек масла.— Скажем так: пшеница. Посеяли мы ее под зиму двадцать гектарчиков. А какая пшеница, ты и сам знаешь,— отборная, семенная, с опытной станции привезли. Не пшеничка — золото. Велено нам ее размножать и, значит, не только себя, а еще и соседей обеспечить семенами на тот год. Задачка с иксом, да еще и с игреком. Икс — приживется ли она у нас вообще? Никогда прежде в наших местах пшеницу не сеяли. А игрек — если приживется, то выдержит ли здешнюю почвенную кислоту и выстоит ли перед весенней распутицей, перед водой, значит?

Заговорили об агротехнике выращивания пшеницы. Анохин, как выяснилось, в теории знал ее отлично, и практически с осени было сделано все, чтобы пшеница уродилась: правильно обработали землю, хорошо удобрили, в лучшие сроки посеяли.

— И главное,— басил бригадир,— уход за ней поручили девчатам-комсомолкам. Страсть как рвались они на это дело. Я, понятно, ответственности с себя не снимаю, ни-ни. Нельзя. У захонских как летось было? Распределили посевы по звеньям — бригадир и рад, на печку... А что вышло? В одних звеньях что-то такое уродилось, скажем прямо — подходяще уродилось. В других — провал вышел. С кого спрос? Со звеньевых? А почему это со звеньевых, бригадир же есть! Он, конечно, есть, да с печи ему не слезть. Нет, я ответственность свою знаю. Но и без помощников, считаю, жить нельзя. Вот и взял в помощницы Асютку Звонкую с подружкой ее — девчушка такая у нас есть славненькая, Люсенька Баскова. Крепко стараются. Ах ты, шкодник!..— воскликнул Анохин, опуская на пол Витюшку и стряхивая с коленей теплую влагу.— Мать, давай-ка ему запасные портчонки... Что ни день, этак плаваю с ними, Петр Дементьевич.

Пообедали, попили чайку с горячими пирогами,— снова говорили об агротехнике. Лаврентьев собирал в памяти все, что только знал о выращивании пшеницы. Но Анохин знал не меньше его, и оба они ломали головы над задачей с иксом и игреком.

— В общем, думай не думай — надо ждать весны, она покажет дело,— сказал Анохин.

— Покажет-то покажет, но какое? — Лаврентьев катал по клеенке крошечный, размером в дробину, хлебный шарик.— А что́, если история повторится и пшеница вымокнет? Тогда снова ждать весны, следующей?

— Год на год не приходится.

— Не имеем мы права так рассуждать, Ульян Фролович. Мы обязаны сделать все, что только от нас зависит. Как у вас насчет дренажа?

— Делали, делали, Петр Дементьевич. Еще до войны. Когда первый раз севооборот вводили. Фашинник, хворост прокладывали под землей. Затянуло его глиной. Конни теперь — никаких дренажей и помину нет. Да что — теперь! На другое лето наша мелиорация перестала действовать. Прямо скажем, как у Николая Васильевича Гоголя: заколдованное место.

— А гончарные трубы не пробовали прокладывать?

— Гончарные? Гончарные — нет, не дошли. Дорогая штука.

— Сколько бы они ни стоили, придется, полагаю, о них подумать, Ульян Фролович. Единственно надежный и правильный выход.

— Подумать можно. А в общем-то, весны, весны ждать надо.

Лаврентьев не ответил. Он вспоминал лекции одного из своих профессоров, который говорил, что дренирование гончарными трубами — будущее мелиорации в северных и северо-западных областях. Густая сеть труб, проложенных под землей, способна в короткий срок осушить самые зыбкие, самые заболоченные земли и в комплексе с другими агротехническими мерами сделать их не менее плодородными, чем земли юга.

Анохин достал из своих бригадирских папок план полевых угодий, вместе долго их рассматривали, подсчитывали потребное количество труб, изумленно и растерянно глядели друг на друга, когда выяснилось, что этих труб понадобятся десятки километров.

— И все-таки,— сказал Лаврентьев твердо,— другого выхода у нас нет.

Теперь не ответил Анохин, задумчиво почесывая бороду.

Расстались они довольные друг другом. Лаврентьев убедился в том, что в полеводстве у него есть хороший помощник. Анохин же так высказал жене свои мысли об агрономе:

— Проверить хотел его, мать. Загадал: не скиснет в нашей семейной обстановочке — значит, мужик крепкий. Скиснет — плохо дело. Выдержал, гляди! И думает с разлетом, не то что Кудрявцев был.

## 4

Антон Иванович помнил о своем обещании оборудовать квартиру Лаврентьеву. Как только установилась зима, он дал наряд двум плотникам и Карпу Гурьевичу. Подвезли бревен, досок для полов, и начался ремонт.

— Нажмите, ребятки,— бодрил председатель плотников.— Чтоб к Новому году новоселье агроному устроить. Такова задача,

В клубе было множество комнат. Одни из них когда-то занимала библиотека, другие — драматический кружок, которым руководила Ирина Аркадьевна, в третьих — обосновались пионеры, в четвертых — думали создать агрокабинет, натащили туда снопов ржи и пшеницы, ящиков с колбами и пробирками, тарелок для проращивания семян (черепки и осколки валялись там и по сию пору), но большинство помещений даже и в довоенные годы пустовало, никак не могли их освоить. Главная помеха была та, что клуб далековато отстоял от села и не каждого туда заманишь, особенно в распутицу да в зимние холода. А в годы войны, от немецких бомб, от случайных постояльцев — от беженцев, от армейских и дивизионных тылов, совсем развалился и обветшал клуб.

— В такой развалине одной сове жить, а не человеку,— высказал свое мнение Карп Гурьевич, когда узнал о затее председателя.

Но Антон Иванович думал иначе. Живут же там Пронины, и неплохо, культурно живут. За развалину только взяться как следует — дворец будет; туда всю интеллигенцию можно поселить: за агрономом врачихи, Людмилы Кирилловны, очередь придет, потом и учителей — их пятеро. Он сам осмотрел, обошел все здание, нашел две подходящие комнаты, рядом с пронинской квартирой — через капитальную стену.

Заглянув в эти комнаты, и Карп Гурьевич согласился: верно, жилье, пожалуй, получится.

Лаврентьев пробовал протестовать: зачем ему квартира, да еще из двух комнат.

— Лучше бы, Антон Иванович, дом под колхозное правление построить. А то не правление у нас — хлев. Стыдно для такого большого колхоза.

— Урожай подымем, без канцелярии нас уважать будут,— резонно отвечал Антон Иванович.— А не подымем — хоть аэровокзал сооруди, все равно плохо, никакого тебе уважения.

Антон Иванович так энергично хлопотал о жилье для Лаврентьева потому, что он видел в Лаврентьеве не только агронома с большим — высшим! — образованием, но еще и артиллерийского офицера, командира батареи. Старшина привык на войне считать своей обязанностью заботу о командире.

Ни плотники, ни Карп Гурьевич, ни печник, специально приглашенный из дальнего села, у него не сидели без

материалов или подсобной силы. И получилось так, что не к Новому году, а дней за десять до первого января квартира Лаврентьеву была готова. Антон Иванович послал туда женщин для уборки, и, когда привел наконец Лаврентьева, комнаты его, правда полупустые, блистали ослепительной чистотой, и дед Савельич, не жалея дров, топил печи.

— Живите, товарищ агроном, на полное здоровье! — радостно и торжественно заявил Антон Иванович, пожалуй, больше, чем Лаврентьев, довольный результатами своих хлопот. — Еще скажу: и вперед не пожалеете, что приехали к нам в Воскресенское.

Ирина Аркадьевна — это Лаврентьев видел и чувствовал — искренне огорчилась, узнав, что он переселяется от нее за толстую каменную стену.

— Привыкла к вам, знаете, очень привыкла.

До вещей ему дотронуться не дали: «Что вы, что вы, руку повредите!» Дядя Митя перетащил его чемодан, потом принес ореховую тумбочку, на которую Ирина Аркадьевна поставила олеандр. Посмотрела прищуренными глазами, передвинула тумбочку ближе к окну, потом ушла к себе,— и так уходила и приходила раз пятнадцать, и каждый раз приносила с собой какую-нибудь мелочь. Мохнатый половичок к кровати, салфетку на стол, бронзовую пепельницу, графин с водой.

В новой квартире засиделись до полуночи. Снова пришел Антон Иванович, привел с собой Марьяну. Ему не терпелось похвастаться перед женой тем, какое великолепное жилище оборудовал колхоз агроному. В колхозе это была крупнейшая стройка за последний год, и стройка явно городского типа. А председателя — Лаврентьев заметил — привлекало все городское, душа его протестовала против соломенных крыш, непролазной осенней грязи немощеных улиц, дедовских лавок, испокон веков заменявших в крестьянских домах стулья, подслеповатых, маленьких окон, керосиновых коптилок.

— Вот, Марьянушка, как надо жить в деревне! — восхищался Антон Иванович.— Паровое бы еще отопление, ванну, и точь-в-точь — московская квартира. Ну чего тебе тут недостает?

— Хозяйки,— лукаво стрельнув глазами, усмехнулась Марьяна.

— Во! Это верно, это верно! — Антон Иванович оживился, подсел к столу, где Ирина Аркадьевна накрывала

к чаю.— Хозяйка — такова ближайшая задача! Люблю гулять на свадьбах. Для такого случая и про кишку бы позабыл — выпил бы стопочку.

— Заждетесь, Антон Иванович,— отшутился Лаврентьев.— Жених незавидный — переросток, да еще и инвалид.

— Глядите на него — переросток! Тридцати человеку нет. Да хочешь, завтра же найду невесту? Хочешь?

— Сватайте, Антон Иванович, сватайте! — Ирина Аркадьевна захлопала в ладоши.

— Докторша Людмила Кирилловна — это ли не невеста? — Антон Иванович загнул указательный палец.

Лаврентьев молчал. Опять Людмила Кирилловна! Он почувствовал на себе внимательный взгляд Ирины Аркадьевны, начал краснеть и страшно обрадовался, когда Антон Иванович загнул средний палец.

— Учительница Новикова — тоже, скажешь, не годится? Или, нет, постой, постой! Вот это — да, вот это невеста! — воодушевленный новой мыслью, Антон Иванович сложил все пальцы разом.— Кланька!.. Вернется — сам раздумывать не станешь.

— Клавдия Кузьминишна? — Ирина Аркадьевна недоуменно подняла брови. Лаврентьев чувствовал, что она потеряла всякий интерес к разговору, как только миновали Людмилу Кирилловну, а упоминание имени сестры Марьяны ее просто-таки встревожило.

— Она, она, Клавдия! — Председатель, не заметив перемены в настроении Прониной, обращался главным образом к ней, как бы за советом.— Точка! Я и расписывать ничего не стану, увидит — в огне сгорит. Грешный человек, полгода решения не мог принять, кого сватать — Марьяну или ее. Ну не серчай, не серчай,— погладил он по плечу жену.— Сестра же она тебе. На куски, думал, порвусь. Обе любы, что хошь, то и делай! К Марьянке сердце перетянуло. И не потому вовсе, что лучше она. Ну, опять прошу, не серчай,— снова погладил он округлое плечо.— С норовом Кланька, с закавыкой. Начальствовать любит — не подходи! Порох и пламень. Толовая шашка. Что не так — бух, бах,— разнесло. А сама собой... н-да!..

Все задумались, разговор как-то иссяк. Попрощались и разошлись. Ирина Аркадьевна перед уходом сказала Лаврентьеву:

— Людмила Кирилловна сегодня заходила, просила передать вам большой привет.

Оставшись один, Лаврентьев, как он это обычно делал утром и вечером, принялся упражнять больную руку. Сгибая в локте, стараясь напрягать бицепс, подымал кверху, опускал до пола; положил на стол, по очереди работал пальцами; на протянутой ладони, сколько только мог, неподвижно держал килограммовую гирьку. Делал он это по привычке, механически, мысли были заняты другим. Его радовало, что с каждым днем он все крепче входил в колхозную семью, что у него уже были друзья. В любой час он мог надеть пальто, шапку и отправиться куда-нибудь, где ему будут рады, и провести там, в дружеском кругу, приятный вечер. Всегда открыты ему двери дома Антона Ивановича, Прониной, Елизаветы Степановны, Анохина; Карп Гурьевич тоже к нему расположен. Даже с Асей у него установились отношения, близкие к отношениям старшего брата и младшей сестры.

Ася — секретарь комсомольской организации в колхозе, деловитый секретарь. Не все у нее получается, но взяться она готова за все. Она уже заставила Лаврентьева делать ее комсомольцам каждую неделю доклады по текущему моменту, вести кружок передовой агротехники. Не ускользнули из Асиного поля зрения и Людмила Кирилловна с Ириной Аркадьевной. Врача она пригласила проводить занятия в санитарном кружке, а бывшую исполнительницу старинных романсов — руководить хором. Ничего не получалось с драматическим кружком: не было подходящего помещения, где бы оборудовать зрительный зал и сцену.

В протоколах у Аси значилось и такое начинание: взять комсомольское шефство над участком семенной пшеницы.

— Вот, Петр Дементьевич,— сказала она однажды Лаврентьеву,— если вы, агроном, член партии, поможете нам выполнить обязательство, которое мы взяли — а мы обязались собрать по сто восемьдесят пудов зерна с гектара,— то ручаюсь за девчат, все они вас расцелуют. Их у нас в бригаде, имейте в виду, тридцать шесть!

Ася сказала это так мрачно и таким тоном, будто угрожала.

Лаврентьев только руками развел:

— Будем, Асенька, стараться.

— Медведь тоже старался — дугу гнул, а что вышло?

— Мы не медведи, но и не боги. Горшок обжечь можем, но природу переделать в один год — трудно.

— На юге взялись за такую переделку!

— А на сколько лет она рассчитана? На год? На два?

— Важно, что взялись,— переделают. Мы же и не брались.

Лаврентьев вновь продумывал этот разговор. Он знал, что есть такие колхозы, которые со дня своей организации числятся в отстающих; они постоянно не выполняют государственных заданий, не справляются с планами; районные организации часто вынуждены перекладывать их планы на другие, крепкие, передовые хозяйства. В отсталых колхозах много недовольных. Тут уповают не на общественный труд, а на свои усадьбы, значит — слаба и трудовая дисциплина, значит — один недостаток ведет за собой другой, и так нижется, нижется цепь неудач. Угнетающее бесплодие почв не дает людям размахнуться во всю силу, почувствовать эту силу, поверить в нее. И где то главное звено, разорвав которое колхоз освободился бы от пут отставания?

Колхоз в Воскресенском нельзя было отнести к самым отстающим, совсем нет. Это был коллектив закаленный, выросший в борьбе с неимоверными трудностями и препятствиями, которые ему ежегодно чинила природа. Но и при таком коллективе сто восемьдесят пудов с гектара — не слишком ли много захотела Ася? Сто восемьдесят пудов и для юга отличный урожай, не то что для лесного болотистого края.

И вновь перед мысленным взором Лаврентьева возник план угодий, который они исчертили недавно вместе с Анохиным, проводя на бумаге линии дренажных труб. Да, он, Лаврентьев, поможет Асе, он будет биться за урожай в сто восемьдесят пудов с гектара, как бился там, на бетонном шоссе под Кенигсбергом, против вражеских танков, с той разницей, что не останется один возле орудия и враг его уже не сомнет в одиночку.

Спать ему еще не хотелось. Он, достав из чемодана, задумал повесить на стену портрет Тимирязева, который хранил со студенческих лет.

Молотка не было, гвозди пришлось заколачивать в стену кочергой, оставленной возле печки Савельичем; бил себя по пальцам плохо слушавшей его больной руки, злился, и уже было, наверно, часа два ночи, а конца

трудной работе не предвиделось. Он отбросил кочергу и закурил.

В наступившей тишине стал слышен шорох,— кто-то ходил в коридорчике и, словно не в силах найти дверь, шарил по стенам. Чиркнув спичкой, Лаврентьев выглянул в коридорчик — за дверью стояла Людмила Кирилловна.

— Можно к вам, Петр Дементьевич?

— Пожалуйста, пожалуйста,— засуетился он, чувствуя тревожные удары сердца. Помог ей снять заснеженное пальто, пригласил к столу.

— Устраиваетесь? — Она окинула быстрым взглядом стены. — Мило, вижу руку Ирины Аркадьевны. — Села к столу, стала вертеть в пальцах оставленный тут гвоздик.— Вы меня простите, что ворвалась среди ночи. Проходила мимо — к больному вызвали, — у Ирины Аркадьевны темно, а рядом свет. Что такое, думаю? Вспомнила — вы на новоселье переехали. Решила: свет, — значит, не спите. Рискнула навестить.

«Какой свет — окна выходят не на дорогу, а в сад, и куда это к больному ходить в открытое поле?» Лаврентьев не сомневался: шла специально к нему, в темноте, по метели, и ему стало совсем не по себе.

## 5

Встал Лаврентьев поздно. Ночной разговор с Людмилой Кирилловной был для него тягостным, тем более тягостным, что последовал сразу же за чаевничанием, за той шутливой беседой о новоселье и невестах, о планах на будущее.

Говорили они с Людмилой Кирилловной обо всем и, в сущности, ни о чем. Лаврентьев держался своей тактики, которую считал единственно правильной, — не давать Людмиле Кирилловне никакого повода для дальнейшего развития ее чувства к нему. Она участливо спрашивала о его руке, о здоровье, о том, где он проводит вечера, не скучает ли, как нравится ему Воскресенское. Он пожимал плечами, отвечал коротко, односложно. Рука? Что ж, рука в порядке; здоровье — жаловаться нельзя. Воскресенское — не хуже и не лучше других деревень. Вечера все заняты — то агрокружок, то правление заседает, то возня с планами на новый год. Дел много, скучать некогда.

Его уклончивость стала раздражать Людмилу Кирилловну.

— Петр Дементьевич,— она бесстрашно взглянула ему в глаза,— вы как-то очень странно со мной разговариваете, как с ребенком, вопросы которого наскучили и от него хотят отмахнуться. Скажите прямо: мне, мол, недосуг и вовсе не интересно болтать с вами, — и я уйду.

Он принялся поспешно уверять ее в том, что она ошибается, что он просто устал за день — время-то ведь позднее. Но делал это, наверно, очень неуклюже, неловко. Людмила Кирилловна поднялась со стула, секунду-две смотрела на него темными при керосиновом свете глазами, была, казалось, совершенно спокойна, и вдруг, неожиданно для него, резким движением накинула на вьющиеся волосы платок и выскочила за дверь.

Ошеломленный, он не сразу сообразил, как ему быть. С позабытым ею пальто в руках, бежал потом по аллее до самых каменных ворот. Не догнал. Вернулся, повесил пальто на крючок, и первое, что увидел поутру, открыв глаза, было оно — это пальто с черным меховым воротником, которое в неясном утреннем свете как бы еще хранило очертания стройной фигуры Людмилы Кирилловны.

Встав с постели, Лаврентьев присел к столу, закурил натощак папиросу, чего обычно никогда не делал. Мысли его были мрачные. Он усомнился в правильности своего поведения. Не лучше ли было взять и высказать Людмиле Кирилловне все, без хитрых уверток, честно и откровенно?

В дверь осторожно постучали. Подумал, что пришла Ирина Аркадьевна — звать завтракать. Не откликнулся. Ему не хотелось в таком состоянии встречаться с Ириной Аркадьевной.

Он раздумывал о своем глупом, двусмысленном положении по отношению к Людмиле Кирилловне и вновь услышал стук в дверь. Стучали сильно, властно, по-хозяйски, совсем не так, как Пронина. Поколебался — отворил. В дверях увидел незнакомую женщину, дородную, крупную, с широким русским, несколько простоватым лицом, но с умными внимательными глазами.

Она вошла и, когда Лаврентьев хотел помочь ей снять пальто, отстранилась от него, ответила с добродушной суровостью:

— Сама умою, сиди-ка лучше.

Властная гостья задержала взгляд на пальто Людмилы Кирилловны, рядом с которым повесила свое, оглянулась вокруг, чему-то удивилась и заговорила как-то округло, гладко, с веселыми искорками в глазах.

— С дровней соскочила, первым делом пошла на тебя посмотреть, какой ты есть, не востришь ли от нас лыжи. Бывали до тебя тут всякие, ты уж, товарищ Лаврентьев, не обижайся, прости меня, бабу деревенскую. Все мы, бабы-то, одинаковые: что на уме, то и на языке. Ну, будем знакомы, давай любить друг друга да жаловать. Кузовкина, Дарья Васильевна. — Она крепко пожала ему руку, спросив: — Эта, что ли, болит? Или та, левая?

Кузовкина Дарья Васильевна... Давно ждал ее Лаврентьев и примерно так себе и представлял по рассказам воскресенцев. Еще до его приезда ее увезли в областной город на какую-то сложную операцию, почти три месяца провела она в больнице, но болезнь нисколько, по-видимому, на ней не отразилась. Здоровый цвет лица, крепкая, бодрая, энергичная. Хорошо, по фигуре, сшит черный костюм, на жакете орден Красной Звезды и три медали, белые фетровые боты — она их сняла и поставила возле дверей,— коричневые кожаные перчатки на меху.

— Загляделся, вижу, на тетку,— коротко усмехнулась Дарья Васильевна. — Да, говорят, вроде еще ничего. Беда — свой мужик есть, а то бы и женихи ходили свататься. Приглашай к столу-то. Или помешала? — И снова ее взгляд скользнул по пальто Людмилы Кирилловны.

— Прошу садиться.— Лаврентьев подвинул стул.— Только угощать нечем. Не обжился еще.

— Нескладно без чаю-то утром. Хозяйка нужна. Не она ли на примете? — Дарья Васильевна кивнула в сторону вешалки.— Чего же прячешь? Давай ее сюда, веселей беседа будет.

Лаврентьев видел, что пальто Людмилы Кирилловны знакомо ранней гостье, но как объяснить его появление здесь — не знал. Кто поверит, что Людмила Кирилловна по забывчивости ушла в одном платке, когда на дворе конец декабря, когда мороз градусов в пятнадцать и злая поземка.

— Ну, не хочешь показывать, твое дело, — миролюбиво согласилась с его затруднительным молчанием Дарья Васильевна. — Самой ведомо: сердце не камень, и лишний человек пальцем в него не тычь. Скажу только к слову:

глаз у тебя, как ватерпас, хорошего человека увидел. И характер у нее душевный, и врач она золотой. Это, в общем, ладно. Потолкуем о другом. На учет встал?

— Встал.

— Пригляделся к нашему хозяйству?

— Думаю, что вполне.

— Приняли как?

— Хорошо приняли.

— Поверишь, боялась за тебя. Лежала, Антоновы письма читала. Пишет, вроде все и честь по чести: работает, мол, агрономом, устроили его как надо, с народом дружен. Но письма — в них человек и слукавить мастак. Читаю, значит, а сама Кудрявцева вспоминаю: сбежал, память о себе недобрую этим оставил. Как бы, думаю, по нему и о тебе не рассудили, в штыки тогда мужики-бабы возьмут. Обошлось, выходит. Очень довольна. Очень ты нам, товарищ Лаврентьев, нужен. Позарез. С высшим образованием, коммунист, фронтовик. Если все мы дружно за дело возьмемся, сдвинем его с мертвой точки. Неужто не сдвинем? Скажу прямо — я, знаешь, прямоту да простоту уважаю, и не зови ты, сделай милость, меня на «вы», не люблю,— так скажу, в общем, прямо рада тебе, уж так рада!.. Я вот, допустим, секретарь партийной организации, и я же заведующая животноводством. А животноводство-то идет у нас через пень колоду. Партия требует: животноводство должно быть на большой высоте, а член этой партии, да еще и не рядовой, не выполняет партийного требования, не может ничем себя показать, в пример выставить. Вот то и плохо. Отсюда и трудность мне. Вроде в двойном виде я перед народом. С одной стороны — призываю, с другой стороны — сама отстаю.

По лицу Дарьи Васильевны прошли складки горечи и заботы; нечто общее с Елизаветой Степановной увидел в ней Лаврентьев. Общим, очевидно, было то, что обеих женщин — и телятницу и заведующую фермой — угнетали длительные неудачи, длительная и упорная бесплодность их большого, самозабвенного труда. Значит, и Дарья Васильевна, как председатель, как телятница, как Анохин с Асей, ждет, надеется, что с приходом его, Лаврентьева — «агронома с высшим образованием, коммуниста, фронтовика»,— дело в колхозе должно измениться. Какую же ответственность, какую задачу возложили на тебя народ и партия, товарищ Лаврентьев, Петр Дементьевич, как много от тебя требуется и как мало ты

умеешь, как мало, если не сказать — ничего, ты еще сделал.

Долго беседовали они, два коммуниста, озабоченные судьбами нескольких сотен людей, жаждущих такой же богатой, культурной жизни, какой живут уже многие колхозники Украины, Алтая, Кубани — плодородных, благодатных краев Советской страны. Они сознавали, что от них, от коммунистов, зависело — справится ли колхоз с теми задачами, которые ставит перед ним государство, или по-прежнему долгие годы будет плестись в хвосте.

Дарья Васильевна подробно рассказывала о людях колхоза. Рассказ этот помог Лаврентьеву составить представление о коллективе, с которым ему придется работать. Он ощущал, как создается это представление. Он знал Антона Ивановича, его жену Марьяну, Елизавету Степановну, Асю, дядю Митю, Анохина, старшего конюха Илью Носова, которого он принял вначале за кузнеца, крикливого Павла Дремова, кичащегося орденом и медалями, Савельича, истребляющего спички, столяра Карпа Гурьевича, знал счетовода, доярок, но знал всех в отдельности. Дарья Васильевна сделала так, что он увидел весь коллектив.

Лаврентьев уже называл Дарью Васильевну на «ты», он, против обыкновения, довольно легко уступил ее просьбе об этом, — легко потому, что Дарья Васильевна отличалась свойством быстро сходиться с людьми, которые ей внушали доверие: с ними она держалась так просто, что дружеское «ты» появлялось само собой.

Они пошли в село, когда короткий зимний день уже заканчивался. Лаврентьев побывал у Антона Ивановича, на скотном дворе, в кузне и, чувствуя голод, отправился к Елизавете Степановне — чего-нибудь перекусить. Елизавета Степановна сидела возле печки, кутаясь в одеяло и охая.

— Простыла, Петенька.— Она взглянула на него усталыми глазами и через силу улыбнулась.— Весь день в снегу путалась. Ах, беда какая! Боимся и Антону говорить. Милка у нас пропала.

— Как так?! — Лаврентьев встревожился. Милка была одной из лучших коров в колхозном стаде, со дня на день ожидали ее отела, берегли, холили, в тепле держали, чуть ли не в постель спать укладывали — и вдруг пропала.— Как же так? — повторил он.— Куда могла деться?

— Ума не приложим. Выпустили из родилки па воздух погулять... Каждый день выпускаем — ничего. А тут выпустили — в загородку выпустили,— сломала жерди — и нет ее. До реки с доярками по снегу дошли, там след пропал — поземка метет, занесло. Весь берег облазили... В лесу искали...

— Плохо. — Лаврентьев и об ужине позабыл. — Зря Антону Ивановичу не сказали. Мужчин надо посылать. Искать немедленно.

— Немедленно, немедленно. Обогреюсь, тоже побегу. Ну и беда бедовская!

— Без вас, тетя Лиза, обойдется. Никуда бегать не надо, легли бы лучше под одеяло да малины выпили.

Лаврентьев шел к Антону Ивановичу, шел крупным, твердым шагом раздосадованного человека. Его уже начинали злить колхозные неурядицы. До коих пор можно терпеть такую чертовщину. Мало одного, другое наваливается: средь бела дня корова пропала!..

## ГЛАВА ТРЕТЬЯ

### 1

Еще стояла ночь на дворе, еще мерцали зеленые тихие звезды и под ногами сторожей туго поскрипывал морозный снег, а над селом вместе с печными дымка́ми уже всклубились теплые запахи пирогов и копчений. К полудню стали пустеть полки в сельской лавке. Воскресенцы раскупали конфеты, пряники, вина, консервы — все, что приглянется, что покажется нужным для праздничного стола. Товаров с каждым часом становилось меньше, покупатели же прибывали и прибывали. Поспешно закрыв лавку и оставив на дверях клок бумаги с надписью: «Через 15 минут вернусь», завмаг побежал в сельсовет.

В сельсовете на месте секретаря сидела Ася Звонкая и, подолгу разыскивая каждую букву, что-то печатала на машинке. Нудная эта работа была противна энергичной, стремительной натуре девушки. Ася дергала переводной рычаг, с треском рвала копирку.

Секретарь Надя Кожевникова, расстелив на другом столе большой лист плотной розовой бумаги, разрисовывала его красными, синими и зелеными красками.

— Вот вам, чтобы не посылать специально...— Ася подала завмагу длинный, подобный телеграфному бланку листок. Завмаг даже не взглянул на него, он яростно завертел ручку телефонного аппарата.

— Райпотребсоюз дайте! — кричал в трубку.— Сергеева. Занято? Срочно надо! Молнией!

Завмаг нервничал, чертыхался, топтался возле телефона в нетерпении. Он уже и сунутую ему в руки бумажку успел изучить до последней точки. Бумажка оказалась пригласительным билетом на вечер, устраиваемый комсомольцами; полюбовался и на работу Нади Кожевниковой, которая свои разноцветные кляксы искусно сплетала в пеструю буквенную вязь: «Большой новогодний бал». А до Сергеева все еще было не дозвониться. Десятки завмагов «висели» в этот день на проводе райпотребсоюза и требовали, требовали колбас, сельдей, запеканок и наливок, шелковых лент, пиджаков и кофточек, штопоров, патефонных пластинок, рюмок, папирос, чулок, монпансье, горчицы и перцу.

— Ну, черти! Ну не черти ли наш народ! — апеллировал к девушкам завмаг. — Плакались — денег нету, а тут враз на сколько тысяч товару оккупировали. Страшное дело! Выговор огребу, ежели с задачей не справлюсь.

С задачей он справился. До Сергеева, правда, дозвониться ему так и не удалось, но Антон Иванович распорядился, дал машину для поездки в районный центр, на базу.

— Граждане и гражданки! — заверял односельчан повеселевший завмаг, усаживаясь рядом с шофером Николаем Жуковым в кабинке.— Хоть к ночи, а товаров будет вó! — Он провел пальцем по горлу.— Магазин сегодня к вашим услугам вне расписания, вплоть до полного удовлетворения. Ждите!

Завмаг был прав,— воскресенцы никогда не хвалились избытком денег. Продукцию реализовать трудно: до областного центра за сутки и то не доедешь, в районном городке велик ли базар, а денежная выдача по трудодням росла от года к году гораздо медленней, чем возрастали потребности колхозников. Да, деньжатами здешний народ не разбрасывался, сберегал их для капитальных приобретений: Карп Гурьевич — на приемник, Елизавета Степа-

новна — на меховое, «под котик», пальто, — увидела такое на одной женщине в театре, когда вместе с Дарьей Васильевной ездила на совещание животноводов в область, задумала — и приобрела; или вот Пашка, Павел Дремов, — на мотоцикл копит.

Но новогодняя ночь... Она и самых бережливых заставила заглянуть в комоды, в сундуки и в шкатулки, сбегать в сберкассу. Кто из нас не знает, что такое последняя декабрьская и первая январская ночь — таинственный, веселый, радостный порог между двумя годами, кто не готовится к ней заранее — за неделю, за две не сговаривается с друзьями о совместной встрече за праздничным столом! Вслед за Спасской башней на все лады бьют часы на просторах страны, подымаются люди вокруг столов с бокалами в руках, окидывают мысленным взором пройденный путь, заглядывают в будущее — много сделано, но как еще много предстоит сделать! И за то, чтоб свершились желания, кипит, искрится вино — солнечный свет, сброженный в дубовых бочках виноградарями Грузии, Крыма, Армении, Азербайджана...

Нет скупых в эту ночь, нет угрюмых. Нет одиночек — все вместе. За тысячи верст друзья вспоминают друзей, за тысячи верст шлют друг другу приветы, пожелания счастья. Бывшие солдаты подымут тост за своих бывших командиров, офицеры — за своих солдат, с которыми где-то в землянке под обрывом Волги или на Пулковском, черном от пороха холме в такую же ночь чокались холодными кружками из жести. Разгоряченный, взволнованный, выйдет былой воин с Золотой Звездой за героический труд на груди, выйдет в такую ночь на крылечко своей хаты, взглянет в морозную даль, увидит только ему одному и ведомое, скажет с грустью: «Алеша!..» Но Алеша не слышит, с Золотой Звездой героя великой борьбы на простреленной гимнастерке он спит на берегу Днепра или Шпрее. «Вечная тебе память, милый друг,— прошепчет однополчанин.— Не зря, Алеша, нет, не зря пролилась твоя кровь». Вернется к столу — и никто не узнает, что́ вновь пережил, что́ передумал в несколько быстро мелькнувших минут их бригадир или председатель.

О чем же думал в этот предновогодний вечер Лаврентьев? Ему казалось, что он как-то выпал из общего потока хлопот и суеты. Антона Ивановича осаждали комсомольцы, требовали кумача, цветной бумаги, стульев, баяниста, лошадей для поездки в соседний совхоз за гостями;

Ирина Аркадьевна проводила последнюю спевку; бывшие фронтовики начищали сапоги, — из сеней пахло гуталином. Все были заняты, озабочены.

Лаврентьев походил-походил по селу и вернулся к себе; не зажигая лампы, затопил печку и сел на коврик перед нею; охватив колени руками, пристально смотрел в золотое пламя, в жаркие переливы березовых углей. Огни землячочных печурок, бивачных костров возникали перед ним, и в этих огнях — освещенные сполохами лица товарищей. Где они, боевые друзья, — не знал. Где Гусейнов, где Антонов, где два брата лейтенанты Ласточкины, Вася и Коля? Как хорошо было с вами! Среди вас он, Лаврентьев, знал свое место, среди вас он не выпал бы сегодня из общего праздничного потока, всеми любимый, уважаемый, всем нужный...

Но разве здесь, в закинутом в лесную глушь колхозе, он никому не нужен? Эта мысль уколола Лаврентьева, он невольно сравнил себя с Людмилой Кирилловной. Может быть, и она страдает, потому что тоже чувствует себя одиноко. С той недавней ночи она о себе больше не напоминала, замкнулась в амбулатории и дома, и о пальто своем, казалось, позабыла, ходила в какой-то куцей меховой жакетке. Он отправил пальто с санитаркой Дусей,— встретил тетю Дусю на улице и попросил отнести. Возможно, Людмила Кирилловна тоже сегодня одинока... Лаврентьев почувствовал себя эгоистом, черствым, неотзывчивым человеком. Нельзя же так. Надо пойти, извиниться, сказать какие-то хорошие слова. Непременно надо пойти.

Он оделся, вышел; в селе на луну брехали псы, во всех окнах светились огни, на занавесках стояли рогатые, с детства знакомые тени зажженных елок. Может быть, час-полтора оставалось до торжественного, краткого, короче, чем выстрел, и незримого, лишь по звону часов да по взлету чувств определяемого рубежа двух смежных лет.

Лаврентьев не дошел до крыльца Людмилы Кирилловны. Все эти огни и тени в окнах, голоса девчат, которые в одних платках, наброшенных на плечи, перебегали из дома в дом, полная дымная луна и крепкий морозец изменили ход мыслей, — его потянуло к людям. Ноги как-то сами собой прибавили шагу. Подумав, он свернул в проулок, в конце которого, на околице, стоял дом Елизаветы Степановны.

— Вот хорошо-то, Петенька, что пришел! До того хорошо, прямо не скажешь. Сама уже думала за тобой бежать,— встретила его Елизавета Степановна.

Стол у нее был накрыт льняной скатертью, белой и такой новой, что полотно, будто снег, искрилось в свете лампы. На тарелках — аппетитные пласты соленых груздей, копченая рыба, огурчики в уксусе, множество каких-то румяных пирожков и две рюмки, с наперсток ростом. Но ни графина, ни бутылки.

Елизавета Степановна еще о чем-то хлопотала, бегала в кухню, в боковушку. Лаврентьев смотрел на нее и просто не узнавал. В строгом черном платье с белым кружевным воротничком она была так же стройна, как Ася. Волосы взбила, уложила волнами, на затылке свернула в тяжелый тугой узел. Глаза сияют. Чем довольна, чему рада? Завтра, может быть, вновь складки забот лягут на открытый умный лоб; завтра закручинится о пропавшей стельной корове, которую так до сих пор и не нашли, но это будет завтра, — сегодня Елизавета Степановна сияет. Таков этот час, — такова эта ночь.

— Ну, Петенька! — Она засуетилась еще больше, когда стрелки часов показали без пяти двенадцать. — Садись к столу, открывать будешь. — Выдвинула ящик комода, обернулась к Лаврентьеву, взглянула загрустившими вдруг глазами, увидела и в его глазах тревогу и вытащила маленькую бутылочку вишневой настойки.

Пробка выскочила легко, и ровно в двенадцать они чокнулись.

— За счастье,— сказал Лаврентьев,— за ваше, за Асино.

— И за твое, Петенька.

Вишневая настойка... Он вновь подумал о Людмиле Кирилловне, которая одиноко сидит там, в своих неуютных комнатах. Но тотчас Людмилу Кирилловну заслонило воспоминание об иной новогодней ночи, проведенной с Наташей на скамейке возле Александро-Невской лавры.

Елизавета Степановна женским сердцем понимала, что в такой час мысли ее гостя должны, непременно должны, летать где-то далеко от Воскресенского.

— Не знал, не ведал, поди, ты, Петенька, — заговорила она, — что вот этак придется тебе с шальной бабой чокаться. А вот вышло. Жизнь — наперед ее не загадывай. Хитрая она, прехитрющая. Но не печалься, не чужой

ты нам — близкий. И мне и Аське. Твое горе — наше горе, твоя радость — наша радость.

— Спасибо, большое вам спасибо за это, Елизавета Степановна. Близких у меня нет, все в могиле. И мать, и отец, и сестренка, и...

— Полно, полно! — остановила его Елизавета Степановна. — Экий разговор затеял! Наливай-ка еще.

Лаврентьев придумывал новый тост, когда, громыхнув в сенях оброненным с гвоздя коромыслом, вбежала Ася.

— С ума сойти! — закричала она.— Петр Дементьевич! Весь вечер вас ищем. На квартиру кинулись — нету. В правление — нету. Туда — сюда... Бал начинается. Пойдемте! Мама, одевайся!

— Бал-то комсомольский. — Лаврентьев улыбнулся.

— А вы что — комсомольцем не были?

— Был, долго был.

— И уже состарились? — Ася прищурила глаза.

— Вроде бы...

— Ну, у нас сейчас вроде бы помолодеете. Пошли!..

Бал комсомольцы устроили в школе. Еловые ветки, кумач, гирлянды из цветной бумаги преобразили строгое помещение. В физкультурном зале появилась сцена из свежих досок, выстроились ряды стульев и скамеек. Народу было полно. Какие комсомольцы! И Карп Гурьевич тут восседал, и Савельич, которого едва уговорили скинуть меховой малахай. «Лысину застужу,— запротестовал было дед.— Мозга за мозгу зайдет». «Уже зашла, скидай, не кобенься. Натоплено»,— проворчал Карп Гурьевич.

Когда Лаврентьев и Елизавета Степановна вошли, девчата и парни потеснились, дали место. На сцене пел хор. Дирижировала Ирина Аркадьевна. Не старомодное платье, расшитое сутажом, надела она для такого случая, а белую кофточку с черной прямой юбкой. «Ну и хитрая,— подумал Лаврентьев.— Сразу на пятнадцать лет моложе стала». И странное дело, на кого бы он ни взглядывал, все ему казались моложе, чем были вчера. Время отсчитало еще один год, а люди помолодели, как бы отбросив или поправ извечные законы времени.

Хор под оглушительные аплодисменты покинул сцену. Парни принялись выкрикивать Люсеньку, Сашу. Но ни та, ни другая не вышли, вышла к рампе Дарья Васильевна, подняла руку, выставила ладонью вперед: «Тише!»,

— Теперь, друзья мои,— сказала она в зал,— веселись, танцуй. Кто только сердцем не остарел — всяк танцуй.— Слышно было, как Савельич притопнул своей автомобильной галошей. — Году одному итог подбили, — продолжала Дарья Васильевна, — в другой вступаем. Неподходящий час для самокритики, — полсловом помяну, что не больно крепко в минувшем году поработали, в новом лучше поработать надо. Ну и все — веселись теперь!

Задвигались в рядах, но опять притихли. За Дарьей Васильевной на сцену выскочила Ася Звонкая.

— Товарищи комсомольцы! — крикнула она.— У нас, полеводов, особое обязательство. Вы знаете, какое. Мы-то поработаем, мы-то сделаем все, чтобы его выполнить. Пусть правление, пусть председатель скажет, как они помогать нам будут.

Было видно, как Дарья Васильевна подталкивала председателя в спину.

— Ну иди, иди, не упирайся, ежели народ просит!

Антон Иванович коротко рассказал о планах на новый год, заговорил было о тех мерах, какие совместно с агрономом разработаны для повышения урожая, для одоления болотной кислоты, обесплодившей колхозные земли. Но его перебили.

— Пусть сам агроном расскажет! Агронома давай сюда! Агронома! — закричали из разных концов зала.

Лаврентьев почувствовал, что получается некий праздничный рапорт колхозных руководителей, и упираться, как Антон Иванович, не стал.

— Товарищи и друзья,— заговорил он в тишине: значит, действительно его слóва ждали.— Мы с вами мало еще знакомы, мы еще не работали вместе по-настоящему, вы меня узнать еще не успели, но я вас, думается, уже узнал. Замечательные люди в Воскресенском! И замечательные они должны совершать дела. Что мешало совершать эти дела? Заболоченность земель. Можем мы справиться с заболоченностью? Обязаны!

Лаврентьев позабыл о том, что колхозники собрались не на производственное совещание, а на встречу Нового года. Он увлекся, рассказывал об анализах почв, о новом севообороте, об известковании, о растениях-азотособирателях.

Люди слушали его с интересом и с удивлением. Пришел он к ним глубокой осенью, когда полей не то что не изучишь, даже и не разглядишь как следует, но, скажи

пожалуйста, говорит о них человек так, будто знакомы они ему лет десяток, не меньше.

— А главное,— продолжал Лаврентьев,— возьмемся, товарищи, с вами за мелиорацию. Эту меру правление еще не обсуждало, мера серьезная, требует большой подготовки, прежде чем за нее взяться. Имею в виду дренаж гончарными трубами. Затрата капитальная, но и результаты даст тоже капитальные.

— Финансы потребуются! — выкрикнул кто-то.

— Конечно, потребуются,— ответил Лаврентьев.— Добывать надо. Такова задача, не правда ли, Антон Иванович?

Услыхав из уст Лаврентьева любимое присловье председателя, все дружно засмеялись: «Такова! Такова!»

— Что в силах человеческих, все, думаю, сделаем,— закончил он.— А сил не хватит — партия поможет их найти.

— Вот верно сказал, товарищ Лаврентьев! — Дарья Васильевна пожала руку. Но пожатия руки ей показалось, видимо, мало. Она обняла Лаврентьева и трижды, как на пасху, бывало, по старому русскому обычаю, расцеловалась с ним со щеки на щеку, под бурное одобрение, под смех, под аплодисменты всего собрания.

Потом молодежь подхватила скамьи, стулья, сдвинула их к стенам, середина зала опустела. Лаврентьев забился в угол, как некогда на студенческих балах. Он видел: все пошло в пляс под звуки баяна. Дарья Васильевна притопывала с завмагом, Елизавета Степановна резво кружилась с Ильей Носовым, который подстриг свою цыганскую бороду, надел суконный костюм и сразу приобрел горделивую осанку, Ирина Аркадьевна плавно плыла с председателем сельсовета. О молодежи и говорить нечего. Дед Савельич хотел было пересечь зал к выходу, но его затискали, затолкали, и он, бранясь и защищаясь руками от налетающих пар, беспомощно путался на середине.

Рядом с Лаврентьевым присел на свободный стул Антон Иванович.

— Не рано ли, Дементьевич, о трубах с народом заговорил.

— Рано ли, поздно ли — все равно говорить надо. Я о них целый месяц говорю, тянете что-то, товарищи правленцы.

— Понимаешь, Дементьевич, заплыл дренаж перед войной...

— Но то был фашинник. А будут прочные трубы. Сто лет продержаться могут. И вообще не понимаю, вы же со мной согласились. На попятный теперь, что ли?

— Согласились, это верно. Только боязно: вдруг зря деньги ухлопаем. Да и нету их у нас, денег-то.

— Но в совхозе, как мне известно, не зря ухлопали.

— В совхозе! У них земли повыше наших, посуше. Совхозные па́водка не знают, и деньгу им государство дает. Такое дело.

Антон Иванович ушел. Его место возле Лаврентьева занял колхозник из полеводческой бригады Евстигнеев, принялся расспрашивать о мелиорации. К Евстигнееву присоединился помощник Носова конюх Маштаков. Еще подошли колхозники, сдвинули ближе стулья, образовался тесный кружок.

— Возможное это дело? — спросил Лаврентьев.

— А почему невозможное? — ответил Евстигнеев.— Не такие мы маломощники, чтобы его не поднять. Подымем. Надоели, Петр Дементьевич, недороды. Не то время, чтобы с хлеба на квас перебиваться. Желаем круто идти вперед. Там про финансы кто-то сказал... Добудем финансы. Главное — чтоб цель ясная определилась и выход из прорыва. Цель есть, путь намечен — человек в полный шаг по этому пути к цели пойдет. Известное дело.

Подошел к Лаврентьеву и Карп Гурьевич.

— Скачем тут, Петр Дементьевич,— он утер вспотевшую лысину, хитро глянул из-под бровей, — а дед-мороз по домам с мешком ходит. Помните, поди, такого деда?

— Деда-мороза? Помню. — Лаврентьев никак не ждал подобного разговора от серьезного, рассудительного старика. В памяти его возникло детство и те простенькие, но дорогие сердцу материнские и отцовские дары, которые он первым январским утром находил у себя под подушкой. — Да, бродит дедка, бродит работяга! — поддакнул он в тон Карпу Гурьевичу.

— Бродит, бродит! — Карп Гурьевич кивнул головой и снова хитро глянул из-под бровей.

— Петр Дементьевич! — крикнула Ася.— Вы сегодня неуловимы. Опять пропали! Ищу, ищу... Приглашайте меня на танец.

— Какой я танцор!..

Он и в самом деле был неважный танцор, Наташа с трудом обучила его нескольким па, и, кроме того, он опасался, как бы его не подвела больная рука. Но Ася и слушать ничего не хотела, втащила в толчею, никакие па тут почти были не нужны, а руку его — это Лаврентьев сразу почувствовал — бережно и предупредительно поддерживала сама девушка. Он с благодарностью взглянул в ее радостные глаза, и ему захотелось танцевать на колхозном балу хоть до утра.

Утро уже было близко. Лаврентьев не стал злоупотреблять вниманием Аси,— не обязана же она только с ним и проводить время,— тихонько вместе с Елизаветой Степановной выбрался из зала, подал ей ее великолепную шубу, под руку проводил до дому и зашагал к себе, на все село насвистывая что-то чрезвычайно бодрое. Как за несколько часов может измениться настроение человека! В эти часы произошло крайне важное событие, в эти часы Лаврентьев почувствовал, что в колхозе, недавно еще таком чужом, он принят не только отдельными людьми, а всем большим коллективом, коллективом требовательным, не легко принимающим в свою среду нового человека. И еще почувствовал он, что нужен этим людям не только в будни, но и в праздник.

Ощущение этого глубоко взволновало Лаврентьева, взволновало по-хорошему, радостно. Он шел легко, полной грудью вдыхая морозный воздух. Кругом все казалось ему каким-то величественным и огромным. Величественная ночь — порог Нового года, огромный свод звездного неба, будто исколотого острой золотой иглой, подчеркнуто отчетливая тишина... И в этой тишине угадывались начала больших значительных дел; именно больших и значительных, потому что вместе с такими людьми, в семью которых вошел он, Лаврентьев, сегодня хотелось думать лишь о чем-то очень значительном.

Теплые, светлые мысли возникали о них, об этих людях, сдержанных, дружелюбных, богатых душевными силами. Тепло подумалось и о Людмиле Кирилловне. Где, кстати, она сейчас, как и с кем встретила новогодний праздник? На комсомольском балу ее не было видно.

Если бы Лаврентьев знал, где и с кем проводила праздничную ночь Людмила Кирилловна, он бы, пожалуй, изменил своим суровым правилам и постучался в двери больницы.

Людмила Кирилловна еще днем получила приглашение на бал: билет, отпечатанный Асей, ей принесли комсомолки. Она обрадовалась приглашению; можно будет посидеть среди воскресенцев отнюдь не в качестве врача, шутливо поспорить с Антоном Ивановичем, поговорить с Дарьей Васильевной, с которой Людмила Кирилловна привыкла советоваться по поводу всех своих начинаний, и, наконец, просто потанцевать — вспомнить зеленую юность.

Вечером, закончив дела в амбулатории и в больнице, она занялась сборами. Шипел примус, калился утюг, гладились платья, примеривались перед зеркалом. Окончательный выбор пал на любимое — длинное, синее в белый горошек, отделанное по подолу и у ворота тонкими кружевами. Меж этих кружев на грудь, на матовую кожу лег кулон из топазов. Людмила Кирилловна загляделась в зеркало,— давно она не видела себя такой молодой и привлекательной. С некоторым вызовом подумала о Лаврентьеве: неужели и нынче он будет с ней таким же, как всегда?

Близко к полуночи она, нарядная, возбужденная, торопливо шагала в туфельках по снегу, — хотела на минутку забежать в больницу, сказать фельдшеру Зотовой и санитарке Дусе, что часа в три их сменит и они тоже смогут побыть на колхозном празднике. Своих верных помощниц она застала в женской палате. Там лежали бабушка Павла Дремова, Устинья, с опасным нагноением ладони — уколола рыбьей костью, и доярка из совхоза Маша Климкова, с переломом ноги.

Людмила Кирилловна остановилась в дверях. Семилинейная лампа в палате светила тускло, но Устинья, или, как ее все звали, баба Устя, бодрая старушонка, ухитрилась заметить и необычную прическу Людмилы Кирилловны, едва прикрытую белой пуховой косынкой, и платье, видное из-под пальто, — запричитала:

— Ах, красавица, ах, королевна какая! Да покажись нам, бедолажным, порадуй горемычных.

Старушка была въедливая, напористая. Пришлось и косынку снять, и пальто распахнуть.

— Под венец только! — порешила бабка Устя. Климкова звонко рассмеялась. На смех, на шум, кутаясь в серый байковый халат, пришел из соседней палаты единственный ее обитатель — заскучавший плотник Банкин, которому недавно удалили камень из печени. Встал в дверях.

— Не бойся, не съедим,— подбодрила его бабка.— Заходи, Троша, гулять будем. Новый год-то мимо нас думает проскочить. Не проскочит, за полу ухватим.— Бабка хитро посматривала на всех, старалась бодрить и веселить своих сотоварищей, так не вовремя угодивших в больницу. — Что мы, не люди? Микстуркой чокнемся, порошочками закусим.

И не хватило у врача сил уйти на праздник, покинув своих пациентов в сумрачной палате. Людмила Кирилловна сняла пальто, послала тетку Дусю к себе домой за бутылкой вишневой наливки, вместе с Зотовой накрыла круглый стол, разыскала в кухне чашки, вилки.

Как ни странно, и в больнице в эту ночь было весело. Немножко выпили, закусили; Банкин рассказывал смешные истории с ведьмами и домовыми, бабка Устя скрипучим голосом пела частушки средней скромности.

Незаметно бежали часы. За Людмилой Кирилловной дважды приходили из школы девушки, посланные первый раз Асей, второй раз Антоном Ивановичем, но Людмила Кирилловна осталась с больными. И когда Лаврентьев шагал по улице мимо больницы, в одной из ее палат еще веселились. Он этого даже и предположить не мог. Он был уверен в том, что Людмила Кирилловна одиноко коротает время у себя дома или, скорее всего, уже спит. Переполненный радостными чувствами, взволнованный, он пожалел ее и тут же о ней позабыл. Легкие ноги вынесли его за село, на подъем к усадьбе; дорогу ему внезапно пересек заяц. Лаврентьев свистнул на косого и засмеялся, даже не ведая чему.

Предвкушая крепкий, безмятежный сон, он вошел в коридорчик, нащупал ручку своей двери, замок и что-то еще постороннее, на ощупь — будто бы лыжи, прислоненные к дверям. Удивился, поспешил повернуть ключ.

Да, это оказались лыжи, великолепные, новые, тщательно отделанные. Лаврентьев положил находку на стол, при свете лампы долго рассматривал по очереди каждую лыжину и, как по почерку, узнавал руку мастера, выстрогавшего их.

Это, конечно, был он, дед-мороз, который успел побродить по деревне. И тридцатилетний человек, боевой командир, ощутил вдруг на глазах нечто очень похожее на то, чего взрослые всегда стыдятся. Но Лаврентьеву не было стыдно.

## 2

Новогодний подарок Карпа Гурьевича пришелся очень кстати. Спустя несколько дней Лаврентьев получил долгожданное письмо от профессора, который в свое время его оперировал и которому бывший пациент время от времени подробно сообщал, как идет лечение руки. Знаменитый нейрохирург просил извинить за слишком долгую задержку с ответом на очередное такое сообщение,— два месяца провел в Чехословакии,— и давал Лаврентьеву новые указания. Он писал, что работа над возвращением двигательных способностей поврежденной руки вступила, по-видимому, в ту фазу, когда комплекс рекомендованных им упражнений свою роль сыграл, и теперь, если этот комплекс не изменить, он неизбежно превратится в тормоз всему делу. «Теперь надо стараться, — читал Лаврентьев, — ставить себя в такие условия и положения, когда бы вы забывали о руке, когда бы обстановка вынуждала вас действовать ею, как здоровой. Что это за положения? Это минуты опасности, минуты азарта, большого увлечения. Если вы охотник, ничего лучшего, чем охота, для достижения нашей с вами цели и желать нельзя. Увлечетесь зайчишкой — вся робость ваша, все опасения за больную руку куда только и денутся!»

Страстным охотником Лаврентьев никогда не был, но старенькой берданкой, оставленной ему в наследство отцом, когда-то владел вполне прилично, зимой приносил матери куропаток, весной и осенью — чирков. Если охота — путь к достижению цели, путь этот необходимо пройти непременно: очень хотелось покончить с вялой немощностью руки. Но ружье? Новое купить? Лаврентьев еще столько не заработал.

Он дал прочесть письмо Антону Ивановичу, рассказал о своем затруднении.

— Ружье? — Председатель даже и не задумался.— Да хоть три найдем. У Ильи Носова чудо-централочка. Без надобности ему.

Носова нашли на конюшне, — жесткой щеткой старший конюх чистил спину резвой кобылке Звездочке.

— Гляди, Антон, до чего щекотливая стала,— сказал он и легонько ткнул Звездочку пальцем меж ребер. Звездочка визгнула, ударила задними ногами, затрясла кожей, закосила лиловым глазом.

— Не балуй! — не то ей, не то конюху недовольно посоветовал Антон Иванович. — Ружьишком надо агронома обеспечить, Илья. Такова задача.

— Сделай милость, Петр Дементьевич.— Носов повесил щетку на гвоздь. — Хочешь — ко мне вечерком заходи, хочешь — сам принесу. Полная амуниция — и гильзы, и порох, и дробь. Только уговор — процент с тебя: сто граммов за каждого зайца. Заяц всухомятку — не пища.

— Процент божеский!

Ударили по рукам.

Для первого раза Лаврентьев решил отправиться не за реку, где, говорили, зайцы табунами гоняются, а на верхний суходол, за село. Там зимовали стога вико-овсяного сена, и он видел однажды вокруг них множество куропачьих следов.

Тот, кем никогда не владела охотничья страсть, даже и не представляет себе, как сложны для новичка и хлопотны сборы на охоту. В пальто в поле не пойдешь — пришлось занимать у Антона Ивановича суконную куртку. В сапогах тоже не очень ловко топать по морозу — дядя Митя одолжил валенки.

Наконец безветренным морозным вечером Лаврентьев отправился на добычу. Лыжи легко скользили по снегу, за плечами приятно и солидно висела двустволка, пояс с патронташем туго стягивал куртку. Все было пригнано, удобно, на месте, вселяло уверенность в успехе. Кругом — снег, синий, бескрайний снег. Позади, если обернешься,— огоньки села. Впереди — черная линия притихших лесов. Чем не фронт, чем не командирская ночная разведка!

За полчаса добрался до стогов, засел вблизи них, в молодом ельнике, замаскировался ветвями. Надо было дождаться восхода луны, свет ее уже занимался в том месте, где небо смыкалось с землей.

Луна выползала из-за леса медленно; была она огромная — в несколько раз больше той луны, которая стоит в зените, и плоская, что лист латуни.

С восходом луны — Лаврентьев не ошибся в ожиданиях — возле стогов появились быстрые юркие птицы. Они были от него в каких-нибудь шестидесяти — семидесяти шагах, он видел каждое их движение. Куропатки давно нашли дорогу к этим стогам и давно выклевали зерна в нижних пластах сена. Теперь они прыгали, стараясь достать повыше. Прыжки двух десятков птиц были

так смешны и забавны, что Лаврентьев и о ружье позабыл. Куропатки прыгали, дрались, отгоняли друг друга,— он глядел на них и смеялся в шерстяную варежку. Можно было поднять ружье и, почти не целясь, уложить на месте пяток жирных птиц, но все очарование мирной ночной картины безвозвратно погибло бы от этого выстрела.

Внезапно куропатки шарахнулись в стороны. Из-за стога, ковыляя, появился заяц, большой, степенный русак. Он сел на задние лапки и тоже принялся лущить сладкие стручья. Птицы быстро освоились с нежданным сотрапезником, вновь заняли свои места и вновь запрыгали. Заяц есть заяц — даже для куропаток.

Добыча была не из мелких, не чета куропаткам, упускать такую грешно. Лаврентьев поднял ружье, прицелился, но не успел выстрелить — зайца и куропаток точно ветром сдуло. Вслед им мелькнула быстрая рыжая молния — и все живое от стогов унеслось в поле.

Лаврентьев выскочил из елок. По сугробам, под луной, мчался, петляя, кружась, ошалелый русак; за ним, вытягиваясь стрелой, едва касаясь снега, летела лиса.

Не задумываясь, есть ли в этом хоть какой-нибудь смысл, побежал и Лаврентьев. Он проваливался в снег, спотыкался, падал, вскакивал, снова бежал и, лишь когда был далеко от стогов, вспомнил о лыжах, оставленных в ельнике. Возвращаться — где там!

Заяц напрягал свои сухие заячьи мускулы, он боролся за жизнь. Лисица не жалела ног, она боролась за пищу, следовательно, тоже за жизнь. Но во имя чего выбивался из сил человек?

Он бы, наверно, давно потерял из виду и лису и зайца, лег бы на снег пластом и, измученный погоней, лежал так час или два, пока успокоится сердце. Но на его счастье или несчастье, у зайцев существует особенность мчаться не прямо, а по кругу, за что, собственно, их и называют косыми. Эту особенность Лаврентьев вовремя вспомнил и кинулся наперерез зверям. Расчет был правильный, и, когда заяц и лисица пронеслись мимо него, Лаврентьев в горячке ударил разом из двух стволов. Или лунный свет обманул — преуменьшил расстояние, или руки отвыкли от оружия, только заяц от выстрела рванулся вперед, а лиса свернула в сторону и, метя хвостом, полетела прямиком через снега.

Лаврентьев на зайца и не взглянул,— ему нужна была лиса, только лиса... Он упорно бежал за ней; она, видимо,

устала, а возможно, все-таки две-три дробинки в нее угодили,— время от времени останавливалась, как бы передыхая в ожидании, пока охотник не приблизится на опасную дистанцию, и только тогда пускалась дальше.

Так зверь вывел охотника на дорогу. Разъезженная полозьями саней, шинами грузовиков, дорога заледенела, покрылась ухабами, ноги на ней скользили даже в валенках.

Лаврентьеву не хватало дыхания, он расстегнул ворот куртки, но сил сказать себе: «Стоп! Кончено. Не выдержал единоборства»,— не находил. Он серьезно поверил в то, что лисица над ним издевается. Отбежав метров двести, рыжая дрянь присаживалась на ухабе и тоже тяжело дышала, раскрыв пасть и высунув язык. Лаврентьев ясно видел злорадную улыбку старой зайчатницы. Он еще несколько раз стрелял по ней с безнадежных расстояний. Напрасно стрелял, напрасно горячился. Лисица наглела с каждым километром,— уж не на двести, а на сто, на восемьдесят метров подпускала охотника, и так могла бы вести его за собой хоть до самого районного городка, если бы ей самой эта игра не наскучила. Тогда она вертикально подняла хвост, как указательный палец, — внимание, мол! — обидно для Лаврентьева потрясла им и метнулась с дороги в ольховые заросли,— там след ее простыл, туда было нелегко продраться. Лаврентьев тяжело опустился на ледяной раскат посреди дороги. Такой усталости он еще никогда не испытывал. Это было какое-то предельное перенапряжение человеческих сил. Мыслей не было, только яростная досада на упущенную добычу. Он даже не порадовался тому, что профессор не ошибся в своем совете: нужно было позабыть об изъянах руки — и рука стала действовать, отлично действовать.

Просидев так неизвестно сколько времени, он побрел обратно. Шел, цепляясь ногой за ногу, поскальзываясь и падая, и, когда падал, не спешил вставать, лежал на боку или на спине, разглядывая звездное небо. В ушах шумело. Патронташ и ружье казались чугунными веригами, тянули к земле.

Когда до дому оставалось совсем немного, Лаврентьев услышал позади себя протяжное: «Поберегись!»

По стуку копыт и визгу полозьев определил, что его настигала санная упряжка. Он не поберегся. «Объедут, дорога широкая»,— подумал вяло. Но не объехали, оста-

новились за спиной, лошадь шумно дышала ему в затылок.

— Эй, дядя! Хочешь, чтобы стоптали?

Голос показался Лаврентьеву знакомым. Обернулся. В розвальнях — тулуп нараспашку, шапка заломлена — сидел Павел Дремов.

— Товарищ агроном, никак, вы! — Павел соскочил с саней, подошел.— С охоты, что ли! Без пуху и пера?

— С какой охоты! Так просто. Пройтись...— через силу ответил Лаврентьев.

— Ну и ну! — Павел явно не верил.—«Пройтись!» Едва на ногах человек держится.— Садитесь. Маленечко, да подбросим, — предложил он и шепнул конспиративно: — Прониной дочку везу.

Лаврентьев увидел в санях женщину, закутанную в меховую шубу, в шапке с ушами, завязанной под подбородком. Луна освещала нахлестанное встречным ветром лицо. Нетрудно было узнать на этом лице глаза молодого красноармейца с портрета, который висел в столовой Ирины Аркадьевны, — такие же пухлые губы и упрямые возле них складки.

— Здравствуйте, Катя! — сказал он, не зная ее отчества, хотел присесть, но не получилось — повалился рядом с ней на сено и тут же, в одно мгновение, заснул.

### 3

Лаврентьев не помнил, как и когда Павел Дремов с дядей Митей, будто мертвецки пьяного, подняли его из саней, довели под руки до постели, как дядя Митя возился, снимая с него охотничьи доспехи — пояс с патронташем, куртку Антона Ивановича, свои разношенные валенки, как Ирина Аркадьевна брала руку и нащупывала пульс.

Открыв глаза, он уставился в какую-то голубую точку на обоях и все еще видел сны — огненную лисицу, которая уводила его через поля и леса в неведомую даль.

Свет в комнате стоял расплывчатый и мутный, какой бывает лишь январскими утрами, когда не очень-то спешишь расстаться с теплым одеялом. Лаврентьев повернулся поудобнее и вновь закрыл глаза.

— Петенька!..— услышал он вдруг сквозь дрему.— Милка-то — нашлась.

Он ничего не мог понять.

— Какая Милка? — спросил, приподымая тяжелую голову. Возле стола сидела в полушубке и в платке Елизавета Степановна.

— Радость у нас, Петенька! Нашлась. Жива-здорова. И телочка здорова...— говорила она, и он чувствовал, что то, о чем телятница говорит, действительно для нее большая радость.— Третий раз к тебе прибегаю.

— Третий раз?! — Лаврентьев окончательно проснулся.— Как третий раз?

— Да так, Петенька. Утром приходила, в полдень опять...

— В полдень? Что же сейчас такое?

— А вечер. Видишь, смеркается на дворе.

— Отвернись-ка, тетя Лиза. Вот так штука! Часов пятнадцать, значит, проспал.

Лаврентьев быстро оделся, при каждом движении ощущая в теле истому и злую боль. Сходил в коридорчик, принес из бочки ковш ледяной воды в рукомойник, освежил лицо и шею — стало легче.

— Где же она была? — спросил, утираясь полотенцем.

— Затем и пришла — рассказать. Давно сижу, думала: дождусь, проснется. А ты все спишь и спишь. Эка, умаялся. Не вредно тебе так?

— Полезно. Рассказывайте, Елизавета Степановна.

Корову Милку нашли утром, и нашли не взрослые, которые вторую неделю напрасно обхаживали окрестные леса и болота, ездили в совхоз, в соседние деревни, звонили в милицию и в лесничество, — а ребятишки. День был воскресный, и они, набив карманы хлебными краюхами и ватрушками, в поисках приключений отправились ватагой за реку, к той, всегда для них приманчивой церковке, которая из черных елок казала зеленый куполок. Вскоре с криками, с галдежом примчались обратно в село, кинулись к Антону Ивановичу, к Дарье Васильевне, на скотный двор забежали, в телятник. «Милка, Милка!» — только и слышно было на улице.

Чуть не в полном своем составе, возглавляемые ребятней, отправились животноводы к церковке. Стояла она на высоком пригорке, таком, что даже самые разгульные полые воды едва достигали плитнякового фундамента. Была церковка деревянная, давно заброшенная, и две крестообразно прибитые доски лет уже двадцать гнили на ее обветшалых дверях. Шляпки гвоздей обросли мохнатой

ржавчиной. В разбитые окна влетали голуби, они гнездились за киотом и гулко ворковали под шатровыми сводами.

Милка, почуяв, что для нее наступает время телиться, как всякое животное, отправилась искать укромное местечко. Она нашла сенной сарай. Сарай тоже был ветхий, оставшийся от поповского хозяйства, стоял он позади церковки в елках. Когда-то возле него был и дом попа, но дом сгорел, а сарай сохранился. В него складывали сено для коней, на которых после паводка вспахивали заречные поля огородной бригады. Никто сюда до весны не заглядывал.

Милка, войдя во вкус свободной жизни, прочно обосновалась в сарае со своим потомством,— сена вволю; воды нет, зато снег какой чистый!

Распахнув пошире скрипучую воротину, Елизавета Степановна первая увидела беглянку. Пестрая крепконогая телочка шарахнулась от вошедших, спряталась за мать. Мать грозно протрубила, копнула копытом плотный земляной пол.

— Насилу своих признала, такая дикая сделалась,— рассказывала Елизавета Степановна.— Ее своим ходом домой пригнали, а телушку на санях привезли. Дарья Васильевна одеялом даже укутала. Пойдем, посмотришь, Петенька.

— Интересно.— Лаврентьев снял с вешалки пальто.— Чрезвычайно интересно.

— Как только не простыла она в сарае-то,— рассуждала дорогой Елизавета Степановна.— Ведь что под открытым небом — и сквозняк там, и снег в щели задувает... Теперь в тепле. Печку в телятнике круглые сутки топить будем. Дорогая телочка, чистых кровей. До чего сохранить ее хочется, Петенька!

Знатоком животноводства Лаврентьев себя не считал, но, чтобы разобраться, какой отличный приплод принесла колхозному стаду наделавшая столько хлопот Милка, в особых знаниях и нужды не было. Теленок резвился, задрав хвостишко, прыгал в стойле, мычал, требуя пищи, бодал головой ладонь, когда его пробовали погладить. Дарья Васильевна уже успела дать ему имя — Снежинка — за то белое пятнышко, которое, подобно снежному лепестку, село над телячьим глазом, и Снежинка одна властвовала в пустом телятнике, потому что с Милки только начинался период зимних отелов.

Лаврентьев стоял перед Снежинкой, раздумывал о том, что почин получился отличный, каково-то будет продолжение. Неужели опять болезни, неужели опять падеж?

Два последующих дня они с Елизаветой Степановной почти не уходили из телятника, пять раз в сутки ставили Снежинке термометр, по настенному градуснику следили за температурой в помещении, даже ночью не давая ей опускаться ниже десяти — двенадцати тепла, часто меняли подстилку в стойле, подогревали теленку молоко.

В эти дни Лаврентьев приходил домой только затем, чтобы поспать. Придет, заляжет в постель, несколько минут вслушивается в мелодичные приглушенные звуки за стеной (старенькое фортепьяно Ирины Аркадьевны ожило с приездом Кати) и уснет крепким сном физически утомленного человека.

Он сознавал, что Ирина Аркадьевна, наверно, обижена — и вправе обижаться — его невниманием; что ей, безусловно, хочется показать ему Катю, похвастаться своим сокровищем, но не пойдет же она сама приглашать: «Будьте любезны, зайдите взглянуть». Черт возьми, надо бы сходить навестить, надо...

Два дня в телятнике было все благополучно.

На третий день Снежинка стала кашлять, температура у нее поднялась, аппетит пропал, а с ним пропала и резвость, теленок сник, лежал на подстилке не вставая, в глазах у него появилась жалостливая грусть.

— Ой, беду чую! Ой, чую ее! — хватаясь за сердце, охала Елизавета Степановна.— Ой, что же будет, Петр Дементьевич? — Она обращалась к нему по имени-отчеству, уже не как к близкому в ее доме человеку, а как к специалисту, лицу официальному, от которого ждала помощи, избавления от надвигающейся беды.

Пригласили участкового ветеринарного техника.

— Опять та же песня,— разворчался участковый.— Черт его знает, что у вас тут такое? Сквозняки, что ли, в телятнике? Простужаете животных, товарищи. Воспаление легких у телочки.

После отъезда веттехника, который сделал распоряжения, подобные тем, какие делал и год и два назад, Лаврентьев ушел в дом Елизаветы Степановны и в бывшей комнате Кудрявцева засел за ветеринарные справочники. По всем признакам у Снежинки действительно начина-

лось воспаление легких. В таком возрасте оно чрезвычайно опасно, почти верная смерть.

Так ответил старый справочник на вопрос Елизаветы Степановны: что будет? На вопрос Лаврентьева: что же делать? — справочник мямлил нечто неопределенное.

Лаврентьев перелистывал учебники по животноводству; труды биологов и растениеводов. Тимирязев, Мичурин, Лысенко... Мудрые мысли и выводы находил он в трудах этих ученых: условия... среда... воспитание... творческий подход к решению любой задачи, метод диалектического материализма. Что такое диалектический материализм, Лаврентьев, конечно, знал, но знал лишь в применении к законам общественного развития. А животноводство? Может быть, он слышал когда-то на лекциях и о диалектических законах, по которым развиваются живые организмы, но слишком давно слышал, война еще дальше отодвинула студенческую пору, и все забыто. С тем большей жадностью накидывался Лаврентьев на труды основоположников передовой агробиологической науки. Как он до нынешнего дня обходился без них? Книги были полны убедительно ярких примеров правоты и торжества этой устремленной вперед науки. Но ни один из примеров все же не давал прямого ответа Лаврентьеву. «Творчески решать задачи»,— требовали книги. Творчески!.. Для этого очень и очень много надо было знать. По-настоящему творить можно лишь тогда, когда изучишь все, что сделано до тебя другими. А собственные познания казались Лаврентьеву удручающе ничтожными, — хоть снова иди в институт и заново переучивайся.

Но за один пример он все же уцепился: Иван Владимирович Мичурин, прививая черенки южных сортов на дикую, растущую на севере лозу, выводил холодоустойчивый виноград. Важен подвой — именно эта дикая, неизнеженная лоза. Она фундамент всего, первооснова.

Что же такое домашний скот? Давно ли корова получила теплый дом — хлев со стенами и крышей? — думал Лаврентьев. Сто лет назад — может быть, немногим больше — крестьяне держали ее во дворе, под открытым небом. А стада в степях Казахстана и Монголии? Кто там закутывает теленка в одеяла, кто трясется над ним с градусником в руках? Тепло для коровы — это понятно. Молочной корове оно необходимо, чтобы пища не расходовалась на согревание тела как простое топливо, а в

какой только возможно большей мере шла в молоко. Но вот закутывание теленка — разумно ли это?

Новая мысль поразила Лаврентьева. Его счастье, что в силу личных обстоятельств он не погряз в рутине «извечных, столетиями проверенных» представлений о сельском хозяйстве, как это случается с иными агрономами, которые по окончании института или техникума, столкнувшись с практикой, не столько анализируют, не столько вмешиваются в нее, сколько отдаются ее течению. У него еще не было «установившихся представлений», и он с чистой совестью мог экспериментировать.

— Открыть дверь! — с таким приказанием вернулся Лаврентьев в телятник через несколько часов сидения над книгами.— Дать свежий воздух!

— Да что ты, Петенька! — ужаснулась Елизавета Степановна. — Морозюга какой!..

— Ничего, в шубе не холодно. А у него вон какая шуба.— Он погладил по спине теленка.— Шерсть в колечках, что у овцы. Открыть!

— Не позволю! — Глаза Елизаветы Степановны вспыхнули решимостью. Перед ней был не ее Петенька, а безумец какой-то. Она уперлась спиной в дверь, расставила в стороны руки.— Не позволю!

— Ну и глупо!

Лаврентьев дал Снежинке полизать с ладони соль, вызвал у нее жажду. Потом размешал в блюдце с водой два порошка сульфидина, поднес к теплой сухой морде,— Снежинка выпила. Это была пока что чистая эмпирика — так ли, не так надо делать, кто знает, но сульфидин — средство при воспалении легких, и это средство следовало применить.

Видя, что Лаврентьев оставил двери и занят порошками, Елизавета Степановна побежала к Антону Ивановичу.

Она вернулась не только с председателем, но и с Дарьей Васильевной. Все трое дружно ужаснулись: дверь телятника была распахнута, оттуда, клубясь на морозе, валил теплый воздух. Но это еще что! На войлочной подстилке среди двора стояла Снежинка, на ней, как попона, висело пальто Лаврентьева, из-под пальто торчала только голова с шишками будущих рожек, поводила ушами и отфыркивалась от облепившего ноздри седого инея.

Елизавета Степановна закричала какие-то страшные слова, поминая и слово «вредительство», и бросилась

к Лаврентьеву. Антон Иванович удержал ее за плечо. Он и сам хмуро смотрел на агронома, стараясь не встречаться с ним глазами.

— Не дело делаешь, Петр Дементьевич,— сказал он, не отпуская от себя продолжавшую кричать Елизавету Степановну.— Не дело.

Дарья Васильевна молчала.

— Я вам сейчас объясню, товарищи.— Улыбка Лаврентьева обычно всех подкупала, подкупала она и Антона Ивановича, и Дарью Васильевну, и Елизавету Степановну. Тут не помогла и улыбка, никто не ответил на нее. — Объясню,— повторил Лаврентьев.— Ну, хватит гулять, хорошенького понемногу.— Он шлепнул Снежинку по заду и погнал в телятник.

В телятнике возмущение Елизаветы Степановны усилилось. Печка была погашена, окна настежь. Лаврентьев не запротестовал оттого, что телятница немедленно принялась закрывать дверь, окно, растапливать печку; он стал рассказывать о том, что вычитал в книгах. Елизавета Степановна не слушала. Но председателя и секретаря партийной организации соображения Лаврентьева заинтересовали.

— Чем леший не шутит, — кратко высказался Антон Иванович.

Дарья Васильевна молчала.

— Елизавета, брось затоплять, попробуем по-новому.— Голос председателя прозвучал не слишком-то решительно. Елизавета Степановна продолжала зло щепать лучины.

Антон Иванович потоптался в телятнике, повертел в руках шапку, ушел. Ушла и Дарья Васильевна, так и не высказав своего отношения к происшедшему. Елизавета Степановна как бы онемела. Ни одним словом не ответила она на попытки Лаврентьева завязать разговор. Лаврентьев рассердился и тоже покинул телятник, отправился в лавку за папиросами.

По дороге из лавки его окликнул и зазвал к себе Карп Гурьевич — послушать, как работает приемник, привезли наконец-то новые батареи. Посидели возле зеленого глазка, потолковали. Ребятишки Карпа Гурьевича спросили агронома, как правильно пишется слово «галактика»: спор у них вышел — одно «л» или два. К стыду своему, забыл, но честно в этом признался, обещал посмотреть в словаре.

Затем, выйдя от Карпа Гурьевича, встретил других односельчан, с каждым останавливался, с каждым было о чем потолковать. Все шло как будто бы по-обычному. Но в душе у Лаврентьева копилась глухая и вместе с тем настойчивая тревога.

Тревога была не напрасной: теленок к вечеру сдох.

Узнал об этом Лаврентьев от Аси. Столкнулись с ней в потемках возле правления.

— Петр Дементьевич! Несчастье-то какое! Мама до того плачет, прямо боюсь за нее.

— Меня винит? — спросил он, не столько думая в эту минуту о Елизавете Степановне, сколько о том — в чем же ошибка, что случилось?

— Н... нет... Почему же вас? — ответила Ася, но так ответила, что не было никакого сомнения. «Да, тебя, тебя одного»,— услышал он за этим «нет» гневные слова рыдающей Елизаветы Степановны.

— Может быть, сходим к маме? Или прогонит?

— Не знаю, Петр Дементьевич. Лучше не ходите, пусть успокоится. Но вы, пожалуйста, не огорчайтесь.

— Да разве я огорчаюсь, разве это то слово! — горько улыбнулся Лаврентьев. И, не прощаясь, ушел в темноту.

Он шел домой. Встреч с людьми не желал, в телятник пойти было страшно — увидеть там стеклянные глаза загубленной им Снежинки, которая еще утром так доверчиво лизала его руку...

## 4

Средний советский труженик, рядовой работник своей страны, как ни мал участок, на котором ты трудишься, много забот твоих, жизни твоей, сил и волнений он требует. И разве он мал? Он кажется таким, лишь когда ты раскрываешь газету с предначертаниями очередного народнохозяйственного плана, когда твое воображение потрясают миллионы тонн чугуна и стали; сотни тысяч комбайнов, автомашин, тракторов, бесконечные ленты текстильных изделий, которыми вдоль и поперек можно опутать земной шар, могучие гидростанции, лесные зеленые щиты, возникающие перед горячим суховеем Заволжья. Но когда ты уяснил свое место в армии творцов, призванных воплотить гигантский план в сталь, в бетон, в искусственные моря, в двухсотпудовые урожаи,— ты видишь,

что этот маленький твой участок — вся твоя жизнь, и часто бывает — разве нет? — маленькие трудности твои кажутся тебе куда сложнее, чем задачи, стоящие перед всей страной. Это понятно. Ты привык видеть, ты давно убедился в этом, ты твердо знаешь, что как бы ни грандиозен, как бы ни велик был всенародный план, он непременно будет выполнен, потому что он именно всенародный и над выполнением его работают двести миллионов людей, у которых есть испытанный руководитель — партия.

Все это ты знаешь, все это тебе понятно, но вот ты получил участок в огромной стройке и должен действовать на нем самостоятельно. Самостоятельно — глубокий смысл в этом слове. Иной работник рад бы каждый день, каждый час бегать к начальнику, а начальник, в свою очередь, к вышестоящему начальнику, к директору, к председателю, к бригадиру — требовать указаний, указаний и указаний. Но ему скажут: «Товарищ, у вас нет никакой инициативы. Вы что — в Америке, что ли, на заводе Форда? Плохо!» И действительно — плохо. Партия учит тебя и требует от тебя быть инициативным, самостоятельным на своем участке. Даже и двести миллионов людей не в состоянии справиться с великими задачами, если каждый из них будет изо дня в день требовать друг от друга указаний, указаний и указаний. Думай, умей творчески решать задачи, учись их так решать. Учись на примере борьбы большевиков за партию, за Советскую власть, за социализм, за все то завоеванное, что получил ты в наследство от старшего поколения.

Нет сомнения, ты понимаешь, что так должно быть, но... но ты еще только делаешь первый шаг в коммунизм, на тебе еще тяжкий груз пережитков прошлого — робость, неуверенность в своих силах, затаенное стремление переложить с себя ответственность на другого, а порой и просто то, что ты еще мало знаешь, мало и плохо учишься и умеешь только «от сих до сих». Вот приходит час, и ты растерялся. Тебе нужна помощь.

Что же случилось с ним, с Лаврентьевым? Да, пришел час, и ему нужна помощь. К кому пойти, куда поехать?

Лаврентьев сидел за столом, уронив голову на локоть. Он переменил неудобное положение, лишь когда услышал стук в дверь. По манере стучать — косточкой согнутого пальца — узнал Ирину Аркадьевну.

Ирина Аркадьевна присела к столу напротив.

— Не буду вам говорить всяческих этих: «Ну полно! Да стóит ли? Какой-то теленок». Но и минорного настроения поддерживать не намерена.

— И вы уже знаете?..

— Не буду на вас сейчас обижаться.— Пронина выпрямилась на стуле.— Однако прошу, Петр Дементьевич, запомнить на будущее: о нашем колхозе я знаю все. — Она сделала энергичное ударение на словах «нашем» и «все».— Да, все. Не записывайте меня в разряд старых салопниц. Я не такая. Вы вот покинули меня в моей радости: жду, жду — не идете. Катюша удивлена — столько хорошего она читала о вас в моих письмах, а вы... Ну, это к слову. Не с мечом пришла — с дружбой. Идемте к нам. Катюша споет, сыграет. Поболтаем, чайку выпьем.

— Извините, не могу, Ирина Аркадьевна, не то настроение. Тоску наведу.

Помолчали. Лаврентьев видел, что Ирина Аркадьевна нервничала. А почему нервничала — понять не мог. Неужели только из-за того, что он не идет смотреть Катю?

— Нет!— Ирина Аркадьевна щелчком отбросила на столе спичечный коробок.— Я с вами, Петр Дементьевич, должна поговорить, серьезно поговорить. Если никого видеть не хотите, устроим чай здесь и посидим вдвоем, побеседуем. Не возражаете?

Она принесла чайник, вазочку с вареньем.

— Зашел разговор обо мне, позвольте его и продолжить,— говорила она, размешивая варенье в чашке.— Можно? Хорошо. Когда-то, очень давно, неподалеку от нашего Воскресенского, на хуторе жили девочка лет одиннадцати — двенадцати и ее брат, годами шестью старше сестры. Брат унаследовал от отца страстную любовь к пчелам и все тайны пасечного дела. Вы догадываетесь, конечно, что я говорю о себе и Дмитрии Антроповиче. Он служил у бывшего владельца этого дома, немца Иоганна Иоганновича Шредера. Я вела домашнее хозяйство. Мать и отец у нас погибли во время паводка, переезжая на лодке реку. Лодка опрокинулась, и спасти их не успели,— закрутило в стремнинах. В моем хозяйстве была коза, несколько кур, огородик, в огородике брат держал парочку ульев. Брат целый день в имении, времени свободного у меня много, и я пристрастилась к чтению, брала книги у дочери местного священника. Но какие книги могли быть у поповны! Вокруг меня от этого чте-

ния возникал сентиментальный мирок, я не жила, а играла в жизнь, в ту самую, которую вычитала из книг.

Лаврентьев внимательно слушал. Рассказ Ирины Аркадьевны уносил его в давние, неведомые ему времена.

— И вот однажды,— продолжала Пронина,— мирок рассыпался. Произошло нечто для меня ужасное. Помещик на взмыленном жеребце зачем-то подскакал к пасеке. Пчелы не любят конского пота, они тысячами накинулись на лошадь, и та буквально через несколько часов околела. Это была любимая лошадь Шредера, он заплатил за нее сумасшедшие деньги. Прямо с конюшни барон прибежал на пасеку и бил, хлестал, топтал моего брата до тех пор, пока сам не свалился в изнеможении. Представьте состояние девочки: брата стегают по лицу, плюют ему в глаза, — он молчит, только отстраняется. Я же все это видела, я как раз в тот день пришла его навестить! Я возненавидела помещика, но и к брату потеряла всякое уважение. «Ты трус,— сказала я ему с девчоночьей жестокостью.— Слизняк!» Я не могла больше оставаться под одной кровлей с ним. Я убежала из дому, правдами и неправдами добралась до Петербурга. Там в кухарках у одного крупного чиновника жила моя тетка. Она быстро сбыла меня с рук — в услужение близкой к семье этого чиновника столичной актрисе. Актриса, Мария Мироновна, пела в Мариинском театре. За ее голос я боготворила Марию Мироновну. На мое обожание и она отвечала добром, терпеливо учила меня нотам, азам фортепьянной музыки, говорила, что у меня хорошие вокальные данные, грубоваты только, к сожалению. Я тоже возмечтала выйти когда-нибудь на оперную сцену, и в наши времена, кто знает, и вышла бы, непременно вышла бы, но тогда...

Рассказчица умолкла на минуту.

— Да,— тряхнула она головой.— Не буду злоупотреблять вашим вниманием. Короче говоря, нечего было и думать о том, чтобы такой недоучке, как я, соваться на большую сцену. Все, что мне удалось,— через год или два подписать контракт с одним провинциальным антрепренером — содержателем маленькой оперной труппы. Где мы только не кочевали! Тамбов, Козлов, Самара, Елабуга... Поначалу я все еще думала, что служу настоящему искусству, верила в свое будущее. Несколько раз я пела Кармен и требовала, чтобы мне дали спеть Ольгу в «Онегине»... Нет, «Онегин» не был ходким товаром у самарских торговцев рыбой... В один прекрасный день я все

поняла про себя и про свою судьбу. Но что же оставалось делать? Мелькали новые города: Ростов, Минеральные Воды, Одесса, Ялта... Я выступала в ресторанах, успех мой ширился, известность росла. Сумасшедшая была жизнь. Я уже и не вспоминала об «Онегине», куда там! Я потеряла свое отчество, фамилию... Мария Мироновна писала мне изредка: «Оплакиваю вас, дитя мое, молюсь за вашу душу». Она вправе была тревожиться о моей душе,— в каких только компаниях я не перебывала к восемнадцати своим годам... Началась война, меня потянуло на поприще милосердного служения ближнему, как тогда говорили. Вы догадываетесь, что это значит? — пошла в сестры милосердия. Не на фронт, правда, а в тыловые лазареты.

Ирина Аркадьевна рассказывала о том, как познакомилась в лазарете с дочерью одного полковника, как затем вошла в эту семью и как случайно в дни наступления Юденича на Петроград помогла чекистам раскрыть офицерский заговор.

При ликвидации гнезда заговорщиков она встретила молодого чекиста Виктора Лобанова.

Улыбка скользнула по лицу Ирины Аркадьевны при упоминании этого имени.

— Я взглянула в его преднамеренно суровые глаза. — Она прикрыла лицо ладонью.— Может быть, вам это знакомо, Петр Дементьевич? Взглянула и почувствовала, в одну секунду, в сотую долю секунды почувствовала, что это тот, кому я отдам свое сердце.

Встреча с Лобановым предопределила всю дальнейшую судьбу Ирины Аркадьевны. Вместе с ним она попала в Седьмую армию, участвовала в агитбригадах, выступала перед красноармейцами, и на подмостках — в Гатчине, Луге, Ямбурге, Пскове, и без подмостков — прямо в лесу; были ночные переходы, были борьба, удачи, неудачи, наступления, недели в окопах под дождем и снегом...

Ирина Аркадьевна рассказывала, и Лаврентьев видел по ее рассказу, как шаг за шагом менялось сознание юной певицы, как она становилась иным человеком.

— Лобанов, мой Виктор, не жил, а кипел, клокотал весь. «Увидишь, какая будет жизнь. Увидишь! — повторял он мне.— Только потерпи, вот разобьем гадов...» С ним этой жизни я не дождалась. В самом конце гражданской войны, буквально в последние ее дни, он погиб в Каре-

лии, в бою с белофиннами. Через несколько месяцев родилась его дочь, наша Катюша. Жить было очень трудно. Я поехала сюда, в родные места, к брату. Думала, что временно, оказалось — навсегда.— Ирина Аркадьевна вздохнула.— Но не жалею, хотя и грущу порой о тех осенних днях, когда встретила Катиного отца,—его портрет вы у меня видели. Стараюсь быть полезной людям, учу ребятишек. С братом живем мирно. Хотя и трудный у него характер,— все держит в себе. Но трусом, знаете, он не был. В шестнадцатом году летом он оказался одним из вожаков стихийного восстания здешних крестьян. Сжег барские конюшни, разорил пчельник, на который потратил столько труда, и сам Шредер с женой и сыном едва вырвались из его рук...

Нетронутыми остались чашки с холодным чаем. Ирина Аркадьевна ушла. Лаврентьев шагал по комнате — из угла в угол, из угла в угол,— и от ритмичных медленных шагов позванивало оконное стекло... В мыслях у него смешались и рассказ Ирины Аркадьевны о ее необычной судьбе, и гибель Снежинки, и досада на собственное невежество в вопросах животноводства.

5

Если гора не идет к Магомету, Магомет идет к горе. Лаврентьев всегда путал эту пословицу, ему казалось, что дóлжно говорить наоборот. В том весь и смысл. Он вспомнил старую пословицу, и в таком именно путаном виде, когда наутро увидел Катю. Катя возилась с лыжами среди двора. Заслышав морозный скрип крыльца под его ногами, она обернулась и пошла навстречу к нему.

Кругом, как оленьи рога, стояли яблони, они казались отлитыми из фарфора — так густо облепил их голубоватый иней. В безветренной тиши прозрачными голосами перекликались снегирь со снегирихой, тенькала синица, в репейниках дрались щеглы, сыпали свою болтливую скороговорку сороки. Промчался по нетронутому снегу полевой мышонок, и позади него, как за иглой швейной машины, осталась на белом снежном полотне извилистая строчка. Стучал на елке дятел.

Каждое время года имеет свое, ему лишь одному присущее очарование. Не только лето, пора плодоношения, и не одна весна, овеянная ароматами проснувшейся

земли, но подчас и не слишком-то приветливая осень, когда тянет приткнуться к натопленной печи, присесть возле нее с раскрытой книжкой, — даже и зима с морозами, снегами, вьюгами близка нам и понятна, любима русским человеком.

Лаврентьев любил зиму за чистый блеск снегов, за тишину, за тот румянец, какого не увидишь летом на щеках людей, за бодрость в теле, не истомленном зноем, за радость, вызываемую солнцем — не частым гостем в январском небе. Но в этот раз, после затянувшихся ночных раздумий, он даже и внимания не обратил на окружавшее его великолепие.

— Здравствуйте! — сказала ему Катя низким, как у Ирины Аркадьевны, голосом.— Я приглашаю вас пройтись на лыжах. Говорят, вы неутомимый ходок.

— Неутомимый — преувеличение. Но люблю это дело и немножко умею.

Катины волосы, ресницы и брови опушил иней, лицо дышало здоровьем, глаза блестели, что никак не вязалось с рассказами Ирины Аркадьевны о болезненной, хрупкой, слабогрудой и чуть ли не золотушной девочке, да к тому же и возрастом девочка отстала от него разве на год, на два.

— Принимаете приглашение?

— Пожалуй, да.

Сколько-нибудь срочных дел у Лаврентьева на это утро не было, он вынес лыжи, найденные ему ребятишками Карпа Гурьевича в ельнике за куропачьими стогами, и вдвоем с Катей они отправились к лесу.

Куда от Воскресенского ни иди — все будет в лесу. Лес лежал вокруг села — в пяти-шестикилометровом радиусе, он рос в этом краю на огромных пространствах, расступался только возле редких селений, вырубленный когда-то под пашню. Разница заключалась лишь в том, что за рекой, за луговыми поймами лес был могучий — столетние мачтовые сосны и ели, а здесь, на правобережье — как ни странно, более возвышенном,— за пахотными полями тянулись и тянулись бескрайние чахлые ольшаники, путаные, бездорожные и болотистые, в которых летом нередко терялся скот. Как далеко они тянулись — неведомо, карту района Лаврентьеву видеть еще не приходилось; колхозники говорили, что где-то за ольшаниками течет река Кудесна; Волгой ее не назовешь, но она куда полноводней, чем их воскресенская Лопать.

До леса по насту, присыпанному мягким снежком, бежали быстро, полным ходом, дыхания для разговоров не оставалось. Но когда, ступая в след друг другу, пошли зигзагами вдоль опушки, Катя, не оборачиваясь, заговорила:

— Люблю, Петр Дементьевич, деревню, люблю и в то же время немножко побаиваюсь ее.

— Почему же?

— Ну, все-таки условия не те, что в городе. А придется работать. В деревню, конечно, пошлют. Последние полгода стажировки — и вот я здесь, у вас, здравствуйте! Мама настаивает, чтобы именно сюда я просилась. Может быть, не в Воскресенское, так хотя бы поблизости. Но мне хотелось бы в какие-нибудь новые места. Да и не разрешат, думаю, сюда.

— Не вижу причин не разрешить.

— Тогда буду вас лечить. Боитесь?

— Я — нет.

— А я — да.

— Чего?

— Говорю же вам — самостоятельности.

Лаврентьев оттолкнулся палками, догнал Катю, пошел рядом с нею.

— Но самостоятельность, Екатерина Викторовна, одинаково нужна и в деревне и в городе. В чем же, не понимаю, различие?

— Во-первых, в городе, случись затруднение, есть с кем проконсультироваться и попросить помощи. Во-вторых, деревню надо знать, людей деревни, их обычаи, психологию...

— Ну, это уже чепуха начинается! — прервал ее Лаврентьев.— Абсолютная чепуха. Со своими высказываниями вы страшно опоздали. Вы говорите о деревне Глеба Успенского, Бунина, о дореволюционной, или в крайнем случае о деревне до коллективизации, но только не о современной. Возьмите Антона Ивановича, мать и дочь Звонких, Карпа Гурьевича — вы знаете их всех, конечно... Возьмите Дарью Васильевну, кого угодно,— в чем отличие их психологии от психологии жителя города? В чем, спрошу вас?.. Молчите? То-то. Я, откровенно признаюсь, его не нахожу. Дело не в городском платье, в которое теперь оделся крестьянин. Дело глубже и серьезней. Дело в том, что крестьянин стал не тот. Мне даже не выговорить: крестьянка Ася Звонкая, крестьянин Антон Ивано-

вич Сурков. Стареет это слово, и даже новое слово «колхозник» в приложении к таким людям, уже хотелось бы заменить другим, — не в смысле благозвучия — оно и так в силу заслуг наших колхозников перед государством звучит отлично, — а в смысле точности.

— Вы, однако, загибщик! — Катя улыбнулась. Разговор ей нравился.

— Нет, не загибщик. Жизнь идет вперед, и общественные отношения развиваются. Назовите мне сегодняшнюю разницу, прошу вас, между рабочим Уралмаша и колхозником кубанской, к примеру, станицы?.. Хотя тут я, пожалуй, слегка подзагнул, вы можете меня побить разницей между социалистическим и последовательно-социалистическим предприятием. Будем рассуждать проще. Несколько десятилетий прошло с начала коллективизации, за эти десятилетия очень многое переменилось. И главное, переменилось отношение крестьянина к земле. В годы перед коллективизацией, конечно, уже не было смертоубийства на меже, но крестьянин еще ходил за землемером: как бы тот не ошибся на полметра, нарезая ему поле. В земле средний крестьянин видел источник накопления, наживы, он стремился этот источник расширять, увеличивать. Деревенский труженик дрался за дело революции вместе с тружениками города, это так, но, когда он выходил на свой клочок земли, он жил только своими узколичными интересами. Элементарно, не так ли? Что сейчас для колхозника земля? В значительной степени то же, что и для рабочего завод. Да, завод. Точка приложения труда на благо коллектива, на благо народа, поле для широкого творчества. На этом поле ныне вырастают герои — герои не какого-либо, а социалистического труда. Социалистического, имейте в виду. Ну вот, по глазам вижу, что теперь вы со мной согласны, Екатерина Викторовна.

— Убедительно.— Катя на ходу смахнула с лица заиндевевшую прядь волос.— Но это социальная сторона дела; главнейшая, правда, важнейшая сторона... А есть еще — нельзя ее скинуть со счетов — и внешняя сторона: быт.

— Отвечать даже не хочется. Сторона эта ваша чисто временная. Времени требует — и больше ничего. Что вы имеете в виду? Электричество? Канализацию? Не берите за эталон наше Воскресенское. Для того чтобы увидеть правильность избранного пути, всегда надо брать передо-

гое — и по нему судить о нашем завтрашнем дне. Поискать — найдете колхоз с театром, о кино говорить не приходится. Поискать — найдете колхоз с филиалом научно-исследовательского института, колхоз с кандидатом сельскохозяйственных или биологических наук во главе...

— Да, — помолчав, продолжал Лаврентьев, — да, Екатерина Викторовна, деревня изменилась в корне. Тому, прежнему, крестьянину, с его двух-трехгектарной полоской,— зачем ему нужна была машина? А теперь колхозник, попробуй МТС обделить его трактором или комбайном, скандал какой учинит! С машиной пришли новые профессии: трактористы, комбайнеры, механики, электротехники — кто угодно. Пришла интеллигенция. И своя выросла. Я, например, крестьянин и, возможно, если бы не коллективизация, сейчас пахал бы плугом землю на своем индивидуальном поле.

— И я, возможно, жала бы овес! — Катя рассмеялась.

— Вы — вряд ли. Вы с Ириной Аркадьевной давно оторвались от овса,— в тон ей ответил Лаврентьев.

— А дядя Митя до самой коллективизации имел землю, пчел держал.

— Значит, не овес бы вам пришлось жать, а вертеть ручку медогонки и с медом на базар ездить. Но это шуточки, мы говорили о серьезном. Скажем, наука. Сельское хозяйство без нее уже не мыслится. Вы говорили о трудностях работы специалиста в деревне. Отчасти вынужден и я с вами согласиться. Трудно, да. Но чем трудно? Многое из того, что я знаю, знают и колхозники, вот беда! Яровизация? Знают и умеют ее проводить по всем правилам науки. Использование минеральных туков? Знают. Правильно обработать почву? Обойдутся и без меня. Организация труда, расстановка людей? Есть свои прекрасные организаторы. Что же остается на мою долю? Сводки для районных организаций составлять? Счетовод щелкает их, как семечки.

— Не правы, не правы, Петр Дементьевич! — Катя замахала на него варежкой.— Все, о чем вы говорите, агроном должен обобщать, превращать в единую стройную систему борьбы за урожай. Вот его место — главный инженер!

— Туманно.

— Ничего не туманно. Я, например, не только лечить буду, я буду внедрять профилактику, гигиену, заниматься

санитарным просвещением. Я добьюсь, чтобы исчезли тараканы, клопы, я...

— Козе хвост оторву?

— Да, да, и оторву!

Катя говорила запальчиво. Своей запальчивостью она правилась Лаврентьеву.

— Рвите,— сказал он,— рвите все хвосты, действуйте, благословляю. У вас, уверен, получится. Через двадцать лет мы встретимся на асфальтированной улице Воскресенского, когда гектар здешней земли будет родить по десять тонн пшеницы.

— Через двадцать лет! Утешили. Мы к тому времени будем...

— Далеко не стариками, не преувеличивайте. Сорок восемь, пятьдесят лет — не старость. Так вот, повторяю, встретимся, присядем на скамейке под каштанами — не исключено, что возле фонтана,— и поговорим, вспомним наш разговор. За двадцать лет такое произойдет!.. Предоставляю вам дальше додумывать самой. Ирина Аркадьевна утверждает, что вы мечтательница и фантазерка.

— Это она фантазерка, а не я. Она меня такой придумала. Видит во мне моего отца. Она его очень любила. Она и сейчас его любит, через столько лет! Теперь такой любви не бывает.

— Екатерина Викторовна! — Лаврентьев посмотрел на нее с укором.— Не могу верить, что слышу это от вас. Вы повторяете чужие пошлости.

— Да, не бывает, не бывает! Вот! — упрямо настаивала Катя.

Лаврентьев вновь взглянул на нее. «Может быть,— подумал он,— любовь обошла ее стороной, обделила; так о любви ли с ней спорить?»

Обратно они шли медленно, молча, шли иной дорогой, по полям, изъезженным полозьями саней, меж конусами черных удобрений. Возле села, подхлестывая лошадь, их нагнал Павел Дремов. Он стоял в санях, измазанных навозом, у ног его лежали вилы.

— Товарищ Лаврентьев! — Павел придержал вожжи, поравнялся. — Что́ скажу... Давно хотел. Не занятие это мне.

— Что? Навоз возить?

— Вообще возчицкое дело. Антон говорит — народу мало. Где мало! И подростки есть, и дедов наберется... Не моя специальность. По специальности бы, а?

— Какая у вас специальность?
— По ремонту танков в походной мастерской работал.
— Слесарь? Токарь?
— Не совсем. Подсобник, но...— Почувствовав, что Лаврентьев может ему возразить: какая же это специальность, Павел поспешил объясниться: — За три года к моторам пригляделся, к инструменту. Маракую.
— Моторов у нас нет, в кузнице штат полон. Попадобится ваша специальность — вспомним.
— Так, значит, и ворочать мне вилами?
— Ворочать. Народу мало, Антон Иванович правду сказал. Кто этим заниматься будет? — Лаврентьев обвел рукой, указывая на поля.— Так рассуждать: «специальность» — никого для полевых работ и не сыщешь. Один — кузнец, другой — столяр, третий — веревки вить мастер, четвертый — лодки строить, пятый, двенадцатый — еще что-нибудь. Даже Савельич, говорят, старый шорник. А навоз лежи на скотном?
— По науке, можно бы и конвейер какой соорудить, подавать его сюда, навоз этот.— Павел заметно злился.
— Со временем и конвейер будет. А пока — вот так, возить надо, на саночках. Проекты строй, мечтай, но дело свое делай.
— Возьму и брошу, в леспромхоз уйду.
— Посмотрим.
Катя держалась в отдалении. Ее удивила перемена, происшедшая в Лаврентьеве. Только что сам мечтал, фантазировал, заглядывал вперед, в будущее,— и вдруг в одну минуту стал непреклонным, даже губы сжал и напряг скулы, резко осаживает колхозника, который, в сущности, прав, по ее мнению, безусловно прав, добиваясь работы по душе.
Когда разгоряченный Павел хлестнул вожжами лошадь и умчался к селу, она высказала это свое мнение.
— По душе — понятие растяжимое,— ответил Лаврентьев.— Я почти год работал в областном земельном управлении плановиком, это мне было не по душе — сводки, планы, ведомости... Жизни не видишь, в колхозы не пускают... Предлагали пойти на опытную сельскохозяйственную станцию. Научная работа... Диссертация... Ученая степень... По душе, и очень. Отказался, пошел сюда, потому что знал: здесь я нужен, здесь меня ждут.
— Что ж,— помолчав, сделала заключение Катя,— вы коммунист, вам так и полагается.

— Павел тоже кандидат в члены партии.
— Суровая она, партия, слишком суровая.
— В нее вступают добровольно. И тогда вступали добровольно, когда за одну только принадлежность к ней можно было попасть в тюрьму, в ссылку, даже на виселицу. А это не навоз возить, Екатерина Викторовна!

## ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

### 1

О том, что он едет в город, Лаврентьев предупредил и Антона Ивановича и Дарью Васильевну, но истинной цели поездки не открыл; сказал просто, что поедет в отдел сельского хозяйства — мало ли текущих вопросов у агронома. Сказать — в райком, пойдут расспросы,— в партийный штаб района попусту не ездят.

Колхозная машина ходила в город не часто — за жмыхами для скота. Специально брать подводу — слишком накладно. Лаврентьев созвонился с совхозом, узнал, когда оттуда поедут с молоком, и в условленный час вышел на дорогу. Воскресенского агронома в совхозе уже знали, директор распорядился, чтобы его взяли в кабину. Но Лаврентьев предпочел ехать в кузове вместе с бидонами, покрытыми кляксами замерзшего молока. Он сел на запасную покрышку, прижавшись спиной к кабине, и смотрел, как убегают назад к Воскресенскому дымные от инея придорожные ольхи и рябины, как искрится на ветвях изморозь под январским солнцем, как падают с елок, пылью рассыпаясь в воздухе, снежные пласты, потревоженные движением машины,— смотрел и продумывал предстоящий разговор. Разговор будет острым. Всякий разговор должен быть острым, — вялых, плоских, шаблонных разговоров лучше и не вести, напрасная трата времени. Он скажет, что приехал в Воскресенское для того, чтобы бороться за высокую агротехнику, а высокая агротехника возможна и эффективна лишь в том случае, когда для нее есть надлежащий фон. В Воскресенском этот фон ослаблен заболоченностью, закисленностью почв. Следовательно, нужны коренные меры. Какие? Это ясно — мелиорация. Но мелиоративные работы требуют ка-

питальных затрат, и к тому же неизвестно, дадут ли они должные результаты. Из документов, из рассказов колхозников явствует, что еще за семь лет до войны мелиоративные меры в Воскресенском принимались. Однако, как установил Лаврентьев, вся мелиоративная сеть вышла из строя в тот же сезон, когда и была создана. Через год-два она исчезла бесследно, забитая песком, илом, плывунами, и подпочвенные воды, не успев даже уйти в недосягаемые для плуга горизонты, снова выступили на поверхность полей. Не повторится ли это вновь, не заставит ли он, Лаврентьев, истратить колхозные средства впустую? Да и вообще откуда взять средства? Пусть над этим задумается и секретарь райкома. Может быть, секретарю райкома известно больше, чем известно колхозникам; может быть, в прошлом мелиораторами была допущена какая-нибудь ошибка.

Двадцать один километр плотной зимней дороги для хорошей машины — пустяк. Через тридцать — сорок минут Лаврентьев выскочил из кузова возле районного Дома Советов, над которым дни и ночи вился на высоком древке алый государственный флаг. Прочитав на двери над табличками «Исполнительный комитет Районного Совета Депутатов Трудящихся» и «Районный комитет Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков)» объявление: «Сегодня вход со двора», написанное фиолетовыми чернилами, Лаврентьев прошел во двор и по крутой деревянной лестнице поднялся на второй этаж. Его удивили безлюдье и тишина во дворе, на лестнице, в коридорах, за плотно прикрытыми дверями рабочих комнат. В приемной секретаря райкома за столом сидел человек с богатейшей черной шевелюрой.

— Товарища Карабанова? Нету, в районе. И вообще райком по воскресеньям выходной. Один дежурный, то есть — я.

Воскресенье... Как упустил это из виду Лаврентьев! В колхозе не очень подчинялись велениям официального календаря, больше глядели на календарь природы.

— Вот беда.— Он присел на стул возле окошка.— Из Воскресенского приехал.

— Второй секретарь в городе. Можно на квартиру сходить,— посочувствовал дежурный.— Вот телефон, позвоните ему.

— Да нет, — отказался Лаврентьев. — Мне товарищ Карабанов нужен, лично.

Почему только Карабанов и никто другой — Лаврентьев сам не знал; может быть, потому, что с Карабановым он уже познакомился, когда прибыл в район, и запомнил его слова: «Время не воробей, упустил — не поймаешь». А второй секретарь... как-то еще встретит! Начинай все сначала, знакомься, рассказывай о себе. Лаврентьев же был туговат на новые знакомства,— легко, как иным, они ему не давались.

— Лично так лично, — согласился дежурный, — пару деньков придется тогда обождать. Никита Андреевич как закатится в колхозы, так на неделю, не меньше.

Лаврентьев огорчился. «Не повидаться ли с Серошевским? — подумал он.— А то получается неладно: друг друга не знаем, не общаемся». И в самом деле, осенью главный агроном произнес свое напутствие Лаврентьеву; сдвигая на столе пальцы, показывал сложную в этих местах линию бывшего фронта, потом два-три телефонных разговора о сводках — и все общение.

Спросил, как найти Серошевского, поблагодарил, попрощался и вышел на улицу. Главный агроном жил на самой окраине городка. Через ветви окружавшего дом большого сада было видно, что за садом начинается поле. На калитке поблескивала медная дощечка: «Серошевский Сергей Павлович». Пониже, на куске фанеры, выведено красным: «Во дворе собака». Звонка не было, Лаврентьев постучал в задребезжавшие доски. В доме не откликнулись, только залаяла зло собака, таская по проволоке железное кольцо и гремя цепью. Обождал, постучал сильнее, а затем — и вовсе не стесняясь.

— Кого надо?

Он поднялся на носки, увидел поверх калитки старуху на крыльце.

— На одну минутку, бабушка!

Старуха зашаркала валенками; подойдя к калитке, снова спросила:

— Кого надо?

— Сергея Павловича.

Валенки удалились. Было слышно ворчание насчет того, что и в воскресный день не дают человеку покоя, носит их нелегкая, сидели бы дома, делом занимались. Хлопнула дверь, потом снова скрипнула, отворяясь, и снова вопрос за калиткой:

— А как сказать-то?

Калитка на этот раз приоткрылась. На старухе был ватный капот; валенки обрезаны наподобие глубоких галош; взгляд угрюмый, бесцветный.

— Лаврентьев, скажите. Агроном из Воскресенского.

— Дело-то спешное или терпит?

— И не спешное, и не терпит. Что это у вас строгости какие? К английскому королю легче попасть.

— А ты бывал у него, у короля-то?

— Бывал,— грубо ответил Лаврентьев.— Давайте, бабуня, докладывайте хозяину. Окоченею с вами торговаться.

— Прыткий!

Опять скрипела, хлопала дверь, брехал пес, тянулось время. Наконец к воротам подошел сам Серошевский.

— Товарищ Лаврентьев! Какая приятная встреча! Прошу прощения, мамаша у нас что аргус — недремлющее око. Воскресенье для нее священный день. Как ни борюсь против этого, ко мне никого не пускает по делу. В гости — пожалуйста, по делу — ни за что. Не догляди — бог знает чего натворит с такой политикой.

Серошевский вел Лаврентьева под руку по дорожке, расчищенной от снега и присыпанной желтым песком.

— Вот наша скромная, провинциальная жизнь,— продолжал он, вводя гостя в свой кабинет. По столу были раскиданы коробки с табаком и гильзами; табачные крошки рассыпаны на бумагах, на книгах; табак заложен в машинку,— видимо, хозяин только что прервал располагающее к философическому созерцанию мира занятие — домашнее производство папирос.

— Прошу! — предложил он готовую папиросу Лаврентьеву, взяв ее большим и безымянным пальцами, осторожно, бережно, как нечто весьма ценное.— И рекомендую. Избегайте примесей, которые всегда есть в фабричных папиросах. Да и выгодно. Гильзы — два рубля двести пятьдесят штук, табак — сто граммов — тринадцать рублей. Считайте сами... А качество — высший сорт номер три. Простая арифметика. Садитесь вот сюда, в кресло. Старое, дедовское кресло. Уютно, мягко...

Лаврентьев закурил и не сказал, а только подумал, что табачок в домодельной папиросе вряд ли тринадцатирублевый, высший сорт номер три. Отдавал он мочалкой.

Серошевский тоже закурил. Он держал папиросу, далеко отставив мизинец.

Оба молчали. Лаврентьев через пласты дыма разглядывал хозяина. Был тот близорук, щурился за овальными стеклами очков; лицо сморщенное, маленький подбородок. Как-то странно дергал он краем верхней губы, отчего вместе со щекой все время ползал в сторону и его бесформенный носик. На губах бродила улыбка, схожая с гримасой, и нельзя было понять, что за этой гримасой скрывалось.

— Очень рад, что навестили,— сказал Серошевский вялым голосом.— Сам к вам собирался. Да разве вырвешься! Дела... дела... Как в колхозе? Как вас приняли? Как устроились?

Лаврентьев принялся подробно рассказывать, выкладывал свои сомнения, говорил горячо, требовательно, откровенно, как делал бы это и перед секретарем райкома, встреча с которым, к сожалению, не состоялась. Увлекся, не сомневаясь, что то, о чем он говорит, должно увлекать и главного агронома.

— Да, да, трудно, понимаю...— односложно отвечал Серошевский.

— Но что же делать, что делать, Сергей Павлович? Я ведь к вам пришел как к главному агроному.

— Что делать? Быть поспокойней, товарищ Лаврентьев, не так близко принимать к сердцу каждую мелочь.

— Какие же это мелочи? — Лаврентьев начинал горячиться.— Падеж телят, низкие удои, недороды...

— Да, это, увы, так. Но я лично вашей работой доволен. Претензий к вам не имею.

— Зато я имею! И вообще работы еще никакой нет. Чем вы можете быть довольны?

— Полно, полно, дорогой мой! Не надо волноваться. Взгляните на меня. Я восемнадцать лет в сельском хозяйстве, восемнадцать лет агрономом. Вначале, может быть, как и вы, шумел по всякому поводу. С годами пришел опыт, сознание того, что стену лбом не прошибешь. Надо ждать.

— Чего ждать?

— Пока наука достигнет такого уровня, когда...

— У нас наука очень высоко поднялась, — нетерпеливо перебил Лаврентьев.

— Это еще как сказать. Ведь какие бы величественные слова ни говорили с кафедр сельскохозяйственной академии, а природа есть природа. Десять процентов зависит от человека, девяносто — от стихий. Природу пере-

делать — смелая мечта. Мечту от ее осуществления нередко отделяют не только годы — целые столетия, эпохи. О ковре-самолете мечтали задолго до нашей эры, осуществили ее только меньше чем полвека назад. Вы не женаты?

— Нет. Какое отношение...

— Прямое. Когда женитесь, поймете, что главное совсем не в том, чтобы, как я уже сказал, биться в стену лбами. Помните у Горация: «Глубокие реки плавно текут, премудрые люди тихо живут»?

— Это не у Горация, а у Пушкина. И сам Пушкин жил отнюдь не тихо.

Серошевский, казалось, нисколько не смутился оттого, что Лаврентьев его поправил.

— Не тихо? Да, не тихо. Пушкин — гений, ему по штату было положено греметь на весь мир.

— Не понимаю такой философии.— Лаврентьев без приглашения взял еще папиросу.

— Не понимаете? Это от молодости,— благодушно сказал Серошевский. — В молодости мы все сверхэнтузиасты. Идут года, и ценности переоцениваются. Надо работать честно — да, надо быть исполнительным, аккуратным — кто же отрицать это будет! Но стараться прыгнуть выше своей головы...

Лаврентьев слушал пространную речь о философии жизни — дрянненькую философию, удивляясь тому, с какой привычной легкостью Серошевский пересыпает свои разглагольствования словами «народ», «долг» и в особенности часто — «государство». При этом он думал о том, как тоскливо, наверно, жене и детям жить с этим человеком, подлинную натуру которого он уже начинал угадывать.

Но он ошибался. Жена Серошевского была под стать мужу, расчетливая, мелкая в своих побуждениях женщина. Она преждевременно состарилась, и уже к пятому десятку из-за бесконечных и однообразных забот стала похожей на старуху. У нее была корова, были свиньи, овцы, множество кур, обширнейшие огород и сад, которые давали гору картофеля, огурцов, яблок, ягод. Все это сначала надо было вырастить, а затем сбывать, сбывать и сбывать,— и сбывать хотя бы на полтинник, на двадцать копеек, на пятак дороже, чем сбывают другие. Надо было ездить на базар в соседний район — на своем базаре цены казались невозможно низкими,— а то и в областной

центр. Значит — пересаживаться с поезда на поезд, ночевать на вокзалах, таскать пудовые багажи, ругаться с билетными контролерами, превращаясь то в тигрицу, то в убитую горем престарелую мать инвалида, героя Отечественной войны.

Лаврентьев так и остался в полной уверенности, что неряшливая старуха, которая морозила его у калитки,— мать Серошевского, тем более что Серошевский называл жену не иначе как мамашей. Он с ней жил — не тужил. Всем был всегда обеспечен, в сундуке и на трех сберегательных счетах, один из которых находился в соседнем районе, другой в областном центре, прикапливались должные суммы «на черный день». Жене такой муж тоже не мешал — почтенный, уважаемый в районе человек, главный агроном, депутат районного Совета.

Жене, словом, нисколько не было ни тоскливо, ни трудно со своим мужем. А детям с отцом? С детьми Серошевский был нежен, много с ними занимался; когда они были маленькими, ходил с ними на лыжах, возил на санках, летом вел в лес по грибы, в поля за цветами. Что еще нужно детям от отца? Маленькие, они его любили; подрастая, оканчивая школу, уезжали в техникумы, в институты, уходили в самостоятельную жизнь, так и не проникнув, не заглянув в душу отца. Яблочко от яблоньки укатывается далеко, когда яблонька растет на крутых косогорах истории.

Лаврентьев остро пожалел о том, что пришел сюда, к этой глухой калитке, в этот пыльный кабинет, что так глупо и доверчиво выложил все, что накопилось у него на душе.

— Мы по-разному мыслим,— сказал он.— Я знаю энтузиастов и мечтателей не двадцати, а шестидесяти лет. В Воскресенском у нас есть столяр, Карп Гурьевич,— может быть, слыхали?

— Как же! Большой чудак.

— Он не чудак, а человек государственного мышления.

— А, чепуха эти многомудрые деды! — перебил, мелко, по-мышиному дергая губой и носом, Серошевский.— Там, к вашему сведению, есть и другой, еще постарше дед. Он мне однажды задал на собрании вопрос: «А почему, извиняюсь, в Америке автомобиль дешевле, чем у нас кобыла?» Вот это энтузиаст так энтузиаст!

— Савельич, конечно! — Лаврентьев усмехнулся.

— Да, Савельич,— подтвердил Серошевский.— Откуда вы знаете?

— Догадываюсь. И как вы ему ответили? — Лаврентьев чувствовал, что подобный вопрос о ценах на кобыл и автомобили занимает не только Савельича, но и самого Серошевского.

— Как? Да никак. Пожал плечами, посмеялся. Что можно ответить еще?

— Как — что! Неужели вы этот вопрос оставили без ответа? Неужели не поняли, что ответить надо было, и непременно. Не для Савельича,— для всего собрания.

— Упустил, знаете ли, случай провести воспитательную работку. — Серошевский иронически-виновато потупился.— А что, кстати, я там должен был сказать? Может быть, послать все американское к чертям бабушкиным?

— Не все американское, а то, что порождено американским империализмом,— хмуро возразил Лаврентьев.

Серошевский снял очки — вернее, не снял, а как-то смахнул их с носа в сторону — и поднялся.

Лаврентьев ясно видел по его лицу, какие противоречивые чувства сталкивались в нем: и беспокойство — не сказал ли чего лишнего, и привычная самоуверенность, и сознание собственного авторитета.

— В качестве агитатора горлана-главаря вы великолепны, товарищ Лаврентьев.— Серошевский, овладевая собой, изобразил гримасу-улыбку. — Каковы-то окажетесь в работе, да, в работе, на которой только и проверяется человек? Не обломало бы вам Воскресенское бока.

— Грозитесь?

— Нет. Не надо только воображать, что вы один — передовое, а все другие — отсталое. Не надо злоупотреблять политграмотой. Побольше специальных знаний.

— А я бы и вам рекомендовал посерьезней заняться политграмотой,— застегивая пуговицы пальто, холодно сказал Лаврентьев.— Польза будет.

— Как-нибудь, занимаюсь.

— Не как-нибудь, по-настоящему попробуйте.

— До свидания, будьте здоровы! — Серошевский выпрямился величественно, несколько театрально, и заложил руки за спину.— Мамаша! — крикнул он.— Проводите товарища! — Но, видимо, тут же перетрусил перед вспышкой своего минутного величия, перед этим «проводите товарища», сорвавшимся с языка, потому что уже

другим тоном, как бы объясняя предыдущие слова, добавил: — Придержи собаку.

Он даже сам вышел, якобы придержать собаку, которую придерживать было не надо: она бессильно давилась на цепи. Проводил до калитки и, подозрительно крепко пожимая руку Лаврентьева, сказал со смешком:

— Я вас понимаю, погорячились. Но зачем же ссориться? Не ссориться — работать, работать нам вместе, долго работать. Ну, а споры-разговоры — только на обоюдную пользу, гимнастика мозгам. Желаю успеха, позванивайте, если что.

Лаврентьев вышел за город на дорогу к Воскресенскому. Смеркалось, летел реденький снежок. Ждать попутных подвод или машин было бесполезно. С базара разъехались, на районных базах выходной. Совхозная машина, наверно, давно вернулась в гараж. Присел на придорожный обледенелый камень, перемотал портянку, притопнул валенками и пошел пешком. Не той казалась дорога, какой была она осенью, когда шагал он под дождем в неизвестность, когда оттягивал плечи чемодан, перекинутый на веревке, когда только начинался незнакомый путь.

## 2

Подходя к дому, к столбам из дикого серого камня, оставшимся от барских ворот, Лаврентьев видел впереди, в низине, огни,— Воскресенское бодрствовало. Давно ли то было, когда деревни укладывались спать с наступлением сумерек, когда к полуночи лишь парни да девки еще бродили с гармонью по улицам или, заняв чью-либо избу, плясали польки и тустепы, а взрослый трудовой люд уже видел вторые сны. Отошли те времена... Лаврентьев поднес к глазам руку с часами: одиннадцать. Но, как и в городах в этот час, огни светились почти в каждом доме. У каждого на вечер есть свое дело, оно держит человека за столом перед лампой и не отпускает. Графит красным карандашом листы книги отелов хлопотливая Елизавета Степановна. Первая строка ее записей— «телка Снежинка» — заканчивается безрадостной пометкой: «пала 10 января», но до конца апреля предстоит заполнить еще шестьдесят семь строк — еще шестьдесят семь стельных коров, еще шестьдесят семь бычков и телочек, — сколько еще новых волнений и радостей. Чего будет боль-

ше? Хотелось бы не видеть мрачных пометок в последней графе учетной таблицы. И если этого не желать всей душой, если на это не надеяться, то стóит ли вообще-то работать.

Светятся все три окна горенки Антона Ивановича. Томная, рано полнеющая Марьяна ушла к соседке. Антон Иванович затеял деловой разговор с Дарьей Васильевной, и Марьяна знает, что мешать им нельзя, да и слушать про севообороты и сортировку овса скучно. Но председатель и партийный секретарь говорят не о сортировке овса, — они спорят о плане на новый год, о плане, которому будет посвящено ближайшее собрание коммунистов. И так опоздали с обсуждением, надо наверстывать упущенное. Поминают они и фамилию агронома. Дарья Васильевна на чем-то настаивает, Антон Иванович протестует. Знал бы Лаврентьев, в связи с чем поминается его имя и на чем настаивает парторг... Но он не знал и, отдыхая с дороги, смотрел на огни в низине, где дымило трубами заснеженное село. Он отыскивал взглядом знакомые окна. Вот, кажется, окно Карпа Гурьевича. Да, оно. Старик, конечно, сидит возле приемника, ждет последних известий из Москвы.

Один раз побывал человек в столице — еще перед войной, на Сельскохозяйственной выставке,— а влюбился в нее, пожалуй, посильней, чем когда-то был влюблен в его родные места заезжий художник, оставивший тут о себе долгую память: портрет отца. «Что наша Лопать! Что наши боры и поймы! Вот тут Россия так Россия»,— изумлялся Карп Гурьевич, бродя по московским площадям и бульварам. Побывал в Мавзолее, постоял перед Спасской башней, обогнул весь Кремль, ходил в музеи, в хранилища картин, в театрах пересмотрел пять постановок; даже задержался в Москве за свой счет на неделю, отстал от делегации. Надо же было в планетарий попасть, на Московское море съездить, аэровокзал во Внукове посмотреть. Как-то с толпой мальчишек пробился зайцем на стадион «Динамо», — билета не достал. Не галдел там, не улюлюкал, как другие, не толкал соседа кулаком в плечо — сидел степенно, тихо, солидно. Футбол ему понравился: веселая игра.

С тех московских пор слово «Москва» часто поминается Карпом Гурьевичем. «Москва говорит»... «В Москве слышно»... А что в Москве говорят и что в Москве слышно — он убедился и уверовал,— то и в их Воскресенском

будет. Он потому и проводку в своем доме заблаговременно сделал: «Москва сказала — районы сплошной электрификации». Дойдет электрификация до Воскресенского, непременно дойдет.

Что он там нового сегодня выслушает, умный, славный старик, для которого Серошевский не нашел лучшего слова, чем чудак? Неприятное воспоминание о Серошевском сбило ход мыслей Лаврентьева. Он поискал глазами окно Людмилы Кирилловны — розового света не было видно — и пошел по аллее к дому.

Когда отворил свою дверь, к ногам его — то ли из замочной скважины, то ли из дверной щели — выпала свернутая в трубочку бумажка. Он заметил ее при свете спички, поднял, зажег лампу и, не снимая пальто, развернул у стола. «Дорогой Петр Дементьевич! — угловатые буквы Ирины Аркадьевны пошли перед его глазами неровным заборчиком.— С Людмилой Кирилловной большое несчастье. Как бы поздно Вы ни вернулись, непременно и немедленно сходите к ней. Она в больнице. *И. А.*»

Лаврентьев хотел постучать к своей соседке, узнать у нее, что там такое случилось, но в окнах Прониной было темно, и он снова после дальнего пути вышел на дорогу.

Больница находилась во дворе позади амбулатории,— маленькое веселое зданьице, прошлой весной воздвигнутое стараниями Людмилы Кирилловны. Людмила Кирилловна сама выхлопатывала средства, доказывала на исполкоме, что возить больных из Воскресенского в районную больницу — ужасно, особенно зимой, что ей не нужны никакие дополнительные штаты, дайте только на оборудование.

Больничка существовала не более полугода, но и за такой короткий срок многих воскресенцев и рабочих совхоза подняла в ней на ноги Людмила Кирилловна, и вот дождалась, сама попала на больничную койку.

Обычного хода до больницы было минут пятнадцать — двадцать. Лаврентьев дошел за десять. Его встретила тетка Дуся, типичная санитарка, из тех, что одновременно и грубы, и по-своему заботливы. Чтобы в палатах было чисто, они готовы с полуночи разбудить больных шарканьем швабры. Обедать пора — тоже разбудят, не считаясь с тем, что человек, может быть, только сейчас уснул и сон ему дороже любых яств. Тетки Дуси есть в каждой больнице. Они дородны, в летах, у них обширнейший, но

без определенных форм, бюст; они ходят тяжелыми шагами, ступая на пятки, ворчат и на больных, и на врачей, и особенно на посетителей.

— Ночь на дворе, какие посещения! — заворчала тетка Дуся, отворив дверь Лаврентьеву. Но заворчала лишь в силу характера и для порядка — знала, что его ждут, и провела в палату.

В палате Лаврентьев прежде всего увидел Ирину Аркадьевну. Пронина сидела возле постели на табурете и, поднеся к лампе, разглядывала термометр.

— Сорок один и три,— сказала она, и сказала так, будто Лаврентьев не только что вошел, а давно был тут и ожидал этих ее слов.— Что же будет? Все повышается...

Лаврентьев тоже взял в руки термометр: да, сорок один и три. Взглянул на постель. Людмила Кирилловна лежала на спине, с закрытыми глазами, тяжело, часто и хрипло дышала, по временам сильно кашляла.

— Что с ней?

— Ничего не знаю.— Пронина вздохнула.— Вернулась под утро уже больная. Ни с кем не разговаривая, слегла — и вот... без сознания. Единственные слова: просила позвать вас.

— Но, хотя бы что за болезнь? — Позабыв, что у него в руках термометр, Лаврентьев вертел его, как карандаш.

— Фельдшерица установила воспаление легких, крупозное, с обеих сторон. Каждые три часа дает по грамму сульфидина.

— Надо немедленно везти в город! — сказал он, чувствуя, что в сердце к нему заползает страх за жизнь Людмилы Кирилловны.

— Обождем до утра.

Лаврентьев обернулся, — позади него стояла фельдшер Зотова, некрасивая старая дева с черной мохнатой родинкой под глазом, из-за которой казалось, что Зотова всегда хитро подмигивает. У Зотовой был большой опыт. Людмила Кирилловна ей безгранично доверяла.

— Утром посмотрим,— повторила Зотова.— Куда сейчас везти! Опасно. Окончательно застудим.

— Как это произошло?

— Продуло, когда ездила к леснику. У него девочка заболела. Тоже лежит у нас, в инфекционной. Дифтерит.

Зотова всю ночь металась от Людмилы Кирилловны к дочери лесника в инфекционное отделение, в которое вел отдельный вход, непрерывно мыла руки, меняла халаты,

несла то порошки — сюда, то шприц с противодифтеритной сывороткой — туда. Тетка Дуся дежурила возле девочки, Пронина — возле Людмилы Кирилловны. Лаврентьев, сморенный дорожной усталостью, прилег и задремал в комнатке тетки Дуси на ее жесткой «дежурной» кровати. Его разбудил какой-то грохот. Приехал лесник и топал в сенях, стряхивая снег с валенок.

Лесник долго и подробно рассказывал о том, что случилось прошлой ночью.

А случилось вот что. Когда Людмила Кирилловна уже легла спать, к ней постучался этот лесник из Залесья.

— Дочка больна... Душит ее. Боюсь — глотошная.

— В вашем сельсовете есть врач, Лозинский.

— От него только что. В город отбывши.

— Хорошо. Едемте.— Людмила Кирилловна схватила пальто и врачебный чемоданчик.— У вас своя лошадь?

— Своя, своя. Вот уж благодарствую так благодарствую... Мигом домчу, резвая лошадка.

В пути обрадованный лесник говорил не умолкая. Говорил о том, что, окажись Лозинский на месте, все равно бы к ней поехал. О ней, о воскресенской врачихе, слух далеко идет. Легкая на руку, счастливая...

Розвальни мягко катились по лесной дороге. Ни селения вокруг, ни огонька — глухой край, край лесорубов. Людмила Кирилловна полулежала в душистом мягком сене, смотрела на звезды. О чем она думала? Не о том ли, откуда у нее, у молодого врача, такая слава, что к ней едут из дальних сельсоветов? Или о том, почему же всетаки нет счастья? И, может быть, страстная эта мольба о любви и счастье звучала так: «Петр Дементьевич, милый Петр Дементьевич! Люблю же я вас, и чем больше вы от меня бежите, тем больше люблю. Не знаю, за что, не знаю — разве любовь разбирает, за что. Просто так, люблю и люблю. Ну присмотритесь ко мне получше, не бегите... Мы будем вместе работать, я буду вам верной, преданной подругой, Петр Дементьевич. У нас так много общих интересов и общих желаний. Не отталкивайте». Молчали в выси притихшие звезды, молчал кругом лес, только говорил и говорил без умолку лесник, но Людмила Кирилловна не слышала ни одного его слова.

Вдруг сани толчком остановились: хрустнули, вылетая из заверток, оглобли, лошадь повалилась на дорогу и тяжело застонала. Лесник бросился к ней, возился минуту или две и тоже застонал от досады и горя.

— Оступилась. Видать, ногу в бабке свихнула. Ох, чего теперь и делать-то? Куда подаваться?

— Не пойдет? — Людмила Кирилловна выскочила из саней. Она в эту минуту не о лошади думала и даже не о Петре Дементьевиче, а только о девочке, которая мечется в жару где-то там, в дальней лесной сторожке.

— Не, и думать нечего,— охал лесник.— Обратно в Воскресенское, что ли?..

— Где тут деревня?

— Да Воскресенское ближе всех. Девять верст. До Луговой — тринадцать, до Бережка — все пятнадцать будут. До моей избы — одиннадцать. До...

— Мы не географию собрались изучать, — оборвала его Людмила Кирилловна.— Вы как хотите, а я пойду пешком. Рассказывайте дорогу.

— Мыслимо ли дело — одиннадцать верст!..

— Сию минуту рассказывай! — топнула она ногой.

Дорога до сторожки была прямая. По колеям, никуда не сворачивая, Людмила Кирилловна пошла, почти побежала. Лесник прошел было за ней с полкилометра, безнадежно отстал, потерял ее во мраке, потоптался в нерешительности, вернулся к саням, принялся подымать лошадь,— авось хоть на трех ногах, да пойдет, не замерзать же казенной скотине.

Людмила Кирилловна шагала стремительно, ноги не скользили — хорошо, что сообразила валенки надеть,— грудь навстречу ветру. Становилось жарко — распахнула пальто, размотала шарфик; пришлось расстегнуть и пуговки на вороте платья — ветер освежал. Вскоре стало холодно — снова застегивала пуговки, снова заматывала шарф, запахивала пальто. Потом было снова жарко, снова холодно... До сторожки, несмотря на быструю ходьбу, добралась, простывшая до костей.

В жилище лесника, над столом, на ржавой проволоке, ярко горела лампа с громадным, как таз, жестяным абажуром. Перед столом, утирая пальцем слезы с лица, стояла худая высокая женщина — лесничиха.

— Охти-хти! — Она кинулась навстречу Людмиле Кирилловне, подвела ее к больной.

Девочка лежала в самодельной деревянной кроватке и судорожно глотала слюну.

Был раскрыт чемоданчик, возле лампы разогревались ампулы, шприц, спирт в плоском флаконе из-под духов. Людмила Кирилловна торопилась сделать впрыскивание

сыворотки — торопилась, потому что чувствовала, как ее все сильнее охватывает озноб и вот-вот начнут непроизвольно дергаться руки, и тогда все пропало. Но она успела сделать то, что было необходимо.

— Надо в больницу! — сказала лесничихе, складывая чемоданчик.— Где взять транспорт?

— А Федор?

— Федор ваш,— Людмила Кирилловна догадалась, что это лесник, — на дороге остался, лошадь ногу повредила.

— Охти-хти! Конь-то второй есть, да сани непутевые. Лесничему запрягаем, когда приезжает.

— Запрягайте немедленно! Умеете? А то я сама...

— Умею, умею, разумница моя, мигом. Только, говорю, непутевые они, санки эти. Охти-хти...

Лесничиха выбежала во двор. Людмила Кирилловна заходила по избе, останавливаясь, прислушиваясь к дыханию девочки.

Наконец санки были запряжены. Лесничиха села сзади с завернутой в одеяло девочкой на руках, Людмила Кирилловна взобралась на облучок, дернула вожжами, крикнула: «Н-но! Пошла!» Застоявшаяся лошадь не нуждалась в понуканиях, лихо взяла с места, и в жестяной передок санок застучали комья снега с ее копыт.

Где-то на дороге встретили лесника. Он вел ковылявшего на трех ногах коня. Лесничиха заерзала, хотела, видимо, поговорить с мужем, но Людмила Кирилловна еще сильней подхлестнула коня вожжами.

В больницу она вошла, шатаясь, отдала необходимые распоряжения Зотовой и повалилась на койку в пустой палате. Сердце усиленно стучало, каждый удар его сопровождался резкой болью в груди.

К полудню Людмила Кирилловна уже бредила. Она только на минуту пришла в сознание, когда ее руку взяла Пронина, оповещенная о беде теткой Дусей.

— Ирина Аркадьевна, милая... Узнайте, пожалуйста, что там с девочкой, с дочкой лесника... Очень беспокоюсь. У нее опасная форма...

## 3

Елизавета Степановна упорно избегала встреч с Лаврентьевым. Вначале ей казалось, что она поступает так из-за Снежинки. Петенька показал себя в этой истории не

как свой человек, не как близкий добрый друг, а как упрямец, которому не дороги ни колхозные, ни государственные, ни ее, телятницы Звонкой, интересы. Лишь бы настоять на своем, дальше — и трава не расти. Она даже поссорилась с дочерью, до того негодовала на Лаврентьева. Ася вздумала защищать агронома, вздумала доказывать, что он прав в его попытках отыскать новый метод выхаживания телят.

Ася говорила с прямотой и горячностью двадцатилетней девушки, заливаясь румянцем от сознания того, что волей-неволей вынуждена грубить родной матери, и, чтобы не жестикулировать, — она боролась со скверной, по ее мнению, привычкой, — закладывала руки за спину, немножко бычилась и становилась похожей на покойного отца.

— По-новому — это значит взять и поморозить животных! — волновалась, тоже заливаясь краской, Елизавета Степановна.— Ишь вы какие все щедрые за общественный счет фокусы проделывать! Молчи уж, молчи... Посмотрим, как вы эдаким манером с Петром Дементьевичем своим над пшеницей нафокусничаете.

— За нас, мамаша, не беспокойся. За старину цепляться не будем. Нет. Не будем!

Ася, как фехтовальщик, парировала наскоки матери, немедленно переходившей от обороны к нападению, едва лишь возникали подобные разговоры, а они возникали ежедневно, и Елизавета Степановна продолжала думать, что Лаврентьев сотворил величайшее безобразие, которого она ему никогда не простит. Но встреч с ним избегала еще и по другой, более серьезной причине.

Вслед за беглой Милкой вскоре отелились две коровы сразу. Два пестрых бычка вновь внесли шумную жизнь в опустевший телятник, и, когда они появились, веселые, требовательные, крепконогие, подобно Снежинке, Елизавета Степановна задумалась: такой серьезный человек — и не мальчишка, и воевал, и высшее образование имеет, — неужели он делал тут все сдуру?

Так и не решив, сдуру или с ума Лаврентьев морозил Снежинку, и отнюдь не разделяя сердцем диких его начинаний, практически она незаметно для себя стала на путь претворения в жизнь этих начинаний. То фрамуги в окнах на весь день раскроет, то двери час-два держит настежь, то печку загасит раньше времени. Но скрывала это, ото всех скрывала, а пуще всего от Лаврентьева.

В телятник он, к счастью, заходил редко, и то норовил угадать в такое время, когда ее там не было. А если Дарья Васильевна или Антон Иванович заглянут, Елизавета Степановна, кляня ветер и скверные задвижки, кинется затворять фрамуги, дверь, начнет ворчать по поводу сырых дров, которые только шипят, а жару от них — что от ледяшки.

И телята росли, не болели; в солнечные дни, пятясь от яркого света, выходили во двор, носились с откинутыми кренделем хвостами по снегу; подражая отцу, круторогому красавцу из совхоза, шли друг на друга грудью, свирепо гнули к земле головы, сталкивались лбами.

Телились коровы, новые бычки и телочки населяли выбеленные стойла телятника, на них тоже распространялся «холодный» метод воспитания, дело — не сглазить бы! — шло хорошо, и чем лучше оно шло, тем чаще Елизавету Степановну мучила совесть, тем настойчивей возникало желание пойти к Петеньке с повинной, просить у него прощения и за недостойные крики, и за то ужасное слово — повторить даже страшно! — «вредительство», и, главное, за то, что и его-то она держит в неведении, оставляет в сомнениях о состоянии дел в телятнике. Но... не всегда-то легко это сделать — признать свою неправоту.

— Погорячился Петр Дементьевич,— стали поговаривать в колхозе, видя успехи телятницы Звонкой.— Зря загубил телка. Наука-то боком вышла.

Возникшее было доброе отношение колхозников к агроному стало колебаться. Лаврентьев это почувствовал, и особенно при одной из встреч с Павлом Дремовым.

С Павлом они виделись часто, но после того резкого разговора на поле, когда Дремов требовал дать ему работу по специальности, Дремов при встречах угрюмо молчал. В лесное хозяйство не ушел, продолжал возить навоз, но молчал. А тут вдруг воспрянул духом.

— Что, Дементьич? — панибратски и на «ты» окликнул он Лаврентьева, перехватив его возле кузницы. — И на старушку бывает прорушка. Звонкая-то фитилек тебе дала. Преподносить всякие назидания легко, терпеть их трудно.

— Не понимаю, из-за чего вы так развеселились, товарищ Дремов? — спокойно ответил Лаврентьев, в душе глубоко уязвленный тем, что благодаря Елизавете Степановне, именно тихой, скромной Елизавете Степановне,

стало возможным такое залихватское обращение к нему Павла Дремова.

— А чего не веселиться! Погодка — во́! Весна скоро.— Павел хитро и злорадно щурил глаза, сплевывая в сторону, в снег.— С навозом покончим, пахать пойдем. Нам что! Мы и с вилами, мы и с плугом, с косой-жнейкой не пропадем. Плох-плох Пашка Дремов, а, извиняюсь, показатели какие? Что ни день — двести сорок, двести пятьдесят процентов. Отнимешь это у меня? Ну?!

— Не собираюсь отнимать. Хорошо работаете.

— То-то и оно!

Павел чувствовал себя победителем, на Лаврентьева смотрел, как на побежденного, сверху вниз, и подчеркнуто сожалеючи.

— Вот гвоздь! Выходит, я прав, — говорил он, похлестывая снег кнутом. — По специальности каждый должен работать. Ты, к примеру, агроном — полями, значит, занимайся, в животноводство не лезь, зоотехниково это дело... Зоотехник у нас на участке — старичок знающий. Не от себя Елизавета действует, по его инструкции. Понял?

— Понял. И еще понял, товарищ Дремов, что вы храбрец только тогда, когда у противника слабину увидите. Ладно, согласен, что-то не то с теленком вышло... Но почему вы лишь теперь так резво заговорили?

— Я и с первого раза резво говорил.

— Это насчет Урала? Помню. Но дальше держались довольно прилично, без всяких «ты» и плевков мне под ноги. На брудершафт мы с вами теперь выпили, что ли?

— Пить не пили.— Павел ожесточался, а следовательно, и терял позиции якобы сочувствующего постороннего наблюдателя. — Да, не пили... А вот по части храбреца прошу не загибать. — Обида дошла до него с запозданием.— Не знаю, как вы, а Дремов в атаки ходил, даром что при мастерской значился,— в штурмах участвовал. У него награды не за драчевку и тиски — за то, что вот этими самыми руками,— он стиснул кулаки, протянул их к Лаврентьеву, — гитлеровских гадов давил!..

— Честь и слава. А тон ваш развязный ни чести вам, ни славы не делает. Вы же кандидат в члены партии. Вы этого не забываете?

— Вроде бы нет, товарищ Лаврентьев, Петр Дементьевич, агроном! Возле правления доска показателей висит — справьтесь. За каждый день видно, кто я есть.

— Партийность в цифрах и процентах не изобразишь.
— В делах изобразишь, а цифры о делах говорят.

Дремов оказался умней, острее на язык, чем можно было подумать с первого взгляда, и общими фразами от него было не отделаться. Лаврентьев почувствовал бесполезность дальнейшего разговора, повернулся и пошел, услыхав позади звук очередного плевка.

Как уже не раз случалось, поддержку ему в этот день оказала Ася. Бродя после разговора с Дремовым по колхозным службам, он искал ее; не очень настойчиво, но искал именно Асю, не зная даже толком — зачем. И только Карп Гурьевич с перекинутой через плечо сумкой — рубанки, долота, рейсмусы,— шагавший к инвентарному сараю, надоумил:

— Где девчата, там и она. А девчата в шестом амбаре, зерно сортируют. Что не заходишь, Петр Дементьевич? Москву бы послушали.

— Спасибо, зайду, Карп Гурьевич.

Семенной амбар гудел так, как гудят машинные недра парохода. Стучала шатунами и ситами веялка, рокотал барабаном триер, девичьи голоса сливались в общий перезвон. Девчата вертели ручку веялки, перелопачивали зерно, спорили — триер заедало. Увидев в дверях Лаврентьева, одна из них — Саша Чайкина, знаменитая солистка из хора Ирины Аркадьевны, — крикнула:

— Товарищ агроном! Когда мотор поставите? Руки в волдырях.

— Девичьи ручки-то — нежные. Пожалейте! — крикнула Маруся Шилова, сверкнула черными глазами, тряхнула челкой.

Все рассмеялись, расшумелись, работу бросили, столпились вокруг Лаврентьева. Из-за вороха зерна вылезла Ася.

— Здравствуйте, Петр Дементьевич! — Она подала руку — знакомое теплое пожатие. От Аси всегда веяло на Лаврентьева теплом и скрытой нежностью. Он улыбнулся.

— Трудовой процесс в разгаре.

— В разгаре, — подтвердила Ася. — Нуждаемся в указаниях.

— Я тоже в них нуждаюсь.

Опять, неизвестно отчего, неудержимый смех. Лаврентьев растерянно пожал плечами: что он сказал смешного? Смех усилился.

— Асенька, не понимаю...

— Да ведь молодость же, Петр Дементьевич! От всего радостно. А радостно — значит, и смех.

— Как птички: взошло солнце — поют, нет солнца — все равно поют.

Девчата окончательно зашлись в своем проявлении радости; у Аси тоже прыгали щеки, взлетали брови и еле сдерживались губы.

— Выйдемте, Петр Дементьевич. — Она взяла его под руку.— А то вся работа пропадет. Обождем там — отдышатся.

Вышли на снег. Ася ходила по тропинке, Лаврентьев рядом протаптывал валенками новую.

— Мы собрали уйму золы, у нас супер есть, калийка, азотка — что хотите. Желания поработать — отбавляй. Но боимся, очень боимся мы с Анохиным, Петр Дементьевич, — говорила девушка, поправляя под подбородком платок.— Пшеница — культура в наших местах новая. А земля — не знаем, годится ли? А обязательство в газете напечатали. Всходы, вы сами осенью видали, получились хорошие. А дальше как пойдет? Осень сухая была, это у нас случается. Весна — всегда мокро, так мокро!.. Снега растают — на полях целые озера сделаются. Разве если трубы на наш участок проведете... Мы за вас держаться будем, Петр Дементьевич.

Как бы подтверждая, насколько крепко полеводки намерены держаться за агронома, Ася уцепилась за его рукав, почти повисла на нем, и тотчас испуганно, поспешно отстранилась:

— Простите... забыла...

— Вы о руке? Не бойтесь, прошло. Вот!.. — Он подошел к оставленным в снегу розвальням, впрягся в них и потащил. — Садитесь, прокачу.

— А что!.. — Ася задумалась на миг и присела на грядку саней.— Катите. Дело к масленой.

Утихший было смех в амбаре вспыхнул с новой силой. В дверях толпились девчата.

— А ну — сюда! Все садитесь! — крикнул им Лаврентьев.

С визгом, криком повалились они в розвальни. Лаврентьев напряг все тело, но, сдвинув сани едва на шаг, бросил оглобли.

— Снег глубокий,— оправдывался он смущенно.— На дороге бы...

— Вот ведьмы! Агронома обротáли! — Подошел Антон Иванович. Он впрягся в сани с Лаврентьевым, и девчата, завизжав еще сильней, поехали.

— Антон Иванович, Антон Иванович!.. — тревожным голосом, стараясь его заговорщицки приглушить, воскликнула Саша Чайкина. — Марьяна!.. Марьяна Кузьминишна!..

— Ну-ну, не балуй! — Председатель на всякий случай оглянулся по сторонам.

— Верно, Антон Иванович! — поддержала Чайкину Люсенька Баскова, девушка до того беленькая, что казалось, ее при рождении всю осыпали пшеничной мукой.— Беды бы не было, а? Вы человек женатый, не то что Петр Дементьевич.

— Тоже на днях женим.— Бросая оглобли, Антон Иванович подмигнул.

— Верно? Правда? — закричали девушки. Обступили председателя, смотрели то на него, то на Лаврентьева. Чужой жених исстари вызывает у девушек любопытства и интереса, пожалуй, больше, чем свой собственный. А тут еще такой жених — агроном Петр Дементьевич. Шутку приняли за истину.

— Кто же она, Антон Иванович? Скажите! Ну, Антон Иванович?

— Женского полу, одно достоверно. Хватит приставать. Свадьба будет, сами увидите — кто. За делом к вам пришел. Производственное совещание партийный руководитель поручил мне с вами провести. Такова задача. Рассаживайтесь!

Сидели в амбаре на ворохах зерна. Девчата донимали председателя вопросами. Как с тяглом? Будут ли убирать машинами или вручную? А воду как с полей спускать? Задумывалось правление над этим?

Антон Иванович вертелся, отвечал, снимал шапку, утирал лоб платком, вышитым Марьяной.

Платок этот вызвал неожиданный вопрос:

— Марьяна будет работать в поле?

— Почему нет? — удивился Антон Иванович.

— Потому. Она и в девках не больно охоча была до работы. Теперь вовсе не заставишь за грабли или за тяпку взяться. Председательша!

Лаврентьев слушал, не ввязываясь в беседу. Он любовался девчатами — куда и смех делся: серьезные, почему-то строгие лица, навостренные глаза, готовность спорить,

ссориться, отстаивать свое. Их все интересовало, все их касалось. С такими можно работать, с такими не пропадешь,— правильно это сказал Анохин.

Зимний день заканчивался, работать в амбаре было уже темно. Пошли по домам. На перекрестке Ася распрощалась с девчатами, с Антоном Ивановичем; попрощался и Лаврентьев, решив проводить Асю. Они отошли довольно далеко, когда услышали оклик Антона Ивановича:

— Дементьич! О партсобрании не забыл? Вечером приду, еще тезисы посмотрим.

О партсобрании знали и Лаврентьев и Ася, принятая прошлой весной, вместе с Павлом Дремовым, кандидатом в члены партии.

— План будем обсуждать? — спросила она, когда пошли дальше.

— План.

Заговорили о плане, потом еще о чем-то и не заметили, что стоят среди улицы.

— Как Елизавета Степановна поживает? — задал обычный при встречах с Асей вопрос Лаврентьев.

— Не пойму ее. Замкнулась, будто тяжесть в сердце носит. Зайдемте. Отчего не рискнуть?

— В другой раз. До свидания, Асенька.

— Петр Дементьевич.— Она задержала его руку.— Одно словечко. Не рассердитесь?

— На вас? Пожалуй, нет. А за что?

— За нескромность. На Людмиле Кирилловне женитесь?

— Что такое! — Лаврентьев отшатнулся. — Откуда вы это взяли?

— Да вот и Антон Иванович... и все так говорят.

— Кто все?

— Колхозники. Вот, говорят, поправится Людмила Кирилловна — и свадьба.

— Чушь, чушь, чушь! — Лаврентьев даже ногой топнул.— И о свадьбах этих, и о поправке незачем болтать — человек при смерти.

— Так плохо? Почему же в город не отвезли?

— Опасно. Наоборот, из города врачей возят. Антон Иванович каждый день машину дает.

— Неправда, значит, Петр Дементьевич? Ну и хорошо.

— Почему же хорошо? — непонимающе взглянул на нее Лаврентьев.

— Потому что жениться — перемениться. Антон Иванович каким был веселым, когда с войны вернулся, разговорчивым. Перемена в нем началась, едва ухаживать за сестрами Рыжовыми стал, за Клавдией да за Марьяной, а женился — видите, весь в заботах, лишней минуты не посидит.

— Да заботы не от жены у него, от председательской должности, Асенька! Трудная должность!

— Марьяны вы не знаете. Ревнивая, привередливая.

— Неужели? Вот не думал. И сестра ее...

— Клавдия? Та другая. Та особенная. Хотя тоже с капризами, но с иными, чем у Марьяны...

— Асенька,— перебил ее Лаврентьев,— вы себе противоречите. Перемены, значит, начинаются еще до свадьбы. Вы замечаете во мне перемену?

— Нет, нет, перестанем об этом. До свидания, Петр Дементьевич. До свидания. Если обещаете всегда быть таким же, то женитесь.— Ася весело смеялась.

Лаврентьев шел к столяру послушать московскую передачу и тоже усмехался в сумерках. До чего смешные и требовательные девчонки — даже жениться не дадут. Ну и девчонки..

## 4

С тех пор как в Воскресенском не стало клуба, собрания колхозников происходили в школе. Школа была новая, построенная перед самой войной, бревенчатая, с большими высокими окнами; вокруг нее за последние годы разросся молодой сад; как большинство сельских школ, стояла она за околицей, в поле.

В школе устраивались и вечера самодеятельности, танцы, лекции; собирались тут и коммунисты. Но собирались не в зале, где было слишком просторно для пятнадцати человек, а в каком-либо из классов.

Каждый раз, когда Лаврентьев входил в комнату с черными партами, когда разглядывал цветные литографии на стенах, изображавшие флору различных частей света, карту полушарий, доску с белесыми следами размазанного мела, горшки с геранями на подоконниках; когда, сидя на тесной для него парте, вдыхал специфический школьный воздух — смесь запахов дезинфекции и про-

топленных печей,— он не мог не вспомнить свои школьные годы, свою школу, своих товарищей.

Школьные годы занимают длинный и богатый впечатлениями период жизни человека. Они оставляют о себе долгую и светлую память. Мы до старости помним тех, с кем играли на переменах в перышки, делились завтраком, решали вместе арифметические столбики — легкие, добрые столбики, на смену которым пришли затем мучительно трудные операции извлечения корней,— помним, но, разбредясь по всей стране, теряем друг друга из виду, и часто — навсегда. Только мелькнет иной раз в газете фамилия — Малаховский, генерал артиллерии. Задумаешься: а не Валька ли это, большеголовый, длиннорукий силач Валька? Он ведь и в самом деле увлекался пиротехникой, взрывал на школьном дворе какие-то «лягушки» из пороха и оберточной бумаги и, не выучив немецкого, чтобы сорвать этот ненавистный ему урок, напихивал в чернильницы карбида, отчего по классу распространялось дьявольское зловоние. Или из театральной афиши узнаешь, что Верочка Осокина, писклявая девчушка с похожими на рожки бантиками над ушами, стала артисткой, что ее фамилию печатают крупно, значит, уже известная. Но вот Малаховский, вот Осокина... А где же Катя Цветкова, степенная толстуха, так объяснявшая разницу между термометрами Цельсия и Реомюра: «Реомюр разделил свой бок на восемьдесят частей, а Цельсий на сто». Где Аркадий Перевощиков, который, вызывая всеобщую зависть мальчишек, мог пробежать на руках весь школьный коридор? И где, наконец, Тося Андреева, к ногам которой вы в пятнадцать лет положили свое встревоженное первой любовью и, как вам казалось, жестоко разбитое сердце? Вы с ней гуляли по Семинарскому саду, держась друг от друга на добрую сажень, и говорили о всяческих весьма значительных вещах. О космосе: как это он не имеет границ. Удивительно. Об Икаре: хотелось бы взлететь к солнцу. Об ученом коте Тосиной бабушки: он умел мурлыкать краковяк из оперы «Иван Сусанин», наслушался граммофона. Да, да, умел, умел, умел...

Говорили обо всем, но только не о том, о чем бы вам хотелось. Об этом вы лишь вздыхали и безмолвно твердили друг другу глазами. Где же вы, Тося Андреева? Есть ли еще у вас моя фотография — мальчишка в кепочке, впервые повязавший полосатый галстук? А я вашу храню

до сих пор — вы на ней по-прежнему такая же гордая, полная достоинства от сознания славы самой красивой девочки во всей нашей части города, на всех двенадцати улицах за Федоровским ручьем...

Вспоминая школьных друзей, Лаврентьев вошел в теплый класс одним из первых. Он застал там лишь Дарью Васильевну, которая, разложив на учительском столике папки, перебирала возле лампы старые протоколы, да директора школы Нину Владимировну Гусакову — тоже, видимо, когда-то самую красивую девочку на своей улице. Но Нина Владимировна поседела в тот день, когда от бомбы погибли дети, близнецы-двухлетки, и осколочный шрам исказил черты ее лица, придав им злое выражение, что никак не шло к мягкому характеру Нины Владимировны.

— Готов? — спросила Дарья Васильевна.

— Так точно, товарищ начальник! — ответил Лаврентьев и, чтобы не мешать секретарю, которая вновь занялась протоколами, вполголоса заговорил с Ниной Владимировной о школьных делах. Он был хороший докладчик — это и в институте и в армии отмечали — и знал, что перед самым докладом уже не надо о нем думать, напротив — надо отвлечься от поспешно складывающихся в уме новых фраз и формулировок. Они только запутывают дело.

Вскоре пришли Антон Иванович и Ася, потом Павел Дремов с шофером Николаем Жуковым, Анохин, завмаг, и, когда Дарья Васильевна, окинув взором класс, сказала: «Кворум полный»,— на партах перед нею сидели все коммунисты Воскресенского, за исключением Клавдии Рыжовой. «На курсах»,— Дарья Васильевна поставила карандашом против ее фамилии минус. Она вынула из кармана жакета целлулоидный футлярчик с очками, положила его на стол. Никто никогда не видал Дарью Васильевну в очках, но футлярчик этот знали все колхозники, и был он для них загадкой и предметом всяческих шуток. Рядом с футлярчиком легли на стол часы. Дарья Васильевна подправила фитиль в лампе, встала.

— Разрешите, товарищи, общее собрание коммунистов колхоза считать открытым. Кто будет председателем, кто секретарем?

Председателем избрали ее, а секретарем, как всегда, Нину Владимировну.

— На повестке дня у нас,— продолжала Дарья Васильевна,— один вопрос: колхозный план. Дополнений, возражений нет? Слово товарищу Лаврентьеву.

— План, товарищи, который мы сегодня будем обсуждать,— перелистывая блокнот, заговорил Лаврентьев,— касается не только текущего года. Он шире, значительно шире. Это трехлетний план. Трехлетний план роста и развития колхозного хозяйства. История его такова. Мы собрались как-то вечером — Дарья Васильевна, Антон Иванович, я, Анохин был, — разговорились о том, о сем. У каждого нашлась своя мечта. Получилось интересно: с одной стороны, и мечты эти были не слишком фантастическими; с другой стороны, время у нас такое, что оно даже и самые фантастические мечтания позволяет претворить в жизнь. Что же это за мечты? Посмотрим.

Лаврентьев говорил об электрификации, о высоковольтной линии, которую можно подвести из леспромхоза — каких-нибудь двадцать километров. Сначала думали — из совхоза, но не выходит, там движок едва совхозные нужды покрывает. Говорил о мощеной дороге до города, об автопоилках, о клубе, новом здании правления, об автомашинах, о высоких урожаях, о мерах повышения продуктивности животноводства, об осушении полей, о колхозном радиоузле... Он широко взмахивал рукой, длиннокрылые тени пролетали по стенам, по экваториальным лесам и полярным айсбергам, по географическим картам, как будто не об одном Воскресенском шла речь, а обо всем земном шаре. Большевики Воскресенского сидели сосредоточенные, тесной кучкой — мозг, совесть и воля колхоза. Они сознавали, что новый план возложит на них новые обязанности, но были готовы пойти навстречу этим трудностям с горячим сердцем, потому что там, за рубежом этих трудных дел, занималась заря новой жизни, она разгоралась все ярче, и свет ее как бы сквозь стены проникал в сумеречный класс, озаряя лица людей огнем вдохновения. Чем шире замыслы, чем значимей дела, тем сильнее желание за них взяться, но тем больше и ответственности. Пусть так. Лишь бы творить, лишь бы бороться, лишь бы выбраться, выйти из воскресенского прозябания. И когда Лаврентьев кончил, ему чуть ли не хором задали вопрос:

— А как с заболоченностью? Какие меры будут против этого? Простая мелиорация не помогает.

Люди знали, даже Нина Владимировна, непосредственно не связанная с сельским хозяйством, знала, что корень местных бед — в заболоченности. Преодолеть эту трудность — дальше все одолимо.

— С заболоченностью? — переспросил Лаврентьев.— Об этом я хочу поговорить отдельно. Об этом уже знают и Антон Иванович, и Дарья Васильевна, и Анохин — многие знают. Но сегодня я ставлю вопрос официально. Как агроном предлагаю единственно верное средство — дренаж гончарными трубами. Нам, правда, понадобится этих труб несколько десятков километров. Что ж, разобьем поля на участки и дренируем их не в один год, а в три, в четыре года. Пример — соседний с нами совхоз. Они дренировали свои угодья в течение пяти лет. Результаты прекрасные.

Начался долгий разговор. Никто против дренажа как будто бы не возражал, все высказывались за него, но высказывались без особого жара. Лаврентьев понимал, что воскресенцев охлаждает неудачный опыт прошлого — не увидели они результатов от мелиорации и не верили в нее. Кроме того, дренаж требовал громадных денежных затрат, а где взять эти деньги? Еще урезать выдачу на трудодень? Совсем будет плохо. И так-то мужчин в колхозе, особенно молодых, осталось мало. Чего доброго, и остатние сбегут.

Коммунисты выступали в прениях один за другим. Как ни обстоятелен был доклад Лаврентьева, как ни обширен проект плана, его дополняли и дополняли. «Не линию от леспромхоза — плотину бы заложить на Лопати; по всей стране колхозы свои электростанции строят,— разверните любую газету»,— высказала пожелание Нина Владимировна. «Помните, научный сотрудник приезжал прошлой весной насчет организации у нас сортоиспытательного участка, — почему застопорилось дело? Считаю необходимым выяснить и добиться, чтобы именно у нас организовали этот участок», — требовала Ася.

— Говорить о деле — так уж говорить! — рявкнул редкостным своим басом Анохин. — Залетаем за облака, а что рядом, того не видим. Семенной материал... Черт-те что! До сих пор овес рядовой. А что такое рядовой? Хлам! Куда смотрим...

Даже Павел Дремов высказался. Но высказался, как всегда, туманно, о том-де, что каждый должен работать по специальности, и тогда все само собой наладится. Лю-

бишь специальность — любишь и работу, а любишь работу — и понукать тебя не надо.

В результате долгих прений план вырос, и так вырос, что, пожалуй, и трехлетние рамки стали бы для него тесноваты. Решили вынести дальнейшее обсуждение на общее собрание колхозников.

— Товарищи,— заговорил снова Лаврентьев.— Меня прения все-таки не удовлетворили. Вы о мелиорации по сути дела ничего не сказали. А если не будет решен вопрос с мелиорацией, отрубите мне голову, весь наш план повиснет в воздухе. Ну как же так — выходит, что мы пасуем перед болотом! Стыд! Оглянитесь вокруг... Заволжье и то встает на ноги. А суховеи страшнее болот. Неужели мы...

— Петр Дементьевич,— перебил его Антон Иванович.— Что касается меня, то я, ей-богу, от мелиорации не отказываюсь. Я за нее. Исподволь, из года в год будем прокладывать твои трубы. Но понимаешь, какая штука... Вот, скажем, загубим денег, накупим труб, закопаем их, а они вроде как телка Снежинка...

— При чем тут Снежинка?

— Да не Снежинка при чем, а эксперимент. Получится опять эксперимент. Снежинка, говорю, что! Снежинка — тьфу!

— И Снежинка не тьфу! — заговорила Дарья Васильевна.— Снежинка тоже вопрос. Я особо хотела его поднять. Не понравилось мне, скажу прямо, как нахозяйствовал на телятнике товарищ Лаврентьев. Суть, понятно, не в телке. Суть в партийном подходе к делу. То, что агроном по-новому хотел поставить выращивание телят,— это партийно? Да, партийно. Приветствуем. Непартийно другое — по-кустарному за это взялся, вот плохо! Никому ничего, бух-трах, на мороз телка́, и баста. Времена кустарщины прошли, товарищ Лаврентьев. Все новое подготовки требует, большой подготовки, и по научной части, и по организационной. Этих, которые, засучив рукава, грудью прут, пузом — извиняюсь за слово — хотят взять, теперь не больно уважают в народе. А ты как поступил? Вот этак — пузом налег. Буслай-богатырь! Про нас забыл, про товарищей твоих, про коммунистов. Ум хорошо, пятнадцать, думаю, не хуже. Минуточку, минуточку, прошу не перебивать. Я тебя целый час слушала, сло́ва не обронила. Послушай и ты нескладную речь. Отдаем тебе должное: с образованием человек, не пустомеля — не сер-

чай,— толковый, не ошибусь, работник. Но и на нас не надо смотреть как на недоростков. А ты в одиночку в себе что-то носишь.

Лаврентьев кипел от возмущения. Он сам недавно доказывал Кате Прониной, что не видит принципиальной разницы между городским и сельским жителем, не только слова «мужики» и «бабы», но даже и слово «крестьяне» для него устарело. А тут ему в лицо тычут якобы замеченное за ним пренебрежение к колхозному активу. Ерунда! Вздор! Непозволительный вздор!

— Думаешь, не наше это дело? Качаешь головой? — продолжала свое Дарья Васильевна.— Вот тебе, коли так...— Она порылась в папке, достала, развернула журнал.— Ты отступился, а мы нет. Мы нашли статейку, интересную статейку. Про совхоз один, под Костромой, где который уж год телят выращивают холодным методом.

— Дайте! — Таща за собой парту, Лаврентьев потянулся к столу. Хотел схватить журнал из рук Дарьи Васильевны.

— Не горячись.— Дарья Васильевна положила журнал на стол.— Дослушай. Потом прочтешь, время будет. Какой мой вывод? Мысль у тебя была правильная, осуществление ее из рук вон плохое. Сквозняки после жары устроил... Прогулку какую-то большому животному... В пальто кутал... Ну не смех ли! Зарапортовался, Петр Дементьевич, непосильную задачу на себя взял — в одиночку дела ворочать.

— Как специалист, я...

— Понятно,— перебила Дарья Васильевна.— Инициатива... Вроде бы — полная самостоятельность и полный ответ. Кто против этого! Только прежде с партией надо посоветоваться. Не помеха — всяческая поддержка тебе будет. Ну, теперь твое слово, что́ скажешь? Да, минутку погоди... Возражать будешь, учти: мы не против нового метода, мы за него обеими руками голосуем. В том, костромском, совхозе он дал невиданный результат: за несколько лет ни один теленок не пал. Мы вот завтра-послезавтра созовем производственное совещание животноводов, статейку обсудим, зоотехника пригласим и заново работать будем. Учти это.

— Выходит, Дементьич, что метод этот вовсе и не новый.— Антон Иванович деликатно кашлянул.— Участко-

вый зоотехник знает о нем, да только, говорит, не очень в него верит: дескать, у кого получается, а у кого и нет. Эксперимент.

— У нас теперь получится, — с уверенностью сказала Дарья Васильевна.

Лаврентьев, который все время, пока говорила Дарья Васильевна, готовил резкие, неотразимые возражения и чувствовал себя как перед боем, при последних ее словах вдруг увидел, что возражать некому и не с кем бороться — противника перед ним не было. Была только досада на то, что он плохо знает животноводство и вот в результате его отчитали, и отчитали, как мальчишку.

— Мне говорить нечего,— ответил он на предложение выступить с объяснением.— Ошибся.— И взял с председательского стола журнал.

— Больно коротко. Откуда ошибка, скажи.

— Не учел.— Он перелистывал замусоленные страницы.

— Нас не учел, товарищей своих. Эх, Петр Дементьевич, Петр Дементьевич!..

Сказала это Дарья Васильевна таким тоном, так грустно, что Лаврентьев насупился. Дарья Васильевна была, видимо, немало взволнована. Она надела очки, неожиданно став похожей на профессора, но тут же их сняла,— никто и не заметил ее жеста.

— Суждения будут?

Суждений ни у кого, кроме Павла Дремова, не оказалось.

— Чего человека морочить! Осознал.— Павел вынул папиросу из пачки, лежавшей перед ним на парте, помусолил в губах, положил обратно — курить на партийных собраниях Дарья Васильевна не позволяла.

— Не через край ли просто будет — поговорить да разойтись? — возразила ему Дарья Васильевна.— Я свое суждение высказала, теперь предложение вношу: предупредить товарища Лаврентьева, чтобы потесней, подружней работал с партийной организацией.

— Не вижу нужды предупреждать,— сказал Антон Иванович.— Не согласен. На одни весы человека и телку кладем.

— Не телку — отношение к коллективу,— рассердилась Дарья Васильевна. — Не передергивай, не упрощай.

— И я не согласна, — поддержала Антона Ивановича Нина Владимировна, поглаживая шрам на щеке.— Не плохими — добрыми чувствами руководствовался Петр Дементьевич.

— Плохие — другой бы разговор был. Построже меру пришлось бы потребовать,— не сдавалась Дарья Васильевна.— Голосую, значит, два предложения. Кто за мое, за предупреждение?

Только одна она и подняла руку; усмехнулась и со свойственной ей прямотой сказала просто:

— Промахнулся партийный руководитель! Не учел настроения масс.

Она окинула взором коммунистов. Кандидаты в члены партии — Ася и Павел Дремов — права голосовать не имели, но вид у них был такой задиристый, что Дарья Васильевна не сомневалась: дай им это право, они бы поддержали Антона Ивановича. Поэтому она обратилась ко всем троим:

— Ишь вы какие! Любое, самое маленькое предупреждение, и то вам круто. Звонкая — ладно, от молодости у нее. А ты, Павел, и особенно ты, Антон,— глядите. Ты, Антоша, и сам иной раз своевольничаешь. Да и работу не блестящую показываешь. Поначалу жарче брался. Как бы и до тебя очередь не дошла.

— Дойдет — ответим.

— Подождем,— миролюбиво согласилась Дарья Васильевна.— Все, что ли? До полуночи прозаседали.— Она взглянула на часы.— Закрываем?

— Одно слово! — Лаврентьев поднял руку. — Мне кажется, что напрасно товарищи так горячо за меня вступились. Против выговора я бы, конечно, возражал, протестовал бы. Думается, не заслужил его. Но серьезного внушения достоин и сам голосую за него. Повторяю: кое-чего не учел. Учту.

Домой он шел медленно, заложив руки за спину, как на прогулке. В душе его жил протест против сегодняшнего неожиданного разбирательства. Но душа душой — ум подсказывал другое. В самом деле, в одиночку он бился. И, главное, непонятно почему? Чуть ли не с пеной на губах доказывал Кате, какие перемены произошли в деревне, и сам же отнесся к воскресенцам как к представителям старой деревни, среди которых он, агроном,— мессия. А он — что? Винт. Важный, но все же только винтик в большой машине.

— Товарищ Випт,— сказал он вслух, благо пусто было на улице,— вам подкрутили гайку...

Справа, за дощатой оградой, мелькнул огонек в больнице. Огонек перемещался от одного окна к другому: с лампой в руках по коридору шла тетка Дуся.

5

Лаврентьев поднялся на крыльцо. Он хотел справиться у санитарки о здоровье Людмилы Кирилловны. На цыпочках прошел в дежурную комнату.

— Тетя Дуся, тетя Дуся! — позвал вполголоса.

Из-за шкафа появилась дородная санитарка.

— Ну что, полуношник?

— Как дела?

— А так. Зотова Мария Ивановна говорит, на поправку пошло. Выдержала Людмила Кирилловна. Организм, говорит, крепкий. И из райздрава этот был, с золотым зубом-то... Тоже говорит, сомнений нету.

— Привет передайте. Скажите: заходил, мол.

— Передам. Иди, не шуми тут. Беды наделаешь.

— Дусенька! — послышался тихий голос за дверью.— Пусти Петра Дементьевича... Петр Дементьевич!

— Какой Дементьевич? — Приоткрыв дверь, тетка Дуся просунула голову в палату и выставленным назад кулаком погрозила Лаврентьеву: уходи, дескать.— Дрова Федот принес.

— Не ври, не ври. Я слышала... Петр Дементьевич, если не зайдете, сама встану.

Тетка Дуся развела руками, Лаврентьев вошел в палату. Впервые за десять дней он видел Людмилу Кирилловну в сознании. Исхудалая, желтая, она ему улыбнулась.

— Не думала, что зайдете. Бессонница у меня, тоскливо. Днем хоть Ирина Аркадьевна, женщины заходят, а ночью — одна.

Говорить ей было трудно. Она держалась за грудь и покашливала.

— Не имею права вас тревожить.— Лаврентьев тоже кашлянул, из солидарности, наверно. — Врачебные правила запрещают. Пойду, простите.

— Нет-нет, не уходите. Садитесь. Вот сюда, сюда на стул. Мы будем не спеша, тихо разговаривать. Это

даже и по врачебным правилам можно. У меня, правда, еще высокая температура, жар...

Она дернулась на постели, Лаврентьев забеспокоился. Он жалел, что поддался порыву и зашел сюда. Можно было дома, у Прониной, узнать о здоровье Людмилы Кирилловны.

— Петр Дементьевич, у меня плохо на душе...

— Но почему же?

— Почему? Одним словом не выскажешь. Если вам не трудно, дайте, пожалуйста, водички.

Лаврентьев подал стакан, Людмила Кирилловна отпила половину, быстро облизнула губы, — они у нее сохли.

— Мне очень хочется рассказать вам о себе, может быть, тогда вы поймете, почему мне плохо. Я вышла замуж шестнадцати лет за человека, которому шел сорок первый. Художник. Он приехал в наш город, ходил по улицам с альбомом, зарисовывал древние церкви, развалины кремля, башни. И однажды увидел меня. Неделю сидела я перед ним на садовой скамейке, и он писал портрет девочки в голубом. Он так много знал, так интересно умел рассказывать, его рисунки казались мне гениальными, а сам он — бескорыстным жрецом высокого искусства... Потом — плакала мама... потом — мы уехали с ним в Харьков, — он был из Харькова. Я жила, не чуя под собой земли, я над ней парила. Как же — подруга гения! Через полгода подруга гения осталась одна, гению с ней, глупой, болтливой, восторженной и ужасно наивной, стало неинтересно. Гений ушел к более опытной, более близкой ему, тоже, как и он, жрице искусства. Я вернулась к маме и ревела, ревела полтора года... Дайте еще водички.

Снова отпив глоток, она продолжала:

— Началась война, я, не задумываясь, ушла на фронт. Окончила курсы медсестер — и ушла. На фронте я уже не плакала, не было времени плакать. Работала. А в гениев веру потеряла навсегда. Обжегшись на молоке, знаете ли, дуют и на воду. Я разуверилась и в любви, и мне казалось, тоже навсегда...

Людмила Кирилловна, протянув руку, взяла со столика крошечный флакончик духов и стала вертеть его пробку. Сложные чувства боролись в Лаврентьеве. В словах Людмилы Кирилловны не прозвучала ни одна фальшивая нотка, она говорила искренне, раскрыв сердце; он

чувствовал, что рассказанное ею — правда, что это все так. Но... перед глазами вставал альбом; снимки Людмилы Кирилловны — в южных волнах, в пальмовых аллеях, рядом с блондинами и брюнетами, насупленными и улыбающимися.

Людмила Кирилловна отвернула лицо к стене, выбросив поверх одеяла иссушенные болезнью белые руки.

— Плохо как... плохо...

Лаврентьев поднялся, чтобы позвать тетку Дусю или Зотову, но его поймали за руку и удержали горячие пальцы Людмилы Кирилловны.

— Сидите!..

Лаврентьеву было очень тоскливо от всего этого разговора, от всей больничной обстановки; он поставил себя на место Людмилы Кирилловны, больной и одинокой, и тогда пришло сострадание. Он положил ее руку к себе на ладонь и другой ладонью погладил.

— Ну что вы, Людмила Кирилловна? Зачем волноваться? Я не знал, какой трудной жизнью вы жили. Спасибо вам за откровенность. У вас есть чему поучиться. Вы — человек энергичный, стойкий, самоотверженный. У вас такие обширные и прекрасные планы,— о них я помню с нашей первой встречи. Убежден, что...

— Вы хитрый,— перебила Людмила Кирилловна, взглянула на него усталыми глазами и отняла руку.— Вы хотите сыграть на моем самолюбии.

— Ни на чем я не играю, просто убежден, что планы ваши будут выполнены. В работе своей вы найдете и силы, и удовлетворение, и смысл жизни. Знаете же сами это.

— Да, хитрый. Когда вы так говорите, мне начинает казаться, что я действительно чуть ли не борец за народное благо. А какой из меня борец? Я слабая, очень слабая. Мне вот хочется, чтобы сейчас рядом со мной была мама, поила бы меня морсом, заплетала косички...

Людмила Кирилловна говорила это с закрытыми глазами, ресницы ее мелко вздрагивали, по кривившимся губам скользила непонятная — то ли горькая, то ли счастливая — улыбка. Она снова бредила.

Чувство сострадания в Лаврентьеве сменилось нежностью. Черт возьми, если бы он мог, он бы охотно заменил ей в эту минуту ее маму, он бы и морсу наварил, и заплел воображаемые косички...

В те же ночные часы, на противоположной окраине села, в домике Звонких происходила другая сцена. Возвратясь с партийного собрания, Ася рассказала матери о том, что Лаврентьеву за злосчастную выдумку со Снежинкой хотели сделать предупреждение.

— Ах, боже мой, боже мой! Выговор задумали объявить... Как же быть-то мне, глупая моя умница? Ну дай совет, Асютынька. Петр Дементьевич!.. Ах, грех на мне. Побегу, побегу к нему, слышь. Где плат? Где поддевка. К Антону побегу, к нему побегу, к Дарье...

— Да что такое, мама? Что с тобой? — Ася растерялась.

— Дура я — форсистая да заносчивая. Ума небольшого, хитрости великой. Человека под нож чуть не подвела. Какого человека! Где он, плат-то?!

— Никуда не пущу,— Ася схватила ее за плечи, прижала к себе,— пока не скажешь, что с тобой. Мамка, ты смешная, по ночам бегать...

— Ну вот — нá! Казни... Вся перед тобой. — Елизавета Степановна опустилась на стул, положила руки на узоры скатерти. — Десятого теленка по его, по Петра Дементьевича, способу ращу. Ни в одном червоточинки, хвори какой не найдешь. Поняла?

— Это верно? — Асины крутые брови пошли вверх.

— Мать во лжи подозреваешь? Верно. И все тишком, тишком от людей, от Петра Дементьевича — главное. Форс перед ним гну — сами, мол, с усами. И не один форс — стыд глаза точит глядеть на него, прийти да сказать: прости, Петенька, нагалдела, а ты-то прав оказался.

— Так и надо было сделать сразу.

— Баба я, доченька, баба. Участковый приедет, ахает, зоотехник-то наш, думает: вот инструкцию хорошую дал... По его, мол, инструкции действую. А я по Петенькиной... Пойду, а? Дочка?

— Пойдешь,— строго сказала Ася.— И к Петру Дементьевичу, ко всем пойдешь. Только завтра. Не знаю, что тебе там будет — на вид ли, порицание... А от меня, считай, самый строгий выговор. Не скрытничай, не строй фокусов. Как не стыдно!..

— Стыдно, стыдно, срами меня. Стыд — что! За Петеньку горько. Ах, непутевая, неукладная, чего натворила!..

## ГЛАВА ПЯТАЯ

### 1

Когда Владимир Ильич Ленин говорил, что социализм — это учет, в те, ставшие ныне далекими, времена подавляющее большинство советских людей и не подозревало, насколько глубоко ленинское положение войдет в их плоть и кровь, в их труд — во всю жизнь. Учет сделанного, учет того, что надо сделать, учет возможностей, учет противодействующих сил — без него мы не мыслим поступательного движения вперед, не мыслим ни социализма, ни самого коммунизма — конечной цели великой борьбы народов. Магистральным руслом социалистического учета стал для нас план — от грандиозных, объемлющих жизнь всей страны планов на несколько лет, которые приводят в смущение надменных дельцов Лондона и Вашингтона, до планов токаря или комбайнера.

И самое удивительное в наших планах то, что, едва их составив, советские люди тут же задумываются — а как сократить срок выполнения этих планов, как превысить намеченное, как обогнать время. Время, время. Драгоценный фактор, ты ползешь слишком медленно в сравнении с дерзновенным полетом мечты свободного человека, и слишком быстро летишь, когда человек принимается за дело. На сколько бы лет ни был рассчитан каждый очередной план развития родины — каждому из нас хочется, чтобы выполнен он был значительно быстрее.

Карп Гурьевич, время от времени ездивший в район по личным и колхозным делам, в последний раз возвратился оттуда озабоченный. Пожав руку шоферу совхозной машины, он не стал даже заходить к себе, отправился разыскивать председателя. Антон Иванович сидел дома и, к удивлению Карпа Гурьевича, чертил карандашом на листе александрийской бумаги. Увидав в дверях гостя, Антон Иванович быстро закрыл свой чертеж газетой и забарабанил по столу пальцами.

— Дело есть, Антон. Как на него посмотришь? Движок нашел.— Карп Гурьевич подсел к столу.

— Движок? А зачем он нам?

— Зачем? Когда, ты мыслишь, мы линию из леспромхоза подведем?

— Той зимой, не раньше. Ну, в крайности, — осенью.

— Во́! А поилки автоматические — на когда запланированы?

— На нынешнюю весну.

— Расчет на ветряк?

— Понятно.

— Не больно надежно, Антон. Я над этим ветряком голову поломал. Ненадежно. Места наши — лесные, безветренные. Будь иначе — ты меня знаешь, — давно бы у нас ветряк крутился. Движок нашел, говорю. Сильный движок, на все его хватит — и на поилки, и на свет в домах, и на фонари по улицам.

— Тоже — дома, тоже — улицы! — буркнул председатель и, приподняв уголок газеты, заглянул под нее.— Хлам и мусор.

Карп Гурьевич его не понял.

— Хлам-то вроде бы и хлам. Старый движок — верно. Но механик один объяснил мне, что восстановить можно, за милую душу работать будет. Полторы тысячи всего и дела.

— Полторы тысячи! — Антон Иванович присвистнул.— Кто же дерет такие деньги?

— Новый он все пятнадцать стоит. Не о деньгах думай — о пользе. Деньги — хочешь, свои выложу.

— Не хочу, мы не погорельцы. В общем, так: я не против, я за. Где движок?

— На лесопилке, в бурьяне. Я к директору сходил — берите, говорит, пожалуйста, зря на балансе висит.

— Как бы и у нас не повиснул. Кто ремонтировать будет?

— Берусь.

— Ты же столяр. Что в железе смыслишь?

— Берусь, говорю.

— Давай сзывать правление, решим. Деньги общественные, общественная на них и воля.

Общественная воля решила покупать движок. Особенно ратовала за это Дарья Васильевна.

— Вот спасибо тебе, Карпуша! — сказала она Карпу Гурьевичу.— Выручил. А я-то ночей не сплю, все думаю, как эту линию тянуть через леса. Просеку рубить... столбы ставить... Долгая песня, труда сколько. Там, глядишь, новые неурядицы. Провод порвется, ищи — где? А без свету — опять терпения нет. Везде сплошная электрификация, сплошная радиофикация. Одни мы темные.

Что барсуки в лесной норе. И раздумывать нечего, покупаем — и только.

Событие было великой важности, ни один колхозник не остался к нему равнодушным, даже Савельич не сказал ни слова против движка, только скептически пожевал губами.

То, что у них будет электрический свет, подымало воскресенцев в собственных глазах. Большинство из них не совсем реально представляло себе, что́ практически принесет колхозу электричество, но сам этот факт — в Воскресенском динамо-машина — ставил жителей лесного села в один ряд с колхозниками передовых областей страны: не лыком шиты!

Как только Павел Дремов узнал о движке, он пришел к председателю, бросил шапку на стол, встал в хрестоматийную позу Бонапарта, засунув пальцы за отворот куртки, и не сказал, а гаркнул во все горло:

— Точка! Хватит! Хватит слушать: все работы почетны. Пусть другие навозом развлекаются. Я специалист по ремонту!

— Чего ты орешь? — Антон Иванович поднял на него спокойный взгляд. — Мне агроном так и сказал: Дремова на ремонт.

— Агроном?

— Ага.

— А... ну ладно.— Сразу притихший, Павел побежал к Карпу Гурьевичу.

У Карпа Гурьевича во дворе стояло странное сооружение, похожее на железнодорожный вагон прошлого века, обшитое узким тесом, с железной округлой крышей; маленькие оконца с переплетами крест-накрест. В нем хранился лишний в доме хлам, жили куры, которых развела приемная дочка Карпа Гурьевича Леночка. Сооружение обросло кустами бузины, на проржавевшей крыше торчали пучки сухого овса. А когда-то оно наделало в селе шуму не меньше, чем деревянный бычок и подводный понтон. Задумав жениться на красавице своей Стеше, Карп Гурьевич, Карпуха тогда, задумался и о жилье. В отцовскую избу молодуху вести не хотелось, мечтания были о своей отдельной жизни, а средств поднять новую избу не предвиделось. Да и по молодости лет стремления были иные — не сидеть на месте, пойти побродить по белу свету. За землю молодой столяр не держался. Выход ему подсказал проезжий цирк, который остановился

в усадьбе Шредера. У циркачей был пестрый, разрисованный масками, обклеенный афишами фургон. Был он легкий, на рессорах, тянули его две мелкорослые лошадки с подстриженными коротко хвостами. Карп Гурьевич поглядел на него и принялся строить такой же. Кони — как-нибудь; сперва фургон, благо руки свои. Но одно дело — проехать от городка к городку, от селения к селению, подвезти загадочный цирковой скарб. Другое дело — ездить и постоянно жить в фургоне, зимой ли, осенью, в вёдро или ненастье. Нужны прочные, не пропускающие холода стены, нужна печка, нужны кровать, стол, словом, все, что есть в избе и без чего человеческая жизнь не мыслится. День за днем, неделя за неделей улучшал, совершенствовал свое будущее передвижное жилище молодой Карпуха. Отец только вздыхал, ходил вокруг него. Но и не порицал сына — сам был фантазер. «Ладно,— рассуждал он.— Коней нет — будет жить в фургоне, как в избе. Кони заведутся — неужто их никогда не приобрести! — поедет счастья искать». Старый друг отца — колесных дел мастер — соорудил для фургона могучие дубовые колеса со спицами в медвежью лапу толщиной и в высоту — по грудь человеку.

Наступил день испытания. Любопытствующих баб в фургон набилось, ахают там, охают, диву даются. Затопили печку. Мужики, которые поисправней, тоже любопытства ради, привели пару коней. Впрягли. Натужились кони, натянули жилы, уперлись ногами в землю — только вздохнули по-лошадиному, не стронулся Карпухин дом с места. Еще двух коней впрягли, качнулся фургон, под бабий визг проехал сажень — кони в мыле.

Надвязывали постромки, входя в азарт, воскресенцы, сами за колеса хватались. И выяснилось в конце концов, что лишь восемь лошадей способны были тащить невиданную избу, да и то скоро выбились из сил.

Загоревали оба, и сын и отец, поставили фургон во дворе на высокие чурбаки, колеса продали лесопромышленнику — бревна возить — и деньги с горя пропили. Так и доживал свой век в бузине один из многих плодов Карпухиной молодой фантазии.

Вспомнил Карп Гурьевич о фургоне, когда из города привезли на машине заржавленный старый движок. И Павел одобрил: лучшего помещения для мастерской не найдешь. Выселили кур, повыбрасывали хлам, верстак с тисками поставили. Принялись разбирать двигатель на

части. Павел не соврал — хоть и поверхностные, но понятия о моторах у него были. А кроме того, в библиотеке Карпа Гурьевича нашлась объемистая книга — «Двигатели внутреннего сгорания». Сидели над ней вдвоем, ничего не смыслили в формулах, ссорились из-за них и все надежды возлагали на чертежи. В чтении чертежей руководящая роль была за Карпом Гурьевичем.

Лаврентьев, заходя в мастерскую, досадовал на то, что ничем не может помочь мастерам. В институте читался курс механизации сельского хозяйства, говорилось там и о двигателях, но куце все это говорилось и куце читалось, без практических знаний,— так называемое «общее знакомство», которое никому ничего не дает.

Самозваные мастера вручную шлифовали поршневые кольца, притирали клапаны. Антон Иванович забегал, спрашивал:

— К двадцать третьему будет? — Он хотел, чтобы к празднику Советской Армии движок застучал и зажглась хотя бы одна лампочка. Задумываясь вначале о полутора тысячах, председатель готов был теперь и пятнадцать израсходовать, лишь бы не остановиться на полпути, лишь бы заработало сердце колхоза, как он образно окрестил двигатель. Он сам ездил в город— на лесопилку, в сельхозснаб, толкался в райисполкоме, достал небольшую динамо-машину, правдами и неправдами закупал медную проволоку, изоляторы, заблаговременно выхлопотал лимит на горючее: плотники у него отесывали столбы, мазали их комли вязкой, пахучей смолой.

— Неужто к двадцать третьему не будет? — тревожился он.

— Постараемся, Антон Иванович. Из кожи вон,— отвечал Павел, смахивая пот со лба; в мастерской жарко топилась печка — Карп Гурьевич не терпел холода.

Сам Карп Гурьевич отмалчивался, сопел носом, орудуя непривычной для его рук драчевой пилой.

— Петр Дементьевич! — часто восклицала в эти дни Ирина Аркадьевна.— Как это великолепно — свет! Я люблю деревню, привыкла, сроднилась с ней, но как всегда угнетал мрак! Ах, как он угнетал, особенно в первые годы моей жизни здесь. Не в детские, конечно, годы, а после возвращения из столиц и театров. Сидишь во мраке — думаешь о прошлом, о безвозвратно потерянном.

Катя давно уехала, Ирину Аркадьевну ничто не держало дома. И она делила свое свободное время между

посещениями Людмилы Кирилловны и беседами с Лаврентьевым. Лаврентьев, после того как узнал историю Прониной, переменил свое отношение к ней, стеснения при встречах не чувствовал. Он делал скидку на некоторые старомодности в манерах и в словах Ирины Аркадьевны и видел теперь в ней вполне советского человека, которого горячо интересует жизнь страны. Хоть краем, бочком, но она прикоснулась к истокам этой жизни в далекие, неведомые нынешнему поколению годы, своими глазами видела ее зарождение, разговаривала, жила в общих землянках, ела из одного котелка с солдатами революции.

Ирина Аркадьевна умела рассказывать о людях, окружавших ее Виктора. Почти каждый вечер заходила она к Лаврентьеву посидеть часок-другой и однажды стала невольной свидетельницей его встречи с Елизаветой Степановной.

Елизавета Степановна пришла с мороза раскрасневшаяся и оторопела в дверях: никак не ожидала, что, кроме нее, будет тут кто-то третий,— с глазу на глаз хотела поговорить с Петенькой. С Дарьей Васильевной поговорила, с Антоном Ивановичем, теперь Петенькино слово ей понадобилось. Антон Иванович не был строг. «Ничего, обойдется», — сказал он. А Дарья Васильевна накинулась: «Вкривь и вкось идет у нас дело, Елизавета. Друг друга подводим. Чего таилась, зачем скрытничала? Нехорошо. За Лаврентьева не хлопочи, человек он крепкий. О себе подумай».

Елизавета Степановна целый день думала. Пришла,— готова была в ноги Петеньке поклониться: прости, мол, навредничала. На грех тут эта Пронина случилась. Но отступать было поздно.

— Петр Дементьевич, я по делу...

— Знаю, по какому. Не стóит, Елизавета Степановна, расстраиваться.— Он улыбнулся, видя, в каком замешательстве старшая Звонкая, как крутит и рвет она концы своего платка.— Присаживайтесь. Спасибо вам...

— Да разве думала я, что выйдет так нескладно,— еще пуще зарделась она, по-своему истолковав его благодарность.— И Антона прошу и Дарью: мне выговор дайте, а не агроному: моя вина. Смеются, да и только.

— При чем тут выговор! Выговора никакого не было и нету. Откуда вы взяли выговор? — удивился Лаврентьев-

ев.— Я о телятах, о холодном методе. На практике его подтвердили. Вот за что спасибо.

К жалостливому готовилась разговору Елизавета Степановна, со слезами, трогательными вздохами,— поворачивалось же на производственное совещание, в котором даже Ирина Аркадьевна смогла принять посильное участие.

— Человеческий организм, если его изнежить в тепле, и то теряет стойкость. Что же говорить об организме животного,— сказала Пронина, поправляя белоснежные кружева на рукавах.— Удивительно, как мудро, Петр Дементьевич! Это, вы говорите, по-мичурински? Но Мичурин ведь растениями занимался.

— Он занимался законами управления природой, Ирина Аркадьевна, — общими и для животного организма, и для растений.

Лаврентьев задумался над тем, что надо бы колхозникам — всем без исключения — прочесть лекцию о Мичурине и его трудах, и не одну, а целый курс лекций. В практических делах люди колхоза сильны, не слабее, пожалуй, своего агронома, но только путем материалистической диалектики, учит земледельца марксизм-ленинизм, можно приобрести точные представления о законах природы. Диалектически мыслить, диалектически решать задачи практики... Как для этого надо много знать! — не в первый раз сказал себе Лаврентьев. Знать, знать, знать... Об этом не он один думает, это он слышит каждый день от окружающих его людей. Карп Гурьевич с Павлом хотят знать теорию двигателей внутреннего сгорания, Анохин с Асей Звонкой — теорию и практику передовиков-хлеборобов, Асина мать — передовое животноводство; Антон Иванович говорит, что ощущает в себе организационную слабину, на курсах бы хоть каких подковаться; Дарья Васильевна постоянно роется в пособиях по партийному строительству; даже от Людмилы Кирилловны слышал он жалобу на недостаток знаний. «Хорошо бы,— сказала она еще при первой встрече,— теперь, после практики, побывать в Институте усовершенствования врачей. Наука идет вперед, а я от нее отстаю». Всех тянет на курсы, в школы, в институты.

Клавдия Рыжова, как рассказывают, сама — и не в первый раз — выхлопотала себе поездку в область, когда узнала о новых курсах семеноводов. Провожая ее, помощник дяди Мити Костя Кукушкин заявил: «Если меня

не пошлют — сбегу к вам, тетя Клава». Но он не сбежал, потому что в совхозе открылась школа пчеловодов, и Костя ходит туда два раза в неделю; звал с собою дядю Митю. «А кто там главный? — допрашивал дядя Митя.— Елизаров? Семен? Нет, Костенька, не Семену меня учить. Вместе с ним у Шредера в мальчиках крутились,— сколько он, столько и я знаю. Да еще и потягаемся — кто больше». «Елизаров три пчеловодческих школы прошел!» — не сдавался Костя. «Отскочи и умолкни»,— сердился дядя Митя. Пожалуй, он один считал себя превзошедшим все, по своей линии, науки, если еще Савельича не считать.

Но Савельич был великий хитрец. Отмахиваясь от новых колхозных начинаний, ехидно поджимая губы, он не с тупым оружием выступал, не с дубиной, а с тонким шильцем, которое вострил постоянно. Много лет подряд он ежедневно приходил в сельсовет, перечитывал, пересматривал все газеты и журналы и оставлял у себя в памяти только то, что ему было нужно. А нужно было ему нечто особенное, что бы давало пищу для вопросов, подобных тому, который когда-то завел в тупик агронома Серошевского. На выборах Савельич голосовал против Дарьи Васильевны — сам этим хвалился,— когда ее выбирали в депутаты районного Совета: баба — смех! — над мужиками будет верховодить. В колхозе поверховодила, хватит.

Он был всегда и всем недоволен, считал, что везде и всюду только и думают, как бы его ущемить. Когда в селе лет двадцать назад возникал колхоз, Савельич зарезал корову, успел продать лошадь, передавил всех кур, пришел на организационное собрание с медным безменом и пачкой бумажек, туго перевязанных шпагатом. «Вот что прошу принять в общественное хозяйство,— прикинул на безмене свою пачку. — Квитанции за сданный Советскому государству хлеб. Полфунта бумаги. Сколько же хлеба сдано! Смекаете?» Воскресенцы тогда возмутились, Савельича не приняли в колхоз. Три года он ходил в единоличниках, пока не переменилось колхозное решение.

Некоторые его побаивались. Любую кляузу мог написать в район, в область, в Москву — прокурору ли, в газету, в исполком, в партийные организации. Людей гонял по этим кляузам, целые комиссии. Когда его уличали во лжи и клевете, быстро соглашался: «Прошибся, ах, оказия! Только, извиняюсь, за шкирку меня брать — нет за-

кона. Как говорится? Пять процентов правды есть — пиши, недостатки не замазывай». — «Да и пяти-то процентов нет, Савельич». — «А это ваше дело, ваше дело цифирь вести. Я малограмотный». — «Учись». — «Рад бы, спроздал, мозга сохнет, науку не принимает».

Да, пожалуй, только дядя Митя да Савельич не стремились к знаниям, к ученью — каждый по своим причинам. Ну еще, может быть, Марьяна Кузьминишна, пухленькая супруга Антона Ивановича, мастерица судаков коптить, полотенца, платочки вышивать, стучать коклюшками — плести кружева. Но не эти трое и не пятнадцать — двадцать еще каких-либо их единомышленников представляли собой колхозный коллектив. Остальные колхозники хотели знать и знать. Вот проблема, размышлял Лаврентьев, глядя на узорчатый плат Елизаветы Степановны,— серьезнейшая проблема — широкое просвещение людей села. Нужен бы в каждой области свой колхозный университет с филиалами в районах и в крупных селах. Было бы здорово!

— Да оно и так, Петенька, здорово,— с удивлением услышал он голос Елизаветы Степановны.— Десять телков, все покудова живы-веселы. Ни один год так не бывало.

— Вслух размечтались.— Ирина Аркадьевна коснулась его руки.

— Это плохо. Признак...

— Увлечения. Это неплохо. Совсем неплохо. Наше время такое. Катюша моя тоже часто разговаривает сама с собой.

## 2

Двигатель к двадцать третьему февраля пустить не смогли. К великому огорчению Антона Ивановича, «сердце колхоза» так и лежало в дряхлом фургоне грудой разбросанных частей. Пока не затеяли этого дела с электрификацией, колхозники, в большинстве, мирились с керосиновыми лампами. Но когда до осуществления намеченной перемены оставался, казалось, один шаг, многими овладело нетерпение, людей раздражала волокита с движком. Не только Антон Иванович— бригадир Анохин стал заглядывать в мастерскую, старший конюх Илья Носов, Дарья Васильевна, девчата, парни. Выслушивали пространные рассуждения Павла по поводу цилиндров

и поршней, шатунов, процессов всасывания и сжатия, и кто сочувственно качал головой, а кто выражал и негодование на медленную работу мастеров.

Об Антоне Ивановиче говорить нечего. Он, видя, что к празднику света не будет, расстроился и закупил полтора десятка двадцатипятилинейных пузатых ламп: «В потемках праздновать такую дату нынче не позволю. Хватит!»

После войны годовщина Советской Армии приобрела в народе особое значение, стала одним из наиболее торжественных дней в праздничном календаре. Трудно найти человека, которого, так или иначе, война не связала бы с армией. В Воскресенском почти все мужчины прошли через фронты; в каждом доме тут за два с половиной года близких боев перебывали сотни воинов — и солдат и офицеров; во многие семьи не вернулись отцы, мужья или братья. Как не вспомнить былое, как не сказать горячее слово о том, что, если понадобится, снова будут распахнуты для бойцов гостеприимные двери, снова бригадиры, пахари, конюхи и косцы по первому зову Родины, с ложкой за голенищем, с парой чистого белья и куском мыла в заплечном мешке, отправятся в город к железнодорожным эшелонам.

Чтобы сказать это слово, воскресенцы в назначенный час, как и всегда, собрались в школьном зале, ярко освещенном лампами. По поручению партийной организации доклад должен был делать Лаврентьев. Он сидел в первом ряду между Дарьей Васильевной и бригадиром Анохиным. На сцену, где стояли стол, покрытый красной материей, и десяток стульев, поднялся Антон Иванович.

— Торжественное собрание членов нашего колхоза, посвященное славной годовщине Советской Армии, считаю открытым,— сказал он.

Встала Ася.

— Товарищи! Предлагаю выбрать в президиум наиболее отличившихся в боях за Родину наших односельчан. Предлагаю — Антона Ивановича Суркова, Илью Петровича Носова, Павла Константиновича Дремова... — При каждом новом имени зал дружно аплодировал.

— Петра Дементьевича Лаврентьева, Ульяна Фроловича Анохина, Дарью Васильевну Кузовкину...

Лаврентьев машинально перелистывал блокнот, ожидая, когда ему предоставят слово.

Загремели стулья, члены президиума из зала пошли на сцену. Мужчины в кителях, выцветших фронтовых гимнастерках, при всех орденах и медалях; гвардейские значки, нашивки за ранения — красные и золотые ленточки.

Дарья Васильевна — в черном новом костюме, который надевала только в торжественных случаях. Справа на груди у нее багрянела пятиконечная звезда, слева блестели медали за трудовое отличие в мирные времена и за героический труд в Отечественной войне.

Лаврентьеву предоставили слово, он вышел к трибуне, отделанной под светлый дуб Карпом Гурьевичем. Пока шел через сцену, видел расширившиеся, удивленные, восторженные глаза Павла Дремова в президиуме, повернулся лицом к залу — услышал тотчас вспыхнувший, тоже восторженный гул и шепот двух сотен людей; гул нарастал и разразился такими отчаянными аплодисментами, что замигали и зачадили лампы Антона Ивановича. Аплодировали и позади, в президиуме. Лаврентьев ничего не мог понять, тоже стал растерянно аплодировать. Ему и в голову не приходило принять это бурное изъявление восторга на свой счет. Он совсем позабыл, что, как и все фронтовики, для торжественного дня нарядился в старенький китель, на котором были прикреплены его награды. Никогда прежде он их не показывал, никому о них не говорил, вместе с кителем они хранились в чемодане. В зале много было людей с орденами, воскресенцы достойно прошли через годы войны, но и они ахнули, увидев грудь Лаврентьева. Кто мог подумать — у агронома семь орденов! И каких! Три ордена Красного Знамени и четыре ордена Отечественной войны обеих степеней. С такими наградами встретишь седого полковника — командира дивизии, генерала, солдатом начинавшего воинский путь где-нибудь под Перекопом или в астраханских степях, воздушного аса, славного героя отечества. Значит, перед воскресенцами и был такой герой, этот обманщик Лаврентьев. Ловко обвел всех вокруг пальца... Они считали его обманщиком, хитрецом, восторгались им, бушевали, а он стоял растерянный, на душе было радостно и вместе с тем беспокойно: приветствуют минувшие заслуги, приветствуют бывшего офицера советской артиллерии. А где же агроном Лаврентьев?

Агроном Лаврентьев — маленький винтик в большой машине, которому время от времени надо подкручивать гайки, о чем-то его предупреждать, за что-то отчиты-

вать и меньше всего приветствовать. Трудно жить былыми заслугами, хочется новых, а как их добыть?..

Об этом Лаврентьев упомянул в своем докладе. Ему большого труда стоило не сбиваться под напором нахлынувших воспоминаний, не превратить доклад в пересказ событий, через которые шел путь развития Советской Армии. Он задумал рассказать о доблести и героизме советских людей и на фронте и в тылу, и в дни войны и в дни мира, подчеркнуть главную мысль, что народ и армия едины, что каждый советский солдат в любую минуту может стать пахарем и каждый советский пахарь — солдатом. Слушали больше часа, и никто не задремал, даже из стариков — любителей всхрапнуть на колхозных собраниях, даже Савельич не кривил губ и не мусолил погасшую цигарку. Лаврентьев видел внимательные, устремленные на него глаза и бодрил себя мыслью: «Нет, товарищи, не спешите с выводами. Не только капитан Лаврентьев, но и агроном Лаврентьев что-нибудь да сделает на пользу вам и народу. Во всяком случае, он к этому стремится всеми помыслами».

Закончив доклад, он сел на свободный стул в президиуме, крайний к кулисе, за которой стояла Ирина Аркадьевна.

К трибуне выходили бойцы, вспоминали минувшие битвы. Громыхал басом Анохин, в зале смеялись над тем, как он за рекой Сунгари, в гаоляне, ловил самурая. Самурай прыгал, ползал ужом, кувыркался не хуже циркового клоуна. Анохин не прыгал и не кувыркался, шел на противника, подобно танку, тяжелой, уверенной в себе глыбой и наконец прижал злого, взбешенного человечка к стене покинутой маньчжурской фанзы. Человечек выхватил меч — священный закон требовал от него совершить над собой харакири. Закон, однако, был нарушен — самурай поднял руки перед дулом автомата Анохина. «Она у меня и сейчас, эта саблюка, ребята лучину колют, кто желающий посмотреть — приходите». Но самурайскую саблюку, разукрашенную тысячью узоров, и так все воскресенцы давным-давно перевидали.

Лаврентьев тоже смеялся. Анохин умел как-то здóрово, в лицах, рассказывать. Не подумаешь этого о нем, зная, как малословен и мрачен бригадир на заседаниях правления. Веселая улыбка вдруг исчезла с лица Лаврентьева: внимание его привлекла рыжеволосая молодая женщина. Она сидела в первом ряду, на том месте,

где до доклада сидел он сам. Когда пришла? Откуда взялась? Чем больше смотрел на незнакомку Лаврентьев, тем труднее ему было отвести от нее взгляд. Что такое было в ней привлекающее? Как будто бы ничего особенного. Рыжие, но не ярко-рыжие, а цвета спелой пшеницы, высоко взбитые волосы; как у всех рыжеволосых — белое лицо; зеленые глаза... Но мало ли рыжих, мало ли белолицых и зеленоглазых. И бровей таких, уползающих к вискам, сколько хочешь на свете. Нет, не яркие краски привлекли внимание Лаврентьева,— взгляд. Этот взгляд был устремлен на Анохина. Все смеялись рассказу бригадира — на лице рыжеволосой не дрогнул ни один мускул.

— Кто такая? Откуда? — спросил Лаврентьев, склоняясь в сторону Ирины Аркадьевны и указывая глазами на первый ряд.

— Эта? Знаменитая Клавдия Рыжова. Не признали свою невесту. Ай-ай!..— засмеялась она.— Помните — Антон Иванович?..

Лаврентьев помнил разговор о невестах, но не мог понять, отчего так самозабвенно Антон Иванович расхваливал эту женщину и откуда у него до женитьбы или колебания: Марьяна или Клавдия. Марьяна — миленькая, славненькая. Клавдия?.. Какая-то холодная, надменная. «Вернется — сам раздумывать не станешь»,— уверял Антон Иванович. Не о чем, собственно говоря, и раздумывать. Ничего привлекательного в этой Клавдии нет.

Рассуждал так с собой Лаврентьев и смотрел, смотрел на Клавдию, смотрел до тех пор, пока Клавдия не почувствовала, что ее разглядывают, и не повернула лицо в сторону Лаврентьева. Глаза их встретились. Лаврентьев не выдержал холодного безразличия в пристальном взгляде Рыжовой, сделал вид, что его заинтересовала какая-то бумажка на столе, и снова опустил глаза. Ему казалось, что рыжеволосая все еще смотрит на него. Он вертелся, перешептывался с Носовым, говорил какие-то пустяки Антону Ивановичу, наклоняясь к нему за спиной Дарьи Васильевны, лишь бы не смотреть в зал. Но в такой борьбе человека с самим собой чаще всего побеждает слабая его сторона. Не одолел себя и Лаврентьев, все-таки взглянул, быстро, исподлобья. Клавдии на месте не было. Она стояла в конце зала у дверей, разговаривала с Елизаветой Степановной. Лаврентьев пытался убедить себя, что ему стало легче с ее уходом, и не мог. Ему хотелось, чтобы Клавдия по-прежнему сидела здесь, перед ним, и даже

пусть бы тревожила его своим упорным и холодным взглядом.

— Свояченица приехала? — шепнул он Антону Ивановичу, не совсем уверенный, таким ли словом определяется степень родства председателя с сестрой его жены.

— Ага. Перед самым вечером. Ночь не спавши. Злая. Меня уже успела отсобачить. У вас, говорит, тут и агрономы, и председатели, и бригадиры, а крыс развели в хранилищах. Семенники жрут. Даст она нам жару, Петр Дементьевич. Самим, заместо котов, крыс ловить придется. Говорил тебе — солдат в юбке...

«Совсем другое ты говорил»,— подумал Лаврентьев, не разделяя веселого настроения председателя.

Торжественное заседание окончилось пением гимна. Затем Антон Иванович объявил перерыв, и Пронина, выйдя из-за кулисы, сделала сообщение:

— Через пятнадцать минут, товарищи, коллектив драматической самодеятельности просит вас посмотреть нашу новую постановку. В главных ролях Ася Звонкая, Николай Жуков и Люся Баскова.

Известие было принято шумно. Драмкружок не действовал уже много лет, о нем позабыли — существует ли, и вдруг — новая постановка! Как ни хорошо кино, а и театра хочется: свои артисты, живые голоса. Асютка за бесприданницу переживает, Николай Жуков, шофер, золотой цепкой на жилетке поигрывает — приказчик!

— Качать Звонкую! Баскова где? Николай! Давешь сюда Ирину Аркадьевну! — воодушевилась молодежь.

— Друзья, друзья! Что вы, что вы! Мои годы...— отбивалась, отшучивалась Ирина Аркадьевна.

Лаврентьев тем временем протискивался к дверям. Что его туда тянуло? Клавдия? Но она уже исчезла. И на улице ее не было. Там стояли на морозце, курили, разговаривали:

— ...Да-а, значит. Тут я как шарахну гранатой...

— ...Лежим на снегу, небо в звездах, студеное, а не шелохнись: противник в сорока метрах...

— ...День идем, два... третий. Кругом лес да болота, хоть головой о дерево бейся, но приказ выполни. А как выполнишь? Заплутались.

Кто там говорит в февральской тишине? Чьи это голоса?

Подошел Павел Дремов, бросил в снег папиросу, затоптал.

— Петр Дементьевич, не серчайте, прошу... — начал было он.

— Не пойму,— удивился Лаврентьев.

— Сам не пойму — с чего? Характер, говорят, такой.

— Да о чем вы, Павел?

— Ну вот на дыбки всегда вздымаюсь, как что не по мне, не по шерстке выходит.

— У многих такой характер.

— Мне на многих чихать, Петр Дементьевич.— Дремов закурил новую папиросу.— Я о себе... Как увидал ваши ордена, совестно стало. Эх, думаю, своим одним хвалился. У человека вся грудь в них — молчит, попусту не звякает. Конечно, насчет Урала я давно узнал, что прошибся, и про офицерское звание узнал, и про ранение. Про ордена — ахнул сегодня.

— По-вашему, выходит так, Дремов: нет у человека орденов — думай и говори о нем, что в голову взбредет. Есть ордена...

— Свой дорого достался. Может, поэтому я так, Петр Дементьевич...

— Дорого?

— Дорого. Когда обложили Кенигсберг, наткнулись мы на ихние форты...

— Вы под самым Кенигсбергом были?

— И под самым, и в самом. Ботанический сад. Северный вокзал, полицейское управление... Я там каждую улицу знаю.

— Я тоже под Кенигсбергом воевал.

— Ну?! С одного фронта, выходит. Земляки! За́мок-то, королевский, помните?

— За́мка не помню. В город не вошел, ранило. А форты знаю, давал им огоньку.

— Что ж я тогда рассказываю? Форт, в общем, брал. «Кёниг Фридрих Вильгельм» назывался. Жуткий. Подземелья, рвы с гнилой водой, над рвами решетка с шильями... Пулеметы садят. А я добровольно в штурмовую группу вызвался. Руки чесались противника пощупать. Надоело в мастерской. Ну и пощупал. На главном куполе минут пятнадцать под этаким огнем проелозил... Завалил амбразуру, наблюдатели там сидели... пульт управления... Землей завалил, шинель свою запихал в смотровую щель, вещевой мешок. Мины вокруг шлепают, черт-те что идет. Даже и не гляжу, свое дело делаю, в горячке весь.

Командир дивизии как узнал, кто ослепил наблюдателей, так сразу и приказал: «Представить к Отечественной первой степени». Потом я осмотрелся — и гимнастерка у меня и штаны — в клочья от осколков. Каблук долой снесло. А в самом — мелочь, что дробинки, штук пять!.. Одно слово, не рассказчик я, — махнул вдруг рукой Дремов. Ему показалось, что Лаврентьев его не слушает. — Вот Анохин бы расписал. Да дело не в рассказах, Петр Дементьевич. Нехорошо как-то мне перед вами, нескладно.

— Обойдется, Павел. Работать нам вместе, вместе заботы делить... Есть?

— Есть, товарищ капитан!

— Кто тут капитан? А, Петр Дементьевич! — Из темноты вынырнул Анохин. — Уважил нас орденами.

— И вы об орденах!

— Как же! Слова из песни не выкинешь. Такой агроном нам подходит. Двинули, товарищи, в залу — зовут!

Спектакль шел своим чередом. В старомодном длинном платье Ася казалась еще милей, еще привлекательней, чем в будничных одеждах. Вначале Лаврентьев ей весело подмигивал, кивал головой, улыбался, то есть делал то же, что и его соседи. Но Ася не замечала ни подбадривающих кивков, ни улыбок. Она ушла в иной мир, она пела на сцене под гитару Жукова, она плакала, ненавидела, билась головой о стол. И постепенно зрители переставали видеть Звонкую: перед ними была жертва злой обывательской среды, их захватывала чужая жизнь, и они вместе с Асей стали и ненавидеть, и сжимать кулаки.

Лаврентьев поймал себя на том, что, переживая перипетии старинной драмы, думает о Клавдии Рыжовой: как бы эта злюка вела себя на месте героини? События пошли бы, пожалуй, по-другому. Эта так легко не сдастся, не отступит перед грубой волей, жизнь ее не очень-то согнет.

Он не мог понять почему, но Клавдия явно напоминала ему его Наташу. Он говорил себе, что это вздор: ничего общего ни во внешности, ни тем более в отношении к окружающим,— он немножко знал об ее отношениях с односельчанами по рассказам колхозников. Но вот — вздор, а сто́ит подумать о Клавдии, сразу же в памяти возникает Наташа. Клавдия, как и Наташа когда-то, завладела душой Лаврентьева с первого взгляда. Он этого еще не сознавал, он еще считал, что рыжеволосая ему

неприятна, что он вызывает ее образ перед собой лишь затем, чтобы снова и снова убедиться в неприязни к ней, снова увидеть ее недостатки. Но... но вызывал и вызывал его, этот образ.

## 8

Блеснули ордена Лаврентьева на вечере, блеснули — и больше о них никто не вспоминал, кроме воскресенских ребятишек, которые, когда он проходил по улице, шептали вслед: «Три боевых Знамени... Три боевых!..» Ордена — для праздников, в будни — работа. Чем ближе к весне, тем больше прибывало дел. Агронома тянули во все стороны. Анохин с комсомолками тянут: давайте, Петр Дементьевич, составим подробный агротехнический план по пшенице. Кузнецы: пора инвентарь распределять по бригадам, вокруг кузни грудками и рядками — отремонтированные плуги, бороны, культиваторы, сеялки. Илья Носов: надо прибавить норму овсеца коням, в теле чтобы подвести их к весеннему севу; похлопочите, товарищ Лаврентьев, перед правлением. Кладовщик приходит, требует произвести проверку закромов — не завелся ли клещ или еще какая тварь в зерне. Потом опять явится Анохин — зовет на консультацию, так ли стеллажи устроил для яровизации картофеля. Из МТС приехали агроном и бригадир тракторной бригады, вместе просидели три дня над планом колхозных угодий, разметили участки под машинную обработку. Садоводы гадают, каких бы сортов саженцы заказать в питомнике, — подскажи, Петр Дементьевич. Дарья Васильевна печется: выйдет или не выйдет загонная пастьба скота, в прежние годы срывалась, не понять даже — по каким причинам: то ли трава не растет, то ли пастухи халатничают; а потом бы хорошо кочки на выгонах срезать да белый клевер подсеять... Из района тоже каждый день названивают, едут проверщики, уполномоченные...

Обстановка — как бывало перед большим боем: за оборудованием огневых следи, выбирай места для наблюдательных пунктов, распоряжайся налаживанием связи, беседуй с личным составом, веди разведку переднего края противника; трещат полевые аппараты, пищит рация — дивизион, штаб полка вызывают комбата; мчатся связные.

Лаврентьеву такое сходство подготовки к весне с подготовкой к бою было по душе. Оно бодрило, взвинчивало чувства и нервы, держало в напряжении. Чуть свет — на ноги, гимнастика, завтрак — и в колхоз. Отгремит день с беготней от амбаров к инвентарному сараю, от конюшни к правлению, от избы, где в тарелках и блюдечках проращиваются семена для проверки на всхожесть, к скотным дворам, отойдут летучие заседания, занятия агрокружка, долгие беседы с Антоном Ивановичем и Дарьей Васильевной — глядишь, небо уже в звездах: двенадцать, а то и час ночи, пора в постель. Сон приходит каменный; как ляжешь на правый бок, так на правом и проснешься, и снова — на ноги, гимнастика — и в колхоз. Всем ты нужен, все тебя зовут, требуют.

Только Клавдия Рыжова за две недели ни разу не пришла к агроному, не позвала, ни о чем его не спросила. Антон Иванович ошибся со своим заявлением: «Даст она нам с тобой жару». Ему одному, председателю, доставалось от семеноводки. Она сознавала прочное свое положение в колхозе и командовала правлением. Рыжовой ни в чем не могли отказать. Как откажешь,— такие даст доходы! Рыжовские семена овощей идут на вес золота. Египетская свекла, красносельская брюква, капуста сортов «Слава» и «Номер первый», мелкие, как мак, но ценнейшие, чуть ли не по полтиннику за грамм, зернышки цветных капуст — кто в районе и во всей области не знает, что лучше Клавдии Рыжовой, по качеству, по сортности, ни один семеновод их вырастить не может. «Кланя, Клавочка, Клавдия Кузьминишна!..» — заискивает перед ней Антон Иванович. Она пользуется этим, требует лишних минеральных и органических удобрений, лишних людей к себе на семеноводство, лишнего тягла; у нее все в излишке, всего избыток. А продолжает требовать и требовать, и ей дают и дают. У других неуправки, нехватки, «узкие места» — у Рыжовой дело идет гладко, как корабль в заштилевшем океане. Спокойно, без спешки и волнений, набила парники, высеяла сортовую рассаду, перебрала семенники в хранилищах, в отдельный сарай заперла под замок удобрения. Никаких бурь, море спокойное, Клавдия — капитаном на мостике, облокотилась о поручень, уверенная в себе, видит уже осень, всегда приносящую ей привычный успех. Тайны семеноводства давно ею постигнуты и изведаны; постигнуты и секреты влияния на умы и сердца односельчан.

Откуда взялось все это у двадцатишестилетней женщины? Так сложилась жизнь, так она воспитала Клавдию. Клавдия никогда не слыхала о древней индийской пословице: «Посеешь поступок — пожнешь привычку, посеешь привычку — пожнешь характер, посеешь характер — пожнешь судьбу»,— но характер ее формировался именно по таким ступеням, начиная от первых детских поступков.

Отец Клавдии, лесоруб, погиб под вековой елью, мать бросила детей и сбежала в город с агентом какой-то заготовительной конторы. На попечении девочки осталась сестренка, которой едва минуло восемь. От чьих-либо забот, сочувствий и вспомоществований — а их предлагали со всех сторон — оскорбленная бегством матери Клавдия гордо отказалась. «Мне тринадцать лет» — с достоинством заявила она всем, даже Карпу Гурьевичу, когда тот сказал, что готов взять к себе в дом и ее и Марьянку. Дело было летнее, Клавдия работала в колхозе, что-то там в меру своих сил зарабатывала. Осенью как ни в чем не бывало пошла в школу и сестренку снарядила в первый класс. Возвращались обе после уроков, начинали хозяйничать, обед готовить, избу прибирали. Старшая всегда была недовольна тем, чтó и как делает в доме младшая, и мало-помалу оттеснила ее и от печки, и от мытья полов, и даже от чистки картофеля. «Сиди уж, коли руки у тебя такие нескладные. Сама сделаю», — говорила на каждом шагу. Марьянкина жизнь зимой проходила за уроками да возле окошка, на замороженных стеклах которого она дыханием и пальчиком проделывала круглые гляделки, летом — с мальчишками и девчонками на улице.

Когда соседки захаживали в дом к Рыжовым, «присмотреть за сиротками», они убеждались, что присматривать ни за кем не надо — в доме полный порядок, обеды, ужины у сироток есть; одежонка только ветшает, надо бы помочь. Но Клавдия отвергала всякую помощь. Орудуя ржавыми ножницами, искалывая пальцы иголкой, она кроила из отцовского и материнского старья, шила себе и Марьянке неуклюжие, кривоплечие кофты, куртки, юбчонки, прикапливала деньжат от продажи яиц учительницам (держала десяток куриц и драчливого петуха, который бегал за пятками прохожих), покупала галоши вместо ботинок; девочки шлепали в них весной и осенью, по снегу, обернув ноги шинельным сукном. Колхоз и школа много раз пытались прийти на помощь.

Клавдия отказывалась: «Мать не заботится — чужие не обязаны. Не хочу».

Едва подросла Марьянка — строгая сестра и ее отправила на колхозные работы, в бригаду к огородницам, полоть грядки. Но от Марьянки толк был маленький, работала она плохо,— разленилась дома за спиной сестры, вместе с травой выдергивала и морковку, ковырялась не спеша, сидела в борозде, разглядывала птичек, бабочек,— мечтала. По-прежнему тяготы жизни несла на своих худеньких плечиках Клавдия. Она окончила семилетку, хотела идти дальше, но не удалось, — помешала война. Клавдия все силы вкладывала в колхозный труд. Работала, работала и работала. Мужчин осталось мало, в те времена правлением руководила Дарья Васильевна, и председательница говаривала: «Кланька у нас пятерых мужиков заменяет». Это не было слишком большим преувеличением. Старшая Рыжова пахала, сеяла, работала на конной жнейке, могла и косой махать на лугах,— и так махать, что за ней не поспеешь. Девушка не высказывала своих мыслей перед людьми, но ей до боли в сердце хотелось хорошей жизни. Сначала это шло от желания доказать матери, которую она, в одиночку борясь за существование, возненавидела, — доказать, что, как бы мать ни вела себя, они с Марьянкой не пропадут; а потом и от простых девичьих потребностей — не быть замарашкой, не быть предметом жалостливых вздохов и сочувствий. Во время войны эти желания слились с необходимостью работать по-фронтовому. Кругом были бойцы и офицеры, во имя победы оставившие свой дом, своих родных и близких. «И я ничего не пожалею во имя победы»,— горделиво говаривала себе Клавдия.

После войны она первой среди односельчан достигла хорошей жизни. У нее и у Марьянки появились шелковые платья, туфли на высоких каблуках, драповые пальто. А когда ее поставили руководить семеноводческим звеном вместо умершей бабушки Агафьи, Рыжовы окончательно поднялись на ноги,— денег и продуктов Клавдия получала так много, что ей завидовали и полеводы, и доярки, и правленцы. Каждую зиму она уезжала на курсы и становилась все искусней и искусней в своем деле. Работа приносила ей много радостей и еще больше сулила их впереди. Но жизнь личная... Ее не было, не получалась она, не давалась в руки, обходила девушку окольными тропами. Характер начинал себя оказывать.

Выросла властная, несговорчивая, слишком самостоятельная. Ни один из парней не казался ей парой. «Серый ты, Костя, и вялый. Скучно с тобой», — запросто говорила она тому, кто пытался за ней ухаживать. Или: «Брось, Митя. Не выйдет. Не люблю, когда надо мной верховодят, а у тебя замашки старого боярина: посадить бы девку в терем да держать там, от людей прятать. Гуляй с другими». Никто бы не сказал о Клавдии: красивая, — Марьянка куда красивей была, а влекла Клавдия к себе чуть не каждого. Антон Иванович, возвратясь из армии и сменив Дарью Васильевну на председательском посту, каблуки сбил. Ходил за Клавдией по пятам, неизменно слыша одно и то же: «На должность председателевой жены меня не тянет».— «Да я, хочешь, в бригадиры пойду, в рядовые... Кланька?» — «Вот то и плохо...» — «Что плохо? Что?» — «Все. Линии у вас нет твердой, Антон Иванович. Качает вас на волнах». И говорила она это таким безучастным, таким безразличным тоном, что Антон Иванович чувствовал — не в линии дело, не в волнах, просто не нужен он ей и неинтересен. Другое дело — Марьянка. Томными смотрит ему в лицо глазами, ласковыми, открытыми... Глаза эти и победили его сердце, истосковавшееся за военные годы по ласке. Увел он сестру от Клавдии, полюбил Марьянку крепкой любовью и теперь со страхом иной раз думал: «Вот пронесло беду. Что было б, не дай Клавдия ему отставку! Поживи с таким чертом — небо с овчинку покажется...»

Пытался ухаживать за Клавдией и агроном Кудрявцев. Сам отступил, не дожидаясь отставки; перешел на дружеские с ней отношения. «Высокие чувства вам недоступны, Клавдия Кузьминишна,— говорил он ей в шутку. — Не о вас ли в сказке сказано: слепили дед да баба себе дочку из снега? Глядите, придет весна — как бы лужа только не осталась от вашего холодного величия...» Клавдия задумывалась: где она, эта весна? Для всех ли приходит? Четверть века на свете — и ничего, кроме работы и работы, у нее нет. Не поздно ли думать о весне? Зеленые глаза темнели, прямые брови шли вкось к вискам, губы сжимались, скрывая голубоватый ряд мелких ровных зубов, белое лицо бледнело до мраморного цвета, и еще резче становились на этой белизне веснушки, присущие всем рыжеволосым. Неприятные думы о личном еще круче заставляли Клавдию браться за

общественное, еще больше требовать от правления, еще энергичней работать.

Лаврентьева раздражала эта не знавшая границ требовательность Рыжовой, раздражала и уступчивость правленцев.

— Семеноводство наше перерастает в какой-то флюс, и, мне думается, в зловредный,— говорил он Антону Ивановичу. — Оно ущемляет другие отрасли хозяйства.

— Доход-то какой, Петр Дементьевич, от этих семян! — мялся председатель.— Деньги, деньги...

— Только о деньгах думать — скользкий путь.

— Только о деньгах, верно, скользкий. Но если деньги как средство для достижения цели...

— Какой цели?

— Полного переустройства... Зажиточности...

— Покупать, значит, хлеб? Покупать сено? Так, что ли? Я против, и категорически против, товарищ председатель. Всему свое место.

— Что ж, Петр Дементьевич, попробуй, поставь ее на должное место. Нашему бы теляти...— Антон Иванович усмехнулся дружелюбно и не без сожаления: напрасноде, приятель, осаживать Клавдию. Большой разбег взяла, большую власть.— Попробуй, в общем.

— И попробую.

Магомет не идет к горе, гора идет к Магомету,— как всегда, перепутал пословицу Лаврентьев и отправился на парники. Под мартовским солнцем поблескивали умытые талым снегом рамы, сквозь стекло были видны молодые всходы,— будто зеленые строчки на черном. Теплый воздух дрожал над штабелем утрамбованного навоза, пахло конюшней, мокрой соломой. Женщины, одну за другой приподымая рамы, поливали всходы из леек; сверкающие тонкие струи воды казались пучками алюминиевой проволоки, туго били они в рыхлую землю.

Клавдия в желтых, по ноге, сапогах с кокетливыми кисточками на голенищах, в синем, туго затянутом на талии халате, в серой, из каракуля, шапке наподобие папахи, стояла среди этого весеннего оазиса, окруженного снегами, и из-под ладони смотрела на солнце.

— Клавдия Кузьминишна! — окликнул Лаврентьев, подходя, и, когда она обернулась к нему, увидел, как быстро расширяются у нее зрачки, только что от солнечного света сжатые в булавочную точку.

Клавдия смотрела на него пристально, в упор и недружелюбно. Она много наслышалась о новом агрономе, наслышалась о том, что он падок до нововведений, во все сует свой нос,— говорили, конечно, иначе, но Клавдии так было угодно истолковывать одобрительные о нем слова колхозников, — и все эти две недели она ждала его появления в своем семеноводческом хозяйстве, готовилась встретить достойно.

— Слушаю вас, — сказала, бледнея от волнения: наконец-то пришел.

— Как дела идут?

— Как полагается им идти.

— А как полагается?

— По графику.

— Выдерживается график?

— Для чего он и составлялся!..

«Вот так беседа!» — подумал Лаврентьев и завел узко специальный разговор о семеноводстве. Он не случайно две недели избегал встреч с Рыжовой. Хотя и урывками, но за этот срок ему удалось прочесть и просмотреть десятка полтора книг, касающихся Клавдииной специальности. Он чувствовал, что безоружному перед ней представать было нельзя, и теперь с удовольствием убеждался в своей правоте и мудрой предусмотрительности. Клавдия очень много знала, но кое-что и ей было неизвестно. Лаврентьев со скромной, неброской щедростью демонстрировал перед семеноводкой свои знания. Это ее встревожило. Перед ней не Кудрявцев, для которого овощеводческое дело, а тем более семеноводство, вообще не существовало и который ей полностью доверял. Надо быть осторожней, точней в словах и поступках. А как тут будешь осторожней?

— Я подсчитал,— говорил Лаврентьев,— потребности вашего звена. Придется часть удобрений у вас отобрать, полеводки нуждаются.

— Отобрать? — Давно с Клавдией так не разговаривали.— А кто позволит?

— Через правление проведем.

— А!..— Это было легче. С правлением-то она сумеет поладить.— Проводите, товарищ агроном.

— Кроме того, четырех женщин вам следует уступить полеводческой бригаде, Клавдия Кузьминишна,— продолжал Лаврентьев.

— Проведете — уступлю. Еще что уступить?

— Рассчитывать советую на одну лошадь, а не на две.

— Так. Дальше?

— Самим идти в лес и заготовлять колья для семенников. Мужчины заняты на вывозке удобрений.

— Всё?

— Да, всё.

— До свидания.

— Я еще не ухожу. Хочу посмотреть, как выполняется график. Пойдемте, показывайте хозяйство.

Он заглядывал под рамы, выдергивал некоторые ростки, смотрел, не завелась ли «черная ножка», правильно ли полита земля; с первого знакомства надо было показать Рыжовой, что он — агроном, главный инженер, а не статистик и не регистратор.

Она видела, что Лаврентьев не регистратор, убеждалась в этом и неистовствовала в глубине души: «Мне, Рыжовой, недоверие! Надо мной, Рыжовой, контроль! Да знает ли он, что с ней, Рыжовой, сам председатель облисполкома товарищ Сапников за руку здоровается! Знает ли?! Ну посмотрим, ну посмотрим — кто кого!» Ей не терпелось прийти на заседание правления. Там-то она покажет, кто такая Рыжова! Здесь, на парниках, ничего не получалось. Кричать, браниться — это ниже ее достоинства. Хранить обычное недосягаемое величие — не действует на странного человека, не замечает он, да и только, этого величия, ведет себя с нею как равный. Возмутительно!

Ожидаемое заседание совсем обескуражило Клавдию. Как она ни протестовала, Лаврентьев только цифрами, только точными подсчетами сумел доказать правленцам необходимость передачи и удобрений, и людей, и тягла из семеноводческого звена полеводам, в тех именно количествах, о которых он уже говорил Рыжовой.

— Хорошо, по средствам и работать будем. Сколько получили, столько и дадим, — сказала она, когда было вынесено решение.

— Работать будешь по-прежнему, и даже лучше, — остановила ее Дарья Васильевна.— Семян дашь не меньше, а больше.

— Такова задача,— подтвердил смущенный и в то же время довольный Антон Иванович. Довольный тем, что на Клавдию найдена управа. «Нашла коса на камень». Он хитро взглянул в сторону спокойного, уверенного в своей правоте Лаврентьева.

— Ты коммунистка,— добавила Дарья Васильевна.— Не забывай об этом, Клавюшка.

— Не забываю. Делом, кажется, доказываю, что не забываю. Но и не пешка.

— Вот-вот, о чем и разговор: не пешка, — не теряла материнского тона Дарья Васильевна.— Пешке мы бы такое дело не доверили. Пешка и со ста конями, и с целой горой удобрений, и с пятью ротами баб его бы провалила. Будь ты, милая, пешкой, ничего бы у тебя не урезали, еще бы прибавили. Смекаешь или нет?

Дарья Васильевна знала, с кем и как разговаривать, на кого и чем влиять. Бесценное умение руководителя! Муж ее, десятник на лесоразработках, в силу должности своей редко выбиравшийся из леса, находил время, чтобы приехать посоветоваться с Дашей, услышать от нее ободряющее слово, когда у него случались затруднения в работе. Как Даша скажет, так и будет,— десятнику это было давно известно. Женился он на ней, ясноглазой простенькой девушке, лет двадцать пять назад, жил — горя не ведал: ласковая, добрая, домоседка. А вот когда пришли колхозы, словно подменили ее, Дашу. Домоседки не стало. Вырвалась сначала в колхозные счетоводы, благо грамоту знала, потом на огородах работала, еще год ли, два спустя в доярки пошла и прочно обосновалась в животноводстве. Почему с такой охотой вырвалась на люди? Не очень любила домашнюю возню: одна да одна целый день, тоскливо. А натура живая, общительная, душа к народу просится. Колхозный труд, коллективный, как нельзя лучше удовлетворял Дашину потребность в общении. Дома от этого хуже не стало, еще веселей: сойдутся вечером, он и она, кучу новостей друг другу нарассказывают; смеются — посмешней старались изобразить все виденное и слышанное за день; за других думают, вопросы решают. И уже тогда десятник стал замечать, как ловко эти вопросы решает Дарья Васильевна — что судья праведный. «Тебе бы только в заседатели», — говорил он. «И пойду», — отшучивалась она.

Годы шли. Как передовую колхозницу, Дарью Васильевну приняли в партию, поставили заведовать животноводческой фермой. Избрали затем депутатом в районный Совет. В первые недели войны райсовет поручил своему депутату трудное, боевое дело: вывести скот из дальних совхозов. Трудное и боевое потому, что противник наступал в этих местах быстро, армия еще не подошла

встретить его в лесных дефиле. Дарья Васильевна гнала коров через трущобы, через болота, минуя шоссе и проселки, уже контролируемые вражескими танкистами. Не ясноглазой девушкой и даже не зрелой любящей женщиной была она в те грозные дни, — командиром, волевым и бесстрашным. Прихватывала по пути людей из колхозов и селений, приказывала гнать за собой колхозный скот, вывозить добро, уходить пешком, коли нет копя и телеги. Этот лесной поход окончательно сформировал натуру Дарьи Васильевны, настойчивую, требовательную и в то же время мягкую и глубоко человечную.

С уходом мужчин на фронт в колхозе единогласно порешили поставить ее председателем: кого же больше? Рядом, в десяти километрах от Воскресенского, проходил передний край, гремели бои, ухали пушки — в Воскресенском колхоз не прекращал своего существования, худо ли, хорошо, работал, жил, помогал армии, государству, себе не давал свалиться с ног. Колхозники знают, как это трудно было делать в прифронтовой полосе, где постоянная смена частей, где обстрелы, бомбежки, пулеметный огонь с самолетов, где не знаешь, о чем и думать — о труде и о жизни или о смерти. Дарья Васильевна думала о труде и о жизни и этому учила своих колхозниц.

После войны — новая должность: будь одновременно и животноводом, и секретарем партийной организации. Секретарь райкома партии Никита Андреевич Карабанов на собрании сказал коммунистам, что в наши дни партийный организатор в колхозе не меньшая фигура, чем председатель. Следовательно — что? Лучшего из лучших надо избрать на этот пост. Оглянулись: она, Дарья Васильевна, лучшая из лучших. Слово «фигура» ее обидело немножко, она об этом сказала Карабанову после собрания. «А ведь верно — нехорошо,— согласился он.— Спасибо тебе, товарищ Кузовкина. Подправила. Человек так человек. При чем тут фигура! Не шахматная игра — жизнь!»

Она умела так высказывать правду, и горькую иной раз, чтобы человеку не обидно было, а чтобы он согласился с ней, понял бы сам, где правда, где кривда. Так и с Клавдией она говорила: не пешка, мол, всем известно, поэтому и спрос с тебя больший, и надежды на тебя бóльшие. Но Клавдия, уязвленная тем, что вышло не по ее, а по-агрономову — впервые так вышло,— не пожелала ответить на это «смекаешь или нет?». Нечего ей смекать. Сорвалась с табурета, хлопнула дверью так, что дрогнула

правленческая изба, посыпалось земляное крошево из щелей потолка и распахнулось незаделанное окошко. Антон Иванович, втянувший голову в плечи, выждал — не обрушится ли потолок, почесал за ухом.

— Давно говорю,— нарушил наступившее молчание Лаврентьев,— надо новое здание строить. Задавит нас в этом когда-нибудь.

— Такова задача,— согласился было председатель.— Ладно...— И тут же свернул: — Подумаем.

4

Секретарь районного комитета партии в один и тот же колхоз приезжал не часто, раз в три месяца, а то и реже. У него была своя система, и он был уверен — правильная, потому что вполне себя оправдывала, давала партийному руководителю полное представление о состоянии дел в районе. Карабанов категорически отвергал автомобильные форсмарши через десяток, полтора десятка селений в день, когда потом все мешается в голове и не помнишь, о чем просил Сурков из Воскресенского, на что жаловался Лазарев из Горок, чего хотела та сероглазая женщина из Поречья. Ни дела никакого не сделал,— ни настроения людей не изучил, ни с положением в колхозах толком не ознакомился. В Поречье хитрый мужик Бабаев свел секретаря на ближний, лучший участок и объявил, что у него вся пшеница такая, а надо было бы и в третью бригаду сходить — как там? В третьей — самые неблагоприятные условия, болота рядом. Вот и сиди гадай, снова ли мчаться по району или считать, что побывал на местах, во все вник.

«Побывал на местах» — туманная формула, против нее восставало все существо Карабанова. Он поступал иначе. Он приезжал в колхоз дня на три, на пять, на неделю. Входил здесь в ритм колхозной жизни, не нарушая его, не сбивая своим присутствием. Вставал вместе с колхозниками по утрам, вместе с ними ложился. Ночевал по очереди то у секретаря партийной организации, то у председателя, то у бригадира, в семье доярки, пахаря, огородника или пастуха. Самые откровенные и содержательные беседы получались не в правлении, а тут, за вечерним чаем, один на один. Чего человек не скажет на людях, то без утайки выложит с глазу на глаз.

Непременным правилом было у Карабанова прочесть колхозникам лекцию, сделать доклад — на международную тему, на внутреннюю или теоретическую, и так его построить, чтобы у слушателей возникли вопросы, начались бы споры и высказывания. Пройдет пять-шесть дней, и секретарь знает жизнь колхоза, помыслы людей лучше, чем самый дотошный ревизор.

Он без тревоги отрывался от райкомовского стола и райкомовских телефонов. Там, в районном центре, остался второй секретарь, там есть райисполком — как можно им не доверять, как можно думать, что лишь на нем, на первом секретаре, только и способна, будто на центральной и единственной оси, вращаться вся жизнь района? Другие руководители разве ничего не сто́ят, разве плохо идет у них дело, когда он на месяц уезжает в отпуск на юг? Отлично идет, так же как и при нем. Товарищам лишь больше, чем обычно, приходится проявлять самостоятельности и инициативы, и это всем на пользу.

Система себя оправдывала. Многодневное пребывание в колхозе давало секретарю райкома глубокое знание колхозного актива, колхозных планов, колхозного хозяйства, такое глубокое, что в дальнейшем достаточно было телефонного разговора или подробной сводки — и перед Карабановым вновь во всей широте возникала детально изученная картина, он легко мог определить, какие в ней произошли изменения — в лучшую ли сторону, в худшую, движется ли колхоз вперед или топчется на месте, ярче стали краски или потускнели.

В Воскресенское секретарь райкома приехал только в апреле. Как ни коротка была та первая встреча, когда Карабанов, рассматривая партбилет Лаврентьева, говорил: «Время не воробей, упустил — не поймаешь»,— он сразу узнал агронома.

— Здравствуйте, товарищ Лаврентьев,— поздоровался крепко, за руку.

Был он невысок ростом, пониже Лаврентьева, но плотен, легок на ногу, весел, бодр. Лаврентьеву сразу понравился этот человек. Он держал себя в колхозе не как некий начальник, а будто старый друг и товарищ, никого не распекал, не разносил, только разбирался в делах, только давал советы, умные советы, не последовать которым было невозможно. В докладе его о современном положении

Лаврентьев не заметил особого красноречия, зато сколько было новых фактов.

По вечерам каждый старался затащить Карабанова к себе. Он ночевал у Антона Ивановича, у Карпа Гурьевича, у Анохина, даже Прониных не забыл. Почти до утра Лаврентьев слышал у себя за стеной глухой гул голосов Карабанова и дяди Мити.

Дошла очередь и до него, Лаврентьева. Это случилось после совещания актива, который Карабанов созвал для того, чтобы поговорить о планах, об агитационной работе в поле, о расстановке сил, о затруднениях и возможностях.

— Квартиркой, слышал, обзавелись, товарищ агроном? — сказал Карабанов, когда вышли из школы на улицу.— Может, пустите странника на ночлег?

— Рад буду, Никита Андреевич.

Дорога раскисла, на ней стояли черные лужи, в которых искрились отраженные звезды; шумели мокрые деревья под теплым северо-западным ветром с далеких морей и океанов, в лицо било влажной свежестью. Дружно шлепали сапогами по каше из снега и талой земли. Лаврентьев едва поспевал за Карабановым.

Дома затопили печку, согрели чай, разговорились. Карабанов знал людей Воскресенского лучше, чем Лаврентьев.

— Люди — главное, — говорил он, прихлебывая чай. — Людей, людей изучайте. Советский агроном не может оставаться только специалистом-землеведом. Он должен быть еще и сердцеведом, тем более коммунист. Смелее вторгайтесь в жизнь, окружайте себя людьми, вместе с ними ворочайте эту жизнь, пользуйтесь теми рычагами, какие дает вам партия, свои придумывайте, отыскивайте. Да, люди, люди! С одними помыслами, а какие разные! Ася Звонкая и Пронина... Противоположные вроде бы полюсы. Но идут плечом к плечу.— Карабанов ерошил пальцами короткий седой бобрик и щурил на огонь лампы проницательные карие глаза с узким монгольским разрезом.— А как вам Антон нравится, председатель? — продолжал он.— Внешне — работник и работник, не лучше, не хуже других председателей. Но, попомните меня, себя еще покажет. Человек с мечтой. Чтó за мечта — не знаю, только догадываюсь. Скрытничает. Второй год вокруг него хожу, с прошлой зимы,— молчит. Не могу, говорит, попусту языком трепать; рано, Никита Андреевич, не

дорос. Или Дарья Васильевна... Был у нас однажды с ней разговор. Интеллигенции не хватает, сокрушается. Колхоз вам, доказывает, не старая деревня. В нем и механику, и инженеру, и ученому дело найдется. Вот так! Подай ей или того, или другого, или третьего. «Учите, отвечаю, сами». — «Ну и научим. Не задразните». Слыхал, поди, про Белоглазова? Они его два года назад в электротехнический техникум отправили учиться. На колхозный счет. Или про Фросю Белкину? В институте молочного хозяйства, на третьем курсе. А дочка Анохина, Шурочка! Писательница. Дела!..

В глазах у Карабанова — юмор, радостное изумление, энергия, словно сам он и в электротехническом и в молочном учится, словно сам собрался в Воскресенском моторы ставить, сыроварню возводить, лесопилку, кирпичный завод, мостить вокруг дороги, сажать вдоль них сады и писать об этом романы.

Беседа затянулась, легли поздно, а когда Лаврентьев проснулся, Карабанова на диване уже не было. Аккуратно сложены одеяло, простыни, подушка. Но он вскоре вернулся.

— Утро какое! Сказка. В лесу тетерева бормочут. Жаль, ружьишка не захватил.

— Мое можно взять, купил новенькое.

— Один не люблю ходить. Скучно.

— Второе достанем. Я тут брал зимой у старшего конюха, знаете Носова?

— Илью-то? Как же!

— Хорошее ружье.

Карабанов в нерешительности ерошил волосы. Редко, очень редко брал он в руки ружье, но охоту любил и охотничьи рассказы слушал с удовольствием и сам их рассказывал.

Лаврентьев, не дожидаясь его согласия, накинул пальто и ушел. Вернулся с ружьем, с тем самым, с которым так неудачно пробегал ночь за ехидной лисицей.

— Ладно,— согласился Карабанов. — Сходим ненадолго. Утро раннее. Сколько на ваших? Без четверти восемь? Ну вот, к полудню обратно будем.

Вместе пополнили запас патронов. Четыре штуки Карабанов зарядил тяжелыми пулями: «Волки, слышал, появились в районе. У крутцовских семь овец украли из загона. Авось встретим».

Смазали сапоги свиным салом, смешанным с воском, с касторкой и сажей, и пошли; по обочинам канав добрались до леса.

В лесу надо было ступать по змееобразным, вылезшим на поверхность корням елок: оступишься — попадешь в глубокую снеговую жижу. Прыгали, оступались, черпали голенищами, выжимали и перевертывали портянки, держали путь на голос тетеревов. Тетерева били то справа, то слева, то впереди. Пойдешь на звук — пусто, молчание. Бой слышится в новом месте.

Охота — дело затяжное, захватывающее и азартное. Немыслимый труд — контролировать себя во времени, с ружьем в руках путаясь в чаще. Думаешь, час прошел, ан, глянул на стрелки — все пять. Да и на стрелки глядеть позабываешь. Брели и брели на призывные птичьи крики два охотника, все дальше и дальше от Воскресенского. Карабанову посчастливилось — подрезал краснобрового косача на перебежке, прикинул на руке: ничего, увесистый,— положил в сумку.

Азарт от первой удачи разгорелся еще сильней. Где-то, возле лесного озерка с набухшим синим льдом, из мокрых елок выметнулась лиса. Были охотники друг от друга не близко, но одновременно увидели это яркое пятно и одновременно ударили из ружей. Лиса перекинулась через голову и пластом легла на снег. Какие там корни, какие осторожные шаги! Помчались оба во всю прыть.

— Она! — воскликнул Лаврентьев, взглянув на злобный оскал мертвого зверя. — Точно! Она. Так же на меня скалилась, дьяволица.— Он готов был поверить, что это и есть та самая зайчатница, которая дразнила его на обледенелой дороге.

Кто свалил лисицу, установить было невозможно, решили славу разделить поровну. Устроили привал. Сидели, отдыхали. Лаврентьев рассказал, как и с какой целью он выходил на первую охоту.

— Ну и что рука? — поинтересовался Карабанов.

— Сами видите, в порядке.

— Подтянитесь! — предложил Карабанов, указав на низкий сук сосны.

Лаврентьев снял с себя сумку, пояс, прислонил к дереву ружье, подпрыгнул, крепко ухватил сук и стал подтягиваться на руках — один раз, два... пять... десять. Попробовал только на правой руке — вышло; на левой — сорвался.

— Еще слабинка есть. Но никакой боли.

— Настойчивый вы человек... Однако, дело дрянь, вроде смеркается, а? — Карабанов взглянул на небо.

В лесу быстро темнело. Закладывая весь небосвод, ползли тяжелые, грязного цвета, беспорядочные тучи.

— Сколько же времени? Восемь!.. Двенадцать часов проблуждали. Вот так полдень!.. Нас ищут, поди, — куда люди подевались. Скандальчик, товарищ Лаврентьев. Дадим-ка шагу,— обеспокоился Карабанов.

Дали шагу. Из туч повалил густой, вихрящийся снег, сбивал с пути, слепил глаза, заметал полные воды лесные ямы. И темнело, темнело с устрашающей быстротой.

Вскоре охотники оказались в кромешном мраке, мокром, мятущемся и холодном.

— Сколько, думаете, до Воскресенского? — спросил Карабанов.

— Километров девять-десять.

— Плохо. Не дойти. Пути не знаем, и ноги отказывают. Что решим? Костер, что ли, развести?..

— Верней всего, Никита Андреевич.

— Втравил я вас в прогулочку.

— Невредно вспомнить фронт. Обстановка схожая.

Забрались под елку, до земли свесившую черные густые лапы. Развели костер из сушняка. Он шипел, потрескивал, но горел; дым шел кверху, вился вокруг ствола. Под елкой стало тепло, будто в шалаше. Наломали ветвей, сели на них, смотрели, как степой валит и валит вокруг снег, розовый от огня.

— Есть хочется,— сказал Карабанов.— На грех, даже сухой корки не захватили. Охотники!..

— Давайте косача жарить,— предложил Лаврентьев.

— Без соли?

— А что, не приходилось разве? Я ел без соли фазана в Беловежской пуще. Так же вот снег, ночь, елки... Ничего. Пропечь только надо покрепче.

Ощипали птицу, выпотрошили перочинным ножом, надели на сук, по очереди вертели над костром. Капал скудный тетеревиный жир на угли, чадил, источал кухонный запах,— есть от этого хотелось еще больше.

Так-таки и съели косача без соли. Карабанов плевался, ворчал, но жадно рвал продымленное мясо зубами. Лаврентьев посмеивался:

— Хороший вы ходок, Никита Андреевич.

— Приличный.— Карабанов прожевал кусок.— Вообще здоровьем бог не обидел. Могу трое суток не спать — хоть бы что. С бюро, бывает, вернусь во втором, в третьем часу ночи,— с бабкой, матерью жены, в подкидного засяду. Бессонница у старухи, тоскует одна по ночам. А то и патефон заведем, танцуем с женой, с дочкой.

Лаврентьеву Карабанов нравился все больше и больше. С ним хотелось дружить, быть добрыми товарищами, но получалось так, что Лаврентьев смотрел на него не как на товарища, а как на старшего, как на отца. Разница ли в годах определяла это отношение или что иное, но получалось именно так. И даже неизвестно, в какой момент Карабанов перешел с ним на «ты». Лаврентьев же сделать этого не мог, да и не стремился.

— Жизнь люблю, товарищ Лаврентьев,— говорил Карабанов, мешая угли веточкой.— И разве можно ее не любить! Двадцать лет назад, как и мой отец, паровозы водил, потом в совпартшколе учился, на рабфаке, в институте, второй десяток — на партийной работе. Что это — выжало меня как лимон, в сухарь превратило? Чепуха! Партия не требует от коммуниста, чтобы он был каким-то диетическим сухариком. Она требует, чтобы коммунист был прежде всего человеком. Она, наша великая партия, худосочных не любит. И я тебе скажу: никогда не бойся проявлений жизни, горестей и радостей, только смотри, за одним приглядывай — чтобы не жить вне родины, вне партии, вне интересов нашего народа. Разными идем в коммунизм, да и там не будем одинаковыми. Партия строит новое общество из того материала, каким располагает. Она отлично видит и знает, какие мы с тобой. Она воспитывает, учит нас, терпеливо, как мать, говорит: одно отбросьте — оно тормозит, другое — живите с ним на здоровье. Потанцевать, попеть, с бабкой в подкидного сыграть — тормоз? Нет. Влюбиться в девушку, ночей не спать, ходить с красными глазами от бессонницы, простуживаться, напрасно ожидая ее на углу,— тормоз? Не верю. Любовь окрыляет человека. Если, конечно, это настоящая любовь, она чижика превращает в орла. Вот! Папиросы кончились, есть у тебя?

— Есть. Курите. Обрадовали вы меня, Никита Андреевич. Я все раздумывал было: так ли работаю, так ли живу.

— Настоящий человек всегда нужную дорогу отыщет. Чего тут сомневаться!

— Да ведь трудновато решить, кто настоящий, кто ненастоящий. Особенно о себе.

— Трудновато? — Карабанов задумался. — А и верно, не сразу докопаешься. Мне мыслится, настоящий человек — тот, который всякое дело, всякую, хоть крохотную его дольку выполняет так, будто решает государственную задачу, всю душу в него вкладывает, поднимает это маленькое дело до общенародного значения. Одно дело просто растить хлеб — его и в царские времена растили, и в Америке растят,— другое дело растить его, сознавая, какое значение он имеет для государства, для народа, для партии, для близких нам друзей в Чехословакии, в Польше, в Болгарии — во всем мире. А сознаешь это — и работать будешь иначе, не как простой хлебороб, а как государственный деятель. Откуда тогда и силы возьмутся, и энергия, и находчивость, и размах, масштабы. Вот тебе и будет настоящий человек. Он и на своем маленьком участке мыслит по-государственному.

Снег все валил, и не было ему конца. О чем не переговорили тем временем под старой елкой, кого не задели! Помянул Лаврентьев и Савельича,— вот, мол, какие люди есть! Что с ними делать?

— Да. — Карабанов поморщился. — Савельич — этакое внутреннее «Би-би-си». Водятся, водятся еще такие. Идут выборы в местные Советы, посмотрели итоговое сообщение: какие-то полпроцента, ноль три десятых голосовали против. Кто они? Один вот он — Савельич. И хвалится этим. Я его спросил однажды: «Ты что, старый хрыч, чем хвалишься? В чем твоя доблесть?» — «Доблести, говорит, никакой. Свободное изъявление воли, согласно конституции».— «Ладно, говорю, согласно конституции... Значит, не доверяешь блоку коммунистов с беспартийными?» — «Отчего не доверяю — доверяю. Сам блок. Только за Ваську Курдюкова не голосовал и голосовать не буду. Справку, гад, не дал. Какой он слуга народа!» — «О чем справку?» — «О том, что я инвалид Отечественной войны». — «Ты же не был на войне». — «Мало что. Раз слуга — сполняй мою волю». Трудно с такими.

— У меня трудный случай с одним вашим районным работником получился.

— Кто же он?

— Серошевский. Главный агроном. Как вы о нем думаете?

— Серошевский?..— Карабанов подумал с минуту.— Плохого за ним не замечал, исполнительный, аккуратный...

— А этого достаточно для советского человека — исполнительный, аккуратный? Вы, Никита Андреевич, себе начинаете противоречить. Признайте — паршивый он работник и дрянной человек, и все. И удивляюсь, как такие в депутаты попадают?

От личных качеств Серошевского разговор перешел к мелиорации. Лаврентьев вспомнил, как ездил зимой к нему, Карабанову, но не застал его в райкоме, и вот напрасно провел время с главным агрономом района.

— А вопросы у меня были серьезные. Думал, посоветуюсь с опытным специалистом. Нетерпимое ведь, Никита Андреевич, положение в Воскресенском. Много труда колхозников уходит впустую из-за ежегодных вымочек. Ведь из-за этого колхоз топчется на месте сколько лет.

— И главное — механизация ограничивается,— сказал Карабанов.— Во время весновспашки добрая треть воскресенских полей не поддается тракторной обработке. А разве мыслимо в наши дни сельское хозяйство без механизации! Это же наше будущее, это же один из важнейших рычагов к повышению продуктивности колхозного производства, следовательно, и к стиранию граней между городом и деревней. Мы, в районе, давно думаем над проблемой Воскресенского. Кое-что сделать, конечно, удалось. Сегодняшнее положение не сравнишь с тем, что было лет десять — пятнадцать назад. Открытые канавы, обильное известкование помогли поднять урожайность. Но этого мало, мало! Ты вот ратуешь, Петр Дементьевич, за гончарные трубы. Они, видимо, тоже пригодятся. Только прежде понадобятся, мне кажется, некие более коренные меры. Не одно Воскресенское страдает от вымочек и закисления почв — большая группа соседних с ним колхозов. Нужно решительное переустройство нашей природы,— как на юге, в засушливых местах. Что для этого делать — пока не знаю. Давай вместе думать. Пусть все воскресенцы думают.

Рассвет застал их спящими тесно друг возле друга, спина к спине. В ногах едва теплился костерок, пригревал подошвы.

Часам к девяти добрались до села. Там, как и предполагал Карабанов, был полный переполох, готовились розыски. Карабанов успокоил Антона Ивановича с Дарьей

Васильевной и сразу же уехал. Рвался в райком,— не был там неделю с лишним.

Лаврентьев пошел домой сушить сапоги, переодеваться, может быть, и вздремнуть: измотался за сутки — отвык от походных условий. Голова была переполнена мыслями,— расшевелил их, переворошил Карабанов.

Дома заметил непорядок. Он уже давно перетаскал к себе от Елизаветы Степановны библиотечку Кудрявцева. Книги — свои и кудрявцевские — аккуратными стопками лежали всегда на простеньком письменном столике, сделанном Карпом Гурьевичем. Сейчас привычные глазу стопки были порушены. Видимо, когда он бегал за ружьем, Карабанов искал тут себе занятие.

Принялся наводить порядок на столе, вновь перелистывал книги, тетради, записи. В одной из тетрадей увидел не замеченные прежде слова, выведенные округлым почерком незнакомого ему Кудрявцева. Кудрявцев писал: «Найти литературу — как решалась Полесская проблема. Это очень важно».

— Полесская проблема? — вполголоса спросил себя Лаврентьев.— Почему это важно? И что такое Полесская проблема?

# ЧАСТЬ ВТОРАЯ

## ГЛАВА ПЕРВАЯ

### 1

Утром на реке ударило будто из пушки.

— Началось! Пошла-поехала...— Оставив топор в полене, которое он колол у себя под навесом, Савельич перекрестился на зеленый заречный куполок.

Мимо ворот с шумом и гамом мчались ребятишки, спешили женщины, мужчины — все держали путь к реке. Весенняя артиллерия продолжала грохотать. Лопался лед.

Солнце и теплые ветры объединили свои усилия и третий день, превращая в стремительные потоки, гнали снег из лесов и с полей; со всех сторон мчались эти потоки к Лопати. Лед сначала исчез под мутными водами, потом вспучился на середине зеленой грядой и вот загрохотал,— синими молниями исчерчивали его длинные трещины.

Не было года, чтобы воскресенцы не сбегались на берег посмотреть на то, как их Лопать освобождается от зимней спячки, как изломанные льды приходят в движение — вначале медленное, еле заметное, затем бурное, шумное. Льдины дробятся, лезут одна на другую, встают дыбом, запрокидываются, выпирают на пологие берега и, точно плуги с острыми лемехами, режут ракитовые кусты.

На эту извечную работу природы можно смотреть часами. Расстегнув пальто, Лаврентьев сидел на перевернутом челне и раздумывал.

На днях запустили движок, на столбе возле скотного двора зажглась первая лампочка, первый в селе Воскресенском электрический фонарь. Знаменательное событие. Возле столба, когда стемнело, был торжественный митинг. Воскресенцы не любили длинных речей и очень строго относились к выбору докладчиков. Они боялись таких, которые любой разговор, даже о самом пустяковом деле, начинали от Адама и Евы. «Не тяни! Сами грамотные. Давай суть!» — кричали они любителю поболтать. Пуск движка, первый фонарь — не пустяковое, конечно, дело. Тем более нельзя топить значение этого дела в пустопорожней болтовне. Поручили сказать мудрое слово Анохину.

— Товарищи женщины! Товарищи мужчины! — громыхнул он могучим басом, взобравшись на отпряженную телегу. —Что имеем, глядите! Электричество! Вó как сияет!..— Все подняли лица к двухсотсвечовой лампочке, вокруг которой вились весенние мошки.— Что нам сказал, уходя от нас, Владимир Ильич? — продолжал Анохин.— Что коммунизм — это Советская власть плюс электрификация. Такой завет дал народу. Советская власть, товарищи женщины и мужчины, у нас давно, а плюса-то все не было и не было. Теперь он перед вами. Плюсишко, понятно, невелик, мелковат, скажем прямо. Но ведь это начало, граждане дорогие! Ведь подумать только: в Воскресенском, в лесной, болотной дыре, зажегся плюс коммунизма, а? О чем мы читали? На Урале сплошная электрификация, под Москвой — тоже, в центральных областях, на Украине, в Сибири... Читали и думали: там так и полагается, там передовики, миллионеры. А мы что? Мы медведи. Выходит, что и медведям свет положен в наше время, пришло оно, шевели мозгой. Главный вывод, граждане: если у нас электричество — значит, не только передовики — все крестьянство на крепких ногах стоит, и пойдет и пойдет оно, теперь его не остановишь!..

На митинге же, приравняв его в юридических правах к общему собранию, вынесли решение, которое состояло из трех пунктов. Первый пункт: выразить благодарность Карпу Гурьевичу, как инициатору и вообще заводиле электрификационных дел, и Павлу Дремову, возглавившему ремонт движка. Второй пункт: пока учится в техникуме Василий Белоглазов, назначить в колхозе главным по электричеству Павла Дремова. И третий: коли не за горами лето и длинные дни, то не распылять силы

и средства на освещение жилых домов, — электрифицировать пока лишь подачу воды на скотный двор, чтобы поскорее установить там автопоилки, и дать свет в школу, для клубных мероприятий; еще оборудовать три фонаря на улицах. Для чего эти фонари на летнее время, пояснять не стали. И так понятно, для чего: пусть, мол, проезжие видят — в Воскресенском по-культурному живут.

Антон Иванович стал записывать это решение в блокноте, положив блокнот на грядку телеги, с которой только что выступал Анохин, а на место Анохина уже лез Дремов.

— Я извиняюсь, товарищи,— сказал Павел.— Раз такое дело — монтерствуй, заведуй,— спасибо вам за это. Оправдаю. По специальности — оно не то что... По специальности... Да ладно, в общем, — докажу... — И спрыгнул наземь.

У Павла выходило так: все, что не связано с пахотой, возкой на подводах, с полевыми работами,— все — по специальности.

Представив себе круглое, курносое лицо Дремова в густых веснушках, из-за которых двадцатишестилетний человек казался безусым парнем, Лаврентьев подумал: вот один из миллионов молодых колхозников, которые всей душой, всем своим сознанием стремятся к новому, для которых в тягость становится ходьба за плугом и бороной, возка навоза на розвальнях, косьба ручной косой. И не потому, что работа физически тяжела, вовсе нет,— ремонтируя движок, Павел сутками не выходил из фургончика, работал куда напряженней, чем на возке навоза,— а потому что формы этой работы для молодежи устарели, слишком убогими выглядят они на фоне того прогресса, какой существует в промышленности. Молодежь готова в штыки идти за механизацию: за комбайны, электроплуги, электромолотьбу, за конвейеры в коровниках — за все новое. Таков закон культурного роста. Придет день, и недолго его ждать осталось, когда не только городской рабочий будет легко разбираться в сельскохозяйственных механизмах, но и сельский механизатор, попав на завод, быстро вникнет в станочную премудрость. Процесс стирания граней между городом и деревней развивается в нарастающих темпах — вот как этот ход льда на реке. Час назад льдины едва шевелились, сейчас уже двинулись, пошли по течению: завтра они будут мчаться на стремнине, обгоняя одна другую...

Назавтра льдины мчались не только по речной стремнине. Они лезли в улицы Воскресенского. Река вздулась, вышла из берегов, заливала огороды, погреба; в течение трех дней она достигла каменных лабазов, устремилась к амбулатории и больнице и только в пяти шагах от больничного крыльца выбилась из сил. Бескрайнее море зеркально сверкало перед селом до заречного леса, по пояс в этом море стояло и само Воскресенское. Ручей в овраге, такой ленивый летом и осенью, мертвый зимой, теперь вспух, ревел, клокотал, он слился с Лопатью воедино, был как бы рекой в океане. Его течение тараном врывалось в Лопать, несло с собой коряжистые ольхи, копны сена, мусор и грязь из болотистых далей. Каждый год половодье захлестывает село, и тогда надо перетаскивать из подпольев картошку на чердаки, угонять скот за околицу, в открытое поле, и подпирать стены домов бревнами, чтобы не снесло водой. Начинается шумная, беспокойная пора, страшная и в то же время немножко веселая, бесшабашная. По улицам ездят на лодках, на плотах, догоняют уплывшие курятники и ворота, которые, если не догонишь, ищи потом верстах в десяти, в пятнадцати вниз по течению выброшенными на илистый берег.

— Эй, тетка Настя! — кричит кто-нибудь с лодки, проплывая мимо колыхающейся под напором волн избы.— Жива?

— Жива.— Тетка Настя распахивает оконце, добравшись до него по табуреткам.— Толку что! Размокла. Изпод печки жабы лезут.

— Соли их в капусте. Заграничный деликатес!

На крышах сидят ребятишки, свистят, размахивают штанами, надетыми на палки, — гоняют голубей. Шальной наездник скачет по улице — конь по брюхо в воде, вздымает веера брызг.

— Вот, Дементьич, какая стихия! — Антон Иванович ловко орудовал кормовым веслом, направляя челн из улицы в улицу. — Ты мне толкуешь: строй новое правление, гостиницу, то да се. На кой их тут строить?! В девятьсот восьмом году — слыхал? — была такая штука — полсела смыло. Год на год не приходится. Настроишь, а оно возьмет и грянет...

— Кто-то ненормальный придумал тут село ставить,— удивлялся Лаврентьев.

— Ненормальный, нормальный — не суди. А где его ставить было? Справа помещик, слева помещик. Земля

ихняя. Куда сунули мужиков, там и строй. Таких сел в России — не одно наше. Я уж и в книгах про это читал, со стариками беседовал. Имею, Дементьич, думку... Большую думку. Проболтался о ней прошлым годом Серошевскому, разговорились как-то по душам. А он мне: «Манилов вы, товарищ Сурков. Форменный Манилов. Маниловщиной занимаетесь. Слыхали — у Гоголя?» Я после сходил к директорше Нине Владимировне, взял эту книжку, почитал. Какая же маниловщина? Манилов чего хотел? Мост чтобы выстроить, купцов на нем посадить с квасом и самоварами. Это верно — сивый бред. В общем, с тех пор молчу, никому ни слова. От тебя, Дементьич, таиться не буду, поедем — все покажу и расскажу.

Они причалили к крыльцу председателева дома, вошли в горницу, под полом которой лопотала вода.

— Вот весь полный-подробный план.— Антон Иванович развернул трубку александрийской бумаги, расстелил бумагу на столе.

Лаврентьев увидел старательно вычерченный и раскрашенный цветными карандашами план поселка. Он читал надписи: «правление», «детские ясли», «молокозавод», «лесопилка», «жилые дома», «пруд», «сады», «площадь». От центра поселка улицы расходились радиально, пятиконечной звездой. Выглядел этот чертеж довольно красиво и, видимо, потребовал много труда, кропотливого, непривычного для рук колхозного председателя. Лаврентьев понял теперь: Антон Иванович задумал перенести село на место бывшей помещичьей усадьбы, по-новому распланировать его, благоустроить. Нет, это не было маниловщиной. Но как и когда возможно будет осуществить такие крупные работы? И осуществимы ли они вообще?

— Думал над этим, много думал,— сказал Антон Иванович. — До копейки все подсчитал, до бревна, до кирпичика.

— Сколько же надо средств?

— Миллион!

— Миллион?!

— Да ты не пугайся, Петр Дементьевич.— Антон Иванович взял листок бумаги и карандаш. — Это как понимать — миллион? На стройку меньше уйдет. Рабочая-то сила в основном своя, лес как-нибудь в кредит возьмем, и все такое. Миллион — это колхозу получить за год, вот как. Чтобы и на трудодни раздать, и всякие текущие

нужды покрыть, машин еще приобрести, и так далее. Вот спрашиваю — можем мы миллиона добиться?

— В прошлом году что — шестьсот семьдесят тысяч получили?

— Так точно. А на этот запланировано семьсот девяносто пять.

— Превысить, значит, плановую цифру надо на двести пять тысяч. Как будто бы и не так много.

— А возьми превысь ее!..— Антон Иванович складывал на бумаге арифметический столбик. — Вот если бы Клавдия поднажала да выдала нам не двести, а триста или хотя бы двести пятьдесят тысяч... Эх, зря ее обидели! Мутить воду начнет и плана не выполнит, не то что... С характером баба. Ну, ладно, допустим — она двести пятьдесят. Пчеловоды бы тоже четверть миллиончика. Глядишь, животноводство, полеводы, огородники — и набежало бы, а, Петр Дементьевич? Будь ты мне другом-человеком. Давай вытянем Воскресенское из ямы! Крест на этом овраге поставим. Ведь ты пойми: бежит народ из деревни, мужиков все меньше да меньше остается, парней вовсе пять штук.

— Это совсем не потому, что село в болоте сидит,— ответил в раздумье Лаврентьев.— Уж больно на трудодни мало получается. Необеспеченная жизнь. Поля в болоте — это хуже всего.

— Ну, может, и так, конечно, я не спорю. А факт есть факт: городская жизнь каждого тянет,— настаивал на своем Антон Иванович.— Как посмотришь в газетах, в журналах, какие в городах жилища строятся, и в затылок пятерней полезешь. Кому охота в грязи, в болотине прозябать! Я тебе и название новое скажу. Не село, не деревня — поселок. Селу каюк. Поселок Ленинский. Как?

— Загадку ты мне задал, Антон Иванович. Подумать надо. С Дарьей Васильевной подумать, с народом. За такое дело тяп-ляп не возьмешься. Слишком большое дело.

— Дарья за него обеими руками ухватится,— с уверенностью сказал Антон Иванович.— А народ... Доказать ему надо. Такова задача. Чего не доказать! — Он взглянул в окно на разливанное море, на затопленные избы, бани, коровники, на всплывшие плетни и заборы.— Вот оно, доказательство. И Дарье скажем и народу, только прежде ты сам-один помозгуй, вот тебе чертеж этот, вот цифирки мои, посиди дома на досуге. Если согласишься

со мной — значит, прав я, значит, выйдет дело. А не согласишься, тогда... тогда... Тогда все равно от него не отступлюсь! — Антон Иванович стукнул кулаком по столу.

Он свернул свои бумаги в трубку, сунул их Лаврентьеву под мышку и отвез его на челне до суши.

— Помозгуй,—еще раз сказал на прощанье.

Лаврентьев месил вязкую грязь сапогами, оскользался, балансировал руками, чуть было не выпустил сверток под ноги. Проклинал и дорогу, и распутицу, и то место, в какое горькая крестьянская судьбина загнала воскресенцев. В самом деле, тысячи сел и деревень старой России возникали совсем не там, где бы их следовало строить. Помещичьи усадьбы раскидывались на живописных крутых берегах рек, на холмах — видные отовсюду, горделивые, благополучные. Мужик вынужден был селиться где повелят, где оставят клок земли под хату. И селился он в оврагах, в мочажинах, в гиблых местах, комариных, лягушечьих, нездоровых. Хорошая мысль пришла в голову Антону Ивановичу — исправить историческую несправедливость. Умный он, этот человек с мечтой. Правильно сказал о нем Карабанов. Вот, кстати, рассказать бы Карабанову о плане воскресенского председателя. Как секретарь райкома отнесется?

Позади Лаврентьева зацокали по грязи конские копыта. «Дементьич!» — услышал он и посторонился. Скакал Илья Носов.

— Хватит тебе пешочком топать. Весна начинается. Правление постановило транспортом снабдить агронома. — Носов спрыгнул с коня. — Люблю эту скотинку. Щекотливая, но веселая. Верхами-то умеешь?

— Артиллерийский офицер обязан уметь, хотя конная тяга и заменена в артиллерии моторной, — ответил удивленный, обрадованный и растроганный вниманием колхоза Лаврентьев.— Это Звездочка?

— Она. Холеная. Берегу ее.

Лошадка стригла ушами, смотрела на Лаврентьева недоверчиво. Была она красивой, редкой масти — игреневой. Золотистая, со светлой, белой в прожелти, гривой и таким же хвостом. Тонкие, стройные ноги в белых чулках, нервно выгнутая шея, маленькая точеная голова.

— Хороша! — оценил Лаврентьев.

— Ну! Скажешь! Никому бы не отдал, только тебе. За геройство. Седло, гляди, какое нашел — чистая кожа.

А стремена — медь, ребята кирпичом нажварили. Катайся, товарищ Лаврентьев, будь здоров.

— Как — катайся? До дому, допустим, доеду — куда ее деть?

— Подвяжи поводья, отпусти. Сама найдет дорогу на конюшню. Умная. А утром тебе ее из ребятишек кто пригонять будет. Вся недолга. У нас так.

«У кого — у нас?» — подумал Лаврентьев, вскакивая в седло и придерживая шарахнувшуюся Звездочку. Вспомнился рассказ Карпа Гурьевича о старшем конюхе. Недаром конюх имел такую внешность: был он цыганского рода.

Еще задолго до нынешнего века в Воскресенское пришел хромой цыган,— отбился из-за неладов каких-то от табора, стал проситься в работники к воскресенским кулакам. Никто не брал: конокрад ты, мол, и жулик; поди, и ногу тебе по лошадиному делу свернули. В конце концов взял его мельник, работником на ветрянку. Хорошо работал цыган, добросовестно, хозяин был им доволен, выделил под жилье хибару при мельнице. Цыган освоился, прижился, стал похаживать на село — мельница-то на отшибе стояла,— и глядь, женился, увел к себе сорокалетнюю вдовицу из трактирных служанок. Жили они, все хорошо шло, дети появились — мальчик и девочка. И вдруг беда. У трактирщика пропала кровная кобыла. Туда-сюда, нет кобылы, как и не бывало. Пошел слух, цыган-де за свое взялся, не выдержал. Ну, а если пошел слух, дело плохо. Народ гудит, трактирщик масла в огонь подливает: цыган да цыган, — гляди, мол, мужики, одров своих оберегай. Выставил в пасхальное разгулье три ведра водки, нашептал в уши, взбодрил горлодеров. Двинулись толпой к мельнице — проучить цыгана. А цыган заперся в хибаре, не отворяет, кулаком в окно грозит. Разошлись, понятно, хмельные мужики, развернулись и — как случилось, не поймешь — приперли ставни кольями, дверь тоже заклинили, и сама собой — так потом они следователю в один голос дудели — занялась хибара пламенем. В полчаса только пепел от нее остался, а среди пепла — горелые мертвяки: сам цыган, жена его бессчастная и дочурка трех лет. Мальчонку случай спас, на речке пескарей ловил в то время. Прибежал, головешки увидел, грудью бился о горячие родные камни. Глупый он был, несмышленый,— какой ум, когда человеку семь лет всего.

Трактирщик взял его в судомои. Почуял вину и решил облагодетельствовать сирого.

Парнишка рос да рос понемногу. Девки на него заглядываться стали, и как не заглядеться! Голова в смоляных кольцах, брови крылатые, в глазах черти скачут; складный, в плечах широк, а талия осиная. Пляшет — ветер вокруг, у девок подолы вьются. Женился, родители жены в дом его к себе взяли. Бросил трактир, в крестьянское хозяйство впрягся. Тесть с тещей довольны, жена довольна, и он доволен. Никто никогда не рассказывал ему о том, как сгибли его родители; так и жил он в полной уверенности, что случайный пожар их погубил. А тут подошло, забрали его на японскую войну, уехал на Дальний Восток вместе с односельчанином, воскресенским мужиком; тот и поведал товарищу, кочуя по маньчжурским полям и сопкам, о страшной кончине его родителей.

Года через два вернулся цыганов сын с двумя медалями, пожил недельку, на малолетнего своего сынишку полюбовался, темный ходил, что туча, наточил ножик да и явился пред лицо трактирщика, бывшего своего хозяина. Хозяин уже остарел, в благообразие вошел, выбелился сединой. Как увидел он работничка своего, так и затрясся, — понял все, в ноги пал. Не помогло. Хватил его солдат ножом по горлу от уха и до уха. Что ж, заковали в железо, погнали на каторгу. Пропал человек. Был он наполовину цыган, а сын его, Илья, колхозный этот конюх, еще меньше цыганской крови получил, только четверть, но по внешности да и по характеру вышел цыган цыганом. На войне был отчаянный. Реку Одер первым перемахнул, до рейхстага дошел, заслужил орден и пять медалей. Коней любил смертно. Как бы плохи ни были корма, как бы ни тяжелы полевые работы, кони у Ильи Носова никогда не сдавали в теле. И не только конями он занимался. Всякую работу любил. Покончит дела на конюшне, никто его не зовет, а тянется человек в поле. Пашет там при луне, в сенокос косит, в уборку возы с зерном, с картошкой возит, мешки у молотилки, как цирковой силач, ворочает. Крепкий, выносливый, седина никак его одолеть не может. По височкам жмется, а в кудри заползти— ни-ни.

Лаврентьев рысил на лошадке, оглядывался. Носов все стоял среди дорожной грязи, уверенно расставив крепкие ноги в сапогах, глядел ему вслед.

## 2

Утром Звездочку пригнал не мальчишка, как уговаривались с Носовым, а прискакала на ней младшая Звонкая. Лаврентьев умывался, когда Ася вошла к нему, стуча сапогами.

— Петр Дементьевич, плохо! — Она села на стул и некрасиво, по-бабьи, положила руки на колени. Видел: не следит за собой, расстроена, взволнована.

— Ни от кого в Воскресенском не слыхивал «хорошо»,— ответил Лаврентьев, застегивая ворот рубашки.— Всегда только «плохо». В чем дело?

— Озимые преют. Залило. Вот вам!..— Ася выхватила из кармана пучок бледно-зеленых всходов, бросила их на скатерть.— Корни гниют. С ума сойти, какая мокрая весна!

— Действительно — плохо. — Лаврентьев вертел в руках, рассматривал хворые стебельки. — Это с пшеничного участка?

— Везде так. Спозаранку все поля обошли с Анохиным и с девчатами, в грязи по колено. И на пшенице и на ржи. Одинаково. Хотели подкормку минералкой делать. Разве можно!

— Что же предпринять?

— За этим и пришла. Вы обещали подумать.

— Всю зиму, Асенька, думал. Историческое бедствие вашего села.

— Петр Дементьевич! Мы не имеем права так спокойно рассуждать. Зачем всю осень, как лошади, работали, зачем семена по зернышку отбирали, зачем в кружке учились? Чтобы сидеть у разбитого корыта?

— Успокойтесь, Ася.

— На том свете успокоюсь. Здесь спокоя не будет, не будет. Вижу.

— Успокойтесь, еще раз вам говорю. Пошли!

Звездочка терпеливо ждала у крыльца. Лаврентьев подсадил Асю в седло, сам устроился сзади; ехали медленно, чтобы не перетрудить лошадку. Лаврентьев был встревожен, только не хотел показывать Асе свою тревогу,— вот оно, подлинное столкновение с воскресенской действительностью, перед которой не устоял Кудрявцев...

В поле тревога его возросла. По переполненным канавам неслись мутные воды, тонкой пленкой плыли они

и через посевы. Не только гончарные — золотые трубы не спасли бы положения.

Асины подружки стояли непривычно молчаливым, притихшим, грустным табунком, совсем были не похожи на тех безудержных хохотуний из семенного амбара. Не птички, а мокрые курицы.

Лаврентьев спрыгнул в грязь. Долго бродили по полям, и все молчали. Лаврентьев пойдет вправо — и девчата вправо, он палево — и они за ним, остановится — они стоят; нагнется, сорвет листок молодой пшеницы — девчата делают то же. Ему становилось ясным одно: еще три-четыре дня такого купания в холодной весенней воде, и посевы пропали. Вместо тучной нивы на унылых проплешинах вымочек взрастут сорняки. Надо было хотя бы частично ограничить бедствие. Как — это Лаврентьев смекнул, несмотря на свой малый опыт.

— Девушки,— сказал он.— Согласитесь вы или нет, предлагаю следующее: нарыть как можно больше ям на участке.

— Что это даст? — В голосе Аси появилась нотка надежды.

— Не много. Но, во всяком случае, вода не по всему полю будет гулять, а соберется в этих ямах. Потом попробуем отводы сделать.

— Прямо на зеленях рыть? — спросила недоверчиво Люсенька Баскова.

— Ничего не поделаешь. Крайняя мера. Придется идти на жертву.

— Придется,— согласилась Ася. Она поняла замысел Лаврентьева. Большого успеха ямы не сулили, о большом урожае думать уже не приходилось,— спасти бы хоть половину его...— Не будем терять времени,— сказала она.— Пошли за лопатами!

Весь день рыли вязкую, разжиженную водой землю, углубляли ямы, проводили канавки; рыли и на второй день, и на третий. Не только комсомолки — все полеводы по распоряжению Анохина вышли с лопатами на участки озимых. Посевы, исковерканные безобразными ямами, становились похожими на поле боя.

— Жуткая картина,— говорил Анохин.— Как после артиллерийской подготовки. Сплошные воронки. Жнейку сюда пустить и не думай. Серпами жать придется.

— Было бы что жать, — грустным взором окидывал поля Антон Иванович.— Выходит, что? От суховеев легче

избавиться, чем от вымочек. Вот бы начисто ликвидировать наши чертовы болота...

Колхозники в эти дни были похожи на землекопов. С ног до головы испачканные глиной, землей, мокрые, они работали от света до темна. Неохотно работали. Хлебороб вынужден топтать, ополовинивать ниву — откуда тут возьмется охота! Савельич, внутреннее «Би-би-си», еще каркал: «Добро закапываем. Грех. Каждый год мокреть у нас, ничего, терпели, худо-бедно выкручивались. Лето наступало — на поправку дела шли. А теперь лето настанет — что получится? Вместо хлеба лягух лови в энтих яминах». С ним многие в душе соглашались, многие были недовольны выдумкой Лаврентьева: «Шалый агроном попался. Телушку угробил. Озимые теперь гробит».

Лаврентьев чувствовал, с какими настроениями люди ворочают землю, и, сам не будучи уверен в успехе, хмурился.

— Петенька, — утешала его Елизавета Степановна, — брось ты, брось жизнь себе травить. Деревенские — они, знаешь, такие. Новое что — попервоначалу в штыки возьмут, а потом, глядь-поглядь, старого им уже и не надо. Я как против тебя на дыбки взнялась, не забыл? А теперь и самой смешно — телят, что ребят, только в зыбке что не качала. Из рожка кормила, кутала, дыхнуть на них боялась, не застудить бы.

— Да нового-то в этих ямах ничего нет, Елизавета Степановна, — отвечал Лаврентьев. — Допотопное средство. То-то и плохо, что нового, получше, не придумать.

Между тем мера, предложенная Лаврентьевым, начинала давать результаты. Вода собиралась в ямы, не струилась безудержно по всходам; под щедрым солнцем почва сверху подсыхала и — сначала на бугорках — затягивалась коркой. Полеводам привалила новая забота — рыхлить эту корку. Они сменили лопаты на мотыги, день за днем копошились среди ям, мотыжили, подсевали минеральные удобрения, повеселели; до села, тоже освободившегося от воды,— Лопать постепенно уходила в берега,— доносились с полей девичьи песни.

Антон Иванович, однако, продолжал нервничать. Ямы — этого он не отрицал — сыграли положительную роль. Однако еще неизвестно, чего от них будет больше в дальнейшем— пользы или вреда. Возможно, ущерба от вымочек было бы меньше, чем от сокращения площади посевов за счет бесчисленных воронок. После того как он

рассказал Лаврентьеву о своем плане переноски села и Лаврентьев не возразил против этого плана, Антону Ивановичу особенно стал дорог каждый сантиметр посева, каждый будущий колосок, каждый литр молока, каждая рассадинка в Клавдииных парниках. Перед ним неотступно стояла, горела могучая единица с шестью, подобными колесам паровоза, внушительными нулями. Только через него, через этот манящий миллион, можно было прийти к осуществлению мечты, и его во что бы то ни стало предстояло завоевать.

Антон Иванович даже изменился — и в характере, и во внешности. Он сделался непривычно строг, требователен до придирчивости, всех стал подозревать в лодырничестве и нерадивости.

— Ты, Антоша, не так круто,— останавливала его Дарья Васильевна, державшаяся того взгляда, что сила убеждения больше, чем сила принуждения.— Не трепли народу нервы попусту. Народ у нас хороший, работящий.

— Работящий! Загляни в дома: день на дворе — на печах прохлаждаются.

— Семь утра — это тебе день!

— Крестьянский день с петухами встает, Дарья.

— Нехорошо на людей кричать, когда у самого в доме лежебоки, Антон. На Марьяну свою взгляни: вот кто на печи прохлаждается.

— На печи? Сгоню!

Второй раз ему припоминали Марьяну. Зимой было комсомолки задавали вопрос — будет ли она, председательша, в поле работать; теперь Дарья уколола. Марьяна давно его тревожила. Сидит у окна, платочки расшивает, по соседям бегает, судачит. Совестно из-за нее: председателева жена, а пример другим скверный. Но заговорить с ней об этом, подступиться — не решался. Как обидишь кроткую такую, ласковую, нежную. Любил жену Антон Иванович сильно, считал себя обязанным оберегать ее, слабое существо, от тягот жизни. Тут, после Дарьиных укоров, набрался духу. Да еще миллион стоял перед глазами неотрывно. Ворвался в дом — решил ни на час не откладывать объяснение: пока в запале — дело будет, упустишь время — опять размякнешь.

— Марьяшка,— сказал он грубовато, не глядя на нее.—Ты же по спискам в полеводческой бригаде. Когда на работу выйдешь? — И оробел, добавил в оправдание: — Народ спрашивает.

— Тошенька! — Марьяна в изумлении округлила красивые, томные глаза.— Ты... меня... в поле? А как же дом? Обед кто? Кто кормить-поить тебя будет? Как же это? Тошенька! На мне свет, что ли, сошелся? Да я в поле... Что мне там? Не умею я, не знаю этих дел.

— Учиться надо! — Антон Иванович все еще не смотрел ей в глаза.— Прошу, не подводи меня, не позорь.

Марьяна скривила губы, заплакала, закрыла лицо белым кружевным передничком с фамильным, собственной рукой вышитым вензельком: «М. С.» — Марьяна Суркова.

Дрогнуло сердце у Антона Ивановича, шагнул к ней, хотел обнять, прижать к груди, утешить. Не обнял, не утешил, выскочил за порог, размахнулся дверью садануть в косяки — удержал руку, прикрыл осторожно и вышел, не гремя сапогами, на крыльцо. Там скинул шапку и подставил ветру горячую голову.

Весь день как потерянный слонялся потом по колхозу. Пришел домой поздно, Марьяны нету. Лежит записка на столе: «Тошенька родной! Прости меня. Чую, будет тебе от меня беда — такая уродилась. Ухожу, не зови обратно. Не калечь ни себе, ни мне жизнь. И так сердцу больно. *Марьяна*».

Кинулся к двери, тоже уйти из пустого дома, и не ушел. Сел возле стола, уткнулся лбом в холодную клеенку, да так и заснул. Во сне всхлипывал — мальчишкой себя видел: мать за уши драла.

Проснулся, глазам не поверил. Сидит напротив, глядит на него она, Марьянка. Записка в мелкие клочья изорвана. Не сон ли?

— Некуда мне тут деваться,— сказала Марьяна.— Завтра соберусь, в город уеду, в учреждение поступлю. Писать, читать умею.

Говорила упавшим, сникшим голосом. Собралась было у сестры пожить, пока Антон не одумается. Сестра не приняла. Тяжелый разговор получился.

— Мне что, — заявила Клавдия, выслушав рассказ Марьяны о причине размолвки с мужем, — всю жизнь тебя нянчила, еще сто лет в няньках похожу. Сил хватит. Только, душечка моя, не желаю этого делать. Забирай свой узел и отправляйся домой. Не то возьму вот за косы и сама отведу. Почему я работаю, а ты красоту нагуливаешь? Кто тебе дал такое право?

— Кланюшка...

— Молчи! Люди землю зубами грызут, жизнь себе добывают. А она, бабища толстая, за мужнюю спину прячется. Не троньте ее, не помните куколку! Иди, Марьяна, и чтоб я ноги твоей здесь не видела. Чтоб завтра же ты вышла в поле. Слышишь?

— Кланюшка, совестно. Я записку оставила ему, попрощалась.

— Порви записку. Снова поздоровайся.

Марьяна записку порвала, но не поздоровалась, новый план высказала — поедет в город.

Антон Иванович ушел в недостроенную половину дома, сенник там постелил, укрылся с головой одеялом. Всю ночь дрог от холода — вытерпел. Три дня к Марьяне не заходил. Ожесточило его это «уеду». Ишь как легко и просто, подхватила тряпки — и уехала. Любовь, говорят, горами ворочает. А тут никаких гор никто не требует — обыкновенной работы, что каждый человек всю жизнь делает. Где же любовь? Супружество — и только.

Он ярил себя, взвинчивал; на сколько хватило бы ярости, кто ведает? Выручила сама Марьяна. Среди четвертой ночи пришла, опустилась рядом на сенник, окропила Антону Ивановичу лицо слезами.

— Пойду, пойду в поле. Куда пошлешь, туда и пойду, Тошенька, родненький, — шептала ему в самое ухо, щекоча теплыми губами. — Люби меня только, люби, не рви сердце, не отталкивай.

Наутро, после полного примирения, снова закинула крючок, — ох, уж эта натура женская!

— Если можно, полегче что придумай, Тошенька.— Шепчет, а сама обнимает, и руки такие мягкие.— Непривычная я, не надсадиться бы...

Осторожными намеками Антон Иванович и попросил об этом Анохина.

— Ладно,— пообещал бригадир.— Хрупкая бабенка. Поберегу.— И отправил Марьяну вместе с мужиками раскидывать навоз в поле. Анохин держался другой методы: сразу в самую крутую работу впрячь. После навоза всякое иное дело праздником покажется.

Пришла Марьяна домой изломанная, с волдырями от вил на ладонях, свалилась в постель, дышала тяжело, рассчитывала на жалость.

— Черт он горластый! — рассвирепел Антон Иванович.— Я из него форшмак завтра сделаю, селедочное блюдо. Просил человека, просил...

— Допросился, Тошенька,— стонала, охала Марьяна.

Легли голодные, истерзанные, она — физически, он — нравственно. Трудно давалась обоим эта семейная ломка.

Селедочного блюда Антон Иванович из Анохина не сделал, вообще даже ничего по поводу Марьяны не сказал. Анохин сам поставил ее на второй день картошку переворачивать на стеллажах в яровизационном помещении. Легче работы не придумаешь. Марьяна отдохнула там, повеселела. Тогда Анохин снова отправил ее на навоз. И так ловко он чередовал тяжелое с легким, что Марьяна незаметно для себя втянулась в колхозную жизнь, могла хоть мешки с овсом таскать, только никто ее не заставлял этого делать — мужчины на то были. Председательшей ее уже не называли, как в первые дни,— звали просто Марьяной, Марьянкой, Марьяночкой. Мужчины ей во всем старались подсобить, услужить. Не больно рослая, зато пухленькая, румяная и вся в ямочках — на щеках ямочки, на плечах, на локотках и даже на коленях. Заглядишься, хочешь не хочешь, а подсобишь такой в трудном деле.

В эти дни встретила она на улице сестру. Клавдия окликнула: «Ну как, не рассыпалась, принцесса на горошине?» Марьяне очень хотелось ответить сестре дерзостью — не хватило духу, слишком долго старшая властвовала над младшей. Лишь подняла горделиво голову, прошла мимо с достоинством, сделала попытку изобразить презрение на лице. Видимо, не удалось, потому что Клавдия усмехнулась и сказала вполголоса, сожалеючи:

— Дура ты, дура.

### 3

Ни Лаврентьев, ни Дарья Васильевна не ошиблись, заняв твердую позицию в отношении Клавдии Рыжовой. Напрасно Антон Иванович сомневался, хорошо или плохо будет работать она после нанесенной ей обиды. Не такой был характер у Клавдии, чтобы работать плохо. Если тринадцатилетней девчонкой, брошенная матерью, не согнулась под тяжестью бедствий, то это не бедствие — решение правленцев урезать кое в чем ее огородниц. Матери доказала — и правленцам с агрономом докажет.

Сама, не ожидая никаких напоминаний, пригласила Асю: «Забирайте, душечки, минералку. Вот вам и конь с телегой. Можете хоть все вывезти». Что там девчата в сарае творили — больше ли, меньше взяли, — смотреть не пошла. Созвала своих семеноводок, объяснила им, что троих из них правление переводит в полеводческую бригаду. «Пятерым, которые остаются, придется работать за восьмерых — это совершенно ясно, так в каждом городе, на каждом заводе работают: сейчас я вам газету почитаю...»

С ней остались три пожилые женщины — одна из них бабушка Устя — и две девчушки. Все пятеро, стоило Клавдии куда-нибудь уйти, дружно ворчали на новые порядки; появлялась Клавдия — замолкали. При ней ворчать боялись — рассердится, отчислит из звена, иди потом жалуйся и кайся, ее не переборешь. А не переборешь — значит, в большом убытке будешь: у кого еще такие заработки, как у семеноводок. Даже дядя Митя с Костей Кукушкиным зарабатывают меньше.

Однажды Клавдия запрягла лошадь, поехали колья заготовлять. Обычно там, где выращивают семена, кольев этих требуется много тысяч — для каждого растения кол. Ежегодно их рубят, отесывают, и ежегодно к следующей весне куда только они и деваются. Часть в поле побросают на межах, часть ребята растащат зимой для снежных своих построек, часть уйдет на дрова, на всякие поделки — и весной снова гони народ в лес. У Клавдии ни один кол не пропадал, складывались они осенью в инвентарный сарай и сдавались кладовщику по акту. «Бабья затея, — негодовал кладовщик, — дреколье хранить, что брульянты в госбанке. Может, их еще и в несгораемый запереть?» — «Если есть несгораемый — заприте». Клавдия не вступала в пререкания.

Колья хранились, и весной надо было заготовлять лишь столько, чтобы восполнить нормальную производственную убыль — подгнившие, поломанные, изъеденные жучком. Невелика заготовка, но и она непривычным к топору женщинам показалась трудной. Нарубили в залитом водой лесу ворох ольхи, осины, худосочных березок, елок. Рубили только девчата и сама Клавдия. Пожилые грузили на телегу, увязывали веревками, бабушка Устя и вовсе наземь не слезала — вожжи трогала, кнут с места на место перекладывала, возилась в телеге, что мышка, лишь бы время тянуть. Клавдия даже пожалела:

зачем потащила старуху в мокрый лес, пользы от нее никакой, а еще ревматизм схватит. Решила: больше не брать бабку в лес, пусть косточки греет на печи.

Обратно до села тащились долго. Телега утопала в грязи по ступицы. Бабка, сидя на увязанных кольях, причмокивала, цокала на лошадь, замахивалась кнутом. Семеноводки подпирали телегу плечами, тянули с боков за грядки, за оглобли, чертыхались страшными мужскими голосами. «Удружил, товарищ Лаврентьев! — зло думала Клавдия.— Попомню я это вам. Старуху бы хоть постыдились мучить».

Нежданно-негаданно, когда выбрались на более плотную дорогу и село уже было рядом, бабушка Устя заговорила:

— Что, бабыньки, скажу я вам... Доля наша, крестьянская, куды как легше городской. Была в городу о тую зиму, у внуков гостила,— вспоминать неохота. Васютка, чуть свет в окне, порфельчик под руку подхватит и айда из дому, не емши, не пимши... Цельный день гдей-то шебаршится, прибежит ввечеру — лица на ём, бедолажном, нету, хряснется на постелю, отойдет малость — за книжку. Я ему и про то и про это — уши долонями зажмет, головой мотает — пишкни, мол. И все вокруг него на цыпочках ходи. Грех какой! Это ему защёты сдавать профессорше. На инженера, вишь, ладит. А Лелька, женка евонная, тая и вовсе... Заседанья, собранья, закрутки энти...

— Кружки, может быть, баба Устя? — спросила одна из девчат.

— Хто их знае. Кружки... закрутки... Закруженная вконец. Нет, у нас не этак, у нас по-людски. Хоть бы тут, в лесу. Вода, конечно, и дело не бабье, а наработалси — сам себе голова. Воздух вкруг легкой, ись с устатку охота...

Как ни зла была Клавдия — усмехнулась; ни для кого не заметно, для себя только, но усмехнулась. Пожалела бабку, а у той в ее жалости и нужды нет. Клавдия вспомнила другую старуху — Антипьевну. Антипьевне было под восемьдесят, когда сын, военный ветеринар, еще в молодости ушедший из Воскресенского, забрал ее к себе в город. Тоже пожалел,— одинокая, мол, тяжело ей тут с хозяйством возиться. Антипьевна противилась было: да как на старости лет родные места бросать, да как жить с чужими, не с кем словом перемолвиться... Но одолело

любопытство — пожить в городе всласть, на всем готовеньком, ни о чем не заботясь, барыней. Продала избенку, корову, добришко свое, отправилась в дальний путь. Через полгода пришло известие — сгасла старушка как свеча.

Поглядывая на бабку Устю, Клавдия думала сейчас о том, как это могло случиться, отчего. Видимо, оттого, что выбилась Антипьевна из привычного ритма жизни. Тут она знала: ее ждет корова в хлеву, ждут овцы, в огороде бурьян морковку глушит. Везде, мол, ты, бабка, нужна, без тебя дело застопорится, и некогда особенно-то о недугах о своих старческих раздумывать, каждый день организм в привычной неторопливой работе, не берет его время, и в голове нет места пустопорожним раздумьям. А там, в городе... «Лежите, мамаша, торопиться вам некуда, отдыхайте». Отдыхать, думалось Клавдии, хорошо молодому. Молодой отдохнет, у него от этого сил прибавится. В восемьдесят лет отдых обманчив. Организм в такие годы подобен металлу, от времени утратившему защитную хромировку,— без дела тотчас ржавеет. Защита от дряхления в преклонные годы — привычный размеренный труд. И пожалуй, не столько сам труд, сколько сознание того, что труд этот нужен окружающим, что его ждут от тебя, что ты не выпал из трудовой семьи.

Не рассчитал, не учел этого сынок Антипьевны — хотел лучше сделать, получилось хуже.

— Баба Устя,— решила проверить свой вывод Клавдия.— В лес тебя больше не возьму. Сыро и тяжело. Сиди-ка дома.

— Спалела, девка! — рассердилась старуха.— Дома перед смертью насижусь, будет время. А до могилы мне еще далече. Мне в нее не к спеху. Экая ты, Кланька, прыткая: не возьму! А кто ты такая — не взять? Командирша! Да я у Агафьи, — помянула она Клавдиину предшественницу,— правая рука была. Да я... «Не возьму»! Начальница сыскалась!

— Будет, будет, перестань, баба Устя.— Клавдия смеялась одними глазами. — Пошутила ведь.

— А ты на работе не шути. Пойдешь с мужиками на гулянку — скалься во весь рот, дело твое молодое. На работе — себя соблюдай. Не девчонка я тебе.

Бабка Устя всех насмешила. В лес ее во второй раз так и не взяли. Потом, когда возле инвентарного сарая принялись отесывать, вострить свежие колья, бабка скла-

дывала их к стене в штабельки. Таскала по штуке, не утруждалась, потому что работа шла медленно. Топоры легко брали сырую древесину, но у семеноводок не было умения — не дрова ведь колоть. То затешут слишком остро — кончик сломается, то слишком тупо — не пойдет в землю, то криво; тяпали мимо, по чурбакам.

Вышел из сарая Карп Гурьевич, посмотрел, снял шапку, погладил лысину.

— Не умеете — не брались бы,— сказал.— Кто это выдумал— бабы колья тешут. Мужиков не хватает, что ли?

Клавдия хотела ответить, что выдумало такую дурость правление вместе с преподобным товарищем агрономом. Но это бы ее унизило — признаться в бессилии перед правлением.

— А что, хватает, скажешь? Где они, твои мужики? Все в поле с подводами заняты. Даже плотники. Никто не выдумал — сами выдумали.

Карп Гурьевич снова погладил лысину, взял у Клавдии топор.

— Ну-ка подсоблю. Во́ как надо!

Кол за колом, взблескивая на солнце правильными гранями затески, полетел из-под его рук на землю. Бабка Устя не поспевала подбирать, пришлось Клавдии прийти ей на помощь. Клавдия таскала охапками мокрые тяжелые колья и думала об агрономе, из-за которого ей столько неприятностей. Что же, что весь в орденах, что же, что о нем не скажешь — незнайка. Лезет куда не надо, ни с кем не считается. Улыбочкой хочет взять, белыми зубами да выправкой. Видали таких. У Кудрявцева улыбочка почище, чем у него, была.

Она сравнивала Лаврентьева с Кудрявцевым и с великой неохотой вынуждена была признать, что сравнения с Лаврентьевым Кудрявцев не выдерживал. Тот был еще мальчишка, только пыжился, старался казаться взрослым и бывалым. А Лаврентьев? Этому пыжиться не надо. Характерец такой: мягко стелет, жестко спать. Улыбочка улыбочкой — рука-то твердая. Задумал что — сделает, на своем настоит. Таким не покрутишь, не повертишь. Как бы сам тебя не завертел... Ну, ну, еще чего, завертел! Шалишь, — метались противоречивые Клавдиины мысли, — Рыжовой еще никто не вертел. Рыжова не такая.

Карп Гурьевич словно подслушал эти ее мысленные выкрики.

— А про тебя, Кланька, вчера разговор был,— сказал он с хитрецой в голосе, не показывая глаз.— Уши не горели?

— Какой же это еще разговор? Косточки мыли? — как можно равнодушней спросила Клавдия.

— Петр Дементьевич расспрашивал. Зашел вечером — радио слушали — и расспрашивал. В кого, говорит, она у вас такая уродилась, ненормальная.

— Скажите, ему, что сам он ненормальный. Скажите, что...

— Уймись. Пошутил.

— А вы, Карп Гурьевич, не вовремя не шутите. — Клавдия вспыхнула и покосилась на бабку Устю.— Надо знать меру шуткам.

— Да что ты взорвалась, не пойму? Обидел — прости. Но и ты не кидайся лишними словами. Был разговор — значит, был. Не так чтобы ненормальная, таких слов не говорил, а и не очень о тебе одобрительно высказывался, не очень тобой доволен.

— Я им вовсе недовольна — молчу.

— Вот противники, не на жизнь — на смерть. Скажи, пожалуйста!..

— Противники? Еще чего захотели? Мне на вашего агронома — тьфу!..

Карп Гурьевич струхнул. Он не совсем точно передал Клавдии свой разговор с Лаврентьевым. Лаврентьев высказывался в том смысле, что Клавдия слишком своевольна, требует тонкого подхода, но работник отличный. Хоть это и трудно и неприятно — с такими работниками не считаться нельзя. Иной раз грохнул бы кулаком по столу, приказал,— удержишь руку, за горло себя схватишь, будешь разговаривать спокойно, ровно. Руководителю без психологии не обойтись, а с Рыжовой и того пуще, надо быть полным профессором психологии. Так шел разговор. Карп Гурьевич, мягко говоря, чересчур его упростил и вот струхнул: выходит, что он натравливает друг на друга семеноводку и агронома.

— Не так понимаешь,— перегибая в другую сторону, стал он исправлять ошибку.— Не тобой — характером твоим недоволен. Не подступись, говорит, — что такое за женщина!

— А на что ему ко мне подступаться?

— Как на что, Клавдия! Жить-работать-то вместе или вразнобой?

— Жить — пусть со своей докторшей живет,— грубо ответила Клавдия.— А работать — без него не пропаду. Обходилась.

— Докторша? — Карп Гурьевич бросил топор. — Стыдно тебе, Кланька, эх, как стыдно! Помои на человека льешь. Савельич, что ли, натрепался?

— Отстаньте вы все от меня!

— Отстану, отстану. Ковыряйся тут сама как знаешь. Пойду вот к Дарье да скажу про коммунистку, которая на хвосте грязь разносит.

Карп Гурьевич ушел, обиженный и негодующий. Верно, с такой дурищей шуток не шути. Тут и профессор запросто сплоховать может. А он, Карп Гурьевич, не профессор — простой колхозный столяр. Не по людским правам мастер — по дереву.

Весь этот вечер Клавдия просидела дома, сумерничала возле окна. Она любила свой дом, свои чистые горенки, где ничего помимо ее желания никто не мог тронуть или переложить, передвинуть с места на место. Достаток позволил ей обставить комнаты по-городскому. От старой родительской избы здесь ничего почти не осталось. Года два назад Клавдия позвала мастеров сломать русскую печь, сложить две голландки и плиту. Покрасила полы, заново проструганные Карпом Гурьевичем, оклеила стены самыми дорогими, какие только нашлись в районном центре, обоями и вместо бумажного бордюра пустила поверху лакированный багет. Не хватало в доме только мебели. Старую — сундуки, сосновую кровать, топчаны, лавки, почерневший от времени поставец для посуды — она сожгла, а новой, по Клавдииному вкусу, не было в районе. Купила лишь никелированную кровать, громадный ковер бледно-зеленых тонов, который развесила во всю стену над кроватью, книжный шкафчик, мраморный умывальник и подвесную лампу с медными цепями и абажуром молочного цвета. Рабочий столик с шестью ящиками сделал ей все тот же воскресенский искусник — Карп Гурьевич. Его работы был и круглый стол посредине, под лампой, и фигурные подставки для цветов возле окон.

Были у Клавдии и книги,— и все, кроме специальных семеноводческих, в хороших переплетах. Бывая на курсах в областном городе, она их покупала в букинистических лавках. В последнюю поездку приобрела книгу, которая ее особенно поразила. В книге рассказывалось о любви одного великого русского писателя-демократа к своей же-

не. Клавдия читала и чувствовала, как в ней нарастает острая неприязнь к этой женщине. Можно ли было так относиться к человеку, который всю свою жизнь горел высокими, светлыми помыслами! Можно ли было отпустить его одного, больного, потрясенного горем, в дикие таежные места, в страшную ссылку, и на полные любви письма отвечать так глупо, бездумно или вовсе не отвечать! Нет, не похожа эта дама на русских женщин, о которых писал Некрасов и о которых Клавдия читала еще в школьные годы. Бесхарактерная она, эта женщина, пустая...

Вспоминая содержание книги, Клавдия сидела у окна и досадовала на то, что она-то сама с появлением в селе Лаврентьева стала терять характер, срываться с привычного тона, повышать голос, подхватывать бабьи сплетни. Зачем о докторше так сказала Карпу Гурьевичу? Ведь и в самом деле это брехня, которую, кажется, только Савельич и разносит. Был, говорят, разговор у кого-то с Лаврентьевым насчет Людмилы Кирилловны—открестился обеими руками. А он ведь не из пугливых, зря открещиваться не стал бы. Зачем же брякнула? Но и он зачем ее ненормальной называет. Тоже хорош.

Тяжело было на душе. Как жалко, думалось, что она, Клавдия, не умеет реветь по-бабьи. Прослезилась бы, повыла за печкой — и легче. Позавидовала Марьянке. Та чуть что — в слезы, а через полчаса целоваться лезет.

Трудно человеку в подобном состоянии быть одному, и даже такому, как Клавдия, трудно. Решила, что сходит к ней, к этой самой Марьянке. Надела пальто, шапочку свою барашковую — набок, волосы подправила перед зеркалом, вышла за ворота. В ночном небе высоко, невидимые, гагакали гуси, тянули с юга на северные гнездовья, несли на крыльях весну. Весна бормотала в ручьях, вместе с рыбами взблескивала в остепенившейся Лопати, размахивала ярким фонарем на столбе возле скотного, — была она повсюду, весна. Не было ее только у Клавдии.

Медленно шла Клавдия по улице, говорила себе, что идет к Марьяне, но знала: у Марьяны ей делать нечего; шла мимо правления, мимо кладбища; задержала шаг, постояла под окнами Людмилы Кирилловны. Людмила Кирилловна... Как-то она живет-поживает у них в Воскресенском? Никогда у Клавдии с ней не было никаких особых бесед. Но обе интересовались друг другом,

пассивно интересовались: что такое она, эта городская бабочка, или эта рыжая гордячка?

Клавдия постояла, подождала, не появится ли какая-нибудь — конечно, не какая-нибудь, а совершенно определенная — тень на занавеске, усмехнулась: до чего низко она пала, и пошла дальше. Она спохватилась, что зашла слишком далеко, только увидав каменные столбы ворот и черный тоннель липовой аллеи. «Ужас какой, куда меня занесло!» — подумала с неудовольствием и столкнулась с Ириной Аркадьевной. По многолетней привычке Ирина Аркадьевна прогуливалась перед сном. Клавдия хотела встать за дерево, даже не отдавая себе отчета — почему. Но ее уже заметили.

— Гуляете, Клавочка? — спросила Ирина Аркадьевна.

— Да, гуляю.

— А может быть, свидание?

— Удивляюсь, почему это вас интересует, Ирина Аркадьевна. Ну, а если свидание, то что?

— Да ничего, боже мой! Право же, Клавочка, я...

— Хорошо, хорошо.

Клавдия повернулась и быстро, едва ли не бегом, пошла назад в село.

Ирина Аркадьевна только усмехнулась и покачала головой: «Ну и ну, Петр Дементьевич. Что же это вы делаете?»

## 4

— Словом, желательно нам знать одно: сможем мы с вами или не сможем поднять его, этот миллион?

Так закончил Антон Иванович свою пространную речь на совещании партийного и производственного актива, который созвали они вместе с Дарьей Васильевной. Он ждал, тревожным взглядом окидывая лица сидящих перед ним. Люди молчали.

— Если агронома спросить, Петра Дементьевича,— Антон Иванович снова поднялся, — агроном говорит: народ захочет — сможем, не захочет — не сможем. Вы — народ, за вами слово.

Кто-то из скотниц задал вопрос об автопоилках: когда же их поставят; по плану они уже в июле должны начать действовать, а пока и конь вокруг этого дела не валялся.

Антон Иванович ответил. Затем директор школы Нина Владимировна, у которой цифры плохо держались в памяти, попросила напомнить, какой доход был предусмотрен планом. Антон Иванович тоже ответил, и опять молчание. Лаврентьев понял, в чем дело.

— Мне думается, — сказал он, — что и председатель, и партийное руководство, и я не совсем правильно повели совещание. Прежде всего товарищам надо было объяснить, зачем нам вдруг понадобился миллион. Это же не просто деньги, пачки сотенных бумажек в банковских обклейках. О настоящей цели расскажите, о своем плане, о поселке Ленинском, товарищ председатель.

— Упущеньице,— согласился Антон Иванович.— Ну тогда сейчас, я моментом до дому слетаю. Матерьяльчики нужны.

Он вышел. Все, кто тут был, заинтересованные, озадаченные,— чтó, мол, за перемены такие в жизни села,— обступили Лаврентьева и Дарью Васильевну. Лаврентьев отшучивался: не имею права разглашать тайну, не я автор. Дарья Васильевна повторяла: «Организованно, товарищи, надо, организованно».

Дело было дневное, заседали поэтому не в школе, а в правлении, обветшалом, вконец подмытом половодьем. Каждое слово слышно на улице, тем более — не слово, а гул многих голосов. Привлеченный шумом, вошел Савельич и уселся в уголке.

— Тебе что, дед? — насупился Павел Дремов.

— Что вам, то и мне,— отрезал Савельич.

— Здесь актив собрался.

— А я, по-твоему, что — негра американская? Мое дело цыц-пишкни, в отдельном транвае езди? Выберут тебя, конопатого, туды в президенты, вот куражься, бери Савельича к ногтю. Здесь мы с тобой, Паша, один другого не превзошли.

— Савельич, Савельич! — Дарья Васильевна легонько постучала по столу футлярчиком от очков.— Скажи лучше, как парóм? Наладили?

— Я, что ли, ладить должóн! Мое дело — водить его. Ладят плотники. Сидят на берегу, покуривают.

Чего бы еще наболтал Савельич, не вернись Антон Иванович. Председатель пришпилил кнопками к стене план будущего поселка, раскрыл тетрадку, но не заглядывал в нее, на память знал, сколько лесу, кирпича, железа,

гвоздей, стекла, глины, извести понадобится, чтобы с бумаги поселок этот перенести на новые места.

Словом, другой получился эффект, чем от первой его речи о миллионе. Тут и миллион не упоминался, а разговоры пошли, хоть неделю заседай непрерывно. Вопросы сыпались, что зерно из мешка, — потоком. Как быть с ветхими, старыми домами? Будет ли ссуда от банка? Знают ли райком и райисполком про это дело?

Не один Антон Иванович отвечал. Отвечали Дарья Васильевна, Лаврентьев. А вопросы все сыпались.

— Вечер вопросов и ответов получается,— заговорила, не вставая, Клавдия Рыжова.— О сути дела — никто.

— Дойдет, — пробасил Анохин. — Зачем спешка? Не телушку покупаем, жизнь ломать надумали.

— Не ломать, а строить,— не глядя ни на кого, поправила Анохина Клавдия. — Я поэтому коротко, о самой сути. Запишите, Антон Иванович: семеноводы — триста.

— Тысяч? Кланя!..— В руках Антона Ивановича задрожал карандаш. — Триста?

— Уже сказала.

— Ошибочки не будет?

Клавдия не сочла нужным повторять обещание, смотрела через окошко на улицу, на дорогу, по которой вышагивали важные грачи. Не признаваясь себе, а может быть, и не ведая этого, она все силы прилагала к тому, чтобы показать Лаврентьеву, какая она есть, Клавдия Рыжова. Для него, для Лаврентьева, сделана нынче новая, модная прическа; для него обвивает белую шею ожерелье из голубого прозрачного камня; для него же говорятся такие короткие и веские слова. Пусть видит: хороша Маша, да не ваша. Занятая безмолвной борьбой с Лаврентьевым, Клавдия не очень вникала в план Антона Ивановича, — переносить село так переносить. Удивительного в этом ничего нет, — куда ни взгляни, везде одно: и жизнь перестраивается, и села, и города.

Иначе мыслили другие.

— Вот Клавдия нас укорила: молчим о сути,— забасил Анохин.— Мы не молчим — думаем и удивляемся на Антона. Здóрово Антон придумал. Не знаю, два ли, три года понадобятся на такое переустройство, я и десять лет жизни готов в него вложить. Ни труда, ни времени не пожалею. Точно! Не вороти нос, Савельич, обрыдли нам твои ухмылочки. Хвачу вот за воротник...

— Анохин! — Дарья Васильевна взяла в руки целлулоидный футлярчик.— У нас не палата лордов. Повежливей.

— Я вежливо, будь он, старый черт, проклят, сбил с линии! Вежливо... Тьфу его, нечистый!

Анохин сел, забарабанил пальцами по колену. Зло сопел.

Савельич, которому все это непонятное заседание казалось поначалу веселой комедией,— ишь ты, цельное село скринать с места мужики задумали, смехота, да и только,— увидел дальше, что смехотой тут и не пахнет, вскочил после Карпа Гурьевича, затряс бородой.

— Удумали, благодетели! Наломать дров, да и бросить. Знаем вас! В Крутце старую мельницу сломали, тоже болтали: новая, новая! А где она, новая? Третий год сруб стоит — крышу не покроют... Езжайте хоть к царю Македонскому. Я никуда не сдвинусь!

— Не галди, Савельич, — как всегда спокойно, остановила его Дарья Васильевна. — Желание твое уважим. Живи себе, здравствуй с жабами.

— Он с ними в сродстве,— добавил Анохин.

— Сам гад болотный! — Затряслась дедова бороденка.— Ужом елозишь. Только бы от работы подале. Мужики пахать пошли, бабы-девки спину гнут — он заседает. Граф коломенский!

При этих словах не только Анохин — все почувствовали себя неловко. Больно и метко уколол Савельич. Разобраться — неудачное время выбрали для заседания. Второй день пахота идет, овес сеют, подкармливают озимые. В поле сейчас всем надо быть. Но беда — не терпелось обнародовать план, обсудить возможности его осуществления. Дарья Васильевна, председательствующая, повела совещание ускоренным темпом.

— Дядя Митя, что ты скажешь? Антон Иванович требует с тебя четверть миллиона.

— Надо стараться.— Дядя Митя мягко улыбнулся.— Я что? Как пчела...

— Ты над ней начальник.

— Не начальник — работник я у пчелы, Антон Иванович.

— Не можешь, значит? Отказываешься?

— Не отказываюсь. Стараться, говорю, надо. Клевера опять... разнотравье... липов цвет...

Все высказались, дали обещания, разошлись, поспешили в поля, на скотные дворы, на парники. Миллион получался — на бумаге получался. Что будет в жизни — кто знает!

В тот же день, в тот же час всем колхозникам стало известно о плане Антона Ивановича. Кто ахал, кто качал головой, кто говорил: «Да виданное ли дело!» Веры в реальность плана не было,— была привычка к насиженным гнездам, к черным от времени деревенским избам, к печам, у которых каждая трещина и кособочина мила глазу, к старым, чахоточным ветлам на огородах — ко всему, из чего вкупе складывается понятие: родные места. Немногие воодушевились предстоящими переменами. Но они, эти немногие, все же были, и среди них, конечно, Асины девчата. Узнав от Анохина, по поводу чего не в обычное — в дневное время совещался колхозный актив, девчата сбились в кучку, побросали тяпки, затараторили. Будут ли строительные бригады? Если будут — они организуют свою, комсомольскую... Когда начнется переселение? Когда его закончат?

— Наше с вами дело, девки, простое,— терпеливо объяснял Анохин.— Все будет, только сначала нужно поднять колхозный доход, а нам с вами лично — вырастить показательный урожай. Как не понять, ей-богу!

На пасеке тоже получилось стихийное собрание. Немногочисленное — дядя Митя да Костя Кукушкин,— но бурное.

— Четверть миллиона? — переспросил Костя, потрясенный величием цифры.— Здóрово! И что ты, дядя Митя, сказал?

— Что? Трудненько, не от нас зависит. Как пчела.

— Ну, дядя Митя, «как пчела»! — Костя недовольно сдвинул брови.— Надо было сказать: оправдаем, нажмем. Как она, будем работать.

— Кто это — она?

— Маруська.

— Опять ты мне про ту кубанскую девчонку! Гляди, Костя, не тычь ею в нос. Осерчаю.

— Не пугай, дядя Митя. Я этого не люблю. Я Кольке Кондратьеву — еще в пятом классе был — шишек за насмешки наставил.

— Возьму за ухо... такие мне будешь намеки. Мне, Костенька, один нашелся, наставил шишек. Не обрадовался.

— Да я не про тебя...

— Ладно, не крути. Молод.

— А ты старый. Поворотливости нет. «Как пчела»! Ты бы сказал: семеноводок перешибем, Клавдия у нас повертится...

— Пошел-ка ты отсюдова вон! — обозлился дядя Митя.— Без тебя работал не хуже. Слышь?

— Ты не помещик — гнать. Не твоя пасека — колхозная. Я, конечно, сейчас уйду. Но уйду не вон, а к председателю.— Он бегом помчался из сада.

— Костя! — крикнул встревоженный дядя Митя.— Костя!

Костя не остановился.

День этот одних поссорил, других помирил — сошлись на общем несогласии с планом председателя, третьих заставил призадуматься.

Занятая на совещании тем, чтобы получше показать себя перед Лаврентьевым, Клавдия не слишком осмыслила сущность предложения Антона Ивановича. Возвратясь к своему звену в поле, где женщины высаживали тяжелые кочерыги капусты, усеянные фиолетовыми почками, она вновь перебирала в уме каждое слово председателя, Дарьи Васильевны, агронома, Карпа Гурьевича. Говорили они все верно. Конечно, нельзя больше терпеть, чтобы село ежегодно тонуло в Лопати, конечно, надо его перенести на более сухое место, и, конечно, прежде чем переустраивать жизнь, необходимо добиться доходов, может быть, не в один и даже не в два, а в пять миллионов. Почему же они, странные какие, так мало уделяют внимания семеноводству овощей? Сеют всякую ерунду, от которой никакого дохода, одни убытки. Дай волю ей, Клавдии, она бы показала доход! Не только село бы можно было перенести на новое место — ванны в каждом доме оборудовать, электрические приборы установить, чтобы не возиться с печками и плитами, мотоциклов, автомобилей накупить.

Клавдия размечталась. И чем больше мечтала, тем грустней становилось у нее на душе. И автомобиль будто бы уже у нее есть, и библиотека, и кресла, а среди всего этого она — одна. Никого рядом, не с кем делить радость новой жизни. Раньше Клавдию одиночество не очень угнетало; во всем особенная — значит, и в образе жизни особенная: ровни нет. Теперь не только ровня, а некто превосходящий ее появился в Воскресенском.

Тряхнула головой,— выдерживала характер.

— Девчата,— сказала (всех в поле — и старых и молодых — называют почему-то девчатами, и никто от этого не в обиде).— Девчата, сколько тысяч получили за прошлый год, помните? Ну вот, нынче надо выручить в два раза больше.

Она повела рассказ о том, о чем только что мечтала.

— Ах ты, сказочница какая! — ахала бабка Устя.— Ах, забавница! За эти сказки твои пятьсот тысяч не жалко, были бы они у меня.

— Не сказки, бабушка,— мечта.

— Одна разница. У меня в девчонках мечтанье было за прынца выйтить. За нашенского мужика вышла, за плохонького. Это быль, Кланюшка. А то — сказочка.

— Принц, конечно, небылица. Село перенести вон туда...— Все обернулись, посмотрели по направлению Клавдииной руки, в сторону садов, над которыми деревянными ребрами обструганных стропил дыбился старый дом барона Шредера.— Это наша боевая задача, девушки. А вы знаете, что такое боевая задача?

— Как не знать, — резвилась бабка, не принимая всерьез Клавдииных слов. — У меня в войну-то в избе пекарь воинский стоял. Чуть свет подымался, рукам-ногам подрыгат — зарядка, говорит, и отправляется — боевую, мол, задачу сполнять, мамаша. К противням, значит, да тесто месить.

Бабка, как все бабки, ехидничала, но остальные женщины слушали Клавдию, округлив глаза. Их потянуло с поля домой: Клавдия — Клавдией, а вот там в селе, что толкуют про это новшество? Еле дождались конца дня, понеслись по тропкам через канавы и плетни.

Воскресенское волновалось. Во всех избах свет горел за полночь, скрипели калитки, стучали сапоги о ступени крылец, люди ходили и ходили — один к другому, другой к третьему. Сидели за столами, пили чай — на полный ход работали самовары, мужчины дымили табаком. Антон Иванович даже испугался, а вовремя ли обнародовали, не сорвется ли из-за этих волнений весенний сев?

В доме у Звонких тоже случился маленький переполох. Елизавета Степановна принялась трясти вещи в сундуках и комодах, хлам ворошить в кладовке, сетовать на нехватку веревок.

Ася наконец обратила внимание на ее возню:

— Да зачем это тебе, мама?

— А как же, переезжать вдруг, спохватишься — того нет, другое лишнее. Допрежь подготовиться надо.

— Допрежь — это, может, через три года будет.

— Ну, не скажи. Петенька взялся — скоро, значит.

— Завтра девчатам расскажу, животики надорвут.

— Поберегли бы животики свои для чего дельного.

— Грубости?

— Материнский совет.

А свет в окнах горел, а калитки скрипели, и шаркали, стучали по улицам и дворам шаги...

## 5

Прошла неделя, другая, воскресенцы стали успокаиваться: Антонов проект — дело дальнее, рановато взволновались, ни к чему. Но изменения в производственный план, в его статьи доходов с согласия общего собрания были все же внесены, и эти изменения заставили многих работать более энергично, ускорили темп колхозной жизни, как говорил Антон Иванович, на двадцать пять градусов.

Павел Дремов с Карпом Гурьевичем занялись установкой насоса у колодца, проводкой труб и монтажом автопоилок. В помощь им Антон Иванович пригласил совхозного монтера Святкина, и Святкин каждый вечер приезжал в Воскресенское на велосипеде. Дело он знал, монтаж водопровода подвигался довольно быстро, и Дарья Васильевна уже подсчитывала, какую прибавку молока получит она на ферме от нововведения.

На ферме все шло вполне благополучно: не погиб ни один теленок, их уже было сорок девять; ягнились овцы, поросились свиньи,— скота прибывало, прибавлялось забот, но вместе с тем росла и уверенность в получении высокого дохода.

Поглощенный электрификацией и водопроводом, Карп Гурьевич не оставлял и своего коренного занятия — столярного. Он строгал, сколачивал, окрашивал в голубую краску табуреты, стулья, кухонные столики, шкафчики. Их отвозили в город и продавали там на базаре за наличные. Воскресенская мебель была дешевле и лучше той, которую изготовлял райпромкомбинат, раскупалась она быстро. Антон Иванович сидел, радовался над счетоводными книгами: еще денежки. Но эти денежки,

к сожалению, еще не откладывались в фонд миллиона, а шли на различные текущие нужды — на горючее для автомашины, на химикалии, на огородный инвентарь, па сбрую. Миллион был все так же далек. Через шкафчики и табуретки к нему не придешь, — его могла дать только земля.

Антон Иванович не жалел средств на удобрения, если их требовали Клавдия или Анохин: земле дашь, от земли получишь; приобретал новейших систем ручные и конные полольники: без затрат нет и доходов... Председатель волновался, переживал, — время, ему казалось, шло слишком медленно. Время, однако, шло своим чередом. Зеленели луга, лес, тростники на Лопати, зацвели яблони. Ни с чем не сравнимый тонкий запах клубился над садами.

Лаврентьев шагал меж плодовых деревьев на пасеку, вдыхая этот запах, запах здоровья и силы. На пасеке он не был давно и сразу заметил происшедшие на ней перемены. Пасека разделилась. Часть ульев стояла на прежнем месте, близ омшаника, другая часть отодвинулась дальше, в глубину сада. И между ними кто-то додумался натянуть па кольях ржавую колючую проволоку.

— Дядя Митя! — крикнул Лаврентьев, не страшась навлечь на себя пчелиный гнев. Пчелы еще не окрепли после зимнего покоя, и все их внимание было направлено на яблоневые цветы — почти в каждом цветке среди желтых тычинок копошилась мохнатая работница.— Дядя Митя!

Дядя Митя возник из-за красного домика, приподнял соломенную панамку.

— Петру Дементьевичу!..

— Кто сад обезобразил? Зачем проволока?

— Костенька смудрил. В отдел от меня пошел. Ты, говорит,— это мне-то, Петр Дементьевич! — старая, мол, кутья и рутинщик. Забрал половину семей, забор устроил. Работай, говорит, в общем, по-своему, а я буду по-Маруськиному.

— Что за Маруська?

— Девчонка, Петр Дементьевич. С Кубани. Начитался про нее.

— Где он, этот новатор? Костя!

— Я здесь! — будто в классе, из-за спины Лаврентьева откликнулся Костя.

— Ну-ка, в чем ты и Маруська расходитесь с дядей Митей?

Костя быстро принялся сыпать словами; поминались какие-то затемнения на ночь, борьба с трутнями, препятствование роению слабых семей, искусственное продление рабочего дня в июле, когда цветет липа.

Лаврентьев выслушал его внимательно и не без интереса.

— Я понимаю так, — сказал он, — ты хочешь соревноваться с дядей Митей. Это хорошо. Ну, а проволока?..

— Антон Иванович потворствие оказал, — вставил дядя Митя.

— Какое же?

— Отделись, говорит, и действуй самостоятельно.

— Отделись — это насчет ульев, а не проволоки. Убери-ка, братец Костенька, ее к бесу, и соревнуйтесь вы, как все люди соревнуются, без колючих заграждений и баррикадных боев. Вот тебе мое приказание. Исполнить немедленно!

Костя, ворча, пошел валить колья и сматывать проволоку. Он достаточно искололся и исцарапался, устанавливая ее; теперь предстояли новые рубцы и раны, и главное — территория его пасеки останется открытой для всяческих вылазок дяди Мити. Что вылазки будут, в этом он не сомневался. Представление о соревновании в самом деле у него было несколько своеобразное. По-Костиному, оно должно было развиться примерно так: подставь ножку другому раньше, чем тебе подставят.

— Слыхали? — сказал дядя Митя, когда Костя отошел. — Катенька к нам приезжает. Не то в июле, не то в августе. Сестра министру писала, выхлопотала, сюда назначат, в наш район. Наверно, в Крутцовский сельсовет, рядом. Там тоже амбулаторию строят.

— Очень хорошо,— искренне порадовался Лаврентьев.— Славная она, ваша Катенька.

— Жаловаться нельзя.

Лаврентьев шел дальше. Он намерен был обойти все посевы, чтобы составить себе полную картину состояния полевых работ. Поэтому и Звездочку он услал с мальчиком назад на конюшню. Пешком лучше, спешки нет. Он дошел до перевоза. Здесь уже действовал паро́м, на котором овощеводам переправляли за реку удобрения, семена, инвентарь, коней и подводы. На пароме, прислонясь

к перилам и свесив над водой ноги в валенках, сидел Савельич, бессменный — из года в год — паромщик. Он плевал в воду, распугивая серебряных уклеек. Лучшей работы Савельичу и не надо было. Перевозить ему приходилось только утром да вечером, редко кому понадобится за реку днем,— сиди да поплевывай, истребляй табак и спички. Но Савельич умудрялся ничего не делать даже и в утренние и в вечерние часы. Зайдут на паро́м огородницы, он их заставит канат тащить, сам вдоль бортов колбасится, важность напускает: место-де строгое, гляди да гляди, не то сорвет или на мель сядешь. Женщины простодушны, верят Савельичевым хитростям. С мужиками хуже. За канат взяться их не заставишь. «Действуй, действуй! — кричат.— За что полтора трудодня получаешь?» Хорошо еще, что на огородные поля мужики редко ездят.

— Здравия желаю, господин капитан! — Савельич приподнял свою шапчонку.— На тую сторону, что ли?

— Да, на тую. Здравия желаю, господин «Би-би-си».

— Что за штука такая?

— Она про нас всякие небылицы по радио брешет. Заграничная штука.

— Значит, я, того-этого, по-твоему, брехун?

— Значит, Савельич, значит. Изрядный брехун. Я думаю как-нибудь доклад сделать колхозникам про таких брехунов. Пусть послушают, и ты приходи.

— Срамить будешь?

— Срамить.

— Стерпим. Срам не дым, глаза не выест. Ну, заходи, поедем.

Паро́м тронулся. Савельич орудовал канатом, плескала вода за бортом, над ней с писком проносились ласточки. Лаврентьев разглядывал паромщика, его красные галоши, ветхий жилет под долгополой курткой, меховую шапку, которую Савельич продолжал носить, несмотря на теплую погоду. На середине реки дед остановился передохнуть и, пока паро́м шел по инерции, вытащил из кармана кисет, обрывок газеты,— корявые пальцы его скручивали толстенную цигарку. Лаврентьев смотрел на эти пальцы, и ему казалось, что на газетном лоскутке, зажатом между ними, он видит какое-то очень знакомое слово.

— Обожди, Савельич, дай сюда! — сказал он и, к удивлению деда, быстро выхватил у него из рук его завертку. Так и есть «лесская пробле...». О ней, о Полес-

ской проблеме, речь. Савельич досадовал на то, что просыпана такая добрая щепоть махорки, а Лаврентьев продолжал вертеть в руках косой лоскуток и читал оставшиеся на нем половины строчек. «Эта огромная низменность... и заболоченных земель... В человеческой власти уничтожить... превращения в край высокоинтенсивного земледелия и животноводства... Таковы вопросы, которые ставят перед собой люди науки...»

— Еще осталось у тебя что-нибудь от этой газеты? — спросил он.— Где ты ее взял?

— Прошлогодняя. У счетовода вчерась из шкафа стащил. А осталось ли? Что́ тут осталось...— Савельич рылся в карманах.— Вот и все — на две завертки.

На этих «двух завертках» было уже не то, что хотел Лаврентьев. Что же это за проблема, о которой думал Кудрявцев и которая вторично тревожит его, Лаврентьева? Судя по отрывочным газетным фразам, дело касается огромных болот. Но почему о Полесской проблеме он никогда ничего не слыхал — ни в институте, ни в облземотделе? Надо будет куда-то написать, в Академию сельскохозяйственных наук, что ли? Лаврентьев чувствовал, что в Полесской проблеме есть нечто общее с «проблемой воскресенской». Там болота, и здесь болота, там с ними борются, и здесь без этого не обойтись.

Он переехал за реку, обошел огороды, потом снова пересек реку — отправился на зерновые поля. Девушки завалили безобразные ямы, и вместо ям на посевах лежали не менее безобразные, как следы оспы, бесчисленные черные пятна. «Жнейкой-то пройдешь, — подумал он, вспомнив весенние сомнения, — да было бы что жать».

Откладывать дело в долгий ящик не стал. Возвратясь поздно вечером домой, принялся писать письма в академию, в институт почвоведения, в ленинградское отделение организации с выразительным названием «Книга — почтой», адрес которого вычитал в журнале по селекции. Из лесной глуши полетят вопросы в Москву и в Ленинград. Как там на них отзовутся, как откликнутся? «Москва слезам не верит» — старая пословица о старой Москве. Но разве новая Москва не обеспокоится тем, что болото ежегодно сжирает труд нескольких сотен людей, глушит их мечты, отнимает надежды на будущее. Люди не сдаются, но и болото не сдается. Нет, Москва этому поверит, — поверит и поможет.

Покончив с письмами, Лаврентьев вышел в сад. Ночью запах цветущих яблонь стал еще сильней. Окна Прониных были открыты, из них, отбрасывая на древесные стволы тени фикусов, лился зеленоватый свет. Далеко-далеко лаяли собаки.

Мир и покой.

Внезапно ударили по клавишам фортепьяно. Шумный аккорд захватил полсада и угас на реке. Потом звуки пошли мелодичной чередой, и сильный низкий голос запел: «Вчера ожидала я друга...» Впервые слышал Лаврентьев пение Ирины Аркадьевны. Оно было тревожное, трогающее за душу. И слова вызывали грусть. «...Так долго сидела одна. А сердце сжималось в испуге...»

Лаврентьев простоял под чужими окнами полтора часа, и стоял бы дольше, но голос смолк и деревянно стукнула крышка фортепьяно. Тогда он вернулся к себе в комнату, обсыпанный душистыми лепестками.

На столе, в стакане с водой, цвели три веточки: яблоня, вишня и груша. Что такое? Кто тут был?

Загадка разъяснилась лишь назавтра, когда Ася спросила:

— Букетик наш понравился? Ходили с девчатами гулять, до вашего дома дошли, а вас нету, решили память оставить.

— Нисколько не понравился. Во-первых, разве можно ломать плодовые деревья?

— Ну уж! — Ася недовольно надула губы.— Я говорила: вы молодой, а вы, и верно, старый. Плоды! Цветочки! Все равно они пропадут. Из двенадцати цветков только одно яблоко получается.

— А во-вторых, вы, поди, и пение Ирины Аркадьевны слушали?

— Слушали, конечно. Ах, как поет, мы обмерли даже.

— Старый, значит, старый. Совершенно ясно! — засмеялся Лаврентьев.— Я такое пение не очень понимаю.

— Плохо,— сказала Ася.— Старикам хоть и всегда почет, но зато молодым везде у нас дорога. Не старейте, Петр Дементьевич. Очень прошу вас.

— Ладно, Асенька. Сегодня все яблони обломаю вам на букеты.

## ГЛАВА ВТОРАЯ

### 1

Каждая пора года имеет свой запах. Ранняя осень пахнет плодами, поздняя — прелой листвой. Зимой по улицам тянет печными дымками́. Весна вся в ароматах — начиная от апрельских испарений земли до цветения садов. В июле запахнет лугами, сеном. Сено, свежее, блекло-зеленое, душистое, — повсюду. Оно лежит в прокосах, в копнах, в стогах, его везут на подводах через прогоны, его мечут длинными вилами на сеновалы, уминают в сараях, забивая сараи до крыш. В сене возятся ребятишки, собаки; сено, зажмурив глаза, загадочно обнюхивают коты.

С началом сенокоса воскресенцы двинулись в луга, в заречье, дневали и ночевали в ольховых шалашах. Вместе с косарями жил и Лаврентьев. Звездочка, его золотистая лошадка, паслась свободно, без привязи и узды. Она отъелась, фыркала на осоку, как истая лакомка выбирала только самые мягкие и сладкие травы, только самое вкусное сено, еще не совсем просохшее, с медовым запахом. Она привыкла, привязалась к Лаврентьеву. Когда в жаркие дневные часы Лаврентьев спал в копне на разостланном одеяле, Звездочка непременно находила его и дремала рядом, склонив сонную морду. Лошадиный сон недолог. Звездочке быстро надоедала тишина, она принималась жевать ухо Лаврентьева похожими на теплый бархат губами. Разбудит и — прыжком — в сторону, взбрасывая копытами комья земли. Потом опять к нему, куснет за рукав, за плечо, и опять в сторону, развевая по ветру подстриженный хвост,— заманивает, зовет играть. Для Звездочки праздник, если удастся растормошить хозяина и он начнет ее ловить. Сумасшедший галоп вокруг, козлиные прыжки.

— Не конь, а собачонка. Прямо-таки собачонка,— выскажется кто-нибудь из косцов, разбуженный этой возней.

— Кого животные любят, тот хороший человек. Верная примета,— изречет другой. И снова оба спят.

Кроме Лаврентьева, Звездочка еще снисходила до игр с директором школы Ниной Владимировной и молодой учительницей Верой Новиковой. Потому что они тайком

угощали ее ломтями хлеба, густо посыпанными солью, и кусками сахару.

В этот год Нина Владимировна и Новикова не уехали на лето из Воскресенского, хотя Нине Владимировне в районном отделе народного образования предлагали путевку на юг, а Новикову в областном городе ожидали родители. Распустив ребятишек на каникулы, учительницы пришли к Дарье Васильевне, и Нина Владимировна сказала:

— Хотим помочь колхозу. Как вы смотрите на две лишних пары рук?

— Очень хорошо смотрю, родные вы мои,— растрогалась Дарья Васильевна.— Да не знаю, законно ли будет? А ну-к не отдохнете, измаетесь за лето. Как учить тогда?

— Об этом, Дарья Васильевна, не беспокойтесь.

— Больше и беспокоиться не о чем. Рады вам. Помощь большая. Газеты в бригадах читать, беседы проводить...

— Само собой. Но мы еще и просто работать хотим, вот этими руками.

— Ох, не знаю! Ох, не знаю! Правильно ли, законно? С Антоном Ивановичем посоветоваться надо, с правлением.

Правление высказалось положительно. Точнее — высказался Анохин, и с ним согласились.

— Всякий труд законен,— заявил решительный бригадир. — Особенно ежели труд от всей души. Считаю, обида будет нашим учительницам — оттолкни мы их. Вот это да, вот это беззаконно — оттолкнуть.

Учительницы пропалывали ржаные и пшеничные поля, ворошили, подгребали сено, читали газеты вслух; Новикова любила побарахтаться с девчатами в сене, попеть с ними тонким голоском; Нина Владимировна досуг употребляла на беседы, умела хорошо и интересно рассказывать о вселенной, о явлениях природы, о разных странах и народах. Вокруг нее всегда собирается тесный кружок.

На сенокос, за компанию с учительницами, пришла Ирина Аркадьевна; и даже Людмила Кирилловна являлась иной раз. Тяжелая болезнь, перенесенная зимой, на ней внешне никак не отразилась. Людмила Кирилловна ловко орудовала граблями, ходила в коротком девчоночьем платьице; ровно и красиво загорели ее плечи, руки, ноги. Встретясь с ней однажды среди копен, Лаврентьев

смутился. После тех странных отношений, какие возникли между ними до ее болезни, он ожидал, что и ему и ей будет неловко. Но Людмила Кирилловна первая подала руку, заговорила просто и легко, как ни в чем не бывало, пошутила по поводу плетки, заткнутой за пояс Лаврентьева, и у него как будто тяжкий груз свалился с плеч. Значит, он был прав, избегая в свое время Людмилу Кирилловну,— вот и прошло никому из них не нужное ее увлечение. И он тоже заговорил легко и просто и тоже шутил, смеялся.

В полях и лугах шла дружная, наполненная трудом жизнь. Лаврентьев отдавался этой жизни целиком. Он был раздосадован, когда на сенокос прикатила на велосипеде секретарь сельсовета Надя Кожевникова.

— Вам телефонограмма, Петр Дементьевич. Из райисполкома. Завтра явиться на заседание.

— Какой вопрос? Что? Зачем? — Недоумевая, вертел он бумажку в руках.— Вы не спросили?

— Нет, Петр Дементьевич. Не догадалась. Записала, и все.

— Не вовремя как, а?

— Неудобнее времени не найти, точно,— подтвердила Дарья Васильевна, вместе с ним разглядывая текст телефонограммы. — Ни председателя, никого — одного агронома. На выдвижение бы не потянули, Петр Дементьевич, в райсельхозотдел или куда. Драться за тебя будем.

— Сам драться буду. Не выйдет.

Лаврентьев выехал рано утром, до жары. Звездочка — и понукать ее не надо — бежала мелкой торопливой рысью, тоже как будто чуяла, что до города надо добраться прежде, чем припечет солнце. В окрестных кустах звенели мелкие пичуги, тарахтели сороки, перелетая с осины на осину; вдали, никуда не спеша, меланхолично вела счет чьим-то годам кукушка. Лаврентьев гадал: зачем позвали? Неужели и правда на выдвижение? Не пойдет, откажется, потребует, чтобы сам Карабанов вмешался... А может быть, неполадки пошли. Хотя какие такие особенные неполадки? Недавно комиссия была из райсельхозотдела, проверяла итоги весеннего сева, все поля обошли, чуть не каждое растение подсчитали,— вроде бы довольны остались. Непонятный, словом, вызов, совсем непонятный.

Прискакал Лаврентьев слишком рано. Вызывали к двум часам дня, явился в половине одиннадцатого.

Привязал Звездочку во дворе районного Дома Советов, дал ей сена, зашел в исполком, к секретарю.

— По какому вопросу, спрашиваете? — Секретарь поднял голубые глаза от бумаг. Это был тот самый взлохмаченный человек, который дежурил в райкоме, когда Лаврентьев неудачно приехал к Карабанову зимой.— Приветствую вас, товарищ агроном. Не знаю, по какому. Вопрос готовил Серошевский. Тут записано только: «Дело агронома из Воскресенского».

Целое «дело»! Лаврентьев отправился к Серошевскому. Его не было на месте. «У председателя,— сказала девушка в приемной.— Сходите туда».

«Нет уж, ладно, ходить больше никуда не буду,— подумал Лаврентьев.— Дело так дело. От Серошевского добра не жди. Может быть, с запозданием за откровенный разговор решил свести счеты или за теленка проработать. Что ж, поговорим еще раз». Он вышел на улицу, заглянул в магазин культтоваров, порылся в книгах, вспомнил, что «Книга-почтой» ему ничего не ответила, да и на другие два письма ответа нет. Хотел посидеть на бульваре, но на двухэтажном кирпичном здании увидел вывеску: «Районный краеведческий музей».

Он поднялся по лестнице из серого плитняка, купил за полтинник билет у задумчивого старикана, который долго отсчитывал сдачу, и пошел по комнатам, тесно уставленным экспонатами. В первой комнате он прежде всего увидел два чучела: бенгальский тигр и бурый медведь. Тигр крался за лебедем, засунутым за печку, медведь облокотился на здоровенную суковатую дубину. Оба хищника были изрядно попорчены молью, сквозь их шкуры кое-где проглядывала пакля, а у тигра к тому же не хватало половины зубов и одного глаза.

— Тигры тоже в районе водятся? — спросил, улыбаясь, Лаврентьев у старичка, который тихо следовал за редким в такой час посетителем.

— Медведи водятся,— ответил старичок.— Много медведей. А тигр — это из шредеровского поместья. Конфискован после революции. Музей-то у нас старый,— добавил он с гордостью.— С девятнадцатого года существует.

Кто бывал в районных краеведческих музеях, легко может себе представить, что увидел Лаврентьев в остальных комнатах. Кирпичи, черепица, вышивки на холсте, кружева, деревянные ложки, игрушки из глины и ли-

пы — предметы местного производства. Макеты лесопильных заводов, плотов, картины лесозаготовок — основной промышленный профиль района. Снопы ржи, овса, ячменя, молочные бидоны, прессованное сено — сельское хозяйство. Множество диаграмм и таблиц. Рядом с ними — кольчуга, оперенные стрелы, ржавый меч, черепки горшков, позеленевшие медные монеты, добытые из курганов и могильников. Революция и гражданская война были представлены двумя картинами и несколькими выцветшими фотографиями. Одна картина изображала пожар помещичьей усадьбы, другая — красноармейский митинг. На фотографиях были запечатлены безусые и бородатые лица первых бойцов за Советскую власть в районе и рядом с ними — захваченные штабники из шайки местного белобандита Гулак-Соколовича. Сам Гулак, облаченный в длинную офицерскую шинель, стоял, насупясь, в центре группы. Над головой его был начертан белый крестик, а на полях фотографии тоже крестик и объяснение — кто это такой.

Так как Лаврентьев вопросов не задавал, молчал и старичок. Но вот они остановились перед громадной, во всю стену, подробной картой района. Лаврентьев отыскал Воскресенское, реку Лопать и таинственную Кудесну, о которой только слыхал, а видеть ее не видывал. Его поразило графическое изображение Лопати. Она была похожа на частую гребенку — так много впадало в нее ручьев и ручейков, и впадали они только с запада, то есть со стороны Кудесны. Но текли ручьи не из самой Кудесны. Истоки их лежали в болотистых лесах между Кудесной и Лопатью. Лопать шла довольно ровной ниткой, Кудесна ломалась крутыми острыми зигзагами, то отдаляясь от Лопати, то к ней приближаясь. Сверясь с масштабом, Лаврентьев определил, что самое большое расстояние между реками на территории района было километров двадцать пять, меньшее доходило до пяти — это ниже Воскресенского, если брать по течению, а в районе самого Воскресенского до Кудесны по прямой насчитывалось километров семь с половиной. Не в этом ли сближении рек и была причина заболачиваемости колхозных полей?

— У вас карты рельефного разреза нет? — спросил Лаврентьев у старичка.

— Нету, нету. Карта древних путей — вот она. Вот тут ходили из варягов в греки. Вот, вот на юг, по Кудесне. Древнее название — Кудесна. Волшебница, значит,—

оживился старичок.— Все названия у нас древние, славянские. По сей день сохранились. Погостье вот, а тут Лодейна заводь. Ветрилово. Гостиницы. Большой торг. Малый торг. Волок. Волоком тащили корабли отсюда до Гостиниц. Княжново...

— Интересно, очень интересно,— согласился Лаврентьев.— Жаль, рельефного разреза нет.

— Есть тут такие сведения,— старичок с готовностью порылся в альбомах на овальном столике. — Это к нам экспедиция лет этак с десяток назад приезжала. Вот оставила в подарок. «Подпочвы Междуречья». Что сказано? «Зеркало реки Кудесны лежит на два и три десятых метра выше, чем зеркало реки Лопать».

— Дайте, дайте! — Лаврентьев схватил альбом. Но, кроме этой, чрезвычайно ценной для него фразы, больше ничего не нашел. В альбоме главным образом были фотографии здешних мест; из скудных, отпечатанных на машинке текстов следовало только то, что почвы района лежат на плотных глинах, на известняках и на песках-плывунах, а точнее — где что? — этого не было. Видимо, работники экспедиции оставили тут предварительный сырой, необработанный материал — все записи, наблюдения, пробы увезли с собой. Куда? «Институт ирригации и мелиорации» — было сказано на обложке альбома. Где этот институт? И один ли он в Советском Союзе? Как его искать? Сохранились ли в нем довоенные архивы?

Поглощенный этими вопросами, Лаврентьев позабыл о цели своего приезда в район, и только мелодичный бой старинных музейных часов под стеклянным колпаком напомнил ему, что надо идти на заседание, где будут разбирать его дело, дело агронома из Воскресенского.

Часы били без четверти два, а без пяти два он был уже в исполкоме.

— Заходите, товарищ Лаврентьев! — пригласил секретарь.— Один вопрос пропустили. Сейчас ваш.

Лаврентьев вошел в небольшой зал заседаний. Половина откидных кресел, таких, какие бывают в кино, пустовала. Он присел на свободное место с краю последнего ряда. За столом президиума ему были знакомы только председатель исполкома Сергей Сергеевич Громов (он два раза приезжал в Воскресенское, недавно весной и в январе) и Серошевский. Лаврентьев тронул за плечо сидящего впереди.

— Скажите, а Карабанова разве нет?

Тот обернулся.

— В области, на пленуме обкома, и второй секретарь там же. Итоги сева, подготовка к уборке...

— Итак, что у нас дальше? — спросил Громов, полный, грузный, медлительный.

— Дальше — дело агронома Лаврентьева.— Серошевский поднялся с раскрытой папкой в руках, поправил очки.

— А он здесь? Да, вон он! Так, так, слушаем. Подсаживайтесь-ка, товарищ Лаврентьев, поближе.

Лаврентьев остался сидеть на месте.

— Содержание дела в том,— гладко и округло заговорил Серошевский, подергивая губой и носом,— что агроном Лаврентьев, вместо того чтобы бороться за высокий урожай ценной и новой в нашей области культуры — пшеницы, вместо того чтобы пойти навстречу передовикам Воскресенского, помочь их начинанию, нанес общим нашим усилиям громаднейший вред. Своим самостийным — сознательным или нет, не знаю — решением он фактически уничтожил не менее трети урожая. Агроном Лаврентьев весной, на участках семенной пшеницы, а также и на некоторых других, приказал рыть ямы для сбора воды. Казалось бы, неплохо. Поля в Воскресенском сырые. Но что получилось? Каждая яма — это два-три квадратных метра посева, да земля, разбросанная вокруг, да сколько землекопы вытоптали. Достаточно произвести простое умножение... Ах, прошу прощения, не сказал главного. Урожай, как оценила наша комиссия, на пшеничных участках обещает быть отличным, до ста восьмидесяти пудов с гектара. Это, конечно, при том условии, если бы не было злосчастных ям, товарищ Лаврентьев.— Серошевский через очки послал в зал улыбочку.— Но ямы есть. Вот теперь помножим и получим — не сто восемьдесят пудов выходит, а только сто двадцать. Треть урожая, шестьдесят пудов, съели ямы. Кто дал право товарищу Лаврентьеву самовольничать, нарушать агротехнику, наши инструкции? Кто дал ему право залезать в карман колхоза, в карман государства? Мы должны спросить его об этом сегодня, и спросить со всей большевистской суровостью. Без скидок и поблажек.

— За вами слово, товарищ Лаврентьев,— сказал Громов, когда Серошевский сел.— Объясните исполкому, как это у вас получилось?

Лаврентьев поднялся.

— Мне трудно что-либо сказать. Я не подготовлен. Вызвали неожиданно. Зачем вызвали, не сообщили. Но, если так повертывается дело, я, понятно, не смолчу. Мне казалось, что ямы пошли на пользу. Там, где их не было, виды на урожай гораздо ниже. Вымочки, выпревание... А что же оставалось делать? Созерцать, как через поля хлещет вода? Не имел права. Вот этого права действительно не имел. Не утверждаю, что ямы — элемент передовой агротехники. Всего-навсего пожарная мера. Если говорить серьезно об агротехнике в Воскресенском, нужны большие мелиоративные работы. Об этом свидетельствуют и материалы краеведческого музея. Если вы там не были, товарищ Серошевский...

— Вас просили говорить пока что о себе,— подал реплику Серошевский.— Обо мне, если надо, скажут в ином месте и другие люди.

— Я и говорю о себе, о своих предположениях. Ваших не знаю. Если почвы Междуречья, где находятся поля Воскресенского, лежат на плотных глинах, то вполне возможно, что по этим глинам идет подземный ток воды к Лопати...

— Мелиорацией занимайтесь, а не мудрствуйте,— снова вмешался Серошевский.

— Занимаемся, — ответил Лаврентьев. — Составили план, договорились с черепичным заводом о трубах. Осенью предполагаем начать закладку сети первой очереди. Но я должен сказать, что мелиоративная система, которая была заложена в Воскресенском до войны, как известно, не выдержала и двух лет, ее занесло илом, плывуном, трясиной...

— А как же хозяйничал Шредер? — не унимался главный агроном.

— Шредер! Вот вы о чем! — Лаврентьев взглянул на него с усмешкой.— Вопрос мудрый. Отвечу.

Он рассказал, как сам однажды задал такой вопрос Карпу Гурьевичу и как ему было стыдно, когда старый столяр рассказал о канавах, испещрявших поля через каждые пять саженей, о недальновидности помещика, об узости его интересов, о нежелании думать о завтрашнем дне.

— Возмутительно! — Серошевский вскочил.— Агроном Лаврентьев над нами потешается. Мы говорим о деле, о его безобразнейшем проступке, а он басни нам рассказывает.

— Что вы предлагаете? — спросил Лаврентьева Громов.

— Сейчас? Сейчас, я уже сказал: закладывать новую, более прочную систему труб. В дальнейшем возможно, что придется настаивать перед районом на капитальных работах. Возможно, что понадобится система крупных каналов, коренное переустройство всего Междуречья.

— Позвольте, Сергей Сергеевич? — попросил слова главный агроном.

— Говорите.

— Перед нами типичный случай демагогии. Когда надо давать ответ,— Серошевский еще сильнее задергал губой,— человек кричит: держите вора! Вы, товарищ Лаврентьев, не выполняете наших элементарных требований, игнорируете все наши инструкции, а поднимаете шум: система каналов, коренное переустройство! Безобразие! Неужели вы думаете, что по вашему слову все моментально завертится? Делайте то, что вам приказывают, исполняйте, а не прожектерствуйте. Коренное переустройство — это дело партии и правительства. Они знают и видят, где надо переустраивать, где не надо. Они лучше нас с вами это знают. Когда партия и правительство скажут: переустроить Междуречье,— вот тогда мы наляжем, тогда не пожалеем сил. Тогда, только тогда! Советское хозяйство — плановое хозяйство. Оно не терпит партизанщины. Вы — всезнайка, и вы, конечно, слыхали о так называемой Полесской проблеме...

Лаврентьев насторожился. Все это разбирательство ему казалось ненужным, надуманным, высосанным из пальца. Оно его даже не возмущало. Если тут главный винт — Серошевский, иного и ждать было нельзя. Но упоминание о Полесской проблеме его заинтересовало.

— Что такое Полесская проблема? — продолжал витийствовать главный агроном.— Полесье — огромная территория между Днепром и Бугом, в треугольнике Могилев — Киев — Брест. Она покрыта миллионами гектаров болот и заболоченных земель, изрезана множеством рек.

— Как наше Междуречье, — оживился Громов.

— Сходно. Только масштабы не те.— Серошевский вполоборота склонился в сторону Громова.— Миллионы гектаров земли пустовали, Белоруссия — львиная доля Полесской низменности приходится именно на эту республику — бедствовала из-за болот. Над Полесской проблемой задумывались лучшие научные силы старой

России, начиная от В. В. Докучаева. — Серошевский так и сказал: «Ве-Ве Докучаева». — Но решить ее, эту проблему, смогли только Советское правительство и большевистская партия, а не партизаны-одиночки вроде товарища Лаврентьева. Шестого марта тысяча девятьсот сорок первого года Совнарком СССР и ЦК ВКП (б) вынесли постановление: «Об осушении болот в Белорусской ССР и использовании осушенных земель колхозами для расширения посевных площадей и сенокосов». Так оно называлось. Это была программа величайшей в истории мелиоративной стройки.

Лаврентьеву было отвратительно слышать, что о таких грандиозных делах говорит именно Серошевский, холодный, безразличный к ним человек. Но он слушал. Он понял, почему ничего не знал о Полесской проблеме. Март сорок первого года был горячим месяцем защиты дипломной работы. А затем вскоре началась война.

— Война помешала выполнению этой программы, — продолжал Серошевский. — Работы развернулись во всю ширь только после разгрома гитлеровских полчищ. Да, теперь из года в год болота отступают перед натиском советских людей. Да, человек побеждает природу не только в сыпучих песках Заволжья, но и в топях Белоруссии. Вот что такое решение партии и правительства, товарищ Лаврентьев! Вы демагог, вы, прикрываясь прожектом, хотите увильнуть от ответственности. Вы не указывать обязаны, а исполнять, исполнять и исполнять. Вы только на своей батарее были командиром. Здесь вы солдат перед партией и правительством. Не взлетайте высоко — падать больно. Я, Сергей Сергеевич и товарищи члены исполнительного комитета, считаю, что дискутировать дальше нечего, и предлагаю вынести агроному Лаврентьеву строгий выговор за ущерб, причиненный колхозу и государству, а может быть, и передать дело прокурору. Не предрешаю. — Он сел, вытер влажный лоб платком, смотрел прямо перед собой, в угол зала под потолком. Он сделал свое дело.

— Как, товарищи, решим? Какие еще есть предложения? — спросил несколько растерянный Громов. На председательском посту он был менее года. Возглавлял прежде леспромхоз, пятнадцать лет возглавлял, превосходно знал лесное дело, но с вопросами агротехники сталкивался впервые и никак не мог решить, кто тут прав — Серошевский ли, главный агроном района, или агроном из Воскресен-

ского. И тот убедительно говорит, и другой дельно — что ты скажешь!

Человек, у которого Лаврентьев спрашивал в начале заседания о Карабанове, поднял руку.

— Прошу, товарищ Лазарев! — Громов кивнул головой.

— Я не согласен,— сказал Лазарев, слегка окая,— никак не согласен. Выходит, что? Что урожай-то выше на тех участках, где ямы были. Какой же вред! Спасибо воскресенскому агроному сказать надо — смикитил, не дал добру пропасть. А мы — бух выговор. Как же так! Я сидел и думал: чтой-то мы в своем колхозе оплошали? Толковое дело эти ямы. А может, не будь их, так и виды на урожай были бы не сто двадцать пудов, а только шестьдесят да сорок. Мое предложение — никаких выговоров.

Снова поднялся Серошевский, снова что-то множил и делил. И снова цифры говорили о том, какой ущерб урожаю принесли ямы Лаврентьева.

Вышла заминка. За столом президиума совещались. В зале шумели. Громов в конце концов сказал, что у него есть третье предложение — не строгий, а просто выговор. Проголосовали. Большинством в два голоса прошло предложение Громова — выговор. Серошевский скорбно и демонстративно покачал головой: что, мол, делаем, потворствуем самовольству и партизанщине. К чему это приведет?

Лаврентьев вышел во двор к заскучавшей Звездочке. Она тихо заржала, увидев его, заплясала возле коновязи. Вышел и Лазарев, тоже к своей лошади.

— Вы, товарищ Лаврентьев, на колхозном бюджете или на районном? — спросил он дружелюбно.

— На районном.

— То-то и оно.

Лаврентьев вскочил в седло, уселся на лошадь и Лазарев. Поехали рядом, стремя в стремя.

— Как же воскресенцы опростоволосились? — продолжал Лазарев.— Я Антона-то Суркова хорошо знаю, вроде бы смекалистый мужик, а сплоховал. Надо вас на колхозный бюджет взять, чтоб от этого Серошевского и зависимости никакой. Он змея болотная. Он этак выговоры каждому райзовскому специалисту по два в год втыкает.

— А что же районное начальство смотрит?

— Он ему, начальству, пыль в глаза пускать наловчился. Такой мудрый разговор разведет—только держись.

А главное — все у него партия и правительство. Пройдошливый. Никак под него не подкопаешься. Он за партию, за правительство, что за печку, прячется. А я скажу, окажись тут сегодня на исполкоме сам Председатель Совета Министров, он бы определил: прав ты, мол, агроном Лаврентьев. А Громову бы не поздоровилось. Хотя как сказать про Громова. Он в лесном деле голова. В лесном деле его не проведешь. В сельском хозяйстве послабже.

На окраине попутчики распрощались.

— Шел бы к нам, товарищ Лаврентьев. У нас колхоз куда как богаче Воскресенского,— сказал Лазарев.

— Нет уж, как-нибудь и в Воскресенском проживу.

— Это правильно. Летать с места на место негоже.— Лазарев пришпорил лошадь и зарысил в сторону по пыльному проселку.

Лаврентьев ехал медленно, удерживая Звездочку, тоже порывавшуюся перейти на рысь. Ему надо было многое продумать. Выговор есть, но есть и кое-какие тропинки к разрешению воскресенской проблемы. Звездочка сердилась на медлительность, косила глазом на своего седока. Умный был глаз, понимающий. Звездочка как бы хотела сказать: «Брось ты, Петр Дементьевич, расстраиваться. Недаром сказано: все мы немножечко лошади. Всем нам хочется, чтобы ласковая рука хоть изредка, да потрепала по холке. Верно же?»

## 2

Подъезжая к селу, Лаврентьев увидел голого по пояс человека. Человек сидел на корточках под осиной в стороне от дороги и увязывал полосатый узелок. Кто бы это мог быть — из воскресенских или из совхозных? Натянул поводья, заставил Звездочку перепрыгнуть через канаву.

— Петр Дементьевич? — закричал ему навстречу ломкий голос подростка. — Ворочайте назад! Они злые, коня застрекают.

Озадаченный Лаврентьев соскочил наземь, подошел. Голос был знакомый, а самого человека никак не узнаешь. По-мальчишески костлявый, со слипшимися от пота волосами, с каким-то страшным, перекошенным лицом, на котором в одну необъятную лоснящуюся опухоль слились щеки, нос, губы и в распухших веках исчезли глаза, он

поднялся с земли, сделал попытку улыбнуться, отчего стал еще страшней.

— Костя, да это ты! Что случилось?

— Сплоховал, Петр Дементьевич. Не уследил, они взнялись и прямым ходом в лес. Ни брызгалки не захватил, ни сетки, припустился за ними что было духу... Главную-то силу снял с ольхи. — Он указал рукой на лежавшую под деревом полосатую рубашку с перевязанными рукавами, воротом и подолом, в которой шло свирепое шевеление, сопровождаемое басовитым гудом. — А другие сорвались, да вот и разукрасили. Вó вьются вокруг, вó вьются!.. — Костя отмахивался от пчел. — Царицу отбить, что ли, хотят? — На поясе у него висела маленькая, с кубический вершок, клеточка из тонкой металлической сетки, и в ней топырила слюдяные крылья неповоротливая, желтоглазая пчелиная мать. — Рубашка все развязывается... Не донести, — добавил Костя.

— На-ка и мою.— Лаврентьев стал сбрасывать сорочку. Тотчас он почувствовал щемящий укол в шею, под лопатку, в плечо.— Ну, дружище, тебе, я вижу, покрепче моего сегодня досталось,— засмеялся он, поскорее застегивая пиджак.

Костя не спросил, где и за что досталось агроному. Он был занят своей работой. Нет большего позора для пчеловода, чем упустить рой. Костя его не упустил, дяде Мите не удастся позлорадствовать. Костя целый час гонялся за роем по кустам в лесу. Матка оказалась не в меру капризной. Вот, кажется, облюбовала сучок, устроилась на нем, плотной массой липнут вокруг нее пчелы... Нет, бац, поднялась — что ей не сиделось! — дальше тянет. И так раза три-четыре: сядет, взлетит, сядет, взлетит. Костя и надежду потерял когда-либо догнать ее. Но в ольховой тени и чаще рой запутался и вынужден был обосноваться прочно. Длинной тяжелой грушей повис он на тонкой, согнувшейся под его тяжестью ветке. Костя тотчас превратил свою рубашку в мешок, подвел подолом — один конец в зубах, другой левой рукой оттянул — под скопище пчел и стал сгребать их горстью, что горох. Его беда — в спешке оступился и нечаянно ударил ребром ладони по ветке. Часть пчел рассыпалась и разлетелась. Костя перепугался, не улетела ли матка. Но матка была уже в мешке, он достал ее и посадил в клетку. Теперь разлетевшиеся пчелы преследовали белобрового парнишку,

мешали ему нести дорогую ношу. Да и рубашка — то в вороте развяжется, то в подоле.

Помощь Лаврентьева оказалась очень кстати. Костя обернул свой мешок его сорочкой, перетянул поясом и, неся в отставленной далеко руке, побежал к Воскресенскому. Лаврентьев зарысил сзади. Звездочка разыгралась, все время ей хотелось держать свою морду над Костиным ухом, ее приходилось осаживать.

Первый, кого Лаврентьев встретил в селе, был Антон Иванович, который сразу спросил:

— Ну как, зачем вызывали?

Лаврентьев вкратце рассказал ему суть дела.

— Что?! — на всю улицу заорал Антон Иванович.— Выговор? Да они в уме ли? Петр Дементьевич,— к Дарье!..

Дарья Васильевна была на скотном дворе, пробовала, как действуют автопоилки. Восторгалась. Переходила от одной к другой, к третьей, нажимала на клапан, следила за плавным подъемом воды, жалела, что коровы на пастбище. Увидав в воротах председателя с агрономом, она поманила их.

— Мужики, мужики! Красота, глядите, какая!

Но на лице Антона Ивановича была изображена такая ярость, что Дарья Васильевна и об автопоилках позабыла, утерла руки передником, поправила на голове платок.

— Дарья,— закипятился Антон Иванович,— ты партийный руководитель, я хозяйственный. Сейчас в район полетим, — возьмем машину. Агронома нашего бьют. Понимаешь?

— Как так бьют?

— Выговор ввалили.

— Товарищи, товарищи! — Лаврентьев встал между ними, дружески взяв обоих за локти.— Прошу, очень прошу никуда не ездить, шума не затевать. С выговором я сам не согласен, категорически не согласен. Но время сейчас для дрязг совсем неподходящее. Поверьте мне, мы свое возьмем. Непременно возьмем. Даю вам слово.

— Да как же так! Никого не спросили... тишком! — Антон Иванович взмахивал рукой, при каждом взмахе задевая Дарью Васильевну. Та стояла, ничего не понимая.

— Объясните хоть толком, — попросила она.

Лаврентьев принялся подробно рассказывать о заседании исполкома, о Серошевском, Громове, о краеведческом

музее и своих предположениях насчет причин заболачиваемости воскресенских полей. Все втроем они вышли из коровника во двор, присели на скамейку, сделанную Карпом Гурьевичем для доярок.

— Как видите,— закончил свой рассказ Лаврентьев,— у нас уймища дел куда важнее, чем тяжба с Серошевским. За что только браться, не сообразишь сразу. Ужасно досадно: людей у нас знающих мало, права Дарья Васильевна. Будь в колхозе хоть маленькие специалисты, сами бы геологическую разведку произвели, — примитивную, понятно, домашнюю, но тем не менее очень полезную для обоснования наших запросов перед районными организациями.

— Всегда говорю: интеллигенции не хватает. Учить народ надо,— ухватилась за свою любимую мысль Дарья Васильевна.— В институты, в техникумы девчат с парнями посылать, не держать их тут возле плугов да граблей. Пусть учатся. Мы как-нибудь пяток лет, старики, без них перетерпим. Зато вернутся — силища какая у нас будет. Антоша, ты чего ухмыляешься?

— Я не ухмыляюсь. Я картину такую представил: как выйдут утречком на наряд двадцать инженеров да полсотни техников...

— А ты картинку свою в «Крокодил» пошли, авось над дурнем-председателем посмеются в Москве. Двадцать инженеров! Полсотни техников! Что ты думаешь, инженеру дела у нас не нашлось бы? Пашка с Карпом запарились на электрических машинах... Асютка, Асютка! — Дарья Васильевна заметила зеленый Асин платочек за изгородью.— Поди сюда, доченька.

Ася подошла.

— Ах, Петр Дементьевич, пшеница какая, с ума сойти! В прятки играть можно, только бы сохранить...

— Вот видишь — пшеница! — Дарья Васильевна обняла Асю и посадила ее рядом с собой. — А за пшеницу твою Петру Дементьевичу выговор дали.

— Выговор? Кто?

Пришлось Лаврентьеву снова рассказывать историю с выговором.

— Антон Иванович,— резко и строго, затягивая поясок на платье, сказала Ася, — от имени комсомольской организации прошу дать нам машину, мы сейчас же все едем в район, в райисполком, к прокурору...

— Не злись, Асютка, не злись. — Дарья Васильевна погладила девушку по спине.— Мы тебе, трое коммунистов, не велим никуда ехать.

— Поеду!

— Не поедешь, не шуми. Выговор этот — пустое дело,— из-за ям.

— Тем более! Их правильно рыли.

— Кто говорит — неправильно! Правильно, понятно. Потому и выговор прошел с превышением только в два голоса, и подстроил его Серошевский.

— Дрянь какая! Он в этом году у нас ни разу и не был. Приехал прошлым летом, девчатам глазки строил, мурлыкал,— мы его тогда котиком прозвали.

— Давай, Асютка, так уговоримся: зашибить вашего котика урожаем, а? — Дарья Васильевна держала Асю за руку, смотрела ей в лицо.

— Но и выговор нельзя без последствий оставить. Это же безобразие!

— Не оставим. Ты нас знаешь и Петра Дементьевича знаешь. Не такие мы люди, чтобы в исусы-христосики играть.

В селе в этот вечер многие всполошились. Взыскание, наложенное на агронома райисполкомом, казалось колхозникам до крайности несправедливым. С наступлением сумерек к дому Лаврентьева для выражения сочувствия и возмущения потянулись делегации. Первыми пришли Карп Гурьевич с Павлом Дремовым.

— Я раз схлопотал выговор перед строем, Петр Дементьевич,— рассказывал Павел.— Как получилось? Переезжали в новый район дислокации, я уши развесил, да и позабыл на старом месте ящик с инструментом. Ясное дело — выговор. Правильный выговор? Правильный. Еще и мало. А вам за что влепили, не пойму.

— Я знаю, за что,— сказал, поглаживая лысину, Карп Гурьевич.— Я Серошевского пятнадцать лет наблюдаю, еще с тех пор, как он тут в совхозе работал: боится он вас, Петр Дементьевич. Руки вашей боится. Он же не дурак, видит, что к чему. Возьмете, думает, его в горсть, жеманёте — и кровь закаплет. А крови у него... не через край, душевножидкий, в общем. За местишко за свое, за авторитетец зубами держится, и так и эдак виляет. А тут вдруг против него разговор пошел. Как стерпеть? Стукнуть надо. Вот и стукнул.

Посреди этой беседы нахлынули девчата.

— Петр Дементьевич, полно вам со стариками сидеть, гулять пойдемте, на лодках кататься.

— И я вам, выходит, старик,— обиделся Павел.— Осатанели, что ли? Покажу такого старика — со страху попáдаете.

— Мы, Павлуша, и так все перепуганные вашими гордыми манерами.— Люсенька Баскова повела плечом.— Вы преисполнились величия, как возвратились с войны, к вам подходить опасно: мины и колючки. А было вовсе иначе, когда вы учились в школе, когда ваша бабушка Устя стегала вас крапивой за двойки.

Девчата разразились неудержимым смехом и, как толпой вошли, так толпой, застревая в дверях, высыпали из комнаты. Павел был обозлен, сидел в кресле, качал нервно ногой.

— Вот, Павлик,— сказал Карп Гурьевич,— не дери нос. На язык к девкам попался, они тебя искотлетят. Самая ядовитая самокритика — это девки.

— И не самая! — Над подоконником вдруг появилась чья-то лихая белокурая голова.— Есть ядовитей — жены!

В саду снова смех и визг, торопливый топот меж яблонь, свист юбок.

— До чего вас девки любят, Петр Дементьевич,— мрачно вздохнул Павел.— Ихнее бы отношение к вам — да мне... На сто выговоров бы с вами поменялся.

— А мы тебя тоже, дурака, любим! — снова визгнули под окном.

Павел соскочил с кресла, хотел было выпрыгнуть в окно, но воздержался, решительно вышел в дверь. Через минуту его голос был слышен в темном саду: «Ну, погодите, ухвачу которую, плохо будет».

Он не вернулся. Сидели вдвоем с Карпом Гурьевичем, говорили о жизни, о настоящем, о будущем. Пришла Елизавета Степановна, тоже рассказала, как ей прошлой весной выговор за телят сделали. Каждый считал необходимым говорить о своих взысканиях для того, видимо, чтобы утешить Лаврентьева самой в таких случаях распространенной формулой: все-де мы грешные, всем так или иначе достается, только нам досталось за дело, а тебе напрасно, твое положение лучше нашего, чем и надлежит тебе утешаться.

Многие приходили в этот вечер. Лаврентьев не давал угасать самовару, угощал всех чаем; он уже привык к тому, что его квартира стала куда более популярной,

чем памятный ему с детства, окруженный садом домик землемера Смурова. К нему, Лаврентьеву, мог зайти кто угодно. Он не удивился бы даже бабушке Усте, которая и в самом деле была у него недавно, добрый час учила его, как бесследно излечить оставшуюся еще слабость в пораженной руке. Для этого, оказывается, надо было взять ни больше ни меньше — куст можжевельника, добавить к нему сосновых иголок, запарить это все кипятком в дубовой кадушке, опустить туда руку, прикрыв по плечо ватным одеялом, и держать, пока запарка не остынет: час — так час, больше — так больше, хоть полдня. Зато весь недуг как корова языком слизнет. Лаврентьев обещал последовать совету, бабушка Устя ушла довольная.

Даже и Савельича мог ожидать у себя в этот вечер Лаврентьев. Лишь один человек из всего колхоза никак не представлялся ему его гостем. А именно этого человека больше всего хотелось бы тут видеть — Клавдию. Нет, Клавдия не придет выражать сочувствие. Ей, конечно, нечего и выражать. Возможно, она рада этому выговору: вот, мол, достукался, докомандовал,— не форси, что все знаешь, все умеешь. Лаврентьев думал: странная вы, Клавдия. Отчего и форс идет? От внутренней борьбы с теми силами, которые влекут к вам. Разве этого не видно? А если вы этого не видите, ну что же, живите, Клавдия, как знаете, по-своему; он, Лаврентьев, будет жить по-своему.

— Карп Гурьевич,— спросил он притихшего столяра,— вы когда-нибудь любили?

— Как же! Высоко воспаряет от чувств таких человек.— Карп Гурьевич тяжело вздохнул. Паре́ние его было недолгим. Взлетел — и разбился. Разбился на всю жизнь, всю жизнь терзал себя памятью о красавице Стеше, потерял которую по своей, только по своей вине.

Удивительно. Карабанов говорил: любовь окрыляет человека. Об этом же говорит и Карп Гурьевич, об этом все говорят, пишут книги, да и по себе знал Лаврентьев, как радостно было жить, когда была Наташа, милая Наташа... Но почему же от чувств его к Клавдии только горечь и тяжесть на сердце?

Карп Гурьевич ушел последним, квартира опустела, рассеялся табачный дым, уплыл через окно в сад; Лаврентьев сидел на подоконнике, когда постучала Ирина Аркадьевна.

— Неужели и вам давали когда-нибудь выговор? — Он шутил; улыбаясь, подвинул ей стул. — Садитесь, Ирина Аркадьевна. Выпейте чайку. Третий самовар за вечер...

— Спасибо, не хочется. Мы тоже чаевничали. Вы, наверно, еще не знаете: муж Кати приехал.

— Муж Кати?!

— Да, да,— муж. Удивлены? И я удивлена, поражена просто. Ни слова, ни звука в письмах, и вдруг входит человек в желтых очках, подает конверт, читаю: «Будьте знакомы. Мой муж». Я и рада, и грустно. — Ирина Аркадьевна смахнула мизинцем слезинку под глазом.— Уходит, уходит, Петр Дементьевич, жизнь. Ничто так остро не дает это почувствовать, как вылет птенцов из гнезда.

### 3

Никита Андреевич Карабанов изменил своему правилу: чаще, чем обычно, его тянуло этим летом в Воскресенское. В Воскресенском отлично росла, наливалась и зрела драгоценная, до сих пор неудачливая в районе зерновая культура — пшеница. Ее сеяли уже третий год, дважды она давала урожай, которым никак не похвалишься и не удовольствуешься. И вот Апохин со своими помощницами, кажется — не сглазить бы, — добился желаемого результата. Карабанов чуть ли не по три раза в неделю приезжал хотя бы на часик ранним утром, ходил с полеводами на пшеничный участок, бережно срывал один-два колоска, лущил зерна, отсеивал полову, пересыпал с ладони на ладонь.

— Апохин, девушки, берегите,— говорил он.— Прошу вас, берегите.

Впервые на пшеничную ниву Карабанов примчался сразу же после своего возвращения с пленума областного комитета партии. Причина для этого была такая. Лаврентьеву думалось, что он убедил своих друзей ничего не предпринимать против решения райисполкома насчет выговора за весенние ямы. Как известно, Дарья Васильевна и Антон Иванович согласились с его доводами о том-де, что не время заниматься личными дрязгами; кто прав, кто не прав — покажет дело, и даже сами отговаривали Асю от партизанского похода в район. Но в тот же вечер председатель, секретарь парторганизации и комсомолки написали

заявления с протестом против выговора агроному. Заявление Дарьи Васильевны, как депутата райсовета, и Антона Ивановича, как председателя колхоза, пошло в исполком, Громову; заявление Асиных девушек — лично Карабанову. Письма эти наделали немало шуму.

— Голос масс, черт возьми,— расстроился Громов.— Не слишком ли мы доверились авторитету главного агронома? Может быть, пересмотреть решение, Никита Андреевич?

— Думаю, что да,— ответил Карабанов.— Основание для этого полное. Два заявления с цифрами, с доказательствами... Серошевский перегнул, вы его не одернули. Лаврентьев — работник творческий. Даже если бы с ямами и была ошибка — а ошибки-то, вообще говоря, нет никакой,— но даже если бы Лаврентьев и ошибся, нельзя не сделать скидку на экспериментирование. Миллионы, большие миллионы государство отпускает на эксперименты, на производственный и научно-исследовательский риск. В творческой работе риск предусмотрен. В пятилетнем плане мы не видим такой графы, но где-то она, не сомневаюсь, между строк спрятана. Не рисковать нельзя и во многих случаях — просто преступно. Вы подумайте тут, а я махну в колхоз, сам посмотрю, что и как.

— Поедем вместе,— сказал Громов.

Они приехали в Воскресенское, осмотрели поля. Пшеница стояла густая, рослая. Проплешины от ям действительно вызывали досаду — сколько из-за них зерна пропало. Но они же были убедительными следами отчаянной борьбы с водой, доказательством того, что воскресенцы не созерцали пассивно буйство стихии, а противопоставили стихии свою волю.

— Ты был прав, Петр Дементьевич.— Карабанов пожал руку Лаврентьеву.— Считай, что выговора за тобой никакого нет. Исполком, конечно, исправит свою ошибку. Продолжай действовать так же с полной ответственностью, как действовал на батарее. Разница только в том, что на батарее ты был командиром, в колхозе же командир — общее собрание, но агроном — начальник штаба, его боевой мозг. Мозгуй, дорогой товарищ Лаврентьев, мозгуй!

Пользуясь случаем, что в колхозе одновременно оказались и секретарь райкома и председатель райисполкома, Антон Иванович пригласил их к себе, рассказал о плане переноса села из затопляемой низины, о миллионном до-

ходе, за который бьются воскресенцы, о всяческих общих замыслах и думах.

— Это здóрово! — Глаза у Карабанова загорелись.— Интересный план! Слышишь, Сергей Сергеевич? — Он возбужденно обернулся к Громову.— Что они задумали! Здóрово! — И затем снова к Антону Ивановичу: — Выдюжите ли миллион?

— Не выдюжат миллиона, все равно отступать от задуманного нельзя,— горячо заговорил и Громов. Его тоже зажег замысел воскресенцев. — Будем помогать, Никита Андреевич. Такое дело!

— Помочь никогда не поздно, пусть на себя рассчитывают, на свои силенки. — Карабанов засмеялся. — Им, я знаю этих хитрецов, именно своими силенками лестно справиться. Не так ли, Антон Иванович?

— Вроде бы и так. Но и от помощи отказываться резону нет.

Карабанов задумался. Веселая улыбка сошла с его лица. Он грыз пшеничные зерна, вылущенные из колосьев, и по очереди посматривал на руководителей воскресенского колхоза.

— Вот что, товарищи,— заговорил после долгого молчания.— Планами своими вы меня здóрово поразили, скрывать не стану. Но, поразмыслив, я хочу вас предупредить об одном: не увлекайтесь. Может быть, многим из вас кажется, что, построив образцовый поселок, вы сразу через десять ступенек шагнете к коммунизму. Это не совсем так. Далеко не так. Не через быт мы придем к коммунизму, нет, товарищи. Вспомните, чему нас учит партия. Она учит тому, что наше поступательное движение вперед в конечном счете решается производительностью труда, что для коммунистического общества характерно изобилие материальных благ — товаров, продуктов. Очень хорошо, что вы боретесь за высокий доход. Продолжайте эту борьбу. Добивайтесь отличных урожаев на своих полях, отличных удоев на животноводческих фермах, отличного сбора меда на пасеке. Механизируйте полевые работы. Вот наша дорога к коммунизму. А быт? Он никуда от нас не денется, если мы успешно решим главную задачу.

— Так что же, селу в болоте по-прежнему гнить? — спросил Антон Иванович запальчиво.

— Село? Зачем ему гнить? — ответил Карабанов.— Потихоньку дома перетаскивайте. Но только так, чтобы не

мешать полевым работам. Выделите бригаду плотников — и действуйте. Кто же против! Я только говорю, не надо увлекаться. Сила колхоза не в новых домах, а в крепком хозяйстве. От крепкого хозяйства пойдет все. Разве не так?

— Правильно, Никита Андреевич! — сказала Дарья Васильевна.— Тоже хожу — чувствую, что-то мы лишку расшумелись вокруг Антонова плана. А и сама не соображу, откуда мои сомнения. Правильно, Антоша,— она обернулась к Антону Ивановичу.— Главное — хозяйство поднять да развернуть во всю силу. А тогда, может, мы и дворцов понастроим. Все в наших руках.

Антон Иванович зло махнул рукой и ушел раздосадованный.

Лаврентьев в разговоре не участвовал. Он слушал Карабанова, Дарью Васильевну, возражения Антона Ивановича и размышлял о том, что Карабанов, безусловно, прав, что для Воскресенского куда важнее решить прежде проблему борьбы с заболачиваемостью почв, чем строить новый поселок, и удивительно, как он, Лаврентьев, сам об этом не подумал, когда обсуждали план председателя. Увлекся, значит, увлекся тоже, как и Антон Иванович.

Карабанов отозвал его в сторону и сказал:

— А как насчет заболачиваемости, Петр Дементьевич? Что придумал за это время?

— Мне кажется, Никита Андреевич, вся загадка воскресенских полей скрыта в разности уровней Кудесны и Лопати,— ответил Лаврентьев.— И не гончарными трубами надо решать эту загадку.

— Я того же мнения. В связи с чем хочу вызвать специалистов из области, пусть обследуют обе реки.

— Очень хорошо.

С той поры Карабанов приезжал в Воскресенское часто.

Молодые полеводки дрожали над каждым зерном. Директор МТС с трудом уговорил их убирать пшеницу машиной. Втайне от Анохина они упорно и долго отказывались от услуг машинно-тракторной станции. «Серпами будем жать, только серпами». Сложив руки на животе, стоял перед ними усатый директор: «Милые мои доченьки, да как вы одолеете серпами! Двадцать же гектаров».— «Спать не будем, есть не будем!..» — «Ну и умрете. Пшеница будет, а красоток наших, увы, нет. Да вы мне, ла-

сточки, дороже всего, во всесоюзном масштабе, пшеничного урожая. Не отдам вас на погибель, и не ждите». Он прислал в Воскресенское новейшего выпуска широкозахватную тракторную жнейку, механик продемонстрировал ее девчатам, яркую — в синих, красных и желтых красках, показал зерноуловитель, регулятор высоты резания. Девчата повздыхали и согласились на жнейку, потребовали только, чтобы тракториста директор прислал Лешу Брускова, он самый аккуратный, не будет без толку колесить по полю.

Настал первый день уборки. Девчата поднялись с полночи, принарядились, нервничали. Их волнение передалось домашним, затем и руководителям колхоза. Волновался, — скрывая, конечно, это, — и Лаврентьев. Одно дело — предварительное определение урожая на корню, другое дело — число суслонов на гектаре. В поле, кроме девчат, вышла добрая половина колхозников. Девчата от такого парада разнервничались еще больше. Леша Брусков завел с вечера пригнанный на участок трактор, механик еще раз проверил жнейку, трактор загудел, пуская лиловый дымок, тронулся, жнейка взмахнула желтыми крыльями, застрекотала и вошла в пшеницу. Пшеница покорно ложилась под ее светлыми, как струи ключевой воды, ножами. Девчата шли за трактором толпой, с граблями, заранее приготовленными свяслами, — всем дела почему-то не хватало, они злились друг на друга, Ася хмуро посматривала на зрителей.

Первая поняла состояние девчат Дарья Васильевна.

— Вот что, народ! Пойдемте-ка по своим делам. Без нас тут управятся. Антон, командуй!

Народ стал расходиться, последним ушел Савельич, и то потому, что от села кто-то зверским голосом звал паромщика.

Девушки остались одни, и тогда сразу же все наладилось. Давно была продумана и обсуждена организация труда на жатве, — помешали вот зеваки. Одни с косами и серпами обкашивали участки, другие вязали тугие снопы, третьи подгребали колосья или сжинали пропущенные машиной узкие гривки стеблей, четвертые таскали снопы и складывали в бабки.

Обедать в этот день не пошли. Матери, младшие сестренки, братишки тащили узелки с чугунками и мисками в поле. Ася не пустила и тракториста с механиком в село:

«Загуляете». Кормили их тут же, своими харчами, отдохнуть толком не дали, через полчаса снова погнали к трактору и к жнейке. Механик по сельхозмашинам терпел такую му́ку безропотно, директор дал ему особый наказ: чтобы на пшеничных участках в Воскресенском — ни-ни, ни одной заминки. Леша Брусков пробовал протестовать:

— Загоняете этак, девки, свалюсь наземь да засну. Или подшипники расплавлю.

— Лешенька, не вались,— уговаривали его,— и, главное, не топчи ты так пшеницу.

— Вот чудны́е так чудны́е! Не по воздуху же мне летать с машиной.

Перед закатом солнца пришел Анохин и циркульной двухметровкой обмерил сжатый участок. Пока он переставлял по полю свой деревянный циркуль, Ася и Люсенька следовали за ним неотступно, и каждая про себя подсчитывала число метров. Потом Анохин вынул записную книжку и карандаш, принялся множить. Девчата тоже вынули книжки и карандаши.

— Восемь и шесть десятых га,— сказала Ася.

— Как восемь! Девять,— возразила Люсенька.

— Эх, сбили! — рассердился Анохин, встал, отошел шагов на пятнадцать, сел на краю канавы, слюнил сердито карандаш.

Вышло в конце концов у всех троих — восемь и шесть десятых гектара.

Прискакал на Звездочке Лаврентьев, объехал поле,— бабки на жнивье стояли густо, гуще даже, чем он предполагал. Картина радовала. Позвонил из сельсовета Карабанову, рассказал, как идут дела.

— Радуюсь вместе с вами, — ответил Карабанов. — Привет девчатам. Невест сколько! Да и какие невесты! Окажись я на твоем месте, Петр Дементьевич, — теряться бы не стал.

— А я растерялся, Никита Андреевич,— в тон Карабанову пошутил Лаврентьев.— Все больно хороши. Не выбрать.

— Обожди, дай время — сами выберут. Боевые девчата. У меня и свадебный подарочек уже приготовлен. Какой — не догадаешься. На твое имя, но почему-то в райком, из сельхозакадемии прислали копию докторской диссертации. Диссертация о решении Полесской проблемы. Это раз. А второе — отчет почвенной экспедиции. Довс-

лен? Я тоже. Целое богатство. Весь день сижу над этими документами. Чертовски интересно и для нас с тобой полезно. Завтра пришлю с шофером. Будь здоров.

Ночью Лаврентьев снова объезжал поля. Командирская привычка — делать внезапные поверки личному составу батареи. Все было в порядке. Леша Брусков пренебрег предложенной ему постелью в пустой половине дома Антона Ивановича и сладко спал под трактором. Что-то вроде масла или керосина мерно капало ему на колено. Лаврентьев отодвинул Лешину ногу, измученный тракторист не шевельнулся. На разостланных куртках за одним из суслонов сидели две девушки-часовые и тихо беседовали. Лаврентьев подсел к ним. Они, оказалось, вели разговор совсем не о пшенице и урожае, а о звездах. Звезды, мелкие и крупные, яркие и еле теплившиеся, усыпали все черное летнее небо от края до края. Млечный Путь изогнулся туманным седым коромыслом.

— Неужто и там где-то есть люди? — говорила одна из девушек. — И тоже сеют, жнут? Чудно́ до чего! А мне всегда думается, мы одни на всем свете на своей Земле.

Лаврентьев заговорил о планетах, о созвездиях, показывал их соломинкой, объяснял, как по звездам можно найти дорогу, если нет компаса. Летнее небо стало светлеть, а звезды блекнуть, на востоке встала заря, и когда вновь в поле явились озабоченные Ася с Люсенькой, перед ними предстала такая картинка: агроном спал на курточке Нины Лебедевой, сама Нина свернулась возле калачиком, а Маруся Шилова даже положила ему на плечо свою стриженую голову. Над ними висела сонная морда Звездочки с зажатым в губах пучком колосьев.

— Тише,— сказала Ася шепотом.— Пускай поспят.

Но Леша завел трактор, и при первом треске мотора Лаврентьев вскочил как по тревоге, переполошив своих ночных собеседниц.

— Вот так часовые! — засмеялся он. — Звезды над нами подшутили. Отсюда мораль, девушки: на звезды заглядывайся, но помни, что живешь на Земле.

Жатва продолжалась, к ночи убрали еще десять гектаров. На третий день остался сущий пустяк, даже трактор хотели перегнать на ячменное поле. Но механик с полного согласия Анохина заявил, что семенной участок надо добить машинами и он никуда не уйдет, пока не будет сжат последний колос.

Последний колос сжали, послали на жнивье ребятишек — может быть, зоркими своими глазами они еще разыщут колоски. Теперь предстоял решительный и самый волнующий этап в работе полеводов — молотьба.

Ток в Воскресенском был крытый, молотилку туда уже привезли, погода стояла на редкость сухая и жаркая, пшеницу можно было не держать в снопах, а сразу пускать в машину.

Молотьба — дело веселое, шумное, многолюдное. Шуршат приводные ремни, стучит барабан, грохочут решета, люди — одни развязывают снопы, другие подают их машинисту, третьи отгребают зерно в вороха. Зерно течет потоком, звонкое, золотое, пыль столбом, взлетает солома, кто-то кому-то что-то кричит; без суеты, но все в движении, в движении, в движении, рубашки липнут к спинам, некогда утереть лоб. Подъезжают возы, ржут лошади, захваченные общим возбуждением; отставив хвостишки, скачут через солому жеребята, воробьи лезут прямо под ноги людям, воруют зерно.

К барабану встал сам Анохин,— до войны он считался лучшим машинистом, решил тряхнуть теперь стариной для такого исключительного случая. Молотилка стучала, стучала, стучала, перерывы делали только на обед да на короткий сон. Ася с Люсенькой даже похудели, осунулись от переживаний. Они каждую мелочь принимали к сердцу, злились и на воробьев и на возчиков, которые отвозили зерно к весам, — не следят, мол, за лошадьми, лошади жрут пшеницу. Они успели поссориться и помириться с Дарьей Васильевной, грубили Антону Ивановичу, кричали на своего бригадира Анохина. Тот не сердился. «Этакие кошечки,— думал он, поглядывая сверху на девушек,— коснулось дело, волчицами стали». И чем ближе было к окончанию молотьбы, тем больше ожесточались и полеводы, и председатель колхоза, и все, кто так или иначе был причастен к семенной пшенице. Ожесточение это схлынуло, разрядилось только тогда, когда кладовщик, отщелкав на счетах, меланхолично заявил:

— Ну-к что ж, девки,— пятьсот семьдесят, килограммчик в килограммчик.

Пятьсот семьдесят центнеров! С гектара — это значит по двадцать восемь с половиной; по сто семьдесят одному пуду. До обязательства девяти пудов не дотянули. Но что девять пудов, когда есть сто семьдесят один! Такого

урожая пшеницы в районе еще не видывали и не слыхивали. О нем мечтали, и то к концу второй послевоенной пятилетки, не раньше. Где Лаврентьев, где он, агроном?

Девчата бросились на поиски.

Не подозревая, какая опасность нависла над его головой, Лаврентьев беседовал с трактористом под навесом. Налетели на него ураганом, стиснули, обхватили десятками рук. Ася еще пыталась кричать: «Организованно, организованно!» — ее голос тонул в невообразимом шуме. Лаврентьева в глаза, в щеки, в лоб, в нос, в уши чмокали горячие, кричащие девичьи губы. Он покачнулся под этим натиском,— не дали упасть, удержали. Происходило нечто невообразимое. У тракториста Леши Брускова волосы поднялись на затылке от удивления.

Лаврентьева наконец отпустили. У него было мокрое лицо и осатанелые глаза.

— В чем дело? — перевел он дыхание.— Всяким шуткам есть предел.

— Петр Дементьевич, не надо сердиться, нельзя сердиться! — крикнула Ася.— Я же говорила вам, говорила весной: поможете вырастить рекордный урожай — расцелуем, все вас расцелуем.

— Ах, вот как! Забыл. Простите, девчата, перепугали, я уже драться хотел. Ну и как результаты?

— Сто семьдесят один с гектара!

По лицу Лаврентьева, Ася заметила, быстро скользнула, как ей показалось, торжествующая и вместе с тем злая усмешка.

— Точка! — сказал он. — Теперь будем бороться с вашим болотом, теперь будем крушить его направо и налево.—И, как бы уже сейчас готовясь принять с кем-то кулачный бой, засучил рукава белой полотняной сорочки, выше локтя обнажая загорелые мускулистые руки. — Теперь давайте-ка я вас расцелую. Вы мне тоже во многом помогли.

Девчата с хохотом бросились от него врассыпную.

— Это что же, каждого вы так? — спросил Асю веселый тракторист Леша.

— Кто хорошо работает — каждого! — Ася смерила его взглядом.— Да, каждого.

— Ну уж постараюсь. — Леша шмыгнул носом. — Премия больно богатая.

## ГЛАВА ТРЕТЬЯ

### 1

Тот, кого Катя Пронина в письме к Ирине Аркадьевне представила как своего мужа, Георгий Трофимович Лаптев, был человеком общительным и жизнерадостным. Он ни минуты не мог сидеть без дела. Но случилось несчастье, которое сильно ограничило его возможности что-нибудь делать. Во время последней экспедиции, которую возглавлял этот довольно еще молодой геолог, при обследовании одной из подземных пещер в горах Казахстана, произошел взрыв природного газа. Георгию Трофимовичу опалило легкие раскаленным воздухом, обожгло веки и роговицу глаз. Его долго лечили в московской клинике, где проходила стажировку Катя, а затем на год — на полтора запретили всякую работу. Он сильно кашлял, носил роговые очки-консервы с желтыми стеклами, от ходьбы и даже от сидения за письменным столом быстро уставал, задыхался, начинал злиться, и тогда ему становилось еще хуже. В такие минуты, если возле него никого не было, Георгий Трофимович валился на постель, повторяя: «Жизнь кончена, кончена, глупо кончена. Надо прекратить напрасные муки». Если же это случалось на людях, он собирал все силы и бодрился. «Ничего, мы еще, товарищи, попляшем». Почему попляшем? Людям стеснительным свойственно выражать свои мысли иносказательно. Думает: «Поживем, поработаем», а говорит непременно: «Поскачем, попрыгаем, попляшем». С развязностью такое иносказание не имеет, конечно, ничего общего.

Катя, ординатор отделения клиники, с волнением наблюдала за внутренней борьбой своего пациента. Профессор говорил о нем: «Большой силы человек. Поправится, еще как поправится. Такие не сдаются. Надо уговорить жену, чтобы увезла его в деревню, на чистый воздух, там он встанет на ноги и еще много чего разыщет нам в земных недрах». О земных недрах Георгий Трофимович мог рассказывать часами. Любознательная Катя засиживалась возле его постели и слушала о высокогорных долинах Алтая, о красотах Катуни, о красноярских каменных «столбах», о сталактитах и сталагмитах, о золотоносных алданских песках, об огненных сопках

Камчатки. Георгий Трофимович лежал с завязанными глазами, — должно быть, от этого еще яснее и ярче были для него картины, о которых он рассказывал.

Ни профессору, ни Кате не пришлось уговаривать жену Георгия Трофимовича. Красивая, изнеженная женщина смалодушничала и, оставив пошлое прощальное письмо, уехала к какому-то другу молодости в Киев. «Что нас связывало семь лет, Георгий? — писала она. — Ничто. Тебя я не видела месяцами. Я тосковала, я была одинока. Надеюсь, мы друг другу простим эту ошибку. Ты ведь умный, хороший». Этого письма больному не прочли, ничего о нем не сказали. Дело, конечно, было не в ошибке, не в тоске и одиночестве, а в том, что избалованная постоянным достатком дамочка не могла представить себя в роли сиделки, страшилась деревенской глуши, куда от привычных удобств надо будет везти инвалида-мужа и где, не исключена возможность, придется терпеть моральные, а главное — материальные лишения. И все это во имя чего? Когда этот человек поправится — если он вообще когда-либо поправится,— он снова уедет на Кольский полуостров или в Голодную степь. Она предпочла сбежать: государство не оставит геолога Лаптева, оно о нем позаботится.

Позорное бегство струсившей жены, беспомощное, тяжелое состояние больного, его сила воли, фанатическое увлечение своей профессией сделали то, чего не смогли бы сделать никакие пожатия рук, никакие театры, ночные сидения на парковых скамьях, называемые вкупе ухаживанием,— Катя почувствовала, что Георгий Трофимович ей бесконечно дорог, что это она, а не жена, готова быть сиделкой, что это она с радостью увезла бы его в деревню, в тайгу, в любые дебри, лишь бы он снова мог вернуться к любимым камням и рудам, снова увидеть Катунь и «столбы» Красноярска.

Было это вскоре после ее возвращения из отпуска, проведенного зимой в Воскресенском. В апреле Георгию Трофимовичу сняли повязки с глаз, в мае, вооруженный желтыми очками, он выписался из клиники. Домой его повез сам профессор. Надо было как-то ослабить удар, ожидавший Георгия Трофимовича. Два месяца его обманывали, придумывали более или менее правдоподобные причины того, что жена перестала его навещать. Выдумали сначала карантин, потом приказ министра, запрещающий посещение больных. Георгий Трофимович был

простодушен и верил всему, тем более что лежал он в отдельной палате и не мог видеть посетителей, приходивших к другим больным. Катя изредка сочиняла пустые записочки, якобы от жены, и читала ему вслух что-нибудь такое: «Сообщи, пожалуйста, как ты себя чувствуешь», или «Что тебе принести — яблок ли, апельсинов? Москва полна апельсинами». — «Можно и яблок, можно и апельсинов, передайте, Екатерина Викторовна. А лучше бы сама зашла. Какие у вас жестокие правила!» — негодовал Лаптев. Катя тосковала и на свои скудные средства покупала апельсины.

Что произошло у Георгия Трофимовича дома, профессор даже рассказывать не стал, на Катины расспросы махнул рукой, буркнул: «Бесстыжие вы все»,— и заперся у себя в кабинете.

В тот же вечер Катя, набравшись храбрости, приехала к Лаптеву. Георгий Трофимович сидел на стуле у окна, в пальто и шляпе; казалось, что он так и не раздевался с той минуты, когда возвратился в свой дом из больницы.

— Мне сказали... Я слышала...— начала было Катя, которая уже утратила храбрость; ее охватывал страх оттого, что она не сможет объяснить Георгию Трофимовичу, зачем к нему приехала.

Но Лаптев и не спрашивал об этом.

— Все вернулось к тому, с чего начиналась жизнь,— сказал он.— К люльке, к колыбели. Я не умею ходить, ничего не понимаю, у меня нет ни профессии, ни любимого дела. Я спеленут по рукам и ногам. Но тогда, во времена пеленок, возле колыбели была мать, подходил изредка и отец. Теперь же не подойдет никто. Страшно, Екатерина Викторовна... Никого из близких у меня на свете больше нет.

Катя не выдержала, бросилась к нему, обняла. «Милый Георгий Трофимович, как же никого нет? Как же нет!..» — повторяла она порывисто.

Сбросив непривычные, мешающие очки, он сидел ссутулившийся, скорбный, сухими глазами смотрел в темный угол комнаты и молчал. А Катя почему-то горько, навзрыд, плакала...

Прямая в суждениях и восприятии жизни, она была настойчива в своей любви. «Счастья не ждут,— этого она не говорила себе, но так поступала,— за него борются, его берут с бою».

Георгий Трофимович постепенно оттаивал, окруженный ее заботами. Она еще не была его женой, они еще не

сказали друг другу «ты»,— но вела себя как жена, и он видел это, и в душе благодарил ее. Как жена, она настояла на том, чтобы, не дожидаясь ее, он уехал в Воскресенское, на свежий воздух. «Там, Георгий Трофимович, вам будет очень хорошо, там чудесные люди. Скоро приеду и я. А здесь оставаться вам никак нельзя». В Москве ему и в самом деле оставаться было нельзя. В письме к Ирине Аркадьевне Катя, не колеблясь, написала: «Муж».

Лаптев каждый день заходил к Лаврентьеву. Ему очень нравился колхозный агроном. Он наслышался о нем и от Кати, и особенно от Ирины Аркадьевны. То, как упорно Лаврентьев тренировал раненую руку, его восхищало. «Петр Дементьевич, это было гениально — дать ей предельную нагрузку. Я пойду по вашим стопам,— философствовал он.— Я придумал себе дыхательную гимнастику, потренирую легкие месяц-два, а потом тоже дам им нагрузку, вот увидите!»

Георгий Трофимович оказался для Лаврентьева ценнейшим союзником в изучении проблемы Междуречья. Он сквозь желтые свои очки мог разбирать только крупный книжный шрифт; машинописные слеповатые экземпляры материалов, присланных Лаврентьеву из Москвы через райком партии, его глазам были недоступны; Лаврентьев ему прочел их вслух.

— Очень важно, очень это все для нас важно.— Георгий Трофимович задумался.— Я не сомневаюсь, ну вот нисколько не сомневаюсь, и вы правильно предположили, что в заболачиваемости и закислении ваших почв виновата река Кудесна. Только она и она, Петр Дементьевич. Что там сказано? На глубине от двух до четырех метров в Междуречье залегают плотные глины, а Кудесна как раз здесь, против Воскресенского, делает крутую выгнутую петлю. Ее воды под землей струятся по этим глинам, ищут выход к Лопати, тем более это вероятно, что уровень Кудесны выше уровня Лопати. Гребенка ручьев и ручейков, которую вы видели на карте, не что иное, как именно выход подземных вод Кудесны на поверхность. Нам надо обследовать мелколесье в сторону Кудесны, да, надо, Петр Дементьевич, просто необходимо. Как вы думаете?

— Того же мнения. Необходимо. Но разве вы можете?

— Я? Конечно. Мне бы только лбом на осину не наткнуться, остальное пустяки! — Георгий Трофимович смеялся и мысленно благодарил Катю за то, что она

заставила его поехать в деревню, где возможна такая интересная, увлекательная работа.

Вспоминал Катю и Лаврентьев. «Катенька,— беседовал он с нею мысленно,— приедете, я вам непременно напомню наш разговор о любви. Вы говорили: «Большой любви не существует, она осталась в романах да в рассказах старшего поколения». Разве от малых, ничтожных, обыденных чувств отдают свое сердце больному, на две трети вырванному из жизни человеку? Вряд ли, милая Катенька, вряд ли...»

После окончания молотьбы пшеницы они вдвоем, Лаврентьев и Георгий Трофимович, собрались в поход на Кудесну.

Ирина Аркадьевна встревожилась за здоровье зятя, но он отшутился: «Геолог страдает только под крышей. Под открытым небом, под звездами он вновь здоровяк».

Лаврентьев не слишком верил тому, что, выйдя на крыльцо, Георгий Трофимович превратится в здоровяка. Дорогой старался как бы невзначай, за разговором, поддержать его под руку, идти не торопясь, прогулочным шагом. Так, вдоль воскресенского ручья, они добрались до леса и вошли в чахлый, полумертвый, изглоданный рыжей, ржавой водой осинник. Они шлепали по этой воде меж таинственных и, несмотря на свою густую, но слишком однотонную зеленую окраску, каких-то неживых, перистых папоротников, — шлепали высокими резиновыми сапогами, предусмотрительно взятыми Лаврентьевым из колхозной кладовой.

В лесу стояла кладбищенская тишина. Лес был такой гнилой, что в нем даже птицы не селились, предпочитая для гнездовий воскресенские сады. С мертвых ветвей седыми бородищами свисали косматые лишайники. Серыми были от лишайников и стволы. В таких лесах возникают самые страшные сказки.

Километров через пять ручей растворился в болоте,— здесь, по-видимому, и был его исток. Вода достигала коленей.

— Надо возвращаться,— сказал Лаврентьев.

— Что вы! Самое интересное впереди! — запротестовал Георгий Трофимович.— Хорошие мы будем разведчики — лужицы испугались!

— Но вам тяжело.

— Мне одно тяжело, Петр Дементьевич: ничего не делать. Идемте, идемте!

Шли осторожно, держась за руки, нащупывая ногами, к удивлению Лаврентьева, довольно плотное дно болота.

— Удивительного ничего нет,— пояснял Георгий Трофимович.— Здесь не торфяники, а речные наносы, ил. К нему, видите, липнут подошвы, и все-таки дно нас прекрасно держит. Глубже под илом — глина. Проваливаться нам некуда. Разве только яма случится.

Геолог оказался прав, интересное было впереди. Бредя уже не по колено, а по пояс в воде, они вышли к реке, широкой, полноводной, быстрой и вместе с тем несколько странной. Узкая кромка поросшей лозняком земли отделяла ее от болота. Вода струилась вровень с берегами. Не было ни спуска к плесу, ни обрывов,— три шага суши — и сразу вода.

— Ну вот вам и узел всей проблемы! — Георгий Трофимович весело щурился за очками на отраженное в реке солнце.— Предлагаю развести костер и просушиться.

Лаврентьев набрал сушняка, нанесенного половодьем и застрявшего в опутанных гнилыми водорослями прибрежных ракитах. Костер получился трескучий, жаркий, требовал еще и еще топлива. Развесили вокруг него на сучьях и корягах носки, портянки, брюки,— ходили нагишом.

— Жалко, снастей нет. В таких реках лососи водятся,— сказал Георгий Трофимович.— В общем, Петр Дементьевич, все ясно, это и в отчетах московской экспедиции отмечено: воскресенские поля заливаются милейшей рекой Кудесной, которая отнюдь не волшебница, как вам ее характеризовали в музее, а сущая ведьма. Что же делать? Как с ней, с ведьмой, бороться? Задача, знаете ли, задача! В гидротехнике ничего не понимаю. Мы, пожалуй... — размышлял он. — Да, да, именно... Мы поступим с вами так. Напишем моему хорошему знакомому в Минск. Если у него есть время, пусть приедет на недельку. Это такой специалист, такой специалист! Для него междуреченская ваша проблема — мелкое семечко. Он грызет орешек посолидней — проблему Полесья решает.

— Полесья!

— Да, Полесья. Там ведь как проблема решается? О, она мудро решается! На ее решение правительство средств не жалеет. Вот что там, в общих чертах, делается. Изучают геологическое строение всей Полесской низменности, хотят найти ответ на вопрос, поставленный еще Докучаевым, — какова природа образования тех болот.

Затем изучают гидрологические особенности Полесья, без чего невозможно решать вопросы регулирования водного режима местных рек. Дальше вопросы гидрологии и гидротехнических устройств увязываются с общекомплексной, народнохозяйственной проблемой Большого Днепра, так как бассейн Припяти и ее притоков безусловно связан с режимом Днепра. Отсюда — разработка вопросов водного транспорта и энергетики на водных бассейнах Полесья, учет запасов торфа, изучение генезиса торфообразования на Полесье, определение путей энергохимического использования торфяных богатств. Вот видите, что такое государственная постановка дела. По-делячески что́ бы сделали? Бились бы над разработкой технических и агротехнических мероприятий на осушенных кое-где торфяниках — и только. А потом эти осушенные поля вновь бы заболачивались. Перпетуум-мобиле.

— В Воскресенском дважды брались за местную мелиорацию.

— И неудача, так?

— Так.

— Следовало ожидать. Нет, Петр Дементьевич, местное делячество — это та же кустарщина. Все у нас в стране должно делаться по-государственному. Я геолог. Я-то знаю, как государство ставит, например, вопросы геологоразведки. Широта какая, размах! Понятно, и результаты соответственные. Вот, обождите, напишем моему другу. Если вырвется, хотя бы на денек, он нам все растолкует и все решит.

Снова брели по болотам, снова начерпали в сапоги, устали, измучились, особенно Георгий Трофимович, отвыкший от длительной ходьбы. Но был этот человек переполнен энергией настолько, что едва вернулись домой и переоделись, как он предложил немедленно писать в Минск. Вместе сочинили текст. Лаврентьев настоял на том, чтобы на всякий случай к письму приложить выписки из имеющихся у них материалов, набросать грубую карту с основными данными и сделать табличку урожайности воскресенских полей по годам. Письмо отправили с автомашиной в город, просили шофера сдать его авиапочтой.

Лаврентьев в эту ночь не мог заснуть до утра, так возбужден он был дневным походом, рассказом Георгия Трофимовича о гигантских масштабах работ в Белоруссии, и вдобавок его сверлила одна весьма неприятная

мысль. Получалось, что Серошевский — безразличный ко всему, хитрый и холодный обыватель Серошевский — прав. Вперед батьки в пекло не лезь. Не будь постановления партии и правительства — Полесье и по сей день утопало бы в чудовищных болотах. Значит, что? Сиди тут и молчи, ахай и созерцай, гляди, когда партия и правительство заметят болота Междуречья и вынесут решение покончить с ними? И только тогда засучивай рукава, берись за дело? Невероятно, но получается так. А сколько ждать и будет ли такое решение вообще когда-либо? Согласиться с подобной мыслью Лаврентьев не мог, протестовал против нее всем своим существом. Он ни на грош не верил Серошевскому, его смущал лишь рассказ Георгия Трофимовича. Георгию Трофимовичу он безусловно верил. Выходило так, будто бы — складывай оружие. А оружие складывать не позволяла совесть.

Ответ из Минска пришел через пять дней. Это была телеграмма: «Приехать не могу. Много работы. Материалами познакомился. Ваша проблема, по-моему, до крайности проста. Один, два канала из Кудесны в Лопать. Рекомендую через область вызвать специалистов. Приветом. *Максимов»*. Георгий Трофимович показал телеграмму Лаврентьеву. В колхозе в это время уже шла уборка яровых, начался самый ответственный и напряженный период сельскохозяйственного года. Лаврентьев с досадой пробежал глазами по наклеенным на бланке телеграфным лентам, понял, что дело пока откладывается если не в самый долгий ящик, то и не в самый близкий, расстроился и ускакал в поле.

## 2

В колхозе лущили стерню, досевали озимые, начали поднимать раннюю зябь, одновременно шла молотьба. У Лаврентьева почти не оставалось времени на болотные изыскания. Но Георгий Трофимович отдался им целиком.

— Имейте в виду,— сказал как-то геолог Лаврентьеву,— что начатое вами дело уже перестало быть только вашим делом, оно приобрело общественное значение и, даже если бы вы от него совсем отстранились, будет жить и развиваться. Потому что оно очень нужное и важное.

— Отстраняться, знаете ли, не собираюсь,— ответил Лаврентьев.— Просто текучка заела.

— Знаю, вижу, Петр Дементьевич. Это я в качестве обобщения высказался. Давно заметил, что нужное и важное у нас непременно подхватывается. Был случай. В одном из районов во время войны искали медь. К разведке привлекли население, поиски развернули довольно широко. Но руководитель работ почему-то разуверился в успехе и все свои силы перебросил в другой район. Так что́ вы скажете! Он отступился — колхозники не отступились. Среди них оказались два истинных энтузиаста, они еще несколько месяцев бились в одиночку — и таки нашли медную руду.

— Вы правы, Георгий Трофимович,— согласился Лаврентьев. А про себя подумал: «Вот и ответ на мои сомнения, Серошевский все-таки в самом деле болван и пустобрех».— Новое дело у нас,— добавил он,— как боевое знамя. Под любым огнем противника оно никогда на поле битвы не падает наземь. Сражен один знаменосец, знамя тут же подхватывает другой.

— Очень хорошее сравнение, Петр Дементьевич, очень! Разрешите мне, когда вы заняты тем, что у вас называется текучкой, поддерживать знамя междуреченской проблемы.

Лаврентьев улыбнулся.

— Лучшего товарища не желаю. Колхозу здо́рово повезло, что вы сюда приехали.

— Полно вам! Не я, так кто-нибудь другой бы приехал. Не сегодня, так завтра, и, наверно, более знающий, чем я. Хозяйство наше плановое, случай в нем играет весьма незначительную роль.

Товарищ был непоседлив. Он предложил прокатиться по Лопати на лодке. «Надеюсь, мы и там увидим нечто интересное».

Воскресенцы, почти каждый, держали лодки или челны. Суда эти стояли на привязи или лежали на берегу, опрокинутые кверху днищами. Лаврентьев обычно пользовался легкой лодочкой Карпа Гурьевича. Она была широкая и удобная, со скамейками, выкрашенными в голубую краску, и больше походила не на рыбачью лодку, а на прогулочную, какие на водных станциях выдаются под залог профсоюзного билета.

Выехали вечером, когда на реке перед зорькой разыгралась рыба. Большими и малыми кругами отмечались рыбьи всплески. Плыли медленно, вдоль берега. Лаврентьев еле шевелил веслами, и, когда поравнялись с обры-

вом, на котором стояла бывшая барская усадьба и зеленели колхозные сады, Георгий Трофимович воскликнул:

— Вот вам, глядите!

По всему обрыву, под норками, просверленными в песке ласточками-береговушками, подобно корабельной ватерлинии, тянулась темная влажная полоса. Подгребли ближе, врезались в камыши, пристально разглядывали полосу. Из нее, как из-под пресса, выжималась вода и стекала тончайшими ручейками в реку.

— Вода Кудесны! — сказал Георгий Трофимович.— Последнее подтверждение. Разведчикам, откровенно говоря, здесь и делать больше нечего. Нужны гидротехники. Вы чувствуете?

Георгий Трофимович заинтересовался церковкой на противоположном берегу, выглядывавшей из сосен, попросил пристать: «Типичный пейзаж старой России». Лаврентьев причалил возле одинокой ивы, погнутой, исковерканной вешними льдами, дуплистой. Она висела над водой, песок под ней и вокруг был истоптан. Мальчишки приходили сюда ловить окуней, которые любили стоять в древесной тени, в глубоких прибрежных ямах.

Лодку вытащили до половины на песок, чтобы не унесло течением, пошли к церкви. Под куполом свистели крыльями и ворковали голуби, в разбитые окна лезли молодые рябинки, украсившиеся гроздьями желтых, еще незрелых ягод. На паперти рос громадный куст чертополоха, и по серым плитам стелились широкие седые листья репейников.

— Какой дикий уголок! — восхищался Георгий Трофимович, то снимая, то вновь надевая очки.— Жизнь здесь как бы уснула. Два километра от людских жилищ — и вот древняя тишина.

— Одну минуточку, Георгий Трофимович, — извинился Лаврентьев.— Я сейчас...

Он заметил людей в старом сарае за церковью, в том самом сарае, где зимой скрывалась сбежавшая Милка с теленком, и, оставив геолога, пошагал туда. Сено съели кони огородной бригады, в сарае было теперь просторно, на земляном полу разостланы громадные брезенты, прогрызенные крысами, на балках над ними, корнями вверх, висели стебли семенников редисов и редек с распухшими, как бы надутыми воздухом, стручьями. Легким шестиком, наподобие лекторской указки, но только с железным крючком на конце, их развешивала бабушка Устя.

— Редкий у нас гостюшко,— заговорила старуха, увидев Лаврентьева.— И к полеводам он, и на коровник, и на пасеку — куда хошь идет, только не к семеноводкам,— чем мы, бедолаги, проштрафились-то... Будто уж и нету нас в колхозе... Кланюшка! — крикнула она и, утирая передником лицо, ждала ответа.

Клавдия появилась в воротах, противоположных тем, через которые вошел Лаврентьев.

— Здравствуйте, Петр Дементьевич,— сказала безразлично.— Давно вас не видела.

— Да вот бабушка уже проработала меня за это. Редкий, мол, гость у семеноводок.

Лаврентьев бодрился, говорил много лишних слов,— он чувствовал себя связанным в присутствии Клавдии. Если бы за делом пришел, тогда ладно, тогда он, агроном, руководитель, исполняет обязанности, определенные его должностью, и тогда, Клавдия, держись, односложными ответами не отделаешься. Но когда вот просто так забрел, по пути, без особых намерений — это хуже, о чем-то надо говорить, а о чем — не придумать.

— Зачем же прорабатывать? — сказала Клавдия.— Насильно мил не будешь. Решили, Петр Дементьевич, закрыть семеноводство — и закрыли.

— Это слишком, Клавдия Кузьминишна.

— Нет, не слишком, Петр Дементьевич. Все отдали Анохину и комсомолкам, все силы кинули туда. А что получили с их участков? Пятьдесят тонн пшеницы. Подсчитайте, сколько на деньги выйдет. Гроши!

— Клавдия Кузьминишна, пшеница эта дороже любых денег. Она пионерка в наших местах. Драгоценный семенной материал.

— Еще в прошлом году драгоценным считался мой семенной материал.

— А кто сейчас это отрицает?

— Вы. Но вы ошибаетесь, с грязью нас смешать вам не удастся. Нет и нет! — Она вскинула голову и пошла из сарая. Лаврентьев окликнул:

— Клавдия Кузьминишна!

— Да? — обернулась она.— Слушаю, товарищ агроном.

Возле крутилась бабка Устя, ловила каждое слово. Завтра, а может быть, еще и сегодня, разговор будет известен всему Воскресенскому. Этого Лаврентьеву совсем не хотелось.

— Клавдия Кузьминишна,— попросил он,— пройдемтесь немножко.

— Пожалуйста.— Она пожала плечами.

Они шли меж сосен, неприметно для себя держа путь к реке. Клавдия заметила Георгия Трофимовича, который в одиночестве копал сучком землю возле церковного фундамента и, кажется, был очень увлечен своим делом. Она несколько раз оглянулась в его сторону. Катиного мужа ей еще не приходилось встречать в селе, он был для нее незнакомцем.

— Так что же вы хотели сказать?

— Дело в том, Клавдия Кузьминишна, что у нас какие-то очень странные с вами отношения. Простите за прямоту, вы изображаете из себя нечто вроде оппозиции, вы недовольны любым решением правления, любым моим словом. И напрасно. Нельзя смотреть на вещи только с узкой, лично своей, сугубо своей точки зрения.

— Семеноводство — не мое сугубо личное дело,— оборвала его Клавдия.

— Я говорю не о семеноводстве, а о вашем отношении...

— Я не могу иначе относиться к людям, которые мне мешают и не дают работать.

— Эти люди, очевидно, я?

Клавдия молча глядела на рыбьи игры в реке.

— И вы, очевидно, были бы довольны — исчезни из колхоза агроном Лаврентьев? — продолжал он.— Не так ли, Клавдия Кузьминишна? Молчите? Так вот, дорогая Клавдия Кузьминишна, — голос Лаврентьева обрел привычную твердость,— агроном Лаврентьев никуда не исчезнет. Я буду работать и поступать так, как найду нужным. Если понадобится — пользуюсь вашим выражением — закрыть семеноводство, мы его закроем.

— Вот как!

Они стояли под старой ивой, Клавдия стремительно обернулась, прижалась спиной к шероховатому стволу, глаза ее горели гневом.

— Петр Дементьевич, напрасно думаете, что вы всесильны.

В эту минуту им казалось, что они ненавидят друг друга страшной ненавистью, даже не задумываясь — почему. Он — в порядке внутренней самообороны, она — поэтому же, конечно. Ни один не знал истинных чувств другого, да и в своих еще толком никто из них не разобрался.

— Я с вами разговаривать не хочу! — сквозь зубы, вся побелев, бросила Клавдия.— Никогда, ни одного слова. Слышите?

— Слышу. Но разговаривать вы со мной будете,— упрямо нагнув голову, ответил Лаврентьев.

Клавдия выпрямилась, смерила его прищуренными глазами и ушла к сараю.

Лаврентьев грустно посмотрел ей вслед, долго стоял еще под ивой и отправился за своим спутником.

### 3

Лаврентьев вошел в кабинет секретаря райкома. Карабанов встал ему навстречу из-за стола.

— Ну, как там дела на Лопати?

— Как дела? — Лаврентьев огляделся. Кабинет Карабанова напоминал краеведческий музей в миниатюре. Многие секретари сельских райкомов любят такие кабинеты. Тут и модели местной продукции, и тыквы в три пуда весом, и диаграммы роста урожайности, и снопы различных злаков. Среди снопов стоял и сноп из анохинской бригады. Не сноп, правда, — маленький снопик: Ася пожалела отдать много колосьев. В граненом стакане рядом с чернильным прибором желтела и Асина пшеница — чистое, отборное зерно. Приедут товарищи из области, Карабанов похвастает — вот-де вырастили, даст попробовать зернышко на зуб, прикинуть стакан на вес — тяжеленькая, тянет!

— Дела идут, Никита Андреевич.— Лаврентьев сел в кресло и закурил папиросу.— О них и поговорить приехал.— Он стал подробно рассказывать о результатах похода на Кудесну через заболоченный лес, о предположениях и выводах, сделанных Георгием Трофимовичем, о телеграмме из Минска. Закончил тем, что сообщил просьбу правления колхоза поторопить гидротехников из области, пусть поскорей приедут, разберутся на месте и составят план или проект сооружений для регулирования уровня обеих рек. Стройку же — правление и партийная организация решили — можно будет вести народным способом, народ откликнется: три сельсовета и совхоз — шестнадцать селений Междуречья — страдают от болот.

— Идея неплохая.— Карабанов долго барабанил пальцами по коробке папирос.— Какие-то вы там, в Воскре-

сенском, удивительно боевые стали и инициативные. Просто на пятки нам наступаете. Это здо́рово хорошо. Честное слово, хорошо. Я созвонюсь с обкомом, Петр Дементьевич, объясню все и посоветуюсь. Ты знаешь нашего секретаря обкома? О! Вот приедет, познакомлю вас. Для него услышать о чем-нибудь новом, что зарождается в области,— целый праздник. Если убедится в необходимости канала, сам лопату возьмет в руки. Не преувеличиваю, не думай. Позапрошлой зимой на лесоразработках новую электропилу не могли освоить. Прикатил и три дня орудовал с лесорубами. Надел ватник, валенки, — семь норм выполнил. Скажешь, что это не обязательно, что для секретаря обкома нормы другие? Правильно, — конечно, другие. Но он все должен уметь. Партийный работник, Петр Дементьевич, скажу тебе прямо,— работник особой категории. Очень велики требования, предъявляемые к нему. Очень. Спрос с него большой. Он человека отлично должен знать, человека, понимаешь. А как узнать человека, не находясь постоянно с ним вместе, не вникая в его труд, в его жизнь? Невозможно. Я работник маленький, но стал бы ничтожным, вздумай ограничиться вот этим кабинетом. Тыквы, снопы — цацки, забава глазу. Жизнь-то ведь там, там!..— Карабанов махнул рукой в сторону окон, через которые за крышами городка были видны поля и синие полосы лесов на горизонте.— Оторваться от жизни, от людей — это, знаешь, в конечном счете оторваться и от партии. Небольшой тебе примерчик. Был у нас начальник областного земельного управления. Так себе, дядька как дядька, работник как работник. Выдвинули на должность заместителя председателя в облисполком. И что ты скажешь — полгода не прошло, переменился человек. Первым делом дачу завел. Но хорошо бы просто дачу, каждый имеет право ее завести. Нет, забор в три метра высотой отгрохал, гектаров пятнадцать земли отхватил, пруд приказал там себе вырыть — колхозников на это дело гонял; карасей напустил. Фонтан потом придумал с какими-то световыми эффектами. Смешно — сидит один человек за забором, карасей удит, на фонтан любуется. Какое ему дело до народа, до партии,— отсидел в кабинете, шмыг на машине за город, на дачку. Понятно, заскучал там в одиночестве, собутыльники пошли и тому подобное. А раз так, то уже не государственная, не партийная дисциплина вокруг него установилась, а групповая, семейственная. Так называемые «свои люди», свои

прожектики, свои мыслишки. Скатился человек с линии партии. А партия, Петр Дементьевич, ой как строга к таким фокусам. С самых давних времен, с подполья эта строгость в ней.

— Ну и как с ним, с начальником этим? — спросил заинтересованный Лаврентьев. Он же знал его, работая в облземотделе агрономом-плановиком, знал, что тот никогда не выезжал в область, не здоровался с сотрудниками, кричал на подчиненных, стучал кулаками по столу; самой страшной угрозой в его устах было обещание отправить в район, в колхоз, на участок.

— С дачником-то? Исключили из партии, сняли с работы, отправили на участок. Он агроном по образованию. Дали, как говорится, возможность подумать над самим собой. Вот так обстоят дела, Петр Дементьевич. Что намерен сегодня делать?

— Домой поеду.

— Обожди, успеешь. До чего работяга стал, сил с тобой нету. Походи, погуляй по городу, городок у нас старинный, в крепость загляни, церквушки тут у нас шестнадцатого века, завлекательные. Я тем временем с обкомом созвонюсь, закажу сейчас разговор. А вечерком — ко мне. С женой, с дочкой познакомлю. Есть? Ну то-то. Часикам к восьми возвращайся. Жду.

Лаврентьев обошел весь городок, заглянул и в крепость, и в церквушки шестнадцатого века. Его там поразили необыкновенно хмурые лики святых. Расписанные по черному лаку, извивались языки адского пламени, возле них лежали в кучах цепи, висели плети. «А страшновато было жить, однако, в те времена,— подумал Лаврентьев, разглядывая эти памятники средневековья.— Насмотришься таких красот — и спать не будешь».

Побродил он по бульвару над рекой. Река здесь была та же, что и в Воскресенском,— Лопать, но только мельче; местами она едва пробивалась по каменистым перекатам, и там мальчишки строили запруды.

Было уже около восьми. Лаврентьев держал путь к райкому, когда его окликнули:

— Товарищ агроном!

С коня соскочил Лазарев, колхозный председатель из Горок, который защищал его на исполкоме.

— Слух идет, задумываете что-то в Воскресенском? Большие переустройства?

— Как будто бы большие,— с готовностью ответил Лаврентьев.

Присели на лавочку возле ворот конторы «Заготзерно». Лаврентьев рассказал о предполагаемых работах в Междуречье.

— Вот это сила! Вот это мне по душе! — восторгался Лазарев.— Большой размах! Силенок-то хватит ли?

— Своих? Своих — нет. Помощь нужна.

— Ну так ведь как не помочь! И государство поможет, и народ.

— На это и рассчитываем.

— Расчет правильный. Погодь-ка, мы к вам с делегацией приедем, что да как, подивиться.

— Дивиться еще нечему. Все пока на бумаге.

— Хе, на бумаге! Я, товарищ Лаврентьев, помню годочки — завод в Сталинграде тоже был на бумаге, а теперь села не найдешь, где бы сталинградскими тракторами не пахали. Мы затем и приедем — поучиться, как такие бумаги составляются.

— Если так — ждем, товарищ Лазарев. Рады будем гостям.

— Куда путь держите? — Лазарев поднялся.— Может, в чайную зайдем, по кружечке пивка?

— Карабанов пригласил.

— Ну, коли так, будьте здоровы, товарищ Лаврентьев. Приветствие от меня Антону Суркову. Третьим годом им самим было трудно с тяглом, а бригаду пахарей прислал нам в помощь. Крепко подсобил. Я его, Антона, уважаю. Мягковат, толкуют тут, в районе. А что им, Малюту Скуратова надобно?..

— Или Егория на белом коне?

— Во-во! — Лазарев усмехнулся в клочковатую бороденку. — Приветствую в общем и целом на данный момент.— Взобрался в седло и тронул лошадь.

Карабанов встретил Лаврентьева возгласом:

— Думал, пропал ты, Петр Дементьевич! Без четверти девять.

— Лазарев задержал.

— Из Горок? Поговорить любит. Как приедет, на три часа разговоров. То́ объясни да это, того дай, третьего... Но дело свое председательское знает. Двадцать лет председателем работает. Ну, пошли!

— А разговор с областью был? — Это больше всего интересовало Лаврентьева.

— Был, был, все в порядке. Удачно секретаря застал на месте. Обещал подумать.

— Только подумать?

— Ты его, Петр Дементьевич, не знаешь. Если дело не годится, так сразу и скажет: не годится. Сказал подумает,— имеем семьдесят пять шансов за. Идем!

Дверь им отворила жена Карабанова Раиса Владимировна.

— Вот он, Рая, отчаянный охотник! — представил Карабанов гостя.

Раиса Владимировна, тоненькая, живая, с девичьей прической — косы над ушами венскими булочками, взглянула веселыми карими глазами.

— Спасибо за лисичку, товарищ охотник. Мы из нее дочке воротник сделали. Модницей поедет в институт.

— Лисичка была общая, Раиса Владимировна.— Лаврентьев сразу усвоил простой тон разговора.— На мою долю разве только хвостик пришелся. А его, понятно, и выкинули?

— Что вы! Хвостик — главная красота. Натка его приспособила какой-то висюлькой на плече, очень кокетливо получилось. Проходите, пожалуйста, проходите.

Квартира у Карабанова была уютная, но небольшая — три тесноватых комнатки: кабинет, спальня и столовая. В столовой, в кресле с высокой спинкой, сидела бабушка с двумя парами очков на носу и вязала полосатый носок. Из кабинета вышла рослая девушка, дочка, на голову выше своей матери.

— Ната,— сказала она, представляясь гостю.

Гость в доме Карабановых считался, видимо, особой священной. Для гостя все оставляли свои дела. Бабушка и та отложила вязанье и сняла вторую пару очков, как бы желая этим сказать: ну вот я свободна, к вашим услугам.

Лаврентьева усадили на единственный — кроме бабушкиного кресла — мягкий стул. Раиса Владимировна хлопотала, раскидывая свежую скатерть, выставляя на ней тарелочки с закусками; Ната, как все великовозрастные дочки, не находила себе дела, с полотенцем через плечо бродила за матерью, выглядевшей ее сестрой, и спрашивала: «А эту чашку тоже мыть?» — или: «Где же вилки, мама? Я их положила сюда». Бабушка расспрашивала Лаврентьева об урожае. Она не была из тех бабушек, которые интересуются астрономией, атомной физи-

кой и палеонтологией, она была просто бабушкой, любила ворчать, играть в подкидного или в Акулину и вязала чулки. В чулках этих никто не нуждался, даже и новые, они пахли нафталином, и домашние носили их только из вежливости, чтобы не обидеть старуху.

— Голоду не будет, говоришь? — спрашивала она Лаврентьева.— Ну и слава богу, не допустил.— Об урожаях она спрашивала всех и вся с тысяча девятьсот сорок шестого неурожайного года.

— Да это же сам бог и сидит, мамаша, — сказал ей Карабанов, указывая на Лаврентьева.— Это он не допустил. У него еще там два взвода ангелочков есть, помощниц. И все — комсомолки.

— Оставь, Никита,— отмахнулась рукой бабушка.— Человек придет, поговорить не даст с ним.

Карабанов вынес из кабинета ружье, заставил Лаврентьева попробовать — каково на вскидку, прикладистое ли, прицелиться в глиняную тарелочку на стене.

Разговаривали в семье несколько ворчливо. Но ворчание было дружественное, шло оно, вероятно, от бабушки. Все здесь любили друг друга,— это Лаврентьев видел и завидовал Карабанову. Особенно ему нравилась Раиса Владимировна; он украдкой следил за каждым ее шагом, за каждым движением, но, как ни скрывал своих взглядов, Карабанов их заметил.

— Гляди, Дементьевич, не влюбись в мою жену. Врагами станем. Я домостройщик, — посмеялся он.

Домостройщик встретил Раису Владимировну еще в совпартшколе, где молоденькая, краснощекая учительница преподавала историю и географию людям гораздо старше ее по возрасту. Недавний машинист так в нее влюбился, что забросил занятия, ходил с красными глазами от бессонницы, был намерен вернуться на паровоз. «Все равно теперь жизнь моя на конус пошла»,— писал он шальные записки предмету своей любви. Раисе Владимировне большого труда стоило вернуть его на путь истинный. Двадцать лет она была верным спутником и другом Карабанову, помогала ему учиться на рабфаке, в институте, проверяла его тетрадки и записи, придумывала темы для сочинений и нисколько не огорчилась, когда почувствовала, что Никита перерастает ее, уходит вперед. Напротив, только гордилась и радовалась. Она преподавала и сейчас в десятилетке и была самой любимой учительницей в школе.

— Не смущайтесь,— ободрила она Лаврентьева.— Никита Андреевич всех предупреждает о том, что он ревнив. Он меня даже поколотить хотел однажды, лет восемнадцать назад, когда слишком поздно засиделась с его товарищами по рабфаку. Влетел в класс, схватил — и бегом домой. Чуть руку не оторвал.

— Поклеп, поклеп! — возмутился Карабанов.— Просто крепко держал, чтобы не убежала. Придвигай стул ближе, Дементьич. Водочки выпьешь?

— Давно не пил.

Раиса Владимировна пододвинула к Лаврентьеву масленку, хлеб, тарелки с закусками.

— Я была страшно возмущена, когда Никита Андреевич рассказал мне о том, что произошло на исполкоме,— говорила она.— Дичь какая! Отвратительный человек этот Серошевский. Мне теперь неприятно на него смотреть, после всего этого.

— Товарищи, товарищи, не обрабатывайте секретаря райкома,— раздельно, как бы отрубая нечто невидимое на скатерти ребром ладони, сказал Карабанов.— За столом не будем говорить ни о людях, ни о делах.

Но все равно и о людях, и о делах говорили. Говорили о будущем Наташи, о том, что улетает дочка в жизнь. И совсем не так говорили, как Ирина Аркадьевна о Кате. Катя вышла на самостоятельную дорогу,— жизнь матери, по мнению Ирины Аркадьевны, кончена,— старой птице пора на покой.

— Вот семейка будет,— радовался Карабанов вместе с Раисой Владимировной.— Натка учительницей станет, мужа приведет... Ну не красней ты, не красней — все равно этим кончится твоя юность, доченька. Приведешь его, может быть, толковый парень окажется — и так ведь бывает, — заживем, дел натворим каких!

Потом завели патефон, потанцевали. Бабушка сидела, притворно хваталась за голову: «Вскружили, совсем вскружили!» — но была довольна: любила, когда в доме весело. Специально для нее сыграли в домино вчетвером. Раиса Владимировна в игре участвовала в качестве консультанта — сидела за спиной Карабанова и подсказывала ему, какой костью ходить. Все делали вид, что яростно борются с бабкой, партнером которой был Лаврентьев, но втихомолку старались ей подыгрывать, и она выигрывала, именно она, партнер в счет не шел. Старуха не скрывала своего торжества: «Вот как в старину-то игры-

вали!» Лаврентьев с этой минуты был ею признан: хороший человек, понимает, что́ к чему.

Хорошего человека, понимающего, что к чему, уложили спать в кабинете. Он поднялся рано; не дожидаясь завтрака, попрощался и ушел. Во дворе Дома Советов его ждала понурая, проголодавшаяся Звездочка. Он обнял лошадку за шею, она тихо и дружелюбно проржала. У нее не было обиды на хозяина за долгое отсутствие, она радовалась ему, проскучав ночь у коновязи.

Лаврентьев купил в фуражном лабазе овса, свел Звездочку на реку и только тогда успокоился и поехал домой. Верхом ли на коне, в машине, у окна вагона — в дороге всегда много думается. Всю дорогу до Воскресенского Лаврентьев думал о семье Карабановых. Пытался на место Никиты Андреевича поставить себя, а на место Раисы Владимировны — Клавдию. Не получалось. Даже в мыслях не получалось.

## 4

Бабушка Устя и Клавдия говорили неправду, что Лаврентьев закрыл семеноводство. За семеноводками он следил внимательно, но следил так, чтобы напрасно не вмешиваться в их дела; дела и без его вмешательства шли хорошо, недаром Клавдия слыла лучшей семеноводкой в области. После того как весной удалось сбить немножко Клавдиину спесь, урезать ее непомерные требования, он сам нет-нет да подбросит народу в помощь на прополке, добавит коней и пропашников для междурядных рыхлений, калийной соли, суперфосфата для подкормки. Клавдия объясняла помощь агронома тем, что он расшумелся вначале, а потом струсил — как бы не провалить важную статью колхозного дохода.

Клавдиины участки — не то что участки полеводов. Они были раскиданы в заречье далеко один от другого, и некоторые из них даже и участками не назовешь; так — десяток гряд где-нибудь в кустах или возле озерка. Разбросаны они были для того, чтобы не происходило переопыления и скрещивания сортов овощей.

Лаврентьев изредка наведывался в заречье — не столько для проверки Клавдииной работы, сколько для пополнения своих знаний. Оставит Звездочку возле парома — и пойдет от свекольных семенников к брюквенным, от

брюквенных к морковным, от капусты «Слава» к поздней капусте «Ладожской». Разглядывает, сколько стеблей Клавдия оставила, какие вырезала, — старается сам решить, почему она так сделала. Клавдия была не просто семеноводкой, не просто размножала семена, получаемые колхозом от зональной овощеводческой станции, но и сама, как рассказал Антон Иванович, третий год работала над выведением нового сорта моркови, пригодного для сырых почв с высокими грунтовыми водами. Лаврентьев своими глазами видел весной ящик морковок, больше похожих по форме на свеклу или репу, чем на морковь. Колдовала Клавдия и над помидорами, искусственно переопыляя их цветы и затем пряча стебли с переопыленными цветами под колпачки, сшитые из пергамента.

Под колпачками, по воле Клавдии, происходили незримые процессы взаимного влияния одного растения на другое, в результате чего должен был возникнуть зародыш третьего. Что нового будет в нем, в третьем, отличном от первого и от второго, — такой вопрос волнует каждого селекционера. Лаврентьев не увлекался селекцией — делом кропотливым и требующим душевного призвания,— его натура жаждала размаха, борьбы, крупных переворотов; переносить кисточкой пыльцу с тычинок на пестики и ждать годами, что́ в конце концов получится,— об этом ему даже подумать было страшно, тем более он удивлялся упорству селекционеров и смотрел на них как на истинных творцов нового, как на скульпторов природы. Тяга Клавдии к такому ваянию, где материалом служит не глина и не мрамор, а живое растение, вызывала его тайное уважение. Он вообще всегда уважал искусников. Искусником в своем ремесле был Карп Гурьевич, — Лаврентьев его уважал. В институте с ним вместе учился Толя Бренчанинов, который разрисовывал шкатулочки и портсигары совсем как палехские мастера,— Лаврентьев очень дорожил дружбой с Толей. На батарее у него служил солдат, ящичный Гуськов; он резал из дерева смешные фигурки по басням Крылова. В искусниках Лаврентьева прежде всего занимало то, что они очень и очень много делают сверх требуемого от них.

За свои опыты Клавдия не получала ни дополнительных трудодней, никаких лишних материальных благ, ни славы, но тратила на эти опыты не меньше труда и времени, чем на основную работу. Выдастся свободная ми-

нутка — Клавдия среди цветущих семенников, мудрит над ними, прищипывает, переопыляет, надевает колпачки, которые сама же и шьет дома. Солнце уже уйдет, летучие мыши с тонким писком вьются в сумеречном небе, а Клавдия все еще там — где-либо на дальней делянке, иногда с бабушкой Устей, увязывавшейся за ней для компании, чаще — одна.

Оттого, что участки Клавдии были разбросаны по всему заречью, Лаврентьев, обходя их, обычно не сталкивался с семеноводкой, да и Клавдия его избегала. Увидит издали и уйдет на другое поле. Погрозила под ивой не обмолвиться с ним ни единым словом,— ни одного слова не было сказано с того вечера, а прошли добрые две недели. Начинался сентябрь.

Погожим днем, пустив на лужок Звездочку, Лаврентьев шагал к лесу, расцвеченному первыми осенними красками, багрянцем иудина дерева — осины, желтизной берез и рябин. Возле леса было большое поле семенной свеклы, ее вот-вот начнут убирать, и следовало выяснить, сколько выделять дополнительных подвод, покупать ли специальную машину или семеноводки справятся с молотьбой свекольных семян вручную. Тратить лишние деньги Антон Иванович не желал, в колхозе установили режим строжайшей экономии средств, такой строжайший, что, пожалуй, и чересчур. Придет Носов: «Вожжи бы новые, пар пять, Антон Иванович? Поизносились наши...» — «Потерпим, потерпим, Илья. Надо потерпеть, свяжи как-нибудь, слатай. Потом сразу всем разживемся». Или дядя Митя явится: «Дымарь купить надо, мехи прохудились».— «Сколько сто́ит?» — «Рублей сорок — полсотни».— «У меня не госбанк, заработайте прежде — тогда хоть золотую карету покупайте».— «А разве мы не заработали, Антон Иванович?» — «Мало, мало, больше надо. Жмите». Вот Клавдия, впервые за все лето, попросила председателя приобрести овощную молотилку,— прочла в районной газете, что такие поступили на склад Сельхозснаба. «Будь добренький, Петр Дементьевич,— сказал Антон Иванович Лаврентьеву, — посмотри сам. Если решишь — надо,— купим. Но хорошо бы — не надо». Лаврентьеву Антон Иванович доверял больше, чем себе. Сам он увлекался и от этого решал иной раз неправильно — по настроению. Лаврентьев же, прежде чем что-либо решить, все тщательно взвешивал. Этому Лаврентьева научили жизнь и те немногие, но грубые ошибки, кото-

рые он совершил на первых порах своей деятельности в Воскресенском. В частности, очень многому его научила ошибка с телушкой Снежинкой. Спешить и кустарничать он перестал. Дарье Васильевне больше не приходилось жаловаться на то, что агроном забывает о колхозном активе. Задумав новое, он непременно шел к Дарье Васильевне. У нее была особенность смотреть на вещи удивительно трезво и правильно. Когда Лаврентьев на партийном собрании доложил о своих и Георгия Трофимовича предварительных выводах и сказал, что, возможно, понадобится рыть канал,— силами воскресенцев такую работищу не одолеешь и за две пятилетки,— Дарья Васильевна подумала-подумала, да и нашла выход: «А про Ферганский канал ты запамятовал, Петр Дементьевич? Позвали там — тысячи народу сошлись, лихо как дело-то двинули. И мы позовем,— не без языка на свет родились».

Лаврентьев говорил себе, что ему очень повезло оттого, что он окружен такими людьми, как Никита Андреевич, партийный руководитель с большим жизненным опытом; как Антон Иванович — человек с мечтой и светлыми помыслами; как Дарья Васильевна, сочетающая в себе недюжинный ум, твердость характера и женский такт, материнскую теплоту. В подобном окружении, с такой поддержкой только работать да работать.

Выполняя просьбу Антона Ивановича — посмотреть лично, нужна или не нужна молотилка Клавдиному звену, Лаврентьев шел по заречью. Тут за полями овощеводов стояли побуревшие стога, почти на каждом недвижно сидели ястреба, скошенная трава на лугах вновь отросла, и ее можно было косить на силос. Промчался, делая саженные прыжки, испуганный заяц. Один из ястребов кинулся было за ним, но заяц юркнул в кусты и залег меж корней. Ястреб сделал вид, будто и не за добычей сорвался со стога, а просто так, размять крылья, и стал медленно уходить ввысь, паря над лугом широкими кругами. Потом Лаврентьев заметил шевелящийся бугорок свежей земли, подкрался к нему на цыпочках, присел, стал ждать, что будет дальше. Но крот уже почуял человека и убежал от него подземными лабиринтами подальше. Бугорок больше не шевелился. Потом над головой низко пролетела цапля, с вытянутыми тонкими, как две палки, ногами. Все это задерживало на пути, привлекало внимание.

Лаврентьев прибавил шагу. Впереди он заметил двух женщин, сидевших на обочине полевой канавы. Подойдя ближе, узнал Клавдию и бабушку Устю, которая сухими пальцами ощупывала ступню Клавдиной босой ноги.

— Петр Дементьевич, Петр Дементьевич! — заговорила старуха, увидав Лаврентьева.— Подводу бы, коня какого...

— Перестань, — пыталась остановить ее Клавдия.

— Чего переставать, чего переставать... Петр Дементьевич! Гляди, ножку красотка наша повредила. Прыгнула, вишь, через канаву — и матушки мои!.. Что, как жилы порвались? Ступить не может.

— Ступлю, не шуми, пожалуйста.

Клавдия поднялась, сделала шаг и закусила губу от боли.

— Коня бы, а? — твердила бабка. — Где он, конь-то твой?

Конь был далеко, возле парома.

— Клавдия Кузьминишна,— сказал Лаврентьев,— обхватите меня за шею, я помогу вам.

Клавдия отстранилась.

— Обойдусь без помощи.

Она сделала еще несколько шагов, изо всех сил стараясь не хромать. В глазах ее Лаврентьев заметил слезы. Клавдию мучила не только боль, но и досада на то, что она предстала перед Лаврентьевым в таком жалком, беспомощном виде.

— Вот что, Клавдия Кузьминишна. Стойте! — решительно заявил Лаврентьев.— Отбросим-ка наши ссоры. Возобновить их мы успеем и в другое время. А пока...

Он подхватил Клавдию на руки таким ловким и быстрым движением, что она не успела вовремя воспротивиться. Рванулась, толкнула в грудь руками, но он только крепче прижал ее к себе, нес, как ребенка,— правая рука обхватом под колени, левая под спиной; щека Клавдии на его плече. На руках Клавдия была что двенадцатилетняя девочка — не в пример своей пышной сестрице. Казалась всегда такой высокой, величавой, а сама худенькая и легкая. Лаврентьев шел, почти не ощущая тяжести ее тела. Он ощущал только ее тепло и биение своего сердца. Бабушка Устя едва поспевала за ним, семенила по-старушечьи, горбясь и придерживая сзади длинную сборчатую юбку.

Он совсем не ожидал, что Клавдия так быстро смирится.

Он думал — будет биться, рваться, говорить свои злые, резкие слова; приготовился к борьбе. Но она, толкнув его в грудь, вдруг закрыла глаза и притихла; Лаврентьев впервые увидел краску на ее белом, не подверженном загару лице.

Против всяких ожиданий, Клавдии было так хорошо на руках Лаврентьева, что она согласилась бы вывихнуть и вторую ногу, лишь бы он все нес ее, нес бесконечно долго и никогда бы не отпустил. Она тоже слышала стук его сердца и незаметно еще крепче прижималась щекой к его плечу. Откуда было знать это Лаврентьеву? Состояние Клавдии он объяснял болью в ноге и все убыстрял и убыстрял шаг.

На полпути Лаврентьев выбился из сил, но скорее готов был свалиться в изнеможении, чем выпустить из рук свою бесценную ношу.

Пройдя километр-полтора, он все-таки вынужден был ее выпустить. Смущенно поставил Клавдию на ноги и свистнул несколько раз. Это был условный сигнал для Звездочки. Звездочка услышала, вскоре примчалась, гулко стуча копытами о плотную, не тронутую дождями землю.

Клавдия уже не пыталась протестовать, когда он подсаживал ее в седло, когда шел рядом и придерживал за колено, чтобы не упала.

— Савельич! — крикнул Лаврентьев старику, подойдя к парому.— Живее! Клавдия Кузьминишна повредила ногу.

Савельич видел: пререкаться не думай, ухватился за канат, заработал жилистыми сухими руками, погнал паро́м наперерез течению. Отставшая бабка хлопала на берегу руками по сухоньким бедрам и что-то кричала,— казалось, кудахчет наседка.

Лаврентьев хотел доставить Клавдию прямо в амбулаторию, к Людмиле Кирилловне. Но Клавдия, когда поравнялась с крыльцом своего дома, сказала:

— Дальше не поеду. Хочу домой. И вообще мне ничего от вас больше не надо.

Оставив ее на постели, Лаврентьев выбежал на улицу, вскочил на Звездочку и помчался к амбулатории. Людмилы Кирилловны там не было. Погнал к ней домой. Людмила Кирилловна обедала.

— Прошу вас... — сказал он, запыхавшись от быстрого подъема по лестнице.— Клавдия Кузьминишна нуждается в вашей помощи.

Людмила Кирилловна поднялась из-за стола и вытерла губы салфеточкой. Она смотрела спокойными, меняющимися в оттенках, чуть насмешливыми глазами, хотела бы, наверно, сказать: «Как вы взволнованы, Петр Дементьевич. Не ожидала от вас, такого рассудительного»,— а стала расспрашивать о том, что случилось с Клавдией. Ничего не поделаешь: к ней пришли не как к Людмиле Кирилловне Орешиной, а как к врачу, от нее ждали не сарказмов, а помощи.

— На лошади можете? — спросил Лаврентьев, когда вышли на улицу.

— Могу, отчего же. Я была на войне. Все могу. Но пойду пешком, недалеко.

Лаврентьеву казалось, что Людмила Кирилловна идет слишком медленно. Он ее опережал, ведя Звездочку в поводу, но не оглядывался, знал, что встретит невыносимо спокойные, полные грустной иронии, устремленные на него глаза.

Возле Клавдииной постели Людмила Кирилловна присела на стул, ощупала опухшую щиколотку, вытащила из-под одеяла тонкую руку, шевеля губами отсчитывала пульс, но смотрела не на часы, а внимательно и ревниво разглядывала ту, кого ей, Людмиле Кирилловне, предпочел Лаврентьев. Чем рыжая его привлекает? — непонятно. Да и понимать не хотелось.

— Все-таки надо в амбулаторию,— сказала она.— Прикажите отвезти, пожалуйста. Опасности, конечно, нет, только неприятность.

Лаврентьев окликнул мальчишек, вертевшихся на улице, велел сбегать на конюшню, чтобы Носов запряг и пригнал рессорную тележку.

Клавдию отвезли, фельдшер Зотова с тетей Дусей повели ее под руки по коридору. Лаврентьев присел на крыльцо амбулатории, на теплые, нагретые солнцем доски. Звездочка терлась мордой о его плечо.

— Иди домой,— потрепал он ее по шее.— Все, на сегодня отработала. Иди.

Звездочка послушно повернулась, пошла мелкими танцующими шажками по дороге, фыркнула на козла, который сдирал кору с ветлы, попыталась затоптать кудлатого пса, выскочившего из подворотни, потом вдруг вскинула задними ногами, скрылась в клубах пыли и вместе с пылью унеслась в сторону конюшни.

5

Лаврентьев налегал на весла, лодка быстро скользила вниз по течению. Он исподлобья поглядывал на Людмилу Кирилловну, сидевшую на корме, и мысленно усмехался: вот кадр, так недостающий в ее альбоме. Река, лодка, герой и героиня, только бы еще ворох лилий сюда...

Как это произошло, что без всякого на то желания он отправился кататься? Он просидел на крыльце минут сорок. Вышла, вытирая руки полотенцем, Людмила Кирилловна.

— А, вы еще здесь, Петр Дементьевич! Необыкновенно хорошо. У меня к вам большая просьба. Покатайте меня на лодке.

— На лодке?! Людмила Кирилловна...

У него в глазах была, видимо, такая растерянность, что Людмила Кирилловна засмеялась:

— Пять-шесть дней, и ваша подруга пойдет домой, все, что надо, мы ей сделали. Кататься можно вполне спокойно, с чистым сердцем.

— Насчет подруги, это...

— Меня не касается, да? Согласна.

— Нет, не то. Просто вы ошиблись.

— Неразделенное, значит, чувство? Это хуже. А на катанье все-таки настаиваю. Мне надо с вами поговорить. Сама судьба нас столкнула сегодня. Я хотела оставить вам письмо. Но зачем письмо, когда наконец состоялась долгожданная встреча.

— Почему? Почему оставить? Где оставить?

— Идите за веслами, и все выяснится. Я хочу кататься на лодке, слышите?

Она пошла к реке, Лаврентьев свернул во двор Карпа Гурьевича, взял весла под навесом и догнал ее у самой воды. И вот они плывут — зачем и куда?

— Не буду вас мучить, товарищ влюбленный,— заговорила Людмила Кирилловна, когда поравнялись с заброшенной церковкой. — Я всегда была откровенной с вами, возможно, слишком откровенной. Нет нужды скрытничать и сегодня. Знаете вы или нет — это наша последняя встреча, последний разговор. — Голос Людмилы Кирилловны дрогнул.— Да, последний. Я уезжаю. В субботу. Сегодня — среда. Мне бесконечно тяжело. Бесконечно горько. Я не могу вас ни в чем винить, ни в чем упрекать. Вы не дали мне ни малейшего повода думать, что я имею

на вас какое-то право. Но мы встретились, там еще, в сарае, скрываясь от дождя... Помните? Потом вы были у меня, дружески так, хорошо беседовали. Во мне возникла надежда, выросла в большое чувство. Нет, нет, не говорите ничего, молчите! Дайте высказать мне. Для чего это я все открываю перед вами, зачем? Чтобы вы не думали обо мне плохо, Петр Дементьевич, чтобы поняли меня, чтобы хоть изредка вспоминали. Да, вы ни в чем не виноваты. Ну, не понравилась, не понравилась — что поделаешь. Мне тоже долгие десять лет никто не мог понравиться. Почему не понравилась — это другой вопрос. Может быть, тут была моя ошибка, может быть, устремив всю душу вам навстречу, я показалась...— она помолчала, — слишком доступной. Ужасно горько, если вы думаете так. За десять лет после мужа не было человека, который мог бы сказать эти два страшные слова. Я вам, кажется, уже рассказывала, что разуверилась в любви, в настоящих чувствах,— неудачное замужество было тому виной. А раз не было любви, не было и встреч. Зачем? Знаете, как это бывает с одинокой женщиной? Сначала один, а раз был один, будет и второй, за вторым придет третий... Границы возможного и невозможного перестают существовать. Наклонная плоскость... Ходьба по ней имеет свои неумолимые законы. Я крепилась, держалась. Одинокой держаться трудно, ой как трудно. И угрозы, и мольбы, и — боже мой — чего только на тебя не обрушат, вплоть до жалоб на загубленную жизнь, на нелюбимую жену, и так далее, и тому подобное. Прошла через все искусы. Вы, может быть, мне не верите? Вас, может быть, смущают мои альбомы? Да, альбомы полны фотографий мужчин. У меня есть от них еще и толстая пачка писем. Эти мужчины глядели в глаза смерти, они проливали кровь за Родину, я просиживала ночи возле их постелей, я считала их пульс и, когда он ослабевал, бежала за шприцем с камфарой и кофеином. Сняв госпитальные халаты, вновь надев старенькие гимнастерки, эти мужчины хотели, чтобы я непременно сфотографировалась вместе с ними. И я этого хотела. Альбомы с мужчинами — это моя биография, Петр Дементьевич, но биография не женщины, а медицинской сестры.

Людмила Кирилловна то бледнела во время своего рассказа, то заливалась густой краской волнения, то утирала слезы, то улыбалась виноватой улыбкой. Лаврентьев несколько раз порывался прервать ее, но Людмила

Кирилловна махала руками, головой, не давала ему сказать слова и все рассказывала, рассказывала.

— Кажется, все! — всей грудью вздохнула она наконец.— Теперь мне легче.

— Вышло плохо, очень плохо.— Лаврентьев бросил весла, которыми и так давно перестал работать.

— Но зато очень честно и чисто. Мне отвратительны те женщины, которые, подличая, изворачиваются, лавируют, завлекают и увлекают — лишь бы добиться своего, какой угодно ценой и какими угодно средствами. Чистая цель требует чистых же и средств. Вот мое убеждение. Я остаюсь при нем. Вернее — с ним уезжаю. Завтра — мы получили телеграмму — к нам прибудет Катя Пронина. Райздрав направляет ее в Воскресенское. А мне разрешили поехать в Институт усовершенствования врачей. Не думайте, это не бегство женщины, сломленной судьбой. Нет, но нам лучше не видеть и не встречать друг друга. Тогда, возможно, у нас останутся хотя бы теплые воспоминания. У меня, по крайней мере. После института я снова вернусь в деревню, я ее полюбила.

Вечер спускался над рекой, лодку несло течением, под бортами лопотала вода. В темнеющем небе, как искра, проступила яркая голубая звезда.

В эти минуты Лаврентьев был ненавистен себе. Кто он такой, вставший на пути этой женщины? Зачем он возник тут и причинил ей столько горя?

— Людмила Кирилловна, может быть, не вам, а мне уехать? — сказал он тихо.— Вас здесь так любят, привыкли к вам.

— Петр Дементьевич, не обманывайте ни меня, ни себя. Вы никуда не уедете. Вас растрогало мое горе. Это лишнее свидетельство, что я не ошиблась в вас, что вы очень хороший человек. Но вы, повторяю, никуда не уедете. Для вас — знаете же отлично это — дороже моего покоя, дороже самого себя, дороже вашей Клавдии дело, начатое вами в Воскресенском. Я же слыхала о нем.

Они вернулись в Воскресенское за полночь, потому что их снесло километров на восемь и грести против течения было трудно, подвигались медленно.

Лаврентьев примкнул лодку к плоту, вышел за Людмилой Кирилловной на берег.

— Провожать меня не надо,— предупредила она.— Простимся тут. Будьте здоровы, Петр Дементьевич. Желаю вам только счастья, много счастья,

Он держал ее мягкую узкую руку и ужасался: неужели в последний раз эта рука в его руке?

Она осторожно, но настойчиво отняла руку, повернулась и пошла, освещенная луной, гибкая, стройная, и такая как будто бы близкая, что разве можно ее терять? Вместе с нею навсегда уходил большой и значительный кусок жизни Лаврентьева в Воскресенском, ставший дорогим только теперь, когда думать о нем можно было лишь как о чем-то минувшем.

## ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

### 1

По окончании основных осенних работ, после уборки и молотьбы, в Воскресенском устроили праздник и назвали его Днем урожая. В школьном зале был общий стол, были вино и обильные закуски. Прежде чем приступить к питиям и яствам, говорились речи. Когда выступил Антон Иванович, его сразу предупредили: «О миллионе. Толкуй, председатель, о миллионе. Заработали или нет? Есть ли он в колхозной кубышке?»

— В кубышке, дорогие граждане, миллиона я не наблюдаю,— ответил Антон Иванович.— Да и, в общем и целом, судить о полных итогах рановато, не подбили сальдо, щелкаем пока на счетах. Что известно? Про полеводство известно. Урожай плановый вытянули. Ульян Апохин и наши комсомолки — за них чокнуться сегодня желаю от всей души — своим достижением на пшенице подняли общую среднюю цифру по колхозу,— значит, что? Значит, с хлебопоставками мы не последние в районе. На трудодень хлеба будет. Не так уж чтоб через край, но будет. Животноводству кормов на зиму тоже, можно надеяться, что хватит.

— Ну, а миллион, миллион?! — крикнули.

— Миллион? Как я буду о нем говорить, граждане, ну как? Овощишки еще возим да возим, мед не реализовали, у животноводов год не кончен — осенние опоросы идут, дойка продолжается. Главная сила наша, овощные семена, в мешках лежит,— попробуй тут судить о миллионе! Эдак, если общим глазом окинуть, вроде бы что-то такое

близкое к делу виднеется. А конкретно, выпь да положь, полный баланс,— извиняюсь...

— С селом-то, скажи, как? Скринемся иль нет? — задал вопрос кто-то из стариков. — Зорить будешь гнезда?

Антон Иванович, хоть он и махнул тогда рукой и обозлился на Карабанова, не мог не понимать, что Карабанов, в сущности, был прав, предупредив воскресенцев от увлечения планом перенесения поселка. О плане своем он теперь не поминал, старался пересилить себя, бороться за миллионный доход только во имя укрепления общественного хозяйства и высокой стоимости колхозного трудодня, но в душе мечта его продолжала жить. Он, правда, многое из того, что было вычерчено на листе александрийской бумаги, уже стер резинкой, — а все-таки лист этот был ему по-прежнему дорог. Не он, не Антон Иванович, начал сегодня разговор о переселении из низины на верхние места, но, поскольку разговор начат и заданы вопросы, ответить на них надо.

— Зорить! Какие слова говоришь противусмысленные,— с укором ответил Антон Иванович.— Не зорить, а переносить на другое место. Точно, перенесем, не сразу, понятно, исподволь. Может, и не в этом году, а в том, следующем, а перенесем. Важно что? Важно то — силу свою почуяли.

— Дрова ломать!

— Да оно, Воскресенское наше, только и годно, что на дрова,— послышался рассудительный голос Карпа Гурьевича.

— Кто съедет, а кто и нет,— не унимался все тот же старик.— Вот Савельич толкует — никуда не скринётся.

— Про Савельича решено,— заявила Дарья Васильевна.— Оставляем на месте. Авось в одиночку-то его избу половодьем снесет, уплывет, что Ной в ковчеге, в лесные трущобы. Лапу ему сосать там с медведями сподручней, чем с нами, с людьми, работать.

— Савельича не замай! — крикнул сам Савельич.— Савельич до прокурора дойдет, до правительства и партии за издевку над старым человеком. Не имеете правов! В конституции что записано? Обеспеченная старость! Изгаляетесь — к медведям!.. Мне медведь не кум и не свояк.

— А взревел, что медвежий сродственник. На-ка, выпей лучше! — Карп Гурьевич налил ему в стакан.— Да не порти жизнь людям.

Пили, ели, гудение стояло в зале от застольного собеседования, каждый старался что-то объяснить и втолковать соседу. Все, конечно, были правы.

Лаврентьев сидел между Дарьей Васильевной и Елизаветой Степановной. Они ухаживали за ним, подкладывали куски на тарелку; Илья Носов, чуть не ложась животом в блюдо с винегретом, тянулся через стол, подливая вина в его стакан. Ни пить, ни есть не хотелось. На противоположном конце стола Георгий Трофимович и Катя Пронина, новый врач Воскресенского, развлекали Клавдию, и, кажется, небезуспешно,— у Клавдии на лице появилась улыбка, что бывало не так часто. Лаврентьев, во всяком случае, Клавдииной улыбки, пожалуй, еще и не видал. Улыбка делала ее совсем привлекательной. Лаврентьев еще от матери слыхивал, что хорошего человека улыбка красит, скверного безобразит. Клавдию она красила, явно красила. Куда только и девалась гордячка с холодным взглядом. Он видел перед собой милую, молодую и жизнерадостную женщину. К сожалению, такой она была не для него. Он надеялся, что после случая в заречье все переменится. Ничто не переменилось. Клавдия вернулась из больницы домой и снова избегала встреч, снова стала бесконечно далекой. Будто и не нес он ее на руках, как девочку, будто и не прижималась она горячей щекой к его плечу.

Чужая душа — потемки. В потемках Клавдииной души соседствовали противоречивые чувства. Клавдия не могла забыть те неожиданно встревожившие ее минуты, когда Лаврентьев держал ее на руках. Во всем теле как бы еще отдавался, не умолкая, тяжелый стук его сердца. Она хотела бы пойти навстречу этому человеку, но не могла: больше всего иного боялась взгляда на себя сверху вниз. А как иначе может смотреть Лаврентьев? Он же выше ее во всех отношениях, выше и сильней. Это Клавдия вынуждена была признать против своей воли, против желания. Одно такое признание само по себе заставляло ее избегать Лаврентьева и думать о нем враждебно. Никто над ней не верховодил и не будет верховодить. Верховодить должна она, одна она.

Люди сильных характеров трудно сходятся.

За окнами стемнело, зажглись электрические лампы. Их было лишь три под потолком, но, яркие, сильные, они не только вполне заменяли те пятнадцать или двадцать «молний», какие в феврале развешивал на потолочных

крюках Антон Иванович, но и в несколько раз превосходили их по яркости и мощи света. В зале не осталось ни одного сумеречного уголка. Столы убрали, начались танцы. Свет вздрагивал, лампы мигали и по временам гасли. На это никто, кроме Антона Ивановича, не обращал внимания. Веселились. Антон Иванович впервые после операции кишок выпил стопочку — за здоровье Асиных комсомолок и с непривычки слегка осоловел.

— Павлуша,— поманил он пальцем Павла Дремова.— Ты начальник электричества. Чего оно мигает? Поди-ка, брат, на станцию, удостоверься.

Павел танцевал с Асей и вел с нею страшно важный и совершенно безотлагательный разговор.

— Чего ходить? — отмахнулся он.— Регулировка автоматическая. Заправил на всю ночь. А мигает? Ветер же на улице, провода схлестывает.

— Ну, гляди, брат! Чтоб без осечки! Вздрючим, ежели что. Понимаешь, какова задача?

— Понимаю, понимаю.— Павел оглядывался. Асю уже подхватил шофер Колька Жуков. Черти бы его съели, левача.

Илья Носов, покинув школу, тихо брел по селу. Он свое съел и выпил; в смысле выпивки и чужого, пожалуй, прихватил. Делать ему в школе было уже нечего. Ну, прошел по кругу разик-два, до коих же пор на каблуках вертеться. Не молоденький — возле пятидесяти возраст. Его дело бобыльское и неприкаянное. «Только в смерти ресница густая не блеснет безнадежной слезой»,— себе под нос гудел он песенку, слова которой лет двадцать назад вычитал в нотах Ирины Аркадьевны, а мотив, не зная черных секретных значков, подобрал сам — жалостный, душу скребущий мотив. Трижды в своей жизни красавец цыганский сын имел намерение жениться, и каждый раз не получалось у него. От планиды такой тишком, в сильных дозах, потреблял спиртное. Запрется в избе, один на один с полупустой бутылкой останется и пойдет тянуть: «Спи спокойно, моя дорогая, только в смерти желанной покой». Кокетничал со смертью, а сам и думать о ней не думал,— жизнь любил всей душой. Протрезвеет наутро — пашет, косит, молодых коней объезжает, скачет на них через изгороди, что дикий человек,— кочевая кровь в жилах бродит, дает себя знать. Помоложе был —

на охоте пропадал, зайцев носил десятками, раздавал соседям; лисами обвесится, с медведями врукопашную схватывался — с одним ножом в руках. Обдирали его, мяли, кости вредили,— все заживало, как на волке, проходило бесследно.

Да, жизнь Илья Носов любил, а она его не очень. Заглядываться девки, конечно, заглядывались; позже вдовицы дарили вниманием, но и тем и другим он был, видать, что портрет — постреляют глазами, повертятся около, и точка. Замуж ни одна не согласилась выйти. Какая сила отпугивала их? Не тени ли отцов и дедов носовских, конокрадов, поножовщиков, в огне кончавших жизнь да на каторге? Неужто об этом помнили и этим тревожились? А может, просто диких глаз его пугались, когда объяснялся в душевных чувствах.

«Только в смерти ресница густая...» — бубнил он, покачиваясь, шел неизвестно куда, навстречу ветру и дождю, мелкому, как пыль. Он думал, что отворяет дверь конюшни, а увидел перед собой внутренность бревенчатой избушки, которую в колхозе называли гордым именем электростанции. Увидел — и хмель с него сдуло: двигатель сорвался с места, стоял вкось от угла к углу избенки, и не стоял, а при каждом ударе поршня полз то вправо, то влево. Оттого и свет мигал.

— Эй, люди! — гаркнул Носов, выскочив на улицу. Ночь шумела ветром в ответ.

Кинулся обратно. На полу лежал ржавый погнутый лом, каким зимой лед колют на реке. Схватил его и, подсовывая под сосновые брусья, на которых был смонтирован двигатель, стал ворочать тяжелую махину.

— Говорено им было,— бормотал он,— на бетонный фундамент ставить. «Временно, временно!» Скоб понабили, радуются. А что скобы? Тьфу!

Силища огромная,— одолел, всадил лом в щель пола, с натугой держал двигатель на месте. Но только отпустит руку, он опять ползет, — и лом гнется, и брусья трещат. Лягнул дверь ногой, оставил распахнутой.

— Народ! — закричал.— Пляшете, ни дьявола лысого не знаете. Сюда, говорю! Сюда!

Ему становилось трудно единоборствовать с машиной, толчки ее рвали руки в суставах.

— Чего ты кричишь, дядя Илья? — В дверях стояла Марьянка в черной шали поверх пальто — от дождя накинула. Модница бегала домой переменить туфли. Такие

фасонистые, на высоченных каблуках надела поначалу, что пальцы болью зашлись.

— Авария, гляди. Сорвало. Беги живо!.. Постой хотя. Не бегай. Подержи чуто́к, одну минутку. Вот за это... здесь... выше берись, легче будет.

Испуганная Марьянка послушно ухватилась за лом, где указывал Носов, ее сразу потянуло на двигатель. Она уперлась ногами в пол, напряглась вся. Носов же поднял топор и принялся обухом заколачивать вывернутые скобы. С каждой забитой скобой Марьянке становилось легче держать лом.

В полчаса все было закончено.

— Упарился.— Носов отшвырнул топор и сел прямо на пол, прислонясь к стене. — Передохни. Тоже, поди, замаялась.

— Побегу, дядя Илья.

— Неужто не напрыгалась?

— Антон искать будет.

— Не будет, в углу дремлет. И что это ты так думаешь — искать? Часа муж без женки не проживет, получается. Я полвека живу один — ничего, не скучаю.

— Кто же тебе, дядя Илья, не велел жениться.

— Эх, ты — не велел! Умом, Марьянушка, не вышла. Скоро судишь.

— Извините, если так.— Она повернулась к двери и попала прямо в объятия к Лаврентьеву.

— Что за посиделки? — спросил он.

Лаврентьев шел домой и, услышав голоса, заглянул на электростанцию. Удивился такому обществу: Носов и Марьяна.

— Не посиделки, а героический подвиг,— ответил, не вставая, Носов.— Двигатель сорвало,— ставили на место. Седай рядом, Петр Дементьевич. Тоже, гляжу, на танцы не горазд.

— Да разошлись все, одна молодежь осталась.

— И Антон Иванович ушел? — забеспокоилась Марьяна.

— Ушел.

— Ой, побегу!—В темноте за дверью метнулась и исчезла черная шаль с кистями.

— Покурим, Дементьич.— Носов подвинулся у стены.— Посиди возле.

Он принялся длинно и мрачно рассказывать историю своей неудачной любви к какой-то Варьке, которая

в конце концов наплевала ему в душу. И, чтобы показать, как это было сделано, зло и досадливо сплюнул прямо на двигатель. Потом подобрал с полу ржавую гайку и так же зло швырнул ее за порог. В дверь тотчас ворвался Антон Иванович, мокрый, без шапки.

— Илья! Что делаешь-то, что делаешь! Ты... ты!..— Антон Иванович зашелся, не находя слов. Лаврентьев еще никогда не видел председателя в таком расстройстве.

— А что ты взыграл? — обиделся Носов и встал с пола.— Чего лаешься? — огрызнулся он, хотя Антон Иванович в своем расстройстве не сказал ему ни единого бранного слова.

— Марьянка... Беременная баба... Ломы ворочать заставил!

— Эх, мать пречистая богородица! — Носов полез под шапку пятерней. — Знато б было... Не акушерка же я, Антон.

Антон Иванович неистовствовал и горевал вслух. То, что Марьянка забеременела, было для него великой радостью. Он до этого сокрушался: «Ожирела ты, Марьянушка, расплылась, бесплодная стала. Беда какая!» Ему хотелось сына, непременно сына. Дома он то и дело обнимал теперь Марьянку, целовал в плечо, в шею, твердил одно и то же: «Вот человек родится — и знать не будет, какое такое было село Воскресенское. Ни жаб в подпольях не увидит, ни половодья, ни гнилых стен. Ему и в метриках запишут место рождения — поселок Ленинский. Чуешь, дуреха? До чего счастливый человек в тебе сидит!»

— Беда, беда будет! И ты, Илья, ты один виноватый,— кричал он.— Никогда не прощу. Последний враг!..

— Антон Иванович, поспокойней,— сказал, поднимаясь, Лаврентьев.— Все обойдется. Марьяна Кузьминишна не из слабеньких. Носов сейчас запряжет тележку — и к врачихе. Иди домой, иди. Простудишься.

## 2

Приехал Карабанов. Был озабочен.

Стояла та пора, когда по утрам каменеет почва, когда в дорожных колеях иней и ледок, когда можно встать однажды с рассветом и увидеть, что уже зима на дворе. Время свершило свой круг. В такую пору год назад

Лаврентьев бродил по колхозным угодьям и службам и мучил себя мыслью, где же и каково его место среди новых людей, способен ли он принести им какую-либо пользу, — они без него, казалось, прекрасно обходились.

Но год миновал, и без агронома в колхозе теперь ничего серьезного не делалось. И даже Карабанов, секретарь райкома партии, приехал в Воскресенское именно из-за того дела, которое затеял он, Лаврентьев.

Карабанов собрал колхозный актив в правлении. Был приглашен сюда и Георгий Трофимович. Здесь под нажимом Лаврентьева Антон Иванович все-таки произвел за лето необходимые изменения. Отгородили комнатушки для счетовода и для председательского кабинета — в три шага длиной каждая, помещение для заседаний оклеили свежими обоями, поставили новый стол, стулья вместо прежних скамеек и лавок, выкрасили пол, окна, двери и сделали крыльцо. Кто-то принес на подержание большой фикус, и в бывшем свинушнике, как правленческую избу называл в свое время Антон Иванович, стало приятно посидеть.

— Товарищи! — Карабанов окинул долгим испытующим взглядом собравшихся: все знакомые ему лица.— Вчера со мной разговаривал секретарь областного комитета партии. В самый кратчайший срок мы должны с вами подготовить для облисполкома детально и солидно обоснованный материал о том, как, с нашей точки зрения, должна быть решена проблема осушки и коренного окультуривания воскресенских земель. Дело, конечно, ставится шире, оно, не сомневаюсь, коснется всего Междуречья, но ваш материал ляжет в основу дальнейших разработок. Настало время основательно решать задачу поднятия урожайности наших полей. Иначе — здешние колхозы вечно будут бедствовать и жить на голодном пайке. Полумерами не обойтись.

Лаврентьев слушал, и его охватывало волнение.

Партия — сначала через колхозную партийную организацию, дальше через райком, а вот уже и через обком — услышала голос одного из своих коммунистов, увидела его усилия, его готовность к решительному переустройству природных условий хотя бы на небольшом клочке родной земли и сказала: надо поддержать, взять задуманное дело в большевистские руки. Коммунист, которого услышала партия, — это он, Лаврентьев; он вырастал в собственных глазах, ощущал в себе такой прилив энер-

гни, какого, пожалуй, у него еще никогда не бывало, даже в дни самых горячих сражений. Его услышала партия! Значит, он поступал и мыслил правильно, значит, он не зря, не напрасно носил в кармане партийный билет; а еще все это значит, что впереди громадная, захватывающая работа. Так построена партия большевиков, так построено Советское государство: инициатива идет и сверху и снизу; вверху всегда подхватят, поддержат все ценное, дельное, идущее снизу, и тогда оно становится общим делом партии, общим делом государства. Тот, кто сидит в своей норе, ждет только указаний, указаний и указаний,— если разобраться, безусловно лишний в нашей стране человек. Теперь этот обратный ход нетрудно предугадать: начатое в Воскресенском приобретет вверху силу плана, и партия потребует от Карабанова и Лаврентьева, чтобы план был выполнен. Много придется потратить сил, ума, энергии, времени, куда больше, чем тратится сейчас. Может быть, поэтому премудрые люди типа Серошевского так тихо и живут, чтобы текли дни за днями без лишних хлопот, по заведенному распорядку. Начнешь что-нибудь новое — с тебя же и потребуют продолжить и закончить его.

Лаврентьев думал иначе, чем Серошевский. Вся радость жизни, казалось ему, была заключена в том, чтобы новый день приносил с собой новое, пусть трудное, едва одолимое, но лишь бы новое. Жизнь — это развитие, движение вперед. Отсиживаться в норе, отсчитывать дни, идущие без волнений, — прозябание. Зачем тогда было родиться человеком?

— План работы, — говорил Карабанов, — составят потом специалисты. Мы только расскажем о наших требованиях, о проведенных нами исследованиях и изысканиях, о наших предположениях и той доле труда, которую мы можем внести и внесем в решение проблемы Междуречья. Кто хочет взять слово?

Выступил Георгий Трофимович. В правлении стоял мягкий сумрак осеннего дня, и геолог снял свои желтые очки; то на Карабанова, то на Дарью Васильевну или на Лаврентьева с Антоном Ивановичем переводил он взгляд серых, щурившихся глаз,— глаз, которые видели и систему каналов в Фархадской долине, и большой каскад Севана, и подземные протоки Невинномысской и Маныча, и множество иных сооружений, воздвигнутых людьми во имя расцвета советских земель. Глаза эти видели сквозь

летящее время, вероятно, и те каналы, которые изрежут болотистую низменность меж Кудесной и Лопатью. Он, пока Лаврентьев был занят уборкой хлебов, подъемом зяби, обмолотом, много поработал и имел ясное представление о водном режиме Междуречья. У него были намечены примерные трассы каналов, места расположения плотин и водосбросов, вычерчены планы и схемы, — их передавали из рук в руки, разглядывали, шептались над ними.

За Георгием Трофимовичем выступил Лаврентьев, затем взяла слово Дарья Васильевна. Они говорили о том, как им представляется организация будущих работ.

— Все понятно,— подвел итог Карабанов.— Сроку у нас два дня, за эти два дня надо составить подробный толковый документ. Мы его рассмотрим на райисполкоме, придадим ему законную силу и отошлем в область. Приступим, товарищи, к делу. Где отчет почвенной экспедиции?

— Никита Андреевич! — Все говорили сидя. Антон Иванович встал, в глазах его была решимость.— Водная проблема — еще не все, извините. А село? Будем мы его переносить или нет?

— Как со средствами?

— Найдем средства. Годовой отчет подбивается. Подходящие средства. Силы найдем, все найдем. — Антон Иванович разгорячился.— Никакого интереса не вижу у районных организаций. Не можем мы бедовать в гнилой ямине. Сами говорите: культуру полей будем подымать. Значит, специалистов понадобится разных немало. Где они будут жить у нас? Да они сбегут от таких условий! Свои — и те разбегаются в города. Если вы не решите вопрос, в Москву тогда писать буду. Нам не нянька нужна, не бутылка с соской, нам скажите прямо — правильная затея или нет? Если правильная — засучиваем рукава, скидаем пиджаки, за топоры беремся. Если нет...

— Опять скидаем пиджаки, и опять топоры в руки? — Карабанов рассмеялся.— Интерес, Антон Иванович, у районных организаций есть. Но мне кажется, вопрос о новом селе будет решаться в общем комплексе междуреченской проблемы. Я не против, давай заодно вынесем и его на исполком. Благословим, подумаем о лесе, о материалах. Одних засученных рукавов ведь мало. Так где же отчет почвенной экспедиции? Давайте его сюда, Георгий Трофимович. Возьмем из него мысли для констатирующей части, для преамбулы, как говорят дипломаты.

На заседание президиума райисполкома явились все — Антон Иванович, Лаврентьев, Дарья Васильевна и Георгий Трофимович. Видя умоляющий взгляд Кати, которая провожала мужа как в дальнюю экспедицию — повязывала ему шарф на шею, совала в карманы носовые платки и бутерброды, — Антон Иванович заявил: «Товарищ геолог в кабину с шофером, мы — в кузове». Втроем уселись за кабинкой на сенник, ехали молча; Лаврентьев держал на коленях пакет, похожий на стопку книг, завернутых в газету.

О гидросистеме докладывал исполкому Лаврентьев, содоклады сделали Георгий Трофимович с Антоном Ивановичем. Антон Иванович ратовал за новый поселок. В колхозе он говорил только о топорах, тут развернулся, потребовал, назвав цифры, множество бревен и досок, гвоздей, кирпича, извести, цемента. Районный инженер-строитель только ахал при каждой новой цифре.

— Лесу дадим,— бросил реплику председатель исполкома Громов.— Кругляку. Доски сами пилите. Устраивайтесь как-нибудь. А то вы этак весь район на ваш колхоз работать заставите.

Лаврентьев наблюдал за главным агрономом. После заседания, закончившегося выговором, он с ним не встречался, получал по почте его агротехнические директивы на папиросной бумаге, выслушивал устные распоряжения, передаваемые через специалистов отдела сельского хозяйства, которые приезжали в колхоз, но сам к Серошевскому, бывая в городе, не заходил и даже по телефону не разговаривал.

Серошевский сидел молчаливый, — он был уязвлен тем, что решение о выговоре Лаврентьеву отменили; струхнул тогда немало от резких, сказанных по его адресу слов, пообещал себе держаться в дальнейшем осторожней и смотрел теперь, по обыкновению, в верхний угол кабинета Громова. Поблескивали его очки, да вращались один вокруг другого большие пальцы рук, сцепленных на столе. У него был такой вид, будто все, о чем тут говорилось, ему крайне безразлично. Но это было не так. Серошевский внимательно слушал и взвешивал каждое слово, особенно слова, сказанные Лаврентьевым.

Отвечая на вопрос зоотехника, планируется ли в колхозе отдельный кормовой севооборот, Лаврентьев заговорил о том, что вообще все севообороты — и полевой, и кормовой, и на овощных участках — придется в корне

пересмотреть, что они составлены без учета особенностей воскресенских почв и что он уже начал такой пересмотр, введя с будущего года еще одно поле пропашных. Услыхав это, Серошевский немедленно поднял руку.

— Разрешите, Сергей Сергеевич?

— Прошу.

— Товарищи, мы все знаем агронома Лаврентьева,— заговорил Серошевский деловым, будничным тоном.— Инициативный, вдумчивый агроном. Я признаю свою ошибку, совершенную мною на исполкоме летом. Перегнул. Своевременно меня поправили. Но, извините, агроном Лаврентьев снова, по-моему, заблуждается. Во-первых, не пропашные, а клевера бы ему следовало сеять. Нельзя же целому полю работать вхолостую. Во-вторых, что же это такое! Опять самостийность. Он ломает, пересматривает севооборот — святая святых планового землепользования, а мы об этом ничего не знаем. Разве трудно было согласовать с районом? Ум хорошо, два лучше. Я разослал инструкцию о севооборотах... Кстати, во избежание анархии и для проверки исполнения мною разработана система. Она заключается в том, что при каждой инструкции, вышедшей из отдела сельского хозяйства, имеется отрывной талон. Адресат обязан расписаться на нем: получил, прочел,— и отослать обратно. Ни единой расписки от агронома Лаврентьева, простите, мы не получили.

— Давно введена такая система? — спросил Карабанов.

— Уже четыре месяца,— с готовностью ответил Серошевский.

— Жаль, не знал об этом раньше. Я, кажется, вас прервал. Продолжайте.

— Я, собственно, уже кончил, Никита Андреевич. Я выступил с целью сказать о несколько вольном отношении агронома Лаврентьева к агротехническим указаниям, исходящим от руководящих организаций. Для всех они обязательны, только для товарища Лаврентьева — звук пустой. Я считаю...

— Слова! Прошу слова! — Лаврентьев поднялся, подошел к столу президиума, разложил на углу пачку папиросных листов, густо исписанных на машинке, и раскрытую книгу; как показалось встревоженному Серошевскому, в ней были стихи.

— Прошу не думать, товарищи,— заговорил Лаврентьев, хмуро поглядывая на членов президиума,— что я выступаю в порядке самозащиты. Я выступаю в защиту сельского хозяйства нашего района. Даже если бы сейчас передо мной не говорил о своих инструкциях товарищ Серошевский, о них заговорил бы я. Это мой особый вопрос исполкому, но он связан со всем предыдущим, и думаю, что и с последующим. Мы знаем об агротехнике передового земледелия, мы слышим о ней повседневно, мы о ней читаем в газетах, ее разрабатывают передовики социалистических полей и советские ученые. Она творит чудеса. Что же происходит в нашем районе? Как высока агротехника и как ею руководят? Послушайте, пожалуйста,— он взял в руки раскрытую книгу,— несколько строк, не очень понятных, но очень поучительных:

Ранней весной, когда от седых вершин ледяная
Влага течет и Зефир рыхлит праховую землю,
Пусть начинает тогда мычать при вдавленном плуге
Вол, и пусть заблестит сошник, бороздою оттертый.
Нива ответит тогда пожеланиям всем хлебопашцев...

Дальше:

Также терпи, чтобы год отдыхало поле под паром,
Чтоб укрепилось оно, покой на досуге вкушая;
Или златые там сей — как солнце сменится — злаки,
Раньше с дрожащим стручком собрав горох благодатный.
Или же вики плоды невеликие, или лупинов...

Тяжелый гекзаметр непривычно звучал в кабинете председателя райисполкома. Люди слушали, переглядывались недоумевая, кое-кто думал: «Неужели это Серошевский написал? С ума сошел, что ли,— стихами!»

— Если не очень надоело, еще несколько строк.— Лаврентьев перевернул страницу.

— А с промежутками в год — труд спорый: лишь бы скупую
Почву вдоволь питать навозом жирным, а также
Грязную сыпать золу поверх истощенного поля.

Я, конечно, мог бы читать и читать сотни таких строк необычного наставления земледельцу. Но прочту десять строк из другого наставления. Вот они: «Весновспашку надо начинать, как только оттает земля, отбросив так называемые «сырые настроения». Чем раньше, тем лучше, потому что...» Ну, это неважно — почему. Слушайте: «Ни

в коем случае нельзя выворачивать подзол, если в колхозе нет достаточного количества навоза». Это вам не что иное, как стихотворное «будет довольно ее поднять бороздой неглубокой». Сравним дальше: «отдых поля под паром», «вкушение покоя на досуге», «обиду от плевл», «дрожащие стручки гороха» и «вики плоды невеликие», затем «жирный навоз», «грязную золу», «пользу от мотыги», «наклоненный в сторону плуг меж гряд» с тем, что мы услышим еще.— Лаврентьев перебирал листы папиросной бумаги, читал общие, давно известные положения о плодосмене, о нормах внесения золы и навоза в почву, о пропашке борозд и окучивании. Говорилось это проще, понятней, чем в книге, но ничего нового по сравнению с ней слушателям не давало.

— Где же, товарищи, яровизация? Где черенкование картофеля? — спрашивал Лаврентьев.— Где современные методы обработки почвы, где увеличенные нормы высева? Где сознательный, а не механический подход к каждому полю, к каждому растению? Где указание на то, что земледелец — это творец, созидатель? Одни рецепты, готовенькие, общие для всех. Кому они нужны?.. К почвам, к условиям каждого колхоза нужен свой, особый, индивидуальный подход. Так я понимаю задачу специалистов сельского хозяйства.

Серошевский понял, какой неотразимый наносится ему удар, побледнел, и, пока длилась взволнованная, гневная речь Лаврентьева, полная убийственных вопросов, он хватал из портсигара папиросы и курил их одну за другой, прикуривая от окурков.

— Что это за стихи и что за бумажки? — спросил Громов.— Назовите источники, товарищ Лаврентьев.

— Второй источник, вот эти листки, разбирать которые должен опытный шифровальщик, потому что они в десятке экземпляров закладываются в машинку, — те самые бесчисленные инструкции, о которых хлопотал сегодня главный агроном. Написаны, согласно дате, аккуратно проставленной на каждом, в марте, в мае, в июне, в августе текущего года. Автор — С.П.Серошевский. Первый источник — это книга «Сельские поэмы». Агротехника в стихах гекзаметром. Когда-то она была большим шагом вперед, и мы должны ей отдать заслуженную дань почтения. Но сейчас — это лишь памятник прошлому, и очень далекому прошлому. Написана книга, согласно дате, две тысячи лет назад.

— Две тысячи? — Инженер-строитель даже привстал со стула.

— Да ну? — Громов заерзал в кресле. —Кто же автор?

— Вергилий.

В кабинете поднялся шум. Лаврентьева уже не слушали, говорили, удивлялись, возмущались все одновременно. Громов позабыл о том, что он председатель, тянул за рукав Карабанова, которого, в свою очередь, пытался повернуть к себе за плечо заведующий райфинотделом.

— Товарищ председатель, ведите заседание! — не выдержал Карабанов.— Базар получается, а не исполком.— Когда утихли, он взял слово.— Мы получили сегодня урок. Очень поучительный и очень серьезный. Глядим по верхам. Плохо знаем прошлое и еще хуже настоящее. Погрязли в делячестве. Товарищ Ленин предупреждал, что коммунистом можно стать, лишь овладев знаниями, накопленными человечеством. А мы даже и за достижениями практики как следует не следим. Мы из рук вон скверно знакомы с богатейшим опытом передовиков сельского хозяйства. Я обращаюсь отнюдь не к одному товарищу Серошевскому, который, видимо, штампует свои инструкции по отсталым, давно опереженным руководствам. Ничего не почерпнул главный агроном из мичуринской науки. Это факт. Но факт и другое. Мы, руководители, которые обязаны были овладевать специальными знаниями, без которых современным хозяйством руководить нельзя,— мы больше обращали внимание на организационную сторону всякого дела, чем на техническую. Это — однобокость, это — промах. Вергилий! Черт возьми, в середине двадцатого века оказаться на позициях Древнего Рима! Я отлично понимаю товарища Лаврентьева — понимаю, что он сознательно преувеличил степень отсталости агротехнических указаний, на которые так щедр наш отдел сельского хозяйства. Но ведь ясно же: вперед идем медленно, за наукой не следим, а значит — и отстаем, не так ли? А значит — от Вергилия не слишком далеко ушли. Позор! У нас есть Тимирязев, есть Мичурин, Костычев, Докучаев,— мы оглядываемся на Вергилия! Выводы придется сделать, и выводы серьезные, товарищи. Отдел сельского хозяйства не стал у нас штабом передовой агротехники. Это еще счастье, что в колхозах его инструкций не читают, а прислушиваются к голосу передовых земледельцев страны. Теперь о практическом...

Серошевский поднялся и пошел к дверям походкой, которая долженствовала выражать, что все на свете преходяще, — этакой походкой независимого человека. Но походка плохо маскировала его внутреннее состояние. Лаврентьев смотрел ему в спину холодными глазами. Иди, иди, Серошевский, за калитку с надписью: «Осторожно, собака», у тебя есть кубышка «на черный день», набивай папиросы табаком высшего сорта номер три. Ты еще, может быть, останешься работать в отделе сельского хозяйства, но пафосных речей твоих слушать уже не будут, ты ими уже никого не обманешь. Законы борьбы жестоки, особенно — законы борьбы за новое, за нарождающееся.

## 3

Решение районного исполкома пошло в область. Антон Иванович развил кипучую деятельность. В окно его кабинета декабрьские вьюги плескали сухим жестким снегом, который стучал по стеклу, как дробь. Один за другим перед председательским столом появлялись руководители хозяйственных отраслей колхоза. Если это был Анохин или Носов, то вместе с председателем они так накуривали, что с трудом различали друг друга в сизом дыму.

По мере того как заполнялись графы счетоводных книг, контуры большого дохода вырисовывались все яснее и четче. До миллиона, правда, не дотянули, но были от него не так уж далеко. И чтобы так вышло, пришлось учесть каждый грамм зерна, каждую каплю меда, каждую вязанку сушеных яблок, молочную струю, звонко ударившую в подойник, шкуру забитого бычка и каждый клок овечьей шерсти. Много возни было с дядей Митей. Пчеловод не мог отрешиться от закоренелой привычки оставлять в ульях на зиму такое количество меду, что для всей пасеки оно исчислялось бочками.

— Ты пойми, дядя Митя, — втолковывал Антон Иванович, — какую ценность мы зря морозим. Прикинем-ка на бумаге, килограмм сколько сто́ит?

Председатель прикидывал, считал — множил и складывал; никогда еще за всю его председательскую деятельность ему не приходилось так дотошно и глубоко проникать в экономику колхоза. Обычно он осуществлял то, для чего придуман расплывчатый термин — общее руководство. Счетовод представлял годовые отчеты, их утвер-

ждали на правлении, и никто, в том числе и Антон Иванович, толком не знал — хозяйственно или бесхозяйственно распорядился колхоз своими натуральными доходами. Теперь Антон Иванович готов был в самом дальнем углу кладовых разыскать самый завалящий лишний чересседельник, поднять в поле самый хилый кочешок капусты, сброшенный с воза, и задуматься, как бы и где бы реализовать их повыгодней. А тут — бочки меду!..

— На крайней скудости пчелку держать нельзя,— возражал дядя Митя.— Вдруг зима будет холодной. В холоде пчелка больше потребляет, и останемся мы к марту при пустых ульях. Не согласен, Антон Иванович, совсем не согласен.

Рядом с дядей Митей, на углу стола, из чего явствовало, что он семь лет не женится, сидел Костя Кукушкин и сопел носом. У него была своя бухгалтерия, собранная в папке, через которую косо шло тиснение: «На подпись».

— А вот и не останутся пчелы без корма,— вступил он в разговор взрослых.— Двадцать шесть пудов можем отдать свободно. На, гляди, нормы министерства.— Костя подал дяде Мите исписанный крупными буквами листок.

— Нормы твои мне ни к чему.— Дядя Митя отстранил листок.— У меня свое собственное соображение имеется. Молод ты меня учить. Твой отец еще из рогатки по воробьям пулял, а я уже в пасечном деле не первый годок работал. Я, милочек Костенька, пчелку знаю, и пчелка меня знает. У нас с ней разногласий нету, не водится. Книжечки-бумажечки для этаких сопливеньких пишутся, с нашего, стариковского опыта пишутся. Мы, старики, сами книга,— читать только ее надо с умом, прислушиваться к ней да разбираться...

Дядю Митю понесло, заговорил, не остановишь. Антон Иванович, не слушая его, взял у Кости листок с нормативами, подчеркнул несколько цифр карандашом, принялся множить.

— Верно! — Удивляясь, он обвел итог жирным овалом.— Точно! Двадцать шесть пудов зажимаешь, дядя Митя, без нужды.

— Ему веришь, врунишке? Чай, сам убедился, каков он есть, этот Костенька.

Что Костя Кукушкин — врунишка, так думать Антон Иванович оснований не имел, напрасно дядя Митя наводил на паренька тень. Если в чем и пришлось убедиться председателю, то только в излишней Костиной

подозрительности. Криво усвоив принцип соревнования, Костя долго хранил верность этому принципу — от дяди Мити он ждал подвохов постоянно. После того как по требованию Лаврентьева пришлось снять колючую проволоку, которой Костя старательно отгородил свой участок насеки, он не успокоился — натягивал в траве незаметные нитки. Помешать конкурирующей стороне проникнуть в запретную зону они, понятно, не помешают, но, во всяком случае, видно будет — ходил вокруг Костиных ульев дядя Митя или нет. Нитку он довольно часто находил оборванной, кричал на дядю Митю, вызывая этими криками со стороны старого пчеловода длиннейшие речи в защиту нравственности и морали. Не вытерпел и пошел жаловаться к председателю. Костя вообще признавал только председателя. К Лаврентьеву он никогда не обращался, считая, что агроном — это по растениеводству, по зерну, картошке, а пчелы не картошка.

«Костенька, — выслушав его, сказал Антон Иванович.— Мне нравится, что ты такой заботливый до общественного дела. Мы в твои годы про то не задумывались. Мы единоличники были, тебе даже и не понять, какая это штука — единоличник. Словом, за батькино поле держались, за батькин огород. А что там общество, что народ — хоть огнем гори, лишь бы мое в целости было. Нравится, говорю, твое умственное направление. Однако осечку придется тебе, друже, произвести на данном примере. Проволоку, нитку натянул — какое же это соревнование? Чему вас, чертей, в школе учили! Таблице одной да про имя существительное? Вот пойду ужо к Нине Владимировне, просмотрю ихние планы. Соревнование, товарищ Кукушкин,— по-взрослому с тобой разговариваю,— оно чего требует? Не только за себя думать, а и другим, знаешь, помогать. Вот эдак-то. Опытом помогать, советом, где надо и плечо подставить, подсобить. Плечо, заметь, а не ножку. Что толку — один вырвешься вперед! А какая другим польза? Ты малая росинка в человеческом море-океане. Как там ни вырывайся, как в гору ни лезь, тебя без увеличительного стекла все равно и не видно. А вот ежели сообща, друг другу подсобляя, целой дивизией в гору двигаться — нас увидят, такую силу! Увидят и похвалят, учиться у нас будут. Смикитил?»

Антону Ивановичу понравилась собственная речь. Он закурил, пустил дымок к потолку, довольно поразглядывал озадаченного Костю и снова заговорил:

«К чему это все толкую? Сейчас увидишь. Дядя Митя, говоришь, нарушает твой суверенитет и возле пограничного столба номер семнадцать злодейски, тайком, пересекает твою границу. Уверен, значит,— с диверсионной целью. Эх, Костюха! Дядя Митя на пчелах своих не то что собаку — слона съел. Он их, может, больше, чем нас с тобой, уважает. Разве он сделает вред пчелам! Да руку даст топором оттяпать, а пчелу не обидит. Сам видал, вот этими самыми глазами, как противник твой твои ульи обихаживал, чистил их, проверял. Видишь, деликатно как: не больно тебе доверяет — молод, значит, опыту нет,— а и обидеть не хочет, тишком тебе помощь, дурню, оказывает. Вот это, понимаю, соревнование! Чего молчишь? Трещи теперь».

Трещать Косте было не о чем. Ему казалось, что чистота в ульях шла от его природных способностей всеведущего пчеловода. Оказалось иначе. Он был озадачен, удивлен и уязвлен. Ушел обозленный и на Антона Ивановича, и на дядю Митю, и на себя. Антон Иванович добрыми глазами глядел ему вслед, как всегда взрослые смотрят на подростков, по-взрослому увлеченных полезным делом, и подумал: «Вот и смена старику. Толковая смена. Подучим еще, выдающийся мастер будет».

Костя не был врунишкой — это Антон Иванович знал, просто паренек через край иной раз перехлестывал в желании показать себя. Но с нормативами он нисколько не перехватил, расчет оказался точным: двадцать шесть пудов меду дядя Митя зажимал для своих питомиц.

Долго спорили, кричали, доказывали, но дядя Митя, кроме всех иных своих качеств, был еще и на редкость покладист,— уступил.

— Берите мед! — заявил он таким тоном, будто в отчаянии разрешил Антону Ивановичу располовинить колуном земной шар. — Берите воск! Можете и меня по сходной цене загнать на живодерню. Как-никак — шкура.

— Шкура твоя, — Антон Иванович встал, дружески положил ему на плечи руки,— тебе еще самому послужит, Дмитрий Антропович. Я лично тебя уважаю, крепко уважаю. Не сухой ты души человек. А что касаемо меду — спасибо. Так сказать, предварительная тебе благодарность,— тебе еще колхозное собрание по всей форме ее вынесет. С полным чествованием. Вот так. Люблю, когда все миром идет, без инцидентов и оргвыводов. Сам я,

знаешь, человек мирный. Осатанел тут с доходами. Тороплю жизнь, потому вроде бы и зверствую. К хорошему всегда через трудное идут. Ты меня прости, дядя Митя.

— Ладно уж! — Старик растрогался. Проникновенная речь Антона Ивановича размягчила его сердце, обычно крепкое до всего, что касалось пчел.

Костя пошмыгал носом, был доволен: дело-то выходило по его, по-Костиному; одоление, значит, полный приоритет.

Но не со всеми так мирно, как с дядей Митей, удавалось улаживать дела, касавшиеся графы колхозных доходов. Буйствовали полеводы, в особенности Ася, требовавшая засыпки дополнительных страховых фондов чистосортного зерна. Требования ее были такие несусветные, что Антон Иванович чуть не вытолкал младшую Звонкую за дверь. Да вовремя удержался. Ограничился тем, что отрезал: «Точка! Сверх установленного планом — ни одного зерна. Гуляй, Асютка». Ася побежала к Дарье Васильевне. Та долго ее урезонивала. Дарья Васильевна держалась мнения, что Антону надо дать свободу похозяйствовать, поразвернуться. Развертывается председатель правильно, с полной самостоятельностью, не во вред, а на пользу колхозу. Может, этак у него и дальше пойдет — приобретет твердость, а то мягковат, мягковат был, появлялась думка иной раз — не заменить ли председателя. Дарья Васильевна всячески теперь его поддерживала.

— Коммунистка ты,— внушала она Асе.— Комсомолом руководишь. Пример сознательности показывать должна. На малых средствах большой результат получить сумей. А средства у тебя и не малые вовсе. Рассчитаны от сих и до сих.— Пальцем отмерив расстояние от забытого на столе чайника до папки с протоколами, Дарья Васильевна показала, как точно рассчитаны средства полеводов на новый год.

Пошумела и Асина мамаша, роняя в чернильницу слезы, стуча по стеклу маленьким кулачком, который от встреч со столешницей страдал, конечно, значительно больше, чем столешница, Елизавета Степановна отстаивала своих бычков.

— Лизавета, Лизавета,— готовый отступить перед таким напором, терялся Антон Иванович.— Немыслимое говоришь. Что из того — красавцы! Нам с тобой, на личности если глядеть, тоже, может, не в болоте пропадать положено, а на выставке портретов на стене висеть в бе-

помраморном зале. Да ты у нас что королева-регентша, а то и полная принцесса — глаза там, щечки, все такое...

— У тебя у самого глаза бесстыжие! — кричала Елизавета Степановна, не поддаваясь неудержимой лести.— Я не принцесса, я телятница. Принцессе плевать на телят, она в них понятия не имеет, ест коклетку и... Вот тебе! — В запальчивости она показала кукиш Антону Ивановичу, чуть ли не к носу поднесла.

— Ну как так! — пытался перебить ее яростную речь Антон Иванович, озираясь в надежде — не подойдут ли Лаврентьев или Дарья Васильевна.— Как ты рассуждаешь, Лизавета! Подумай сама, не можем мы бычиное стадо разводить. Я же не про телок, я про бычков. Всех сдать надо. Виданное ли дело в крестьянстве — сорок быков! С них же молока что с козла. А харч потребляют.

— Харч! Свое сено скормлю, корову голодную оставлю... Не тронь!

Елизавета Степановна прекрасно понимала, что требует невозможного и бессмысленного — сохранить всех бычков, выращенных ею в этом году. Ясно, что это глупо и смешно — увидеть вдруг стадо, состоящее из одних быков. Весь район хохотать будет. Но каким трудом бычки выращены, с какими волнениями! Ни один не околел, все здоровые, крепкие. Когда это бывало в Воскресенском!

Если телятница так взбушевала, кроткая, тихая Елизавета Степановна, то что будет, когда явится перед ним семеноводка. Встречи с Клавдией Антон Иванович боялся больше всего. Он откладывал, оттягивал страшную для него встречу напоследок; дальше оттягивать было некуда. Антон Иванович боялся того, что в отместку за весенние притеснения Клавдия этак спокойненько, глядя мимо его головы в замороженное оконце, скажет: «Семена готовы к отправке. Но, к сожалению, все они второго и третьего сортов. Не создали, Антон Иванович, нам условий. Что дали, то и получили». А второй и третий сорт — это скинь со счетов многие и многие десятки тысяч рублей. Клавдия — баба непонятная, от нее всего жди. Колдует, как ведьма, в амбарах, молотит, веет, в мешки под пломбу ссыпает, а подпустить к своей территории — ни-ни. Акты подала — урожай выше прошлогоднего. Но что́ урожай — сортность, сортность нужна. Апробационные данные прячет, не показывает — под матрацем, что ли, хранит. Нет, Клавдия не Марьянка, не скажешь: душа нараспашку.

Вспомнил Марьянку, задумался с умилением над теми тайнами новой жизни, какие носит в себе толстуха. Ничего, обошлась кутерьма с двигателем, благополучно обошлась. «Марьянушка, донюшка, песенка...» — всякие нежные имена придумывал для нее Антон Иванович. Заглянул лишний раз в ее трудовые записи, хотя и так знал их наизусть. Сто сорок трудодней. Не опозорила семейство, перед другими не сплоховала, не уступила. «Яблонька моя, звездочка...»

— Звали? Пришла.

Антон Иванович растерялся: Клавдия! В такой неподходящий момент размягчения души нечистый ее принес. Как с ней тягаться?

— Звал, Клавдия.— Голос был вовсе не железный, каким следовало бы сейчас говорить. Антон Иванович принялся перекладывать на столе портсигар, карандаши и ручки.— Звал.

— Что это вы вроде игру какую придумали? — Клавдия следила за его движениями, щурилась с усмешкой. — Инструктор так досармовцам нашим по-военному делу преподавал: палочки, щепочки на песке раскладывал — это пулеметы, это пушки, а тут командир в окопе...

— Кланя, ты меня извини. — Широким жестом Антон Иванович смахнул в сторону все предметы, не дававшие покоя его рукам.

— За что извинить? Вам нужны сведения. — Клавдия была на редкость спокойна.— Вот они.

Антон Иванович бережно и благоговейно взял из ее рук ученическую тетрадку. Это был приговор ему: князь или пропасть. Раскрыл на первой странице. Замелькали названия разных морковей, свекол, брюкв, цветных капуст, салатов и редек. Урожай хороший, отличный по всем культурам.

— А где же...

— Акты апробации и заключение семенной лаборатории? Дальше подшиты, вчера последний документ получила с испытательной станции.

Пробежал глазами раз, вновь прочел — побыстрее, затем медленно, со смаком принялся вчитываться, вглядываться в слова и цифры. Вскочил, роняя на пол карандаши, бумаги и папиросы.

— Кланька! Царица! Один первый! Да у нас добра с тобой тысяч на триста! Чего ты натворила!.. Ну не

крутись от меня — сродственники же. Дай поцелую, дай обойму, яблонька ты моя и звездочка...

— Успокойтесь, Антон Иванович.— Клавдия отстраняла ошалелого от восторга сродственника.— Целовать надо было раньше.

Она смотрела на Антона Ивановича свысока, как победительница, великодушная, гордая. Потому что истинные победители, много труда вложившие в победу, вложившие в нее всю свою душу, все помыслы и силы, всегда горды и великодушны.

4

В загоне возле скотного двора столпилось человек пятнадцать. Был тут Лаврентьев, была Дарья Васильевна в новом черном полушубке, в талию, с барашковой серой выпушкой, были Антон Иванович, участковый зоотехник, пастухи — в зимние месяцы скотники, Илья Носов и несколько просто любопытствующих. Предстояло для одних зрелище, подобное бою быков в Севилье, для других — до крайности нелегкое дело.

Третий год колхоз выращивал чистопородного быка Бурана. Когда-то его привезли из племсовхоза не Бураном, а Бураничком, добрым, ласковым телком, без рогов и с глупыми круглыми глазами. За два с половиной года он вырос, украсился могучими изогнутыми рожищами, курчавой белой кистью на конце длинного черного хвоста, лоснящейся шерстью, которая на шее и на лбу завивалась крупными кольцами. Ноги у него стали что тумбы — на них давила туша более чем в шестьдесят пудов весом. Главное же — круто изменился нрав Бурана. Глаза по временам ни с того ни с сего наливались кровью, копыта рыли землю, хвост сплетался восьмерками и хлестал, будто плеть, по бокам, из глотки шел длинный устрашающий рев, подобный подземному гудению перед извержением вулкана. Скотники его начинали бояться: притиснет плечом в станке, саданет рогом, мотнув башкой, — и поминай как звали. Надо было дьявола страшенного обезопасить. Для этого существует специальное стальное кольцо, которое продевают через хрящевую перепонку бычиного носа. Если разбушуется, схватить за такое кольцо — сразу утихнет.

Бурана вывели на вожжах в загон. Он вышел с доской, повешенной на рога, впереди себя ничего не видел, ревел, разбрасывая снег.

— Все делается очень просто, — объяснял зоотехник.— Разъединяем вот так кольцо, вынув этот маленький винтик, острым срезом прокалываем хрящ и затем вновь колечко свинчиваем. Получаем тот результат, какой в народе называется: быть бычку на веревочке. Кто возглавит мероприятие? Носов, ты, что ли? У тебя рука железная.

— Можно. Только он, черт, не дастся, боюсь.

— Боюсь! На медведей ходил?

— Ну, ходил.

— Те страшнее. У них доски-то на глазах нету. А кроме того, мы орла вашего наземь сейчас повалим, будет лежать — не шелохнется. Давайте веревки!

Принесли новые, необмятые, льняные — не веревки, а целые канаты в два пальца толщиной.

— Давайте его оплетать. Вот так, так... Узлы чтобы против кровеносных сосудов пришлись. Натянем — у него и дух займется, сам колени подогнет.

Быка оплетали веревками, как тюк, оставив два свободных конца — тянуть в разные стороны. Бык гудел и вертелся, оплетка сползала. Зоотехник храбро ее поправлял.

— Теперь берись! Натягивай! Крепче тяни! — командовал он, когда все было готово.

Антон Иванович, Лаврентьев, скотники натужились, уперлись в землю ногами, как в морской игре с перетягиванием каната. Носов ждал с кольцом в руках. Бык и в самом деле не выдержал давления веревочных узлов на кровеносные сосуды, на нервные сплетения; задрожал, ноги-тумбы его подогнулись, и он тяжело обрушился в сугроб, подминая снег могучими боками.

— Не ослаблять натяжения! — предупредил зоотехник.— Носов, действуй! — и сам встал рядом с Носовым на колени, приготовив винтик, чтобы тотчас соединить кольцо, как только будет проколот хрящ.

Но едва Носов коснулся влажной хрящевины жалом разомкнутого кольца, бык ударил всеми четырьмя ногами, так изогнул огромную свою тушу и так рявкнул, что люди бросились от него врассыпную. На месте остались только Лаврентьев, Антон Иванович да Носов. Они сделали попытку снова натянуть веревки, — опоздали. Буран

уже вскочил и, не переставая реветь, шел танком прямо на стену коровника. Он искал дорогу в стойло.

Перепуганный зоотехник хотел с разбегу перемахнуть через изгородь.

— Эко ты! — остановила его Дарья Васильевна. — На призы, что ли, взялся? Куда же теперь! Затеяли — надо кончать.

— Невозможно кончать.— Зоотехник озирался, шаря глазами по снегу.— Винтик потеряли.

Буран тем временем, встретив на пути стену, уперся в нее лбом, хотел своротить. Подумал с минуту, отступил на шаг и всею силою грянул рогами в бревна. С крыши коровника ему на холку, на загривок, на голову рухнул пласт снега. И когда бык отряхнулся, все увидели, что он прозрел: на крутых его рогах, вместо широкой, закрывающей глаза доски, болталась лишь жалкая щепка.

— Уноси ноги! — крикнул кто-то из зевак, и началось бегство.

Буран, услышав крик, медленно развернулся на месте, нацелил рога на первого, кого увидел,— это была Дарья Васильевна,— щелкнул хвостом и, взрывая снег, выгибая спину, поскакал грузным галопом.

Дарья Васильевна выставила вперед обе руки — вся ее самозащита. «Не смей, не смей! Уйди!» — кричала она и пятилась к изгороди.

Лаврентьев выбежал наперерез Бурану и что было силы ударил быка сапогом в бок. Буран качнулся, потерял направление, нацелил теперь рога уже не на Дарью Васильевну, а на своего обидчика. Носов со всех ног пустился к конюшне: казалось, он струсил, такой силач и храбрец. Антон Иванович пришел на помощь Лаврентьеву; быстро нагибаясь, хватал пригоршнями снег и швырял его в глаза Бурану. Скотники орали медвежьими голосами, — думали напугать быка. Но он и так был напуган и от страха шел напролом.

Лаврентьев пятился от него, как минуту назад пятилась Дарья Васильевна. Он хотел, улучив момент, взять Бурана за рога, не очень задумываясь, что из этого получится. Важно было взять, а там видно будет, кто кого одолеет в рукопашной. Момент такой наступил, бык нагнул голову чуть не до земли, Лаврентьев прыгнул, но опоздал на какую-то долю секунды. Бычиная голова взметнулась. Все услышали не то крик, похожий на

вздох, не то вздох, напоминавший крик. Ужаснулись. Бык, как тряпку, мотал Лаврентьева на рогах. Потом сбросил, жадно храпнул при виде распластанного на снегу человека и вновь нагнул рог, — входил во вкус кровавой игры. Но поиграть ему больше не удалось. Подлетел Носов с колуном на длинной рукояти, с разбегу хватил Бурана обухом меж глаз.

Повторять удар нужды не было. Посреди загона лежали рядом Лаврентьев и Буран. Буран тяжело дышал, бока его раздувались и опадали, подобно кузнечным мехам. Из рассеченного лба текла струйка крови. Была она гуще и темней, чем кровь, хлеставшая на снег через изорванное в клочья пальто Лаврентьева.

— Доктора! — заметалась Дарья Васильевна.— Пронину скорей! Что стоите! Человека убило.

Кто-то помчался выполнять ее приказание.

Со всех сторон, прослышав о несчастье, валил к загону народ; перелезали через изгородь. Женщины охали, утирали глаза платками, мужчины угрюмо молчали. Антон Иванович нагнулся, приложил ухо к губам Лаврентьева, слушал дыхание.

— Вроде нету?..— Он растерянно поднял голову.— Не дышит.

— Ой!..— сорвался женский голос.

— Людоеда какого вырастили! — Анохин зло пнул валенком в бок Бурана и выругался от бессилия.

Прибежали запыхавшиеся Катя Пронина, фельдшер Зотова и тетка Дуся с носилками. Катя и Зотова принялись разбирать кровавое тряпье на животе и на боку Лаврентьева. У Кати дрожали руки. От нее толку было мало. Зотова отстранила врача и действовала сама. Фельдшерица всю жизнь провела в деревне, много перевидела всяческих увечий, ко всему привыкла, знала, что прежде всего надо остановить кровь. Но раны Лаврентьева были так велики и ужасны, — даже для Зотовой ужасны, — что она отказалась от попытки закрыть их простыми тампонами.

— Операция, немедленная операция, Екатерина Викторовна! — сказала она, подымаясь на ноги.— Понесемте в больницу. Помогите, товарищи.

Помощников оказалось больше, чем следовало. Пришлось оттеснять народ, уговаривать расступиться. Лаврентьева положили на носилки, за них взялись Носов, Карп Гурьевич, Антон Иванович, Павел Дремов. Шагая

в ногу, понесли в тягостной кладбищенской тишине. Были слышны только сухой скрип снега да прерывистое дыхание людей.

Елизавета Степановна не знала о случившемся. Напевая песенку о том, как в Таганроге убили молодого казака, она наводила в доме порядок. Завтра Асюткин день рождения. Молодежь придет, парни с девками. Пашка Дремов явится. Ну что ж, Пашка так Пашка. Не будет же мать стоять на дочкиной дороге. Да и к чему перегораживать ее, дорогу эту. Пашка — малый работящий; если дело ему дать по специальности, не оплошает. В колхозе им довольны. Занозист иной раз. Мужчине и положено быть занозистым. Хуже, если он что овсяный кисель — кислый да холодный.

Попала под руку злосчастная бутылка,— скатерти, салфеточки перебирала в комоде. Прижалась к ней лбом, зашептала, не удержала тихих горячих слез:

— Родненький мой, ненаглядный! Доньке нашей двадцать годков. Невеста. Не увидишь красавицу свою в белом платье пышном. Не погуляешь на свадьбе, не подымешь чарочку за жизнь ее, за счастье женское. А помнишь — еще в зыбке была, головенка светленькая, что в пушку лебедином,— говаривал ты: «Доживем до свадьбы, пир горой устроим. Все Воскресенское пять дён пьяное лежать будет». Одна я пьяная, вышло; от слез, от горя пьяная. Ноги не держат, шатаюсь, ненаглядненький мой.

Билась лбом о комод, металась, причитала, к груди тискала холодную бутылку, бередила себе душу. И до того расстроилась, разнервничалась, что ударило в голову: встал он из мерзлой чужой земли, идет, скрипя по снегу солдатскими сапогами,— домой идет на дочкины именины.

Не под ногами покойного солдата скрипел снег. Скрипел он на улице, под десятками иных ног. Заслышала, приблизилась к окошку, вскрикнула. Бутылка выскользнула из рук, звякнуло стекло, и растеклись длинными ручьями слезы бабьи по намытому добела сосновому полу, пошли сочиться сквозь щели в подполье.

За окном — через тонкие морозные узоры было видно — несли кого-то на больничных носилках воскресенские мужики, и где проходили — оставались на снегу, как пятаки, большие кровавые пятна.

Выскочила на улицу в одном платке — да так и обмерла.

— Дементьича-то,— сказала ей соседка,— Буран запорол.

Последней о несчастье с Лаврентьевым узнала Клавдия. Она сидела у себя за столом и писала письмо в Москву, в Тимирязевскую академию. Клавдии надо было узнать, есть ли там такие курсы, чтобы приняли на них с удостоверением об окончании семилетки и за год, а если можно, то и за полгода, подготовили в институт. Ей это было совершенно необходимо. Поставила точку на листке почтовой бумаги, расписалась: «*К. Рыжова*». Перечла и скомкала, изорвала в клочья письмо.

— Какая вы дура, Рыжова! — сказала вслух, громко и отчетливо, смакуя слово «дура».— Еще шесть лет... Да вам же будет за тридцать.

С тех пор как Лаврентьев нес ее на руках, Клавдия уже не скрывала от себя, что любит его. Вновь прижаться бы к нему, положить на его плечо свою голову. Она знала, что хороша собой, но теперь ей хотелось стать еще красивей, хотелось, чтобы загрубевшие от работы руки были такими же мягкими и нежными, как у Людмилы Кирилловны. Она ездила в город за кремами, за неведомым ей доселе миндальным молоком. Снадобья эти были в свинцовых тюбиках, и в баночках, и в бутылках. Она накупала пахучей косметической дребедени и не знала, как за нее приняться,— все это потихоньку утаскивала к себе Марьянка.

Все казалось напрасным, ничто не могло поднять ее в глазах Лаврентьева, а главное — в своих собственных глазах. Тогда пришла мысль — поступить в институт и стать, подобно Лаврентьеву, агрономом.

— Тетя Клава! — вбежали ребятишки, они по очереди врывались в каждый дом со своей новостью.— Агронома бык убил. Как взнял до неба, а после как брякнул об землю!..

Было забыто все: и равенство, и неравенство, и миндальное молоко, и Тимирязевка, и туфли на высоких каблуках...

Когда Клавдия вбежала во двор коровника, она увидела пустой загон,— там уже не было и оглушенного Бурана; скотники подняли и увели его, шатающегося, в стойло. Она увидала кровавый, перемешанный ногами снег и упала грудью на жерди изгороди.

## ГЛАВА ПЯТАЯ

### 1

Зима была снежной. Снег валил днем и ночью, нагромождая всюду ослепительно белые, пухлые сугробы. Под ними исчезли изгороди, заборы, колодцы, из-за них стали непроходимыми и непроезжими дороги. По утрам, протаптывая стежки, люди вязли в снегу выше колен. В иные годы страх и уныние охватили бы воскресенцев от такой напасти, потому что чем больше снегу зимой, тем яростней вешнее половодье, тем сильнее зальет Лопать улицы села, тем стремительней через лес и поля хлынут воды переполнившейся Кудесны, тем неотвратимей угроза урожаю.

В такие снежные годы хуже всех чувствовал себя Антон Иванович. Он раздумывал над горькой участью председателя. Когда дело идет хорошо и гладко,— хвалят весь колхоз, позабывая о председателе; когда начинаются вымочки на полях, когда не управиться в срок с посевными работами из-за того, что в бороздах чуть ли не до июня стоит вода, когда недобор урожая,— громят, ругают, тянут на исполком, на бюро райкома — кого, весь колхоз? Нет, одного председателя: не обеспечил, не организовал, упустил, не сумел, не возглавил.

Удивительная это должность — должность колхозного председателя. В конце двадцатых годов никто и не думал еще, что возникнет она, такая хлопотливая, беспокойная и трудная; что какой-то крестьянин — бедняк или середняк, Сурков или Лазарев, ничего прежде не ведавший, кроме полутора-двух десятин своей пашни, костистой лошаденки да рязанского немудрящего плужка, — превратится в общественного деятеля, примет на себя тяжесть ответственности за сотни, за тысячи десятин земельных угодий, за десятки коней, за большие когорты плугатарей, севцов, молотильщиков, шоферов, механиков, животноводов, огородников; что он, этот Сурков или Лазарев, на пять, на десять голов перерастет в своем общественном сознании, в государственном мышлении не только какого-нибудь английского лорда-смотрителя за дворцовыми сквозняками, но даже и многих канцлеров и многих премьер-министров заморских государств. Какой заморский премьер будет волноваться, терзать себя оттого, что на

поля его страны выпало слишком мало или слишком много снегу? Вымокнут или выгорят посевы, страна окажется перед лицом голода и бедствий — что из этого? Дороже станет хлеб, а следовательно, возрастут дивиденды премьера,— ведь он не только премьер, но еще и крупный держатель акций импортной хлебной компании.

Антон Иванович был только председателем колхоза, только коммунистом, советским крестьянином. Его, жителя сырых, болотистых мест, избыток снега на полях так же тревожил, как колхозных председателей юга в январе тревожит вид голой, не прикрытой снежной шубой земли. В былые годы, глядя на снегопад, он проклинал судьбу и по пять раз на день выходил во двор измерять железным ломом с насечками толщину наметенных сугробов. В эту зиму он думал так: «В последний раз разгуляется половодье, в последний раз будем чесать затылки среди залитых полей». Он уже увидел, на ощупь ощутил начало осуществления своей мечты. В январе из облисполкома пришло решение о водной проблеме Междуречья. В решении было сказано: обратиться к правительству, а пока начать своими силами изыскательские работы.

Вскоре приехали и долгожданные гидротехники. Им отдали квартиру отсутствующего Лаврентьева, троих пустила к себе Ирина Аркадьевна и одного, хмурого, со шрамом через все лицо, Елизавета Степановна. Гидротехники проложили дорогу от Лопати до Кудесны, ходили во всех направлениях на лыжах, расставляли треножники нивелиров и теодолитов, ребятишки таскали за ними цветные рейки и ящики с инструментами. От гидротехников ни на шаг не отходил Георгий Трофимович. Хмурый разведчик со шрамом, инженер Голубев, был самый главный в группе; по журнальным статьям он знал Георгия Трофимовича, и они подружились. Вместе пробивали ломами разведочные колодцы на трассах между реками, вместе чертыхались оттого, что разведка ведется не вовремя,— такими делами летом надо заниматься. Но чертыхались только для порядка,— знали, что любая работа, какая прежде выполнялась лишь в летнюю пору, теперь, если нужно, выполняется и в крещенский мороз. Никогда зимой не вели в городах кирпичной кладки зданий — однако нынче ведут, не прекращают ее ни в январе, ни при осенних круглосуточных ливнях. Время не ждет, оно мчится и мчится в будущее, и вместе с временем, не жалея сил, устремились в будущее люди; мысль их — опере-

дить время, своими глазами увидеть хотя бы краешек того, что они готовят для новых поколений.

Инженер Голубев сказал однажды Антону Ивановичу, что главный канал из Кудесны к Лопати пройдет, видимо, по трассе ручья, который рассекает Воскресенское надвое, и, как это ни печально для колхоза, село надо будет переносить на другое место, иначе его зальет. «Какая же это печаль! — закричал Антон Иванович.— Радость мне, радость, товарищ Голубев!»

Теперь уже ничто не стояло на пути Антона Ивановича к осуществлению его мечты. Он немедленно затребовал архитектора, чтобы спланировать перенос села. Он, что называется, разрывался на части. Надо было мчаться на лесные делянки, посылать туда бригады своих лесорубов, с харчами, кузней, стряпухами; надо было ехать в соседний район, «вырывать» по наряду кирпич; надо было уговаривать руководителей снабженческих организаций и прежде других «выхватывать» ящики с гвоздями и стеклом. Дальше — как это доставить все на место, по заметенным снегом дорогам и при ограниченном количестве тягловой силы? Откуда взять столько плотников, каменщиков, печников?

— Не берись, Антон, за все дела разом. Завалишь,— охлаждала его пыл Дарья Васильевна.— Поселок твой поселком, а еще и весенний сев подойдет. Давай-ка, председатель, график составим, людей распланируем.

График составить было легче. Рассчитали кубометры древесины, рассчитали коней и километры от леса до Воскресенского, поделили, перемножили. А вот с людьми было хуже. Пришлось делать крупные и неожиданные перестановки. Карпа Гурьевича уговорили стать главным на лесозаготовках, под полную его ответственность и единоначалие. Старый столяр не упрямился, сказал только: «Боязно, непривычен людьми ворочать. Я по дереву...» — и согласился, уехал в лес. Анохин, как человек дела, твердый и спокойный, по решению правления и партийной организации возглавил всю транспортировку строительных грузов. Его место, место бригадира-полевода, заняла Ася.

Машина каждое утро уходила в город: шофер и грузчики брали с собой в кузов лопаты, расчищать дорогу. Одни за другими, плывя по сугробам, уезжали в дальние леса розвальни, и в них уезжал народ — лесорубы,— из каждой семьи кто-нибудь да отправился в армию Карпа

Гурьевича. Где-то там, в чащобах, возникали землянки и крытые снегом шалаши, визжали пилы, стучали топоры, курился дым над жестяными трубами, пахло борщами и кашами, а село пустело со дня на день.

По замыслу Антона Ивановича весь этот переполох должен был закончиться тем, что из лесов, из города, с кирпичных заводов и со складов хлынет могучий поток материалов.

Но время шло, а потока все не было, — так, жидкие ручейки стекались. Уже приехали архитектор с техником и сметчиком. Антон Иванович отдал им в полное владение свой дом, спешно достроив вторую его половину. Самого же его с Марьянкой пустила к себе Клавдия. Она в горячую пору уехала из Воскресенского в областной город. Никто ее за это осуждать не думал,— причина была веская и всем понятная. Наоборот, поездка эта многих примирила с неприступной гордячкой. Архитектор составлял проекты общественных построек, жилых домов, перестройки бывшей шредеровской усадьбы; сметчик делал необходимые расчеты; техник, ползая по снегу, вел разбивку участков вокруг усадьбы.

Архитектор Жаворонков изучал место будущей стройки со всех сторон, со всех точек,— ему хотелось представить, как будет выглядеть поселок с дороги, с реки и даже с птичьего полета, для чего Жаворонков взобрался однажды на купол бывшего клуба. После каждого такого исследования возникал новый эскиз — один лучше другого.

Антон Иванович видел, что его собственный проект планировки поселка пошел насмарку, но не огорчился этим нисколько: проекты Жаворонкова ему нравились гораздо больше.

— Поймите, товарищ Сурков, одно,— говорил Жаворонков, стоя где-нибудь под елкой, дымившейся снеговой пылью от январского ветра.— Мы хотим, чтобы переезд обошелся вам как можно дешевле, а поселок получился как можно красивей. Поэтому планируем так, чтобы старые дома перенести в сохранности, дополнить их новыми и получше расположить на участке. Разве плохо?

— Как плохо! К этому и стремление.

Антон Иванович мало-помалу превращался в агитатора и пропагандиста предложений Жаворонкова. Эти предложения обсуждались на партийном собрании, коммунисты разъясняли проект в бригадах лесорубов, возчиков, на животноводческих фермах.

Для гидротехников и для архитектора Антон Иванович готов был каждый день варить лапшу с курятиной и домодельные воскресенские компоты из сушеных яблок, не жалел меду, хотя это были рубли, отрываемые от почти миллионной суммы, красными чернилами проставленной в конце бухгалтерской книги колхоза. Но его удручало, что бревна ползут из лесов не быстрее ленивых капустных гусениц. Кирпич штабелями лежал на станции, и Антону Ивановичу казалось, что его там безбожно крадут. Он отправил в город караульщиком Савельича с берданкой. Дед три дня зяб на ветру и в конце концов повадился ходить в чайную греться. А в чайной земляки, свояки, знакомцы. Много ли старику надо? Разбуянился раз, пришел на станцию к кассирше. «Билет выдай. Уезжаю отседа».— «Куда билет, папаша?» — «А тебе какое дело? — гаркнул.— Шагу человеку ступить не дают! Куда сразу да зачем». Вломился к начальнику, стучал кулаком по столу, пóлами тулупа смахнул на пол чернильницу и лампу. Увели в милицию, сообщили в колхоз.

Потом из леса вернулся приемный сын Карпа Гурьевича, — руку топором поранил. Потом уронили с машины ящик стекла. Беды сыпались со всех сторон. Антон Иванович обнимает вечером Марьянку, чуть ли не слезы точит ей на грудь.

— Не руководитель я, Марьянушка, сапог валеный... И жизнь какая трудная... Нет в ней покоя человеку.

— Тошенька, предлагали тебе,— шел бы в совхоз заведующим отделением. Помнишь, директор звал? Хорошо бы как, а?

— Тьфу тебя, Марьянка! — рассердится.— Я тебе про жизнь, ты про дурь всякую. Извини — телушка ты, форменная телушка.

Наутро встанет, ночные горести долой, гонит в разные места машину, подводы, из себя выходит,— дело движется по-прежнему с ноги на ногу, вперевалочку, не спеша, с прохладцей.

Но не одна голова в колхозе — председатель. Была тут еще и Дарья Васильевна, партийный руководитель. Ею не зря было сказано как-то: «Не без языка, чай, на свет родились». Она написала статью в районную газету, о всех воскресенских замыслах по переустройству природы рассказала, о трудностях и нехватках, о воле колхозной перебороть трудности. Отправилась со статьей в город, отдала в редакцию. Статью напечатали, и удивительное

вышло дело. Антона Ивановича и Дарью Васильевну непрерывно стали звать к телефону. Секретарь сельсовета Надя Кожевникова сбилась с ног, разыскивая их по селу.

— Заело? — откуда-нибудь за полсотни километров кричал другой председатель или другой партийный секретарь.

— Заело-то заело, да не съело.

— Ершистые вы.

— Ерша щука не берет.

— Ну, ну, желаем здравствовать. Вот план лесозаготовок выполним, пришлем пару подвод. Подсобим. Слышь ты?

— Спасибо скажем.

— Спасибо — это ладно. Харч чтобы был — людям и коням. Главное.

Другие высказывались в ином духе:

— Антон Иванович? Ты, милок, на нас не серчай. Помочь — у самих сил нету. Запарка. Чуешь?

Антону Ивановичу общий интерес к воскресенским делам понравился и придал энергии. Он съездил в совхоз, выпросил у директора машину и двух плотников. В дальний край района отправился, на артиллерийский полигон. Щегольнул там, что сам — старшина батареи; приехал в гимнастерке, при ордене и всех медалях. Растрогал старенького майора, тот пообещал, что созвонится с округом и вышлет тягач.

В середине февраля, в разгар самых вьюг и метелей во главе целого обоза явился горский председатель Лазарев. Пощипывая бороденку, попивая чаек, рассуждал:

— Мир обществом силен, Антон. Ты в трудную минуту нас, горских, не забыл. И мы тебя не забыли. Мужики наши работящие, кони справные. На две недели даем тебе восемь подвод,— хозяйствуй. Больше, понятно, не проси. Мир плановости требует. У нас свой план. Мы из него эти подводы, что хитрый портной, по клочкам выкроили. Сумеешь сшить — пиджак будет. Не сумеешь — неладный ты швец, значит.

К марту вокруг помещичьей усадьбы, над рекой и вдоль дороги, громоздились штабеля бревен, досок, кирпича, бутового серого камня, возникли навесы для бочек с цементом, дощатые кладовушки. В тесной будке возле чугунной печки сидел Савельич, который, не оправдав себя в городе, был переведен сторожем сюда. Ему отвратительны были вся эта суета и вид строительной, ерала-

шистой площадки, обезобразившей привычную тихую, мирную сельскую картину. Но Савельич терпел, потому что сторожем в зимнее время быть выгодно: дела никакого, а трудодни идут. Он выйдет иной раз из будки, пальнет в ворону для порядка — и назад, топить чугунку.

С мартовскими днями сидеть за печкой не стало резону. Устроил возле будки лавочку из доски и двух чурбаков. Грелся на солнце, притопывая красными галошами в лужицах на снегу. И кто бы ни ехал, кто бы ни шел по дороге мимо воскресенских садов, все видели в садах начало какой-то большой стройки и среди нее — неизменного деда в тулупе, с берданкой, зажатой меж колен.

## 2

Лаврентьев лежал в центральной областной больнице, куда его доставил самолет санитарной авиации. Катя вызвала тогда хирурга из района. Хирург, в свою очередь, позвонил в область. Состояние раненого было чрезвычайно тяжелое: пробита брюшная полость, поврежден кишечник, сломаны ребра. Он не выходил из глубокого шока. Районный хирург едва успел обработать раны, как на лугу возле села приземлился самолет. Через пятнадцать минут самолет снова взмыл, развернулся и унес с собой агронома. Всем селом смотрели вслед снежно-белой машине, и многие в эту минуту думали, что навсегда расстались с человеком, к которому привыкли, с которым сроднились и без которого жизнь колхоза как-то и не мыслилась, будто участвовал он в ней с тех давних пор, когда обобществили первых коней, первые хомуты и бороны и когда было так трудно, непривычно трудно работать сообща, что хоть бросай все и уходи с земли на лесные разработки, на станцию в стрелочники, уезжай в область — на завод или на фабрику.

Люди долго стояли на заметенном снегом лугу, на котором оставили след широкие лыжи, и почему-то молча разглядывали Клавдию. Она не стеснялась этих взоров; прижав руки к груди, страдающая и увядшая, как молодое деревце наутро после ночного заморозка, смотрела сухими глазами туда, где растаял, исчез в безоблачном небе стрекочущий самолет.

Лаврентьев лежал в горячечном бреду, за жизнь его опасались не только воскресенцы, но и самые знамени-

тые хирурги области. Они подходили к постели, говорили слова «пенициллин», «переливание крови» и хмурились.

Лаврентьев видел отца, мать, видел Наташу, речку Каменку и пескарей среди валунов на песчаном дне. Пескари были верткие, ловить их трудно. Вильнув хвостом, они подымали со дна рыжую муть, и из этой мути возникало что-то страшное. На всю палату, отдаваясь в коридорах, гремели тогда команды: «Огонь, огонь!» — больной бился, сбрасывая одеяла, приказывал сиделке, дни и ночи неотлучно проводившей возле его постели, немедленно подать автомат,—наступал, видимо, час рукопашной схватки, противник окружал батарею. Потом вновь он крушил быка Бурана, отчего однажды ночью подогнулись ножки его складной кровати. Бывший комбат метал гранаты — вдребезги, в черепки разлетались больничные чашки и тарелки, схваченные со стола судорожно дергавшейся рукой. Лаврентьев боролся за жизнь, он не хотел смерти, а смерть подступала к нему со всех сторон. Она шла цепями психических атак, валила бычиными стадами, ползла гадюками, просачивалась в палату ехидными старушонками-горбуньями.

Горячка проходила медленно, капля по капле оздоравливалась зараженная кровь, ступенька за ступенькой, от недели к неделе спадало напряжение борьбы за жизнь. Дышать стало легче.

Однажды он вдруг увидел себя лежащим на постели. Белая комната была залита солнцем, за окном висели сверкающие сосульки, с них звонко капало на жестяной подоконник. Спиной к Лаврентьеву, возле окна, стояла женщина в белом халате, и пышные волосы ее, пронизанные солнечными лучиками, искрились вокруг головы, как золотой прозрачный дым.

Он узнал ее и понял, что еще бредит, что еще в забытьи. Так бывает во сне: хочешь проснуться, как будто бы проснешься, а это снова сон. Конечно же, это сон — у окна стояла Клавдия. Но пусть сон — зато какой хороший!

— Клавдия,— позвал он шепотом по имени; во сне ведь можно и без отчества.

Клавдия обернулась, быстро шагнула, склонилась возле постели, припала головой к его плечу.

— Петр Дементьевич...— твердила и не знала, как ей быть дальше. Шесть недель она провела почти без сна: он ее гнал, проклинал, называл шпионкой, дрянью, в нее летела посуда, с которой она кормила его ложечкой, как ре-

бенка. Шесть долгих недель прошло в ожидании дня, когда Лаврентьев очнется; он очнулся — что же делать и как быть? Это порыв — прижаться головой к плечу, разрядка после напряжения нервов и сил. Всякий порыв проходит. Клавдия, взволнованная, поднялась. Лаврентьев лежал с закрытыми глазами, слабый, немощный и счастливый.

— Клавдия,— продолжал шептать.— Клавдия...

Это было в конце февраля. Тогда же он получил телеграмму из Междуречья. Окружная избирательная комиссия спрашивала его о согласии баллотироваться в депутаты районного Совета по Воскресенскому округу. Долго и удивленно рассматривал Лаврентьев телеграмму. Позвал врача, сказал: «Доктор, как же я могу согласиться? А вдруг я умру?» — «Соглашайтесь,— ответил врач.— Умереть мы с Клавдией Кузьминишной вам не дадим. Так у нас решено. Правда ведь, Клавдия Кузьминишна?»

Теперь шел апрель. Лаврентьев вставал, томился от безделья, рвался прочь из палаты, из больницы, но его не пускали: рано, рано. Клавдия недавно уехала, без нее стало тоскливо и беспокойно. Между ними было все сказано. Не сразу сказано,— после долгих душевных мытарств. Лаврентьев понял, что если бы не это несчастье, не этот свирепый Буран, то и вообще бы никогда они ничего друг другу не сказали. Только увидав его, раздавленного, изломанного, потерявшего силы, она смогла прийти к нему. В эти недели она была сильнее Лаврентьева. Она и пришла как сильная к слабому, уехав из колхоза при полном одобрении Антона Ивановича и Дарьи Васильевны.

«Близкий рядом — ему отрадно будет»,— говорила тогда Дарья Васильевна.

«Авось свояками с Дементьичем станем»,— по-своему повернул Антон Иванович.

Пришла Клавдия как сильная к слабому, а ушла... Ей уже было все равно. Она знала, что любит, любит всепоглощающей любовью, и надо ли считаться — кто сильней, кто слабей.

Были долгие разговоры и долгие часы молчания в сумерках. Лаврентьев брал ее руку, прижимал ладонью к щеке. Она замирала, чуть ли не теряя сознание, и не могла ни на что решиться. Злилась на себя, злилась на него. Она в отчаянии прижалась однажды к его лбу своим лбом, по-девчоночьи; совсем рядом перед его глазами были ее полные страха и тревоги, расширенные зеленые глаза.

Но он их не видел, — видел лишь золотое шелковистое сияние, упавшее ему на лицо, и вдыхал его теплый запах.

Тогда она сказала, что уедет, — неизвестность была сверх ее сил. Лаврентьев взглянул через окно на весеннее небо, на грачей, которые строили гнезда среди ветвей черных лип в парке, и неожиданно привлек ее к себе, испуганную, ошеломленную, счастливую. Она, как тогда в поле, была возле его груди и слышала стук его сердца...

Ни врачи, ни сестры, ни сиделки не мешали им. Заведующий отделением, старый, наголо обритый доктор медицинских наук, носивший белую полотняную шапочку, сказал ординатору:

— Пускай шепчутся. Скорей на ноги встанет.

За несколько дней до отъезда Клавдии проведать Лаврентьева зашел Карабанов, принес с собой запах улицы, шум, шутки. Его вызвали в обком.

— Ох, беды ты нам наделал, Дементьевич,— сказал он, усаживаясь на скрипнувший больничный стул; был какой-то смешной, похожий на повара, в коротком халате, завязанном на спине.— Уперлись твои земляки: подай им Лаврентьева, да и только. Мы и так и этак, болен, мол, человек, можно ли выдвигать при полной такой неизвестности? Извини за прямоту, положение твое считалось безнадежным. Я каждые три дня звонил сюда главному врачу, справлялся. Объяснял народу. Нет, говорят, ничего знать не хотим: Лаврентьева. Портрета, отвечаем, нету, перед избирателями выступать не может. «Без портрета обойдется, выступать — достаточно выступал». Что ты скажешь! Вот по поручению окружной комиссии привез тебе удостоверение. Депутат районного Совета! Дарью Васильевну сменил. Ее, знаешь, в члены райкома избрали.

— Столько событий без меня! — Лаврентьев взволнованно разглядывал депутатское удостоверение. Он представил, как там, в Воскресенском, а может быть, и в совхозе, в соседних селениях за него агитировали Дарья Васильевна с Антоном Ивановичем, Ася с Павлом Дремовым, Нина Владимировна; как они доказывали: только Лаврентьева, и никого больше,— и растрогался. Клавдия недовольно сказала:

— Никита Андреевич, товарищ Лаврентьев еще болен, ему нельзя волноваться, а вы нарочно всякие такие вещи рассказываете...

— Ишь ты, гляди, какая строгая! — восхитился Карабанов.— Гляди, какую официальщину разводит: товарищ

Лаврентьев! Да я еще не то сейчас твоему товарищу Лаврентьеву расскажу.— И принялся обстоятельно рассказывать о делах в Междуречье. Тут и Клавдия заслушалась, давно не была дома, от дел колхозных оторвалась,— и ее и Лаврентьева потянуло на Лопать.

— Счастливая вы, Клавдия,— вздохнул после ухода Карабанова Лаврентьев. Он еще не мог решиться говорить ей «ты».— Поедете. А мне сколько тут валяться, кто знает...

Она только молча взяла его руки в свои ладони.

Уехала Клавдия, дав бесчисленные наставления сестрам, санитаркам и даже ординатору, как ухаживать за Лаврентьевым, как беречь его. Всем она говорила: «Знаете,— депутат». К чему было это «депутат», она и сама не знала. Может, заботиться больше станут. Для нее же он был никакой не депутат, а самый дорогой на свете человек, которого она даже в мыслях называла Петром Дементьевичем. Всякие уменьшительные — Петя и Петенька — ей претили. Не подходил под такие имена он, ее Петр Дементьевич.

Лаврентьев остался один. Ему несли каждый день письма — то от Антона Ивановича две-три короткие строчки: «Запарка, Дементьич. Свету не вижу. Шкура обвисла на костях. Тебя жду — одно спасенье». То от Аси, которая писала письма длинные и обстоятельные, с подробными описаниями тех, от кого приветы и поклоны. «Вернетесь, уж так вас все расцелуем!..» — вновь грозилась она. Лаврентьев смеялся и рассказывал сестрам и врачам, как однажды его, при полном кворуме, целовала комсомольская организация колхоза.

В одном из очередных Асиных писем он нашел записку, сложенную аптекарским пакетиком. «Елизавета Степановна, передайте это вашему агроному»,— было написано на пакетике незнакомым почерком. Развернул, стал читать. «Уважаемый товарищ Лаврентьев! — писал ему кто-то; кто — он вскоре узнал.— Много слышу о вас от Е. С. Звонкой, мы с ней изредка обмениваемся известиями. Кажется, я сделал правильно, что сбежал из колхоза,— и колхозу и мне на пользу. Не сбежать не хватило силы. Слабоват я оказался. Бился-бился, ничего не выходило. Колхозники на меня смотрят, помощи ждут, а я сам рад был помощь получить. Где ее получишь? От Серошевского, что ли? Вы с ним, наверно, познакомились. Он против меня целое дело завел из-за каких-то двух копен се-

па. Верно, сено сгнило, дожди какие шли! Но нельзя же человека за это под суд отдавать. А он уже — бац, прокурору. Что ж, мне в двадцать два года на скамью подсудимых садиться. Я не жулик. Понял я, что рано мне самостоятельно работать, учиться у старших надо. Может быть, не следовало тайком убегать. В этом сильно раскаиваюсь. Но все из-за Серошевского. Запугал он меня. Ну, черт с ним, с Сергеем Павловичем. Теперь в плодово-ягодном совхозе работаю. Если саженцы нужны, напишите. Хорошие есть сорта, мичуринские. Всегда рад быть вам полезным. С приветом. *Кудрявцев»*.

Пришло и еще одно нежданное письмо. Лаврентьев взглянул на проставленные в конце инициалы и почувствовал волнение. Было это письмо от Людмилы Кирилловны.

«Дорогой Петр Дементьевич! — писала она.— Какое страшное несчастье. Когда я получила весть о нем от Кати Прониной, то несколько дней не могла ходить на занятия. Но я твердо верю, что все кончится хорошо. Вы сильный, вы настоите на своем, вы поправитесь. Желаю этого всей душой. Милый Петр Дементьевич. Я вас никогда не перестану любить. Простите меня. Ваша Л. К.».

«Л. К.», Людмила Кирилловна, та удивительная Людмила Кирилловна, которая первой пошла ему навстречу, когда он появился в Воскресенском, которая готова была его поддержать, ободрить и приласкать, почувствовав, как трудно, как тяжело человеку, оказавшемуся в незнакомом краю, среди незнакомых людей.

Надо ей ответить, сказать, что она ошибается, что еще будет, будет и она счастлива.

Он так углубился в эту безмолвную беседу с Людмилой Кирилловной, что позабыл о письме, принесенном санитаркой вместе с голубым конвертом. Перед ним день за днем чередой проходила его недолгая, но полная больших переживаний полоса жизни в Воскресенском. Полтора этих года стоили многих лет.

Когда наконец он взялся за конверт с грифом исполкома областного Совета, его поразил адрес: «Депутату Междуреченского Совета тов. Лаврентьеву». Уже депутат! В конверте была короткая выписка из постановления Совета Министров РСФСР. «Инициативу одобрить»,— видел Лаврентьев простые и вместе с тем очень значительные слова. Для того чтобы появились эти слова,

был пройден трудный путь. Маленькое дело, начатое с ям на участке Аси Звонкой, выросло, стало делом государственным. Теперь — можно не сомневаться — оно пойдет.

Лаврентьев запахнул байковый больничный халат, в котором человек чувствует себя таким беспомощным, и пошел к главному врачу — требовать, чтобы его сейчас же выписали, чтобы тотчас принесли одежду. Он должен, он обязан немедленно уехать к себе в Междуречье.

### 3

Уговорить врачей в тот день не удалось. В район Лаврентьев вернулся, лишь когда зацвели сады, когда лопались на яблонях первые бутоны и полусонные пчелы, кружась над ними, ждали своего дня, ждали медвяного нектара. Воды Лопати и Кудесны схлынули. По примеру прошлого года, приостановив временно строительство, воскресенцы боролись с водой при помощи ям и канав. «Последний раз такое варварство, граждане,— утешал односельчан Антон Иванович. — Кончим с этим, кончим. Сами видите, к концу дело идет». Половодье достигло небывалого размера, доползло до скотных дворов, вспучило там дощатые полы; в мутном потоке утонула перепуганная корова Зорька, захлебнулись две овцы и поросенок; уплыла новая телега, ее едва догнали на лодках. И рухнул, рассыпался гнилыми бревнами правленческий домишко. Хорошо, счетовод успел вынести из него свои папки и ведомости.

Антон Иванович обрадовался гибели «свинушника». Правильно, значит, делал, что сопротивлялся его капитальному ремонту, — перст, дескать, судьбы: не тут быть селению, не тут строить новую жизнь.

Солнечным утром Лаврентьев вышел из вагона в полной уверенности, что его никто не встретит, потому что о дне своего приезда он нарочно не сообщал, — после долгой отлучки ему хотелось войти в жизнь колхоза не сразу, а постепенно. Но он ошибся. Только спрыгнул с подножки, вокруг его шеи тут же обвились Клавдины тонкие руки.

— Нехороший какой, Петр Дементьевич! — обиженно и радостно шепнула она ему на ухо.— Тайком.

— Конспиратор, конспиратор! — Клавдию нетерпеливо отстранил Карабанов и тоже крепко его обнял.

Жал руку Громов, смеясь говорил что-то такое из Вергилия о том, что вол уже проревел и пора влажной землею до жаркого блеска отчистить лемехи плуга. Бежали через привокзальную, бурую от навоза площадь Антон Иванович и шофер Николай Жуков. Антон Иванович размахивал руками.

— Другой раз не хитри с друзьями,— говорил Карабанов, когда шли по улице.— Они тоже хитрые. Мы с Клавдией Кузьминишной не промахи оказались. Когда уезжали, попросили главного врача сообщить нам о дне твоей выписки телеграммкой. Хитро?

— Хитро. Только я выписался не вчера, а два дня назад.

— А мы два дня подряд и встречаем. Вчера паничка тут началась среди земляков: пропал человек. Еле утешил,— в облисполкоме, говорю, сидит. Не иначе. Верно ведь?

— Верно. Почему вы так подумали?

— Знаю тебя. Ориентироваться пошел — как да что. А сейчас пойдешь завтракать. Ко мне, товарищи, всей бригадой,— пригласил Карабанов.— Жены дома нет, зато бабушка на боевом посту. Что-нибудь соорудит.

Снова Лаврентьев был в уютной квартирке Карабановых. Клавдия не сводила с него тревожно-радостных глаз, жалась к нему плечом, но ее оттирали, отнимали у нее Петра Дементьевича.

Было похоже, что на него имеет право кто угодно, только не она. Клавдия рассердилась и, опечаленная, села в бабушкино кресло, стала машинально наматывать на палец шерстяную нитку из оставленного в кресле клубка. Петр Дементьевич так увлекся разговором с Карабановым и Антоном Ивановичем, что о ней, казалось, совсем позабыл.

— Каша, Дементьевич, заварилась такая крутая,— говорил Карабанов,— что нам всем вместе едва-едва хватит силенок ее расхлебать. Правительство республики, ты уже знаешь, утвердило план больших работ в Междуречье. Вроде, брат, Полесской проблемы дело оборачивается. Веселая при этом штука получилась!.. Нам область предложила создать комиссию для координирования работ. Поставили вопрос на исполкоме. Тут Лазарев забушевал: «Э, говорит, комиссия! Знаем. Бюрократизм начнется, заседания, протоколы. А дела никакого. Против комиссии. Пусть лично секретарь райкома и председатель

исполкома возглавят. Если же непременно комиссия, давай председателем Карабанова». Я сгоряча и бухнул: «Ладно, говорю, выберут, так от работы бегать не стану. Не привык от нее бегать». И что ты думаешь — выбрали! Председателем. Вернее — начальником штаба,— мы эту комиссию штабом назвали. Междуреченский штаб! Ты, имей в виду, первый заместитель начальника. Второй — инженер Голубев. Суровый такой мужчина. Характерец, я тебе скажу! Как бы потасовки между вами не вышло. Следить буду.

— Никита Андреевич — о своем, я — о своем,— дождался очереди говорить Антон Иванович.— Правление наше, Дементьевич, начисто смыло. Одни камни угловые остались. С этого раза, считай, Воскресенского нету. Уплыло. Первым делом, в новом поселке новое правление порешили строить. Мне кабинет — председателю, значит. Тебе кабинет — агроному. Дарье — секретарю партийной организации.

— Так чтó —в кабинетах и будем сидеть?

— Ну тебя, Дементьич! Все шутишь. Кабинеты для приемных часов. Не понимаю я тебя, ей-богу! Сам же меня скоблил полтора года — правление да правление. А теперь...

— А теперь задумался: что лучше и важней — хорошее поле или хороший кабинет? Диалектика, знаешь, человеческого сознания, Антон Иванович. Оно же развивается.

— Это — не перечу. Развитие есть. Костю взять Кукушкина. Какие фортеля выкидывал? Проволоку колючую, нитки, засады. Теперь посмотри, у них там на пасеке этакий договорище вывешен! Все пункты, все планы, нормы. Взаимный контакт с дядей Митей, а ведение дел самостоятельное. Ульев новых навезли. Оба лаются, — стройкой, дескать, пчел им пугаем.

Бабушка, шаркая войлочными туфлями, внесла сковородку; запахло салом и зеленым луком.

— Что это ты, молодка, натворила-то мне! — Старуха увидала Клавдиину работу и отобрала у нее нитки. — Эка, запутала как. Видать, не рукодельница. — И уже тише, понимающе, спросила, указывая на Лаврентьева: — Муж он тебе? Не слышу — кто?

Клавдия побледнела. В тех случаях, когда обычно краснеют, она всегда бледнела.

Машина катила по плотной, обструганной грейдером дороге. Лаврентьева пытались посадить в кабину, но он отказался, уступил место Антону Ивановичу. Ему хотелось быть вместе с Клавдией. Клавдия ошибалась: Лаврентьев не переставал думать о ней ни на минуту. Сознание того, что отныне рядом с ним есть она, утраивало, удесятеряло его силы и энергию. Он физически ощущал за спиной те крылья, о которых любил так хорошо говорить Карабанов. Он готов был — вот только остановится в конце своего пути машина — перемахнуть через борт, схватить лопату и тут же, сию минуту, начать расшвыривать комья земли, прокладывая дорогу Кудесне в Лопать, чтобы исчезли болота и седые мхи в лесу, отступили вглубь вечно подстерегающие урожай злые грунтовые воды, зацвели в полях клевера и перестала Ася Звонкая тревожиться весенними ночами за судьбу своей пшеницы. Чепухой казались ему теперь рассуждения о весах жизни, на которых непременно должно перетягивать или общественное, или личное, о чем однажды он долго раздумывал. И то и другое сливалось у него воедино, взаимно дополнялось. Становилось ясным, что большие общественные стремления не обедняют, а обогащают личную жизнь, выводят ее из домашних замкнутых рамок на простор. Это и есть человеческое счастье!

## 4

Закладка первого канала была приурочена к окончанию основных работ в поле. Канал, как и говорил Антону Ивановичу инженер Голубев, должен был пройти по трассе воскресенского ручья. К торжественному дню в Воскресенское съехались люди со всего района — и на машинах, и на подводах, и верхами; совхозные пришли пешком — им было близко. Возле ручья, там, где он выбивался из оврага в котловину, занятую селом, построили дощатую трибуну, увили ее еловыми ветвями и красными полотнищами. На трибуну взошли Карабанов, Громов, инженер Голубев, Лаврентьев, Антон Иванович, Дарья Васильевна. Говорились взволнованные речи о той созидательной силе, какую идеи партии вкладывают в душу человека, о том, как эти высокие идеи меняют отношения между народами и перестраивают мир, даже самую природу во имя счастья и расцвета человечества. Анохин,

самый малословный и деловитый оратор, которого воскресенцы выставили от себя для участия в торжественном митинге, растерялся перед величием того, чему в этот день на берегу гнилого ручейка закладывалось начало. Он только развел руками и не мог произнести ни слова. Его поняли и ответили ему горячими аплодисментами, ободряющими криками:

— Ясно, друг, все ясно! Сильней не скажешь!

Потом началась церемония закладки. Первым всадил лопату в землю начальник штаба междуреченских работ — Карабанов. За ним — Лаврентьев. Два пласта почти одновременно рухнули с берега в ручей, вода подхватила песок и глину, размыла их, унесла в Лопать.

Бросали землю в воду Голубев, Антон Иванович, вновь приехавший из Горок Лазарев, директор совхоза, Ася Звонкая — все, кто хотел. Была в этом какая-то шумная неразбериха и беспорядочность, простительная только для первого и такого праздничного дня. Завтра суровый Голубев возьмет дело в твердые руки, расставит силы, и все пойдет по плану, по четким, отбитым шнурами и стальными лентами трассам.

Для знаменательного дня Ирина Аркадьевна с Асей придумали особый подарок. Когда закончилось швыряние земли в ручей, когда каждый желающий приложил руку к лопате, возле трибуны большой подковой выстроился многолюдный воскресенский хор. Опробовали лады баянисты, Ирина Аркадьевна подняла руки: внимание! — и плавно опустила их. Так же плавно, нарастая, раздаваясь вширь, поплыла над полями песнь, торжественная, полная лирики и величия.

Сколько звезд голубых, сколько синих, —

начали девичьи голоса.

Сколько ливней прошло, сколько гроз, —

вступили мужские баритоны и басы.

Люди стояли вокруг, опершись о лопаты, серьезные, думали об этих ливнях и грозах, следы которых остались почти у каждого из них на пиджаке или на гимнастерке,— нашивки за раны, медали и ордена.

Соловьиное горло — Россия, —

подымал хор,—

белоногие пущи берез.

Со всех сторон к строителям теснилась она, воспетая в веках Россия. Белоногие березы шумели на опушках лесов, звенели жаворонки, сверкала под солнцем Лопать, цвели купавы ярким ковром за рекой. Это была Россия. Белели среди деревьев первые венцы новых срубов поселка; проступали пятна красного кирпича; курилась, как вулкан, под ветром груда цемента; стояли среди зеленых трав вереницы машин, украшенных плакатами; под дощатым навесом ждала, когда включат мотор, бетономешалка,— это все тоже была Россия.

Песнь плыла не умолкая. Ирина Аркадьевна вела ее взволнованно и вдохновенно.

Рассветало, зимние, косые
по снегу лучи прошлись гурьбой,—

волнуясь, слушала она слова, полные для нее глубокого значения.

За окном летела вдаль Россия
со своей прекрасною судьбой.

Вслушивались в эти слова и Антон Иванович с Лазаревым и с пореченским председателем Рыбаковым. Они лежали в траве на лужку, окруженные колхозниками. Горские и пореченские расспрашивали воскресенцев:

— Значит, и водопровод задумали?

— Задумали. Инженеры говорят: когда плотину построят, вода самотеком пойдет, и насосов можно не ставить. Только трубы проложить.

Горские завидовали. А Рыбаков сказал:

— И вообще, Антон Иванович, не вижу препятствия, почему бы вам, воскресенским, нас, пореченских, в пай не принять, а? Земли соседствуют. Деньжата-средства тоже у нас есть. Объединиться бы в один колхоз, а?

— Помозгуем,— ответил Антон Иванович.— Время еще будет.

А песня не умолкала.

Среди ночи к Лаврентьеву постучали. Это была Катя.

— Мама вас зовет, Петр Дементьевич.

Голос был такой, что он даже не стал спрашивать, что случилось, торопливо оделся и вышел. Ирине Аркадьевне было плохо.

— Очень плохо?

Катя только заплакала.

Положение Ирины Аркадьевны было действительно плохим. Слишком высоким оказался для нее подъем чувств, испытанных в этот день. Сердце не выдержало.

— Ухожу, Петр Дементьевич,— сказала она.

Он присел возле постели. Ирина Аркадьевна взяла его руку; ее рука была холодная и сухая.

— Прощайте, прощайте, дорогой Петр Дементьевич. Спасибо вам. Вы напомнили мне моего Виктора. Я плохо начала молодость. Но люди, вот такие, как Виктор, как вы, всегда потом помогали мне жить, не сбиваться с дороги, общей с народом.

— Ирина Аркадьевна!..

— Не надо, не надо утешать. Я знаю...

За окном, поскрипывая, терлась о водосточную трубу рябина. Звук, памятный Лаврентьеву с первой ночи, проведенной под кровом Ирины Аркадьевны. Нудный, отвратительный звук.

— Это она. Смерть.

— Мама! — тоскуя, крикнула Катя.— Перестаньте. Всю жизнь вы были так мужественны...

— Была? Ты даже не замечаешь, что говоришь обо мне в прошедшем времени. — Нечто подобное грустной улыбке скользнуло по лицу Ирины Аркадьевны.— Ну и правильно. Прощайте, родные, прощайте. Ухожу...

Под утро Ирина Аркадьевна ушла. Ни Георгий Трофимович, ни дядя Митя, ни Лаврентьев не утешали Катю. Лаврентьев сидел у распахнутого окна, в которое шел волнами аромат отцветающих яблонь, и повторял, повторял, глядя на голубой рассвет: «За окном летела вдаль Россия со своей прекрасною судьбой...»

## 5

Любовь захватывала Лаврентьева, овладевала им с такой силой, что ему становилось трудней и трудней скрывать свои чувства от окружающих. И все же, сдержанный, скрытный, он, как ему казалось, довольно успешно справлялся с собой. Но это ему лишь казалось. Как бы глубоко ни прятал он внезапно нагрянувшую радость, она, помимо его воли, вырывалась наружу. Энергия бурлила, клокотала в нем. Агроном успевал быть и агро-

номом, и первым заместителем начальника штаба междуреченских работ.

Весна в деревне всегда схожа со стремительным наступлением. Тут, как и на поле боя, обстановка меняется каждоминутно, на каждом захваченном рубеже надо по-новому распределять силы и средства. Анохин, еще зимой отошедший от руководства полеводческой бригадой, теперь полностью отдался роли организатора снабжения поселковой стройки материалами. Его место в бригаде заняла Ася. Молодому бригадиру надо было помогать и помогать, тем более что, в отличие от прошлых лет, на воскресенских полях в несколько раз увеличилось число машин. МТС слала сюда не только тракторы, как бывало, но и тракторные картофелесажалки, сеялки, культиваторы. Менялось, возрастало значение животноводческих ферм. На скотных дворах к автопоилкам добавились аппараты для электрической дойки. С ними предстояло много возни,— коров раздражал шум моторчиков, и доярки, как с ними ни билась Дарья Васильевна, наотрез отказывались от механизации. Значит, надо было помогать и Дарье Васильевне. Иные масштабы приняла деятельность Карпа Гурьевича: из столяра-одиночки он превратился в бригадира столяров, был занят оборудованием большой столярной мастерской. Павел Дремов упорно работал над увеличением мощности электростанции; совхозный техник помог ему «выжать» из двигателя еще несколько дополнительных лошадиных сил и поставить новую динамомашину. Каждый день приносил с собой новое. Это новое надо было предугадать, предусмотреть, организовать. На протяжении недели дважды приходилось подымать на ноги весь колхоз и вести людей на спуск лесного болота в овраг, — иначе у инженера Голубева тормозилась пробивка трассы канала.

Как Лаврентьеву хватало сил быть в центре всех воскресенских дел? Откуда брались эти силы? Он вставал с ночными петухами, еще до солнца; первым его видели на улицах села бессонные старики. Он встречал и провожал весенние зори на ногах, и только в эти ранние и поздние часы было у Лаврентьева время задумываться над вопросом, откуда у него столько взялось сил. И губы сами собой произносили в утренней прозрачной тишине ставшее таким родным и милым имя: Клавдия.

Клавдия была неизменно в сердце, но встречался он с ней урывками, редко, даже не каждый день,— лишь

когда удавалось забежать на парники или посидеть вечером на крылечке ее дома. И когда вот так сидели рядом, близко, касаясь друг друга, когда Лаврентьев ощущал плечом тепло Клавдииного плеча, он говорил себе, что с этого крылечка больше никуда не уйдет, что он еще не совсем окреп после больницы и никто слова не скажет, если агроном хоть несколько дней отдохнет здесь, в опрятном, уютном домике. Но подходил, издали заприметив его в сумерках, Антон Иванович, на бегу останавливался возле Павел Дремов с кольцом черной проволоки, как скатка, надетым через плечо, или Дарья Васильевна неторопливо возникала из-за плетней,— и начинались разговоры, советы, расспросы. Заканчивался вечер где-нибудь в правлении, на скотном дворе, под навесом бетономешалки, на пчельнике,— и снова Лаврентьев среди ночи валился на свою жесткую постель и слушал скрип рябины за окном.

С Клавдией хотелось быть все время, каждый час, каждую минуту, не разлучаясь. Если еще полгода, несколько месяцев, даже месяц назад его к ней влекло какое-то довольно неопределенное, безотчетное чувство — влекло и влекло, что поделаешь, — то теперь чувство это стало совершенно определенным. Лаврентьев открыл, увидел в Клавдии то, за что он ее полюбил. Разные по характеру, они во многих — и главных — чертах были все-таки схожи. Как и он, Клавдия была настойчива, упорна в достижении поставленной цели; с ней ни на секунду не было ему скучно. Она думала и говорила остро, прямо; чтобы ответить ей, Лаврентьеву приходилось собирать чуть ли не все свои знания. И вместе с тем, как ни скупа она была в проявлении своих чувств, при каждой встрече он ощущал скрытую в ней ласку, нежность к нему.

Единство помыслов, сходство главных черт характера, полный ласки взгляд зеленых глаз Клавдии, ее порывистые объятия, быстрые, как дуновение теплого ветра, поцелуи — все говорило Лаврентьеву, что он нашел друга в жизни и в своих делах, друга, одно присутствие которого утраивает, удесятеряет силы.

Клавдия, не меньше — может быть, даже больше, чем он,— взволнованная, охваченная новым для нее чувством огромной любви, остро, тяжело переживала постоянную разлуку со своим Петром Дементьевичем. Она даже хотела — но у нее, всегда такой решительной, вдруг на этот

раз не хватило решимости — пойти в правление и потребовать, чтобы не смели мучать агронома, что ему нужен отдых после болезни.

Решимости не хватало по той простой причине, что Клавдия была уверена: ни на какой отдых Петр Дементьевич не согласится и еще только рассердится за ее непрошеное вмешательство. Она его уже хорошо знала.

Но и так, по ее мнению, дальше продолжаться не могло. Она не жена того писателя-демократа, о которой рассказано в книжке, она Клавдия Кузьминишна Рыжова. Если уговорились о любви, о дружбе, если поверил, отдал ей свою душу Петр Дементьевич, Клавдия Кузьминишна не будет играть в прятки.

Теплым вечером Клавдия вернулась однажды с поля пораньше, прибрала в комнатах, вышла на крылечко, как всегда, поджидать — не подойдет ли Петр Дементьевич. Сидела, подперев ладонью щеку; смотрела, как вьются высоко над старой колокольней стрижи, предвещая хорошую погоду; слушала далекую и от этого тревожную песню девчат; самой захотелось подтянуть им, девчатам. Не отнимая руки, повернула лицо на звук шагов: вдоль изгороди шаркала по земле валенцами бабка Устя,— осторожно несла узкогорлый кувшин, получила молоко на скотном, боялась расплескать. Поставила кувшин возле крыльца, присела рядом с Клавдией на ступени:

— Что пригорюнилась, Клапюшка? Тебе ли горевать! Прынца какого нашла... Да ведь и заслужила ты его, заслужила. Трудная жизнь у тебя была, милая, сызмальства. Глядишь, бывалоче, на сиротку, сердце в крови плавает, жалость берет. А не подойти к тебе — гордая! Ну вот господь-то бог и увидел... Радуюсь, на тебя глядючи, налюбоваться не могу, старая.

Бабка Устя так неотрывно смотрела на Клавдиино лицо, будто и в самом деле не в силах была налюбоваться.

На улице появилась ватага ребятишек. Они начертили на влажной земле квадрат и стали играть в чижика.

— Эх, ушло мое времечко! — вздохнула, следя за игрой, бабка Устя. — Бывало, вот эдак тоже баловалась с мальчишками. Озорная была. Витька, дай-кось, сынок, сюды, дай игралку, — поманила она паренька в новой сатиновой рубашке.

Ребятам стало весело: бабка Устя сыграть с ними вздумала. Вот потеха! Подали лопатку, деревянного чи-

жика, заостренного с двух сторон. Не вставая с крыльца, бабка тюкнула по острому концу лопаткой, деревяшка подлетела в воздух, но на лопатку уже не угодила,— промахнулась Устинья.

— Ничо, вдругорядь я вам еще нашшелка́ю.

Попробовала и Клавдия. Тоже не сумела поддать чижика как следует. Так и застал ее Лаврентьев среди мальчишек, раздосадованную неудачей, возбужденную.

— Ну-ка, я! — Он взял из Клавдииных рук лопатку. Чижик у него завертелся, запрыгал и на земле, и в воздухе, от сильных ударов улетал далеко на дорогу.

— Прынц, истинный прынц! — входила в азарт бабка Устя.— Вдарь, вдарь еще, Дементьич!

Солнце ушло, стало меркнуть весеннее небо; сумерки наплывали из окрестных лесов. Ребятишки разбежались, зашаркала со своим кувшином домой бабка Устя.

— Кланюшка,— сказал Лаврентьев, обнимая Клавдию за плечи.— Как хорошо тебя зовет Устинья. Можно, и я так буду?..

Клавдия тесно прижалась к его груди, охватила руками его шею.

— Уйдем, Петр Дементьевич. Погуляем.— Она тревожно оглядывала сумеречную улицу: не подойдет ли кто, не уведет ли от нее Лаврентьева, как всегда случается в такие вечера.

— Уйдем,— ответил он, целуя ее в висок.

Через огороды и пустыри они вышли за околицу, поднялись в сады. Яблони отцветали, земля под ними была устлана белыми лепестками. В реке бились, играли большие рыбы. Только их всплески нарушали густую тишину. В безлунном небе выступили яркие звезды, и, когда Клавдия поворачивала лицо к Лаврентьеву, он видел их отблески в ее глазах.

Говорили без умолку: им еще столько надо было сказать друг другу, за многие годы многое накопилось в душе и в сердце такого, что можно поведать лишь самому родному человеку на свете. Ноги сами вели их через сады, по мягким полевым дорожкам, на береговые кручи, вдоль молодых зеленей и свежих пашен, и среди ночи вновь привели к крылечку Клавдииного дома.

Лаврентьев остановился, но Клавдия взяла его за руку и, не выпуская ее, поднялась на крыльцо. Лаврентьев пошел за ней в дом. В теплой темноте стучали где-то часы, отсчитывая время.

— Наверно, очень поздно,— сказал он, прислушиваясь к этому стуку.— Загулялись. Я, пожалуй, пойду домой...

Клавдия обняла его.

— Милый мой, родной, хороший!.. Никуда идти не надо. Здесь твой дом... Вот он. Навсегда... Навеки.

## ВМЕСТО ЭПИЛОГА

Кони, жилистый гнедой мерин Абрек и взятая в пристяжку Звездочка, нетерпеливо дергали рессорную тележку, которая стояла возле крыльца Клавдииного дома. Отвыкшая от запряжки Звездочка трясла кожей — сбруя ее беспокоила; лошадка тянулась, чтобы куснуть Лаврентьева за плечо и тем обратить на себя внимание. Но Лаврентьеву было не до нее. Инженер Голубев толковал ему об арматурном железе, о втором паровом копре и экскаваторах,— их во что бы то ни стало надо было получить в области. Антон Иванович поправлял в тележке мешок с сеном. Ему было понятно, почему Лаврентьев не стал вызывать машину из города, почему отказался и от колхозного грузовика. Стояла та летняя пора, когда над землей пахнет вянущими в лугах травами, когда небо безоблачно, воздух чист и веют теплые ветры. Конечно, Петру Дементьевичу захотелось хотя бы еще денек побыть простым колхозным агрономом, мирно прокатиться со своей Клавдией по знакомой лесной дороге. Антон Иванович заботился о том, чтобы седокам было удобно, не жестко, не тряско. В последнюю неделю его одолевали двоякие чувства. С одной стороны, он так привык, так привязался к Лаврентьеву за минувшие без малого два года, что даже и представить не мог, как это он завтра пойдет один в луга к косарям, как один останется с пахарями, которые пашут под озимые, как в одиночку будет мотаться на стройке поселка. Истинная беда приключилась, — их воскресенского агронома на недавней сессии районного Совета единогласно избрали председателем. Вышло так потому, что Громова забрали в область возглавлять лесное дело,— большой специалист в этом деле Сергей Сергеевич, гораздо больший, чем в сельском хозяйстве. С другой стороны, Антону Ивановичу было

чрезвычайно лестно, что депутаты избрали председателем райисполкома именно Лаврентьева. Честь-то какая колхозу! Иной бы рассудил по-другому: свояк идет на столь высокий пост, какие же колхоз получит выгоды, какие предпочтения! Но Антон Иванович думал не о выгодах, а о чести, оказанной колхозному коллективу. Если Лаврентьев вырос, если о Лаврентьеве знает весь район, надо полагать, и колхоз вырос, и о колхозе идет слава по всему району. Известно — человек не в одиночку растет, и только тогда, когда растет и его дело.

От этих мыслей Антон Иванович утратил дар речи, молчал, в беседу Голубева с Лаврентьевым не вмешивался. Молчали все, кто собрался на проводы, — собралось же больше половины села. В последнюю минуту перед расставанием человек никогда не находит нужных слов, а бездельные, пустые — кому они нужны. Елизавета Степановна стояла с мокрыми глазами, подперев щеку пальцем. С тех пор как разбилась злосчастная бутылка, в жизни телятницы начались большие перемены. Не прошло и трех месяцев — правительство наградило ее трудовым орденом за отличное выращивание молодняка. Орден поднял Елизавету Степановну в собственных глазах, она уверовала в свои силы — и перестала плакать тайком, и на собрании могла выступить безбоязненно, и на зоотехника уже не смотрела, как на Николу Чудотворца, спорила с ним, если была в чем не согласна, ссылаясь на книги, на журналы. Окрепла, повеселела. Только в сердце жили светлая память о родном Федоре и грусть оттого, что никогда-никогда не узнает он о чести, какой удостоилась его Елизавета. А как бы хотелось, чтобы узнал...

За спиной Елизаветы Степановны Карп Гурьевич совал в руки Клавдии какой-то угловатый пакет, обернутый в серую плотную бумагу. Клавдия отстранялась:

— Что такое, зачем!

— Передашь ему после, шкатулку сготовил. Под табак. Почище покупных, глянь.— И, надорвав бумагу, показывал светлое полированное дерево, испещренное тонкой затейливой резьбой.

Затертый в толпе, осиротевший дядя Митя держал в руках берестяной кузовок с медом и не знал, как его ловчей преподнести Лаврентьеву. Костя нашептывал: «Дядь Мить, сунь под сено-то, под сено».— «Под сено? Сядет да раздавит,— сомневался в правильности Костиного плана старик.— Штаны прилиппут. Будет нас недобрым

словом поминать. Обратный, Костенька, результат получится».

Илья Носов толковал с Асей возле коней, указывал на вожжи, шлеи, хомуты; давал советы, как следить за пристяжной: Ася вызвалась быть возницей.

— Ну, друзья, пора нам.— Лаврентьев взглянул на часы.— Разъезжаемся, но не расстаемся.

— Это как водится,— оживился Антон Иванович.— Имей, Дементьич, в виду — дом тебе строим. Сад вокруг посадим осенью, честь по чести. Из списков не вычеркиваем, слышишь?

— Списки списками,— Анохин обнял Лаврентьева.— Главное — что? Главное — из сердца тебя не вычеркнешь.

Все толкались, тискались — пожать руку, обнять, расцеловать.

Наконец-то Ася тронула вожжами, и тележка покатилась пыльной улицей. Люди долго шли следом, размахивая платками, кепками, фуражками — отставали, исчезая в пыли. Отстал и дядя Митя, так и не набравшийся отваги, чтобы вручить Лаврентьеву свой кузовок, — нес его обратно домой.

Застоявшиеся Абрек и Звездочка набирали скорость. Мелькали избы, скотные дворы, амбары; у многих строений были уже сняты кровли, разорены, повалены заборы и ворота — первые признаки близкого переселения. Тележка подымалась в гору, к усадьбе, к новой стройке. Отсюда был виден копер на трассе канала, далеко ушедший от села к лесу. Копер шипел и грохал. Вокруг него мелькали среди поля люди, взлетала вскидываемая лопатами земля. По дороге тоже шли с лопатами и с топорами, сторонились к обочине, взмахивали фуражками, узнавая Лаврентьева. Возле каменных ворот произошла заминка. Звездочку по привычке потянуло в липовую аллею, к старому дому. Лаврентьев хотел взять вожжи, но Ася не отдала, сама справилась с лошадьми. Заезжать в старый дом было не к кому. Никого не осталось там после смерти Ирины Аркадьевны. Похоронив мать, Катя с Георгием Трофимовичем и дядей Митей, пока в поселке строится новый дом, перебрались в комнаты для врачей при больнице. Георгий Трофимович вскоре уехал в Москву. Он уже счел себя вполне способным принять участие в очередной экспедиции; уезжая, заявил, что осенью вернется и всю зиму будет работать над докторской диссертацией.

Квартиру Прониных и комнаты Лаврентьева несколько дней назад занял сельский Совет, о чем свидетельствовало алое полотнище флага над куполом здания, со всех сторон обнесенного строительными лесами.

Тележка катилась мимо свежих срубов и фундаментов. Молчала возница, молчали и седоки. Лаврентьев оглядывался: где тут дом, обещанный ему Антоном Ивановичем. Вот он — кирпичная кладка рядом с обширным строением нового правления, на крыльце которого кто-то стоит в пестром сарафане. Марьянка, конечно. Толстуха высоко подбрасывает на руках завернутый в белое тючок. Обманулся в расчетах председатель. Родила ему Марьянка не сына, а дочку. Но радости от этого было нисколько не меньше, хлопот же — не оберись. Антон Иванович ходил в сельсовет, ездил в загс, ставил вопрос на райисполкоме, чтобы местом рождения маленькой яблоньке, птичке, касаточке записали поселок Ленинский, а не село Воскресенское. Ответственные товарищи становились в тупик. Заведующий районным загсом развел руками: «Товарищ Сурков, немыслимое требуешь. Где твой поселок, где? Укажи на карте».— «Карта устарела! — негодовал Антон Иванович.— Как не понять! Поломали мы ее, перекроили. Не на свою карту смотри — на мою.— И вытаскивал из кармана план поселка — копию, собственноручно снятую с листов ватмана, исчерченных архитектором.— Вот правильная карта». Разводил руками и Громов, дергал себя за ус начальник милиции, к которому тоже, в полном расстройстве, забежал молодой отец. Дело дошло ни больше ни меньше, как до секретаря райкома. «Считаю, что просьбу надо уважить, — разрешил неожиданно трудный вопрос Карабанов.— Сегодня еще многого нет на картах страны, но завтра оно будет. Будет и поселок Ленинский. Запишите первую гражданку будущего поселка авансом. Правительство нам это самоуправство простит, товарищи начальники».

Первая гражданка поселка Ленинского орала на руках матери во все горло, подбадривая и торопя строителей. И это не было лишним. Антон Иванович, в доказательство того, что с Воскресенским все покончено, что маленькая яблонька его и звездочка — в самом деле гражданка нового поселка, перебрался на жительство почти в голый сруб, но все сносил безропотно, даже Марьянкино ворчание на бесчисленные неудобства такой цыганской жизни, и был очень доволен.

Клавдия помахала рукой первой гражданке поселка и ее матери. Лаврентьев тоже взмахнул кепкой, в последний раз оглянулся с возвышенности на Воскресенское, на его разобранные кровли. Нетронутой среди них торчала только крыша Савельичевой избы. Савельич не желал входить в новую жизнь, упорствовал. И до коих пор будет упорствовать «осколок прошлого»? Разве что воды канала, которые хлынут в низину из Кудесны, смоют его гнилое гнездо.

Голые стропила исчезли за бугром. Промчался Павел Дремов на мотоцикле, сверкающем эмалью и никелем,— купил-таки давно желанную машину. Обогнав тележку, хитрый малый рассчитывал на то, что в городе взвалит на нее свой, якобы испортившийся, мотоцикл, устроится рядом с Асей и будет с ней ехать обратно шажком, до самого вечера. Ася, конечно, в порчу машины охотно поверит.

Лаврентьев думал о встрече с Карабановым, с которым будет теперь работать бок о бок, рука об руку, о Клавдии, которая завтра-послезавтра возвратится в колхоз, чтобы продолжать семеноводство. Она не соглашалась до осени покинуть свой участок. Осенью— другое дело. С осени жена Карабанова Раиса Владимировна обещала начать с ней заниматься, чтобы помочь сдать экстерном за среднюю школу. А там... В сознании Клавдии с новой силой возникало желание — даже и не желание это было, а необходимость — получить высшее образование, стать специалистом. Клавдия желала быть подругой Петру Дементьевичу. Именно подругой, другом. На роль просто жены она, гордая и самолюбивая, не годилась. Выход был один,— он подсказывался ей всем ее характером, всей натурой, всем строем мышления: всегда идти вровень с Петром Дементьевичем. Она сделает так, она добьется этого. Не легко? Ну что ж, жизнь ей никогда не давалась так просто, как дается иным.

Может быть, Лаврентьев услышал Клавдиины мысли? Он охватил рукой ее плечи. Она улыбнулась, прижалась к нему, и та дорога, которая бежала под колеса тележки, стала казаться ей пусть трудной, очень трудной и незнакомо-тревожной, но ведущей в такую жизнь, на пороге которой у Клавдии захватывало дыхание.

*1947—1950*


ЖУРБИНЫ
РОМАН

## ГЛАВА ПЕРВАЯ

### 1

Вечером Первого мая, едва в репродукторах смолк праздничный гул московских пушек, участковый инспектор милиции Егоров услышал ружейную стрельбу.

Егоров бросил только что закуренную папиросу, раздавил ее каблуком и, привычным жестом поправив кобуру, через переулок пошел на звук выстрелов. За распахнутыми окнами в переулке слышались патефоны, гитары, ветер танцев вздувал тюлевые занавески, и от дружного боя каблуков в намытые по-праздничному половицы зыбко вздрагивали стены бревенчатых домиков.

Разрешите поплясать, разрешите топнуть!
Неужели в этом доме полы могут лопнуть?

В другое время участковый, наверно, завернул бы на знакомый голос во дворик Натальи Карповны, весь вскопанный под цветочные клумбы; он пошаркал бы уважительно подошвами сапог о пеструю дерюжку, разостланную на крыльце, и дернул бы за деревянную рукоять старинного звонка.

Но выстрелы продолжали греметь... С шага Егоров перешел на грузный бег и вскоре, придерживая свою кобуру, выскочил из переулка на Якорную.

За решетчатым заборчиком дома номер девятнадцать, в густой вечерней тени от старых тополей и сиреней, шумела многолюдная толпа. Ничего подозрительного Егоров

тут не увидел: просто к Журбиным собрались друзья и соседи и, благо стояла теплынь, разгулялись на открытом воздухе.

Он уже миновал было заборчик Журбиных, когда над головами собравшихся во дворе сверкнули два быстрых огня и вновь ударил гулкий сдвоенный выстрел.

Егоров распахнул калитку.

— Граждане, граждане! — заговорил он, вмешиваясь в толпу.— Что такое, граждане? В чем дело?

— Еще один Журбак со стапеля сошел, товарищ начальник! — непонятно ответил кто-то из мужчин.

— С какого стапеля? Куда сошел? — Егоров тянул носом острую пороховую гарь.

Навстречу ему протискивался сам Журбин, хозяин дома, Илья Матвеевич, с двустволкой в руках.

— Здоро́во, Кузьмич! — окликнул Илья Матвеевич еще издали. — Нарушений никаких у нас нету. Салют нации. Рабочий человек родился. Двадцать один залп!

Он подошел, поставил ружье прикладом на землю, оперся о стволы левой рукой, правой дергал себя за бровь, как бы накручивая седеющую прядь на палец.

— Внука, Кузьмич, принесли мне ребятки в дом. Так-то, брат! Знай наших...

В глазах Ильи Матвеевича, вспыхивая, отражались огни уличных фонарей, на лице даже в сумерках была видна самодовольная улыбка. Он произносил слова вроде «так-то, брат» и «знай наших», потому что радость мешала найти другие, более значительные и веские.

Радость же была большая и неожиданная. Именно неожиданная, и не потому совсем, что случилась она в праздничный день. Когда несколько часов назад Илья Матвеевич шагал через город в колонне своего завода, когда вокруг на разные лады гремели оркестры, он всю дорогу помнил о Дуняшке, которую накануне отвезли в больницу. То услышит Дуняшкину любимую песню, то засмотрится на ребятишек-дошкольников: набились в грузовик и машут флажками,— снова подумает о Дуняшке: как-то она там, молодая мамаша?.. Да и заводские нет-нет спросят о ходе событий большой семейной важности.

Позабыл о семейных делах Илья Матвеевич только на площади, куда сошлись колонны всех семи городских районов. Сколько раз за треть века ступал он на этот вымощенный брусчаткой огромный квадрат перед здани-

ем обкома партии и областного Совета. Площадь служила для него как бы зеркалом, в котором дважды в год отражалась жизнь города,—да и одного ли города? Было время — демонстранты несли на плечах кирки и заступы и прямо с митингов отправлялись на субботники; было время — конные упряжки тащили в колоннах макеты первых зажженных в городе вагранок; за вагранками появились ткацкие станки; несколько лет спустя амовский грузовик повез макет товаро-пассажирского теплохода. То был радостный год: кончилась на заводе пора ремонтов, начиналась пора нового строительства.

Уже много лет не встречался Илья Матвеевич на площади ни с вагранками, ни с ткацкими станками, — в заводских цехах давным-давно пылают мартены и электроплавильные печи, а текстильные машины превратились в такие мощные агрегаты, что даже втрое уменьшенный макет любой из них не уместился бы и на пятитонном грузовике.

В этот Первомай — почему и забылись вдруг семейные переживания — Илья Матвеевич увидел нечто новое, чего еще осенью не было. В газетах, конечно, писали и об экскаваторах, и о подъемниках, и о кабеле, о всяческих приборах и механизмах, которые город изготовляет для новостроек на Волге и Днепре. Но одно дело — слова, другое дело — натура. Хоть и представлена она в моделях, однако опытный глаз и по моделям может судить о размерах и силе новых машин и сооружений.

К Илье Матвеевичу при виде всего этого пришла мысль, с которой он долго не мог расстаться. Он подумал о руде, заложенной в печь на плавку. Медленно, постепенно разгорается она, не сразу ее куски охватит жаром: от одного к другому перебрасывается жар, прежде чем забурлит, заклокочет вся масса, сплавляясь в прочный металл.

Мысль вела Илью Матвеевича дальше... Вот была в тысяча девятьсот семнадцатом пущена в великую переплавку человеческая руда, раскалялась она от года к году — и забурлила теперь, заклокотала; варится металл, какого еще свет не видывал.

Илья Матвеевич огляделся с опаской по сторонам — не услыхал ли кто его мыслей: «Прямо сочинение сочиняю». Вспомнил единственную в большой семье дочку Тоню: как писала она зимой сочинение о новых коммунистических чертах советского человека, — тоже складно

получалось. А вспомнив Тоню, вновь подумал о Дуняшке и уже не забывал о ней до самого дома.

Нет, не по времени было неожиданным важное семейное событие — совсем в другом смысле. Еще неделю назад старая профессорша в консультации подтвердила свое прежнее предположение о том, что у Дуняшки родится ребеночек некрупный и ко всему прочему — девочка. А взял да и родился мальчишка. Богатырь, как объяснили в больнице. Не только из ружья — будь у Ильи Матвеевича пушка, из пушки бы стал палить с такой радости.

Не радость разве? Всё мальчишки да мальчишки появляются в семье. Вырастают коренастые, крепкие, хотя и не больно красавцы: в деда идут — лбы большие и глазами злюковатые.

— Да, так-то, Кузьмич! — повторил он, взял Егорова под руку, повел на крыльцо, где, прислонясь к столбу, изрезанному перочинными мальчишечьими ножами, стояла Агафья Карповна и все еще зажимала уши ладонями.

Агафья Карповна рассеянно смотрела поверх людей, куда-то вдаль, за калитку. Ее радость была иной, чем радость Ильи Матвеевича. Илья Матвеевич, узнав о рождении внука, тотчас зарядил централку и устроил еще один праздничный салют — «салют нации», на который сбежались соседи. Агафья Карповна как встала на крыльце, так и простояла безмолвно, защищая уши от ружейного грохота.

У времени, казалось, не хватало смелости тронуть эту женщину. Годы шли, прошло их тридцать с лишним в совместной жизни с Ильей Матвеевичем. Илья Матвеевич огрузнел, седеть начал, погрубее, позлее сделался, а она оставалась все такой же подвижной, тоненькой, легкой на ногу и по-девичьи обидчивой. Не заглянув в лицо, ее и теперь еще, бывает, окликнут на улице или в магазине: «Девушка!» И отношение к детям осталось у Агафьи Карповны с того далекого времени, когда родился ее первенец. Радость была смешана с тревогой. У них, у этих ребятишек, вечно болят ушки, горлышки; они хватают в рот какие-то гвоздики и пуговки,— того и гляди проглотят; они падают с крыльца, их клюет гусак во дворе и бодает соседский козел. Все надо предусмотреть, обо всем помнить и все предотвратить. Трудно, до чего же трудно вырастить человека! Ей ли не знать этого,

Агафье Карповне, вырастившей четверых сыновей и дочку! И если Илья Матвеевич был прежде всего преисполнен семейной гордости от рождения внука и эта гордость была как бы стержнем его радости, то женская радость Агафьи Карповны, напротив, сама была стержнем, на который навивались предчувствия, предвидения новых забот и волнений о новом человеке.

Занятая думами, Агафья Карповна не заметила Егорова, который ей поклонился, подымаясь на крыльцо, и только сильная рука Ильи Матвеевича, тяжелая, будто кованая, вернула ее к деятельности. Рука эта легла ей на плечо и позвала в дом. Тогда Агафья Карповна захлопотала, стала приглашать гостей к наскоро накрытому столу. Гостем был каждый, кто зашел на «салют» во двор Журбиных.

Егорову хозяин дома поднес стопку тминной. Но Егоров ее отстранил:

— Не могу, Илья Матвеевич, и не проси! При исполнении служебных обязанностей. Сам понимаешь.

— Ну портвейнцу тогда. Как же? Рабочий человек родился! Уважить надо?

— Уважить — это да, это верно.

Егоров поколебался, осушил стакан, сказал: «Хватит, хватит, лучше я потом забегу»,— и, с сожалением посмотрев на графины, вышел.

Гости Журбиных в этот вечер не столько пили, не столько ели, сколько было у них разговоров за столом.

— Вот ты, Илюша, твердишь: рабочий человек родился,— говорил старый друг Ильи Матвеевича мастер Александр Александрович Басманов. Он то выставлял вперед острый подбородок, то поглядывал поверх очков.— А что если вдруг академик или по государственной линии?

— Никакой разницы.— Косматая бровь накручивалась на палец Ильи Матвеевича чуть ли не с кожей.— Никакой. Главное — что? Главное — рабочий класс. Ты вот строитель кораблей, и такой строитель, что дай бог каждому из нас на тебя похожим быть...

— Ну, ну, Илюша! — Александр Александрович протестовал, но был доволен, лицо его, и без того морщинистое, покрылось сплошной сеткой мелких морщинок.

— И ты должен понимать, — продолжал Илья Матвеевич,— да, должен понимать... Что главное в корабле? Корпус! От него плавучесть, от него грузоподъемность, от

него скорость хода. Все от него. Помнишь на занятиях проходили? Есть база, а есть надстройка.

— Вы, наверно, проходили «базис», а не «база»,— поправил Илью Матвеевича младший его сын Алексей, менее других пошедший в журбинскую породу — высокий, статный, с темно-каштановыми густыми волосами, только брови у него уже и в двадцать два года косматились, как у деда и отца.

— Допустим, базис,— согласился Илья Матвеевич, не взглянув на Алексея.— Научно так научно. Корпус, значит, базис, остальное — надстройки да... пристройки. Вот и в обществе у людей... Рабочий класс — базис, все прочее...

— Путаешь, отец,— снова сказал Алексей.— Во-первых, класс базисом быть не может. А во-вторых, как же так? Там — общественные отношения, тут корабельные конструкции...

— Послушаем! — Теперь Илья Матвеевич повернулся к сыну, поправил очки; поправил свои очки и Александр Александрович: «Послушаем».

— Некогда мне,— ответил Алексей.— И так опаздываю. Без четверти девять.— Он взял с комода свою «капитанскую» фуражку и ушел.

— И верно, Илья Матвеевич, путаешь,— поддержал Алексея Тарасов, знаменитый на заводе специалист по центровке корабельных валов.— Корпус без машины — не корабль, а простое корыто.

— А вот на простом корыте первые мореходы и плавали! — Илья Матвеевич снял чашку с блюдца, поставил на нем торчком чайную ложечку.— Подымут парус и идут.

— Парус все-таки нужен, значит,— не сдавался Тарасов.— А что такое парус? Движитель!

— С вами спорить! — Илья Матвеевич махнул рукой.— Возьмите криво сшитый корпус, наворачивайте на него любые движители — посмотрю на ваше плавание. Нечего из-под меня клинья выколачивать. Рабочий класс, — он заговорил отчетливо, раздельно, рубя каждое слово,— корпус корабля всей жизни человечества. Я в международном масштабе объясняю... Дело ясное, и нечего ко мне цепляться. Рабочий класс сам себе и паруса какие хочешь сошьет, и машины построит, и рули... Вот про что говорю, говорил и говорить буду. Испытал, знаю, верю. Полное мое убеждение!

— Что-то ты, отец, сегодня того...—сказал старший сын Ильи Матвеевича Виктор.— Непонятный спор затеял.

— Почему это — непонятный? Очень понятный!

— Непонятный, отец. Кроме рабочего класса, есть еще и крестьянство, есть интеллигенция. Без них — как же?

— Обыкновенно. Рабочий класс — он и крестьянство за собой ведет, и интеллигенцию свою народил, и академиков, и государственных людей. Он — сила. Понял?

— Понял. Только ты про Антоново письмо позабыл.

— А чего — позабыл! Ничего не позабыл. Как бы ни перестраивали завод — все равно без нас, старых мастеров, не обойдется. Нет, Витя, не обойдется. Ты про Петра Титова слыхивал?

— Слыхивал.

— Что ты слышал? Человек сельской школы не окончил,— об этом ты знаешь? А тебе известно, что с конкурсом на проект броненосца получилось? Проектов в морское министерство нанесли гору. Рассмотрели их... Первая премия проекту под девизом «Непобедимый», вторая — под девизом «Кремль». Вскрывают конверт с надписью «Непобедимый», читают фамилию автора... Титов! Петр Титов. Вскрывают другой конверт. «Кремль». Опять: Титов. А кто он такой, Титов? Рязанский парнишка, рабочий корабельной мастерской Невского завода. Вот он, рабочий класс! Академики тогдашние, царские-то, картузы перед ним, перед Титовым, скидовали.

— Все-таки, батя, дело это шестидесятилетней давности. В те времена рязанскому парнишке до инженерского диплома дойти было, скажем прямо, трудновато. Но учиться он учился у тех самых академиков, которые, как ты говоришь, впоследствии картузы перед ним скидовали.

— Нутром взял, нутром, опытом! Талант!

— Нутром! Что-то наш Антоха, инженером захотел стать, не за нутро ухватился, а за учебники.

— Ну и далеко нашему Антохе до Титова!

— Что он пишет-то, хоть объяснили бы,— сказал Александр Александрович.— А то говорите меж собой...

— Да вот пишет...— Илья Матвеевич наколол на вилку маринованный грибок и с безразличным видом принялся его жевать. Хорошо было рассуждать о руде. А дело-то поворачивается так, что, поди и тебя самого возьмут

в переплавку. Время такое... Те, на демонстрации, новое да новое показывают, а они, корабельные мастера, тот же кораблик на площадь вытащили, что и пять лет назад.

— Пишет,— за отца ответил Виктор,— что закончил вот проект реконструкции нашего завода. Под руководством профессора Белова работал.

— Белова? — Александр Александрович поправил очки на переносье.— Большой силы ученый! Встречались с ним, приходилось. В Ленинграде. А что́ реконструировать будем, не пишет?

— Все пишет,— пробурчал Илья Матвеевич.— На поток, мол, перейдем.

— Значит, не только за внука палил ты сегодня! — Тарасов потянулся за бутылкой, чтобы налить вина.

— Дело долгое,— сказал Александр Александрович.— Наш завод реконструировать — три пятилетки пройдет. Старый заводик.

Никто ему не возразил, но никто и не поддержал его. Все промолчали. Задумались. Было над чем задуматься. Новость, о которой Антон сообщал в поздравительном письме, полученном Журбиными накануне Первого мая, касалась каждого из присутствующих. Если что-то будет меняться в жизни завода, разве ничто не изменится и в их личной жизни? Был позабыт спор, затеянный Ильей Матвеевичем. Никто уже и не помнил, из-за чего он возник; никто, кроме Агафьи Карповны, не думал больше о виновнице застольного пиршества — о Дуняшке, которая после мук и мытарств, сопутствующих рождению нового человека, крепко спала в палате родильного отделения, о молодом отце, одном из сыновей Ильи Матвеевича — Косте, который измучился в этот день, пожалуй, не меньше, чем сама Дуняшка, и тоже дремал на диванчике в вестибюле больницы.

— Когда же они там успели,— как бы самому себе задал вопрос Александр Александрович,— проект этот составить? Тяп-ляп — и вышел кораб,— так, что ли?

— Тяп-ляп!..— Илья Матвеевич поймал на вилку новый грибок.— Больше двух лет занимались.

— И никто не знал?..

— Кому надо, тот знал. В секрете, пишет, держали. Государственное дело. А теперь из се́крета вышло.

— Ну, а что, что?.. Как?.. На поток — общие слова. Как оно будет в конкретностях? — заговорил Александр Александрович. — Если по примеру новых заводов, — ка-

кую стройку надо начинать! Одни цеха ломай, другие закладывай...

— Так и придется.

Виктор разложил на столе газету, и по ней стали чертить красным карандашом: ломались и закладывались цехи, наново перекраивалась заводская территория.

Но реконструкция — только ли зданий, станков, оборудования она касалась? Ни Илья Матвеевич, ни Александр Александрович и никто из присутствующих в этот вечер за столом в доме Журбиных не подозревали о том, что̀ принесет каждому из них задуманная Антоном перестройка завода.

## 2

Выйдя за калитку, Алексей остановился: надо было решить, как побыстрее попасть в клуб.

Клуб еще задолго до войны построили за Веряжкой, на холме, на пологих склонах которого несколько позднее разбили прямые улицы, заложили фундаменты двух десятков многоэтажных зданий, начали возводить стены. Война прервала стройку в самом разгаре, помешала замыслу архитекторов, по которому Старый поселок должен был исчезнуть с географических карт, а в полутора километрах от него надлежало возникнуть красивым кварталам, которые соединили бы завод с городом. Котлованы, обведенные бутовой кладкой, залило ржавой подпочвенной водой; в них, как в прудах, по всем законам природы росли мрачные рогозы с подобными шпагам жесткими листьями и каждую весну заводились жизнерадостные головастики.

Только спустя год после войны работы на холме начались вновь. Домик за домиком разваливались в Старом поселке под топорами плотников, жители переезжали на новоселье за Веряжку. Была когда-то в Старом поселке Лоцманская улица. Теперь ее здесь не стало,— она за рекой. Была Мачтовая, — тоже «уехала» целиком. Сильно укоротилась и Якорная.

Алексею была видна вся ночная панорама заверяжья, которое, в отличие от Старого поселка, называлось Новым поселком, но уже давно не было ни поселком, ни городком, а составляло окраинную часть Приморского района города. Яркими огнями были обозначены этажи домов,

похожих во мраке на огромные медлительные корабли. Матросы судов дальнего плавания, стоявших на ремонте в заводских доках, с моряцкой своей насмешливой снисходительностью ко всему сухопутному, так и называли эти дома — сорокатрубными пароходами.

Алексей окинул взглядом ряды огней, которые пестрым ожерельем опоясывали холм, отыскал среди них матовые фонари возле клубного подъезда; через десять минут под один из тех белых шаров придет Катя.

Надо было спешить. Алексей пошел, почти побежал прямиком через ракитник, которым поросли берега Веряжки. В кустах было сыро и грязно, хлюпало под ногами. При иных обстоятельствах Алексей, наверно, пожалел бы новые ботинки и светлый костюм, на котором ветви ракитника оставляли длинные полосы какой-то белой дряни. Но до костюма ли, до ботинок, когда ты опаздываешь на свидание!

Он и в самом деле опоздал. Катя, в широком обманчивом пальто, которое делало ее маленькую крепкую фигурку непривычно полной, сиротливо стояла на мокром тротуаре, под фонарем, вся освещенная с головы до ног. Выбиваясь из-под шляпы, вьющиеся волосы ее сияли золотом. С рассеянной пристальностью она разглядывала афишу в клубной витрине, затянутой проволочной сеткой.

От волнения, от быстрого бега у Алексея перехватило дыхание.

— Катя... простите... пожалуйста. У нас родился внук!

Лицо у Кати было какой-то необыкновенной чистоты, глаза голубые, губы пухлые, яркие. Таким глазам и губам только бы улыбаться. Но они не улыбались.

— Поздравляю,— сказала Катя безразличным тоном. Она считала этот холодный тон единственно подходящим по отношению к Алексею, который опоздал. Сама она пришла ровно в девять, и даже не в девять, а несколькими минутами раньше, но выждала до девяти, прячась за трансформаторной будкой.

Пока она снимала в гардеробной пальто и шляпу, пока поправляла прическу и одергивала складки короткого полосатого платьица, Алексей, робея, стоял в сторонке. Он понимал, что должен бы помочь ей снять пальто, отдать его гардеробщику и спрятать в карман жестяной номерок; понимал, а как сделать это все половчее, не мог придумать. Чтобы занять время, он то и дело вытаскивал

и снова прятал носовой платок, причесывал волосы, и так достаточно причесанные.

Робость и беспокойство Алексея усиливались еще и оттого, что, пригласив Катю на танцы, он вдруг усомнился в своих способностях. До этого вечера ему приходилось танцевать только дома, с Костиной женой Дуняшкой да с Лидой — женой другого брата, Виктора, которые и были его наставницами по части вальсов и краковяков. Что если он собьется с такта или отдавит Кате ногу? И вообще — зачем он затеял такую чепуху: приглашать ее на танцы? Вечер теплый, тихий, гуляли бы где-нибудь. Но как было сказать: «Пойдемте гулять со мной, Катя?» Другое дело — показал билеты, и хотя бормотал что-то не очень внятное, билеты говорили сами за себя.

Катя не спеша — к чему спешить, когда уже опоздали — проделала все, что проделывают девушки перед зеркалом театрального гардероба, даже, послюнив палец, пригладила золотистые брови, которые совсем не надо было приглаживать — пушистые они были куда красивей,— еще раз одернула платье, поправила на нем пояс и повернулась к Алексею, по-прежнему холодная и безразличная.

Музыка в зале гремела. За приоткрытой дверью мелькали руки, плечи, локти, спины, затылки, раскрасневшиеся лица, тянуло запахом духов и пудры.

— Надо подождать перерыва,— сказала Катя.— Посидимте пока где-нибудь.

Они зашли в гостиную, которая в клубном указателе, висевшем в вестибюле, называлась «Зимний сад». О саде здесь ничто не напоминало, кроме двух искусственных пыльных пальм в зеленых кадках да огромного аквариума без воды, в котором на дне были густо набросаны окурки и бумажки от конфет. Катя присела на диван, стараясь не помять платье. Возле нее, в некотором отдалении, сел и Алексей.

— Вот не думала, что вы такой старый,— сказала она.— Уже и внук!

Ей наскучило разыгрывать обиду. Наконец-то улыбнулись эти глаза и губы.

— Да нет, это у брата! — принялся объяснять обрадованный Алексей.— Мне — племянник.

— У вас много племянников, дядя Леша?

— Один.

— Наверно, очень беспокойно, когда в доме маленькие дети.

— Наверно,— согласился Алексей и для чего-то подергал себя за галстук.

Трудно вести разговор ни о чем. А первый разговор при первом свидании, как на грех, всегда ни о чем. Выручала Катя.

— Я бы не хотела иметь детей,— продолжала она.— Да и замуж не скоро выйду. Надо учиться. Вы знаете, мне не удалось осенью поступить в институт. Только окончила десятый класс, сдала экзамены, получила аттестат, вдруг, нате вам,— заболела мама!

«Ну и хорошо!» — чуть было не крикнул Алексей. Поступи Катя в институт, разве он ее когда-нибудь встретил бы?

— Еще удачно,— говорила Катя,— что я в школе научилась чертить. Иначе, не знаю, что бы мне и делать. Чертежница — все-таки квалификация. Только неинтересная.

— Неинтересная?

— Конечно. Водишь и водишь целый день карандашом. Скучно. У вас другое дело!

Катя вспомнила день — это было еще осенью, — когда она впервые увидела Алексея. В синей спецовке, с лицом, испачканным ржавчиной, диковатый, глаза злые, он подошел к ее столу, держась позади главного конструктора. Главный конструктор Корней Павлович сказал: «Товарищ Травникова! Вот вам эскиз, сделайте, пожалуйста, рабочие чертежи этого приспособления. Надо помочь молодому человеку».

Корней Павлович ушел. «Молодой человек» долго и старательно объяснял Кате, что́ ему нужно, но Катя и без его объяснений разобралась в эскизе.

Не только чертежи, но и само приспособление давно было изготовлено, Алексей же с тех пор хотя бы раз в неделю, в две недели непременно заходил в конструкторское бюро. Катя чувствовала, что не путаница в чертежах вела клепальщика Журбина к ее столу, где тем не менее терпеливо исправляла в этих чертежах все, чего требовал Алексей. С нарочито хмурым лицом неотрывно следил он за ее рукой, вооруженной карандашом или прозрачным угольником из целлулоида. А вчера взял вдруг и принес билеты на вечер танцев. Боялся: откажется. Но Катя и не думала отказываться, приглашение приняла.

Первое в ее жизни приглашение на танцы! И когда Алексей не пришел вовремя к тому фонарю, под которым уговорились встретиться, она почувствовала себя глубоко несчастной. Мимо нее к подъезду клуба пробегали последние пары опоздавших, она все стояла и стояла, ноги не хотели идти домой: а что если Алексей еще придет?

— Да, Алеша, у вас совсем-совсем другое дело,— повторила она. — У вас такая интересная работа.

— Клепка — что в ней интересного? Стучи да стучи.

— Все-таки лучше, чем скучные чертежи. Клепальщиком мне, конечно, не бывать. Я хочу быть историком. Как только мама совсем поправится, сразу же уеду в Москву или в Ленинград, поступлю в университет. Вы любите историю?

— Любить-то люблю,— ответил Алексей не очень твердо.— Но если говорить по-честному, отстал... знаю мало. Времени нет заниматься.

Катя понимающе кивнула.

Разговор становился проще, свободней. Катя все меньше заботилась о складках платья, Алексей не вытаскивал поминутно носового платка из кармана и не дергал галстук. Каждый спешил рассказать о себе, о своей жизни и с интересом выслушивал другого.

Они не заметили, как начался перерыв, не замечали знакомых, которые, заходя в гостиную, здоровались с Катей или Алексеем, и, когда в зале вновь грянула музыка, оба рассмеялись.

— Ну вот,— сказала Катя.— Опять опоздали!

Да и зачем теперь какие-то танцы! Алексей предложил пойти погулять, храбро подал Кате пальто, но взять ее под руку отваги уже не хватило.

Они ходили по улицам, стояли на мосту, всматриваясь в темную воду, кружили окраиной города, по безмолвному уговору выбирая путь длиннее и безлюдней. И все говорили, говорили... Может быть, майское небо в эту ночь и было для кого-нибудь черным, закутанным в сырые плотные тучи,— только не для Алексея.

## 3

Среди Журбиных были двое, до кого весть о пополнении семьи, несмотря на шумный «салют», в срок не дошла. Когда гремели залпы Ильи Матвеевича, эти двое

сидели за столом в домике на дальнем конце Старого поселка и сражались в шашки.

Один из них приходился братом-погодком Илье Матвеевичу и до того был похож на Илью Матвеевича, что на заводе их постоянно путали. Василий Матвеевич тоже лысел, тоже не давал покоя своим бровям, и вокруг его короткой могучей шеи, как и у брата, не сходились воротники покупных рубашек.

Другой — до глаз обросший седой бородищей с остатками прежней смолевой черноты, косматый, потому что в бороде этой ломались любые расчески,— походил на жилистого старого-престарого льва, мудрого, познавшего жизнь. Это был патриарх, глава семьи, отец братьев Журбиных, Матвей Дорофеевич, дед Матвей.

Каждое воскресенье и каждый праздник он с утра приходил к Василию Матвеевичу и гостил тут до поздней ночи. Официальной целью таких посещений служила необходимость разузнать, что и как творится на свете. Василий, дескать, член завкома, с горы ему все видно, все известно. Но была и другая, за долгие годы ни разу не названная своим именем, тайная — и главная — цель. Опыт жизни подсказывал деду Матвею, что как бы хорошо ни относились к нему родные, как бы ни берегли его, как бы ни заботились о нем, все-таки их тяготят его стариковские недуги, его капризы и родные устают от него за неделю. Он уходил к Василию якобы за новостями и разъяснениями,— которые мог получить и дома,— на самом же деле, чтобы дать отдых Илье, Агаше, внукам и их женам.

У Василия Матвеевича деду были всегда рады. Даже в семьдесят восемь лет он не был тем скучным стариком, какие нагоняют тоску на окружающих. Он любил поворчать, «поучить» — ну что ж такого! Зато он знал тысячи удивительных историй. Даже сердитая и не слишком покладистая жена Василия, Марья Гавриловна, и та затихала, когда он принимался за рассказы.

В самом деле удивишься: годы идут, а рассказы дедовы никогда не повторяются — все новые да новые. Когда его спрашивали, не сам ли он их выдумывает, дед Матвей отвечал: «Жизнь почище нас с тобой выдумщица».

Деда Матвея не раз приглашали в ремесленное училище: вот, мол, послушайте, ребята, каким трудным путем шел рабочий человек в былые времена! Дед придет к ре-

бятам, примется вспоминать соломенную деревушку где-то в Тверской губернии, отца своего Дорофея, у которого он был последышем, одиннадцатым по счету, и потому нежеланным: лишний рот. Вспомнит тот день, когда умерла мать и отец чуть ли не у ее могилы объявил ему решение отправить его в ученье, в город.

Памятное было ученье. Три года провел он под сводами жестяно-медницкой мастерской «мастера Отто Бисмарка» — как значилось на облезлой вывеске над входом в подвал. Научился выпиливать в тисках ключи к замкам, паять чайники, лудить самовары и кастрюли. Но хотя очень полюбилась ему работа, в результате которой из рук его выходили полезные людям вещи, сильно тосковал по ребячьей жизни. Годам к тринадцати тосковать перестал, ничто как будто Матвея уже не интересовало и никуда его не тянуло.

Однажды соборный дьякон принес в мастерскую необыкновенную штуковину: клетка из бронзовых прутьев, сведенных кверху куполом, и в ней, на жердочке, пичуга ростом со щегла, вся в красных ярких перышках. Дьякон покрутил ключом внизу клетки, пичуга встрепенулась, пискнула по-живому и опять замерла.

— Вот,— сказал дьякон хозяину,— дальше не идет. Сломалась. А как пела, как пела, что кенарь! Дар матушки, Марии Феликсовны, стрепетовской помещицы. Бесценный дар. Дорожу им. Ничто не утешит, ежели утрачен он навечно. Взываю, верните, Отто Карлович, к действию, ни перед чем не постою!

Хозяин унес клетку в свою квартиру в надворном флигеле, вдвоем с лучшим мастеровым Иваном Гусевым сидел там, запершись, восемь дней с утра до ночи. Все эти дни работа валилась из рук Матвея. Он только и думал о пичуге, поразившей его ребячье воображение. Неужто человек такое чудо сработал? Вот-то, поди, мастер! Он слышал из разговоров, что есть на свете особенные люди, у которых золотые руки. Не иначе, только руками из чистого золота и можно было смастерить краснoперую диковину.

На девятый день хозяин появился в мастерской, швырнул клетку на стол, на который ставились готовые починки, обругал мастеровых, подмастерьев и мальчиков — всех сразу, двинул дверью так, что на верстаках забрякало и зазвякало. Иван Гусев объяснил:

— Ярится Отка. Не то, говорит, плохо, что птица не запела и убыток ему, а главное — авторитет фирмы страдает.

Матвея лихорадка брала от желания заглянуть в нутро птицы, развинтить ее, проникнуть в тайну чудесного пения.

К его счастью — а получилось потом к несчастью,— дьякон долго не приходил, клетка стояла и стояла среди кастрюль и самоваров. И каждую ночь, когда уснут мастеровые в своей казарме, Матвей прокрадывался через окно в мастерскую, зажигал свечу и шестерню за шестерней, пружинку за пружинкой, штифтик за штифтиком разбирал и исследовал птичий механизм.

Бессонные ночи стали сказываться: когда он шел, то покачивался как пьяный, глаза сами закрывались над верстаком. Ему казалось — еще бы ночь, еще бы две ночи, и тайна птицы будет раскрыта. Но явился дьякон и унес птицу. А на другой день снова пришел и накричал на хозяина: птица-де окончательно испорчена. Один из мастеров предал Матвея, — видел, мол, как тот копался в клетке. И вот ему объявлено: «Марш куда знаешь!» А куда «марш»? Домой, конечно, к отцу. Шестьдесят верст пешком. Матвей пошел, но не одолел он и четверти пути — свалился в какой-то деревне и пролежал в доме сердобольной вдовой старушки три долгих недели. Слышал, над ним говорили: «горячка».

Едва встав на ноги после болезни, впервые понял, какую драгоценную кладь унес он из грязной, вонючей мастерской Отто Бисмарка. Началось с того, что починил замки в избе приютившей его бабуси; затем, когда немного окреп, стали звать старушкины соседи — у них тоже всяческие починки. Матвей переходил из дома в дом, переезжал из деревни в деревню, собрал помалу в холщовую сумку немудрящий инструментишко, — лудил, паял, точил. К отцу, к братьям не тянуло. Матвей Журбин, сам того не зная, стал рабочим, пролетарием, которому нечего терять, потому что все его богатство — руки, трудовые, избитые молотками и разъеденные кислотой руки.

Такие руки в те годы были всюду нужны. Российская родовая знать отступала перед промышленниками и и предпринимателями, на месте перекупленных загородных имений и дворцов строились заводы. И когда Матвей добрался до Петербурга, его сразу же взяли на корабельную верфь слесарем. Но долго ему на одном месте не

работалось. Привык к бродячей жизни, такой привольной после мастерской немца. Переходил Матвей с завода на завод, с фабрики на фабрику, все чего-то искал, а чего — и сам не знал толком. Он менял профессии, узнал токарный станок, узнал котельное дело, литейное; отправился в дальнее плавание кочегаром, посмотрел заграничные страны — Индию, Японию, был на острове Борнео, в шумном порту Сингапуре, в Южной Америке.

Двадцати лет его забрали в солдаты, в драгунский полк, расквартированный в Польше под Ломжей, на должность — в соответствии со слесарной специальностью — помощника полкового оружейного мастера. Оружейное дело пришлось Матвею по душе. Ухватился он за него так, что через год или два уже сам стал мастером. Приедет инспекция — оружие в полку всегда в полной исправности. Командир, понятно, доволен, на поощрения оружейнику не скупился, ценил его, потворствовал ему. И когда случилось происшествие, из-за которого другой бы кто бед не обобрался, Матвей Журбин вышел из него вполне благополучно.

Об этой поре и вообще о дальнейшей своей жизни старик ребятишкам-ремесленникам не рассказывал, умалчивал о ней; да и как о таком расскажешь? Повстречался он там, под Ломжей, с молоденькой полячкой, дочерью местного столяра-краснодеревщика, Ядей Лучинской. Драгун — здоровяк, чернобровый, глазастый. Полячка — тоненькая, белокурая, синеокая. Влюбились друг в друга — жизни обоим нет. И еще оттого жизни нет, что столяр Лучинский просватал дочку за ломжинского учителя пана Скрипку. Но Матвей не отступил перед паном. Трудовые годы его многому научили. Представление у него сложилось определенное: жизнь — борьба, зазеваешься — голову оторвет, напористо будешь действовать, без колебаний, — победишь.

Едва занялось вьюжное пасмурное утро дня свадьбы Яди и пана Скрипки, как перед парадным крыльцом дома Лучинских уже выстроилась вереница возков и санок, чтобы везти жениха, невесту, гостей, родителей, дружек в костел; но в тот же час к заднему крыльцу подлетела тройка полковых драгунских коней, с крыльца прямо в сани бросилась Ядя — как была, в подвенечном платье, фате, белых туфельках с блестками, — и ринулись кони в метель, по лесным занесенным дорогам.

Хватились в доме — невесты и след растаял в снежной круговерти. Гнали возки туда, сюда; бухали из старинных ружей и пистолетов в белый свет.

А драгунские кони неслись и неслись и вынесли Ядю, закутанную в тулуп, Матвея и двух его солдатских дружков за сорок верст, к далекому селу. Был поднят с полуденного сна деревенский православный батюшка; напуганный, он наскоро перекрестил невесту из католической веры в православную и тут же совершил обряд венчания.

Событие взволновало всю округу.

По понятиям командира полка, старого кавалериста-рубаки, Матвей сотворил единственно недопустимый проступок: как это так — солдат женился, находясь на службе в полку! Остальное — не проступок, а молодечество.

— Тебе бы с твоими повадками в ее величества императрицы Марии Федоровны лейб-гвардии гусарах служить, Журбин, — сказал он. — Ты же, черт возьми, первую красавицу Польши умыкнул, олух царя небесного! Чуть ли не королевну. Посидишь-ка, друг любезный, пять суток в карцере!

Дело кое-как замяли, нашили Матвею унтерские лычки, чтобы имел право жить не в казарме, а на вольной квартире, и на том кончилось. Точнее — кончилось на том, что родители предали дочку проклятию и отказались от нее.

Но ни Ядя, ни тем более Матвей не тужили от родительских анафем. Ядя оказалась большой искусницей. Она обшивала полковых дам, которые ее работу ценили выше, чем работу самых модных варшавских портних. Семья Журбиных в ту пору благоденствовала.

За несколько лет до начала нового века Ядя, с перерывом в год, родила двух сыновей — Илью и Василия. Третий сын родился в первые дни русско-японской войны. Событие это совпало с таким несчастьем, которое круто изменило жизнь Матвея и всей семьи. На пристрелке в руках Матвея разорвало винтовку — вылетел затвор. Несли солдаты своего оружейника со стрельбища и думали, что он уже мертвый, — не дышит, рана во лбу над глазом огромная, кровь из нее не капает, а льет им на сапоги струями. Военный хирург сказал Яде, когда она прибежала в лазарет, что муж ее вряд ли выживет, а если и выживет, то навсегда останется калекой.

Полк в скором времени ушел из Польши. Матвея уволили с военной службы; он выжил, но месяц за месяцем

оставался в постели, полуслепой, полуоглохший. Ядя видела, что предсказание врачей сбывается: Матвей— калека; и все-таки он ей был дорог, она не покинула его. Мастерица мод, если не было других заказов, не гнушалась шитьем простых мешков, пальцы у нее пухли от иголок и жесткой дерюги. Она работала день и вечер. Ночью, когда дети спали, сидела возле Матвея, напевала ему польские песенки и рассказывала сказки. Под ее говор он задремывал.

Умер младший сын; Ядя унесла его на кладбище и снова работала, чтобы сохранить остальных, чтобы сохранить Матвея.

Она надрывалась так два с половиной года, пока Матвей не встал. Встав, он увез ее и ребят в Петербург. Время было смутное, время «черных списков» и «волчьих паспортов», время локаутов и безработицы, время полицейского террора. С великими трудами удалось Матвею устроиться на корабль кочегаром дальнего плавания. Он плавал, а семья его нищенствовала, ютилась в общем бараке, на территории торгового порта.

Видя эту нищету, эти страдания жены и ребятишек, Матвей иной раз готов был полоснуть себя бритвой по горлу или прыгнуть вниз головой в воду. Выручала Матвея его любовь к жене. Возвращаясь из рейсов, он почти бегом спешил домой; прежде чем обнять детей, хватал на руки ее, Ядю, и носил, как ребенка.

Возраст Яди подходил уже к тридцати. Но красота ее не блекла — пожалуй, еще только вступала в полную силу, и в такую изумляющую силу, что даже грубые портовые грузчики, которым от нечеловеческого труда все было трын-трава, и те как-то светлели при жене кочегара Журбина, неуклюже, но от чистой души произносили какие-то непривычные им «благородные» слова.

Так ли жить, так ли ходить его королеве! — думал Матвей, когда смотрел на сто раз стиранные и двадцать раз латанные Ядины платья. Он не гулял в заграничных городах, не пил, не картежничал, как другие, — он выкраивал, выгадывал из кочегарского жалованья каждую копейку, привозил дешевые украшения и побрякушки и однажды собрался с силами, привез из Бомбея вещь, действительно достойную королевы, — огромную кашемировую шаль. Шаль скрыла все изъяны в Ядиных одеждах. Ядя ее очень любила и берегла.

В августе тысяча девятьсот четырнадцатого года Матвея призвали матросом на флот. Он дважды тонул на подорванных немцами кораблях и оба раза так упорно боролся за жизнь, что смерть не смогла его одолеть. Ядя была ему маяком, на свет которого он выплывал из балтийских пучин. И когда, под влиянием своих товарищей, матрос стал ходить в тайный кружок, где говорили о том, какими путями пролетарий Матвей Журбин может завоевать хорошую жизнь, он и там думал о своей Яде, для нее мечтал завоевать хорошую жизнь. Ему было уже сорок с лишним, но он все не мог забыть того, как Ядя отказалась от достатка, который сулил ей пан учитель, того, как доверчиво она, семнадцатилетняя, покинув родной дом, проклятая родителями, отдала свои первые чувства простому русскому солдату, как сидела годами возле его изголовья; в ушах Матвея не умолкали ее нежные песенки.

Ударил выстрел «Авроры». Под пушечный гул высаживался Матвей Журбин на берег возле Николаевского моста, под винтовочный и револьверный треск швырял с мраморных дворцовых лестниц остервенелых юнкеров, носился по улицам Петрограда, лежа на крыле ревущего грузовика. Личное — Ядя — постепенно срасталось в его сердце с тем огромным, чем из края в край клокотала восставшая Россия и что касалось без исключения каждого пролетария. Он и сам не заметил, когда это срастание началось. С матросскими отрядами ходил он на север, на Волгу, потом вернулся в Петроград, чтобы брать мятежный форт Красную Горку.

Там, за Ораниенбаумом, в прибрежных лесах Матвей встретил сыновей — Илью и Василия, с такими же, как и у него ленточками на бескозырках: «Балтийский флот». Все вместе, когда пали форты, пришли Журбины в свой дом.

Ядя лежала в тифу, она умирала. Не уберегли, не успели завоевать ей хорошую жизнь.

Не нашлось досок для гроба. Обернул Матвей исхудалое тело жены, легкое, утратившее привычную теплоту, в кашемировую шаль, на руках понес любимую в последний раз. Ни Илье, ни Василию не доверил, нес один до самой могилы.

Забросал землей, сел возле — заплакал. Не стало светлого маяка, и впереди все темно.

Утирали слезы и сыновья. Но нет, не так они любили свою мать, как он ее любил, не могли так любить, молодые и эгоистичные. У них свои маяки, придет час, зажгутся, а у него уже никогда, угас навеки.

И до того горько стало Матвею, до того жалко себя, одинокого, бесприютного... Чувства эти достигли такого напряжения, что переросли в злобу, в ярость на тех, кто не убрался вовремя с земли, кого еще надо было громить и рушить, кидать через парапеты мраморных лестниц.

Он поднялся и пошел каменным, тяжелым шагом, с горем и ненавистью в глазах под косматыми бровями. И еще долго шел — шел по Донбассу, по берегам Черноморья, по Крыму... Шли своими путями и его сыновья, и вновь сошлись в Петрограде. Но сыновья были уже не одни. Илья привел с собой из походов маленькую ивановскую ткачиху Агашу, Агафью Карповну, Василий — Марийку, Марью Гавриловну, дочку богатого тамбовского мужика. По-разному отнесся Матвей Дорофеевич к молодухам. С ухмылкой глядел он на купчиху, как он в уме называл Марийку, — хоть бы малой толикой походила она на незабвенную Ядю! Чем она полюбилась Василию? Зато Агаша тронула его сердце. Было, было в ней что-то от Яди, очень немного, но было. Веселая, любящая, радушная.

И когда по партийному призыву отвоевавшие Журбины всей семьей отправились из Питера на далекую реку Ладу восстанавливать корабельный завод, Матвей Дорофеевич поселился вместе с Ильей и Агашей на Якорной улице, а Василий, чуя отцовскую неприязнь к Марийке, стал жить отдельно. Но проходили годы, Марийка обтерпелась в рабочей среде, под влиянием Василия характер ее изрядно изменился, кулацкий дух из нее повыветрило — Матвей Дорофеевич мало-помалу привык и к Марийке. Вот ходит теперь каждое воскресенье гостить к ней и к Василию, чего прежде, лет еще двенадцать назад, не бывало. Правда, иным словом, кроме «привык», его отношения к жене Василия не назовешь. Все равно из двух снох люба ему только Агаша. Бывает, задумается дед Матвей, глядя на Илью и Агашу, и грустит весь день до ночи. А ночью видит во сне свою Ядю. Видел же он ее всегда в том белом подвенечном платье, в каком бросилась она в драгунские сани давним-давним пасмурным утром.

4

Воскресный день деда Матвея, когда он гостил у Василия, проходил по распорядку, заведенному еще до войны. Дед завтракал вместе со всеми, садился после завтрака на кушетку у окна под филодендроном с дырявыми листьями, выращенным в кадушке Марьей Гавриловной; садился напротив него в старое плюшевое кресло Василий Матвеевич, и начиналась долгая беседа.

Дед Матвей курил кривую короткую трубку, от которой в его бородище образовались рыжие подпалины, покашливал; но не дай боже, если Василий Матвеевич вздумает сказать ему о вреде курения в его возрасте.

— Не вяжись! — начнет сердиться дед. — Наслышался я про твой никотин от докторов. А гляжу вот на Уинстошку — тоже мужчина не молодой, — сигару из зубов не выпускает. Ты пробовал сигару-то, Вася? То-то, что нет. И не пробуй, все нутро вывернет. А он, проходимец брудастый, сосет да сосет чертову отраву, и ничего ему, брудастому, не делается.

Не упомянуть Уинстошку, как он называл одного из главных поджигателей войны, дед Матвей не мог, о чем бы ни шел разговор. Запомнил его с той далекой поры, когда впервые столкнулся с танками-лоханями, которыми интервенты снабжали Врангеля и Юденича, и ненавидел «брудастого» стойкой стариковской ненавистью. Он не поверил союзническим заверениям Уинстошки и в дни Отечественной войны, с самого начала не поверил. «Обманет, продаст, ребята», — говорил на заводе, добавляя слова «расцвечивания». «Нехорошо так, дед Матвей, — увещевали его, — раз союзник, покорректней надо, сам понимаешь, без выражений».

— Так что он опять замышляет, Вася? Как говорят?

Вьетнам, Малайя, Индонезия, — Василий Матвеевич, подойдя к большой карте на стене, называл знакомые деду места; происходил подробный и обстоятельный разбор мировых событий.

— С лестниц бы их, с лестниц, сынок! Чего народ там смотрит?

Дед Матвей задремывал до обеда; Василий Матвеевич уходил в поселок — к брату Илье, к товарищам по заводу. В обед, если деда не слишком угнетал какой-либо из его старческих недугов и он чувствовал себя бодро, выпивалась стопка столичной. Сердитые глаза теплели, по-

блескивали веселыми искрами, дед начинал рассказывать. Рассказы перемежались песнями, которых никто, кроме деда Матвея, не знал. Он напевал глухим рыкающим басом; любимая его песня была про морское сражение русских с турками:

Море дымом покрылося черным;
Ядра рвутся, и волны ревут.
В бой-атаку трубят трубы-горны,
Корабли полным ходом идут.

В тот день, когда у него родился правнук, дед Матвей не чувствовал почти никаких недомоганий, был бодр и потому выпил не только за обедом, но и в ужин.

Они сели с Василием Матвеевичем за шашки. По шашкам дед Матвей был в поселке полным гроссмейстером; но и Василий Матвеевич немногим ему уступал. Борьба шла упорная. То наступало длительное молчание, то вдруг возгласы: «Ага, в дамках!», «Мазло, профукал!» И если «профукал» Василий Матвеевич, а он, дед Матвей, пробрался в дамки, косматый стратег принимался победно гудеть: «В бой-атаку трубят трубы-горны...»

Как известно, в шашечном сражении мало уничтожить противника, съесть все его шашки: высшее одоление — хоть одну из них да прижать в уголке и не выпустить. Такое положение Василий Матвеевич называл весьма деликатно: «туалет», «запер противника в туалете». Дед Матвей иносказаниями не пользовался, он применял термины, общепринятые у любителей шашек, простые и определенные.

Ему здóрово везло в праздничный вечер. Он выиграл партий пятнадцать, проиграв только две; Василий Матвеевич не вылезал из «туалетов».

— Хватит! — сказал в конце концов дед, отодвигая шашечную доску. — Не годишься ты мне, Вася, в противники. Не дорос отца бить. — Он подымил трубкой, покашлял, снова заговорил: — Антоново-то письмо читал?

— Читал.

— Ну и как смотришь?

— А что смотреть! Работать, батя, надо.

— Вот и я говорю: работать. Как работать? Антоха пишет — на поток, дескать... Ладно, на поток... Что это обозначает? Сборка крупными секциями, в цехах. Полная сварка, никакой клепки. Что же, Вася, клепальщики делать будут? Куда тебе в немолодые годы подаваться?

Куда Алешке идти? Чеканщикам, сверловщикам куда?.. И Илье туговато, думаю...

— Да ведь еще ничего, батя, не известно, как оно там получится, — перебил Василий Матвеевич. — Проект! А если получится, кто против этого пойдет? Мы с тобой, что ли? Нужны корабли нам, батя, нужны. Морская держава! Должно получиться, на то и живем, чтобы получилось! Ну, может, некоторые и слетят с круга. У кого поджилки слабые. Законно, батя. Всегда так, когда по лестнице идешь да на новую ступеньку подымаешься: у одного ноги выдержат, у другого нет. Особенно, если подъем крутой.

— Верно, Вася. Верно, сынок. Голова у тебя светлая. Лестниц много мы одолели. Крутые были лестницы трудные. И эту, значит, одолеем?

— Морская, говорю, держава.

На улицу дед Матвей вышел в боевом настроении. Его не провожали, он этого не терпел. Шел тяжело, по-стариковски, подволакивая простреленную под Харьковом ногу, но не переставая гудел: «Ядра рвутся, и волны ревут...»

На углу Пушкарской и Чугунного его встретил Егоров.

— Поздравляю, Матвей Дорофеевич! — сказал участковый.

— Тебя, братец, так же. С праздником, — не останавливаясь, ответил дед Матвей. — «Море дымом покрылося черным...»

— Да я не про то, Матвей Дорофеевич. С правнуком вас поздравляю.

— Ишь ты! — Дед остановился на перекрестке. — Уже! Ну, значит, правильно я тебе сказал, Кузьмич. И тебя оно касается. С новым, братец, человеком на земле! С новым строителем кораблей! Морская держава!

Дед Матвей, как только мог шире, расправил грудь и весело ткнул Егорова кулаком в плечо, от чего сам же и зашатался. Егоров поспешил его поддержать.

— Ты брось! — отстранил его дед. — Я еще крепкий, будь ты в мои годы таким, желаю.

Дед Матвей побрел дальше.

Правнук! Того гляди и праправнуков патриарх дождется. От этих мыслей боевое настроение усилилось. Дед Матвей стукнул в освещенное окно разметчика Петьки Кузнецова — Кузнецову было за шестьдесят, но для

деда Матвея он по-прежнему оставался Петькой — и, припадая на ногу, поспешил, как мальчишка, побыстрее убраться за угол. Оттуда выглянул. На крыльцо вышла Петькина старуха.

— Филюганы! — грозила она в темноту. — Ужо я вас! Оборву вот ухи...

Постояв за углом, пока Кузнечиха грозила «филюганам», дед двинулся дальше, к дому.

В своем дворе, на стальной штанге, прилаженной меж стеной дровяника и специально вкопанным столбом, увидел Алексея. Посмотрел, как внук ловко делает скобки и перевороты, окликнул:

— Чего не спишь, Лешка? Час-то поздний.

— А ты чего не спишь, дедушка? — Алексей спрыгнул на землю.

— У меня дела всякие.

— Ну и у меня дела.

— Иди, иди! — Дед Матвей подтолкнул Алексея к крыльцу. По себе знал, какие дела повели молодого парня ломаться на турнике среди ночи. — Сердечную болезнь прихватил? Не промахнись, Лешка, в докторше. Промахнешься — искалечит. Спроси у батьки у своего... Был у него дружок в молодости, Оська Сумской. Крутила ему юбчонка голову, крутила, до того докрутила — взял, горюн, да и убил и ее и себя из нагана. А не промахнешься, в точку попадешь, тогда...

Что будет тогда, дед Матвей не договорил. Задумчиво погладил Алексея по спине и снова подтолкнул его к крыльцу.

## ГЛАВА ВТОРАЯ

### 1

Когда Журбины собирались по утрам на работу, в доме бывало так шумно, такая поднималась толчея, будто на корабле во время аврала.

Первыми вставали дед Матвей и Агафья Карповна. Дед — от стариковской бессонницы, Агафья Карповна — по хозяйским обязанностям: готовить завтрак на всю, как она говорила, бригаду.

Бригада была не маленькая. Приехав после гражданской войны на Ладу, Журбины — Матвей Дорофеевич, сын его Илья, Агаша и первенец Ильи с Агашей годовалый Витька — поселились вот тут, на Якорной, 19, все вместе в одной из комнат барака, в котором размещались три семьи, подобные семье Журбиных.

Появлялись новые дети, вырастали, женились, и постепенно Журбины заняли весь дом, перепланировали его, переоборудовали, поделили перегородками неуклюжие комнаты и выкроили из них три уютные квартирки. Квартирное деление имело условный смысл: дабы предоставить молодым невесткам Агафьи Карповны волю устраивать семейную жизнь по их вкусу. А по сути дела жили все Журбины сообща, одним семейством; общее хозяйство вела Агафья Карповна.

По утрам дед Матвей щепал лучину, растоплял плиту, садился на скамеечку перед раскрытой дверцей; Агафья Карповна с привычной ловкостью управляла сложной системой кастрюль и сковородок. Это были, пожалуй, самые мирные, самые тихие минуты в доме Журбиных. Получасом позже начинался аврал.

Вставал Илья Матвеевич, вставали Костя с Дуняшкой, Виктор с Лидой, Тоня, которая заканчивала девятый класс; толпились возле умывальника, спорили, кому мыться первому. Без споров место у крана уступалось только Илье Матвеевичу. Он, как того требовала его должность, уходил из дому раньше всех.

Последним вскакивал Алексей, даже зимой бросался во двор на турник, а если дело было летом, то во дворе же с головы до ног окатывался водой из ушата, который для этой цели был подвешен на цепи под крышей сарая,— потянешь за веревку, привязанную к рычагу,— ушат опрокинется.

Когда «бригада» садилась за стол, Илья Матвеевич уже подымался из-за него, брал кепку с вешалки, наскоро гладил Агафью Карповну по неседеющей белокурой голове и уходил. Агафья Карповна неизменно, из года в год, изо дня в день, следовала за ним до калитки и смотрела вслед, пока он не скроется за углом.

Уходил Илья Матвеевич всегда в одно и то же время, точно — минута в минуту, и точно — минута в минуту, когда он равнялся с голубым домиком на Канатной, с крыльца этого домика, застегивая узкое длинное пальто,

его приветствовал мастер Басманов: «Илье Матвеевичу!» — «Александру Александровичу!»

Александр Александрович уже долгие годы был правой рукой Ильи Матвеевича. Илья Матвеевич — начальник стапельного участка; Александр Александрович — мастер по сборке кораблей. Он был потомственным судостроителем. Отец его строил знаменитую «Аврору», снаряжал броненосцы Тихоокеанской эскадры в русско-японскую войну, и именно в то время, когда Петербурга достигла весть о сражении в Цусимском проливе, началась трудовая жизнь Александра Александровича. Отец привел его на завод четырнадцатилетним мальчишкой. Через четверть века мальчишка стал мастером. Лесовозы «Сакко» и «Ванцетти», роскошные черноморские теплоходы «Аджария» и «Абхазия», быстроходные крейсеры Балтики, многие-многие пассажирские, грузовые, военные корабли, уходя в море, несли в своих корпусах и броне труд Александра Александровича Басманова.

Знакомство Ильи Матвеевича и Александра Александровича возникло еще в гражданскую войну, под Царицыном. Подружились они в боях. Своего старого друга лет пятнадцать-шестнадцать назад Илья Матвеевич переманил из Ленинграда на Ладу. С тех пор они неразлучны, каждый день встречаются на Канатной, каждый день идут вместе до своей конторки на пирсе возле стапелей. Илья Матвеевич — коренастый, широкий, в любую погоду в кепчонке с пуговкой, в короткой тужурке, летом — синей, диагоналевой, с морскими блестящими пуговицами, зимой — бобриковой, с меховым воротником; Александр Александрович — худой и необыкновенно длинный из-за одежд, которые были ему всегда слишком узки и тесны по довольно странной причине: он уверял, что не терпит, когда в рукавах и по спине гуляет ветер. Илья Матвеевич посмеивался над ветробоязнью старого друга: «Бросай стапеля, Саня, действуй по конторской линии. Или в стеклянном колпаке ходи».— «А что? Надоест людям терпеть эту чертовщину, и построят колпак над всем стапелем». Под чертовщиной подразумевался ненавистный Александру Александровичу ветер, от которого, особенно зимой и осенью, на стапелях не было спасения.

Местность, где стоял завод, имела своеобразный характер. На участке, который ныне занимал огромный литейный цех, два предприимчивых инженера заложили в последней четверти прошлого века заводик чугунного

литья. Пришлось это в самом устье Лады, при впадении ее в залив, или, как местные старожилы называли, в бухту, в двух километрах ниже уездного города. Заводик отливал садовые решетки и кладбищенские ограды, доход с него был невелик, инженеры прогорели. Литейню у них купил какой-то немец, расширил, стал выпускать сначала оборудование для паровых мельниц, потом локомобили. С течением времени предприятие перешло в казну, лет за двадцать разрослось в крупный механический завод, который построил несколько колесных пароходов для Лады, а в первую мировую войну — две или три морские канонерки.

Берега бухты, у которой стоял завод, были в песчаных дюнах, поросших соснами; дюны и сосны защищали рабочий поселок от морских ветров, в поселке было всегда тихо. На самой же Ладе, прорываясь с моря через бухту, зимой и осенью в период штормов ветры буйствовали, как в узком коридоре, в обоих концах которого настежь распахнуты двери.

Особенно доставалось от этих ветров тем, кто работал на достройке кораблей у причальных стенок и на стапелях. Колпак из небьющегося прозрачного материала, например из плексигласа, был бы над стапелями, по мнению Александра Александровича, весьма и весьма кстати.

По пути на завод Илья Матвеевич с Александром Александровичем успевали обсудить множество вопросов. Прежде всего — известия, переданные по радио. За мировыми событиями шли по порядку семейные новости, потом общезаводские, и, наконец, обсуждался предстоящий рабочий день: что и как надо делать, о чем не забыть, на кого «нажать», где что «вырвать».

Путь занимал минут двадцать — двадцать пять, в зависимости от того, как оборачивался разговор; если возникало взаимное несогласие, замедляли шаг, останавливались, тыча в грудь друг другу пальцами, доказывали свою правоту, и тогда набегало лишнее время; если несогласий не было, «график движения» выдерживался в пределах двадцати минут.

Когда начальник и мастер добирались до своей конторки, из-за стола вставали и другие Журбины. После небольшой толчеи у вешалок, после розысков неведомо куда запропастившихся шапок, шарфов, тужурок и плащей семейство выходило на улицу. Тут единение рушилось. Тоня отправлялась за Веряжку, в школу. Алексей,

Костя, Дуняшка оставляли далеко позади себя деда Матвея, который двигался медленно и чаще всего в сопровождении Виктора.

До калитки Агафья Карповна ходила провожать только Илью Матвеевича, остальным она махала рукой с крыльца и тут же возвращалась в опустевший дом. У нее было множество забот и хлопот. В шестом часу все вернутся — к этому времени должен быть готов обед, и такой обед, который бы пришелся на разные вкусы; к этому времени надо прибрать в комнатах, навести в них порядок и чистоту, чем славился дом Журбиных. Кроме того, Агафья Карповна ежегодно разводила огород, что тоже требовало трудов. Мужчины снисходили только до копки гряд, невесток можно было заставить лишь прополоть межи, повыдергать лебеду; но как они пололи! Лучше бы и не надо их помощи, лучше бы самой все делать.

Агафья Карповна сажала огурцы, помидоры, сеяла морковь и свеклу и непременно фасоль, которая цвела яркими, огненными цветами. В семье никто не любил фасоли, за обедом дружно выбрасывали из супов желтые стручки и пятнистые зерна, и все-таки Агафья Карповна продолжала сеять фасоль. Ее привлекали эти яркие цветы, собранные в гроздья, подобные языкам пламени. А раз цветы — будут и стручья; раз стручья — то их надо же куда-то девать, по-хозяйски использовать,— не пропадать добру. Но добро пропадало, фасоль вылавливали ложками из тарелок и выбрасывали, к величайшему огорчению Агафьи Карповны.

Не всегда Агафья Карповна хозяйствовала в одиночестве. Когда невестки брали отпуск, они ей помогали в доме — Лида и Дуняшка.

Лида, жена старшего сына Виктора, была женщиной тихой, склонной к долгим раздумьям, — все свободное время она читала книги. Усядется с книгой в руках где-нибудь в углу комнаты или на лавочке в палисаднике среди клумб, перекинет на грудь косу, которую носит вот почти до тридцати лет, начнет водить концом ее по лицу, будто кисточкой, водит так — и читает, читает.

Агафья Карповна подозревала, что Лида несчастлива с Виктором. Вышла за него совсем-совсем девчонкой, появилась в доме неслышная, что мышка, поначалу всего пугалась: ее, Агафьи Карповны, ворчания, грозных бровей Ильи Матвеевича, бородищи деда Матвея, строгих домашних правил, установленных в семье Журбиных.

Агафья Карповна понимала состояние молоденькой жены сына,— сама она, помнится, побаивалась отца Ильи — Матвея Дорофеевича. Но что там дед, когда у нее была Илюшина любовь. Лиду тоже любовь как будто не обошла. Виктор наглядеться на нее не мог; уж до чего берегли ее в семье, каких только нарядов ей не покупали в ту пору, изменив всем правилам строгости и бережливости. Ну как же! — первая невестушка, первого внука принесет. Нет, что там говорить, была, была у Лидии любовь — да вот не впрок пошла. У нее, у Агафьи Карповны, сила, гордость, уверенность в себе, вера в будущее вырастали с годами от суровой и сильной любви Ильи Матвеевича. А у Лидии? — годы идут, никаких новых сил не заметно что-то. Заговори с ней теперь — отмалчивается, отнекивается, того и гляди, заплачет.

Дуняшка, Костина жена, та совсем другая. Та вошла позапрошлой весной в дом Журбиных шумно; сразу же сдружилась с дедом Матвеем, с Ильей Матвеевичем, с Тоней, с Алексеем. Курносая, зеленоглазая, бойкая, она привораживала к себе всех, как русалка. Она не отказывалась выпить рюмочку и даже стопочку, когда подносили; она вместе с дедом пела о ядрах и трубах-горнах и сама знала множество песен. Бывает, разойдется на семейном торжестве, схватит гитару, ударит по струнам:

Мой чудный, мой милый, мой золотой,
Хочу уснуть в твоих объятьях.
Ты позабудешь в счастии со мной
И об отце, и матери, и братьях.

«Зело вольно,— скажет, посмеиваясь, Илья Матвеевич.— Ты, брат Костюха, посматривай за женой».— «Настоящая девка! — Дед Матвей даже ногой притопнет, глядя на Дуняшку веселыми, одобряющими глазами. — Чего за ней присматривать! Это за тихими присмотр нужен! Ай, Дуняха! Ну еще чего-нибудь там, такого, позаковыристей!»

И если Лида сидела регистраторшей в заводской поликлинике, то Дуняшка избрала самую что ни на есть мужскую профессию, пошла в науку к деду — в разметчицы. Костя и протестовать против такого выбора не пытался, махнул рукой.

Была у Агафьи Карповны еще одна невестка — Вера. Она появлялась в поселке летом, на неделю, на две, приезжая в отпуск вместе со вторым, после старшего, Викто-

ра, сыном — Антоном. Антон — единственный, кто отделился от семьи. Он окончил кораблестроительный институт в Ленинграде и на Ладу, на родной завод, уже не возвратился.

С Верой Антон встретился случайно в Одессе, куда ездил лечить грязями свои тяжелые раны, полученные в боях Отечественной войны.

У Веры была печальная судьба. Работница московского завода резиновых изделий, она проявила в клубном кружке большое дарование драматической актрисы. На одном из всесоюзных смотров самодеятельности ей присудили первую премию за исполнение роли Катерины в «Грозе», и она получила приглашение в труппу известного в стране театра. Но в эту же счастливую для нее пору девушка начала слепнуть. Слепота прогрессировала, и врачи посоветовали поехать в Одессу, в знаменитую клинику.

Выходила она из гостиницы в дымчатых очках и всегда под вечер. Однажды случилось, что в городе почему-то погасли огни. Темнота застала Веру внезапно на улице. Вера шла, придерживаясь рукой за железную ограду бульвара, и наткнулась в этом, казавшемся ей непроницаемом, мраке на встречного.

Оба вежливо извинились, уже разошлись было, когда Вера сообразила, что без посторонней помощи она, пожалуй, свою гостиницу не найдет. «Товарищ! — негромко и не очень уверенно окликнула она.— Товарищ!..» Прохожий вернулся. «Извините,— сказала Вера, вдруг напуганная своей, по ее мнению, назойливостью. — Извините ради бога, я нечаянно». Но он уже все понял по неуверенной походке, по темным очкам — и не оставил ее одну на улице.

Так познакомились Антон Журбин и Вера Барабина. Сначала их сблизило то, что они в шутку, но не без горечи называли своей неполноценностью. А потом нашлось так много общего в характерах, в интересах, что пришла большая, настоящая любовь.

Вера покинула театр. Медицина не могла пока что вернуть ей зрение в такой мере, как это было необходимо для сцены. И когда она приезжала в гости на Ладу, то всегда носила дымчатые очки, чтобы не огорчать родных Антона своим подслеповатым прищуром глаз. Она понравилась в семье за простоту, а Илье Матвеевичу и Агафье

Карповне еще и за любовь к Антону, которую они не могли не видеть.

С приездом Веры даже Лида оживлялась. Она часами сидела возле актрисы и расспрашивала ее о театральной жизни, о поездках по стране, о труде актеров, по мнению Лиды, таком праздничном, веселом, легком. «Ошибаешься,— терпеливо разъясняла Вера.— Театр — это труд, очень тяжелый, напряженный, нервный. Конечно, если в него вкладывать всю душу».

Агафья Карповна слушает-слушает разговор невесток, не выдержит, отзовет Веру в сторонку, шепнет: «Брось, Верочка, с ней спорить. Идем, ватрушечкой угощу. Свеженькие, горяченькие. Идем».

Оставаясь одна, Агафья Карповна вспоминала всех своих сынов, невесток, раздумывала о том, как пойдет их жизнь дальше, какими путями-дорогами. Много, много о чем надо было подумать Агафье Карповне. О внуке, которого на днях принесла домой Дуняшка, о самой Дуняшке, — ничего-то не понимает в материнских делах. Об Антоше тоже как не подумать? Этакое волнение внес в семью своим письмом. Раз десять мужчины перечли его письмо. Большая, говорят, ломка может получиться, серьезные для всех последствия. А что за последствия? — сразу-то и не разберешься.

## 2

Александр Александрович сидел за столом в конторке из листовой стали, изнутри обитой большими квадратами толстого картона, снаружи окрашенной под светлое серебро. Конторка примостилась на самом краю пирса, рядом со стапелем, на котором, подобно отвесной скале, возвышался корабль — черная громада, обнесенная многоэтажными лесами из металлических рыжих труб. По сравнению с кораблем крошечное сооруженьице казалось не то елочной игрушкой, не то ящиком для слесарного инструмента, в лучшем случае — газетным киоском.

Перед Александром Александровичем лежала пачка нарядов, их надо было подписать, но Александр Александрович даже и за перо не брался. Он слышал ровный плеск воды под полом, меж свай, на которых стоял пирс, слышал отрывистый стук пневматических молотков на корабле, похожий на стрельбу то одного, то сразу

нескольких пулеметов—в зависимости от того, сколько молотков работало одновременно. Порой до слуха доносился густой шмелиный гуд: вдоль корабля полз стапельный портальный кран — огромный самодвижущийся мост, который подымал тяжести в пятьдесят тонн весом,—гудели его моторы.

По этим звукам Александр Александрович, не выходя из конторки, мог безошибочно определить, как обстоят дела на участке. Замолкли молотки в торцовой части стапеля,— так и есть, корпусная мастерская подвела, не выдала скуловых листов, надо принимать срочные меры. Загудел, грузно пошел стапельный кран,— устанавливают на корабль машины; никакие меры не нужны: машины — дело механиков, а не корпусников. Сила всплесков под пирсом свидетельствовала об уровне воды в Ладе, который часто колебался и, случалось, создавал угрозу наводнения.

На этот раз трудовые гулы и шумы сливались в размеренный привычный ритм и, как все привычное, не затрагивали сознания. Александр Александрович смотрел через квадратное окно на Ладу, на ее зеленоватые волны, которые становились тем круче и злей, чем резче был ветер с моря; смотрел и раздумывал, зачем вызвали Илью Матвеевича к директору. Небось когда дело идет хорошо, не вызывают: спасибо, дескать, разрешите пожать вашу рабочую руку. Нет, этого в будни не дождешься, чествуют только по большим праздникам да в юбилеи; а в будни одна накачка.

Александр Александрович ждал долго, не дождался, сидеть в конторке надоело, он пошел на корабль, поднялся по дощатым трапам на палубу.

Корабль уже почти вырос на полную свою океанскую высоту. С его верхней палубы далеко были видны окрестности. Извилистая Веряжка, через дюны пробившая себе путь к Ладе ниже завода. Старый поселок, клуб на холме, зеленая городская окраина. К центру города вдоль берега Лады шел недавно заасфальтированный широкий проспект, обсаженный тополями. По проспекту, искря бугелем, на полной скорости мчался синий с желтым троллейбус — вот-вот столкнется со встречным красным автобусом.

Среди тополей мелькнула серая «Победа», пустила лиловый дымок.

Старый мастер последовательно проделал те движения, какие он неизменно проделывал, когда с кем-нибудь

спорил: сначала выставил вперед острый колючий подбородок, а затем, поправив очки, взглянул поверх стекол. В эту минуту он спорил, видимо, сам с собой, доказывая самому себе необходимость приобрести вот такую же серую «Победу».

Александр Александрович не мог равнодушно смотреть на легковые автомобили. До войны он упорно копил деньги, чтобы купить «эмку». Деньги наконец были накоплены, в наркомате ему помогли достать наряд, и как-то субботним вечером Александр Александрович прикатил в Старый поселок на собственной, сверкающей черным лаком машине. Он кружил по улицам, катал ныне покойную жену, соседей, знакомых, всех желающих; включал фары, гудел, давал задний ход. Если его спрашивали, зачем ему понадобилась машина — па завод ездить? — завод рядом, пешком скорее дойдешь; в город? — автобус есть, а в ту пору, до троллейбуса, и трамвай был, — Александр Александрович сердился на того, кто задавал ему такой глупый вопрос. «Ухмыляешься! А ну, пошел вон из машины! Давай-давай, освобождай место...»

С наступлением сумерек «эмка» была поставлена в дровяной сарай. Александр Александрович долго еще ходил вокруг нее, влажной тряпкой стирал малейшую пылинку с лакированного кузова, с толстых стекол; спать он лег счастливейшим человеком в мире.

Утром началась война. Александр Александрович побежал на завод записываться в добровольцы. На заводе еще не знали, как быть, что делать, никого никуда не записывали. Сотни рабочих, и вместе с ними Александр Александрович, отправились в военный комиссариат.

Возле здания военного комиссариата стояла толпа. К военкому без повесток не пускали; но старый, заслуженный мастер все-таки прорвался. «Пиши, товарищ комиссар, во флот, в пехоту — куда знаешь».— «Как ваша фамилия? Басманов? Мастер судосборки? Никуда я вас писать не буду,— сухо ответил военком.— Возвращайтесь на завод. Дела вам будет там, пожалуй, больше, чем на фронте. И вообще, когда человеку пятьдесят с лишним, какой из него солдат?» — «Какой? А вот такой! Я министров-капиталистов под замок сажал!»

У военкома было много работы в тот горячий день, большая ответственность лежала на этом пожилом человеке, который хоть и не сажал под замок министров-капи-

талистов, но прошел не одну войну. Он с интересом взглянул на взъерошенного корабельного мастера, просьбам же его так и не внял, крикнул в дверь: «Следующий!»

Александр Александрович вернулся домой разъяренный. Он жаловался в партийный комитет, в завком, директору. «Ничего не можем поделать! — отвечали ему. — Сам видишь, как туго берут с нашего завода. Правительству видней, кому где быть в такое время».— «Значит — что? Сиди и в тылу прохлаждайся? Не согласен с такой политикой!»

Неожиданно Александра Александровича осенило. «Ну, теперь я тебя прижму!» — погрозил он кому-то, сел в машину и погнал ее в город. «Изволь, товарищ,— так заговорил он, вновь появляясь в кабинете комиссара,— прими! Если не я, пусть машина послужит в армии».

Жаль было расставаться с «эмкой», но что это за расставание! Матери с сыновьями расставались, жены мужей обнимали, может быть, в последний раз. Без всяких колебаний произнес Александр Александрович свое «прими».

Комиссар встал из-за стола, пожал ему руку: «Спасибо». — «Разве я за благодарность? — обиделся Александр Александрович.— А ну тебя!»

Года через полтора он вновь навестил военкома. «Интересуюсь: как и где мой драндулет действует?»

Военком был сильно озадачен этим вопросом, но быстро сообразил, какой линии ему держаться. Он достал из несгораемого шкафа якобы очень секретную бумажку.

«Номер вашей машины, товарищ Басманов? — заговорил он, водя пальцем по строчкам старой инструкции по учету лошадей.— Двадцать — сорок три? Так-так... Двадцать — сорок три, значит. Вот она. Знаменитого танкового генерала возит», — и назвал первую пришедшую на ум фамилию.

Александр Александрович был доволен. Его машина возила прославленного комдива! На самом же деле ее искореженные, опаленные пламенем останки давно ржавели где-то в придорожной канаве.

В дни штурма Берлина Александр Александрович прочел в газете очерк о подвиге генерала Соколова, который геройски погиб в бою. Александр Александрович поехал в военкомат, вошел к военкому, сел против него на стул.

«Своей машиной интересуетесь? — спросил военком. Он решил довести до логического конца невинную и даже, по его мнению, святую ложь. — Разбита, товарищ Басманов, чуть ли не при штурме самого рейхстага...» — «Что ты мне, товарищ, о машине! — ответил Александр Александрович. — Тьфу — эта машина! Какой человек погиб! Эх, комиссар, комиссар...»

Военком не помнил, какую он назвал когда-то фамилию, и искренне погоревал вместе с Александром Александровичем о генерале Соколове.

Несколько лет назад, когда Александр Александрович впервые увидел «Победу», у него с новой силой возникло желание иметь собственную машину. На «Победу» он не мог смотреть равнодушно. И теперь он провожал взглядом быструю серую машину до тех пор, пока она не скрылась за домами, и только тогда пошел по гулкой палубе в кормовую, наклоненную к воде часть корабля.

Сборочные работы на корабле приближались к завершению. Сварщики варили узлы палубных надстроек.

Александр Александрович остановился возле Кости Журбина. Невдалеке стоял трансформатор на кривых ножках с колесиками; толстые и черные, как змеи, кабельные шнуры тянулись от него к электрододержателю, которым ловко действовал Костя. Разбрызгивая белые искры, электрод оставлял позади себя рубчатый шов спекшейся стали. Костя не поднял головы, не оглянулся, но, краем глаза увидев рыжие, из толстой кожи, башмаки мастера, крикнул сквозь гром пневматических молотков: «Привет Александру Александровичу!»

Александр Александрович знал, что затевать разговор бесполезно: Костя его не поддержит. У Кости был неменяемый трудовой режим. Получив вечером рабочий листок, он шел на корабль, осматривал все, что надо было сделать завтра, продумывал маршрут сварки, проверял трансформатор и только тогда отправлялся домой. Зато в работе у него не было ни простоев, ни перебоев, ни лишней траты времени на всякие увязки и согласования. Час варит, пять — семь минут перекурка; снова час работы — и опять перекурка не дольше семи минут... «Знают Журбаки свое дело, знают, черти!» — думал Александр Александрович, глядя на крепкую шею Кости, на его широкие плечи, туго обтянутые брезентовой курткой, на прожженную кепку.

Он простоял за Костиной спиной до тех пор, пока его не тронул за локоть Илья Матвеевич:

— Пойдем-ка, Александр Александрович, где потише.

Они ушли на самую корму, сели там на груду досок, достали портсигары и закурили. Илья Матвеевич молчал. Александр Александрович ждал, когда же он заговорит, не дождался, заговорил сам:

— Ручку небось не пожали?

— Почему не пожали? Пожали. Поздравили. С внуком поздравили. А в общем-то крутой был разговорчик. По графику когда мы должны спустить «коробку» на воду? Не забыл? Ну вот, получен приказ: чтобы она была у достроечной стенки не позже Октябрьских праздников.

— Протестовал? Доказывал?

— А что доказывать! Приказ министром подписан. Выполнять, Саня, положено. Мы люди маленькие. Солдаты армии труда! — Илья Матвеевич усмехнулся и бросил окурок за борт.

— Не случись этой обшивки, выполнили бы. Зарежет она нас, кто только ее придумал!

— Прочность, прочность, Саня, повышать надо. Вот и придумали. Наш советский корабль знаешь каким должен быть? — Глаза Ильи Матвеевича смотрели хитро и весело, будто и не было никакого приказа о сокращении сроков постройки корабля в такой неподходящий момент, когда затерло с дополнительной обшивкой. — Не чета скороспелым «Либертишкам». «Либертишки» — военная надобность. Война пришла и ушла. А мы с тобой для мира работаем. Не на месяц, не на год.

— Это верно,— согласился Александр Александрович.— Только я тебе скажу, Илюша, и другое. Зря такую переконструкцию на ходу затеяли. Вот у нас в Петербурге было. Заложили перед первой мировой войной два здоровенных дредноута. Пока строили да переконструировали, они и устарели. Не сходя со стапелей устарели. Разобрать пришлось.

— Вот перейдем с клепки на сварку...— Илья Матвеевич сказал это как бы мимоходом, как бы не придавая особого значения своим словам; только крутой наклон его головы вполоборота к Александру Александровичу выдавал напряжение, с каким он ждал ответа.

— Варить корпус такого тоннажа? — спросил Александр Александрович.

— Ага.— Илья Матвеевич не изменил позы.

— Я по сварке не профессор, но кое-что маракую, — подумав, заговорил Александр Александрович. — Ты сам твердишь: «Корпус — главное в корабле, корпус должен быть прочным». А какую прочность даст обшивка, если она вся будет в швах? Ведь что получается при сварке? Металл вязкость теряет? Теряет. И вот представь — корабль попадает в шторм баллов на десять — двенадцать. Тут его и на изгиб, и на излом, и на скручивание берет волна в испытание. Цельный металл, понятно, выдержит такую нагрузку, а сваренное место — бац! — и треснет.

— Он и по клепаному шву может разойтись, если так.

— Э, нет, Илюша! Заклепка — она что пружинка. Она придает корпусу эластичность. Случись что в наборе корабля, клепаные узлы встанут как щиты, как рессоры. А цельносварной корпус затрещит по всем швам.

— Ну, ведь вот же варили тральщики, варим вон те коробки...— Илья Матвеевич указал рукой вниз, в сторону слипа — наклонной плоскости, на которой стояли два небольших корабля.

— Про малый тоннаж не говорю. Их вари, пожалуйста. Про средний — тоже. А наши, океанские... Проблема. Я так понимаю.

Видимо, и Илья Матвеевич понимал так же. Он долго молчал; выкурил еще одну папироску. Потом поднялся с досок, заходил по настилу палубы. Поднялся и Александр Александрович. Они сошлись возле борта, минуту-две постояли друг перед другом; Илья Матвеевич, засунув руки в карманы куртки, раскачивался с пяток на носки, с носков на пятки и насвистывал мотив старой солдатской песенки «Солдатушки, бравы ребятушки».

— А вот, Саня,— сказал он,— для того и срок нам сокращают, чтобы после этого заложить цельносварную океанскую коробочку. И строить ее будем мы!

Новость ошеломила Александра Александровича. В первый момент он не нашел что и ответить.

— Мы?! — переспросил наконец и приблизился к Илье Матвеевичу вплотную почти грудь в грудь.— Мы, говоришь?

— Да, мы.

— Нет, не мы, Илюша, а ты! Согласился, сам и строй.

Один строй! Я авантюр не уважаю. Я честность люблю. Ты честности испугался, язык у тебя приморозило к зубам.

— Товарищ Басманов!..

— Товарищ Журбин!..

Они жгли друг друга такими глазами, такой огонь метали эти глаза, что, пожалуй, их огнем можно было варить самую прочную корабельную сталь.

Устроив перекурку, Костя застал начальника участка и мастера в позиции бойцовых петухов перед броском. Они не ответили на Костин вопрос, в чем дело и что случилось, они еще раз опалили уничтожающими взглядами один другого, усмехнулись и разошлись в разные стороны.

## 3

Часто рабочие семьи имеют свой «семейный профиль»: отец токарь — и дети токари, отец литейщик — и дети литейщики, отец столяр — и дети пилят, строгают, точат древесину. Иной раз преемственность профессии идет не только от отца, но и от деда и даже прадеда.

У Журбиных такого «семейного профиля» не было, или, вернее, он не определялся узко одной профессией, он охватывал чуть ли не все судостроение целиком. В семье были разметчики, столяры-модельщики, судосборщики, клепальщики, сварщики — представители всех главных специальностей, необходимых при постройке корабля. Когда на завод приезжали корреспонденты газет, директор так им и говорил: «Журбиными поинтересуйтесь. Одни могут корабль построить. Даже технолога своего имеют». Называя технолога, директор имел в виду Антона.

Не изменил этому широкому «семейному профилю» и Алексей.

В разгар войны, когда младший из сыновей Ильи Матвеевича еще учился в шестом классе, на заводе создалось трудное положение из-за недостатка кадров. А работать было надо, и работать ничуть не меньше, чем в мирные времена. «Алексей, — сказал однажды отец, — как посмотришь, если, например, тебе придется уйти из школы? Как тебя насчет учения — крепко тянет или не очень?»

Алексей никогда не задумывался — хочется ему ходить в школу или не хочется. Заведен порядок: все ребята учатся, — и порядок казался нерушимым. Вопрос отца удивил Алексея. Он промолчал. «Я не к тому, чтобы вовсе не учиться,— продолжал отец, не зная, как истолковать его молчание.— Я к тому, чтобы тебе пока поработать на заводе, подсобить нам маленько. Голова если на плечах есть, потом доучишься».

Для такого разговора отец, словно нарочно, уселся за круглый столик, который ко дню его рождения год назад изготовил в школьной мастерской Алексей. Ножка у столика была точеная, столешница с красивым набором из ясеня, клена и карельской березы. Даже Виктор, столяр-краснодеревец высшей квалификации, одобрил Алексееву работу, когда столик был принесен домой.

«Мастерство тебе дается,— говорил отец, постукивая пальцем в столешницу.— Ну, а по какой линии пойти — по столярной или еще по какой, давай думать вместе».

Ошеломленный возможной переменой в его жизни, Алексей продолжал молчать. В его сознании давно и прочно укоренилась мысль о том, что до семнадцати лет он будет писать диктовки и решать задачки, а дальше... об этом «дальше» он еще не задумывался. Он еще был мальчишкой, и интересы его были мальчишечьи. И вдруг представился случай стать рабочим — таким же, как Виктор и Костя, как дядя Вася, как дед Матвей. Он будет ходить в промасленной спецовке на завод, получать два раза в месяц получку, свою собственную получку! На равных правах будет участвовать за вечерним чаем в общих разговорах о заводских делах. Все это куда интересней, чем зубрить немецкие глаголы и заучивать путаные химические формулы.

Алексей молчал, обрадованный и взволнованный. Стать самостоятельным рабочим — да кто же от этого откажется?!

Но Илья Матвеевич по-своему истолковал молчание сына. Молчит, — значит, нужно повлиять на его сознательность, напомнить парню, что такое рабочий класс, о котором Илья Матвеевич любил поговорить и говорил всегда с величайшей гордостью.

«Пойми, Алеха,— продолжал он проникновенно,— мир держится на рабочем и на крестьянине. Все, что ты видишь вокруг себя, — дом этот, столы, стулья, одежда, швейная машина, лампочки, выключатели, хлеб — все де-

ло рабочих и крестьянских рук. И куда ни взгляни — паровозы, автобусы, корабли, целые города, — всё они и они, трудовые руки, сделали. Рабочий класс — творец, потому он и самый главный, потому и вожди революции всегда на него опирались».

Все это Алексей слышал уже не раз, в школе уже узнал начала политической грамоты, узнал, что и в революциях и в мирном строительстве рабочий класс должен идти в союзе с трудовым крестьянством, но молчал, боясь рассердить отца в такую решительную минуту.

«Я бы хотел по металлу,— сказал он, чтобы не затягивать разговора и не дать отцу опомниться: а то еще передумает.— По дереву не больно нравится».— «Ну и иди, сынок, по металлу! — оживился отец.— Дело твое».

Так Алексей пришел на завод в обучение к старым мастерам. Сначала он пробовал токарничать, но вскоре его привлекла судосборка и особенно клепка. Освоив пневматический молоток под руководством своего дяди, Василия Матвеевича, он клепал медленно, но очень тщательно. Головки заклепок у него получались ровные, красивые. «По-нашему работает твой младший», — говорили Илье Матвеевичу старые клепальщики при встречах.

Когда Алексей получил первую получку, он всю ее, до копейки, принес домой и отдал матери. Едва вернулся с завода Илья Матвеевич, Агафья Карповна выложила перед ним на стол пачку десяток. В глазах ее были и гордость и слезы — всё вместе. Илья Матвеевич пересчитал деньги, подергал себя за бровь, сказал: «Вот, Алешка, ты и могильщик капитала! Хозяин земного шара».

На следующий день после работы, выхлопотав в отделе рабочего снабжения ордер, он повел Алексея в универмаг и, якобы на его первую получку, купил ему самый дорогой, какой только нашелся в универмаге, самый лучший бостоновый костюм. «Хозяин должен и ходить по-хозяйски. Понял?»

Алексей быстро поднимался по трудовой лестнице. Лицом он походил на свою, известную ему только по фотографиям, бабушку Ядю, а характером выдался в деда, каким тот был в молодости,— немножко замкнутый, сосредоточенный, как говорят, себе на уме. Через пять лет он достиг мастерства, какое старым клепальщикам давалось десятилетиями. А полгода назад произвел чуть ли не

переворот на стапелях. Он реконструировал пневматический молоток, ускорил действие его ударного механизма, затем перестроил бригаду, и выработка бригады возросла в несколько раз.

На досках Почета — на заводе и в городе — появились его портреты, появились портреты в заводской и областной газетах, в иллюстрированных журналах; о нем писали, рассказывали по радио; его избирали в президиумы торжественных заседаний. Молодая голова кружилась. И если прежде была дума продолжить когда-нибудь ученье, по примеру Антона пойти в институт, то постепенно эта дума ослабевала, ее начало заслонять мнение, что и без науки он, Алексей, достиг такого места на заводе, какого за всю их долгую жизнь не смогли достичь ни дед, ни отец, ни дядя, ни те старики, у которых он поначалу учился клепке.

Растерялся Алексей только перед Катей. Перед маленькой чертежницей он утрачивал все свое напускное величие, становился простым влюбленным парнишкой, каким и был на самом деле. Все портреты, все пространные статьи о нем в газетах и радиопередачи «с рабочего места знатного стахановца» он готов был, не задумываясь, променять на одно Катино слово, на одно еле ощутимое ее прикосновение к его руке.

После первомайского вечера в клубе они встретились еще раза два-три. Для Алексея встречи с Катей не были случайностью: по окончании работы он поджидал ее возле заводской проходной, притворяясь, что читает газету, наклеенную на доске. Потом они шли до того места, где путь разветвлялся: ему в Старый поселок, ей — в Новый. Шли медленно. Алексей рассказывал о своих производственных успехах,— других тем на ходу что-то не найти было. Время от времени он испуганно спрашивал: «Вам это, наверно, не интересно?» — «Что вы, что вы, Алеша! Очень интересно!» — восклицала Катя с жаром. Алексей в этот жар не совсем верил. «Из вежливости так говорит,— думал он, разглядывая Катины длинные ресницы, пушистые брови, ямочки на ее щеках, на которые смотрел бы да смотрел. — Не больно-то нужна ей вся эта болтовня про клепку». Катя говорила о более интересном. «Если бы вы, Алеша, со своим реконструированным воздушным молотком очутились в каменном веке,— весело фантазировала она,— вы бы стали самым могущественным божеством. Вы бы легко выдалбливали в скалах пещеры для жилья,

легко и просто высекали огонь из камней, как громовержец насмерть поражали бы огромных мамонтов...»

Алексей, пожалуй, и согласился бы вернуться в каменный век — при том условии, если там будет и она, Катя. Но, на беду, Катю так далеко не тянуло. Катя с увлечением говорила о раскопках в древнем Хорезме, о таинственных мертвых городах каких-то сказочных государств — Камбоджи и Лаоса, затерянных в тропических джунглях. Алексею было стыдно оттого, что он о таких государствах даже и не слыхивал. Как-то после разговора с Катей он отправился к дяде Василию Матвеевичу. «Камбоджа и Лаос? — переспросил Василий Матвеевич. Он надел очки и раскрыл толстенный географический атлас.— Вот они, братец, гляди, где!.. Тут, возле Вьетнама, между Бирмой и Вьетнамом. Все это бывший Индокитай, пожелавший, Алексей Ильич, самоопределиться, жить свободной, самостоятельной жизнью. Представители этих государств собрались на специальную конференцию, договорились действовать сообща против французов-колонизаторов единым народным фронтом».

О древнем прошлом Камбоджи и Лаоса, выяснилось, дядя тоже не знал. Не поехать ли, появлялись мысли, в город, в Центральную библиотеку, не потребовать ли нужных книг?

Да, перед маленькой чертежницей Алексей Журбин терялся. Правда, за месяц, минувший после майских праздников, он познакомился с Катей ближе и заговаривал с нею значительно смелее, чем прежде.

В тот день, когда Илья Матвеевич и Александр Александрович крупно поговорили об электросварке, Алексей, встретив Катю возле буфетной стойки в столовой, набрался мужества и пригласил ее пойти вечером погулять. Со страхом ожидал он отказа. Но Катя сказала, что погулять пойдет.

Сдав Александру Александровичу работу, он переоделся, оставил в дощатом шкафчике спецовку и пошел со стапеля.

Только что пролился шумный июньский дождь. Было тепло и влажно. Ветер над асфальтом Морского проспекта, как называли широкий проезд от проходной до стапелей, клубил испарения, из разметанных туч, звонко булькая, падали в лужи на мостовой последние тяжелые капли. Алексей с тревогой подумал о том, как бы погода не испортила вечер, — и увидел Костю. Костя куда-то спешил.

— Куда? — окликнул Алексей.— Пошли домой!

— Вызвали,— ответил Костя.— Главный технолог всех сварщиков собирает. Совещание.

Холодная капля угодила Алексею за воротник. Поеживаясь, он проводил брата взглядом. В том же направлении, куда и Костя, шли отец с Александром Александровичем. Заводские шумы и гулы умолкли ровно в пять часов вместе с гудком, который хриплым басом протрубил конец дневной смены. Редкие удары пневматической бабы копра на строительстве нового стапеля только подчеркивали наступившую тишину, в ней отчетливо были слышны голоса. Илья Матвеевич с Александром Александровичем говорили о каких-то талях и цепях, говорили спокойно, мирно, будто и не стояли они несколько часов назад друг перед другом, как петухи, будто и не было меж ними никакой ссоры.

Ссоры и в самом деле не было. Подобное тому, что Костя видел на верхней палубе корабля, случалось часто. Чуть ли не каждый день сталкивались начальник участка и мастер грудь в грудь, жгли друг друга огненными взглядами, оглушали громовыми окриками: «Товарищ Басманов!», «Товарищ Журбин!» Расходились в разные стороны с такими презрительными улыбочками, словно расходятся на веки вечные. А через полчаса мирились. Точнее — делали вид, что вообще между ними ничего не произошло; снова — «Саня», снова — «Илюша». Может быть, стычки происходили между ними оттого, что они давным-давно уже не могли обходиться один без другого и подсознательно на это досадовали.

Тали и цепи Алексея не интересовали, он миновал доску Почета, взглянул на свой портрет под стеклом и через проходную вышел на площадь. На площади, выплескивая из луж мутную воду, разворачивался троллейбус. Обогнув памятник Ленину, троллейбус остановился перед самыми воротами завода.

Из троллейбуса выскочила высокая худенькая девушка в распахнутом пальто. Мелкими быстрыми шажками она подошла к Алексею, спросила, как ей найти отдел кадров завода. Девушка была, видимо, нездешняя, приезжая, но держалась она уверенно и разговаривала решительно.

Алексей ответил точно и коротко, весь разговор длился не более полминуты. Когда девушка энергично зашагала к высокому серому зданию возле проходной, Алексей

невольно посмотрел ей вслед. На мокрой щебенке, посыпанной песком, остались отпечатки ее маленьких узких туфель; особенно глубоко вдались в песок тонкие каблучки. «Вот это строчит!» — подумал Алексей.

### 4

Они шли по обрывам над Ладой. Сколько раз бывал здесь Алексей, но никогда знакомые места не казались ему такими красивыми, как в этот вечер. Катя вдруг остановилась, схватила его за руку:

— Смотрите, Алеша, смотрите!..

Он смотрел. Багровое огромное солнце погружалось в далекий залив, вода в заливе, в устье реки была как текучее пламя; огненным паром казался дымок над трубой лесопильного завода, огненные стояли окрест длинностволые сосны. Жутковато делалось при виде пылающей в сумерках земли.

— А вот сюда взгляните! — вновь воскликнула Катя.

Алексей повернулся спиной к солнцу. Две длинные тени уходили из-под их ног к обрыву, спускались вкось по влажному песку туда, где на береговой кромке чернели горбатые днища рыбачьих челнов. Ветер нес оттуда запахи сапог и рыбы.

И в какую бы сторону ни указывала Катя, везде перед Алексеем открывались картины одна красивей другой. Среди них, этих картин природы, хотелось молчать. Но молчать, оставаясь вдвоем, могут только старые друзья. Отношения Алексея и Кати были еще очень неясны, и, пока они не выяснятся, надо говорить и говорить.

— Я читала одну очень интересную книгу о происхождении жизни,— сказала Катя.— Там были рисунки в красках... Вот эти сосны похожи на первобытный лес, как он показан в книге. С них во время пожаров в песок капала смола. Потом те места заливало море, смола за миллионы лет становилась каменной.

— За миллионы?

— А как же! Я говорю про янтарь. Он очень древний. Ему тридцать миллионов лет.

— Шу́тите! — Алексея поразила цифра, названная Катей.

— Правда, Алеша. У мамы есть янтарные бусы, и в одной бусинке, если смотреть на свет, видна мушка,

крохотная, меньше комарика. Когда я на нее гляжу, у меня у самой мороз по коже идет, так удивительно: мушка эта жила тридцать миллионов лет назад. Может быть, она кусала какого-нибудь ихтиозавра и видела то, о чем мы теперь и догадаться не можем.

— Тридцать миллионов лет! — Алексей не мог успокоиться. По сравнению с этим чудовищным временем его двадцатидвухлетняя жизнь казалась такой пылинкой, какую не разглядишь и под самым мощным микроскопом.

Катины мысли походили на мысли Алексея, но были они определенней.

— При виде этой мушки,— продолжала она,— я всегда думаю о том, как же человек должен жить, чтобы его короткие годы не пропадали зря? И ни до чего не могу додуматься. Потому что не знаю, что такое «зря» и что такое «не зря». А вы знаете, Алеша?

Алексей остановился, вытащил портсигар, закурил.

— Я, наверно, тоже не знаю,— сознался он.— Может быть, надо стать очень знаменитым, чтобы люди навсегда тебя запомнили?

— А что такое знаменитый? — Катя стояла перед ним и внимательно смотрела в его лицо.— Был Герострат, который сжег храм Артемиды в Эфесе. Были страшные короли-убийцы вроде Ричарда Третьего. Был Гитлер, он сжег уже не один храм, он людей сжигал в печах. Всех этих чудовищ человечество тоже запомнило навсегда. «Знаменитые»!

— Да, вы историю здóрово знаете,— сказал Алексей с завистью.— Я не про таких знаменитостей, я про других... которые своими руками... своей работой...

— А вам, Алеша, очень бы хотелось стать знаменитым? — простодушно спросила Катя.

Алексею думалось, что он и так достаточно знаменит, и ему стало обидно: разве Катя об этом не знает или знает, да не хочет признавать его славы?

Молча они прошли через ельник до вырубленной поляны. Среди пней росла одинокая молодая рябинка, пышно распустившая перистую листву. Алексей тряхнул ее, и на них обоих брызнул дождь крупных капель. Катя вскрикнула. Алексей рассмеялся.

Неожиданный душ изменил настроение. Какие тысячелетия, какая слава, когда Алексею хотелось обнять Катю и гладить, целовать ее золотистые волосы... Хотелось подхватить ее на руки и нести... неизвестно куда.

— Катя! — промолвил он, не зная еще, что будет сказано дальше.

И дальше не было сказано ничего. Они шли и шли, потеряв направление; сумерки сгустились, небо чернело, в лесу уже властвовала ночь.

— Я боюсь,— сказала Катя.

— Волков?

— Всего.

— Со мной не бойтесь. Эх вы, Катя, Катя...

— Ну что, что — «Катя»?

— Да так, ничего. Ничего вы не знаете.

— Скажите, узнаю.

— Раз сами не хотите понять, зачем говорить.

Ноги были мокрые до колен, но Алексей этого не замечал. Он мог бы брести и по грудь в воде и тоже не чувствовал бы никакого холода.

Сделав крутую петлю, вышли на шоссе, с которого были видны огни Нового поселка. Вот Алексей проводит Катю до подъезда дома, Катя подаст ему руку — и всё. И на этот раз Алексей не скажет тех слов, которые он давно приготовил. Он не выдержал.

— Катя! — сказал вдруг грубовато. — Вы, наверно, смеетесь надо мной? Серый человек... ничего не знает. Ни про историю, ни про землю. Так ведь, так?

— Алешенька, что вы? — Катя чувствовала, как взволнован, расстроен Алексей. Неужели она его обидела? — Алешенька, я сама ничего не знаю. Я не хотела... Я не думала... Алеша!..

Их обоих охватило волнение. Алексей уже решился обнять Катю, он шагнул к ней, сердце у него стучало так, будто в грудь на полную мощь бил молоток клепальщика. Но с шумом промчался троллейбус, обдал их на миг ярким светом, и они, испуганные, отшатнулись друг от друга.

Решимость к Алексею больше не возвращалась.

Когда он пришел домой, все Журбины, кроме деда Матвея, уже спали. Далеко отставив от глаз, к самой лампе, дед читал какую-то книгу.

— Ты где шляешься? — спросил он, снимая очки.— Без тебя тут целый совет заседал. Слыхал, сварной корабль будут закладывать?

— А мне-то что? — ответил Алексей, в эту минуту далекий от всех кораблей мира.

— Как это — что! Событие, дурень! Переворот.

Алексей разделся, развесил намокшую одежду возле теплой печки и залез в постель, приготовленную ему Агафьей Карповной, как всегда, на диване.

— А есть-то чего же не ешь?

— Не хочу.

— Эх, парень, парень! Опять говорю: гляди не промахнись.

Не услышав ответа, дед Матвей загородил газетой лампу, чтобы не мешала внуку, и снова раскрыл книгу.

## ГЛАВА ТРЕТЬЯ

### 1

Директор усадил Зину в кресло и попросил у нее разрешения дописать несколько строчек очень, как он сказал, спешного письма.

Кресло было неудобное — слишком податливое и глубокое, Зинин подбородок приходился почти вровень с чернильным прибором из черного камня с бронзой. Позиция эта вынуждала Зину смотреть на директора снизу вверх, раздражала ее и даже угнетала: при такой позиции совершенно невозможен разговор в том резком и требовательном тоне, в каком, по мнению Зины, его следовало бы вести.

Директор торопливо писал; в такт размашистым движениям руки на щеке у него дергался косой шрамик. Зина разглядывала этот шрамик удивленными и несколько негодующими глазами. Такими глазами она разглядывала все на свете, потому что все на свете делалось совсем не так, как должно было делаться, как того требовала, по ее мнению, сама наша жизнь — время великих замыслов и свершений. Зине не хватало быстроты, скорости в окружавшей ее жизни. Всякую потерю времени Зина ненавидела. Она вся как бы рвалась вперед и вперед; и даже походка у нее была какая-то рвущаяся, стремительная. В институте студенты шутили: «Зинка никогда не выйдет замуж. Чтоб объясниться ей в чувствах, надо прежде стать мастером спорта по бегу. Иначе просто не угонишься».

— Ну вот,— сказал директор, нажимая кнопку звонка рядом с телефонным аппаратом,— я к вашим услугам, товарищ Иванова.

Отдав вошедшей секретарше исписанные листки, он принялся набивать, а затем раскуривать трубку.

— С заводом познакомились?

«Ни с чем я не познакомилась,— хотела крикнуть Зина.— Три дня сижу без дела, три дня не могут дать работы. Три дня хожу сюда вот с такими бумажками!» Она выхватила бы из карманчика жакета талон разового пропуска. Но вместо всего этого пришлось сдержанно ответить:

— Нет еще. Никто не хочет со мной поговорить.

— Я виноват, товарищ Иванова, я. Простите, пожалуйста. Непрерывно совещаемся. Нам, видите ли, поручили постройку крупного корабля с цельносварным корпусом. Как раз по этому поводу я и писал сейчас письмо министру. Дело для нашего завода не то чтобы новое, но и не такое уж старое. До сего времени варили мелкие корабли. Возникло множество самых неожиданных вопросов. Взять хотя бы сталь... Каких марок?

Он смотрел на Зину и думал: «Девушка, девушка!.. Как случилось, что твои родители разрешили тебе пойти в кораблестроение, в трудную, не женскую отрасль промышленности? Да знаешь ли ты, что тебя ждет?»

А Зина сказала:

— Назначьте меня на этот корабль! Я технолог-корпусник.

Трубка директора, как часто случается с ними, с трубками, стала пищать, в ней булькало и хрипело. Директор выколотил табак в пепельницу, взял медную проволочку и занялся чисткой мундштука. Известно, что занятие это нудное и кропотливое.

Зина не выдержала:

— Вы, наверно, обо мне забыли?

— Нет, не забыл. Помню.

Директор не сказал, а только подумал, что министерство, прислав на завод эту девушку, задало ему трудную задачу. Обычная история: девчоночья романтика, неумение соразмерить свои силы, правильно выбрать профессию. Технолог-корпусник! Разве такие, круглоглазые, с черными бантиками в косах, должны работать на стапеле? Перед мысленным взором директора один за другим возникали бывалые корабельщики: Басманов, Журбины —

деды, сыновья и внуки — с лицами, опаленными ветром, с загрубелыми красными руками, с ледяными сосульками в усах и обметанными инеем бровями. Никак невозможно было поставить с ними в ряд «товарища Иванову»; не хватало решимости отправить ее на леса, где осенью непрерывно свищут ветры, в холодные корабельные отсеки, где зимой даже сталь скрипит от мороза. Директор Иван Степанович Сергеев сам был отцом двух таких же вот худеньких девчушек с бантиками в косах.

— Да, помню,— повторил он.— Но как быть с вами, честное слово, не знаю.

— В путевке министерства это написано!

— Написано? — Иван Степанович снова раскуривал трубку.— А скажите: тот, кто подписывал вашу путевку, он с вами разговаривал, он видел вас?

— Не понимаю! — Зина встала. Сидя она такой разговор продолжать не могла.

Иван Степанович тоже встал из-за стола. Большой, массивный, он прошелся по ковру до двери, повернул обратно.

— Кто вы для работника отдела кадров министерства, который выдал вам путевку? — заговорил он серьезно.— Как он вас себе представляет? Да никак. Не сомневаюсь, он очень внимательно просмотрел ваш диплом. Диплом инженера-технолога. А мы, пожилые люди, которые корабельную премудрость начали познавать с клепальщиков и слесарей, видим в вас не только дипломированную абстракцию, но еще и нечто иное. Перед нами юная девушка, с косичкой, с бантиком...

Лицо и шея Зины мгновенно покраснели. Она торопливо развязала бант и сняла его с косы:

— Если это мешает...

— Да не бант мешает. И не в укор я вам о нем говорю. Совсем напротив. Мне только кажется, что вы еще очень плохо знаете жизнь, еще хуже знаете ту профессию, которую себе избрали, вернее — условия труда, связанные с этой профессией. Допустим, вы бывали на практике, но практика всегда летом, в самое благоприятное время года. Ни за что, собственно говоря, вы еще не отвечали. И вот, думаю, прежде чем будет подписан приказ о вашем назначении, вам следует очень внимательно, очень серьезно и трезво продумать свое будущее.

— Я много думала!

— Еще подумайте. И походите по заводу, ознакомьтесь со всем процессом постройки кораблей. Может быть, не стапель, а какой-либо иной участок...

— За время практики походила по очень многим заводам,— перебила его Зина.— Хочу работать только на стапеле. И пожалуйста, не вздумайте отправлять меня обратно! Никуда отсюда я не уеду!

Она комкала в руках черную шелковую ленту. Иван Степанович добродушно посмеивался, снова нажимая кнопку звонка, а у Зины дрожали губы. Она с трудом сдерживала себя, чтобы не броситься на диван с деревянными львами, которые держали в зубах медные кольца, и не зареветь от обиды и злости. Еще никогда-никогда в жизни никто не устраивал над ней такого издевательства. Ладно, порой не очень легко было жить без родителей в детском доме, пусть и трудности институтских лет не всегда проходили бесследно; но теперь, теперь, когда она инженер, когда у нее диплом, самые лучшие отзывы и характеристики, когда она самостоятельный человек, кто имеет право мешать ей на жизненном пути, посмеиваться над ней, называть девчонкой!

Вошедшей секретарше Иван Степанович сказал, чтобы она вызвала инженера Скобелева из бюро технической информации.

— Дальше дело будет обстоять так, Зинаида Павловна...— сказал он.— Инженер Скобелев познакомит вас с заводом, покажет все цехи, все участки, мастерские, склады, отделы. А вы, как я уже вам советовал, еще разик подумайте, где бы вам хотелось работать.

— Я уже вам объяснила где. На стапелях!

В кабинете появился человек лет тридцати — тридцати пяти, тщательно выбритый, надушенный, в модном костюме, с пестрым галстуком, и сощурил на Зину холодные глаза фаталиста, который всецело и полностью вверил себя судьбе.

— Зинаида Павловна Иванова... Евсей Константинович Скобелев...— познакомил их Иван Степанович.— Инженеры.

Инженеры переглянулись и не понравились друг другу. Зине не понравился весь вид Скобелева, его прищуренные безразличные глаза, замедленные, вялые движения. А Скобелев обозлился на Зину за то, что она, сама обозленная и расстроенная разговором с директором, не приняла его протянутой руки. Чтобы выйти из глупого

положения, ему пришлось проделать этой рукой еще более глупые жесты в воздухе и сложными путями отправить ее в карманчик пиджака за карандашом, нужды в котором никакой не было.

От директорского поручения — «показать Зинаиде Павловне завод» — неприязнь Скобелева к растрепанной девчонке, как он мысленно окрестил Зину, усилилась. Таскайся теперь с ней день, два, а то и три по цехам, лазай черт знает куда...

Но Евсей Константинович Скобелев считал себя человеком в высшей степени культурным и воспитанным. Он не дал воли чувствам, с должностной вежливостью поклонился Зине и распахнул перед нею дверь:

— Итак, в вояж!

После них в кабинет вошел высоченный хмурый человек с черными усами.

— Здоро́во, директор! — сказал он и уселся в кресло.— Опять, понимаешь, тригонометрия.

Иван Степанович смотрел на Горбунова веселыми глазами. Он искренне любил этого усача, которого на заводе любили все; в этом отношении директор не был исключением. И так любили, что минувшей осенью в который уже раз опять избрали председателем завкома.

— С косинусами тригонометрия? — спросил Иван Степанович.

— Хуже, — с обычной для него мрачностью ответил Горбунов. — Дед Матвей-то плох.

— То есть как плох?

— Не может работать. Народ жалуется — путает в разметке.

— На пенсию надо отпускать, Петрович. На отдых.

— Уже и решение вынес! — Горбунов досадливо хлопнул себя по коленям. — Легко сказать — на пенсию, на отдых! Я не о том. Пенсию он и без нас получает. Я о другом. Заботы человек требует.

— О таких людях государство заботится.

— Государство? А мы с тобой что— не государство?

— Теоретический спор.

— Нет, практический! Шестьдесят пять лет человек ра́ботает, работает и ра́ботает. Вели ему идти домой, на печку,— срежет это его, как бритвой. Что тут государство может сделать? Оно на нас с тобой надеется, нам поручает найти правильное решение. Я с Василием Матвеевичем толковал сегодня в завкоме. Нельзя, говорит, оставлять

деда без работы. И на разметке не оставишь. Внимательность потерял, устает, больше помех от него, чем пользы.

— Давай думать.

— Давай.

Оба сидели несколько минут молча. Иван Степанович курил, посапывала его прокуренная трубка; Горбунов хмурым взглядом рассматривал модель ледокола в стеклянном футляре, поставленном на подоконнике за спиной директора.

— В вахтеры, может быть? В сторожа? — не то себе, не то Горбунову сказал Иван Степанович.

— Обидим, — не меняя позы, ответил Горбунов. — Обернись, погляди на тот кораблик позади тебя... Кто гребные винты для него размечал?

— Вот, черт возьми! Действительно тригонометрия, Петрович. А сам-то он что говорит?

— Да ничего. И спрашивать боязно.

Так директор с председателем завкома и не смогли решить судьбу деда Матвея.

Горбунов ушел. Иван Степанович еще долго сидел в одиночестве. Он раздумывал о жизни, о старом разметчике, о себе.

Когда Матвей Журбин с сыновьями и снохами приехал из Петрограда на завод, он, Иван Степанович, двадцатилетний слесарь в сатиновой косоворотке, был секретарем только что созданной заводской ячейки комсомола. Проходили годы, менялись люди в цехах и на стапелях, сам Иван Степанович за эти годы успел окончить рабфак и институт, поработал в нескольких проектных организациях и даже в наркомате, женился, вырастил двух дочерей, поседел, вновь вернулся в годы войны на Ладу, уже директором, а старый Журбин все продолжал делать свое дело разметчика,— был он живой биографией родного для Ивана Степановича завода. Завод не мыслился без деда Матвея. Но что поделаешь, жизнь так устроена, таков ее закон: одно уходит, на смену ему приходит другое, новое, молодое. Пусть это случайно, что в тот же самый день, когда на завод приехала девушка с бантиком и с дипломом инженера, возник вдруг вопрос, как быть с дедом Матвеем,— случайно, но закономерно. И может быть, не так уж далек иной день, когда у кого-то возникнет вопрос — а как быть с ним самим, с Иваном Степановичем Сергеевым? Стар-де и тоже путает в работе.

Невольно вспомнились строчки из недавнего письма товарища по институту. Тот писал: «Умер Никита Седлецкий. Инфаркт. Снаряды, Ваня, ложатся все ближе и ближе...» Похоже, что это именно так. Года два назад не стало Карюкина, с которым Иван Степанович когда-то уезжал на рабфак, а вот ушел и Никита Седлецкий, тоже ровесник. Да, снаряды ложатся все ближе.

Боевой устав пехоты учит бойца: когда ты попадешь в полосу губительного огня, ты должен выходить из-под него только броском вперед. Именно вперед, и ни в каких иных направлениях. Значит, не надо думать о сужающейся «вилке», надо не останавливаться, надо идти и идти, и сто раз прав Горбунов — не так просто решить вопрос с дедом Матвеем. Бросить работу — для старого Журбина равносильно остановке под огневым шквалом. Снаряды тут же накроют его. И еще есть великая правда в том, что для человека бросок вперед — это воспитание нового поколения, которое продолжит начатое им дело. «Зинаида Павловна,— подумал Иван Степанович,— мы еще будем с вами друзьями. Не сомневаюсь».

Он увидел черную ленту, забытую Зиной на спинке кресла, тщательно разгладил ее, сложил в несколько раз и спрятал в ящик стола.

## 2

Второй день длился «вояж» Зины и Скобелева по заводу. Никто бы не сказал, что к поручению директора Скобелев отнесся формально. Он добросовестно водил Зину из цеха в цех. Любому другому человеку Зина была бы благодарна за обстоятельную экскурсию — только не Скобелеву. Скобелев ее возмущал и оскорблял своей манерой давать объяснения.

— Это плаз, — заговорил он вялым, скучающим тоном, когда они из конструкторского бюро поднялись на второй этаж административного здания и вошли в громаднейший зал.— Двести десять метров длины. Около шестидесяти — ширины. Стеклянная кровля, яркие лампы. Пол набран из толстых брусков. Подобие паркета, но прошпаклеван и окрашен. Как грифельная доска. Изрядная досточка! Можно играть в футбол, не правда ли? Или кататься на роликах. Но здесь не стадион, здесь не играют, здесь святая святых завода. Все, что касается корпуса корабля,

точнее — его теоретический чертеж, созданный конструкторами, на этом полу воспроизводится в натуральную величину. Как? Если вы окончили кораблестроительный институт, должны знать сами. С помощью гибких реек — правил, которые в нужных точках закрепляются специальными гвоздями или «крысами» — вот этими чугунными утюгами. С помощью стальных рулеток, транспортиров, угольников, циркулей линии наносятся карандашом, потом берется в руки рейсфедер, и они обводятся краской. Вам понятно?

— Да,— сухо ответила Зина, разглядывая людей, которые, как муравьи, ползали на гладком сером полу, по размерам равном чуть ли не площади Маяковского в Москве.

— Так, повторяю, в натуральную величину,— продолжал Скобелев,— на плаз наносится теоретический чертеж будущего корабля в трех проекциях: корпус, бок и полуширота. Для ясности я бы сказал: создается выкройка корабля. По ней затем кроят корпусную сталь. Вопросы есть? Нет? Пройдемте сюда, в эту дверь направо.

За дверью направо пахло деревом и клеем.

— Мы видели выкройку,— все тем же ровным тоном говорил Скобелев,— а теперь видим и манекены. Здесь изготовляются различные модели. Вот, например, блок-модель, то есть модель половины корпуса в масштабе один к пятидесяти. По ней разбиваются пазы и стыки наружной обшивки, шпангоуты и стрингеры — поперечные и продольные связи корпуса корабля, его палубы, переборки, забортные отверстия и прочее. На модели, вот тут, будет вычерчен каждый лист обшивки.

Скобелев длинным ногтем коснулся гладкой поверхности кленовой доски.

— Блок-модель — это как бы главный манекен, — продолжал он. — Есть и дополнительные. Вот шаблон для гнутья шпангоутов... Вот для бимсов... А вот объемный шаблон вентиляционной трубы. Без шаблонов — только на теоретических расчетах — мы пока обойтись не можем. Бог ее знает, как, скажем, эта труба расположится в отведенном для нее помещении. А на месте, вот когда она существует, хоть и из фанеры, в натуральную величину,— все видно.

Зина слушала Скобелева молча, не задавая ни одного вопроса. Он разжевывал такие истины, которые были известны ей еще на третьем курсе института.

Так же пространно, в расчете на невежду, разъяснял Скобелев и процесс разметки на разметочных столах.

— Прежде чем раскроить сукно для пальто или юбки,— кричал он в самое ухо Зине, потому что несколько рабочих одновременно стучали молотками по кернам,— материю по выкройке расчерчивают мелом. Так и здесь...

Что́ «так и здесь» — Зина не дослышала, да и не хотела слышать. Она внимательно следила за молодой круглолицей женщиной в синих брюках, белой блузке и пестром платочке, затянутом на затылке хвостиками. Женщина была тонкая, легкая; полумужской костюм только подчеркивал красивые линии ее фигуры. Она склонилась возле седого волосатого деда, который сидел на стальном листе и обводил на нем круглые отверстия для будущих заклепок. Дед, видимо, что-то путал, потому что женщина несколько раз брала его руку вместе с мелом и, как учительница, занимающаяся с неспособным учеником, сама водила ею по металлу. Дед задумывался на минуту, пристально всматриваясь в то, что совместно изобразили их руки,— в знак согласия кивал львиной головой.

Невозможно было представить себе, что этот дед — ученик или практикант, что он на склоне лет только-только приобщается к искусству разметки. Но в чем же тогда дело? Чем объяснить такое странное содружество, в котором главенствующая роль явно принадлежит не старшему, а младшему, не деду, а — сопоставляя возраст — внучке?

Вот об этом Зина спросила бы Скобелева, но ей не хотелось затевать с ним разговор. Перед Зиной какие-то светлые, чистые человеческие отношения. А разве может рассказать о них чисто и светло скучный заведующий скучного бюро технической информации?

Она засмотрелась на удивительную пару. Тем временем дед и его внучка, как мысленно назвала их Зина, покончили с отверстиями для заклепок; дед отодвинулся в сторону и закурил короткую трубку, а внучка, взяв у него мел, принялась писать на листе: «верх», «низ», «корма», «нос», «строгать под чеканку с этой стороны», «гнуть на эту сторону»... Зина знала, что на листе будут проставлены и фамилии разметчиков — таков порядок в кораблестроении, она хотела дождаться этой минуты, но Скобелев торопил, и они пошли дальше.

В корпусообрабатывающей мастерской, или в корпусном цехе, где листовая и фасонная сталь обретает те фор-

мы и конфигурации, в каких она затем поступит на сборку, на стапель, Скобелев продолжал переслаивать технические термины терминами домашнего обихода.

— Ну вот и закроечная,— сказал он, засунув руки в карманы.

В цехе было сумрачно, багровое пламя нагревательных печей бросало тревожные отсветы на строй массивных станков, на стеклянные кабины мостовых кранов, которые гудели и ползали под кровлей. Толкая перед собой платформу с металлом, пронзительно кричал похожий на самовар паровозик; вспыхивали ослепительные огни газовых резательных аппаратов; с хрустом жевал сталь мощный пресс-гильотина.

«Закроечная»! Зину передернуло. Под этими сводами, озаренными пламенем, по чертежам конструкторов, по разбивке плазовщиков, по линиям и маркам разметчиков люди строгали, резали, сверлили, гнули корабельную сталь, как из воска, лепили из нее ребра океанских теплоходов, их обшивку, кили, палубы и переборки. Корабль — не вельветовая толстовка, не костюмчик из шевиота. Он даже не дом, он город, плавучий город, с электростанциями, телефонами, радио, центральным отоплением, банями, библиотеками — со всем, что есть в большом, отлично благоустроенном индустриальном центре. С первой институтской лекции Зина запомнила слова «корабельного бога», знаменитого академика, который говорил новичкам-студентам, что современный корабль — мери́ло технического уровня, да, пожалуй, и всей культуры страны. В корабле, как в фокусе, в одну точку собираются достижения национальной техники. Нет такого уголка в государстве, где бы люди не работали для кораблей. А здесь, в корпусном цехе, кузнецы, резчики, строгальщики закладывают основу корабля, его фундамент, подготавливая все до единой детали корпуса. От того, как будет построен корпус, будут в конечном счете зависеть и все мореходные качества корабля.

Вот что хотелось бы Зине высказать, выкрикнуть в равнодушное лицо Скобелева, когда он сказал: «Закроечная», но Зина снова промолчала,— ей неинтересно было разговаривать с этим человеком.

Так прошел первый день Зининого знакомства с заводом. Зина переночевала в комнате для приезжих в Новом поселке, перед сном терпеливо выслушав пространный

рассказ изголодавшейся по свежему слушателю сторожихи о ее, сторожихиной, жизни.

Второй день начался с того, что Скобелев предложил изменить маршрут.

— Не пойти ли нам сначала по механическим и заготовительным цехам? — сказал он, поглядывая на пасмурное небо, которое предвещало затяжной дождь.— А стапеля и достроечный бассейн отложим на завтра.

И вот были осмотрены большой и малый механические цехи, где строились главные и вспомогательные корабельные механизмы; модельная мастерская, сталелитейная и меднолитейная; малая кузница и болтозаклепочный цех; лесопилка, столярно-мебельная мастерская. Второй день наполовину прошел, когда Зина и Скобелев добрались до стапелей. Стоя перед торцовой, поднятой почти до кровли административного здания частью железобетонного стапеля, Скобелев сказал:

— На этой наклонной плоскости шьют и тачают корпус. Пневматический молоток — швейная машина, каждая заклепка — как бы стежок ниткой.

Зина привезла в своем портфельчике на Ладу диплом технолога-корпусника не случайно. Ее специализация и увлечение стапельными работами начались со второго курса института, когда она впервые попала на практику на Черное море. Там восемнадцатилетняя девушка работала наравне с ребятами из ремесленного училища. Она орудовала гаечным ключом, закрепляя болтами листы обшивки; она стояла за горновщицу и разогревала заклепки; она сама научилась клепать, как заправский клепальщик. Вначале товарищи однокурсники, вместе с Зиной проходившие практику, потешались над тем, как после работы пневматическим молотком у нее дрожат руки, как она расплескивает суп из ложки и ложка звякает о зубы. Через месяц уже Зина потешалась над однокурсниками, которые предпочли проходить практику в конструкторском отделе, в турбинном цехе, на плазу. Руки Зины так развились и окрепли, что от ее «дружеских» рукопожатий ребята морщились, а Сеня Карпов, лохматый меланхолик в очках, тот просто кричал: «Прекрати, Зинка, эти шутки, или я тебе вообще никогда не буду подавать руки!»

Зина полюбила стапеля с их шумом, с напряженным трудовым темпом; на стапелях она чувствовала себя как дома, если возможно подобное сравнение для человека,

который не помнил родителей и не знал, что такое дом в житейском значении этого слова. И она, два дня терпеливо сносившая портняжные сравнения Скобелева, предназначенные, конечно же, только для нее, не вытерпела, когда пневматический молоток был назван швейной машиной, а заклепка — стежком нитки.

— Послушайте! — сказала она, оборачиваясь к Скобелеву.— Вы разговариваете со мной, как с белошвейкой или шляпницей. В чем дело? — Ее лицо и шея покраснели так же мгновенно, как это было два дня назад в кабинете директора.

— А чем, простите, советская белошвейка или модистка хуже инженера? — спросил Скобелев преувеличенно вежливо.

— Я не говорю — хуже. Но для этого не надо шесть лет учиться в институте.

— Смотря как учиться и чему научиться.— Скобелев отвернулся, с безразличным видом он разглядывал стапельный кран, по верху которого полз вспомогательный краник — «петушок».

Отношения обострялись. Глухая взаимная неприязнь начинала у обоих выступать наружу.

— Вы не утруждаете себя выбором выражений,— ответила Зина, стараясь говорить как можно спокойней.

Скобелев поклонился.

Они смотрели друг на друга в упор. Скобелев щурился; Зина, широко раскрыв негодующие глаза, краснела и задыхалась от волнения.

— Я не нуждаюсь больше в вашей помощи! — сказала она и, размахивая полами пальто, побежала по дощатому трапу на стапель.

Она едва не столкнулась с коренастым человеком в синем кителе и кепке блином, который стоял на верхней площадке и, задумчиво глядя на бегущую ему навстречу девушку, крутил пальцем косматую бровь.

— Что так быстро и куда? — Его руки загородили ей дорогу.— Откуда такая стрекозиха?

Как ни странно, но «стрекозиха» нисколько не обидела Зину. Напротив, на душе у нее вдруг посветлело. Что-то очень хорошее, теплое прозвучало в этом слове и в тоне, каким было произнесено слово.

— Я не стрекозиха. Я инженер.— Пожалуй, впервые за последние дни обид и разочарований Зина улыбну-

лась. — Здравствуйте! Мне нужен начальник участка.

— Здравствуйте, товарищ инженер. Он и есть перед вами, начальник. Старик Журбин, Илья, сын Матвеев. Чем услужу?

## 3

Самое скверное, что только могло произойти в Зининой жизни, произошло.

Зина сидела за бесконечно длинным столом в похожей на коридор узкой и сумрачной комнате. По сторонам стола были расставлены стулья, обитые холодной черной клеенкой. На столе, покрытом зеленой, в чернильных пятнах материей, лежали толстые альбомы. В двух шкафах за стеклами располагались на полках пневматические молотки разных систем, с набором обжимок, зубил, крейцовок и чеканов, электросверла, электросварочные и газорезательные аппараты. Эти же инструменты, но в виде отдельных деталей, были представлены на щитах из фанеры, развешанных по стенам.

Зина смотрела на щиты, на соседствующие с ними диаграммы — частокол разноцветных столбиков, круги, подобные плоскостным изображениям детских полосатых мячей,— и машинально скоблила ногтем обложку одного из альбомов, стараясь сковырнуть с нее каплю присохшего клея. Несколько часов назад был новый разговор с директором — неприятный, трудный разговор, в результате которого появился приказ номер сто. На веки вечные запомнилась Зине эта цифра: ее нули прошли по Зининому сердцу, как чугунные скаты дорожной трамбовочной машины, и раздавили все то светлое и радостное, что возникло в сердце от посещения стапелей.

Илья Матвеевич водил Зину под днище корабля, установленного на кильблоках и клетках из пахучих сосновых брусьев, которые слезились прозрачной смолой. Он подымался вместе с ней на верхнюю палубу, спускался в железные глубины трюмов, машинных отделений и в тесные коридоры гребных валов. Все это было знакомо и вместе с тем ново,— ново потому, что окончена институтская практика, институтская опека, начиналась самостоятельная работа. Самостоятельная! Зина расспрашива-

ла обо всем, что только видели ее глаза. Илья Матвеевич отвечал обстоятельно и без обидной снисходительности. Он с интересом поглядывал на странную девушку, которая решила строить корабли. Некоторые ее вопросы просто удивляли старого корабельщика. «Стрекозиха» кое в чем разбиралась.

— Вот ведь штука,— заговорил он, останавливаясь, чтобы закурить. В голосе его слышалась досада.— Мы работаем, работаем, накапливаем опыт, где-то его, этот опыт, соберут в кучу, преподнесут ребятишкам в готовеньком виде — и на́ тебе! За пять-шесть лет науки получается специалист не хуже нас, бородачей, по четверть, по полвека проведших на стапелях.

— Что́ вы, Илья Матвеевич! — горячо запротестовала Зина.— «Не хуже»! В сто тысяч раз хуже! Мне казалось — приду сюда, и сразу у меня получится, как надо, как в институте учили. А вот походила с вами— страшновато становится. До чего же много знать надо. Клепать могу, чеканить могу, варить швы — тоже, а все строительство, в целом, не охватывается.

— Охватится,— подбодрил Илья Матвеевич.— Когда меня начальником поставили — было это, не соврать бы, лет пятнадцать — шестнадцать назад,— я тоже испугался: клепать могу, чеканить могу...

Зина рассмеялась:

— Пятнадцать лет! Ну и утешили! Столько ждать!

— А как же иначе! Иначе не выйдет. Каждому лестно: соскочить со школьной скамейки да и стать сразу большим мастером или ученым. Не получается так в жизни, товарищ инженер. Человек созреть должен. А на это годы нужны, годы...

Илью Матвеевича кто-то окликнул, он ушел; Зина осталась одна на палубе.

Ветер разнес тучи, Лада сверкала под солнцем, дымка поднималась над бухтой и над окрестными лесами. По горячей палубе прыгали воробьи. Зина смотрела на них и думала. До чего же горек этот неумолимый закон жизни: нужны годы! Не первый раз она слышала о нем. Еще меланхоличный Сеня Карпов говорил, что спешить студенту некуда. Все равно зрелости человек достигает только к тридцати, к сорока годам. «Мы ершимся и петушимся,— философствовал Сеня,— а жизнь-то, науку, технику, прогресс двигают они, которым не меньше тридцати и сорока». — «Что же остается нам, которым нет тридцати?» —

негодовала Зина. «Любовь и учеба,— уныло заключал Сеня.— Учеба и любовь».

То же самое, не поминая, правда, любви, сказал и Илья Матвеевич. Человек созреть должен. Долгая, скучная песня, и никакая любовь ее не скрасит.

Воробьи улетели. Илья Матвеевич не возвращался. Может быть, он забыл о Зине? Зина сама отправилась его разыскивать. Она шла по лесам вдоль борта и дошла до клепальщиков, которые клепали обшивку в носовой части корабля. Засмотрелась на то, как ловко и быстро орудовал своим молотком один из бригадиров.

Зина видела его в профиль. Он был в синей спортивной майке, с обнаженными мускулистыми руками, по которым уже прошелся первый весенний загар. Чтобы не мешать ему, Зина поднялась на следующий ярус подмостей, откуда были видны и сам бригадир, и его подручный, и горновщицы, которые находились внутри корпуса корабля.

Обычно бригада клепальщиков состоит из бригадира, одного подручного и одной горновщицы. Тут Зина увидела двух горновщиц и сразу поняла — почему их столько. Подручный едва поспевал хватать у них раскаленные стержни и вколачивать их ручником в отверстия, просверленные в листах обшивки. Бригадир, как только перед ним вспыхивал малиновый глазок заклепки, мгновенно приставлял к нему обжимку молотка — слышалась сначала глухая, затем, по мере остывания металла, звонкая пулеметная дробь, а в соседнем отверстии уже загорался новый жаркий глазок.

Быстрота работы захватила Зину. Она не могла оторвать взгляда от рук бригадира. Каждое их движение было настолько точно рассчитано, будто руки и молоток составляли единое целое. Перед Зиной как бы текла стремительная лента конвейера. Пожилые горновщицы по очереди выхватывали щипцами из горнов заклепки, ударом по чугунному бруску сбивали с них окалину и шлак, передавали подручному, подручный взмахивал ручником, приставлял к закладным головкам заклепок поддержку, бригадир стучал и стучал молотком, и на соединении двух листов обшивки все удлинялся шахматный шов.

У бригадира не было времени смахнуть с густых бровей каштановую прядь волос. Она мелко дрожала в такт дробному бою молотка.

Ему же не тридцать и не сорок. Ему не больше, чем ей, Зине, но разве он не опытный мастер?

Зине хотелось поговорить с бригадиром, просто необходимо было с ним поговорить. Но никогда, казалось, не остановит он ленту сумасшедшего конвейера.

Зина решила все-таки дождаться перерыва. Не могут же они без отдыха работать все восемь часов!

И она дождалась. Бригадир резко выключил молоток. Нагревальщицы тотчас принялись чистить горны, подручный с ключом в руке выбрался на наружные подмостья и стал отвинчивать гайки сборочных болтов; бригадир, откинув со лба назойливую прядь, сделал несколько гимнастических движений, широко разводя руки и распрямляя грудь. Он увидел Зину, спускавшуюся к нему, и смутился как мальчишка, который хочет казаться взрослым, но попадается на какой-нибудь очень мальчишеской выходке.

Они узнали друг друга.

— Здравствуйте! — обрадованно сказала Зина, подходя, и подала руку.

— Ну как, нашли отдел кадров? — спросил Алексей, все еще смущаясь.

— Найти-то нашла, да толку мало. Работы не дают.

— Чего это они? Сами объявления везде развесили: нужны люди, — а канителят. У вас какая специальность?

Зине было приятно, что он разговаривает с ней так, как, наверно, стал бы разговаривать со своими горновщицами или с той девушкой, машинистом крана, которая выглядывает из стеклянной будочки на ажурной башне. Она подумала, что, пожалуй, не стоит говорить: «инженер» — вдруг разговор потеряет непринужденность, — и ответила:

— Вот, например, могу клепать.

— Это бросьте! — Алексей усмехнулся. — Я вправду спрашиваю.

— А я вправду и говорю. — Она подняла молоток с подмостей, осмотрела его: система знакомая. — Боитесь — что-нибудь испорчу?

— Руки себе испортите. А больше — что же?

— Ну, тогда пусть разогревают!

Зина не сомневалась в своем умении клепать. Она смело нажала курок, но, когда молоток затрепетал, забился в ее руках, как большая тяжелая рыбина, — растерялась. Конец стержня заклепки пополз куда-то в сторону; будто

масло, он размазывался по листу, и вместо аккуратной замыкающей головки получилась отвратительная лепешка.

— Что такое, в чем дело? — Зина поспешно выключила воздух и, перепуганная, взволнованная, оглянулась на Алексея.— Я не виновата, виноват ваш молоток... Фу, ерунда какая!

— При чем тут молоток? — начал было Алексей, но понял, что и в самом деле не девушка, пожалуй, повинна в неудаче, а именно молоток, а еще точнее — он сам, Алексей. — Верно, — сказал он и протянул руку, чтобы дернуть себя за галстук; галстука не было. — Верно. Не предупредил. Молоток у меня переустроенный. Кое-что я тут изменил в конструкции.

— Вы мне не говорите «кое-что»! — запальчиво перебила Зина, раздосадованная неудачей.— Говорите определенно — что!

Она снова нажала на курок — и вторая заклепка пошла в брак. За второй — третья.

— Не беда, — утешал Алексей, — срубим.

Четвертую, пятую, десятую он расклепал сам в своем стремительном темпе.

Зина не отходила от него ни на шаг. Самолюбие ее было сильно уязвлено.

Так их, почти прижавшихся плечом к плечу, и застал Илья Матвеевич.

— С рабочим классом знакомитесь? — сказал он, когда Алексей выключил воздух.— Правильно, товарищ инженер, с этого и начинать надо.

При слове «инженер» Алексей удивленно и, как Зине показалось, неприязненно взглянул на нее. Глаза у него были хмурые. Зина почувствовала себя виноватой перед ним. Ее шутку по поводу специальности он расценил, наверно, как обман, как средство втереться к нему в доверие. Она не терпела недомолвок и недоумений, поэтому тут же попыталась объяснить Алексею, как и для чего возник этот, пустяковый в сущности, обман, но Алексей, постучав в стальной лист, уже подал знак бригаде, и слов стало не слышно за трескотней молотка.

Илья Матвеевич повел Зину в конторку, знакомиться с Александром Александровичем, о котором он сказал: «Знаменитый мастер!»

На пирсе Зина удержала его за рукав.

— Илья Матвеевич, я, кажется, обидела вашего бригадира. Вы не заметили?

— Какого бригадира?

— Ну вот, с которым мы сейчас клепали.

— Это же Алешка! Мой сын! С чего ему обижаться? Молод — зелен.

После вечернего гудка Зина, радостная, возбужденная, влетела в кабинет директора:

— Все, Иван Степанович! Завод осмотрен, еще раз подумано — буду работать на стапельном участке. И только там!

Начался разговор, который привел Зину в эту похожую на коридор, мрачную, неуютную комнату с длинным столом. Иван Степанович говорил долго, серьезно и убедительно. Он говорил о том, что молодой, энергичный, инициативный инженер заводу нужен, но не на стапелях, где специалистов вполне достаточно, а в бюро технической информации, которому руководители завода придают чрезвычайно важное значение, особенно теперь, в новых условиях.

— Я говорю это вам, Зинаида Павловна, как старший товарищ. Я прошу вас так поднять и поставить техническую информацию, чтобы в ваших руках сосредоточились все новинки кораблестроения, и не только судосборки, а и литейного дела, кузнечного, холодной обработки металлов, большой и малой механизации. Скобелев, буду откровенен, пока не обеспечивает такой работы. Бюро информации нуждается в сильном катализаторе. Этим катализатором, я уверен, явитесь вы. Недостаток вашего опыта восполнится избытком вашей энергии.

Каждое его слово было для Зины словом панихиды по ее несбывшимся мечтам. И вместе с тем, они, эти слова, льстили самолюбию: с нею разговаривали как с подлинным инженером, которому поручали ответственную задачу и на которого надеялись. Она еще мотала протестующе головой, хотя уже чувствовала, что не устоит перед напором доводов Ивана Степановича и пойдет в бюро к Скобелеву — не навсегда, конечно, на время, но все же пойдет.

Даже и на время нелегко расставаться с мечтой. Зина сидела возле длинного стола, разглядывала шкафы и щиты с инструментами, старалась сковырнуть неподатливый клей с коленкоровой обложки альбома и почти не слышала того, что говорил Скобелев, который, заложив руки за спину, расхаживал по комнате.

— Я всегда удивлялся и удивляюсь,— говорил он скучно и назидательно,— тем извилистым путям, по которым судьба ведет человека. Вот вы, Зинаида Павловна Иванова, гордо заявили мне, Евсею Константиновичу Скобелеву, что у вас никакой потребности в моем обществе нет. Это было вчера. Сегодня же все переменилось. Вам не только придется терпеть мое общество, но и выполнять мои приказания. Вы моя подчиненная, я — ваш начальник. Вам это понятно, надеюсь?

Зина медленно подняла голову и посмотрела на Скобелева долгим изучающим взглядом. Чтобы не видеть ее удивленных глаз, Скобелев сел за стол и принялся рыться в ящиках.

## ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

### 1

Поезд медленно вползал в ажурный тоннель железнодорожного моста. Чемоданы давно были уложены, шляпы надеты, пассажиры стояли возле окон. Река горела внизу, озаренная вечерним солнцем. По ее сверкающей воде, наперерез поезду, шел буксир и тянул две осадистые баржи с кирпичом. Обгоняя поезд, к противоположному берегу мчался белый катер.

— Ну, вот и наш городишко! — сказал Антон, кивком указывая на дальний берег.

Спутник Антона быстро повернул голову, хохолок над его лбом, седой и задорный, как у Суворова, дрогнул, лицо приняло строгое выражение. За рекой открывалась панорама большого города. Белые здания, кроны деревьев, заводские дымы... Новая, незнакомая жизнь. Сколько раз за пятьдесят лет он, этот немолодой уже человек, въезжал вот в такие незнакомые города! Вспомнился вид Сталинграда с Волги, Ростова с южного берега Дона, Киева с низменной левобережной поймы, Новосибирска через Обь... Много, много было городов, но каждый раз, завидев из окна вагона или с пароходной палубы такую панораму в седых дымах, Жуков чувствовал волнение. Он никогда не был экскурсантом, всегда в новый город он ехал работать и всегда — по заданию партии.

— Михаил Васильевич! — окликнул Жуков, оборачиваясь к распахнутой двери купе.— Приехали!

— Уже?! — ответил худощавый человек с лицом бронзовым, как у рыбака, поспешно запихивая в портфель папки с бумагами.— Сейчас выйду.

Над этими папками, разбирая, рассматривая эти бумаги, Антон Журбин, парторг ЦК Жуков и профессор Белов провели весь путь от Москвы до Лады — почти двое суток. В других купе играли в карты, в домино, пели песни, даже отпраздновали день рождения черноглазой девушки-студентки, ехавшей домой на летние каникулы, а в купе номер четыре только листали бумаги и рассматривали чертежи.

Жуков встретился с Беловым и Журбиным в кабинете министра, приехал в министерство прямо из Центрального Комитета партии. В ушах его еще звучали слова секретаря ЦК: «Надеюсь, вы понимаете, какая ответственность ложится на коллектив завода?» Министр почти повторил слова секретаря ЦК. Он сказал: «Познакомьтесь, товарищи... Вам предстоит помочь заводу выполнить чрезвычайно серьезное задание. Ответственнейшее задание. Вы, конечно, сами понимаете это...»

Они выехали на Ладу вместе, всю дорогу профессор Белов и Антон рассказывали Жукову о планах реконструкции завода, лишь изредка отрываясь от бумаг, чтобы посмотреть в окна. За окнами грохотали встречные товарные эшелоны; составами из красных вагонов и платформ были заняты пути всех станций и полустанков. На вагонах, на контейнерах то мелом, то черной краской было выведено: «Волго-Дон», «Куйбышевгидрострой», «Каховка»... Старые названия недавно зазвучали по-новому. Волгу и Дон отделяла теперь друг от друга не горячая степь, а только короткая черточка. Точнее, она их соединяла. За этой черточкой уже угадывались трасса будущего канала, простор будущего Цимлянского моря и огромный труд огромной армии строителей, для которых железнодорожные эшелоны везли лес, массивные ящики с машинными частями, северный гранит, цемент.

Долго всматривался Жуков в надпись «Каховка». Он помнил Каховку такою, как воспета она в песнях, — в горячем звоне пуль. Поезд остановился рядом с товарным составом, и Жуков окликнул молодого парня, который сняв рубашку, загорал на платформе, груженной досками.

— В Каховку, товарищ?
— В Каховку,— охотно ответил парень.
— Издалека?
— Из Архангельска. Послали сопровождать продукцию. Это нам вроде премии за работу. Четверых выбрали, а просились... весь завод. В завкоме говорят: как же, пошли вас, вы там и останетесь. Дела такие.
— Как тут не вспомнишь Кирова! — сказал Жуков, проводив взглядом эшелон с досками.— «Хочется жить и жить».
— Вы насчет чего это? — спросил удивленный Белов, входя в купе с бутылкой нарзана в руках.— Какую-нибудь колхозную электростанцию в окне увидели? Аллею вдоль дороги?.. Паровоз новой серии?.. Хорошо, что я не лирик, иначе... Не знаю, что́ было бы иначе. Наверно, я непрерывно болел бы ангинами, гриппами, воспалениями легких... Потому что, скажу вам откровенно, лирику в наше время трудно оторваться от вагонного окна. Последние два года мне пришлось много путешествовать — с севера на юг, с юга на север, на восток, на запад... Потрясает! Да, потрясает. На твоих глазах меняется, знаете ли, все — от ландшафта до человека.
— Ну вот, — рассмеялся Жуков, — только что утверждали: не лирик! А заговорили, как настоящий поэт.
— Никаких поэтов! — Белов резким взмахом сбросил очки на диван. На переносье выступила красная полоска, глаза прищурились. — Никаких лириков! Я, как меня называют мои товарищи, черствый сухарь. Любой рифме я предпочту цифру. Да вот, пожалуйста!.. — Белов вновь надел очки, остро посмотрел по очереди на Жукова и на Антона.— Вы утром слышали, по радио передавали песнопение? «Левый берег, берег правый соревнуются на славу...» Что вы из этого поняли? А это же о Сталинграде. О Сталинграде! И рядом с такой словесностью — вот вам! — Он развернул газету, ногтем, как ножом, полоснул по заголовку статьи: «Сегодня на Волге».

Это была не статья, а запись беседы с начальником строительства Сталинградского гидроузла; состояла она сплошь из цифр. Но Белов принялся читать эти цифры, что называется, с выражением; он со вкусом их комментировал, азартно восклицал: «Ну что это, по-вашему,— кубометры, километры? Или человек, работающий там, на правом и левом берегах?»

— Нашу эпоху никакими рифмами не передашь! — сказал он, закончив чтение статьи. Это эпоха поэзии цифр, эпоха поэзии масштаба. Разрешу себе привести еще один пример. У меня в портфеле — вот она! — хранится газетная вырезка. Главное статистическое управление сообщает о том, как выполнен народнохозяйственный план прошлого года. Рассмотрим — как?

Белов называл цифры и принимался рассуждать о том, какими путями советская черная металлургия, советское автокраностроение, советская лесная промышленность достигли этих показателей, что́ скрывается за этими цифрами. Он говорил о конвейерах, о трелевочных тракторах, о рационализаторских предложениях рабочих, о соревновании бригад, о содружестве производственников с учеными, о могучей волне творчества, вдохновения, которая, разрастаясь, захватывает страну от границы к границе.

— Убили вы меня, Михаил Васильевич,— сказал Антон не то в шутку, не то всерьез. — Я, грешный, тоже, случается, стихи сочиняю.

— Да что вы, Антон Ильич! — Белов смотрел на Антона не только с удивлением, но, пожалуй, еще и с некоторым испугом.

— Верно. Хотите, прочитаю стишок-другой?

Антон прочел коротенькие стихотвореньица о зимнем дне на стапелях, о клепальщике, молоток которого сравнивался с пулеметом, о старом мастере, который ушел на пенсию, но каждый день является посидеть на лавочке возле заводской проходной. Стихи были простые, и все в них было знакомо Белову; не только знакомо — близко.

— Ну, знаете, Антон Ильич! — развел он руками. — Это же почти цифры!

Жуков громко засмеялся. Белов тотчас понял причину его смеха и, смущенный, поспешил пояснить:

— Не в смысле сухости — нет!.. Ни в коем случае. В смысле точности, в смысле поэзии...

Все эти споры остались позади, впереди был новый для Жукова город; под мостом, через который шел поезд, текла новая река. Антон указал рукой вдаль:

— Завод. Видите три трубы?.. Самая окраина, почти у залива.

Трубы медлительно дымили, вокруг них сплетались в серые кружева фермы подъемных кранов, мачты кораблей и прожекторные башни.

## 2

В тот день, когда Тоне выдали табель, в котором было написано: «Журбина Антонина по постановлению школьного совета переводится в десятый класс», ей исполнилось семнадцать лет.

— Ну что, большая стала? — грубовато сказал Алексей. Он возвращался с работы и встретил сестру возле калитки.— Замуж скоро выскочишь...

— Пока не найду такого, как ты, не выскочу! — Тоня хотела его обнять, но Алексей отстранился.

— Шаблон, значит, нашла — всех своих женихов по мне мерить?

— Конечно. Ты самый лучший, ты самый умный, ты самый красивый!

— Вот дурашливая! — усмехнулся Алексей. — Ну получай, если так... — Он протянул ей сверток, который держал под мышкой.

— Что тут, Алеша?

— Посмотришь.

Тоня, подпрыгивая, побежала к скамейке. Алексей присел с ней рядом, искоса поглядывая, как она торопливо развертывает бумагу.

В семье Журбиных все жили дружно, семья считалась одной из наиболее крепких в Старом поселке. Но и в ней, в этой крепкой семье, относились друг к другу неодинаково, и даже Агафья Карповна, любящая мать, любила своих детей по-разному. До войны самые нежные материнские чувства она отдавала первенцу Виктору и Алексею. После того как Антон вернулся с фронта с тяжелыми ранами, эти чувства Агафьи Карповны распространились и на него. Любила она, конечно, и Костю с Тоней,— пожалуй, не меньше любила, — но все же не так, как Виктора, Алексея и Антона. И никогда не могла бы объяснить, почему не так. Может быть, потому, что Костя рос дерзким, своевольным пареньком, на него в школьные годы жаловались учителя, жаловались соседи; Агафья Карповна терпела из-за Кости много неприятностей. А Тоня с ее мальчишеским характером сама не очень льнула к матери, скрытничала перед ней, поверяла свои тайны только Алексею да еще отцу, Илье Матвеевичу.

С Алексеем у Тони сложились особые отношения. Когда Тоня была маленькой, Алексей мог заниматься с ней

целыми днями. Он возил ее на себе верхом, скакал с ней через веревочку, играл в камешки и в «школу мячиков», чертил «классы» с «котлом» и «адом». Десяти лет Тоня с помощью Алексея научилась бегать на коньках и на лыжах, пятнадцати лет — стрелять из отцовского дробовика, ставить переметы и жерлицы, крутиться на турнике и прыгать через «козла».

И только к этому времени Алексей перестал стесняться своих дружеских отношений с сестрой. Прежде он играл с ней в глубокой тайне от взрослых и особенно от приятелей-мальчишек. «Классы» чертили за дровяным сараем, игра в камешки происходила в зарослях бузины и малины. Стоило появиться вблизи постороннему — Алексей тотчас из равноправного Тониного партнера превращался в ее сурового старшего брата. Делал, словом, такой вид, будто там, за сараем или в малиннике, он очутился только для того, чтобы по поручению матери присмотреть за сопливой девчонкой.

А Тоня, напротив, никогда не скрывала своих чувств к брату, он был для нее самым высоким авторитетом на свете,— пожалуй, более высоким, чем отец, Илья Матвеевич.

На внешние знаки внимания к сестре братец был не слишком щедр. Впервые так случилось, что он снизошел до подарка ко дню ее рождения.

— Алеша, милый! Да ты дурачок! — Тоня развернула сверток и так стремительно бросилась брату на шею, что на этот раз он не успел отстраниться. Он только по мальчишеской привычке отер ладонью щеку там, где ее коснулись Тонины губы.

С этого дня в Тониной жизни начались перемены. Поставив подарок Алексея — красивую большую коробку, обтянутую голубым шелком,— на комод, перед круглым зеркалом в раме из деревянных, черных от времени роз и листьев, Тоня почувствовала себя взрослой. Такие же коробки с флаконами духов и пестрыми пудреницами — но, конечно же, конечно, менее красивые! — были и у Лиды и у Дуняшки. Тоня вырастала в собственных глазах.

— Антонина Ильинична Журбина! — сказала она своему отражению в зеркале. — Вы вступаете в жизнь. Будьте счастливы, Антонина Ильинична.

— Что верно, то верно. Будь, внучка, счастлива.

Тоня повернулась на каблуках. Позади нее стоял дед Матвей, тихо подошедший в валенках. Смущенная, она уткнулась лицом в его куртку, от грубой ткани которой пахло железом, смолой, суриком — кораблями. Дед Матвей поцеловал Тоню в голову, погладил по плечам:

— Много его, счастья-то, прошло мимо людей, не каждому оно доставалось.

Дедова солдатская койка стояла в углу за платяным шкафом. Откинув угол одеяла из разноцветных лоскутьев, он опустился перед нею на колено и выдвинул из подкроватной тьмы зеленый сундучок с гремучей, из железного прута, скобой на крышке.

Сундучок этот был очень старый, он сопровождал деда Матвея во всех его морских походах по дальним странам, и тот, кто его открывал, на внутренней стороне крышки видел жуткую картину в красках, которая называлась «Последний день Помпеи». Вырезав когда-то картину из журнала «Нива», дед приклеил ее хлебным клейстером — и то, с чем не справился разбушевавшийся вулкан, довершили прожорливые корабельные тараканы. Они отгрызли руки полуобнаженным помпеянкам, мечущимся в багровых отсветах под градом камней и дождем пепла, жадно въелись в торсы и бедра жилистых мужей. От тараканьего вмешательства страшная картина стала просто ужасающей.

Никто в семье не дотрагивался до этого заветного сундучка. Только Алексей, когда Тоне было лет пять-шесть, подзовет иной раз ее к дедовой постели, вытащит сундучок, распахнет крышку и крикнет: «Ага!..» Тоня пугалась и ревела.

Дед порылся в сундучке, согнутой спиной заслоняя его содержимое от Тониных глаз, вытащил квадратную корзиночку, сплетенную не то из тонкой соломы, не то из каких-то желтых волокон, подержал ее молча в руках и подал Тоне. В корзиночке, свернутое кольцом, лежало ожерелье из голубых и розовых раковин. Прошло чуть ли не полвека с того дня, когда Матвей Журбин купил его на базаре в Порт-Саиде, но тонкие, нежные краски, рожденные в глубинах южных морей, не потускнели.

Царапая кожу жесткими, как напильники, пальцами, дед Матвей сам надел на Тонину шею ожерелье и защелкнул медный замочек.

— Совсем цыганка! — воскликнула Тоня, взглянув на себя в зеркало. Она обняла деда и шепнула ему на ухо: — Это бабушкино?

Дед Матвей присел на постель, поставив большие свои непослушные ноги рядом с закрытым сундуком — последним вместилищем того, что осталось у него на земле от его королевны,— пожевал губами и не ответил.

Начиналось лето, дни стояли теплые, солнечные — гулять бы да гулять; но повзрослевшая Тоня не знала, куда девать свободное время. Подруги разъехались — кто к тете в деревню, кто к замужней сестре в Москву; несколько девочек отправились в туристский поход по Военно-Грузинской дороге. Рыбачить не хотелось, да и не с кем было: Алексей день работает, а вечером до самой ночи пропадает со своей Катюшкой. Эта Катюшка!.. Тоня всей душой ревновала к ней Алексея. Разве не обидно, не горько: вот была, была такая хорошая дружба, вдруг появилась беленькая чертежница — и всей дружбе конец. Как будто у Алеши и сестры уже не стало. Несправедливо, глупо, бессмысленно! Не отнимешь, конечно, она хорошенькая, Катюшка, и даже коричневое пятнышко на щеке ее не портит; но что из того — хорошенькая! Нельзя же из-за каждой хорошенькой девчонки голову терять.

Тоня ревновала, скучала, слонялась, по выражению Агафьи Карповны, как неприкаянная, по дому, вокруг дома, над Веряжкой; иногда ходила через дюны к бухте, где на песчаный берег день и ночь шли и шли, откатываясь, тяжелые зеленые волны. Под их шум хорошо было мечтать. Но в это лето и мечталось-то совсем не так, как бывало прежде.

Однажды Тоня собралась в город. Она любила город с его музеями, театрами, магазинами. Она могла ходить по городским улицам часами, до тех пор пока не отказывали ноги.

Было воскресенье, и в троллейбусе ехало много знакомых. На одном из передних сидений, расправив широкую юбку, по-хозяйски расположилась Наталья Карповна — Тонина тетка, которую лет двадцать назад Агафья Карповна с согласия Ильи Матвеевича выписала со своей родины, из Иванова. Наталья Карповна была полная, белокурая, любила сладкие наливки и очень трогательно, высоким голосом, пела грустные песни. Овдовев в войну, она пошла на завод, долго выбирала себе профессию,

выбрала наконец профессию крановщицы, работала на самом мощном, на портальном, кране.

Наталья Карповна разговаривала с какой-то девушкой, на которую Тоня вначале не обратила внимания. Видела только теткину аккуратную прическу, ее гладкую шею, розовое плечо, с которого сползла снежной белизны блузка, и удивлялась, почему тетка — такая еще молодая и красивая — не выходит замуж.

В троллейбусе все шумно разговаривали, смеялись, спорили, и тетка смеялась, то и дело склоняясь к самому уху соседки. Вдруг на одной из остановок в троллейбус вскочил Алексей. Тоня хотела его окликнуть, но он быстро прошел вперед и сел позади тетки Натальи. И только тогда Тоня узнала девушку, с которой разговаривала тетка. Это была она — Катюшка.

Катюшка не заметила Алексея. Алексей сидел позади и неотрывно на нее смотрел. «Какая гадость, какая гадость! — думала Тоня.— Как ему не стыдно!»

Но Алеше, видимо, нисколько не было стыдно. Когда троллейбус остановился в центре города, он сошел следом за Катюшкой, догнал ее, и они пошли рядом.

Тоня вышла расстроенная и отправилась в магазины; ничего не покупала, только рассматривала, потому что у Ильи Матвеевича с Агафьей Карповной было суровое правило: до тех пор, пока дети не вышли на самостоятельную дорогу, все, что детям надо, купят родители. А чего не купят, того, следовательно, им и не надо.

После магазинов Тоня зашла в городской сад посидеть в прохладе возле фонтана с круглым бассейном из гранита. И пока сидела, раскрошила голубям захваченную из дома булочку. Голуби суетились возле самых ее ног. Они были доверчивые и простодушные; булочки им мало досталось, все расхватали воробьи. Тоня злилась на воробьев, шикала, но ее шиканье пугало не воробьев, а голубей. Взлетая, они поднимали крыльями ветер.

Под полосатым тентом летнего кафе Тоня взобралась на вращающийся табурет у высокой стойки и попросила своего любимого, земляничного, мороженого.

— А ведь мы с вами знакомы,— услышала она тихий голос.

Рядом с ней сидел и тоже ел мороженое Игорь Червенков.

Конечно, Тоня была с ним знакома. Два года назад на областной математической олимпиаде школьников она

заняла только шестое место, а Игорь — первое. Тогда все пожимали плечами и говорили: «Ничего удивительного, если папаша у него знаменитый профессор».

— Вы по-прежнему увлекаетесь математикой? — Игорь отодвинул блюдечко с мороженым и повернулся к Тоне.

— Даже и не знаю,— ответила Тоня.— В седьмом классе, когда была олимпиада, я по математике получала одни пятерки. А сейчас... сейчас и тройки есть. А вы?

— Я школу окончил.

— Теперь в институт?

— Да... да,— сказал он не совсем твердо и склонил черноволосую голову с белым и ровным, как нитка, пробором.

Остаток дня они провели вместе. Выяснилась странная подробность биографии Игоря: он не захотел идти ни в какой институт, поступил на днях к ним на завод в разметочную и уже познакомился и с дедушкой Матвеем, и с Дуняшкой, и об Алексее читал на доске Почета.

— Как это можно! — возмущалась Тоня.— Получить среднее образование и не учиться дальше... С вашими способностями!..

— В этом все и дело, что я не знаю своих способностей. И выбора никакого еще не сделал. Математика? Стать ученым схоластом?

— Почему схоластом? Разве ваш папа схоласт? О нем говорят, что он светило, и его труды очень ценят.

— Ну, папа, папа! Вот так все меня попрекают папой. При чем тут папа! — Игорь сердился, смотрел на Тоню черными глубокими глазами, которые под высоким большим лбом казались еще глубже. — У отца свой путь, у меня свой. Вы читали когда-нибудь о древнем Китае?

— Господи! Вот вопрос!

— Я не о том, — нетерпеливо прервал ее Игорь. — В древнем Китае, когда ребенку исполнялось несколько месяцев, ему делали испытание. Брали поднос, размещали на нем модельки всяческих земледельческих и ремесленных орудий, оружия и так далее и ставили все это перед ребенком. Глаза у парнишки разбегутся, он что-то схватит, и вот судьба! Схватил мотыгу — значит, обрабатывай землю. Схватил молот — будь кузнецом. Схватил саблю — солдат. С этого дня во всю жизнь его будут учить будто бы им же самим избранной профессии. Хорошо? Ничего хорошего. Конечно, мастер из него выйдет, может быть, и недурной — столько учиться! А по способностям? Вот уж

и нет! И когда мне говорят: должен стать математиком, — это получается как у древних китайцев: схватил случайно отцовский карандаш или тетрадку с записями...

— Но, Игорь,— недоумевала Тоня,— можно ведь и не математиком быть. Столько разных институтов! Учись на кого хочешь.

— Я же сказал: не знаю, на кого учиться, выбора не сделал. Идти, что ли, в строительный, потом убедиться, что строительство не твоя стихия, и с помощью папаши перекочевать в горный, а из горного — в институт киноинженеров?

— Путаница, Игорь, у вас в голове.

— Никакой путаницы. Путаница у тех, кто целыми днями листает справочники для поступающих в вузы.

Тоня спорила с Игорем, возражала ему, и он ей нравился.

— Мы еще продолжим наш спор,— сказала она, когда они уже стояли на кольце троллейбуса.— Приходите к нам. Старый поселок, Якорная, девятнадцать.

— И приду,— ответил он с очень серьезным лицом.

Тоня шагнула было к подошедшему троллейбусу, но услышала оклик: «Сестренка! Антонина!» Она оглянулась: возле тротуара остановился черный большой ЗИС, распахивая дверцу, из него смотрел на нее Антон, манил к себе, улыбался.

— Антоша! — Тоня бросилась к машине, позабыв об Игоре.— А мы тебя ждали только через неделю. Как хорошо!

— Моя сестра,— сказал Антон, откидывая для Тони запасное сиденье.— Садись, сестренка, садись!

— Неужели тоже кораблестроительница? — спросил Жуков, который уже знал от Антона о «семейном профиле» Журбиных.

Иван Степанович сидел рядом с шофером, он обернулся и сказал:

— Еще какая!

Тоня засмеялась. Она понимала, что́ имеет в виду директор завода, говоря: еще какая! Бывало, в те дни, когда готовились к спуску очередного корабля, Илья Матвеевич почти не приходил домой, и Тоня бегала тогда к проходной, терпеливо стояла у входа, держа узелок с ужином, приготовленным Агафьей Карповной. Однажды, лет шесть или семь назад, ее впервые пропустили на заводской двор, и с тех пор она бывала там часто. Принесет

свой узелок, обежит все закоулки вокруг стапеля, попрощается с отцом, сделает вид, что уходит домой, а сама примется лазать по складским дворам — среди чугунных болванок, стальных заготовок, бочек с цементом, заглянет в цехи, в кочегарку. Был случай, зашла даже в кабинет к Ивану Степановичу.

«Ты кто же такая?» — удивился Иван Степанович странной посетительнице. «Я? Тоня. Ильи Матвеевича дочка». — «Скажи пожалуйста!»

Девочка очень понравилась Ивану Степановичу. Он показал ей расставленные на длинных столах модели кораблей, паровых машин, котлов, заставил огромные часы бить раньше времени басовым гулким боем, подарил толстенный трехцветный карандаш и на прощанье сказал: «Заходи почаще, не стесняйся. Даже если та тетя за дверью не будет пускать, все равно заходи. Ну, то-то! Будь здорова».

Заходила она к директору редко: «тетя за дверью», или, вернее, перед дверью, ее все-таки к нему не пускала — то совещание, скажет, то занят, то вышел на производство. Но Иван Степанович Тоню запомнил и уверил себя в том, что у Ильи Матвеевича в семье растет еще один строитель кораблей.

Тоня хотела теперь ответить, что Иван Степанович ошибся, что корабли строить она не будет, но старик, сидевший рядом с Антоном, помешал ей. Он сказал:

— Девушке в кораблестроении трудно. Пока трудно. Суровое производство. Со временем на судостроительном заводе труд будет упрощен и облегчен, как на конфетной фабрике.

— И корабли будут выпускаться в целлофановой обертке! — Иван Степанович рассмеялся, вытащил платок, утер лицо.— Далеко до этого времени.

Начался разговор о переустройстве и перепланировке цехов. О Тоне забыли.

Тоня присутствовала при первом знакомстве Ивана Степановича с новым парторгом ЦК на заводе Жуковым и профессором Беловым, которых Иван Степанович встретил на вокзале. Белов и тут был верен себе,— его интересовали только цифры; в окна машины он не смотрел, смотрел в крепкий затылок директора. Жуков успевал и поддерживать разговор, и внимательно осматриваться по сторонам. Мелькали строящиеся здания, липовые аллеи, газоны; дорога пошла вдоль Лады, по бесконечно длин-

пому прямому проспекту, и чем дальше, тем сильнее ощущалась близость моря. Низко, над самой машиной, кружились чайки; резкий ветер выламывал им узкие длинные крылья. Возле набережных дымили закопченные грузовые пароходы, клубы густого дыма катились через дорогу, и машина время от времени исчезала в них, как в черном тумане. Впереди раскрывалась панорама завода, уже виденная из окна вагона. Она шла вразмах, становилась шире и шире; можно было подумать, что завод занимает всю западную, приморскую часть города. Округлые и островерхие кровли цехов, длинные строгие трубы, мачты множества кораблей, фермы кранов, цепи, тросы — они вблизи совсем не были хрупкими. Стекла крыш отражали солнце, ослепительные лучи скользили по этим мачтам и фермам, оживляли их, приводили в движение; плескались флаги на кораблях. И завод, город в городе, махина, тоже, казалось, был кораблем неслыханных размеров. Он медленно и величаво, незнакомый и таинственный, плыл навстречу Жукову.

## 3

В доме Журбиных всегда было шумно, всегда было людно, всегда тут по вечерам бывали гости. Множество нитей связывало семью с жизнью завода и поселка, и кого только эти нити не приводили на Якорную, 19! Об Илье Матвеевиче говорить нечего: к нему являлись инженеры, мастера, бригадиры: не хватило времени днем договориться о чем-либо, договаривались вечером; нередко при этом по столу раскидывали видавшие виды листы «синек», заводили спор, дело доходило до крика, до грохота кулаками в столешницу.

Бывало и так, что никаких «синек», никаких споров. Дружно налаживали снасти — удочки, переметы, сачки — и отправлялись в ночь на рыбалку.

С иными интересами в дом Журбиных приходили гости старшего сына — Виктора. Они говорили об электрических фуганках, о сушке дерева токами высокой частоты, о каких-то мгновенно высыхающих красках и лаках.

Костины друзья таскали на себе неимоверные тяжести — пуды парусины, толстенные мачты, металлические кили яхт. Это были заводские яхтсмены, любители

парусного спорта, которым увлекался Костя. Костя еще занимался и велосипедным спортом, поэтому на плечах у тех, кто его, бывало, окликал с улицы через забор палисадника, Агафья Карповна, выглянув в окно или выйдя на крыльцо, могла видеть рамы, согнутые восьмерками ободья колес, рули, покрышки.

К Алексею забегали торопливые парни; быстро о чем-то сговаривались, не рассиживаясь, тотчас уходили. После их ухода Агафья Карповна могла найти под подушкой у младшего сына пугавшие ее огромные, с ее точки зрения уродливые, перчатки для бокса, или, как она называла, мордобойные рукавицы; под кроватью — какие-то тяжеленные ботинки на железных шипах, деревянные гранаты, диски, чугунные ядра, тугие связки изрядно подержанных книг, о которых Илья Матвеевич говорил: «Опять сыщицкие приключения!» А Алексей злился: «Не сыщицкие приключения, а Джек Лондон», или: «Брет Гарт».— «Ну, вот я и говорю: бред, бред».

Даже к деду Матвею ходили люди. То корреспонденты газет или журналов — порасспросить о прошлом, давно минувшем, то какие-то монтеры — справиться: не помнит ли он, Матвей Дорофеевич, где в тысяча девятьсот двадцать восьмом году проложили параллельный кабель электропередачи к турбинной мастерской? Дескать, схема затерялась. То еще кто-нибудь.

Чего только не наслушается Агафья Карповна за вечер, каких только не почерпнет сведений! Пожалуй, ничего неизвестного ей на заводе уже и не было. Не было неизвестного для нее и в поселке, и даже в городе. Потому что, кроме мужчин, в дом заходили Дуняшкины подруги, Тонины девчонки; а соседок сколько!..

Еще более людно, еще шумнее сделалось с приездом Антона. К Антону — повидать его, поговорить с ним, разузнать у него новости, касающиеся предстоящей реконструкции завода,— шли не только все его старые приятели, шли даже те, кто с ним когда-то был едва знаком. При открытом, общительном характере Антона дом Журбиных в эти дни превратился в настоящий клуб.

Илья Матвеевич необыкновенно гордился тем вниманием, какое привлекал к себе его сын. «Не ошибся я в тебе, не ошибся, Антоша,— раздумывал он, слушая, как Антон объяснял кому-нибудь новые принципы организации производства в судостроении.— Молодец!» Антон нравился Илье Матвеевичу своей целеустремленностью,

настойчивостью. В ту пору, когда он был бригадиром на заводе, его бригаду называли «нервной» — так и говорили: «Нервная бригада». Получив задание, Антонова бригада сравнительно долго занималась подготовительными операциями, ее тем временем обгоняли другие судосборщики. Но затем наступал резкий перелом, работа шла в таком стремительном темпе, что часто не хватало материалов, стали, готовых конструкций. Антон, как и он, Илья Матвеевич, в таких случаях отправлялся в корпусообрабатывающую мастерскую и строго требовал дать ему эти материалы. В итоге бригада оказывалась впереди.

До того как Антон стал бригадиром, Илья Матвеевич считал его легкомысленным парнем. Ну что такое в самом деле! — только и думает о футболе, о клубных спектаклях, стишки печатает в городской газете. Назначили бригадиром — переменился. Потому, видимо, переменился, что бригадирство пришло к нему очень рано, в девятнадцать лет, и ошеломило ответственностью, множеством непривычных забот и обязанностей. Самолюбие не позволяло быть хуже других бригадиров, а чтобы не быть хуже их — хочешь не хочешь, отложи стишки в сторону.

Уйдя на фронт, в первые же месяцы войны, в боях под Москвой, он потерял ногу. После госпиталя вернулся домой и крепко загрустил. С протезом не полезешь в тесные отсеки, не спрыгнешь, как бывало, с одной палубы на другую сквозь узкий люк, не пройдешь по обледенелым лесам. Долго тогда думали, как быть, долго совещались, и семейный совет порешил в конце концов: учиться Антону, и если уж учиться, то непременно на инженера.

Все силы вложил Антон в ученье. Вечером он посещал школу взрослых, днем учителя приходили к нему на дом. Через полтора года Антон выдержал экзамен на аттестат зрелости и уехал в Ленинград, где поступил в кораблестроительный институт.

В институте учился легко: знал практику судостроения, и это сочетание практических знаний с теоретическими, чего не было у большинства других студентов, закономерно привело к тому, что после защиты дипломного проекта молодого инженера взяли на работу в научно-исследовательский институт, и вот он теперь — один из ведущих технологов судостроения. Как отцу не гордиться таким сыном!

Антон был веселый, жизнерадостный человек. Все домашние не отходили от него, когда он начинал о чем-

нибудь рассказывать; даже Тоня, которую Антон в шутку называл тезкой, забывала свои дела, слушая Антона, хотя далеко не все, о чем он рассказывал, было ей понятно. Она позабыла даже об Игоре, которого в день приезда Антона пригласила в гости на Якорную.

И вдруг Игорь пришел. Он пришел в следующее воскресенье.

День был жаркий и душный. Ласточки носились над самой землей, пронзительный писк их врывался в распахнутые окна, и Агафья Карповна еще утром сказала, что быть грозе и не ходил бы, мол, дед к Василию и сидели бы все дома. Но дед Матвей не послушался. Ушел и Виктор — в клуб, на слет стахановцев, и Алексей ушел — неизвестно куда; и Костя с Дуняшкой, захватив своего первенца, отправились в дюны.

Тоня хотела пойти с ними, но ее задержала Лида и увела в беседку, давным-давно сколоченную Ильей Матвеевичем из реек и такую обветшалую, что, казалось, не обвивай ее так густо дикий виноград, она неминуемо завалилась бы набок. В беседке было таинственно и прохладно. Сквозь узорчатые листья винограда виднелось окно, из которого выплывали клубы табачного дыма. Там, в общей семейной столовой, сидели Илья Матвеевич, Александр Александрович и Антон. Дымили они над какими-то расчетами и чертежами.

Водя по лицу кончиком переброшенной на грудь великолепной косы, Лида говорила:

— Счастливая ты, Тонечка. У тебя молодость. А что у меня? Ничего. Мне скоро тридцать. Пойми: тридцать! И вот сижу, сижу и сижу. Чего-то жду — а чего? Сама не знаю... Виктор мой... ну что о нем говорить! Мне кажется, любая доска для него интересней, чем я. Он живет этими досками и бревнами, он пропах стружками и клеем и ничего больше вокруг себя не замечает. Все считают меня ненормальной, а мне думается, он ненормальный. Ну подумай только! Вскочит среди ночи, лампу зажжет и что-то рисует. Посмотришь утром — какие-то колеса с зубьями. Зачем они? Он же столяр. И мало ему дня, вечера,— нет, и ночью его не чувствую, не вижу. Чужой, посторонний, неласковый. Соломенная вдова я, Тонечка. Не может, не может так жить человек! Что мне делать, скажи хоть ты? — Лида крепко сжала запястье Тониной руки, зашептала ей прямо в лицо: — Ну что,

что? До беды ведь дойдешь. За мной один человек ухаживает...

— Тетя Лида! Зачем вы это говорите? — Тоня отшатнулась от нее.— Что́ вы говорите?

Ей стало страшно. Она рванулась, убежала бы, но Лида снова усадила ее рядом с собой на скамью.

— У вас меня не любят...— Она усмехнулась.— Вот я говорю «у вас», а ведь двенадцать лет прожила в семье.

— Тетечка Лидочка! Пошли бы вы работать в какой-нибудь цех. В поликлинике скучно. Идите на завод. Там народу сколько...

— Завод! Провались он, весь этот завод! Для вас, Журбиных, только завод и существует.

— Тоня-а!..— протяжно позвала с крыльца Агафья Карповна.

Известно, что ни за чем хорошим родители своих детей не зовут. В магазин сходи, и непременно за хлебом и за керосином сразу, или к соседям отправляйся — проси какой-нибудь противень или щепотку перцу взаймы. На этот раз Тоня готова была идти куда угодно, только бы не оставаться дольше с Лидой.

— Я здесь, мамочка! — откликнулась она, выбегая из беседки.

— Здесь, здесь, а кавалер дожидается чуть ли не полчаса.

Возле крыльца стоял Игорь. Нисколько не смущенный тем, что его назвали кавалером, он пошел Тоне навстречу, пожал ей руку и сказал:

— Совсем не полчаса. Тридцать секунд.

Тоня в душе ликовала, и не только в душе, лицо ее и глаза не могли скрыть радости оттого, что Игорь пришел. Она и не пыталась ничего скрывать. Ей, воспитанной Алексеем в «мужском духе», была чужда игра в «барышню». О Лиде Тоня уже позабыла.

— Игорь, вот хорошо! Мы сейчас пойдем гулять. Пойдем в дюны, к бухте...

— Какие дюны? Гляди, что творится! — Агафья Карповна указала на небо.

В небе, сплетаясь в косы, неслись клочья туч; за воротами взметывалась пыль и катилась клубами к заводу; ветер гнул тополя, повсюду шумели листья, на крыльцо упали большие, с брызгами, капли дождя. Пока Тоня растерянно разглядывала небо, дождь ударил потоком, и хлестнула, ломаясь и рокоча, длинная молния.

Вбежали в дом. Тоня повела Игоря в свою комнатку. Проходя через столовую, Игорь поздоровался. К нему обернулся только Александр Александрович.

— А?..— Старый мастер посмотрел недоуменно, поверх очков, да так и не понял, в чем тут дело и чего от них хочет черноглазый молодой человек.

Тонина комната была тесная, узкая — боковушка рядом со столовой. В нее доносилось каждое слово, сказанное Ильей Матвеевичем, Александром Александровичем или Антоном. Игорь и Тоня говорили шепотом, сдерживали смех.

— Мне у вас нравится,— сказал Игорь, разглядывая на стене фотографии Тониных подруг.

— Ну и живи у нас, если нравится.— Тоня не заметила, как стала ему говорить «ты».

— Да, живи! Шутки шутками: ни отцу, ни маме еще не известно, что я на заводе работаю. Они думают: с товарищами к экзаменам в институт готовлюсь. Хотя уже начинают подозревать что-то неладное. Очень рано встаю. И потом так: я в цехе переодеваюсь, конечно, моюсь-моюсь — все равно от меня железом пахнет. Мама спрашивает: почему это? Духами, что ли, начать прыскаться?

— Духами? — Тоня выбежала из комнаты и принесла с комода коробку, подаренную Алексеем. Она еще ни разу не открывала плоских, перевязанных ленточками флаконов.— Вот духи, хочешь?

Игорь с видом знатока понюхал пробки флаконов:

— Хорошие духи. Подарок?

— Подарок.

— Ну и дурак.

— Кто дурак? — Тоня так и застыла посреди комнаты.

— Тот, кто такие подарки дарит. Настоящий мужчина подобной чепухой заниматься не будет. Я бы...

— Игорь, знаешь... В общем, ладно... За такие слова, в общем, дерутся. А я просто скажу тебе словечко, и ты сам себя побьешь. Мне это подарил брат, Алеша, тот самый, о котором ты читал на доске Почета.

Игорь смутился.

— Извините,— сказал он, в замешательстве вновь обращаясь к Тоне на «вы».

В комнате стемнело. Белый свет молний вспыхивал внезапно, и тогда на стеклах закрытого окна были видны

струистые водяные полосы. Дом вздрагивал от раскатов грома. Игорь и Тоня притихли.

— Мы ведь ка́к с Александром Александровичем думаем,— говорил в столовой Илья Матвеевич.— Мы думаем, как бы поскорее, подешевле да точнее сделать. Вот и предполагаем — корпусная мастерская такой совет дает — поджать снизу и через оба листа сверлами... Как смотришь?

— Это, по-вашему, будет поскорее и подешевле?

Игорь с Тоней не видели лица Антона, но он так сказал «поскорее и подешевле», что они почувствовали: смеется.

— Это каменный век, товарищи начальники и мастера! — продолжал он.— Надо положение отверстий с одного листа перенести на другой с помощью точного математического расчета.

— Так ведь допустимый предел ошибки...— заговорил Илья Матвеевич.

— Доли миллиметра?

— Крохотные доли. И главное — выяснится, ошиблись мы или нет, только когда лист будет обработан и все отверстия рассверлены.

Игорь прислушивался. Он узнал из дальнейшего разговора, что корабль, который строился на стапеле Ильи Матвеевича, по первоначальному проекту был предназначен для грузового плавания в северных широтах. Среди зимы, когда основные узлы корпуса уже были собраны, министерство потребовало изменить конструкцию корабля, сделать ее более прочной.

Конструкторское решение нашли: одним из его элементов была дополнительная обшивка. Но сборщики стали в тупик — как эту обшивку осуществить? Рассверлить в корпусе уже поставленные заклепки, — конечно, пустяк. Взял электрическое сверло и рассверливай. А дальше? Как сделать, чтобы эти отверстия совпали с отверстиями в новых листах? Корпусная мастерская, как Илья Матвеевич и рассказал Антону, предлагала поджать дополнительные листы к днищу и сверлить сразу через два листа изнутри корпуса. Так бы, наверно, и сделали, да Илья Матвеевич засомневался: не долгая ли это будет песня, и решил посоветоваться с Антоном.

— Лист корабельной стали, Антоша,— говорил он,— дорогая штука. В копеечку обойдется твой эксперимент в случае неудачи. Лучше уж делать, как корпусная

мастерская советует: сверлить изнутри. Точность — куда тебе! Отверстия, старые и новые, факт, совпадут. Сболчивай, вставляй заклепки и клепай.

— Да ведь стыдно так работать в наше время! — убеждал Антон. — Сверловщик там, в междудонном пространстве, где высоты менее метра да продольных, поперечных пересечений сколько, — в крюк согнуться должен. Предположим, наши ребята и на это пойдут. Но мы-то, руководители, на такие дедовские приемы идти не имеем права.

— Работа кропотливая, согласен. Зато безошибочная,— продолжал свое Илья Матвеевич.

— Безошибочная! На что безошибочней летать на аэроплане днем: землю видно, не собьешься. А вот надо, так летают и ночью. Если одних безошибочных, как ты говоришь, способов держаться, далеко мы не уедем, отец.

— Хорошо,— согласился Илья Матвеевич зло.— Я безошибочных способов не держусь. Берешься сделать расчеты — делай!

— Значит, так,— заговорил Антон, шурша карандашом по бумаге.— Имеем точку на плоскости... Ее надо перенести на другую плоскость, с тем чтобы...

— Не спеши,— остановил его Илья Матвеевич.— Во-первых, плоскости нет, лист с погибью...

— Вот это задача! — прошептал Игорь Тоне, которая вместе с ним прислушивалась к разговору в столовой.

— А ты говоришь: схоластика! — тоже шепотом ответила Тоня.

Они снова начали спор о том, правильно или неправильно поступил Игорь, бросив учебу. Неожиданно, испугав обоих, в комнату вошла Лида. Она так промокла, что платье прилипло и тело просвечивало сквозь тонкую летнюю ткань.

— Зря ты убежала,— сказала она Тоне.— До чего дождик хороший! — Она повернулась и вышла, оставив на полу мокрые следы.

— Кто это? — спросил Игорь.

— Жена старшего брата.

— Красивая.

— Да. Была еще красивей.— Тоня сняла с полочки альбом в синем бархате и раскрыла на середине. Лида в купальном костюме стоит среди дюн под соснами,

стройная, на плече маленький пестрый зонтик. Возле нее копает лопаткой песок девочка в полосатых трусиках.— А это я,— указала на девочку Тоня.— Тогда мне было шесть лет, все говорили, что я тоже буду красивой. Ничего не получилось.

— Да? — Игорь взглянул на ее лицо в веснушках, на мальчишеский, опаленный солнцем нос и улыбнулся.

Тоня захлопнула альбом. Улыбка Игоря ее обидела, она даже не могла понять почему. Она подошла к окошку, распахнула его. Комнату заполнил запах свежей земли и вымытых тополей. Небо как бы устало от грозового напряжения, дождь падал медленно, затихая с каждой минутой.

В палисаднике смеялась Дуняшка. Она босиком, держа туфли в руках, бежала от калитки к крыльцу. За ней шумно шлепал по лужам сандалиями Костя. Он нес Сашку, завернутого с головой в пиджак!

— Шальные! Ребенка хотите застудить! — заворчала Агафья Карповна, встречая их на крыльце.

Потом какие-то слова о здоровье внука сказал и Илья Матвеевич, но Тоне казалось, что отец недоволен совсем не Сашкиным купаньем: наверно, расчеты с отверстиями так и не удались. Она сказала об этом Игорю.

Игоря пригласили обедать. За столом Антон все время спорил со стариками, к их спорам присоединился и Костя. Дуняшка была занята ребенком, который лежал у нее на коленях и мешал ей есть. С Игорем заговаривали только Агафья Карповна да изредка Лида. Он им вежливо отвечал, но большей частью невпопад, потому что продолжал прислушиваться к разговорам мужчин.

Тоня молчала. Она не пошла провожать Игоря до троллейбуса, сказав, что на улице мокро. В самом деле, лужи во дворе были громадные.

Тоня вернулась к себе в комнату, легла на постель и, пожалуй, впервые за последние годы, заплакала. Она ведь ждала его прихода, ждала. Он пришел... И что же, собственно, произошло? Ничего как будто бы. Ничего, если не считать непонятной улыбочки и странного, очень странного «да?». Но разве можно их не считать, эту улыбочку и это «да?». В них звучали насмешка, ирония, пренебрежение. Игорь потускнел для Тони, и ее сердце, которое все дни ожидания волновалось при каждом скрипе калитки, вдруг замерло и похолодело. Игорь стал ей неинтересен и безразличен. Она в нем ошиблась. Всякая

ошибка горька, а такая, когда ошибаешься в человеке, горька тем более.

Вечером к ней зашел Алексей и, щелкнув выключателем, зажег свет.

— Ты что это раскисла? — спросил он, заметив ее слезы.

— А ничего! — зло ответила Тоня, не подымая головы с подушки и щурясь от яркого света.— Сам знаешь — что!

Тонины чувства совершили крутой поворот. Уже не Игорь был виноват, а белобрысая глупая Катька, которая кружила голову Алексею.

— Ничего я не знаю,— ответил он удивленно.— Захворала?

— Ты захворал, а не я. Ты!

В кухне распевала Дуняшка:

Если сердцу грустно станет,
Знай, что песня тебя не обманет...

Тоня слушала пение Дуняшки, остро ненавидела Катьку и думала об Игоре.

## Глава пятая

### 1

Скобелев напрасно стращал Зину: ни терпеть его общество, ни выполнять его приказания ей не приходилось. Он появлялся в бюро только утром, выкуривал папиросу, щелкал замками стола и исчезал на весь день.

Тетя Лиза, уборщица, сказала однажды Зине:

— Шли бы гулять, барышня. Что тут сидеть в сырости да в потемках!

— Я работать приехала, а не гулять, — ответила Зина, перелистывая только что принесенные с почты журналы.

— Оно верно, — тетя Лиза стояла перед Зиной, опираясь на швабру,— работать надо. Да без начальства какая работа! Мучаетесь, гляжу на вас. Начальство ваше, Евсей Константинович, тот обожает жизнь вольную. И в буфете

попрохлаждается, и в поликлинике потрется — глазки регистраторше строит...

Как ни мрачно было на душе у Зины, она чуть не рассмеялась: возможно ли — Скобелев строит кому-то свои рыбьи глазки!..

— А больше всего,— продолжала тетя Лиза,— сидит Евсей Константинович с заведующим клубом, с Вениамином Семеновичем, да ногой качает. Уж до чего не терплю я эту привычку! Качает, значит... и тот качает... Оба качают. Мы народ вроде и маленький, незаметный — обслуживающий персонал. Нас в расчет не берут. А мы все видим, все понимаем, каждому свою цену даем. Идите, говорю, гуляйте, пока молодая. Будет время, еще наработаетесь, жизнь впереди.

Совет тети Лизы никак не вязался со словами директора о том, что она, Зинаида Павловна Иванова, должна стать катализатором в бюро технической информации.

Катализатор из нее не вышел и не мог выйти по причине крайней малочисленности штата бюро: Скобелев да она, Зина. Первые дни Зина просто не знала, за что взяться, с чего начинать; ее тянуло прочь из сумрачной комнаты, туда, к стапелям. Скобелев если и давал какие-нибудь поручения, то самые пустяковые: отнести в цех новую брошюрку, сходить на почту, подклеить в альбом вырезки из газет и журналов. Зина готова была сложить чемодан и бежать с завода, где ее так скверно приняли. Она пошла к директору, чтобы высказать ему все-все, что у нее накопилось на душе. Но директор не принял, у него шло совещание, а после совещания он сразу же уехал в областной комитет партии. Проходя мимо Зины, которая упрямо дожидалась его в приемной, он на нее не взглянул,— кажется, даже и не узнал, отмахнулся: занят, занят, завтра прошу.

Зина поняла, что и завтра и послезавтра ею заниматься никто не будет, у всех свое дело, свои заботы; ей тоже определили дело, о котором отныне она должна заботиться, и с нее за это дело потребуют ответа, когда придет час. Вот так всегда. Поручают что-нибудь трудное человеку, говорят бодрые слова: поможем, не оставим, а потом оказывается — и не помогли, и оставили, и забыли,— поступай как знаешь, отвечай как умеешь.

Ее удивляло, почему никто и никогда не приходит в бюро и не требует никаких справок. Для чего тогда все альбомы, щиты, диаграммы? Нужны ли они вообще, соот-

ветствуют ли уровню техники, существующему на заводе, отвечают ли техническим запросам инженеров и рабочих?

Зина предприняла поход по цехам, чтобы выяснить, в какой информации там нуждаются. «Подумать надо,— нехотя отвечали ей начальники, инженеры, мастера.— С кондачка не скажешь». Зина чувствовала, что дело не в кондачке,— просто люди не верят в силы и возможности бюро, не видят от него пользы, а многие о нем и вовсе не знают. Когда она, решив проверить это предположение, спрашивала у случайно встреченных рабочих, как ей найти свое бюро, четверо или пятеро недоуменно пожали плечами и только один ответил: «За точность не ручаюсь. Кажется, оно в главном здании».

Можно ли с этим мириться! Зина составила и разослала во все цехи, мастерские и отделы анкету. Что вам надо, товарищи? Обращайтесь, требуйте,— почти умоляла она. И литературу подберем, и любой институт запросим, и даже в командировку куда угодно пошлем.

Но и на анкету никто не отозвался.

— Знаете, товарищ Скобелев,— сказала однажды Зина своему начальнику,— наше бюро надо закрывать!

— Закрывайте,— ответил Скобелев безразличным тоном, надел кепку и пошел к дверям, чтобы по обыкновению исчезнуть на весь день.

Но Зина загородила дорогу. Скобелев почтительно приподнял кепку:

— К вашим услугам, Зинаида Павловна.

— Никаких услуг мне не надо! Вы обязаны работать, а не разгуливать неизвестно где!

— Видите ли,— с наигранной дружеской проникновенностью заговорил он.— Если верить уборщицам, то я, конечно, разгуливаю. Если же смотреть правде в глаза, то я не разгуливаю, а тяну лямку. Будем откровенны. Лет семь назад я, подобно вам, приехал сюда с намерением работать как лев. Но меня, как и вас, послали не в цех, где я мог бы стать и мастером, и сменным инженером, а посадили в контору, потом запихнули вот в это бюро. Тоже, знаете, составлял и рассылал анкетки. Но вовремя понял, что всяк сюда входящий оставь надежды. И я оставил все надежды, кроме одной — дождаться, когда начальство сообразит закрыть нашу лавочку за ненадобностью, и тогда я получу работу согласно моему диплому: механизатора сборочных работ. Вопросы имеются?

— Да, имеются. Вы говорили об этом директору, сообщили ему мнение о бюро?

— С директором, допустим, я не на слишком короткой ноге. Но многие другие мое мнение знают.

— Заведующий клубом, например...

Скобелев снова приподнял кепку и, обогнув Зину, направился к выходу. Прикрывая за собой дверь, он обернулся:

— Прошу и впредь консультироваться только с тетей Лизой. Надежнейший источник информации.

Зина вновь ощутила острое желание отправиться к директору, влететь в его кабинет и во что бы то ни стало отделаться от своей бездарной деятельности, вернее — бездеятельности в бюро. Но она была упрямая, это желание уступило в ней новому, еще более сильному желанию: «доказать» Скобелеву. Чтó доказать — там будет видно, главное — доказать.

К ее радости, в комнате появился посетитель, первый за бесконечно долгие десять дней.

— Понимаете, какое дело,— заговорил он, присаживаясь к столу. Посетитель был сильный, большой; стул под ним скрипнул. На плечах его куртки, в волосах, на ботинках, за отворотами брюк — всюду Зина видела опилки.

— Мне бы с вашим начальником потолковать.

— Заведующего сейчас нет. Но я тоже инженер. Пожалуйста, слушаю вас.

— Инженер? — Он почесал пальцем переносье, и Зина в этом жесте прочла обидное недоверие к ней, к ее возрасту, к ее инженерному диплому. Она разволновалась, уронила со стола какую-то бумажку, стала подымать,— непонятные силы притягивали бумажку к полу, будто магнитом, под ноготь воткнулась заноза. Зина потянула палец в рот, как того требовал детский опыт; было нестерпимо обидно: первый, единственный посетитель, и такой неуклюжий прием!

Но посетитель улыбнулся, поднял бумажку.

— Ну-ка покажите, что у вас там? — сказал он, взяв Зинину руку в свои крепкие пальцы. — Не беда, сейчас вытащим.

За отворотом его куртки нашлась булавка, он прокалил ее на спичке, и заноза была извлечена.

— Познакомились, значит.— Посетитель снова улыбнулся.— Журбин.

— Журбин! Сколько же на заводе Журбиных? Я здесь недавно, но уже знаю начальника стапельного участка Журбина, знаю клепальщика Журбина...

— Еще многих узнаете. Сейчас перед вами столяр Журбин, модельщик. Мы получили вашу бумажку. И вот я пришел. Нуждаюсь в книгах по малой механизации столярных работ. Но книги — что́... Хочется иметь полный обзор этого дела. Скажу вам прямо — появилась у меня идейка... Сейчас объясню. О столярных работах представление имеете? Слабое? Ничего, поймете. Столярное ремесло все равно что гончарное,— не совру, если скажу: самое древнее ремесло. У наших столяров вы и сейчас увидите инструмент ну точь-в-точь такой, каким еще Петр Первый мастерил. Рубанки, рейсмусы, долота, стамески, лучковые пилы... Движение, понятно, есть. Рубанки стали электрические, с мотором. Циркульные пилы — тоже с мотором. Если по отдельным операциям работать, то многие из них механизировать не так и трудно. Но модельщик по операциям не работает, он мастерит иной раз такие сложные финтифлюги, что и во сне не увидишь. Тут он должен подпилить, тут подстрогать, тут выдолбить, отшлифовать. Вручную — кропотливо, долго и дорого. Вот я и хочу построить такой станочек, на котором бы можно было выполнять все, какие только существуют, столярные операции. Идея есть, конструкция понемножку складывается. Нужен обзор достижений во всесоюзном масштабе, чтобы снова не изобрести самовар или велосипед.

Зина слушала с напряженным вниманием. Всей душой она желала помочь этому человеку. Помощь ему будет для нее вступлением в заводскую жизнь.

— А давно у вас появилась эта идея? — спросила она.

— Как сказать? Вертится в голове очень давно, с тех примерно пор, когда начали работать электроинструментом. Объединить бы, мол, все это в единый агрегат... Но вплотную берусь только теперь. Прижало нас. Завалили модельную заказами. Не справляемся. Ничего официально не сказано, а моделей понадобилось — как бывает, когда новый тип корабля запускается в производство. И все — давай, давай, срочно, побыстрей. Я-то понимаю, в чем тут штука. Братишка приехал, рассказал. Интересные задуманы дела.

Зина пообещала сделать все, что только возможно, и в тот же день написала десятка три писем: во Всесоюзное общество по распространению политических и научных

знаний, в Дома техники различных городов, директорам известных ей крупных заводов, в институты, в конструкторские бюро. На следующий день она листала книги, журналы, информационные бюллетени, по страничкам, по строчкам собирая все, что как-либо касалось механизации столярных работ.

Она тоже понимала, почему модельную завалили заказами. Уже давно среди инженерно-технических работников ходил слух о предстоящей реконструкции цехов, о переходе на крупносекционную сборку, о том, что для завода на Ладе разработан новый тип корабля, а если новый тип корабля, то, конечно, нужны для него и новые модели.

Зину эти слухи очень волновали. Такие предстоят интересные события! Неужели же ей суждено стоять в стороне от них? С крупносекционной сборкой она была знакома главным образом по учебникам, практически видела ее только на одном из новых заводов страны. На старых заводах территориальная теснота ограничивала размеры секций, собираемых предварительно; перед старыми заводами возникали десятки серьезнейших проблем, не разрешив которые невозможно было перейти к новым методам постройки кораблей. И вот здесь начинается большая работа по разрешению подобных проблем. Какая бы это была великолепная школа для нее, для Зины! Неправильно относятся к молодым кадрам, неправильно! Никто не желает им помогать.

Ну ладно, пусть не хотят помочь ей, зато она во что бы то ни стало поможет модельщику Журбину, она приложит для этого все силы.

Вскоре Зина начала получать ответы на свои письма, к письмам прилагались инструкции, отпечатанные на машинках и стеклографах, копии заявок заводских изобретателей, объемистые тома и тонкие брошюрки местных изданий, «стахановские листки» — накапливалась литература, необходимая Виктору Ильичу, как Зина уже называла нового знакомого. С каждым полученным письмом она немедленно спешила в модельную.

— Толково, толково,— говорил Виктор, прочитывая добытые ею материалы. — Думаю, не промахнемся мы с вами, Зинаида Павловна, велосипед не изобретем.

Это «мы с вами» было для Зины дороже всяких наград и благодарностей. Беспокойная, стремительная по натуре, увлекающаяся, она развила такую деятельность, что этой

деятельностью заинтересовался даже Скобелев. В одно прекрасное утро, выкурив непременную папиросу, он не ушел, как обычно, из бюро, а остался за своим столом и долго перебирал бумаги в толстой папке, на которой острым Зининым почерком было написано: «Для В. И. Журбина».

— Вот чем надо бы мне заниматься! — сказал он. — Рационализацией, изобретениями... живым делом. А я гнию здесь с вами.

В очередном номере заводской многотиражки Зина прочла его заметку о том, как бюро технической информации помогает стахановцам и новаторам; приводился пример с Виктором Журбиным, для которого работники бюро собирают материалы со всех концов Советского Союза.

Поступок Скобелева Зину возмутил. Она побежала с газетой к Виктору:

— Вы только взгляните, Виктор Ильич, какой нахал этот человек! Ведь пальцем о палец не ударил, а пишет!

Но Виктор, не зная сути разногласий между Зиной и Скобелевым, посмотрел на заметку с другой стороны.

— Плохо, когда звонят раньше времени, — сказал он.— Может, еще ничего у нас и не выйдет. В дураках окажемся.

Как ни странно это было для Зины, после опубликования заметки Скобелева к ней в бюро пришло еще несколько рабочих. Одному понадобились последние данные о резцах с отрицательными углами заточки, другому — о насадке турбинных лопаток; третий просто так забрел, посмотреть, что́ за бюро появилось на заводе. Прислал с курьером записку главный технолог. Просил подобрать ему материалы об электросварке. Тогда расхрабрилась и Зина. Она два дня сочиняла пространную статью о том, как ей мыслится работа по технической информации, обо всем, что помогло бы этой работе и что ей мешает. Она не пощадила Скобелева, упомянула и дирекцию, которая создала бюро, да и позабыла о нем.

Зина очень удивилась, когда статья была напечатана. Удивилась искусству, с каким работники редакции, сократив статью в добрых пять раз, сумели оставить в ней все главное, о чем хотела сказать Зина.

Ее вызвал директор, Иван Степанович. Она была уверена, что получит от него нагоняй за критику, нисколько

этого не испугалась и приготовилась не к обороне, а к нападению.

Но Иван Степанович принял Зину, как и прежде, приветливо, поднялся ей навстречу, усадил и только тогда сел сам. В его кабинете, оказывается, уже был и Скобелев, которого тоже вызвали.

— Поговорим, товарищи, чего же вы хотите от директора? — Иван Степанович раскуривал трубку.— Кстати, Зинаида Павловна, разве я вам обещал помогать? Так, кажется, здесь написано? — Он склонился над развернутой газетой.— Да, именно: «обещал помощь и поддержку»... Когда же это было?

— Вы обязаны оказывать помощь и поддержку без всяких обещаний! — смело ответила Зина.

— Согласен. Так бы прямо и сказали. Зачем же давать вещам косые повороты.

— Для остроты,— резонерски вставил Скобелев.

— Остроты достаточно уже в том, что дирекция и в самом деле предала ваше бюро забвению. Какой у вас штат?

— Весь перед вами,— заговорил Скобелев,— причем работает одна Зинаида Павловна, а я напрасно занимаю место. Начальник — синекура.

Иван Степанович даже с кресла привстал, так его поразил ответ Скобелева. Зина вовсе окаменела,— ни разу в жизни она не слыхивала подобной самокритики.

— Что же вас сделало синекурой? — спросил после удивленного молчания Иван Степанович.

— Ваше равнодушие, товарищ директор. Когда-то и я восседал в том самом кресле, где сидит сейчас Зинаида Павловна, и вы мне говорили, что больше, чем инженер-механизатор, заводу нужен инженер в бюро технической информации.

— Предположим.

— Ну, человек согласился под нажимом, пошел туда, в бюро, о нем забыли, он и закис там. Мертвое дело!

— Не дело — душа у вас мертвая. Почему Зинаида Павловна работает, а вам не интересно?

— Не хочу.

— Захотите. Заставим захотеть! Будете работать!..— Иван Степанович начинал повышать голос.— А не будете, придется расстаться!

— Сделайте одолжение!

Возможно, Иван Степанович подумал, что перед ним человек не совсем вменяемый. Он сказал не менее спокойно, чем Скобелев, но обращаясь только к Зине:

— Будем считать, Зинаида Павловна, инцидент между дирекцией и бюро технической информации исчерпанным. Действуйте смелей, громите все и вся, мешающее вам в работе, не стесняйтесь. Евсея Константиновича возьмите в оборот покрепче. Его такое... как бы это выразиться... несколько приподнятое состояние, думаю, скоро пройдет. А помощь и поддержка... Полно вам, Зинаида Павловна! Это мы, мы нуждаемся в вашей помощи.

Зина и Скобелев вышли на Морской проспект, который перед войной был заасфальтирован, обсажен вдоль тротуаров липами; липы выросли, разветвились и бросали на тротуары густую тень.

Скобелев держался тени и, засунув руки в карманы пиджака, насвистывал что-то лирическое. Он вел себя так странно и непривычно, что Зина подумала: не пьян ли ее начальник?

Нет, Зинин начальник не был пьян, он вообще не пил и не любил компаний, где непременно надо пить. Собственная натура привела Скобелева в состояние, удивившее Ивана Степановича и Зину.

Встречаются — и нередко — люди инертные, вялые, у которых нет ни определенных целей в жизни, ни твердой воли. Они, эти люди, чаще всего существуют середнячками-обывателями, мирятся с таким существованием, привыкают к нему. Но вот приходит активная сила, решительно встряхивает их, и тогда они способны проявить себя с самой неожиданной стороны, порой с очень положительной.

К таким натурам припадлежала и натура Скобелева. Силой, которая нарушила его привычное существование, явилась Зина. Скобелев, конечно, этого не сознавал, об этом не думал, получилось все само собой, стихийно. Он и Зина оказались, в сущности, в совершенно одинаковом положении. Но почему-то она, девчонка, не примирилась с атмосферой бездеятельности, установившейся в бюро, а он примирился. Вот что день за днем подтачивало устои его философии выжидания лучших времен. Окончательно же Скобелев взорвался, когда увидел, с каким достоинством, с какой независимостью Зина села в кресло возле директорского стола против него, Скобелева, изрядно перепуганного неожиданным вызовом.

Но его бесшабашная храбрость в разговоре с Иваном Степановичем была храбростью минутной. Когда они возвратились в свое бюро, Скобелев был так бледен, что Зина невольно предложила ему воды, налив в стакан из графина.

— Вам худо, Евсей Константинович?

— Очень.

## 2

— А вдруг не сойдутся все эти детали? Вдруг мы напутали?

Зина отбросила лекало и карандаш, распрямила спину. Три часа непрерывной работы над чертежной доской! Ничего более нудного, чем черчение, придумать было невозможно. С черчением соперничало только вышивание платочков, которым в детском доме увлекались Зинины подруги. Прежде Зина никогда не взялась бы за подобную работу добровольно.

— Почему же не сойдутся?

Виктор четвертый вечер подряд простаивал возле стола на ногах. По-ребячьи прикусив кончик языка, он сопровождал взглядом каждое движение Зининого карандаша. Чертежи получались строгие, ясные, ничего лишнего — совсем как те, которые ему приносят конструкторы.

— Должны сойтись. На модели подгоним в случае чего. Мы ее сначала всю из дерева изготовим.

В отдалении, на мягком диванчике, сидела Лида. Она то снимала с длинного тонкого пальца старинное колечко с голубым камнем — свадебный подарок тетки, то вновь надевала его и молчаливо завидовала худенькой девушке, которую Виктор привел в их дом. С какой готовностью он предупреждает каждое ее движение! Тряпочку — вытереть рейсфедер — яростно рвет носовые платки; воды надо — спешит на кухню, несет целый кувшин; уронит сероглазая линейку, сдвинув ее локтем со стола, или резинку — на лету подхватывает. Витенька, так же заботливо ты относился к другой девушке, когда ей было шестнадцать. Ты на руках ее носил. Вспомнить те времена — сердце замирает.

Почему же все с годами переменилось? Что же такое произошло? Неужели только то, что ей, Лидии, стало тридцать, а не шестнадцать? Ведь не перегорела же твоя

душа: вон как зажегся, повстречав молодую. Карандашики, линеечки... И с той, шестнадцатилетней, ты начал с пустяков: помог через канавку перескочить. Не отняла вовремя руку, оставила в твоей дольше, чем следовало,— и началось. Что ж, теряй голову, Витенька,— твое дело, твое. Насильно мил не будешь, да и кому нужны они, чувства через силу?

Знала бы Зина, какие мысли мучают жену Виктора, она, пожалуй, к Журбиным бы и не пришла. Все дело в том, что, когда настало время изложить созревшую идею на бумаге, произвести расчеты, изготовить чертежи, она и Виктор задумались, где же этим заниматься? В бюро? Там пасмурно, неуютно, да и не совсем удобно оставаться в служебном помещении после работы. У Зины? В ожидании, когда достроят новый дом, в котором ей обещали дать комнату, Зина все еще почевала в общежитии для приезжих.

И вот Виктор привел ее к себе.

В такой семье, как семья Журбиных, прожившей четверть века на одном месте, можно найти что угодно — от старинного граммофона до фотографического аппарата «ФЭД» и велосипеда с бензиновым моторчиком. Нашлись и чертежная доска, и готовальня, и набор лекал из пластмассы, и шрифтовые трафаретки.

Первый вечер ушел на знакомство, на потчеванье гостьи мучными изделиями Агафьи Карповны, на чаевничанье. За столом Зина увидела всю знаменитую семью. Она узнала деда Матвея и Дуняшку, которым удивлялась когда-то в разметочной, узнала Илью Матвеевича и припомнила ему «стрекозиху», увидела электросварщика Костю, познакомилась с гостеприимной Агафьей Карповной, с Лидой, с Тоней, с Антоном, которого в шутку здесь называли академиком; Дуняшка даже доверила ей подержать своего Александра Константиновича. Александр Константинович, покинув руки матери, оглушительно заорал, и растерявшаяся Зина чуть было его не уронила. Он, конечно, никуда не упал бы — столько рук сразу метнулось, чтобы подхватить крикуна. Но Зина, как она мысленно себе сказала, зареклась «тютюшкать» чужих младенцев.

Ее обстоятельно расспросили о родителях, об отце — паровозном машинисте, о ткачихе-матери, причем Агафья Карповна не преминула сказать, что и она в молодости работала на ткацкой фабрике; интересовались причинами

смерти родителей, жизнью в детдоме, учением в институте, планами Зины на будущее.

После чаевничанья, встав из-за стола, Агафья Карповна обняла Зину — Зина в ее глазах была сироткой, которую следовало жалеть,— поцеловала и прослезилась:

— Почаще к нам приходи. Хоть в чужой семье, а все лучше, чем одной-то. Одинокому зябко на свете.

— Не слушайте вы, товарищ инженер, бабья,— в своей манере пошутил Илья Матвеевич.— Кого хочешь растрогают тетки. Мокроглазый народ. Пошибче двигаться надо, вот и не будет зябко. В работу влезешь — не то что зябко — пар с загривка повалит.

— Слова-то, слова!..— покачала головой Агафья Карповна.— На подбор для девичьего уха.

— А уж такое дело, гражданки дорогие. Или корабли строить, или кавалерские слова изучать. Суровая профессия.

— Скажите,— спросила Зина,— а где тот ваш сын, с которым мы тогда клепали?

— В секретном отсутствии,— ответил Илья Матвеевич.— О местонахождении не докладывает.

Приступили к работе. Сначала за спинами Виктора и Зины толпилась вся семья, кроме Антона, который только первые дни после приезда сидел вечерами дома; теперь он почти не уходил с завода; потом молчаливым соглядателем при них осталась одна Лида. Она была свидетельницей всех удач, когда они чуть ли не хлопали друг друга по плечам, всех неудач, когда оба долго и бестолково говорили о невозможности смонтировать на станке ленточную пилу, о фрезе, которая будет выглядеть неуклюже, о том, как бы добиться изменения числа оборотов мотора, иначе не поставишь шкуровочное приспособление.

С этим изменением числа оборотов у них и затерло. Они уже не задумывались, сойдутся или не сойдутся теоретически рассчитанные узлы агрегата,— окончательной подгонке и в самом деле поможет модель. Но обороты, обороты... Что с ними делать? Типовой моторчик дает скорость вращения до трех тысяч оборотов в минуту, а чтобы поставить ленточную пилу и шкуровку, надо не более пятисот.

Помощь пришла от человека, от которого Зина не ожидала вообще никакой помощи. Зинин телефонный разговор с главным конструктором по поводу мотора

услышал Скобелев. После вызова к директору он если и не работал в бюро активно, то, во всяком случае, и не отказывался от работы, когда Зина, взявшая инициативу в свои руки, ему что-то поручала. Он ходил в цехи, собирал заявки на информацию, беседовал с мастерами и стахановцами, писал письма. Вяло все делал, лениво, нехотя, но что-то делал.

И вот Скобелев, выслушав ее разговор с главным конструктором, неожиданно сказал:

— Зачем, Зинаида Павловна, беспокоить такие высокие инстанции? Разве нельзя обойтись без них? Разрешили бы вы мне вникнуть в проекты Журбина. Допустим, вы считаете меня сапогом, драным валенком, галошей и так далее. Но почему не допустить, что Евсей Скобелев шесть лет отбарабанил в институте, специализировался по механизации сборочных работ и кое-какие сведения по этой части все-таки почерпнул?

— Евсей Константинович, пожалуйста! Журбин будет только рад!

Зина очень сомневалась в радостных чувствах Виктора от вмешательства Скобелева в его работу, да и сама их не испытывала, но у нее не хватило решимости ответить отказом на просьбу, высказанную таким заунывным тоном.

Скобелев появился в доме Журбиных.

С его приходом Лида покинула свою комнату. Скобелев был единственным человеком, который знал об ее отношениях с заведующим клубом Вениамином Семеновичем. Собственно, никаких особых отношений не существовало, просто раза два или три Лида ходила с Вениамином Семеновичем гулять к заливу, в дюны, да один раз случайно встретилась с ним в городе, и он пригласил ее в кино.

О чем он с ней говорил? О том, что она здесь первая женщина, с которой он так откровенен. Почему откровенен — он сам себе не может дать отчета: есть в ней что-то такое, что располагает его к откровенности. Сухощавый, подтянутый, он выглядел бы совсем молодо, если бы не очки в необыкновенной восьмигранной оправе; стоило заведующему клубом их снять, как лицо его преображалось. Он называл себя человеком «романтического склада», добавляя с усмешкой: «Хотя это, может быть, и смешно в мои годы». Его беспокойная натура помешала ему целиком отдаться искусству, которое он страстно любит, и всю

жизнь бросала его из одного конца страны в другой. Если бы он в тридцать пятом году остался в Москве! Ведь как уговаривали! Перед ним открывались широкие перспективы театральной работы, еще был жив ныне покойный Константин Сергеевич Станиславский... Не послушался, махнул на Урал — в Магнитогорск, на стройку: его влекла и влечет бурная жизнь, бурные события, он враг застоя... Еще Вениамин Семенович говорил о том, как рвался на Ладу, в самую гущу рабочей жизни, желая принести сюда свои знания, свой опыт, свое мастерство.

И в самом деле, в областной газете время от времени появлялись за его подписью рецензии на театральные постановки, а однажды даже была напечатана большая статья — о чем? — Лида читала, но позабыла.

Да, рвался, рвался... и вот снова бесперспективность, снова разочарование...

— Уйду, Лидия Ивановна, из клуба, непременно уйду. И вообще уеду отсюда. Мог бы преподавать в институтах, мог бы работать в печати. Но это же прозябание! История имеет жестокое свойство географического перемещения. В наши дни она переместилась в районы великих строек. Туда же обязан стремиться каждый энергичный, думающий человек, если он не хочет отстать от хода истории, если он не хочет остаться на ее задворках.

— Как бы мне тоже хотелось туда, на стройки! — горячо воскликнула Лида.— Говорят, что наш город очень много делает для этих строек, иди и работай, и ты, мол, будешь в них участвовать. Разве это не так?

— Отчасти, Лидия Ивановна, и так,— пожав плечами, ответил Вениамин Семенович.— Конечно, ваш город коечто для новостроек делает. Но он именно для них только делает. А там... там их строят!

— Я ведь была когда-то комсомолкой,— задумчиво сказала Лида.— Выбыла механически, состарилась. Переросток.

— Ну что вы! — возмущенно перебил Вениамин Семенович.— Вот я действительно постарел. А когда-то, когда-то...

Еще и еще рассказывал он о Магнитогорске, о Сталинградском тракторном, о Комсомольске-на-Амуре, в строительстве которых участвовал. Лида слушала не перебивая, позабыв о своей косе, коса пышным жгутом лежала у нее на груди.

— Вернутся ко мне мои крылья! — сказал в заключение Вениамин Семенович.— Сегодня я встретил человека, который поможет мне их вернуть.

Лида сидела теперь то у Дуняшки, то в столовой, то в палисаднике на любимом месте возле клумбы, вспоминала этот разговор, и у нее путалось в голове. Виктор, корабли, Вениамин Семенович, Комсомольск-на-Амуре, Волго-Донской канал... В самом деле, как это случилось, что она переросток? Неужели только ребенок помешал ей приобрести настоящую специальность? Ну, а потом, после смерти ребенка?.. Один за другим вспоминала она трудные разговоры с Виктором — и давние и недавние. Вот тогда, после смерти ребенка, она сказала Виктору, что хотела бы уехать из Старого поселка, что ей здесь тяжело: сын снится каждую ночь. Виктор и слушать не хотел, злился. Иди, говорит, на завод, приобретай специальность,— все забудешь в работе. Он-то и в самом деле забыл; а как горевал, когда мальчика похоронили,— даже почернел от горя.

Не тогда ли, не в то ли время прошел между ними первый холод? Не тогда ли возникло первое непонимание? Может быть, не старайся он так в ту пору ее, избалованную вниманием всей семьи, отправить на производство, кто знает, не была ли бы она сейчас разметчицей, вроде Дуняшки, или крановщицей, как тетка Наталья. А получилось что? Ушла в поликлинику, от обиды туда ушла. До чего же, помнится, изумились родители Виктора. Агафья Карповна, та повздыхала, повздыхала: мое, дескать, дело сторона, не могу встревать в вашу семейную жизнь, а все-таки, как вы там хотите, обидно молодую женщину видеть за таким занятием: бумажками заведует. Илья же Матвеевич прямо сказал: «Не выдержишь, Лидия, сама оттуда сбежишь».

Но она, Лидия, не сбежала. Со временем все более острым становился ее конфликт с заводом. Она упорно не желала ничего знать о заводских делах Виктора, она хотела доказать ему, что не там, не в модельной мастерской, среди досок и стружек, его счастье, а результат получился совсем противоположный. Виктор с детских лет видел, как уважительно Илья Матвеевич рассказывал по вечерам Агафье Карповне о том, что произошло у него на заводе за день. Илья Матвеевич, конечно, знал, что далеко не все в его рассказах понятно человеку, не искушенному в стапельных делах, и, конечно же, далеко не все,

о чем он рассказывал, Агафья Карповна понимала. Тем не менее он рассказывал, Агафья Карповна внимательно слушала. Они оба понимали одно — и для них это было самым главным,— что нельзя в семье делить интересы: это — твой интерес, это — мой. А Лида вот принялась делить, и чем больше она ожесточалась против увлечения Виктора его профессией, желая вернуть прежнее его внимание к ней, к Лиде, чем упорнее демонстрировала свою полнейшую незаинтересованность его заводскими делами, тем дороже эти дела становились Виктору.

Лида это видела; видела, что жизнь ее с Виктором не ладится; на беду еще и детей больше нет. Может быть, и в самом деле надо было пойти тогда на завод? А теперь?.. Куда же теперь, когда вот-вот ей тридцать стукнет. С годами она как-то свыклась со своим тусклым существованием. Вениамин Семенович растревожил ее, разворошил старое. Вот она сидела теперь в палисаднике под окном и старалась уловить, о чем там говорят Виктор и молоденькая инженерша. Но слышала только голос Скобелева.

— Да это же просто, товарищи! — восклицал Скобелев бодро.— Редуктор, редуктор! При посредстве редуктора изменим число ваших оборотов. В чем дело? Смотрите сюда...

## 3

Очень походило на то, что Скобелев увлекся работой над станком Виктора. Он являлся к Журбиным каждый вечер, с его помощью удалось найти место на станке и для фрезы, и даже для токарного приспособления. Он умел рассуждать стройно, логично, последовательно, без сумбурных, быстро сменяющихся Зининых восторгов и сомнений, без длительных раздумий Виктора. Скобелев оказался таким ценным помощником, что Зина уже готова была примириться с отрицательными чертами его характера; Виктор, который Скобелева раньше не знал, был просто от души ему благодарен.

Бывая у Журбиных, Зина подружилась с Тоней. В минуту откровенности Тоня рассказала ей со всеми подробностями об Игоре Червенкове, о его насмешливом «да?», об улыбочке.

— Тонечка! — рассмеялась Зина.— Какая же вы еще девочка! Какой вздор вы придумали!

— Вздор? — Тоня хмурилась, не разделяя Зининого веселья.— Почему же тогда он больше не приходит?

— Придет.

И в самом деле, Игорь вскоре пришел.

— Илья Матвеевич дома? — спросил он, едва было покончено с формальностями, какими Тоня облекла процедуру его знакомства с Зиной.

— Дома, но читает газету. Тш-ш!.. Он не любит, когда ему в это время мешают.

Тоня смотрела на Игоря сияющими глазами. Куда только подевались все ее сомнения, мысли о том, что Игорь стал ей безразличен и неинтересен! А он, озабоченный, деловитый, смело, несмотря на предостережение, направился в комнату, где после обеда отдыхал глава семьи.

— Илья Матвеевич,— сказал Игорь,— простите, пожалуйста, что мешаю. Я принес вам формулы расчетов.

— Каких расчетов? — Илья Матвеевич отложил газету, поднял очки на лоб.

— Помните, вы тут разговаривали о дополнительной обшивке?

— Помню.

— Ну вот, все готово, по этим формулам можно переносить места отверстий с днища на дополнительные листы.

— Покажи, покажи!

Илья Матвеевич долго рассматривал тетрадку, которую ему подал Игорь, длинные ряды алгебраических знаков и цифр, сказал:

— В математике я, конечно, слабоват. А что касается обшивки, Антон Ильич все нам рассчитал. Уже клепаем. Но, в общем, спасибо, парень. Кораблестроитель из тебя выйдет, поверь слову. Зацепило тебя за душу наше дело. С кем же ты решал эти формулы? Один или как?

— Один,— ответил Игорь упавшим голосом. Его удручало то, что он опоздал, что обошлись без него, без его помощи. А ему так хотелось помочь Илье Матвеевичу!

В этот вечер в палисаднике Журбиных было еще шумнее, чем в день рождения Сашки. Началось с того, что Зина, Тоня и Игорь затеяли игру в камешки. Игра эта испокон веков считалась девчоночьей, но ни Зина, ни Тоня не могли тягаться с Игорем. Он мог и в щелканцы, когда камешки непременно должны щелкнуть друг

о друга, и в молканцы, когда они щелкать не должны, и кучками, и россыпью,— как угодно. Круглые, гладкие, они словно сами липли к его рукам, ни один не пролетал мимо ладоней.

Отдав Сашку Агафье Карповне, присоединилась к молодым и Дуняшка. Уже смеркалось, играть в камешки стало трудно. Дуняшка предложила спеть. Игорь отнекивался, говорил, что в школе по пению у него всегда были двойки; праздник — если тройка с минусом. Но когда Дуняшка затянула да подхватили Тоня с Зиной, он тоже принялся басить — не совсем в лад. Ему прощали.

Вышел на песню дед Матвей, вынес венский стул, уселся напротив певцов, слушал. Вдруг сказал:

— Да... пела одна девка деревенская, а ей жук в рот влетел. Проглотила, дура, с перепугу. Резали.

Высказывание было до того странное, что от неожиданности все замолчали.

— Чего вы? — спросил дед Матвей.— Пойте. Я это к примеру. Поглядел, летучие мыши вьются, подумал — а ну кому в волосы брякнет. Про жука и вспомнил.

— Что ты, дедушка, страхи какие разводишь! Убежим,— сказала Тоня.

— Сидите, сам с вами спою.

Он шевельнул бородой, но не запел, а закашлялся. Потом заговорил:

— Каждый поет по своей причине. Женщины — те от легкости мысли. Мужчины — от хмеля. А что такое хмель? Хмель, он — молодость. Молодой всегда как во хмелю, возраст ему в голову шибает. А старый за молодостью в бутылку лезет, хватит стаканчик помолодел. Поет. Не поняли? Ну вас!

Вынесла стул и Лида, села возле деда Матвея. Вышла с Сашкой на руках Агафья Карповна. Налег на подоконник, выглядывая из дому, Илья Матвеевич.

— Витя! — Тоня постучала в окно.— Вышел бы и ты, сыграл бы... Смотри, какой самодеятельный ансамбль собрался!

Виктору, занятому своим станком, было не до игры, но разве откажешь, когда люди просят музыки, которую он сам очень любит. Вышел на крыльцо с мандолиной. Тоня уступила ему место на скамейке, встала рядом с Игорем. Виктор сел между Зиной и Дуняшкой и заиграл. Ни Зи-

па, ни Игорь не знали песни, которую все — и Илья Матвеевич и Агафья Карповна — запели под мандолину:

В холодных чужих океанах
Под огненным флагом плывут корабли.
Во всех пристают они странах,
Вдали от отцовской земли.

Слова припева подтягивал даже дед Матвей:

Наш труд, нашу гордость святую,
Как дети, покинув очаг,
Несут в непогоду любую,
Машинами ровно стуча.

Агафья Карповна наклонилась к уху Зины, заговорила вполголоса:

— Антоша, сынок, сочинил. На войне. Прислал нам, помню, под Новый год. А Витя мотив придумал. Он, Витя-то, если бы учить его с детства, такой бы музыкант был! Да кто в те годы детей музыке учил? Мы же рабочие, Зиночка, как и твои папаша с мамашей, царство им небесное. У нас с государством одна дорога. Оно было бедное, и мы были бедные, оно богаче стало, и мы приободрились. Ну, а теперь, сама видишь... Ведь это же какие тыщи вся-то бригада в получку приносит! Были бы мы завистливые, как некоторые, у нас не то что рояли — люстры бы в каждой комнате висели из хрусталя. А мы этого шику-блеску не любим. Нам давно велят в новую квартиру переезжать, за Веряжку. Отец не хочет, и дед против. Обжились, говорят, старого гнезда жалко. Не красна изба углами...

Агафья Карповна говорила это все так просто, с такой непосредственностью, что Зина готова была слушать ее и слушать, но Сашка заворочался, запищал, и Агафья Карповна принялась ходить вокруг клумбы, качая его и баюкая.

В первом часу ночи Тоня и Дуняшка пошли провожать гостей — сначала Игоря до троллейбуса, потом Зину в Новый поселок. На мосту встретили в потемках Алексея. Он шагал легким шагом спортсмена.

— Алеша! — окликнула его Тоня. Но он не остановился. То ли не услышал ее, то ли не захотел услышать.

Ложась спать, Зина думала о Журбиных, о людях, у которых свои семейные песни, свои музыканты, свои изобретатели, своя гордость. Она попыталась припомнить

их песню — и слова и мотив упорно от нее ускользали; она задумалась об авторе этой песни, об инженере Антоне, с которым на днях встретилась в мастерской у Виктора. Виктор пригласил ее помочь ему снять уточненные размеры деталей станка. Он подгонял эти детали, подпиливал, подтачивал, подклеивал; столярный клей всегда дымился у него под руками в паровой клееварке. Зина поразилась, увидев деревянную модель станка в собранном виде. Когда Виктор, осыпанный опилками, впервые пришел в бюро и рассказывал о своем замысле, этот станок представлялся Зине мощным агрегатом, который способен пережевывать целые бревна. Работа над расчетами и чертежами приблизила Зину к действительности, и все же Зина была сильно удивлена, увидав на столярном верстаке нечто подобное не то машине, на которой сапожные мастера тачают голенища, не то приспособлению, с помощью которого в гастрономических магазинах режут ветчину.

— И это все? — с тревогой спросила она.

— То есть как все? — ответил Виктор.— Только теперь и начнется самое главное. Глядите сюда. Каждому ясно, что в этом месте нужен специальный прилив, иначе ленточную пилу не установишь. Или вот тут... Шпиндель тихого хода мы перетолщили, дубина получилась, а не шпиндель. Как, опять же, быть с подручником и задней бабкой для токарного приспособления?

— Я не о том, я о размерах. Таким маленьким он и будет, ваш станок? Точить игрушки или шахматы, а что еще?

— Вот уж, видно, не знаете вы столярных дел, Зинаида Павловна! — Виктор не отрывал взгляда от своего детища, то подходил к нему ближе, то отдалялся, щурил глаз — совсем как художник, оценивающий картину. Виктору картина явно нравилась. Необходимость каких-то дополнительных мазков и штрихов, каких-то переделок и доделок только усиливала его интерес к ней.

В разгар их молчаливой работы в модельную вошел Антон. Зина уже встречалась с ним в доме Журбиных, но разговаривать с ним ей не приходилось. Она видела, что Виктор и Антон ведут себя как два хороших старых товарища.

Виктор родился двумя годами раньше Антона; этой разницы братья никогда не ощущали, вместе ходили

в школу, вместе рыбачили, лазили в чужие сады за яблоками. Отец знал: во всем, что натворил Антон, непременно есть и Викторова доля, а проделки Виктора не могли обойтись без участия Антона. Найти истинного виновника было невозможно, мальчишки все равно не выдадут друг друга: если не успели сговориться, будут молчать как глухонемые; если сговорились, примутся врать с безудержным вдохновением. И поэтому за проступок одного Илья Матвеевич для верности наказывал обоих. Они мужественно переносили и отеческие порки, и стояния в углах; сознание того, что один страдает за другого, вносило в их отношения особую романтику и, конечно, еще больше сближало.

Бывает, что с годами, когда все резче и резче определяется разница в характерах или когда расходятся жизненные пути, мальчишеская дружба исчезает. У Виктора с Антоном так не случилось. Сколько лет прошло со времени последнего набега на сад инженера Лебедева и последней отцовской взбучки! И инженер Лебедев давно умер, и давно братья женились, а по-прежнему встретились два друга.

Зина смотрела на них и завидовала. Ни сестер, ни братьев у нее не было. А друзья?.. В детском доме, в школе все как будто бы дружили, в институте тоже, а вот послала она письмо институтской подруге Вале Котиковой, та даже и не ответила. Может быть, роман закрутила и не до Зины ей? Валя — она такая, увлекающаяся, бесшабашная.

— Ну-ка покажи свое изобретение, — сказал Антон. — А то одни разговоры да разговоры слышу. Дай взглянуть.

— Не на что еще глядеть. Пока — деревяги. Смотри, если хочешь. Основание... Мотор... Корпус... Шпинделя большого и малого хода... Сменный инструмент. Рассчитано на восемнадцать операций.

— Здорово!

— Чего там здорово! Если на конвейер у сборщиков дело перейдет, понадобятся ли столяры-то на заводе? Может, и модели побоку?

— Ты о себе не хлопочи. Столяр столяром и останется. Вот за дядю Васю с Алешкой не поручусь. Нелегко им будет...

Зина сказала, что, пожалуй, пойдет, что ей надо на стапель.

— Вместе пойдем,— удержал ее Антон.— Мне тоже туда надо.

Шли они, Антон и Зина, по Морскому проспекту; шли медленно. И не из-за протеза — протез, казалось, совсем не был Антону в тягость,— а из-за бесконечных встреч и остановок под липами. С Антоном здоровались, заговаривали. Едва от него отходили одни, как немедленно появлялись другие.

Когда они добрались наконец-то до стапелей, там разгорелся жестокий спор. Начал его Александр Александрович, который снова отстаивал клепку, говорил об эластичности клепаных конструкций, о пружинках, которыми в корпусе корабля являются заклепки, о хрупкости сварных швов.

— Отстал ты, дядя Саня, — спокойно возражал старику Антон.— Твои речи были бы простительны во времена Бенардоса, а не теперь, когда прочность электросварки испытана в боях Отечественной войны.

— Что ты мне про Бенардоса какого-то! Знать не знал и знать не хочу! Хрупка будет коробка, и все тут!

— Нет, не все тут, и про Бенардоса тебе знать следует. Ты о нем не слыхал, значит? А про Царь-колокол слыхивал?

— Еще про Царь-пушку да про Ивана Великого спроси.

— Они ни к чему. А Царь-колокол — к чему. Колокол этот, как известно, лопнул во время пожара. Раскалился, заливать стали, он от холодной воды и лопнул. Николай Николаевич Бенардос, первый электросварщик в мире, решил его в прошлом веке заварить. У него не вышло. Вот вы бы с ним в мнениях сошлись. Бенардосовский шов не выдержал не только солидного напряжения — просто щелчка. А почему? Потому что для получения электрической дуги Бенардос пользовался угольными стержнями, металл от них углеродился — вот и хрупкость. Теперь этой штуки нет. Теперь даже кислород с азотом из воздуха не подают к месту сварки, — они тоже ослабляли вязкость металла. Флюс их не пропускает. Теперь что шов, что цельный металл — одинаковая прочность.

— Дьявол с тобой, пусть будет так! — почти кричал Александр Александрович. — А как ты потолочные швы варить будешь?

— Как люди варят. Построим кондуктор, вместе с которым будет вращаться секция, повернем ее — и потолок станет полом.

— Ну вот и верти! Тебе чтó — прикатил в командировку, наговорил три короба и улетел. А вертеть-то, вертеть мы, мы должны! Поверти, говорю, поверти сам!

— А что же, и поверчу. Меня прислали на все время постройки цельносварного корабля. Он будет моей диссертацией на кандидата технических наук, дядя Саня. Вместе с тобой повертим.

— С батькой со своим верти! Он тоже вроде тебя, горячий.

Хлопнув дверью, Александр Александрович вышел из конторки на пирс. Вышла за ним и Зина.

— Александр Александрович! Почему вы так против электросварки, против сборки секциями? — спросила она, присаживаясь рядом с ним на скамейку. — Ведь это же упростит, удешевит, ускорит работу.

Александр Александрович долго разглядывал водоросли, которые зелеными хвостами тянулись из-под пирса по течению Лады. Меж ними ходили уклейки с черными спинками, играя, взблескивали ярко, как обрезки светлой жести.

— Зинаида Павловна,— ответил он, не отрывая глаз от реки,— скажу вам прямо: мне ли не верить в технику, когда я сам полвека занимаюсь техникой и за эти полвека увидел весь ее ход? Ведь галоши мы строили, а не корабли, по сравнению с теперешними. Веры нет у меня в самого себя: выдержу ли такую ломку? Сами слышите: гудит корабль, гремит, грохочет — живет. А тогда что будет? Одно электрическое шипение. Мертвя́чина. Поздно мне ломать себя наново. Ильи-то Матвеевича я старше лет этак на четырнадцать. Про стариков говорят: рутинеры они, косные люди. И верно, правильно говорят. Старик держится за то, что было его молодостью, цепляется за него, будто кошка, которую хотят в воду бросить.

— Неправда, Александр Александрович! — возразила Зина.— Разве Мичурин, Циолковский, Павлов держались за старое? Для них молодостью было движение науки вперед.

— Про тех не скажу, не знаю. А вот был у нас тут один старый инженер, хороший инженер, передовой. И что ты думаешь? В церковку похаживал, в ту самую, где будто бы венчался. В бога, что ли, верил? Пусть кому

другому рассказывают! Что же тогда? Молодость, молодость звала его к тому аналою, возле которого стоял он когда-то, счастливый, рядом с невестой, обряженной в фату. Вот как я понимаю его. А вот мой аналой! — Он поднял взгляд на корабль, который гудел, грохотал — и в самом деле жил.

Вглядываясь в темноту, нависшую над ее постелью в этот поздний час, Зина видела их всех — и Журбиных, и Басманова, их друзей, товарищей по труду. В сравнении с ними она показалась себе маленькой, ничтожной, жалкой, действительно попрыгуньей-стрекозихой, которая только шумит, волнуется, а муравьи в это время работают и работают, кладут камень на камень, возводят здание и для себя, и для нее, и даже для Скобелева. Они вправе так петь: «Наш труд, нашу гордость святую несут в непогоду любую». Сколько кораблей создано их трудом! А где он, тот корабль, который построит Зина?

## 4

Скобелев рылся у себя в столе, перебирая старые бумаги: Зина, разграфив страничку общей тетради, четким почерком переписывала набело личный план работы на ближайшие две недели. Надо было не забыть о статье, обещанной редактору многотиражки, о множестве дел, которые она начала в последнее время,— о заводском стахановском листке, о цеховых досках технических новинок, о задуманных докладах и лекциях. Этих дел набиралось столько, что без плана с ними уже и не справишься,— просто все забудешь или перепутаешь.

Неожиданно в комнату вошел невысокий, худощавый, очень подвижной человек. Зина узнала парторга Жукова.

— Здравствуйте, товарищи! — сказал Жуков.— Покажите-ка свое знаменитое бюро. Что у вас тут делается?

Он прошелся вдоль щитов и диаграмм, полистал альбомы, потом сел за стол и довольно строго посмотрел по очереди на обоих инженеров, взволнованных его неожиданным посещением.

— Почему такая грусть на лицах? — спросил он.— Я не инспектор и не контролер. Чем обременены? Журбину помогаете, а еще что? Какие планы? Кто мешает? Давай-

те говорить откровенно, как инженеры с инженером. Партийные?

Скобелев помолчал.

— Я комсомолка,— ответила Зина.

— Хорошо. Так что же, планов особых нет? Плохо. А главную задачу завода знаете?

— Знаем,— сказала Зина.— Строить корабли быстро, прочно и дешево.

— Слишком общо.— По лицу Жукова прошла улыбка.— Мы обязаны все делать быстро и прочно. Главная задача завода сегодня — перейти на новый метод сборки, а значит, и всесторонне освоить сварку — автоматическую, полуавтоматическую... Об этом слышали? Не только клепка, но даже и ручная сварка — вчерашний день судостроения. Что вы сделали для сегодняшнего, для завтрашнего?

Не только Скобелев, но и Зина растерялась перед вопросами Жукова. Он был значительно старше их, несомненно знал многое такое, о чем они никогда даже и не слышали. Они чувствовали себя перед парторгом ЦК мальчишкой и девчонкой, краснели и не находили слов для ответа. Ничего, о чем он спрашивал, бюро не делало, оно еще только собиралось кое-что сделать.

Скобелев оробел, в душе Зины росло чувство стыда.

— Мы немножко больше, чем следовало, увлеклись работой Журбина...— заговорила она.

— Это хорошо,— прервал ее Жуков.— У него получится превосходная машина. Скажу вам больше, товарищи. У машины Журбина огромное будущее. Не только в модельных мастерских — она найдет себе применение везде, где только имеют дело с обработкой дерева. Ее с руками будут рвать столяры колхозов и машинно-тракторных станций. Как же! Эта штука способна заменить инструментарий целой столярной мастерской. Она упростит, удешевит труд, сделает его продуктивней... Кстати, лить детали станка надо не из стали,— сказал он, подумав,— а из алюминиевых сплавов. Да, так я полностью разделяю ваш энтузиазм по отношению к агрегату Журбина. Но никак не могу согласиться с тем, что помощью Журбину должна ограничиться вся работа технической информации. Где же информация? Не надо бить в набат, шуметь и греметь,— этого не надо. Однако... однако, товарищи, о всех новых методах в судостроении обязан знать весь заводской коллектив. Обеспечить это

знание обязаны вы. Если у вас нет никакого плана, придвигайтесь, пожалуйста, ближе, все сейчас обсудим и вместе набросаем главное.

За составлением плана родилась мысль: а что́ если Скобелеву поехать на лучшие судостроительные заводы и собрать там весь, какой уже существует в практике, опыт по автоматизации электросварки? Жуков обещал поговорить с директором.

Когда парторг ЦК уходил, он уже не казался Зине таким страшным, как вначале. Просто, по ее мнению, он был совсем другим человеком, чем Иван Степанович. Иван Степанович, как ей думалось, заботится о впечатлении, которое он производит на окружающих. Жуков, видимо, нисколько не думал о том, нравится он своим товарищам по заводу или нет,— вряд ли кому могли понравиться его строгость и сухость в обращении,— и тем не менее многое в Жукове Зину привлекало. Если ей когда-нибудь придется стать руководителем, то она постарается быть похожей именно на Жукова: ни лишней суеты, ни лишнего балагурства. Жуков вызывал уважение, а есть ли что-нибудь еще более важное для руководителя, чем уважение к нему со стороны руководимых? Разные руководители по-разному понимают пути к сердцам людей. Одни хотят, чтобы их непременно любили, они заигрывают, держатся простачками, со всеми подчиненными на короткой ноге, похлопывают их по плечам, называют «голубами» и «дорогушами», и все это фальшь, и, как всякая фальшь, отталкивает. Другие считают, что начальника должны или уважать, или бояться. Не удалось завоевать уважение — нагоню страху. Но страх — плохое средство для объединения коллектива. Слабые душой превращаются в подхалимов, в неискренних служак-исполнителей, а те, кто посильней, покрепче, вступают в борьбу со своим руководителем; на эту борьбу уходят душевные силы, энергия, дорогое время. Подлинные же руководители не думают ни о любви к ним, ни о страхе или уважении, они поступают и держатся так, как им повелевает их долг. Долг и их собственное беззаветное увлечение общим делом. Человек труда и долга всегда вызывает к себе уважение, а уважение — мать любви.

Зина чувствовала скованность в присутствии Жукова только вначале и только потому, что ее мучила совесть за плохо исполняемый долг.

На прощание она спросила, почему Жуков считает, что узлы станка Виктора следует делать не из стали, а из сплавов алюминия.

— Очень просто,— ответил он.— Я уже сказал: у станка большое будущее. И чтобы оно стало еще бо́льшим, станок надо делать как можно легче по весу. Он должен весить пуд-полтора и укладываться в обычный дорожный чемодан. Быть, словом, не стационарной установкой на верстаке в мастерской, а свободно носимым инструментом. Пусть столяр несет его с собой на корабль, на тридцатый этаж московского небоскреба, в колхозный полевой стан. Не так ли?

Жукову было уже за пятьдесят. Кроме седого боевого хохолка, да, может быть, еще глаз — быстрых, черных, всегда выразительных и серьезных,— ничего особенного в его внешности не было. Такое выражение глаза Жукова сохранили с юношеских лет. Его отца убили в четырнадцатом году, в августе, в самые первые дни мировой войны, и молодой Жуков пошел работать туда же, где до мобилизации работал отец,— на соляной рудник возле Бахмута. Удивительный это был рудник. Под землей лежали мощные пласты каменной соли, чистой и прозрачной, как стекло. Любители вытачивали из нее призмы, кубики, разные фигурки; в ней пробили штольни и штреки, в ней был устроен показной кабинет управляющего. Все в этом кабинете — и стол, и кресла, и чернильный прибор — было тоже из соли, сказочно сверкавшей при свете ламп. Работалось на соляных копях значительно легче, чем в соседних шахтах, где добывали донецкий уголь,— не было ни рудничного газа, ни подземной воды, ни обвалов. Зато всюду была соль, которая — казалась бы, такая безобидная, красивая — разъедала кожу и малейшую ранку превращала в страшную язву.

Юный Жуков работал откатчиком под землей, мать была уборщицей в конторе. Оба они жили в Бахмуте, вместе подымались чуть свет, вместе шли за несколько километров на рудник, вместе возвращались. Откатка изматывала силы четырнадцатилетнего подростка, он так уставал за день, что потерял всякий интерес к мальчишеским делам, бросил ходить на ставок в Кутейниково за линями и карпами, бросил городки, бросил козны. Только по воскресеньям выходил он к ближнему ставку, в котором почти не было рыбы и в котором бахмутцы купались. Он сидел там на берегу, следя за проносящимися

над водой утками, за купающимися ласточками, за водяными курочками в камышах. Ставок был зеленым оазисом; немного отступя от него лежала выжженная солнцем сухая степь, на которой даже полынь и чернобыльник звенели, как жесть. Вдали, к югу, дымили трубы Никитовки, Константиновских заводов. Их дым сливался с еще более дальними дымами Краматорской и Юзовки. Дым всегда висел над Донбассом тучей, застилая солнце.

Произошло Октябрьское восстание в Петрограде, в Москве, революция прокатилась по России грозной волной. Немецкие армии вступили на украинскую землю, приближались к Донбассу. Горняки поднимались навстречу врагу, организовывались в боевые отряды. Руководил ими Артем. Жуков послушал, как товарищ Артем говорил на митинге: «Зрелище неорганизованных масс для меня невыносимо», не очень понял, что́ это значит, но в один из таких отрядов записался, чтобы вместе с другими шахтерами встретить немецкие войска огнем и штыками.

Затем началась гражданская война. Жуков воевал на Украине, на Кубани, на Волге, он вступил в комсомол, потом в партию. Демобилизовался в Москве. Его отправили на один из заводов секретарем комсомольской ячейки. Он учился на рабфаке, потом в институте. Но едва получил диплом инженера, как снова взяли на партийную работу. Переезжал со стройки на стройку — куда пошлет партия. Перед Отечественной войной он работал секретарем партийного комитета на одном из южных судостроительных заводов; на войну ушел комиссаром стрелкового полка. По окончании войны его взяли в аппарат Центрального Комитета партии.

Приехав на новое место работы, теперь уже на Ладу, он прежде всего принялся знакомиться с людьми. Он уже составил себе представление об Иване Степановиче как о человеке большой преданности своему делу, очень трудолюбивом, но излишне мягком. Он узнал прямого, честного Горбунова, многих руководящих инженеров. Жизненный опыт, однако, подсказывал бывалому партийному работнику, что всякая армия — это прежде всего солдаты. Хочешь изучить армию, изучай ее солдат.

Жукова тянуло к солдатам завода — к рабочим, мастерам, в цехи, в мастерские, на участки. Его еще мало кто знал в лицо, одевался он как большинство людей, связанных с морем: синий диагоналевый китель, фуражка. На него особого внимания рабочие не обращали: моряков на

заводе всегда много — с тех судов, которые стоят на ремонте. Жуков сколько угодно мог наблюдать за работой бригад, никого не смущая своим присутствием. Часто он ходил вместе с Иваном Степановичем и еще чаще с Горбуновым, особенно когда решил познакомиться со Старым поселком; председатель завкома знал там каждый дом и каждого жителя.

Где только они не побывали вдвоем с Горбуновым! Заходили в ясли, в детский сад, в портновское ателье; часа два провели в клубе. Заведующий клубом Вениамин Семенович водил их из аудитории в аудиторию, из гостиной в гостиную, подробно говорил о каких-то своих неосуществленных замыслах. Жуков молчал и хмурился.

Зашли они однажды вечером даже в фирменную пивную пивоваренного завода «Белый медведь», посидели там за мраморным столиком. К ним подсаживались кораблестроители, чокались кружками о кружку Жукова, поздравляли его с прибытием к ним на завод, добродушно посмеивались, говорили: «Уж как-нибудь не обидим».

В конце концов Горбунов предложил Жукову сходить на рыбалку к Желтой яме: «Тогда, как говорится, наша жизнь будет вам представлена со всех сторон».

Заводской народ знал множество мест удачливой рыбной ловли. Одни, большей частью ребятишки, садились на камни возле моста через Веряжку и таскали плотичек. Другие седлали гнилые сваи заброшенных пирсов на Ладе, под которыми водились крупные окуни. Третьи переезжали Ладу на лодке и с плотов, возле лесопилки, ставили многокрючковые снасти — переметы или отпуска. Четвертые ходили под парусами далеко в залив.

Самым неудачливым местом считалась так называемая Желтая яма. Но как раз именно она, эта Желтая яма, сильнее всего манила к себе заядлых удильщиков.

Желтая яма имела почти километр длины и до пятисот метров ширины; берега ее уходили под воду крутыми обрывами, отвесными, как стены. Когда-то — эти времена помнили только старики — здесь был песчаный карьер. Его забросили еще до первой мировой войны, в течение нескольких лет он наполнился водой чуть ли не вровень с берегами, стал глубоким озером, возле которого, врастая в землю, ржавели железные сочленения драг и экскаваторов.

Как попали туда карпы и когда — никто не знал; но в Желтой яме они водились с давних пор. Прошлым

летом слесарь Бабашкин вытащил карпа в пуд весом. Лобную кость огромной рыбины, обернутую носовым платком, Бабашкин носил в кармане несколько месяцев и, кому бы ни показывал, каждому задавал один и тот же вопрос: «Как думаешь, чья?» Подкидывали на ладони, определяли тяжесть, пробовали на ощупь, говорили: баранья, свинячья, — чья угодно, только не рыбья, настолько могуча и несокрушима была эта костяная плитка.

Пудовая добыча случалась редко — в три, в четыре года раз. Но нелегко было выудить и самого рядового карпенка, сплошь да рядом рыболовы уходили от Желтой ямы с пустыми руками, не только без добычи — даже и без снастей. И все-таки в следующую субботу вновь шли на злосчастное место. Самозабвенных завсегдатаев Желтой ямы — в том числе и самого себя — главный конструктор завода Корней Павлович называл «карпинистами». Поймать карпа было для «карпинистов» то же самое, что для авиатора перевернуться через крыло, скользнуть в штопор и затем раз десяток подряд проделать петлю Нестерова.

Чего только не выдумывали любители ловли карпов, лишь бы овладеть высшим пилотажем удильщика! Они изобретали свои собственные приманки и насадки, скрывая рецепт в глубокой тайне даже от самых лучших друзей. Они варили пшенные, овсяные, рисовые каши, цементировали это варево крупчаткой, сдабривали его подсолнечным или ореховым маслом. Они разводили мучных червей, жирных и тупорылых. Они плели лески чуть ли не из скрипичных струн. Они хитрили на каждом шагу. Но карпы были еще хитрей. Карпы тяжело бухали, играли, плескались посреди озера, а на крючок не шли.

В первое послевоенное лето был такой случай. Председатель правления артели «Приморский обувщик» решил перехитрить сразу всех — и карпов и «карпинистов». В один прекрасный день предприимчивый руководитель артели прибыл к озеру на грузовике, с бригадой своих мастеров, с лодкой и с неводом.

Под возмущенную брань удильщиков невод был заведен, и, когда он охватил добрую половину озера, на берегах наступила напряженная тишина. Удильщикам казалось, что отныне все кончено, злая воля отнимает у них самое дорогое, самое заветное — почти кусок жизни.

Невод между тем шел, шел, делая свое черное дело, крылья его смыкались... И вдруг тишину нарушил тяже-

лый всплеск — грузная, большая рыбина рывком перебросилась через линию деревянных поплавков. За ней вторая, третья... и на озере началось нечто подобное рукопашному бою, вода клокотала и пенилась. Карпы уходили через верх невода. Глядя на то, как маневрировали их мудрые рыбьи деды, посыпалась через поплавки и карпиная мелочь.

Сосны, со всех сторон обступившие Желтую яму, никогда не слыхивали таких победных кликов, какие гремели под ними в эти минуты решительного перелома битвы на озере. Обычно под береговыми соснами люди ходили на цыпочках и говорили шепотом. А тут даже дед Матвей, в ту пору еще хаживавший на рыбалку с Ильей Матвеевичем,— даже он кричал вслед карпам: «Наша берет! Что, выкусили?!» Последние слова относились уже не к карпам, а к «приморским обувщикам», которые огромнейшей своей сетью вытащили два-три десятка каких-то заблудших озерных недорослей и, посрамленные, вскоре уехали в город.

К Желтой яме по субботам сходились одни и те же удильщики. Они давным-давно друг друга знали — и по заводу и по рыбалке. Они оставались тут на всю ночь, жгли в отдалении от берега костры, ужинали, завтракали. Было на озере нечто вроде клуба под открытым небом или однодневного дома отдыха, у которого ни стен, ни крыши, зато почти каждый отдыхающий — он же и затейник.

До Желтой ямы было километров шесть. Жуков и Горбунов шли медленно, пришли позднее основной массы «карпинистов», которые, закинув удочки, уже сидели у воды — такие тихие-тихие и недвижные, будто это были не люди, а камни, раскиданные вокруг озера. Только в отдалении, под соснами, где курился костерок — для разгона комаров, собралась небольшая группа человек в десять — двенадцать,— тоже, видимо, опоздавшие. Они яростно о чем-то спорили. Жуков с Горбуновым подошли. Внимания на них никто не обратил.

— Ничего смешного нету! — сердито говорил сухой, длинный старик.

— Александр Александрович Басманов, мастер,— шепнул Жукову Горбунов. Жуков кивнул головой. Он уже знал и Александра Александровича, и его начальника, Илью Матвеевича.

— Да, ничего смешного! — повторил Александр Александрович.

— А ты бы, дядя Саня, согласился вместо санатория сено, например, косить или картошку окучивать? — со смехом спросил средних лет человек в распахнутом кителе, под которым виднелась татуировка, покрывавшая грудь.

Горбунов догадался, о чем шла речь.

— Был у нас случай,— зашептал он почти в самое ухо Жукову.— Один инженер поехал на курорт, да не доехал, слез по дороге в рыбачьем колхозе и там провел весь отпуск.

— Болтовню болтаешь! — еще злее ответил Александр Александрович.— Такие поступки по расписанию не делаются. Они происходят от душевного расположения.

— «Душа», «душевное расположение»... Да ты, дядя Саня, идеалист, оказывается,— продолжал обладатель татуировки. — Главное все-таки не душа, а разум. Душа, как говорится,— мистика.

— И полушки не дам за голый разум! От голого разума одно зло идет... если душа его не подправляет. Ты мне ответь: разве мог бы душевный человек чумных блох выдумать? Нет у него, сук-кипого сына, никакой души, только разум... и не нужен мне такой разум, будь он неладен!..

— Хватит, хватит,— вмешался Илья Матвеевич.— Доспоритесь, время прозеваем.— Он заметил Жукова, поздоровался с ним, предложил идти вместе искать местечко.

Пошли на другую сторону озера. Илья Матвеевич вел расходившегося старика под руку, тот руку у него вырывал.

Закинув удочку, Жуков вспоминал детство, ставок под Бахмутом, со стороны внимательно следил за начальником и мастером стапельного участка. Оба не спеша размотали удочки, не спеша их закинули. Меж сосен сгущался предзакатный лиловый сумрак, и в темной раме леса завечеревшее озеро казалось сказочным окном в какой-то светлый, ясный и голубой мир,— в воде отражалось небо, почти не тронутое вечерними тенями. В отраженной этой голубизне стояли веерами пестрые поплавки.

Жуков услышал, как Илья Матвеевич вполголоса сказал:

— А ты не прав, Саня. Разум все-таки лучше глупости, даже самой доброй-раздоброй. От разума — движение, от глупости...

— Ни лешего ты, Илья, не понял. Разве я за глупость стою? Тьфу тебя!.. До чего ты наловчился каждое слово наизнанку вывертывать!

— Зря кипятишься, Саня,— ответил Илья Матвеевич.— Не такой уж я бестолковый, кое-что понял. Надо уметь главное отделять от второстепенного. Разум — всегда есть разум. Не бывает он ни злой, ни добрый. Те же блохи возьми... Ученые, которые открыли бацилл да микробов,— разве от злобы или от доброты они их открывали? Оттого, что разум того достиг! А чтобы расплодить микробов да нашпиговать ими блох — никакого разума и не требуется. Опять тебе говорю — различай: разум-то разум, а кому, главное, он служит? Все, что он вырабатывает, и на зло повернуть можно, и на добро, — смотря, в чьи руки выработанное разумом попадет.

Жуков услышал раздраженный плевок в воду. Александр Александрович злился.

Солнце ушло, лиловый сумрак с берегов расползся по всему озеру, вода из голубой стала темно-синей, и в ней, рядом с поплавками, так же настороженно, как поплавки, замерли первые звезды. Они дрогнули, закачались от плевка.

Жуков постепенно терял нить беседы двух друзей. Его увлекла настороженная слежка за поплавками, он позабывал о своих годах, ему казалось, что вновь он на берегу ставка, там, в родном Донбассе: вот встанет, побежит домой, неся матери десяток крохотных карасиков.

— Илюша! — с удивлением услышал он тревожный голос.— Где же четвертая удочка? Я четыре ставил.

— А вон она, вон... Левее... Видишь, плывет? — Илья Матвеевич указывал рукой на озеро, туда, где метрах в пятнадцати от берега, почти торчком, как перископ, сам собой двигался толстый конец бамбукового удилища. Но спокойствие Ильи Матвеевича длилось не более секунды. В следующую секунду и он и Александр Александрович закричали:

— Селиванов!.. Селиванов!..

Уже не первый год было известно, в каких случаях «карпинисты» зовут монтера воздуходувки Селиванова. Поэтому, прежде чем появился сам Селиванов с вытатуированными якорями и спасательными кругами на груди,

к месту происшествия сбежалось десятка полтора удильщиков:

— Видать, здоров! Прет, как подлодка...

— Сплоховал, дядя Саня. Эх, ты!

— Селиваське подвезло...

Селиванов пришел, таща на спине резиновую лодку. Стукнув носком ботинка по упругой резине, он проверил, хорошо ли лодка надута, спустил ее на воду и на одном, коротком, будто поварешка, весле поплыл туда, где мелькало, то подскакивая, то погружаясь, удилище Александра Александровича.

Было уже темно, на берегу больше догадывались, чем видели, что́ среди озера делает Селиванов, но почти каждый считал нужным подать ему какой-либо совет. Кричали, и эхо из конца в конец носило крики над водой: «Ай-ай — ай-ай... ить-ить — ить-ить».

Вернулся Селиванов минут через сорок и выбросил из лодки на берег толстую, как полено, и тяжелую, измученную рыбину. Было в ней сантиметров восемьдесят длины и килограммов десять весу. Таких карпов Александр Александрович никогда еще не лавливал. Он опустился рядом с рыбиной на корточки и не мог наглядеться; дергал за плавники, подымал ногтем жаберные крышки; вздрагивал, готовый упасть на нее, когда рыбина делала движение ленивым хвостом, — боялся, не ушла бы в воду.

Волновались, переживали событие и все остальные, кто только был на берегу. Один Селиванов оставался спокойным, будто событие его-то и не касалось. Что́ ему волноваться, когда многолетний неписаный закон Желтой ямы гласил: «Спасенная снасть — владельцу; добыча, снятая со снасти,— тому, кто достал снасть». Каждую субботу Селиванов уходит на озеро без всяких удочек; только с лодкой, и каждое воскресенье он возвращается домой с рыбой. Под утро, когда утомленные рыболовы клюют носами в коленки, карпы утаскивают у них не одну удочку. Что же Селиванову волноваться: ловил не он, а получит все равно он,— закон никогда еще не нарушался.

Но в этот раз поднялась целая буря.

— Такую рыбину брать не имеешь права! — Кузнец Рыжов встал перед Селивановым и развернул богатырскую грудь.

— Не то мы тебя самого туда отправим! — кричал расходившийся, обычно очень тихий, вахтер дядя Коля Горохов.

— Отдать это Селиваське?.. Не вздумай, Александр Александрович! — грозил чемпион по карпам слесарь Бабашкин.— Плохо тебе будет, честно говорю...

Александр Александрович молча сматывал удочки. Никогда в жизни не совершил он поступка, подсказанного ему только «голым разумом», ненавистным разумом без души. И разве мог он взять своего редкостного карпа у Селиванова, хотя разум требовал сделать именно так?

Жуков наскоро посовещался с Горбуновым.

— Товарищи! — сказал он, удерживая за рукав Александра Александровича.— Совершенно безобразный вы установили тут порядок. И напрасно мастер Басманов думает, что этот порядок справедлив, и так безропотно отдает свою добычу человеку, который на нее никакого права не имеет. Помочь товарищу в беде и требовать платы... Куда же это годится! Не по-коммунистически получается, а по-капиталистически. Предлагаю такое безобразие отменить. Со следующей субботы тут будет резиновая лодка общего пользования. Завком обещает приобрести. Так, товарищ Горбунов?

— Будет, ребята, лодка,— подтвердил Горбунов.— Что же вы раньше не требовали? Развели тут частнокапиталистический сектор!

Жуков удочек уже не закидывал. Он сидел у костра, к нему подходили на перекурку, разговоры не прекращались почти до самого утра.

Что касается Александра Александровича, то старика с великим трудом уговорили забрать своего карпа, и то лишь благодаря тому, что все удильщики проголосовали за отмену установленной Селивановым монополии.

## 5

Катя вышла из Дома печати — так назывался двухэтажный книжный магазин в центре города. В букинистическом отделе она купила книгу о декабристах, автором которой был известный советский историк. В прошлом году историк приезжал на Ладу и читал публичную лекцию в зале филармонии. Сидя в третьем ряду, Катя ловила каждое слово лектора, она убеждала себя в том,

что по окончании подойдет к нему, поговорит с ним, попросит у него совета, над чем и как ей работать, чтобы не разбрасываться по всем эпохам и странам. Но по мере приближения лекции к концу убеждение ее стало вдруг ослабевать, и Катя с грустью призналась себе, что струсила, что разговаривать она не будет, что у нее для этого не хватит мужества. Она ограничилась запиской, в которой просила историка назвать все книги, какие он написал.

Перед лектором на столике лежала груда записок. Катя боялась, что ее записка затеряется среди них, что лектор ей не ответит. Но он ответил, и Катя торопливо записала в блокноте десятка полтора названий. В течение года она терпеливо и упорно собирала эти книги в магазинах. Не хватало вот только работы о декабристах. Как хорошо, что она догадалась оставить в Доме печати заявку. Вчера букинистический отдел прислал ей открытку: книга есть.

Катя зашла в городской парк и села на укромную скамеечку, скрытую кустами жасмина.

Вечерело, под деревьями сгущались тени, читать было трудно. Катя напрягала зрение, но оторваться от книги не могла. Она так увлеклась, что даже не заметила, как кто-то сел на соседнюю скамейку, и только знакомый голос заставил ее поднять голову. Возле нее сидели Лидия Ивановна Журбина и заведующий заводским клубом Вениамин Семенович.

Заложив ногу за ногу, Вениамин Семенович покачивал кончиком ботинка, на лице у него было выражение строгое и вместе с тем мечтательное. Он говорил:

— В наше время на мелочи размениваться нельзя. И я вас прекрасно понимаю, Лидия Ивановна, я полностью разделяю ваше стремление к жизни широкой, содержательной. Узкий специалист подобен флюсу,— сказано когда-то Козьмой Прутковым. Вы живете в окружении хотя и очень уважаемых, но чрезвычайно узких специалистов. И отсюда ваша неудовлетворенность жизнью. Что ж, флюс должен прорваться в таком случае.

Лида обмахнула лицо кончиком косы, ответила серьезно и озабоченно:

— Знать бы, как это делается.

Она машинально взглянула в сторону Кати, узнала ее и тотчас умолкла. Катя поздоровалась.

— Катюша! — сказала Лида.— Ты что здесь? — Она была смущена и поспешно искала выхода из неловкого положения. Катя, как поговаривают, невеста Алексея, все

ему расскажет, в семье узнают, и может получиться очень скверно.— Иди-ка сюда, иди к нам! — позвала Лида.— Вы не знакомы? Это Катя Травникова, а это Вениамин Семенович.

Вениамин Семенович поднялся навстречу Кате, крепко пожал руку:

— Кажется, не встречались.

— А я вас знаю,— ответила Катя, присаживаясь на скамейку.— В клубе видела.

Вениамин Семенович улыбнулся и непринужденно, точно они с Катей старые друзья, взял книгу у нее из рук.

— Знакомый автор, знакомый. Общались с ним. Бывало, вот так же, как мы сейчас с вами, с ним сиживали. У меня его дарственная надпись есть.

— Да что вы! — воскликнула Катя.

— Как раз именно эту книгу он мне и подарил.

Катя с восхищением и завистью смотрела на Вениамина Семеновича, будто перед ней сидел сам знаменитый историк. Лида тем временем раздумывала, как же все-таки объяснить Кате то, что она оказалась с заведующим клубом в городском саду. Решила ни в какие объяснения не пускаться, сделать вид, что встреча случайна и ничего особенного в ней нет.

— Катя — будущий историк,— сказала она.— И, кажется, моя будущая родственница.

Катя смутилась. Зачем это говорить, никому не интересно, и кто это выдумал? Стыд какой! Катя поспешно заговорила о Рылееве, Бестужеве, о России начала девятнадцатого века. Вениамин Семенович внимательно слушал, разглядывал Катино лицо, глаза, руки. Потом заговорил сам, и говорил так интересно, что Катя вполне убедилась в его дружбе с автором книги о декабристах. Вениамин Семенович знал эту книгу, по-видимому, не хуже, чем сам автор. Он говорил и говорил, и Катины познания в истории по сравнению с его познаниями показались ей ничтожными.

Тени под деревьями стали еще гуще. Лида сказала, что пора домой, и, когда все поднялись, успела шепнуть Кате:

— Совсем сегодня загулялась. Бегала по магазинам да вот еще Вениамина Семеновича встретила. Сказал: провожу вас. Правда, интересный человек?

— Очень,— также шепотом ответила Катя.

Сойдя с троллейбуса возле завода, она хотела попрощаться и бежать домой, но получилось как-то странно.

Вениамин Семенович попрощался с Лидой и пошел вдруг с ней, с Катей. Он задумчиво молчал, шагая рядом. Молчать было очень трудно, и Катя не выдержала.

— Вы, наверно, тоже историк? — спросила она.

— Историк? — Вениамин Семенович как бы очнулся от забытья.— Нет, я представитель вымирающей категории людей. Я романтик. Вот вы интересовались, знаком ли я с автором этой книги. А спросите, с кем я не знаком! С кем я не встречался! Мне приходилось бывать у Алексея Максимовича Горького, у Алексея Николаевича Толстого, встречался я и с Маяковским...

Он продолжал называть людей, одни имена которых приводили Катю в восторг.

— Однажды Алексей Николаевич Толстой... это было до войны, в Детском Селе... черкая на полях моего рассказа...

Катя была потрясена: какой удивительный человек работает на их заводе! Разве подумаешь, глядя на него со стороны? Никто, наверно, и не знает его как следует. Ну да, он же сам сказал, что только с ней так откровенен. Почему бы это? Не считает ли он ее глупенькой девчонкой, которой можно говорить что угодно, все равно она не поймет? А может быть, она ему понравилась своей серьезностью и он ей доверяет?

Они уже дошли до Катиного дома, но Катя не спешила подать руку Вениамину Семеновичу,— ей не хотелось домой, ей хотелось еще с ним говорить, слушать его, расспрашивать.

На прощанье Вениамин Семенович сказал:

— Будет грустно, заходите ко мне в клуб. Покажу свои книги, что-нибудь почитаю. Только условие: если будет грустно. Для веселья я плохой товарищ. Я уже старый, и не об увеселениях мне думать, Катюша.

Он снял очки, глаза его от этого сощурились, сделались добрыми, печальными. Кате стало очень жалко Вениамина Семеновича.

## 6

Директор Иван Степанович только что вернулся из Москвы и привез новое задание правительства. Наконец-то все слухи, все разговоры в курилках перестали быть слухами и разговорами!..

В обеденный перерыв рабочие толпились в цеховых конторках, окружали парторгов, мастеров, ловили на ходу инженеров. Был атакован и Илья Матвеевич.

— К директору вызывали?

— Вызывали.

— Рассказывай, товарищ начальник! — требовали бригадиры, заполнив голубую конторку на пирсе. Стальная, она гудела от голосов.

— Чего вы хотите, ребята? — отбивался Илья Матвеевич.— Индивидуального каждому разъяснения? Дело немыслимое. Народу у нас тысячи. На митинге все будет сказано. Главное — потерпеть. Осталось четыре часа.

Илья Матвеевич утирал потное лицо платком: в конторке становилось жарко; хитро усмехался.

— Упрямый ты человек! — с досадой и злостью сказал старый клепальщик с желтыми, как охра, вислыми усами.— Правительство задание дает народу, а он в молчанку играет. Ну погоди! В партком пойду!

Звякнув железной дверью, он вышел из конторки. В партийный комитет идти не понадобилось. На пирсе в толпе стоял Александр Александрович и, терпеливо объясняя по нескольку раз одно и то же — каждому вновь подошедшему сначала, — пересказывал все, что час назад узнал от Ильи Матвеевича.

После гудка несколько тысяч кораблестроителей собрались в корпусном цехе. На железную площадку винтовой лестницы взошли директор Иван Степанович, парторг ЦК Жуков, председатель завкома Горбунов, ведущие инженеры, среди них и Антон Журбин.

Не сразу улегся шум в гулком цехе. Ивану Степановичу пришлось довольно долго постоять в молчании, держась за поручень.

— Дорогие товарищи! — заговорил он. — На тихой нашей Ладе начинаются громкие дела. Родине нужен большой, отличный флот. И нам с вами в решении этой всенародной задачи предстоит принять гораздо более значительное участие, чем было до сих пор. В самые ближайшие годы мы обязаны утроить выпуск кораблей. Утроить!

Зыбкая железная лестница дрогнула от аплодисментов,— так дрожала она, когда близ нее работал воздушный молот в сто тонн.

Иван Степанович рассказывал о перестройке и реконструкции цехов, о новой технологии, о новых методах труда, без чего такую задачу не решить.

После него выступил Антон.

— Правильно говорит Иван Степанович! — сказал он не очень громко, не надрывая горла, но в цехе была акустика, которой могли бы позавидовать лучшие концертные залы, и Антона услышали даже самые дальние. — Совершенно правильно. В наше время, чтобы выиграть сражение, надо насытить войска техникой, надо выработать тактику в полном соответствии с местностью, данными разведки и поставленной задачей, надо достичь тесного взаимодействия родов оружия и наладить четкое управление боем. Как это перевести на наш рабочий язык?

Антона слушали внимательно. Каких-нибудь десять лет назад Антоха Журбин бегал по строительным лесам с гаечным ключом в руке, играл в заводской футбольной команде правым нападающим, печатал смешные стишки в многотиражке и в клубном драмколлективе здóрово изображал малосознательных пареньков, которых надо было воспитывать на протяжении всей пьесы. И вот как переменилось дело за эти недолгие годы! Как ловко человек говорит — до каждого доходит! И как не дойти сравнению с боем до людей, среди которых многие — давно ли? — носили погоны то ли рядовых, то ли сержантов, а то и капитанов, майоров, подполковников.

— На наш рабочий язык это переводится очень просто, — продолжал Антон. — Максимальная механизация производства — раз. Его организация — два. И три — самая что ни на есть разносторонняя подготовка войск к бою. Имеется в виду техническая учеба. Я был мальчишкой во времена авральщины, но я авральщину помню. Выполняли план? Выполняли. Но как? Случалось, без выходных работали. Случалось, по двенадцать, по пятнадцать часов не покидали рабочее место. Можно таким способом увеличить выпуск кораблей? Можно. Процентов на десять, допустим, даже на пятьдесят. Но нам не эти проценты нужны. Нам надо тройное увеличение программы. И никакими сверхурочными, никакой мускульной силой этого увеличения не достигнуть. Те стройки на Волге, в Крыму, на Украине, которые народ называет стройками коммунизма,— разве они осуществимы мускульной силой в сроки, установленные правительством?

Антон передохнул. Председатель завкома Горбунов воспользовался короткой паузой, отыскал глазами Илью Матвеевича в толпе и поманил его к себе наверх.

— Мы выходим на дорогу к коммунизму,— говорил Антон, и, пока он это говорил, Илья Матвеевич взбирался по лестнице, подталкивая перед собой грузного краснолицего человека в белом кителе и в морской фуражке с белым верхом — многим на заводе известного капитана дальнего плавания Соловьева Павла Ивановича, пароход которого стоял на ремонте в заводском доке.

— Мы открываем замечательную эпоху,— слышал над собой голос сына Илья Матвеевич,— эпоху, когда рабочий превратится в техника, в инженера и будет управлять совершенными механизмами. Он уже ими управляет. Машинист шагающего экскаватора один выполняет работу тысяч землекопов. Точно так же, с такой же производительностью труда, мы должны строить корабли!

Антон закончил под аплодисменты, под крики: «Правильно! Молодец, Журбин!» — отступил от поручня и столкнулся с отцом, которому Горбунов предоставил слово.

— Корабли нам нужны, нечего и говорить.— Илья Матвеевич кашлянул, подумал с полминуты и подозвал к себе поближе Соловьева. Капитан стоял рядом с ним, сосредоточенно и деловито дымя трубкой.— Вот Павел Иванович... — Илья Матвеевич посмотрел на Соловьева. Тот слегка кивнул головой. — Он тридцать лет плавает по морям и океанам. Он что говорит? Не хватает нам флота на сегодняшний день. — Соловьев снова кивнул. — У нас, у советских людей, задача ведь какая? Не только о себе думать. К нам на́роды тянутся, что дети к отцу с матерью. На нас глядят, от нас помощи ждут. Вот, допустим, развивается наше сельское хозяйство, невиданные урожаи земля дает, а ученые и колхозники обещают еще бо́льших урожаев, — хлеба-то одного сколько намечается! Разве его съешь? Да мы его другим народам повезем! Мы не пушки повезем, не бомбы, а хлеб, дорогие товарищи, хлеб!

Соловьев наклонился к Илье Матвеевичу, вынул трубку изо рта, что-то шепнул на ухо и снова задымил.

— Павел Иванович говорит: уже возим,— объявил Илья Матвеевич.— Кормим, говорит, народы. И лес возим, и машины возим. А кораблей мало. Не то что мало,— не хватает, в общем, согласно развороту дружбы. Друзей-то сколько у нас! Тут тебе и польский народ, и чехословацкий, и румынский, и венгерский, и болгарский. Глядишь, и еще прибавится. Обо всех забота, обо всех дума... Может быть, я не в свое дело лезу. Может

быть, про это министрам иностранных дел да внешней торговли толковать положено...

Илья Матвеевич оглянулся на Жукова. Снизу было видно, как Жуков сделал движение рукой: то́, то́, дескать, продолжай. И Илья Матвеевич продолжал:

— Получается, следовательно, нужен флот первейший в мире. И, конечно, не только по количеству, а и по качеству. Мы должны строить его не только быстро, но и прочно. Умеем строить прочно? Умеем. Павел Иванович не даст соврать... Двадцать три года плавает он на своей «Чайке». Велика ли посудинка... пяти тысяч тонн водоизмещения нет. Невелика, а в скольких штормах побывала, в скольких океанах — и в Атлантическом, и в Тихом, и в Индийском. О морях уж молчу. И вот спрашивается, может Павел Иванович пожаловаться на «Чайку»?

Соловьев развел руками: какие, мол, жалобы!

— Сами видите, что человек говорит: не может.— Илья Матвеевич вполне был удовлетворен этим жестом.— А еще спрашивается: кто строил «Чайку»? Мы, товарищи, строили ее, мы. Первенец нашего завода. Долго, конечно, строили, месяцев тридцать. Но ведь четверть века с той поры прошло. И мы и техника переменились. Громадины за такой срок теперь строим. И все равно это для нас нестерпимо долгие сроки. Будем-ка сокращать их, как партия требует. Но не за счет качества, снова говорю. Помните, после войны к нам гости на завод приезжали, из американского профсоюза судостроителей? Кто-то — запамятовал... вроде Александр Александрович Басманов — спросил их: правда ли, что на верфях «Кайзера и компании» транспорты типа «Либерти» за шесть недель строятся? Что американец ответил? Правда, говорит, есть такое дело. Но мы, говорит, плыть через океан предпочли на судне с более длительным сроком постройки. Попрочней которое. Вот вам и обратная сторона медали! Нам такая медаль не подходит!

Илья Матвеевич стукнул при этих словах кулаком по железному поручню. Примерно то же сделал Соловьев, и оба одновременно покинули ораторское место.

Когда они вновь протиснулись в толпу клепальщиков, сборщиков, автогенщиков, такелажников, слесарей, аплодисменты еще гремели в цехе. Потный Соловьев обмахивался фуражкой. У него был такой вид, будто не Илья Матвеевич, а он сам произнес речь о большом флоте

страны. И это было недалеко от истины, потому что старый моряк мысленно повторял ее за Ильей Матвеевичем слово в слово.

Митинг окончился. Рабочие расходились группами, одни по Морскому проспекту — к воротам, другие — в цехи. Загудел гудок на вечернюю смену, грохнул в корпусном цехе молот, засвистел паровозик, завизжала пила на лесном складе.

И в заводских шумах, и в тишине поселков люди весь вечер обсуждали новость, привезенную директором из Москвы.

## ГЛАВА ШЕСТАЯ

### 1

Только в середине августа кончилось время дождей, обычных для этих мест в первую половину лета; на Ладе установились дни без ветров, без туч — без перемен.

Корабельных дел мастера проводили свободные часы и воскресенья на рыбалках — рыба в эту пору клевала вовсю,— в лесах, где появилось много грибов и ягод, на своих огородах, в последний раз окучивая капусту и собирая огурцы. Агафья Карповна варила варенье из черной смородины, солила рыжики и сушила, нанизывая на нитку, боровики, полные корзины которых ей приносили то Костя с Дуняшкой, то сам Илья Матвеевич. Нитки с грибами висели по всему двору: и на стенах дровяника, и на крыльце, и на веревках для белья. В супы Агафьи Карповны с необыкновенным упорством стала проникать ненавистная всей семье фасоль, и, когда ее выбрасывали ложками, Агафья Карповна изображала на лице изумление: «Ах, батюшки! Как же она в кастрюлю-то попала?»

В эту пору стало известно о том, что Алексей собирается жениться. Он сам сказал об этом Агафье Карповне, та передала Илье Матвеевичу и Дуняшке; Илья Матвеевич, в свою очередь, сообщил о предстоящих переменах в семье Александру Александровичу, а Дуняшка прибежала с новостью к Тоне.

Тоня едва дождалась Алексея.

— Алеша, это правда? — спросила она, встретив его на крыльце.

— Что, смотря, имеется в виду?

— Ты поженишься с Катюшкой?

— А тебе какая забота?

— Эх, Алеша, Алеша...

Ничего иного Тоня сказать не могла. Разве выскажешь словами чувство горечи, какое вызвала в ней никому, по ее мнению, не нужная Алексеева выдумка жениться. Не он, нет, не Алеша это придумал. Все устроила, конечно, она, Катюшка, противная, хитрая. Тоня пойдет к Катюшке, пойдет, скажет толстой дуре, что дур в их семье не любят, что она будет лишней, что никто ее не ждет и пусть лучше сидит дома.

Но никуда Тоня не пошла, и события развивались своим чередом. Агафья Карповна бродила по комнатам и сокрушалась: раздвинуть стены дома было невозможно, а не раздвинув их, невозможно найти хоть какой-нибудь угол для будущих молодоженов,— вот-то разрослась семья!

Виктору с Лидой нужны их две комнаты? Нужны. Костю с Дуняшкой не потеснишь? Не потеснишь: во второй комнате нет отдельного хода, и к тому же такая она крохотная, только новорожденному в ней квартировать. Тоньку тоже не тронешь. Да и им, Агафье Карповне с Ильей Матвеевичем, где-то надо жить; уйти из старой своей спальни, будь даже такая возможность, Илья не согласится, хоть земля трясись от землетрясения. А в столовой, где, соседствуя с дедом, спит Алексей?.. Деда в дровяной сарай или на чердак не отправишь. Вот и гадай тут!

— Может, и верно, переселиться нам, Илюша, за реку? — сказала Агафья Карповна Илье Матвеевичу.— Новую-то квартиру давно ведь сулят.

— Не о том думаешь, Агаша,— ответил Илья Матвеевич.— Не о квартирах, о человеке думать надо. Про невесту говорю. Как у них с Алексеем дела-то? Прочно? На то ты и мать, чтобы разобраться.

— А чего мне разбираться! Катя — девушка скромная, умная. Дочка учительницы. Маргарита Степановна всех наших ребят учила.

— Опять не про то говоришь! Сам знаю и Катерину, и ее мамашу. Ну, а Алексей, Алексей?

— Ты его отец, ты и гляди.

— Тьфу тебя, Агафья! Крутишь вокруг да около!

— Не пойму, чего от меня хочешь.

— Полного знания обстоятельств, вот чего. Мне в эти дела вникать времени нету. Ты вникай. Серьезно ли у них, обоюдно, согласно? Или так — кружение головы? Пойдет разлад в семье...

— Вот и надо в общей квартире жить, а не делиться. Чтоб разладов не было.

— Не спасенье,— сказал Илья Матвеевич.— На такую роту, как у нас, не квартира — целый этаж понадобится. Только с места тронься — полный развал произойдет. Кто на первом этаже жить будет, а кто на пятом. А еще, гляди, и в разных домах.

— Советуй тогда сам. Дело не шуточное.

— Не шуточное, — значит, и говорить о нем по-серьезному надо. Я считаю так: пусть он один туда, за реку, переселяется. Стребуем квартиру — стахановец, все такое! Дадут!

— Родное дитя из дома гоним...

Всегда твердый, непреклонный, Илья Матвеевич не нашел тут что ответить, не возразил. Сидели оба, поглядывали друг на друга. Тридцать с лишним лет радовались они тому, как растут вширь Журбины, ревниво держали возле себя своих детей.

— Такая штука жизнь, Агаша.— Илья Матвеевич заговорил нарочито грубо, чтобы не поддаваться сердечным чувствам.— Дело родителей — вырастить ребят, поставить их на путь, а ходить по этому пути — пускай сами ходят. Трудно иначе, да и неправильно. Остановится жизнь, если ребята до старости за родительские штаны-юбки держаться будут.

— Не то, Илья, говоришь. Кто держится? Витя? Антоша? Костя?

— Не то, ну и ладно! — Илья Матвеевич сам знал, что высказывания его неубедительны, и рассердился.

Отцовская мысль об отдельной квартире дошла до Алексея. У него не возникло сомнений и колебаний, как у родителей. Алексею важно было устроить свою жизнь, а где это будет — под родительской ли кровлей, под иной — не все ли равно в конце-то концов. Под иной — еще и лучше. Стремления детей и родителей расходятся. Родители готовы на что угодно, лишь бы дети всегда оставались с ними, а дети всегда рвутся в самостоятельный полет. В семье Журбиных сложилась традиция не поки-

дать родительского крова: под ним хватало места всем и никто никого не принуждал поступать против воли. По этой нерушимой традиции и Алексей, пожалуй, не стал бы раздумывать об уходе из семьи. С милой, как известно, рай и в шалаше, и если в доме не было свободных комнат, то еще были кладовушки и чуланчики, которые после небольших переустройств шалаш-то во всяком случае вполне бы заменили.

Нет, сам Алексей не помышлял об отдельной квартире. Эту мысль высказал отец, а высказанная, она запала и в голову Алексея. На квартиру он не надеялся, хоть бы комнату дали, и то хорошо. С чего только начинать хлопоты? Алексей решил посоветоваться с дядей Васей. Как член завкома, дядя Вася такие дела должен знать.

— Возможности есть, — сказал Василий Матвеевич. — Два новых дома заселяем. Видал, напротив клуба? Что ж, подавай заявление, мотивируй просьбу. Если достоин — дадим, не достоин — не дадим. Арифметика простая. А ты как думал? Каждому жениху — квартирка на блюдечке? Жених, понятно, в социалистическом обществе — фигура достойная. Порядочного жениха у нас уважают. Но именно порядочного. Кроме загсовской бумажки, товарищ жених, будь любезен еще и трудовые показатели на стол положить. А ты, Алешка, сказать прямо, за последнее время показателями не сверкаешь. Жениховство тебя сбило с толку или что? Разговор даже был, не снять ли твою личность с доски Почета?

— Не понимаю, чего вы там взъелись, дядя Вася,— ответил Алексей.

— Как — чего! Привыкли к тому, что у Журбина-младшего выработка всегда не меньше двухсот. А тут глядим: и сто восемьдесят, и сто сорок...

— Поставьте компрессорную на ремонт. На таком давлении она мой молоток не обеспечивает.

— Алешка, кто тебя учил клепке?

— Вы, дядя Вася. Что из этого?

— А я учил тебя хныкать?

— Никто и не хнычет.

— Ну захнычешь еще, погоди! — Василий Матвеевич расстегнул пуговку тугого воротничка.— Куда ты подашься, когда клепку сваркой заменят?

Задумались оба. Вот жизнь пошла,— не только методы труда, целые профессии отмирают или до того меняются, даже не угадаешь, что это такое. Кузнец в корпусной —

разве он кузнец? Помнил Василий Матвеевич прежних кузнецов: грудь — наковальня, руки — клещи, рванет молотом — стены дрожат. А теперь? Человек как человек, телосложения обыкновенного, при галстуке. Дай ему кувалду в руки, он и знать не будет, что с ней, с дурой, делать. Кузнец стал машинистом при паровом или гидравлическом молоте. Со всеми профессиями это случилось. Все меньше и меньше они нуждаются в физической силе рабочего и все большего требуют от него ума.

— Да, Алешка, хочешь не хочешь, сойдем мы с тобой, клепальщики, на нет.

— Не сойдем.

— Дурень! Говоришь сам не знаешь что. Можешь ты, например, представить себе, каким будет наш завод лет этак через пяток — десяток?

— Чего мне представлять! Все и так понятно. Удивительного ничего нет.

— Тебя удивишь! Ты привык к новой технике, другой и видеть не видывал. А я видывал. Не то что пневматическим — вручную мы клепали, когда молодые были. Вручную корпусный металл гнули, вручную сверловка, чеканка производились — все вручную. Куда техника ни прыгай вперед, тебе нипочем, — так, дескать, и надо. А мы, старики, через ее движение видим весь наш ход развития...

Не до таких теоретических рассуждений было Алексею. Его волновала мысль — не рано ли он сказал матери о своей женитьбе, не поспешил ли. С Катей о женитьбе они еще даже и не говорили. Гулять она с ним гуляет, вечера с ним проводит, а начни намекать на свои чувства, делает вид, будто бы ничего не поняла. Хитрит, что ли, как все девчонки? Надо, надо, пора объяснить ей все. Вот надо, а не скажешь,— до чего же это трудно. Ладно, получит он комнату, непременно пойдет и скажет. Непременно. Главное теперь — поспешить с заявлением, попросить комнату.

Прочитав его заявление, председатель завкома Горбунов сказал:

— У тебя, друже, вид не жениховский, а вроде ты диссертацию писать собрался. Неподступный вид. От такого типа и невеста сбежит. В общем, где надо, согласуем, приходи в четверг на завком.

В четверг на завкоме Алексея долго, но деликатно журили за снижение выработки, расспрашивали — в чем же

дело, почему начал ни с того ни с сего отставать? Может быть, помощь нужна, говори, примем меры, окажем и помощь.

— Какая, товарищи, помощь! — Иван Степанович взял со стола заявление Алексея.— Тут все сказано — человек женится. Я из-за такого события, помнится, чуть было дипломный проект не завалил. Журбин пока ничего не завалил, маленько сдал в темпах. Обеспечим ему бытовые условия — нагонит, поправится. Правда, Журбин?

Алексей ответил не сразу. Он сидел потупясь, комкал в руках капитанскую фуражку, светлый его чуб свисал на лоб, на глаза. «Черт с ними,— думал Алексей зло. — Не дадут, и не надо. Не пропадем». Ему даже хотелось, чтобы отказали в просьбе. Тогда он устроит все по-своему, не будучи никому и ничем обязан. Подумаешь, комнатенку выделить, и то какое разбирательство затеяли! А потом, случись что, попрекать начнут: мы о тебе заботились, шли навстречу, а ты... и так далее.

Он поднял голову, посмотрел на Ивана Степановича, который, улыбаясь, ждал от него ответа, сказал твердо:

— Я не за комнаты работаю, товарищ директор.

Иван Степанович только руками развел:

— Журбинский характерец!

— Погоди, погоди...— заговорил Горбунов.— А за что же ты, приятель, работаешь? Комнат тебе не надо, зарплату, поди, тоже можете не платить, так, что ли? Широкая натура! Да мы для того, чтобы тебе сегодня комнату дать, революцию делали, с винтовкой в обнимку на голой земле спали. А ты... Отмахнулся! Барин!

— Я не барин. Я рабочий.— Алексей поднялся, шагнул к двери.— Не то что за комнаты — за целые города работаю и хвалиться этим через тридцать лет ни перед кем не стану.

— Молод указания делать! — крикнул Горбунов. Но Алексей не слышал, он уже был на лестнице.

Кати в этот вечер на условленном месте не оказалось. Алексей напрасно прождал в потемках часа полтора и пошел к ее дому. В окнах горел свет. Может быть, Катя захворала? Вчера она вела себя как-то странно. Отвечала невпопад, оглядывалась по сторонам, будто кого-то или чего-то ждала. Ему показалось, что ее знобило.

Конечно, Катя больна. Надо ее навестить, увидеть, посидеть возле Катиной постели.

Он поднялся на второй этаж, позвонил. Дверь отворила Маргарита Степановна.

— Катя дома? — спросил Алексей.

— Катя? — Взгляд у Маргариты Степановны был удивленный.— Как дома? Разве вы с ней не пошли в театр?

— В театр?— Теперь удивился уже Алексей.— В какой театр?

— Значит, она мне солгала, Алеша, — заговорила Маргарита Степановна.— Она сказала, что идет с тобой на спектакль. Как же так!

Алексей вышел на улицу. Надо было бы присесть, отдохнуть, ноги едва носили его. Но он не присел, а все ходил и ходил вдоль тротуара перед подъездом. Он решил дождаться Катю, когда бы и откуда бы она ни вернулась.

Не дождался. Домой пришел в первом часу ночи, мрачный, встревоженный, ожесточенный. Провалялся на постели до шести, встал вместе с дедом и, не позавтракав, отправился на завод.

— Ты чего в такую рань? — удивился вахтер, дядя Коля Горохов.— Рекорд ставить хочешь?

Алексей молча кивнул головой. Своим вопросом дядя Коля напомнил ему одно мартовское утро, когда бригада собралась на корабле вот так же рано, все подготовила на полные восемь часов бесперебойной работы и к вечеру преподнесла выработку, от которой ахнули и самые бывалые клепальщики: вместо ста восьмидесяти заклепок — тысячу с лишним. Пятьсот пятьдесят процентов нормы.

Нет, не то было настроение у Алексея, чтобы ставить новые рекорды. Он поднялся на палубу. В тишине и безлюдье палуба гудела под ногами; поскрипывали у причалов баржи с углем. Звуки, ясные, отчетливые, далеко разносились над водой. Каркнула ворона. Она сидела на вершине башенного крана и, широко разевая клюв, выгибая спину, орала на Алексея. Алексей нагнулся, чтобы подобрать гайку, но ворона не стала дожидаться, когда этот парень запустит в нее железиной, и улетела. Алексей швырнул гайку в воду, распугав уклеек.

Ему было тоскливо и зябко, и он пожалел, что пришел на завод,—лучше бы Катю встречал на мосту. Как он не подумал об этом раньше? Теперь поздно. Вон уже тетка Наталья в широком комбинезоне взбирается по железным лесенкам на кран — что медведь. Вон хлопнула дверца

машины — вышел главный конструктор Корней Павлович. А там, под липами, и отец с Александром Александровичем шагают, останавливаются, тычут друг другу в грудь пальцами.

— Алеха! Здоро́во! — По трапу подымался Володька Петухов.— Ты что тут один кукуешь? Стариковской бессонницей страдать стал? А я минуток пятьсот сорок отхватил. Никак не могу проснуться, понимаешь. Будильник не обеспечивает. Хочу приспособить ходики. Чтобы гиря опускалась на кнопку электрического звонка. Будет звону, а?

Володьке можно было только завидовать, такой он нес в себе заряд бодрости, здоровья, энергии. Вместе с ним Алексей проходил бригадное ученичество, вместе с ним пришел на стапеля, вместе они осваивали клепальное дело. Но вначале Володька отставал от Алексея, а теперь стал нажимать; теперь иной раз и Алексей отстает от Володьки, который тоже реконструировал свой молоток и перестроил бригаду.

— Договорчик-то оформим? — Володька подмигнул, вытащил из кармана яблоко и, ловко разломив его, подал половину Алексею.

— Не хочу,— отстранил яблоко Алексей.— Незрелое...

— Страдаешь? — Володька снова подмигнул.— В женатики, говорят, собрался.

— Кто говорит?

— Да все.

Зашипел, захрипел, медленно вступая в силу, гудок, и, когда он забасил в полный голос, Алексей и Володька разошлись по своим местам. Алексей работал ровно, как всегда, но не было в его движениях той свободы, которая поразила однажды Зину, не было органической слитности рук и молотка. Алексей почти не думал о том, что он делает, все заслоняла Катя, и к обеду бригада едва выполнила четырехчасовую норму.

Алексей побежал в чертежную. Катя сидела в опустевшей комнате у окна и рассеянно отщипывала кусочки от бутербродов, разложенных на газете.

— Катюша!

Она вздрогнула.

— Напугал! Разве так можно?

— Катюша, почему ты не пришла?

Катя принялась завертывать бутерброды и, не глядя на Алексея, ответила:

— Заболела Нина Бабочкина, моя школьная подруга. Она теперь на другом конце города, на Северном шоссе живет. Родители на курорт уехали. Одна лежит. Прислала записку, я и поехала.

— А твоя мамаша сказала: ты в театре.

— В каком театре?

— В обыкновенном, да еще и со мной.

— А... это я ей так сказала, чтобы не беспокоилась.

Наконец-то разъяснился этот проклятый вопрос с театром.

— Значит, сегодня встретимся, обо всем поговорим?

— Нет, Алеша.— Катя продолжала возиться со свертком.— И сегодня придется к Нине съездить. У нее ангина, все горло распухло. Температура тридцать девять.

— Вместе поедем.

— Что ты, что ты, Алеша! Еще заразишься. Лучше мы встретимся завтра. Сразу после работы. Хочешь?

— Ладно,— согласился Алексей.— Только разговор у нас будет очень важный.

— Хорошо.— Катя потупилась.

Алексей выскочил на улицу и сразу столкнулся с Горбуновым.

— Зайди к заместителю директора по хозчасти,— сказал Горбунов,— получишь ордер.

— Комнату дали?

— Дали.

— Ну спасибо, Петрович! — Алексей схватил руку Горбунова, сжал ее изо всех сил.— Вовек не забуду.

— То-то.— Горбунов свирепо поглядел на него.— Не болтай другой раз лишнего. Сам, мол, с усам. Усы еще вырастить надо. А въезжать в квартиру, между прочим, побыстрей въезжай. Не тяни. Желающих много.

После обеда молоток Алексея сыпал бешеную дробь. Горновщицы и подручный едва поспевали за бригадиром. Все переменилось. И в сон Алексея уже не клонило, и то разбирательство на завкоме не казалось обидным; правильно, в общем, проработали: неважные показатели давала бригада последнее время. Алексей даже принялся напевать, сам не слыша своего голоса: «В холодных чужих океанах...» Подожди же, Володька, подожди! Ты еще запросишь пощады. Бросишь спать по пятьсот сорок минуток.

## 2

Алексей въехал в новую квартиру. Именно в квартиру. Ему дали не комнату, а две маленькие уютные комнатки, с отдельным ходом, с ванной, кухней, какими-то кладовушками и шкафами, вделанными в стены.

— Директор распорядился,— объяснил Василий Матвеевич. — Задирист, мол, говорит, все это верно. Но отличный работник. Отличному работнику не то что квартиру — дворец не жалко. Вот до каких небес тебя подымают! Ценил бы!

В переезде Алексея принимала участие вся женская половина семьи Журбиных, кроме Тони. Тоня грустила и в этих делах участвовать не хотела: Алеша уходил, и уже ничем тут не поможешь. Зато Агафья Карповна развила кипучую деятельность. Ореховый шкаф, ковровая оттоманка, один из столов, плюшевое кресло, несколько венских старинных стульев и множество других вещей стали вдруг, по ее мнению, совершенно лишними в доме, их надо было немедленно грузить на машину и везти в новое Алексеево жилище. Она заставила Алексея сходить к коменданту, взять ключи, вместе с ним осмотрела квартиру, все ее закоулки. Квартира Агафье Карповне очень понравилась: и светлая, и сухая. «Что ж, Алешенька,— говорила она, когда в распахнутые ворота палисадника въехал задом заводский грузовик и шофер с грохотом откинул тяжелый борт,— не за тридевять земель будешь жить, рядышком. Захотелось к родным, мостик перешел и — тут». Ей казалось, что она утешает Алексея, на самом же деле утешала себя. В суматохе, в хлопотах Агафья Карповна забывала о том часе, когда впервые Алексей не вернется ночевать домой, когда подойдет она к его продавленному дивану в столовой, сядет и, не стесняясь деда Матвея, заплачет — тихо и оттого особенно горько.

Но этот час еще не пришел, еще было множество дел, о горестях и не вспомнишь — поспевай управляйся. Управляться Агафье Карповне помогали Дуняшка с Лидой. Они натерли паркетные полы, расставили мебель по своему вкусу, прибили над окнами карнизы, навесили занавески. Дуняшка трудилась самозабвенно, серьезно, истово. Лида — как бы оказывая великое одолжение. Она иронически кривила губы: «Неизвестно еще, что у них будет. Поживут полгода, да и разойдутся. Сколько угодно таких

случаев. Молодые всегда ошибаются». — «Типун тебе на язык! — сердилась Агафья Карповна.— У Журбиных такого не бывало и, даст господь, не будет. Экая ты вещунья у нас, Лидия...»

Делом Алексея было только написать заявление и сходить в завком. Остальное взяли на себя другие: подхватили Журбина-младшего, забросили его на четвертый этаж незнакомого, чужого ему дома и оставили одного на постели, в гулких необжитых комнатах, где время от времени потрескивало, поскрипывало, будто по свежим паркетам кто-то ходил. На потолке, подобно маятнику, от стены к стене медленно ползали тени оконных переплетов: ветер лениво и однообразно раскачивал уличный фонарь.

Да, Алексей въехал в новую квартиру. Но что от этого изменилось в его жизни? Катя не приходила. Она присылала ему записки, в которых уверяла, что подруга все еще больна и нуждается в ее помощи. В обеденный перерыв она не сидела, как прежде, со своими бутербродами у окна, а куда-то исчезала на весь час. И в город она не ездила. Это Алексей установил, выйдя сразу после работы к троллейбусу и прождав на остановке несколько часов. А дома? Дома на звонок отворяла Маргарита Степановна и смотрела на него грустными глазами.

Неужели Катя почему-то от него прячется? Но почему? В тысячный раз задавая себе этот вопрос, Алексей даже радовался тому, что он не на Якорной, что он один и ни перед кем не надо скрывать свое настроение; не надо через силу отвечать на шутки Антона, объяснять матери, что́ с ним такое, не захворал ли часом, не надо опускать глаза под назойливым взглядом Тони и огрызаться на Лиду с ее туманными намеками на обманчивость счастья. И в то же время хотелось, чтобы пришел к нему сюда кто-нибудь такой, кто бы помог разобраться во всей этой страшной путанице, кто бы ответил— почему прячется Катя.

Конечно, можно было поступить так, как поступил его дед. Но дед знал, был уверен в том, что бабка его любит и готова на все во имя любви. А он, Алексей, разве уверен в Катиных чувствах? Он может говорить только о себе, о своих чувствах.

И он говорил о них с самим собой. На этажерке с книгами перед ним стояла фотографическая карточка Кати. Алексей долго рассматривал знакомые черты

и глаза по-девичьи серьезные. Походил по комнате, включил приемник, настроил его на Москву. Динамик пошипел, гулко выстрелил, и тогда стал слышен женский голос.

— Проклятый мир! — страстно говорил голос за пестрой желтой шторкой.— Страшные люди! Мне тяжелы ваши цепи. Я хочу воли, воли, слышите вы?

— Смирись. Уйми гордыню,— ответил другой голос, скрипучий голос старой ханжи.

Алексей прислушивался к тому, о чем повествовала старинная драма, и никак не мог понять, почему она так привлекает его внимание. У него было ощущение, будто он что-то позабыл и напрасно силится вспомнить.

Если бы Алексей в эту полночь был дома, на Якорной, ему не пришлось бы ломать голову над причиной своего странного беспокойства.

Журбины тоже не ложились и тоже слушали радио.

Антон, получив утром телеграмму из Москвы, спрятал ее и объявил, что в пять минут первого будет передаваться по радио нечто очень интересное. На завод он ушел радостный. Вечером ругал отсутствующего Алексея за то, что тот унес на новую квартиру свой радиоприемник, проверял, подкручивал, подвинчивал старенький репродуктор в столовой. К половине двенадцатого расставил перед ним стулья полукружьем. Всей семьей прослушали последние известия, которые по обыкновению комментировал дед Матвей:

— Видал я их, негров-то. Плечистые ребята. Кулаки килограммов по восемь. Чего они там издевку над собой такую терпят, не пойму! Уж и не пой, выходит, и рта не разевай, ежели ты черный.

— В Индии что́ плохо? Босиком народ ходит. Босому всегда легче на ногу наступить. Хотя как сказать: босой — он злее обутого. Начнет чесать направо и налево, держись тогда эти, как их, колонизаторы.

— А он толковый, английский батюшка, соборный-то настоятель. Вот вроде и духовной специальности человек, а мыслит правильно.

Деда Матвея не перебивали. Слушали отрывистые гудки автомобилей на Красной площади, бой часов, торжественную мелодию гимна.

Наступила пауза. Из репродуктора несся ровный свистящий шорох — шорох времени, которое стремительно летело над огромными пространствами советской зем-

ли, над городами и селами, над лесами и нивами, над волжскими стройками, над уральскими домнами, над Кремлем, над Ладой, над крышами Старого поселка.

Антон заметно волновался. Он шагал по комнате, поскрипывал его протез.

В пять минут первого началось то, что в радиопрограммах называется: «Театр у микрофона». Ведущая объявила название пьесы, которая давалась в отдельных сценах, и состав исполнителей.

— Верочка! — воскликнула Агафья Карповна, услышав фамилию «Барабина». — Что же ты молчал, Антоша?

Замерли Дуняшка, Лида, устремив глаза на репродуктор; подперев голову ладонями, шевелил бородой дед Матвей; черенком позабытого на столе ножа вычерчивал на скатерти восьмерки Костя; Виктор следил за однообразными движениями Костиной руки,— эти движения мешали ему слушать; Антон стоял позади Агафьи Карповны и чуть ли не при каждом слове Веры касался плеча матери: слышишь, мама, слышишь?.. Тоня глядела на Антона, вместе с ним улыбалась, вместе с ним хмурилась, вместе с ним была счастлива. Илья Матвеевич сидел, сцепив на животе пальцы и закрыв глаза.

— Молодец! — сказал он, когда передача была окончена.

Все видели, как сильно растроган отец.

— Пошли ей завтра телеграмму, объясни: слушали, мол,— продолжал он, подымаясь со стула.— Поклон передай...

— Понимаешь,— словно оправдываясь, заговорил Антон,— жалко было смотреть, как мучилась без настоящего дела. И вот, кажется, нашла его. Это первое ее выступление по радио. Дебют.

— Правильно сделала, правильно, Антоша. Миллион народу ее слушало сейчас.

— А что? — Дед Матвей поднял голову.— Воли-то она достигла. Не сдалась.

На другой день, выйдя на площадь после работы, Алексей остановился возле памятника Ленину, рассматривал цветы, окружавшие пестрой клумбой гранитный постамент. Куда идти? Прямо, через Веряжку, в свою квартиру, или налево, на Якорную? О встрече с Катей

можно было уже не думать. Давно убежала домой, спряталась.

Мимо Алексея проходили знакомые и незнакомые. Вот не прошла, а промчалась инженер Зина Иванова. Она его не заметила. Вот председатель завкома Горбунов, высокий, сутулый, на ходу рассуждает сам с собой. «Не выйдет так, товарищ директор!» — услышал Алексей, но что́ не выйдет — не разобрал. Вот где-то в толпе засмеялась тетка Наталья,— ее смех не перепутаешь ни с чьим другим.

Площадь пустела, Алексей все стоял перед клумбой. И он увидел Катю. Она быстро шла прямо на него. Алексей рванулся ей навстречу — наконец-то!

Но что произошло? Катя вдруг резко повернула в сторону, бросилась бежать к троллейбусной остановке и, расталкивая очередь, вскочила в троллейбус. Алексей так и замер на полушаге. Значит, она спешила не к нему и встреча с ним ее испугала? Значит, все правда: избегает, не хочет видеть? Алексей снял фуражку, и ветер с моря, как гребень, скользнул по его волосам, смахнул со лба мягкую прядь. Впервые в жизни в душе Алексея властно шевельнулась возмущенная мужская гордость. «Не выйдет так, товарищ директор!..» — бессознательно повторил он слова Горбунова, надел фуражку и, не взглянув на троллейбус, который увез Катю, быстро зашагал к Якорной. Вся любовь, вся нежность к Катюшке, которыми Алексей был только что переполнен, разлетелись, как туман под ветром, и вновь перед ним открылся мир, долгое время затянутый этим туманом. На Ладе начинаются громкие дела, быть в них Алексею одним из первых — последними Журбины в больших делах никогда не бывали,— а тут девчонка, маменькина дочка... «Нет, не выйдет, не выйдет!..» Алексей вспомнил слова деда Матвея о каком-то дружке отца Оське Сумском, которому, как сказал дед, крутила голову юбчонка и который убил и ее и себя из нагана. Вспомнил и зло усмехнулся: много чести, Екатерина Алексеевна Травникова!

Он вошел в родительский дом как ни в чем не бывало, показал Тоне фокус со спичками — из шести спичек построил четыре треугольника, подразнил ее Игорем, повертелся на турнике.

Сели ужинать. Было видно, что Агафью Карповну гнетет какой-то вопрос,— она поглядывала на Алексея, подходила к нему, отходила, вновь подходила, добавляла жа-

реной рыбы и картошки в тарелку. Набралась-таки решимости, спросила:

— Свадьбу-то когда праздновать будем, сынок?

— Когда невесту найдете,— небрежно ответил Алексей.

Агафья Карповна приняла его слова за шутку.

— В общем, жениться я, мама, не буду, и незачем на эту тему говорить.— Алексей продолжал держаться того же бодрого тона.

— Объяснись,— сказал Илья Матвеевич, откладывая в сторону вилку.— Натворил что или как?

— Ничего никто не натворил. Непонятные вопросы. Ну, гуляли, гуляли, а характерами не сошлись. Не бывает так, что ли?

Илья Матвеевич разглядывал Алексея долгим, тяжелым взглядом.

— Бывать всякое бывает.— Он встал из-за стола.— А ну-ка пойдем ко мне, приятель, поговорим.— И грузно зашагал по коридору в свою комнату. Алексей пожал плечами и пошел следом за отцом.

В столовую Илья Матвеевич вернулся минут через пятнадцать один.

— Плетет ахинею,— сказал он, ни к кому не обращаясь.— Ни слову не верю. Дело ясное: обманул девчонку, а теперь крутит про характеры. Как так — не сошлись! — Илья Матвеевич стукнул кулаком по столу, плеснулся чай из стаканов и чашек.— Кто воспитал его? Ты, мать? Нет тебе славы за это! Не водилось до него подлецов среди Журбиных.

— Успокойся, отец,— сказал Антон.— Так просто о сердечных делах судить нельзя.

— Да разве у него сердечные дела? Паскудные у него дела!

Тоня тихо встала и выскользнула в коридор, побежала искать Алексея. Она нашла его на огороде, куда он вылез через окно. Алексей жевал стручки сладкого гороха.

— Орет? — спросил он.

— Очень сердится.

— Понимаешь, еще и за ухо дернул. Погляди-ка, красное?

— Нисколько,— соврала Тоня. Ее почему-то очень радовало событие, такое тягостное для отца. И не почему-то, а совершенно определенно почему: любовь у Алексея с Катькой разладилась, Алексей понял, что Катька ему не

пара, и жениться он не будет. Как ни старалась Катька, ничего у нее не вышло.

— Алеша, я тебя очень люблю, очень! — Тоня обняла Алексея.

— Хорошая ты девчонка. Только не лезь целоваться.— Алексей снял ее руки со своей шеи.— Всю щеку обслюнявила...

— Что бы нам придумать? — Тоня была так рада возвращению прежних дружеских чувств Алексея к ней, что даже об Игоре забыла. Для нее существовал в эти минуты только Алешенька.— А знаешь что — пойдем на рыбалку, а? — предложила она.

— Вот правильно придумала! — Алексей оживился.— Посидим зорьку. Неси лопату и банки для червей.

Полчаса спустя они взобрались на гнилые обломки старых речных пирсов выше завода, под которыми в ямах стояли крупные прожорливые окуни.Синяя вечерняя Лада могуче несла свою прозрачную воду в залив. Крутились быстрые воронки на стремнинах, ломая отражения редких розовых облаков и проходящих буксирных пароходов. На заводе ухала паровая баба копра и тарахтели пневматические молотки на кораблях. В достроечном бассейне корабли стояли тесно, как стадо гусей на деревенском пруду, и были похожи именно на гусей. Одни — еще без мачт — будто опустили под воду свои головы и выискивали пищу в донной тине, их голые палубы блестели в отсветах закатного солнца, подобно гладким спинам птиц. Другие горделиво задрали шеи мачт к небу и посматривали на окружающее с гусачьей важностью. Третьи, пришедшие в ремонт, уже наполовину разоруженные, общипанные, выглядели жалко, — в птичьей стае всегда есть такие, которых все клюют.

Сравнение кораблей с гусями пришло в голову Тоне. Тоня сказала об этом Алексею.

Алексей обернулся в сторону завода, огромного, как город, с трубами, башнями и даже дворцами — так выглядело главное здание, в окнах которого на третьем этаже, где был расположен плаз, уже зажглись огни,— и засмеялся:

— Хороши гуси! Подожди, на будущий год стадо прибавится.

Он стал рассказывать о новом правительственном задании. Тоне было интересно то, о чем рассказывал Алексей,— рабочие семьи исстари жили интересами завода,

и все, волновавшее взрослых, в той или иной мере волновало и детей. Когда Тоня была маленькая, когда носила Илье Матвеевичу обед в узелке, в ту пору не только директор Иван Степанович, а и в семье думали, что она тоже пойдет по корабельной части. Она и сама так думала, но год назад увлеклась трудами Мичурина и поняла, что быть ей не кораблестроителем, а биологом. Но интересы семьи оставались по-прежнему и ее интересами, увлечения биологией их не могло заслонить.

— Значит, и народу прибавится,— сказала она, выслушав Алексея.

— Зачем? Сами справимся.— И он вновь подумал: как мелко и незначительно то, что по отношению к нему сделала Катя, в сравнении с будущими, предстоящими ему делами.

Подумал и помрачнел. Напрасно Тоня пыталась его о чем-то спрашивать, что-то ему рассказывать — он, казалось, ее и не слышал. Тоне вновь стало очень грустно. Противная Катюшка! Конечно, она, она во всем виновата; конечно, о ней думает Алеша.

## ГЛАВА СЕДЬМАЯ

### 1

Живет человек, ходит изо дня в день, из года в год на службу или на работу, исполняет привычные обязанности — хорошо исполняет, кажется лучше уж и нельзя, и как бы уже достиг он предела своих возможностей, занял то место в жизни, которое определено ему его способностями.

Но вот в какой-то день выдвигают его на другую должность, поручают более сложное, более ответственное дело. Отличного токаря ставят мастером, инженера из цеха приглашают быть главным инженером завода, рядового пахаря избирают председателем колхоза, рядового учителя физики берут заведовать районным или городским отделом народного образования. Происходит крутой жизненный поворот. Новые, до того дня скрытые и неизвестные не только окружающим, но даже и ему самому качества пробуждаются в человеке. Изменяется весь ритм

его жизни — и рабочий, и служебный, и домашний. Необходимы новые знания, новые навыки, новые книги, возникают новые знакомства, раздвигаются, становятся шире интересы. Человек делает шаг вперед, а всякий шаг — независимо от того, большой он или маленький,— требует напряжения, требует усилий, энергии; энергия, в свою очередь, порождает творчество, потому что истинное творчество возможно только в движении.

Так бывает не только с отдельным человеком, но и с группой людей, с коллективом, перед которым поставлены новые задачи. Так произошло и с целым заводом на Ладе.

Каждое утро в город, к вокзалу, мчались грузовики и возвращались с людьми, которые неторопливо, деловито складывали на площади возле памятника Ленину сундучки и видавшие виды, перевязанные толстыми веревками чемоданы, закуривали, осматривались, ожидая работников отдела кадров и комендантов общежитий. Не впервой приходилось им приезжать в незнакомые места. Вот так же, степенно покуривая, сидели они когда-то на своих сундучках среди горячих просторов Южного Урала, — после их отъезда там, в степях, оставались новые города и домны. Так же окидывали опытным глазом днепровские берега, которые им предстояло соединить плотиной Днепрогэса, так же появлялись на Севере, на Алтае, в пустынях Прибалхашья, на Амуре,— и советские картографы, придя в эти места после них, вынуждены были переделывать и перепечатывать географические карты страны.

На заводские дворы пришли каменщики, арматурщики, плотники, бетонщики. К пирсам причаливали баржи с кирпичом, с бочками цемента, с грудами гравия и песка, с пакетами досок и бревен, с грузом арматурного железа и тавровых тяжелых балок. Возникали дощатые помосты для камнедробилок и бетономешалок. Своим присутствием строители как бы предупреждали корабельных дел мастеров: завтра вы должны будете работать иначе, учитесь этому сегодня.

Уже миновала пора, когда Александр Александрович спорил с Ильей Матвеевичем по поводу электросварки и отстаивал клепку. Александр Александрович понял, что не только клепке пришел конец... Готовилось что-то такое, чего душа старого мастера не принимала, и это «что-то», как ни обидно, возглавил Антон, Антоха, который

азам кораблестроительной науки учился у него, у Александра Александровича.

Но мог ли Антон Журбин принимать в расчет чувства и привязанности старика Басманова? Отправляясь на Ладу, Антон уже знал о том, что правительство готовит решение о новой программе заводу, о реконструкции завода и о том, что в основу огромной работы будет положен проект, в составлении которого он участвовал под руководством профессора Белова. Два с половиной года он только и жил этим проектом. Он был всем сердцем привязан к заводу, на котором вырос и возмужал. Он ни на минуту не забывал его стареньких цехов — ни в боях, ни в госпитале, когда сочинял песню о кораблях, плывущих в холодных чужих океанах под огненным флагом, ни в институте.

Он любил бывать в «голубятне» тетки Натальи — в кабине стапельного крана, куда его подымал элеватор. Любил смотреть оттуда на завод, на стапеля, на которых, окруженные лесами, стояли корпуса кораблей — вот-вот сорвутся с места и по стапельным дорожкам скользнут в воду; смотреть на Морской проспект в липах; на стеклянные кровли, по гребням которых ходили пожарные и из брандспойтов смывали копоть с толстых стекол; на квадраты складов леса и корпусной стали; на бетонные стенки причалов, зеленые от водорослей у воды и коричневые поверху от мазута и машинного масла. Всюду гром, гул, вспышки электрических дуг и автогенных огней.

Вот так одним сентябрьским днем стоял Антон в теткиной «голубятне» и неотрывно рассматривал картину, виденную-перевиденную, но всегда для него новую и прекрасную. Он прикидывал на глаз изменения в планировке территории, которые произойдут в результате осуществления проекта. Хаотичность расположения цехов, оставшаяся от прошлого как следствие стихийного роста завода в различные периоды его истории, исчезнут. Параллельно Морскому проспекту появится новый проспект. Он пойдет ко второй паре стапелей; они уже строятся. Корпусный цех будет раздвинут, каменщики уже тянут фундаменты на восток и на запад; заготовительные цехи и мастерские встанут в линию, через них пройдут пути непрерывного потока материалов, заготовок, собранных секций...

— Здóрово будет, тетя Наташа! — сказал он.

— И так здóрово. Чего тебе еще?

Не понимала тетка его восторгов. У нее были свои заботы. Клавдия Наметкина, крановщица с башенного крана, начинала в последнее время брать над ней, Натальей Карповной, верх. Обидно же! Клавке до двадцати лет целого года не хватает, девчонка, а дерет свой веснушчатый носишко что герой труда, еще и в газете хвалится успехами. Осадить бы такую надо, на должное место поставить, яйца курицу не учат.

Антон переменил тему разговора; поговорить было можно — кран стоял без дела уже более получаса. Наталья Карповна злилась:

— Всегда так спланируют. То вертись, успевай, а то сиди, песни пой. Паршиво вы, начальники, планируете.

— Потерпи, тетечка, лучше будем планировать. Дай срок.

— Будет вам и белка, будет и свисток. Так, что ли?

— Приблизительно. Ты мне вот что скажи лучше... Почему замуж не выходишь?

— Уж и не знаю даже почему...— Тетка вздохнула.— Только, видно, никогда и не выйду. После Пети моего никого знать не хочу. Попеть, поплясать, наливочкой потешиться — это я... пожалуйста. Компанию люблю, всегда ей рада, если компаньоны по душе. А сердечными делами кидаться — это пусть другие. Вот весь мой тебе ответ. Понял теперь?

— Понял, тетя Наташа. Прости, что заговорил об этом.

— Нечего прощать. Дело житейское. У Алешки тоже, смотри, какая ерунда получилась. Вот-вот, думали, женится. А дура эта, Травниковой дочка, с заведующим клубом вдруг загуляла. И винить ли ее — не поймешь.

— Разве так? — удивился Антон.— Дома у нас иначе считают. Говорят, сам Алексей накуролесил.

— Послушать ваших! Они у тебя вроде святых, ничего вокруг не замечают. Знаю я вас, Журбиных. Шагают все вместе косяком, держат друг друга плечами, а кто устроен по-другому, такого и понимать не хотят. Разве только Василий... тот умеет заглянуть в человеческую душу. Марья его какая была? А пожила с ним годик, второй, третий — и другим человеком стала... А вы...

Антон хотел что-то возразить, но только усмехнулся и смолчал.

— Да, да, ты со мной про Алексея не спорь. «Сам накуролесил!» — продолжала Наталья Карповна.—

«Сам»! Я-то знаю, мне можешь верить, как себе. Отбил невесту у Алешки этот дядя. Ничего удивительного: мужчина бывалый, опытный, трудно ли такому молодцу задурить девчонкину голову?

В «голубятне» зазвонил телефон. Наталья Карповна сняла трубку с крючка аппарата.

— Тебя,— сказала она.— Директор ищет.

Антон вошел в кабину элеватора и помчался вниз. Рассказанное теткой не выходило у него из головы. «Молодец Алешка,— думал он о брате.— Такая беда у парня, а держится. Другой бы крылья опустил». Помочь Антон никому ничем не мог — ни брату, ни тетке,— в этих делах помощи со стороны нет; будут ли они счастливы или несчастливы, зависит только от них самих.

Когда Антон вошел в кабинет директора, все места там на диванах, в креслах, на стульях были заняты. Он увидел главного инженера, главного конструктора, главного технолога, начальников цехов, сменных инженеров, мастеров, Зину Иванову, которая была среди них единственной женщиной. Главный конструктор Корней Павлович потеснился на диване, Антон сел рядом с ним.

— Антон Ильич,— сказал Иван Степанович,— полагаю, что и вам будет интересно послушать нашего товарища. Он ездил на юг и вот вернулся, хочет доложить о результатах поездки. Ваше слово, товарищ Скобелев... Все, кажется, собрались...

Скобелев, загорелый, в светлом костюме, в белой шелковой рубашке с расстегнутым воротом, выглядел так, будто он два месяца провел не в командировке, а на курорте, где-нибудь в Сочи или в Гаграх. Он откинулся поудобней в кресле, заложил ногу за ногу и перелистнул несколько страниц толстой тетради в черном коленкоре.

— Значит, так... Предупреждаю: ничего особо нового вы, товарищи, от меня не услышите. Применение электросварки у нас на заводе и на других заводах различно только в масштабах и в организации дела. Мы варим палубные настилы, часть набора, палубные надстройки, мачты, переборки. Они варят весь набор и обшивку корпуса судов. И то не везде и не всех тоннажей. Полагаю, мы одними из первых беремся за цельносварные конструкции кораблей крупного тоннажа, какой определен профилем нашего завода.

— Почему же одними из первых? Это не точно,— перебил Скобелева Антон и на память привел названия

несколько океанских кораблей, построенных на советских заводах целиком с помощью сварки.

— Да? Возможно,— ответил Скобелев и вновь углубился в свои записи.— Во всяком случае, впереди у нас большие трудности. Возьмем потолочные швы. Таких автоматических аппаратов, которые ходили бы по потолку, в природе еще нет. Способностью ходить по потолку обладают пока только насекомые, да и то не все. Антон Ильич Журбин меня, наверно, перебьет и скажет, что существуют кондукторы и что на них секцию, поставленную под сварку, можно вертеть в любых направлениях и потолок делать полом. Но как, Антон Ильич, быть, когда мы перенесем готовые секции на стапель, где вертеть их уже нельзя? Как мы там станем соединять?

— Шланговые полуавтоматы,— сказал Антон.

— Ага! Вот о них-то я и поговорю подробней, о шланговых полуавтоматах. Они, в известной степени, новинка.

— А мы эту новинку освоили довольно успешно еще полгода назад, — заметил главный технолог.

— Тем лучше.— Скобелев держался с достоинством. Ничего иного ему и не оставалось. В командировку он уезжал под свежим впечатлением от разговора с Жуковым, преисполненный самых благих намерений собрать все, какие только есть в стране, кораблестроительные новшества, уже вошедшие или входящие в практику родственных предприятий. Он искренне к этому стремился, хотя бы только потому, чтобы показать людям, недовольным его работой, что они в нем ошибаются, что он вовсе не такой, каким они его считают. Но, приехав на Черное море в нестерпимую летнюю жарищу, в пору фруктов и курортников, он сбился с пути, определенного ему командировочным удостоверением, его увлекла беспечная пляжная жизнь, пароходные экскурсии на побережье Крыма и Кавказа; заводы были позабыты.

Так прошло полтора месяца. Скобелев обеднял, распродал свои галстуки, рубашки, именуемые на галантерейном языке бобочками, зеленую велюровую шляпу, португальские подтяжки, добрался до золотых часов, которые достались ему в наследство от отца. Все ресурсы были исчерпаны, и тогда он бросился на один завод, на другой, промчался по ним метеором; проезжая через Москву, забежал в министерство, посидел в технической библиотеке, на какой-то выставке попросил, чтобы ему

продемонстрировали работу сварочных аппаратов, вооружился там же брошюрками и по дороге на Ладу, в вагоне, сочинил доклад. Он понимал, что докладец его жидкий, уязвимый со всех сторон, и чем яснее это понимал, тем становился самоуверенней и невозмутимей. Двум смертям, дескать, не бывать, а одной не миновать. Но изо всех сил старался избегнуть и одной смерти. Защищался.

О похождениях Скобелева никто, конечно, не знал, никто не подозревал его в недобросовестности, всем казалось: напрасно, мол, в такую ответственную командировку послали такого некомпетентного человека.

Инженеры и мастера переглядывались, вертели в руках карандаши и автоматические ручки, их блокноты и записные книжки были давно закрыты.

— Н-да...— сказал вдруг Корней Павлович и зевнул. Заядлый рыболов, он так же однажды сбился с пути, определенного ему, правда, не командировочным удостоверением, а санаторной путевкой. Корней Павлович пересел в Жданове с поезда на пароход, чтобы Азовским морем переплыть в Керчь, а затем машиной махнуть через крымские степи в Ялту. Но ни в Керчи, ни в крымских степях Корнея Павловича не увидели. Взошел человек на пароход, да и сгинул посреди мелководных азовских зыбей.

Чуть ли не все деньги, какие он оставил семье на месяц жизни, жена истратила на телеграммы. Она телеграфировала всюду — вплоть до уголовных розысков Симферополя и Ялты. Неизвестность длилась до тех пор, пока беглый супруг не соблаговолил сам открыть свое местопребывание. А пребывал он под косыми, дочерна просмоленными парусами рыбачьих байд и каюков в колхозе на Ахтарийском побережье. Сошел с парохода во время стоянки, увидел в садках двадцатипудовых белуг, у которых, как в районной газете было написано, «одной паюсной икры килограммов пятьдесят», и позабыл о Ялте, санатории, путевке и даже о семье.

Зевок Корнея Павловича как бы послужил знаком Скобелеву. Он закончил доклад.

— У кого есть вопросы? Кто хочет высказаться? — спросил Иван Степанович.

— Какие же вопросы? — ответил за всех Корней Павлович.— А высказываться?.. Собственно говоря, высказываться не о чем. Все, что мы здесь выслушали сейчас, можно найти в любой памятке электросварщика.

Иван Степанович хмуро согласился:

— Ошиблись, товарищи, ошиблись мы. Не специалист в этом деле Евсей Константинович. Ну а что́ было делать? Одному предлагаю поехать, другому... Отнекиваются, отказываются: работы по горло, не справляюсь, и так далее. Товарищ Скобелев, надо отдать ему должное, не крутился и не вертелся, поехал с большим желанием. И не он в конце-то концов виноват, если не так, как надо, вышло. Мы с вами виноваты. И я лично. Полиберальничал.

— Стыдно, Евсей Константинович! — сказала Зина, спускаясь вниз за Скобелевым по лестнице.— За вас стыдно!

— Не специалист,— уныло ответил Скобелев словами директора. Ему тоже было нестерпимо стыдно. Пусть бы лучше его изругали, он бы сумел тогда ответить. А то переглянулись с какой-то обидной жалостью...

Скобелев разошелся с Зиной под липами и побрел по заводу. И от того, что он видел вокруг себя, ему становилось еще хуже на душе. Каменщики в холщовых, испачканных известью фартуках, мускулистые арматурщики, коренастая курносая девчушка возле бетономешалки на помосте, шофер самосвала, выглядывающий из кабинки,— все они захвачены делом, все они издалека, может быть, из-под Владимира, из-под Вязьмы, из Кирова приехали на Ладу перестраивать завод кораблей, которых ждет страна. А он... что сделал он?

Скобелевым овладело уныние. Он подумал о той поре, когда вместе с Виктором и Зиной работал над станком. Хорошая была пора! Он искренне увлекся изобретением Виктора, были минуты, когда Скобелев ощущал это изобретение как свое собственное.

Скобелева потянуло туда, где до отъезда в злосчастную командировку он испытал лучшие минуты в своей жизни,— в мастерскую к Виктору. Он вошел в нее, остановился возле двери. На верстаке сверкал полировкой станок, изготовленный уже из металла. Возле станка хлопотали Виктор и — как только поспевшая сюда? — Зина. Значит, и от этого дела его отстранили,— и так отстранили, что даже и не вспомнили о нем, когда дело было завершено.

Он сжался, будто от удара, когда, заметив его, Виктор воскликнул:

— Евсей Константинович! Приехал! Угадал вовремя. Сейчас испытывать будем!

Виктор так крепко стиснул руку Скобелева, как стискивают только очень хорошим друзьям, которым очень рады. Было заметно, что он волнуется. Его детищу предстояло совершить первый шаг: для этого надо было лишь поворотом буковой рукоятки включить мотор.

Он повернул рукоятку. Мотор заработал. Со звоном пошла, помчалась дисковая пила, сливаясь в зыбкий сверкающий круг.

Зина, которая минуту назад недовольно смотрела на Скобелева, как бы спрашивая: зачем тебя сюда принесло, кому ты нужен? — закричала:

— Победа, Виктор Ильич, победа! Полная победа!

Скобелев даже забыл о своем докладе. Он схватил двухдюймовую доску, двинул ее под зубья пилы, и доска почти мгновенно распалась надвое.

Виктор нетерпеливо оттеснил его от станка. Виктор менял инструмент за инструментом, запускал дрель, фуганок, шкуровочную машину, токарное приспособление, фрезу, с помощью которой на соединение двух досок в шпунт уходили минуты, а не часы, как бывает при ручной работе. Виктор строгал, вытачивал, выпиливал; на верстаке и под верстаком росли груды обрезков, завитушек из пахучего дерева, многоугольников, фигурных балясин, гладких, обработанных шкуровкой шаров и шариков. Он давал своему станку задания одно сложнее другого; он испытывал все возможности станка. Почти год только они и заполняли его существование. В последние месяцы Виктор едва-едва справлялся с дневными нормами, и его имя исчезло с цеховой доски передовиков. Он шел, как ледокол через торосы: движение медленное, машины перенапрягаются, расход топлива огромный и, с первого взгляда, непроизводительный.

Но как же непроизводительный, если впереди открытая вода и свободное большое плавание, если ты не один выбьешься на простор, а проложишь дорогу другим? Вот она, эта дорога!

Виктор опустился на табурет и, забыв пожарные правила, закурил среди опилок и стружек. Руки его дрожали.

— Поздравляю, Виктор Ильич! — сказал Скобелев.— Отличная машина. Столяры Советского Союза ее оценят.

— И вас поздравляю, товарищи! — ответил Виктор.— Работа совместная.

— Значит, и мы пахали?.. — На лице Скобелева Зина увидела непривычную для него улыбку, какую-то грустную и растерянную.

## 2

Илья Матвеевич перед зеркалом повязывал галстук. Плетеная пестрая полоска сопротивлялась, не уступала его пальцам, будто была не из мягких шерстяных ниток, а из упрямого арматурного железа. Она свертывалась в неуклюжие кривые узлы.

Обычно Илья Матвеевич носил под пиджаком просторные косоворотки из холста или толстый синий свитер — в зависимости от времени года. На беду ему сшили этот костюм... Слов нет, в новом костюме Илья Матвеевич и стройней, и осанистей, и вообще вроде как бы моложе. Но как с таким роскошным пиджаком совместишь свитер или косоворотку? Да и Агафья с Тонькой в одну дуду дудят: в театр без галстука нельзя; раз в полгода собрался, покажись людям в достойном виде.

Он топтался перед комодом, на котором стояло зеркало, мял, дергал, крутил галстук, слышал, как в кухне Тоня говорила подруге: «Не могу, Валечка, сегодня. Мы с папой, с мамой на «Фауста» едем. Московский театр ставит».

— Антонина! — окликнул он свирепо.

— Есть, папочка, Антонина! — Тоня появилась на пороге.

— Какого лешего тут делать надо — объясняй! Никуда, видно, не поеду.

— Как — какого лешего? Очень же все просто. Сначала вот так... потом — вправо... потом — влево... и наконец сюда.

— «Вправо-влево» и без тебя известно. А куда «сюда»? Ну куда, куда?

Илья Матвеевич вновь сорвал галстук. Надулись жилы на могучей шее, с треском отлетела перламутровая пуговка от воротничка.

— Езжайте одни с матерью! Мефистофель! — Илья Матвеевич шевелил бровями. — Опера про черта. Придумают же!

— Что ты, папочка! Это гениальная поэма. Ее Гете написал. Великий поэт.

— Великий поэт? А почему ты больше отца знаешь? Отсталый он у тебя? — Илья Матвеевич усмехнулся.

— Папочка, неправда! — Тоня замотала головой.— Все, что знаю я, каждый может узнать очень легко. Мои знания в двух десятках школьных учебников. А твои!.. Мне сто лет надо прожить, чтобы узнать столько!

— До чего же хитрая ты, дочка! Ну, давай показывай снова: куда налево, куда направо? Пуговку потом пришьем.

Вошла Дуняшка, положила на подоконник большую желтую тыкву, смеющимися глазами смотрела на Илью Матвеевича, на его костюм, ботинки, галстук.

— Гардеробом занимаетесь,— сказала она.— А у нас гость в огороде ходит.

— Что еще за гость?

— Посмотрите сами. Чего я вам буду говорить, когда вы злой хуже тигра.

В огороде Илья Матвеевич увидел профессора Белова. Старик, удивительно похожий на Александра Александровича, худой, седенький и задиристый, рассматривал тыкву, на которой летом Тоня выцарапала булавкой свое имя, и теперь эта надпись разрослась, стала огромной.

— Сестренка себя увековечила, — смеясь, объяснял Антон.

— Та самая? Кораблестроительница?

— Та...

Илья Матвеевич и Белов уже были знакомы, — Антон знакомил их на стапелях на второй день после приезда из Москвы. Тогда же выяснилось, что Белов прекрасно помнит Александра Александровича. Профессор и мастер долго сидели на пирсе, вспоминали Ленинград, какие-то лесовозы, которые они строили вместе. Илья Матвеевич смотрел на них со стороны, прислушивался к их разговору и думал: «А он вроде бы и нашей компании, этот профессор».

Белов ткнул носком ботинка в бок розовой, как поросенок, тыквы, осведомился: «Пудика полтора-два, наверно?» Увидев Илью Матвеевича, приподнял шляпу:

— Добрый день, добрый день! Вникаю в суть огородных таинств. Между прочим, совершенно неосновательно вы обижаете вашу супругу, отвергая фасоль. Прекраснейший пищевой продукт, с богатейшим содержанием белка.

Довольная Агафья Карповна чуть заметно кивала головой при каждом слове Белова о фасоли.

— Разная точка зрения на предмет,— сказал Илья Матвеевич. Он уже позабыл о злосчастном галстуке, был рад приходу Антонова начальника, как он мысленно называл Белова.

На дворе задувал порывистый ветер с моря, нес какой-то пух с отцветших трав и цепкую паутину. Илья Матвеевич пригласил гостя в дом. Антон задержался с Агафьей Карповной.

В столовой Белов сел в кресло деда Матвея. Оно пришлось ему, видимо, впору, профессор откинулся в нем, как бы отдыхая после долгого пути.

— Уезжаю,— заговорил он, поблескивая очками.— Зашел попрощаться. Конечно, еще не раз придется побывать в ваших краях. Но сейчас здесь нужды во мне пока что — или, вернее, уже — нет. Антон Ильич будет представлять наш институт на заводе. Да, Илья Матвеевич, не в порядке комплимента скажу: вырастили вы талантливого инженера.

Илья Матвеевич кашлянул, сурово посмотрел в окно, будто хотел увидеть там того, о ком шел разговор.

— Не молод ли?

— Все наше государство молодо, Илья Матвеевич. Однако молодость эта нам не в упрек.

— То государство, а тут человек. Человек созреть должен.

— Что значит созреть? — возразил Белов.— Он не тыква. Не числом прожитых лет определяется созревание человека.

— Ну это еще как сказать! — Илья Матвеевич нахмурился, забарабанил пальцами по столу.— А опыт-то, он что? Он разве не годами дается?

— Опыт?.. Да, опыт — великая ценность. Но опыт еще далеко не все, что надо хорошему специалисту, особенно в наше время. Необходимы громаднейшие теоретические знания. Вот недавно я осматривал автоматический завод в Москве. Представьте себе, целый завод, на котором двое или трое рабочих. Он выпускает поршни для автомобилей. Все операции автоматически выполняют машины — от литья до упаковки готовых изделий в ящики. Какой же, спрашивается, был опыт у людей, создававших этот завод? Где до этого существовал такой завод? Нет, не опыт, а творческая фантазия, основанная на тео-

ретических знаниях, породила первый в мире завод-автомат. Его же надо было сначала увидеть в уме. А увидеть его можно было только сквозь тысячи тысяч цифр и сложнейших расчетов. Сквозь теорию. Да, теорию!

Илья Матвеевич хмурился все больше, все больше мрачнел.

— Между прочим,— сказал он,— если приводить примеры, приведу их и я. В кораблестроительном деле был человек... теории он не знал, потому что даже сельской школы не окончил. А знаменитый получился из него инженер. Про Титова слышали, конечно?

— Петра Акиндиновича? — Белов пристально и хитро посмотрел на Илью Матвеевича, поднял очки на лоб, прищурился.— Правильно, правильно. Замечательный практик. Самородок. Но его путь был трудный и долгий, Илья Матвеевич. Зачем в наше время ходить такими путями? Еще когда — в прошедшем веке — великий русский поэт сказал: «Учись, мой сын. Наука сокращает нам опыты быстротекущей жизни». Кстати, о Титове я вам кое-что расскажу несколько позже. Сейчас продолжим разговор принципиальный. На днях я был до крайней степени возмущен. В вашем городе живет мой друг детства, учились вместе в гимназии, теперь он профессор математики. Его сын, окончив десять классов, поступил к вам на завод рабочим. Что же это такое? Причем отец занимает какую-то примиренческую позицию. Что́, говорит, я могу поделать? Пусть мальчик сам выбирает себе дорогу,— ему жить. А я бы взял да и выпорол этого мальчика! Мы, отцы, обязаны руководить поступками своих детей.

— Извиняюсь.— Илья Матвеевич решительно перебил Белова.— А что же тут неладного, если парень поварится в рабочем котле?

— Как что! После десяти лет школы — и что-то паять! Да через пять-шесть лет из него мог бы получиться прекрасный инженер. Он, негодяй, время теряет. На него государство народные деньги тратило, а он...

— Получается, по-вашему,— Илья Матвеевич усмехнулся, — человек становится рабочим только потому, что у него нету способностей.

— Я этого не говорил. Странный у вас вывод.

— Нет, сказали, сказали, чего там! Уж вы обождите, закончу свое... А ведь ваше такое мненьице крепко ошибочное. Полагаю, газеты читаете? Читали, к примеру, весной о лауреатах Сталинской премии? Там тебе токарь-

скоростник, там тебе слесарь-лекальщик, там тебе сварщик из депо... Они не только *паяют,* — Илья Матвеевич покрутил бровь,— они новые станки создают, новые приспособления, новые методы труда.

— Значит, я прав! — сказал Белов.— Ваши примеры свидетельствуют о том, что этим людям уже не рабочими надо быть, а техниками, инженерами.

— Почему это сразу техниками да инженерами? Пусть поработают.— Илья Матвеевич снова начал мрачнеть.— Вот они, руки! — Он показал свои большие, в рубцах и шрамах, широкие ладони.— Я ими без малого десяток крупных кораблей построил. Мелких и не сосчитать. И скажу: не я, рабочий, к инженерам, а инженеры ко мне, к рабочему, советоваться ходят.

Белов кашлянул. Этот осторожный, в руку, кашель показался Илье Матвеевичу почему-то очень обидным. Илья Матвеевич услышал в нем недоверие к своим словам, будто профессор не кашлял, а говорил: «Не хвастаете ли вы, товарищ Журбин?» Илья Матвеевич рассердился на все сразу: и на Белова, и на себя, и на дурацкий галстук, который глупо свешивался с комода, и на Агафью Карповну с Тоней, зачем придумали этот театр. Не торчал бы тогда битый час перед зеркалом, а ушел бы к Александру Александровичу, и не надо было бы с этим профессором заниматься словесной путаницей.

— И копейки весь спор не сто́ит, — заговорил он зло.— Чего спорить! Хочет этот парень быть рабочим,— значит, призвание такое, значит, понял место рабочего класса на земле. Что такое рабочий класс? Он все классы ведет за собой. Он все может. Он — главная сила. Вы, товарищ профессор, боитесь за сына вашего приятеля: пропадет, назад начнет двигаться... Нет, в рабочей семье он не пропадет, он сил наберется, а после из него может такой специалист получиться, что всех нас удивит. Про Антона говорите: талантливый! А он — что? Он сначала судосборщиком был. Пропал? Нет, не пропал.

— Не могу, не могу, Илья Матвеевич, никак не могу с вами согласиться. Абсолютно неправильно это — окончив десять классов, не учиться дальше. Заскок какой-то у всех у вас — и у вас лично, и у моего друга Червенкова, и у его сына.

— У Червенкова? — спросил Илья Матвеевич удивленно.— Значит, это про Игоря?

— Вы его знаете?

— А как же! Толковый парень.

Вошел, прихрамывая, Антон. Илья Матвеевич и Белов посмотрели на него невидящими глазами — каждый из них думал свое,— разговор, в котором никто уступать не собирался, прекратили.

Илья Матвеевич проводил Белова до калитки, а когда возвратился в дом, вспомнил, что гость хотел рассказать ему о Титове, да вот не рассказал,— и разбушевался.

И тыквы оказались не там, где надо, сложены, и обед запоздал, и ботинки жмут — пересушили их, что ли? — сколько раз учил, не ставьте на печку,— и вообще по театрам он не ходок. Никто не перечил. В семье был опыт: не уговаривать отца, помалкивать — от уговоров пуще разойдется. Главное — предоставить все времени.

Предоставили. Расколол одну тыкву, швырнул ботинки под диван, за обедом сидел в носках, ни на кого не глядя, свирепо посапывал. Потом ушел и заперся в своей комнате. Тоня тоскливо посматривала на часы.

В семь часов Илья Матвеевич появился уже в ботинках — нашел какие-то посвободней — и при галстуке, повязанном вполне прилично, причесанный и даже надушенный.

— Ну сколько вас ждать? — сказал ворчливо.— Копаетесь!

Ждать ему не пришлось. Агафья Карповна и Тоня давно собрались. Они предвидели, что буря, затеянная главой семьи, закончится именно так. И не дай боже, если бы Илья Матвеевич застал их врасплох, — буря могла вспыхнуть с новой силой, перерасти в ураган — ни о каком театре тогда больше и не заикайся.

Сколько подводных камней на пути семейного корабля, как зорко следить надо за ними, с виду иной раз ничтожными, но опасными. Команда такого корабля должна быть очень дружной, и каждый в ней обязан владеть лоцманским искусством.

## 3

На Ладе начиналось то отвратительное время, которое ненавидел Александр Александрович,— время дождей и ветров, холодных, пасмурных дней. Осенью Александр Александрович опоясывался поверх пальто широким солдатским ремнем и носил брезентовый жесткий плащ

с капюшоном. Капюшон был откинут на спину, и в нем скапливалась дождевая вода. Старый мастер зяб, ворчал, его тянуло в конторку к чугунной печке; но, как бы ни свирепствовали ненавистные ветры, весь рабочий день Александра Александровича проходил не у печки, а на стапелях.

От ветра страдали судосборщики, клепальщики, сварщики, вахтеры, инженеры. Главный конструктор Корней Павлович, приходя на стапель, говорил: «Я совершенно балдею на таком юру, делаюсь как пьяный. У меня пищит за ушами и теряется равновесие».

В эту пору вновь возник вопрос: что же делать с дедом Матвеем? На разметке его оставлять уже было нельзя, Дуняшка работала за двоих — за себя и за деда. Вновь председатель завкома пришел к директору, сел в кресло, достал портсигар, постучал по нему мундштуком папиросы.

— Ну, что будем делать-то со стариком? Решай.

Иван Степанович не ответил. Посасывая трубку, он следил за ходом маятника похожих на шкаф, громоздких часов в углу кабинета. Маятник с медным упорством настаивал: реш-шай, реш-шай. Мысленно Иван Степанович перебирал все, как ему казалось, сколько-нибудь подходящие для деда Матвея должности. Вахтер, сторож, истопник... Истопник! Возможно ли, чтобы «живая биография завода» закончила свой век возле печной дверцы? Нет, эти должности начальнику славного рода Журбиных явно не годились. Что же тогда ему годится? Неожиданно пришла мысль, такая, по мнению Ивана Степановича, великолепная, что он, обрадованный, швырнул на стол свою дымившуюся трубку и засмеялся.

— Петрович, идея! Посадим его ночным дежурным здесь, в директорском кабинете. Пост, объясним, почетный, ответственный. Вот несгораемый шкаф с секретными документами, вот телефон для разговоров с Москвой. Не каждому такой пост доверишь. На деле получится что? Будет старик мирно спать в тепле и тишине на диване, допустим, часиков с десяти вечера до девяти утра или до скольких там захочет. Полное решение вопроса! Как считаешь?

Горбунова эта идея тоже обрадовала.

Через несколько дней, поздним вечером, дед Матвей появился в кабинете директора.

— Здравствуй, Иван Степанович,— заговорил он, со стариковской осторожностью опускаясь в кресло.— Ты еще здесь? А я в должность пришел вступать.

— Как здоровье, Матвей Дорофеевич? — спросил Иван Степанович.— Давай-ка чайку со мной за компанию...

— Чайку? Чайку можно. Чай, понятно, не водка, его, как известно... да я и водки много не выпью. Чего там про здоровье? Здоров. Ты объясни: что тут делать мне, чем заведовать?

Иван Степанович заговорил о секретных документах, которыми якобы набит его сейф,— на самом деле секретные документы хранились, конечно, в более надежном месте, а в сейфе лежали только пустой портфель да несколько папок с бумагами третьестепенного значения. Но Иван Степанович отомкнул сейф, для большей убедительности показал эти папки деду. Потом показал телефонный аппарат, связанный прямым проводом с Москвой,— дескать, толковый ответ надо дать, если из министерства позвонят. Из министерства же звонили по ночам только в самых редких случаях, и то обычно на квартиру директора. Об этом Иван Степанович умолчал.

Дед Матвей внимательно слушал, а сам думал: «Хитры вы, братцы, хитры, да не больно. Сажаете человека сторожем, а плетете ему невесть что, вроде как в министры определяете. Ну хитрите, тешьтесь, ладно». Слишком большой опыт жизни нес на своих угловатых плечах дед Матвей, чтобы можно было его, старого Журбина, обмануть этими директорскими россказнями. Он отлично понимал, что его рабочей жизни пришел конец, что отныне он сторож, самый обыкновенный сторож, но противиться этому не мог, не мог дольше висеть на шее у Дуняшки, которая каждый день переделывала всю его работу. И то ладно, что хоть на заводе оставили, не спровадили домой, в бабью компанию.

— Посидишь тут, Матвей Дорофеевич, полгодика — узнаешь, какова директорская должность,— заговорил Иван Степанович, когда буфетчица принесла чай и они оба дружно забрякали в стаканах ложечками.— Трудная должность. Сколько синяков тебе да шишек ставят! Откуда и не ждешь.

— Слыхал,— ответил дед Матвей.— Ребята наши говорили, как тебя на партийной конференции пропесочили.

— Вчера-то? Да. Вот видишь — работаю, работаю, а как собрание, непременно директора бьют по лысине.

— Неправильно, Иван Степанович, судишь. Кто тебя бьет? Тебя учат. За что учат? За то, что для всех хорошим быть хочешь. Для всех хорошим быть нельзя. Ты для дела будь хорош.

— И ты, значит, меня критикуешь?

— А чего? Начальника критиковать надо. Народ тебя поставил начальником, народ тебя и критикует. Не критиковать — потворство. А как вожди-то наши, руководители, про потворство говорят? Это, говорят, нетребовательность. Помнится, ты же на одном собрании той зимой выступал. Надо, мол, учиться у великих людей, как жить, как работать, как соблюдать себя.

Дед Матвей отхлебнул глоток, посмаковал: «Крепкий чаек».

— Выступать выступаешь... А у вождей учишься? — продолжал он.— С одного боку — и требовательности у тебя нету, с другого боку — и в простоте не живешь. С чего это парикмахерша тебя в кабинете бреет?

— Ты мне, Матвей Дорофеевич, всю заводскую конференцию решил повторить? — Иван Степанович начал сердиться на слишком уж откровенные высказывания деда.

— Про парикмахершу на конференции не говорили,— ответил дед Матвей. — От себя про нее говорю. А вот известно, как Владимир Ильич зашел раз в парикмахерскую. Все, кто был там, в один голос упрашивали, чтобы сел он да побрился без очереди. Соображаешь? А тебя кто-нибудь просил вызывать парикмахершу? Ты бы обождал, когда попросят. А два автомобиля казенных тебе зачем? На одном, значит, сам, на другом жена по базарам да по магазинам, так, что ли? А бензин на это дело — государственный.

— Полно тебе, Матвей Дорофеевич! — перебил Иван Степанович, раздражаясь все больше.— Крохоборничать на бензине — все равно что на спичках экономить. Бензину у нас много.

— Много, так его и транжирить можно? Не по-государственному судишь. Ты на казенной-то машине по казенным делам езди, лишний бензинчик тракторам в село отправь, хлеба больше уродится. А на футбол кататься — свою, на собственные денежки, машину заимей. Никто слова не скажет.

Дед Матвей долго говорил о том, что не на словах надо учиться у тех, кто совершил революцию, а делами, всем поведением доказывать, как учишься; рассказывал интереснейшие истории. Может быть, сам дед их сочинил, но Иван Степанович заслушался, даже злость прошла.

— Откуда ты все это знаешь, Матвей Дорофеевич? — спросил он.

— А уж знаю. Народ все знает. Ты вот на коммунистов обиделся: по лысине бьют. А скажи-ка: сколько народу тебя на конференции критиковало?

— Почти все, кто выступал. Человек двадцать.

— Вишь — двадцать! Да, поди, и в зале были такие, которые кричали: «Правильно!»

— Были.

— А голосовать тайно стали, что в ящике получилось? Единогласно выбрали тебя в партийный комитет! Теперь и подумай, какой народ вокруг тебя. Цени его, а не жалуйся: «По лысине бьют!» Уважает, значит, наш заводской народ своего директора, а критикует, чтоб помочь тебе твои недостатки исправить. Не чужой ты человек на заводе. Свой.

Дед Матвей вспомнил те времена, когда Иван Степанович, Ванюшка Сергеев, бегал по цехам в кепочке, устраивал комсомольские субботники, выступал на митингах. Растрогались оба. Попрощались друзьями. Уже возле дверей Иван Степанович обернулся на часы:

— Поздновато, Матвей Дорофеевич. И дождик идет. Что делать?

Дед Матвей понял шутку.

— Ладно,— ответил он, разглаживая бороду.— Кати на машине. С казенного дела домой — можно.

Он остался один в теплом, до глухоты тихом, огромном кабинете. Сел за стол в кресло директора, прочитал список телефонов под стеклом, потрогал по очереди трубки телефонных аппаратов, подул в них; заслышав гудок станции, опускал на место. «Московский» телефон он не тронул, только почтительно оглядел его со всех сторон. Потом нажал черную кнопку — в пустой приемной за дверью прозвучал резкий звонок. Все директорское хозяйство было в порядке, все действовало. Дел никаких не предвиделось.

Дед Матвей перебрался на диван, испробовал пружины — мягкие; подумал, что завтра, пожалуй, надо будет принести с собой одеяло да подушку, а то и простыни,—

прятать их тут где-нибудь на день. Пока лег так. Но и так лежать было мягко и удобно. Постукивали часы, билась под потолком большая муха — синяя, наверно, и жирная; булькала вода в батареях центрального отопления.

Да, кончилась рабочая его жизнь, кончилась. Вот и все, что он будет видеть и слышать отныне: телефоны, столы, стулья, часы и сонные мухи. Вот и все, что осталось ему делать: валяться на казенном диване и ждать. Чего ждать? Экие мысли в голову лезут!.. Жалко, Иван Степанович ушел.

Собеседника деду Матвею явно не хватало. Он покосился на книжный шкаф, встал, потрогал дверцы — заперто, и ключа нет. Завтра потребует ключ, с книжками-то все веселей. А не то и из дому какую поинтересней принесет. Снова лег. «Эх, елки-палки, не заснешь тут, бока отлежишь, сна дожидаючись. Оно вроде бы и не годится спать на службе, деньги-то за что идут?»

Подумал так и разом уснул, уснул на почетном, ответственном посту, который не каждому можно доверить.

## ГЛАВА ВОСЬМАЯ

### 1

За окном было пасмурно; Алексей видел, как по стеклу, смывая остатки летней пыли, бежали струйки дождя — длинные, мутные извилины. Вставать не хотелось.

Но вставать было надо: в девять придет фоторепортер, молодой, одних лет с Алексеем, человек в кожаной куртке с молниями и с «лейкой» на груди.

Алексей сбросил одеяло, сунул ноги в туфли из войлока, включил сначала радиоприемник, затем электрический чайник.

Под команду давно знакомого по голосу инструктора он проделал привычную серию гимнастических упражнений, и, пока их проделывал, пока мылся под душем в ванной, чайник закипел.

Часы показывали без четверти девять. Пора было накрывать на стол. Занятие довольно противное, но необхо-

димое. Алексей небрежно, как попало, расставил тарелки с закусками, купленными вчера вечером, переложил из банки в вазочку какое-то густое черное варенье, ткнул вазочку тоже куда попало, меж тарелками. Душа его, однако, тотчас запротестовала против такого беспорядка. Переставил иначе, симметрично, красиво. Сервировка получилась вполне пристойная. Смущало одно. Надо ли выставлять графин со старкой? Сам Алексей водки не любил; если и выпивал иной раз, то лишь кагор, причем в глубокой тайне от товарищей, чтобы не высмеяли: кораблестроитель, а пьет церковное.

Но тут дело другое. Фоторепортер сказал, что имеет задание от редакции журнала — показать выходной день знатного стахановца. Допустим, вино — признак обеспеченной жизни. Но, одновременно, не признак ли это некой умственной ограниченности?

Алексей оставил графин в шкафу за полной неясностью вопроса.

Он подошел к окну. Десятый час, чайник перекипел, а на дороге пусто. Только па мосту над Веряжкой, как всегда, торчат промокшие ребятишки и удят ершей.

Над всеми тремя трубами завода едва курится сизый дымок, недвижные башенные краны, как серые голенастые птицы, обступили стапеля, и кажется, что они с удивлением разглядывают корабли, выросшие у них под ногами.

За Веряжкой, над черными кровлями, взвилась стайка голубей, кружится над домом Журбиных. Вчера Алексей побывал у матери, взял посуду, ту самую, которая сейчас на столе, взял скатерть, варенье. Мать допытывалась, кого это он ждет в гости. Алексей рассказал про фоторепортера, про день знатного стахановца, только просил отцу и братьям ничего не говорить об этом. Вот появятся портреты в журнале, тогда сами увидят. «Ну, рада за тебя, рада, — сказала Агафья Карповна. — Снова в гору пошел. А то уж и клевать начали... Хорошо работай, Алешенька, хорошо. Счастье еще придет к тебе, ты молодой, придет, не печалься. И нас, гляди, не забывай, родителей».

Зачем она это сказала: не забывай? Разве он их забывает? Разве не тянет его туда, в старый родительский дом, к отцу, к матери, к братьям? Живет он тут отшельником, никто к нему, кроме Агафьи Карповны да Тони, не заходит. Порой бывает так, что запер бы двери своей новой квартиры в новом доме, снес бы ключи коменданту,

да и обратно — на Якорную. Скверно все получилось с Катюшей, с планами на будущее. И Катюши у него нет, и от семьи оторвался...

Тоскливо стало на душе Алексея — то ли от дождливой погоды, то ли оттого, что репортер опаздывал, то ли от мыслей о доме, а вернее всего — от воспоминаний о Катюше. Сел в плюшевое кресло, заштопанное хлопотливыми руками Агафьи Карповны, задумался, закрыл глаза — и вся жизнь пошла перед ним.

Вспомнились школьные годы, игры с сестренкой, обучение у старых клепальщиков, вспомнился день первой получки, которую мать пересчитала с умилением, а отец — с гордостью. Вспомнился первый костюм, купленный ему отцом. И, конечно, вновь предстала перед ним Катюша. Обманула она его. Пряталась, пряталась, да вот и вышла замуж за директора клуба. Только в самый первый день, после того как Алексей узнал об этом, у него молоток не держался в руках. На второй день он сжал его рукоятку, как рукоятку пулемета. «Пожалеет еще, пожалеет», — думал он тогда. Хотелось доказать, доказать Катюше, чтобы поняла, почувствовала, кого она оттолкнула, чтобы жалела потом всю жизнь.

Володька Петухов ни за что не захотел заниматься с фоторепортером. «Как у меня выходной пройдет? — объяснял он вчера на стапеле.— Очень просто. Поеду на рыбалку, да и просижу до вечера над поплавками». А он, Алексей, разработал целую программу встречи с фотографом. С утра угостит его, потом отправится с ним на стадион, покажет всякие фокусы на турнике и на брусьях. После обеда зайдет в библиотеку, — там хорошо сниматься за столиком среди книг. Есть еще городской Дворец культуры, есть радио, театр... И вот он предстанет на страницах журнала во всех видах, известный всему Советскому Союзу, и пошлет журнал по почте Катюше.

Хорошая программа — ничего не скажешь, да только дождь, кажется, все сорвет.

Алексей сидел и злился. До еды, в ожидании фоторепортера, он еще не дотронулся, вот уже хотел было съесть бутерброд с икрой, но помешал звонок в передней. Поправил галстук, одернул пиджак, взглянув в зеркало, и не спеша пошел отворять.

Не репортер, а отец и Александр Александрович стояли за дверью. Оба в намокших плащах с откинутыми капюшонами.

Старики вошли, сняли плащи, вылили воду из капюшонов, а когда увидели накрытый стол, изобразили на лицах восхищение.

— Вот, Саня,— сказал Илья Матвеевич,— полюбуйся, как сынок батьку встречает. Садись-ка, подкрепимся. А квартирка-то, квартирка! Ты ведь тут еще не бывал, не видел Алешкиных хором.

Илья Матвеевич уселся к столу. Сел напротив него и Александр Александрович.

— Можно и подкрепиться,— согласился он.— Время, в общем-то, к обеду. А этого... самого... как его?..

Александр Александрович проделал пальцами какие-то непонятные движения. Но Илья Матвеевич понял:

— Этого самого, Саня? Попробуй загляни в шкаф.

Александр Александрович по-хозяйски раскрыл дверцы шкафа, нашел графин; вынув пробку, безошибочно определил марку его содержимого.

— Годится. Хорошая штука.

Старики закусывали, пили, особого внимания на хозяина квартиры не обращали. Алексея начинала обижать подчеркнутая бесцеремонность отца, именно отца, а не Александра Александровича. Александр Александрович был ни при чем. Затащил его сюда, конечно, отец, а зачем — кто знает? Не без цели, ясно,— без цели отец ничего не делает.

Алексей отошел в сторонку и мрачно следил, с какой скоростью опустошались тарелки с его припасами. Если репортер придет, угощать будет уже нечем.

— Итак, Саня,— заговорил Илья Матвеевич,— затей свадьбу, и ты новую квартирку получишь.

— Зачем? Мне и на старой неплохо живется.

— Да нет,— не унимался Илья Матвеевич,— ты, главное, свадьбу затей. Завком растрогается, постановят — и дадут. А невесте можно и от ворот поворот показать.

— Брось, отец,— не выдержал Алексей.— Не знаешь — не говори.

— А чего это я не знаю, чего? — Старый Журбин всем туловищем резко повернулся к Алексею. — Что Катюшка тебе не парой стала, крутоносому, этого не знаю? Что тебе теперь хоть артистка, хоть профессорша — все нипочем? Королем себя вообразил. Король! Где твое королевство? Что у тебя за душой, кроме фасону?

— Ну, батя...

— Чего «ну, батя»! Слыхал, слыхал вчера в завкоме, какую петрушку затеял ты с выходным днем знатного стахановца. И вот пришел. Хочу сам, лично, родительскими глазами видеть этот знатный день. Нет, Саня,— Илья Матвеевич входил в азарт и уже не на Алексея, а на Александра Александровича метал молнии,— ты мне, Саня, желваки на скулах не показывай. Я правильно ему, мальчишке, толкую. Мальчишка он, зазнайка! Слушаю тут на днях по радио: лекция Алексея Журбина! Что болтает? «Я взял... я устроил... я подумал... Модернизированный молоток... Скоростная клепка...» Опять «я» да «я». А кто тебя, Алешка, надоумил про этот молоток? С кем ты советовался насчет этой скоростной клепки? Куда ты Корнея Павловича подевал, почему от Александра Александровича отмахнулся? Налей-ка еще по одной, Саня. В горле сохнет от такого разговора.

Илья Матвеевич даже бровь свою не вспомнил, положил локти на стол, молчал. Чувствовалось, что разговор этот и в самом деле ему в тягость.

— Что ж, верно,— сказал Александр Александрович.— Рабочая слава, Алешенька, ведь она как растет? Ее не в одиночку — сообща выращивают. Вокруг тебя орлы — тогда и ты орел. А если, предположим, одни свиристелки тебя окружают, и ты среди них высоких полетов не увидишь. Это я к примеру говорю. И еще к примеру. Вот твой батька... Он таких, как ты, не одну сотню на ноги поставил. А ты, сынок, кого и чему научил? Помалкиваешь? Вот корень славы где сидит!

— Вы меня прорабатывать пришли? — только и ответил Алексей.

— Ага, Алешенька, прорабатывать.— Александр Александрович миролюбиво покивал головой.— Никто же тебе такого, кроме нас, не скажет. Ни профсоюз, ни комсомол, ни администрация. Они тебя до небес вздымают. А мы-то, старые, мы всякие полеты видывали. Мы-то чуем, кто как летает. Чуем, кто и впрямь крепко держится в выси, а кого этак попутный ветерок взметнул. Знаешь, фейерверк — он яркий, блесткий, да коротко светит. После него еще темней в глазах. А большие огни разгораются постепенно. Разгорятся — не погасишь, далеко вокруг светят.

— Через год о тебе и помину не будет! — резко бросил Илья Матвеевич.— Одни журнальчики останутся в сундуке. Любуйся тогда.

— Рабочий класс,— снова заговорил Александр Александрович,— он, Алеша, особенный. Он, понимаешь, плечом к плечу по земле идет. На нем ответственность какая! Знаешь ты ее, эту ответственность, или нет? Знаешь. Ну ладно. В наши с твоим батькой молодые времена плакат такой в клубах висел: земной шар — весь в цепях, а рабочий по этим цепям кроет с маху кувалдой, только брызги железные летят. Затем и живем, за то бьемся — сорвать эту оплетку с земного шара. А квартирки, патефончики, портретики... Вот наш с тобой портрет: с кувалдой в руках — да по цепям, по цепям!..

Александр Александрович даже встал со стула, жилистый, решительный. Алексею почудилось на миг, что у старого мастера и в самом деле в руках молот и старик сейчас грохнет им по столу, по тарелкам с остатками кексов и ветчины. Это был такой старик! Из рук пятерых белогвардейцев вырвал он тяжело раненного Илью Матвеевича. Да разве только те пятеро составляли его боевой счет гражданской войны!

Посуду Александр Александрович бить, однако, не стал.

— Пора нам, Илюша,— сказал он уже другим, будничным тоном.— Загостевались, пойдем.

Они вновь накинули свои плащи, надели галоши, побурчали о чем-то меж собой в передней; Александр Александрович уже откидывал крючок на дверях, когда Илья Матвеевич сказал:

— А в общем-то, Алексей, мы поздравить тебя приходили. Заводское радио передавало сегодня, что ты октябрьское задание на пятьсот двадцать выполнил.

Старики потолкали Алексея в бока и вышли. На лестнице гудели и посмеивались.

Алексей долго смотрел вслед им через окно. «Поздравили,— размышлял он обозленно.— Стукнули кувалдой и рады. С чего это отец бесится?»

Алексей думал: «бесится»,— потому что не знал истинного состояния души Ильи Матвеевича.

Беситься Илья Матвеевич не бесился, но из равновесия в последние дни вышел. В эти дни он начал ощущать, что ему чего-то сильно не хватает, что заводские дела вершатся как-то без него. Идут совещания, заседания, на них говорят, и говорят главным образом инженеры, те самые инженеры, которые совсем недавно работали у него, Ильи Матвеевича, мастерами, практикантами, у него

учились, слушались каждого его слова, но теперь он их почему-то не очень понимает. Или он поглупел, или они поумнели так, что дальше некуда? На совещаниях сиди да помалкивай. Просто нечего сказать. Не прав ли профессор Белов со своими разговорами насчет теории, которая всему начало и без которой нет специалиста?

Илья Матвеевич негодовал против этой мысли. Он схватывался с профессором в воображаемых жарких диспутах. Снова приводил в пример Антона, который стал большим человеком в судостроении. Но тут же начинал поминать лешего: Антон-то ведь окончил институт!

Были еще в запасе технолог Карцев и начальник турбинного цеха Сухоруков — старые товарищи Ильи Матвеевича. Тоже специалисты — дай бог! Но опять, будь они неладны, оба окончили заочно институты — Сухоруков еще до войны, а Карцев года два назад. Оставался он сам, Илья Матвеевич. Но вот тут-то и запятая: почему он перестает понимать инженеров, не то что старых, опытных, — мальчишек! Они с лету в курсе всех дел; он мозгами, что маховиками, ворочает, а все равно толку мало.

«Значит,— сказал самому себе Илья Матвеевич,— есть какой-то изъян в этой затее с потоком, раз я в нее вникнуть не могу».

Сказать сказал, а не утешило это, потому что чувствовал: со злости говорит, неправильно говорит. И тогда стал злиться на Белова еще сильней: расхлопотался, забегал! Приятелев-де сынок в рабочие пошел, а не в ученые!.. А почему, спрашивается, его, Ильи Журбина, дети клепать да строгать обязаны? Да, в самом деле, почему?

Ответа на этот вопрос он не находил, вернее — давно нашел, но ответ был не в его пользу. Дома он начал кричать на Виктора с Костей: неучи, баклушники, за длинным рублем гонитесь, а вперед поглядеть — вас нету.

Спокойный Виктор только пожимал плечами, Костя — тот на крик отвечал криком:

— Галдишь, батя, а чего галдишь, и сам не знаешь! Можем за рублями не гнаться. Вкалывай один, а мы в университет пойдем с великим удовольствием. Ты что думаешь?

Дошла очередь и до Алексея. Ну, что он, Алешка? Вот зарежут клепку, и сядет на мель. Будет по цехам бол-

таться, профессии менять. Он-то отстанет, он-то непременно отстанет; поди, и до лудильщика дойдет.

Окончательно Илью Матвеевича обозлила задуманная Алексеем канитель с этим выходным днем. Знатный стахановец! Голова закружилась!

Пришел, разнес, все помянул, даже Катюшку, но под конец обмяк. Пятьсот двадцать процентов месячного задания — кто угодно поймет, чтó это значит. Даже самый свирепый отец не останется к этому равнодушным. Молодец, в общем-то, Алешка. Такие, как он, помогли, здóрово помогли начальнику стапельного участка закончить сборку корабля к сроку. Шестого ноября, в канун праздника, корабль сойдет на воду.

Ничего, что происходило в душе отца, Алексей не знал. Он следил взглядом за тем, как Илья Матвеевич и Александр Александрович тесно, бок о бок, шагали под дождем по дороге, как поднялись на мост, постояли там, тыча друг друга в грудь пальцами, и начал ощущать в себе нечто очень похожее на зависть. Вот люди, которых не собьешь с пути, вот люди, которые не растеряются ни перед чем, для них все ясно, из любого положения они найдут выход. Не было еще случая, чтобы отец или дядя Саня падали духом, разменивались на мелочи, поступали нечестно, стремились красоваться среди других. Почему же так нескладно получилось с их приходом, почему не поговорили по-хорошему, почему он, Алексей, все время злился и молчал? Не потому ли, что он и они думали о разном? Его заботила затея, придуманная фоторепортером, а их волновали те пять трудовых месячных норм, которые он вложил в октябрьскую программу завода.

Насколько велики или мелки причины поступков человека, настолько велики или мелки и сами поступки.

От такой мысли Алексею сделалось жарко. Он рывком расстегнул тугую жилетку, почти сорвал с шеи галстук. «Так чтó, по-вашему, я мельчаю?» — хотел крикнуть вслед отцу и его другу, но те уже свернули с моста на прямую тропинку к Якорной, исчезли в кустах. Алексей был похож в эту минуту на того Александра Александровича, который только что изображал здесь портрет рабочего. Тоже вдруг стал каким-то жилистым, решительным, разъяренным. Тоже вот-вот грохнет молотом по банкам и склянкам, натащенным вчера в дом.

Таким его и застал фоторепортер — молодой человек в кожаной куртке с молниями.

Съемка не состоялась.

— Ничего не выйдет,— мрачно сказал Алексей, отворив фоторепортеру дверь.— Извиняюсь, конечно.

## 2

В ночь на шестое ноября Илья Матвеевич сидел в своей конторке. Он вернулся в нее сразу после ужина,— дома не смог бы скрыть то беспокойство, которое все нарастало по мере приближения минуты, когда корабль подвергнется первому испытанию водой — испытанию нелицеприятному и беспощадному.

«Объект 641» — так в технической и отчетной документации именовалась стальная океанская громада — был отнюдь не первым крупным «объектом», сооруженным Ильей Матвеевичем; но, даже и восьмой по счету, он принес с собой те же тревоги, какие Илья Матвеевич переживал и полтора десятка лет назад. Говорят, архитекторы и прорабы не спят ночами перед сдачей зданий, которые они построили. Но здания, где они поставлены, там и будут стоять, никто их не стронет с места, никакие внезапные силы не обрушатся на их фундаменты, стены, перекрытия. А корабль — тоже многоэтажное здание, с фундаментом, стенами и перекрытиями,— чтобы достроить окончательно, надо спихнуть с берега на воду не постепенно, не миллиметр за миллиметром — единым броском. Сейчас он на стапеле, неподвижный, угрюмая глыба мертвого металла,— через пять минут скользит по воде, легкий, стройный, оживший.

Да, пять минут, иногда и меньше. Но за такие минуты «архитектор» и «прораб» корабля, если они еще молоды, могут поседеть; если уже седы — пусть опасаются за свое сердце. Сколько опасностей поджидает корабль на его пути от стапеля до воды!

Начать с того, что корабль может не сдвинуться с места,— слишком густой окажется насалка на спусковых дорожках, или она застынет в холодное время года, или произойдет перекос полозьев и они заклинятся между спусковыми брусьями, или какой-нибудь ничтожный кусок металла попадет под полозья.

И даже если корабль благополучно сошел на открытую воду, строители еще не спокойны: не завалится ли он набок вследствие ошибки в расчетах, не даст ли течь.

Нет, не спалось Илье Матвеевичу в последнюю неделю. По пятнадцать часов в сутки проводил он на корабле, не мог покинуть его, не мог от него уйти. При Илье Матвеевиче насаливали спусковые дорожки фундамента стапеля — наносили на них слои жира и зеленого мыла; при нем под днище корабля подводились спусковые салазки — полозья из толстых сосновых брусьев, подбрюшник, на который ложится корпус, копылья, подпирающие корму и носовую часть; при нем устанавливали спусковые курки, стрелы, пеньковые задержники, гидравлические толкачи.

Илья Матвеевич осмотрел, ощупал каждый паз, каждый стык наружной обшивки, облазил каждый отсек внутри. Минувшим днем провели то, что в театре называется генеральной репетицией,— расставили людей по местам, проверили сигнализацию, все спусковые устройства.

Илья Матвеевич смотрел в окно. Он видел десятки ярких ламп под днищем корабля, при свете которых работали маляры. Окрашенное суриком днище отражало огненно-красный свет, и было это похоже на костры лесного бивуака. Вокруг костров плясали длинные тени, тоже вспыхивали на миг багровым огнем и тотчас снова становились черными — совсем как в сказке о подземном царстве.

Звонок телефона ударил так неожиданно и резко, что Илья Матвеевич вздрогнул.

В трубке гудел голос отца. Дед Матвей спрашивал:

— Как, Илюша? Сидишь?

— Сижу, батя.

— Вода не поднялась ли? Ветер крепкий.

— Вода на месте.

— Ну, сиди. Мы тут с директором объясняемся. Он тоже сидит. Трубку просит.

Поговорили с Иваном Степановичем, тоже почему-то о воде,— ни о чем ином не говорилось, обо всем было давно переговорено, и только внутреннее напряжение строителей кораблей заставляло их вновь и вновь браться в эту ночь за трубки телефонных аппаратов.

Едва Илья Матвеевич опустил трубку на рычаг, в конторку вошла Зина.

— Простите, если помешала. Не спится. Уже легла, поворочалась, поворочалась — встала, да и на завод. Холодновато, знаете, на улице.— Зина поежилась.— Сало бы не застыло.

— Ну вот — застынет! — недовольно ответил Илья Матвеевич.— Зимой спускаем — не застывает.

— Сама не знаю отчего, но, честно говоря, волнуюсь. Никогда не бывала на спуске кораблей, первый раз. Поэтому, может быть, и про сало говорю, Илья Матвеевич. Вы на меня не сердитесь.

— А я и не сержусь. Дело понятное.

— Илья Матвеевич,— заговорила Зина, присаживаясь к столу,— когда новый корабль будете закладывать, возьмите меня к себе. Возьмите, Илья Матвеевич! Не пожалеете, даю вам слово.

— Себя мне жалеть не приходится. — Илья Матвеевич добродушно посмотрел на нее.— Вас жалко. Собачья работка. И грипп тут с нами схватите, и кашель всякий... насморк.

— Вы шутите, Илья Матвеевич. А для меня, где работать,— вопрос жизни. Грипп, насморк — отговорка. Вы просто в меня не верите. Вы боитесь, что со мной нянчиться надо будет.

— Не скрою, и такое соображение есть.

— Вот видите! Как же я стану хорошим, надежным работником, если вы все сговорились не допускать меня до настоящей работы? Вам, наверно, не говорили про коклюш и ангину. Почему же ко мне такое бездушие, такое пренебрежение? Неужели только потому, что я в юбке, а не в брюках? Могу надеть брюки.

Илья Матвеевич засмеялся.

— Хорошая вы девушка, Зинаида Павловна. Но, думаю, брюки вас не спасут. Видите ли, какое дело,— он заговорил серьезно.— На разных бывал я заводах в командировках, здесь работаю четверть века с лишним, и сроду не видал на стапелях женщин, кроме как при горнах да крановщиц... Ну, может быть, еще подсобниц или вахтеров. Спроста это? Нет, неспроста. Выдержка нужна в нашем деле, характер. А у женщин выдержки мало и характер не тот. Вы про насалку высказались. Я, может, и сам о ней думаю — не застыла бы, да разве скажу кому об этом? Зачем говорить и нервы другим подкручивать, они и так у нас сейчас на последнем взводе. Не лучше ли пойти да молчком лишний раз проверить?

А если и задашь вопрос, то так, вроде между делом, без особого как бы значения: дай-де прикурить, дружище, спички позабыл в новом пиджаке.

— Я научусь сдерживать себя. Я могу не задавать лишних вопросов.

— Да разве в одних вопросах дело? А решение быстро принять? Ответственность взять на себя? Нет уж, работайте, Зинаида Павловна, в информации. Она вам дается, пользу заводу вы и там приносите большую. Никто на вас пожаловаться не может. Все хвалят.

Зина встала, выпрямилась. Будь на месте Ильи Матвеевича кто-нибудь другой, она наговорила бы злых слов. Но с той первой встречи, когда она, оскорбленная пренебрежительным отношением Скобелева, столкнулась с Ильей Матвеевичем на трапе и когда он назвал ее стрекозихой, Зина хранила в душе чувство большой благодарности к этому человеку, хорошее, теплое чувство.

— До свиданья, — сказала она, стремительно бросаясь к двери. С минуту каблучки ее были слышны на пирсе.

За железным шкафом, за которым стояла «дежурная» койка на тот случай, если кто-нибудь из мастеров или инженеров оставался ночевать в конторке, началась возня; койка скрипнула, и с нее поднялся Александр Александрович.

— Ты откуда взялся, Саня? — удивленно спросил Илья Матвеевич.— Когда пришел?

— А я и не уходил. Поужинал в буфете, да и залег. Освежился, видишь?

— Вижу. Перья-то вынь из головы. Как индеец.

— Подушка лезет. Ну что там?..— Ответа на этот вопрос не требовалось, Александр Александрович его и не ожидал. Он добавил: — Зачем девушку обидел?

— Слышал?

— Слышал. Не одобряю. С чего уперлись вы все, будто бугаи! Хочет на стапель, пусть идет. Рвется же сюда... Не у каждого такое рвение. Я эту девчонку, по чести сказать, уважаю. Ни отца у нее, ни матери. На дорогу вышла, не сбилась. Упрямая, на своем постоять может. В жизнь летит что выстреленная из пушки. Несправедливый вы народ, Илья. Не видите людей, не понимаете их.

— Тебе бы, Саня, только в суде выступать. Второй Плевако. До чего красно говорил — отпетого бандюка судят, а Плевако его распишет, разрисует — агнец да и только, жертва несправедливости.

— Пошел чесать!

Александр Александрович сказал это без цели остановить словоизлияния Ильи Матвеевича,— просто так. Он знал, что на заводе в эту ночь осталось множество народу, и все не спят, все отвлекают себя от мыслей о корабле посторонними разговорами. Бойцы перед боем не говорят о предстоящем бое.

Разговоры велись не только в конторке на пирсе; группа конструкторов собралась в своем бюро — кто-то рассказывал о первом своем путешествии на самолете. Смеялись. Собрались инженеры и мастера у главного механика. Двое играли в шахматы, остальные мешали им советами и комментариями. Даже у начальника бюро пропусков шло совещание вахтеров и пожарных по вопросу выращивания табака-самосада; каждый из участников этого совещания демонстрировал табачные сокровища «своей фабрики», звучали роскошные названия: «Самсун», «Турецкий», «Жемчужина Крыма», а в воздухе густо пахло самой обыденной рыбацкой махрой.

Был народ и в директорском кабинете. Кроме Ивана Степановича и деда Матвея, туда пришли главный конструктор, главный инженер, парторг, председатель завкома.

— Хоть в преферанс играй,— сказал Иван Степанович, когда часы пробили четыре.— Я однажды ехал во Владивосток в одном купе с преферансистами. Они даже и не заметили, как девять тысяч километров пролетели, зато меня измотали.

— Для меня эта премудрость непостижима,— заметил главный конструктор Корней Павлович.— Учили, так и не научили.

— Это когда «раз» да потом «пас»? — вступил в разговор дед Матвей.— Было у нас на корабле, было такое дело... На «Славе» я тогда служил. В германскую. В Ревеле стояли. Командир был игрок первой статьи. Приехал с берега адмирал, позвали двух старших офицеров, уселись за зеленый стол. Режутся. Вот, значит, один «пас», другой «пас» и адмирал «пас». И тут возьми да и еще кто-то брякни: «Раз-пас. Дураки!» Адмирал аж синий сделался. «Что за безобразие? Кто смеет?..» — «Попугай, ваше превосходительство,— командир-то наш объясняет.— В клетке, извольте взглянуть, висит. Птица».— «Какого она черта? Терпеть не могу, когда не в свое дело вмешиваются. Пусть даже птицы».

— Вы на «Славе» служили? — заинтересовался Жуков.— Линкор, кажется? Знаменитый корабль!

— По-теперешнему — линкор, — ответил дед Матвей. — Тогда его то броненосцем, то дредноутом звали. А что касается — «знаменитый», сколько боев мы на нем выстояли!.. И каких боев!.. Вот, помню, в пятнадцатом году противник задумал захватить Рижский залив. Большая эскадра пришла. Одних дредноутов штук восемь да столько же крейсеров. Миноносцы, тральщики... А нас было — ей-богу, не совру — четыре канонерки, четыре подводных лодки, миноносцев сколько-то, из крупных кораблей одни мы — «Слава». Ну и что думаешь, товарищ Жуков? Противник жарит со всех орудий по нам, ихние тральщики Ирбенский пролив тралят. А мы тоже по ним огоньку даем. Наши мины действие оказывают. Глядим, один тральщик подорвался, ко дну пошел. Крейсер — туда же, миноносец еще... Гидропланы наши налетели, мы со «Славы» поднажали. И вот эдакая эскадрища дала деру.

— Да, да, читал, — кивнул Жуков. — Великолепная была операция.

— А через месяц, в августе,— снова заговорил дед Матвей,— они опять в залив полезли. На этот раз кораблей у них собралось больше сотни. Начали минные заграждения с утра тралить. В полдень мы на «Славе» подошли, и вот, товарищ Жуков, что придумали!.. Чтоб дальность боя увеличить, заполнили отсеки правого борта водой, наклон дали,— угол, значит, возвышения у орудий больше стал. Орудия-то двенадцатидюймовые, комендоры у нас — орлы! И пошло, и пошло!.. Что снаряд, то в цель, что снаряд, то в цель! И на этот раз отстояли залив. Выиграли сражение.

— А когда русский флот их проигрывал, морские сражения! — буркнул Горбунов, оглаживая свои усы.

— Цусима... — вполголоса сказал кто-то из инженеров.

— Цусима? — ответил Иван Степанович.— Цусима — другое дело. Тогда самодержавие проиграло бой, не народ. За двести пятьдесят лет со времен Петра одно проигранное сражение, а двадцать четыре выигранных! Двадцать четыре крупнейшие в морской истории битвы флотов! Соотношение...

— Не о соотношениях надо говорить,— возразил Жуков, посмотрев на недавно появившуюся в кабинете

директора модель нового боевого корабля; Ивану Степановичу прислал ее в подарок его товарищ по институту, главный конструктор одного из ведущих конструкторских бюро страны. Для модели еще не изготовили стеклянного футляра. Сверкая лаком, кораблик стоял на специальном столе рядом с моделями ледоколов, лесовозов, рефрижераторов и выглядел среди них так, как, наверно, выглядел бы могучий орел среди фазанов и лебедей. Те просто красивы, а он красив и могуч вместе. — Нет, не о соотношениях.— Жуков встал и принялся шагать по кабинету.— О другом. О том, что ни о каких проигрышах, даже мелких, не то что крупных, забывать не следует. Чтобы не повторились.

— С таким выводом согласен.— Иван Степанович тоже пристально рассматривал модель нового корабля.

Время по-прежнему шло не спеша.

И в директорском кабинете, и в заводской проходной, и в конторке на пирсе часы, будильники, ходики показывали пять. Впереди еще несколько долгих-долгих часов ожидания. Дуняшкин сын и тот, пожалуй, рождался в меньших муках, чем сын завода — корабль для северных морей. Тогда страдала одна Дуняшка, томилась ожиданием одна семья — не сотни.

— А пе хватить ли нам, Саня, по стопочке? — предложил Илья Матвеевич, когда стрелки ходиков приблизились к половине восьмого.— Для бодрости. У меня тут в шкафу припасена маленькая.

— Не хочу,— рассеянно ответил Александр Александрович.— Пей сам. Схожу пройдусь. На воздухе-то лучше.

Но и Илья Матвеевич пить не хотел. Он тоже взял со стола свою старенькую кепчонку с пуговкой.

## ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

### 1

Бетонная поверхность стапеля, какой ее увидел Илья Матвеевич после праздников, была загромождена по краям брусьями разобранных кильблоков, подпор, трубчатыми звеньями металлических лесов, досками, обрывками пеньковых и стальных тросов; и вместе

с тем она казалась Илье Матвеевичу пустынной, мертвой, невообразимо унылой.

Так бывало каждый раз после спуска корабля. Долгие месяцы, а то и годы, изо дня в день приходил Илья Матвеевич к кораблю, привыкал к нему, как бы роднился с ним, и никогда, пока строился корпус, до последней предспусковой ночи, не думал о неизбежном прощании со своим детищем. Прощание наступало, и как торжественно его ни обставляй, с какими празднествами — заводскими и семейными — ни связывай, оно было все же прощанием. Корабль — не трактор, не автомобиль; те все — как близнецы; десятками, сотнями проходят они в день через руки сборщиков и мастеров, их и не запомнишь. Разве только увидев порядковый номер когда-то выпущенной твоим заводом машины, можешь задуматься: да, кажется, это было в таком-то году... А корабль! Его узнаешь и через десять, и через двадцать, и через тридцать лет, узнаешь без всяких номеров и названий; встретишься с ним, как со старым другом, и не только о нем будут в тот час твои мысли,— о всех, с кем ты его строил, о той поре, когда ты его строил, о твоих товарищах, о твоих родных, о всех событиях, больших и малых, какие произошли в ту пору.

Обычно после спуска корабля у Ильи Матвеевича не было времени для долгих раздумий и тем более — хмурых. Разбирали строительный хаос на стапеле и сразу же несли сюда чертеж постановки нового судна; начиналась разметка положения будущего корпуса; вновь — кильблоки, вновь — шергеня́, ватерпасы; вновь — укладка листов горизонтального киля; первый лист всегда укладывал сам Илья Матвеевич.

Уложат, и начинается... Гудят краны, стучат молотки, шипят электрические дуги, выкрикивают свое «майнай» и «вирай» стропальщики; крановщицы их криков, конечно, не слышат, — они следят за взмахами рук, одетых в брезентовые рукавицы. Илью Матвеевича зовут в корму, в носовую часть, перед ним раскидывают листы «синек», захватанных пальцами... Чьи только «указательные» тут не отпечатались, на этой синей бумаге рабочих чертежей! — и бригадиров, и мастеров, и конструкторов, и директора, который требовал не дожидаться полной отделки второго днища, на что, так же, как и директор, тыча пальцем в чертеж, Александр Александрович возражал: «Что же получится? Не козырек к кепке, а кепку к козырьку пришивать будем?!» От Ильи Матвеевича ждут

ответов на вопросы, требуют каких-то очень срочных мер, жалуются ему друг на друга. Требуют от него новой спецодежды, вызывают его в партком, в дирекцию, на склад заготовок, в корпусную мастерскую; к нему идут из завкома по поводу норм и расценок; сварщики швыряют ему на стол куски электродной проволоки, ругают электродную лабораторию; клепальщик приведет с собой свою горновщицу, возмущается: «Ну что, что с ней делать? Жгет и жгет заклепки». Курносая, в веснушках, девчоночка стоит за спиной бригадира, расстроенная, смущенная. Дело ясное, зазевалась у горна, вспомнила вчерашний вечер, какого-нибудь Васю или Петю — и вот, пережгла.

Во всем должен разобраться Илья Матвеевич, должен уладить все конфликты, разъяснить все вопросы, чтобы только ни на час, ни на минуту не приостанавливался рост корабля на стапеле. День пролетит — и не заметишь его.

На этот раз все идет иначе. Правда, как и всегда после спуска корабля, разбирают остатки кильблоков и лесов, как и всегда, гребут железными лопатами насалку со спусковых дорожек. Но никто не несет, и не скоро, видно, принесет, чертеж постановки нового корабля. Как его будут ставить, где его будут ставить? И когда это будет? По проекту вместо тысяч и тысяч стальных заготовок Илья Матвеевич получит сто тридцать восемь огромных секций, которые сначала соберут в цехах. Вот и думай, раздумывай, как с ними быть, как ими распоряжаться.

С моря медленно ползли рыхлые, как туман, тучи, из них сеялся мелкий неслышный дождь. Брезентовый плащ намок, отяжелел, на косматых бровях Ильи Матвеевича, будто иней, тесно уселись белесые дождинки, с кепки бежало за воротник. Пойти бы в конторку, под крышу... А что там делать? Все сделано. Илья Матвеевич обернулся, посмотрел в сторону достроечного бассейна,— вон там, у стенки, его корабль. Попал в другие руки. От него, Ильи Матвеевича, требуется теперь только одно — дослать им грот-мачту. Испортили ее сварщики. Что ж, сварят новую, сварят и дошлют. Мачта — это уже мелочь.

Илья Матвеевич вытащил из кармана платок, смахнул влагу с лица, вытер руки и принялся скручивать козью ножку. Случались в его жизни такие минуты, когда папиросами он накуриться не мог, тогда извлекалась жестяная коробочка с махоркой.

— Что, батя? Грустишь? — послышался позади веселый голос.

По стапелю шли Антон и Зина, оба в клеенчатых длинных пальто.

— С чего это ты, братец, вздумал? — ответил Илья Матвеевич, слюнявя бумагу.

— Ну как же — проводил!..— Антон кивнул в ту сторону, куда только что смотрел его отец.

— Я и тебя, было время, провожал,— помолчав, ответил Илья Матвеевич.— В жизнь провожать — не на погост. Ну что там у вас слышно? — переменил он тему разговора. — Двигается дело?

— Медленно, батя. Главное — зима подходит.

— Это верно. Зимой строить трудней.— Илья Матвеевич снова помолчал и усмехнулся.— Получается, не я, а ты грустишь-то. Зима!.. Испугался. Мы, когда завод после гражданской разрухи восстанавливали — и тоже зимой, в сорокаградусный,— землю кирками долбили, голыми руками скребли. Кирпич к ладоням примораживало, с кожей, с кровью укладывали его в стены.

— Другие времена, батя. Волго-Донской канал голыми руками не проскребешь.

— Надо будет — проскребем.— Пустив клубы табачного дыма, Илья Матвеевич исподлобья посматривал на Зину. Он ждал, что и она заговорит, примется с ним спорить. Молодые всегда молодых поддерживают.

Зина и в самом деле заговорила, но совсем не так, как он предполагал.

— Илья Матвеевич,— сказала она, убирая мокрые пряди волос под клеенку капюшона,— вы бы рассказали нам когда-нибудь о тех днях. Это же так интересно! Мы о них только в книгах читаем. А Антон Ильич, кстати, неправ. Времена, конечно, другие. Но разве люди изменились? Разве они побоятся трудностей, и если так будет надо...

— Нет, он прав! — С внезапной резкостью Илья Матвеевич почти выкрикнул эти слова.— Прав ваш Антон Ильич! Никто не будет теперь ладони к кирпичам примораживать и землю ногтями скрести. Машину заставят, машину, Зинаида Павловна. Люди-то трудностей не побоятся, да трудности стали другие.

Подошел Александр Александрович, остановился возле Ильи Матвеевича, протер мокрые очки, спросил:

— К примеру, Илюша?..

— К примеру? Обожди, сам их увидишь, примеры.

Илья Матвеевич швырнул окурок в лужу на бетоне и, шурша дождевиком, зашагал прочь от стапеля. Он думал об этих молодых инженерах, о своем сыне Антоне и о Зине Ивановой. Они удивительно легко сговариваются меж собой, с полуслова понимают друг друга. Все для них просто. Нашли трудность — зима!.. А главных-то, главных трудностей, которые в самом человеке сидят, и не замечают, о тех и не думают.

Сказав так мысленно себе о трудностях, скрытых в человеке, Илья Матвеевич с огорчением вспомнил день спуска корабля, точнее — вечер того дня. Нехороший получился вечер.

Поначалу было вроде бы и ничего. Вся семья, кроме захворавшей Лидии, побывала на заводе,— издавна такой обычай повелся. Вернулись домой — стол накрыт: графинчики, закуски. Агафья Карповна поспешила раньше всех прибежать, разогрела что следовало, нарезала, разложила по тарелкам. Хлопотала, беспокоилась.

— Лидия-то, Лидия! — восклицала она.— Прихожу домой — постель пустая. Да разве улежишь в постели,— такое событие!.. И про болезнь позабыла.

Пока мылись под краном измазавшиеся на корабле Илья Матвеевич, Костя и Алексей, пока переодевались в сухую одежду Антон, Дуняшка, Тоня, Виктор, народу в доме еще прибавилось. Василий Матвеевич с Марьей Гавриловной нагрянули: «Гостей принимаете?» Александр Александрович постучался в окно, прижал нос к стеклу. «Впустите или нет? Может, лишний буду?» Вошел он тоже не один — с теткой Натальей, которую встретил на крыльце.

— Иду мимо, пирогами пахнет,— принялась кокетничать тетка Наталья.— Не вытерпела против такого соблазну. Дай, думаю, полакомлюсь да спляшу с молодежью.

— Рассказывай! — ответил ей Илья Матвеевич.— Пирогов сегодня нету, а молодежь... Александр Александрович разве? На рюмашку рассчитываешь, знаю тебя.

— А что ж, в такой холод и рюмашка не повредит!

— Правильно,— поддержал тетку Наталью Александр Александрович.— Рюмка полагается. Чокнуться надо.

— Помалкивал бы! — на ходу говорила Агафья Карповна, поднося из кухни блюда и закуски.— Поди уже успел...

— Где же успеть? Я на производстве был. На производстве нельзя, на производстве — дисциплина.

— Что-то от тебя, старый, не дисциплиной пахнет,— не сдавалась Агафья Карповна.— Вроде винцом?

— Может, и винцом. У меня, Агаша, есть с чего закуролесить. Ты в том виновата: родила такого погромщика.— Александр Александрович указал рукой на Антона.— Теперь все вверх колесами пойдет. Куда мне велишь деваться? Тебя спрашиваю, уважаемый Антон Ильич. Ну, говори!

— Никуда, на стапелях останешься, дядя Саня. Стапеля не отменяются.

— Не останусь, брошу все, уеду от вас! На север уеду или на юг.

— И там то же самое найдешь. Нет у нас такого места, где бы назад двигались, везде — только вперед.

Сели за стол.

— А Лидии-то нету,— сказала Агафья Карповна, взглянув на Виктора. В голосе ее звучала тревога.

Виктор не ответил, ковырнул маринованный грибок, грибок ускользнул,— поднес ко рту пустую вилку. Агафья Карповна вздохнула. И с этой минуты пошло неладное.

— Вот бестолковая! — заговорил Илья Матвеевич.— То сидит, из дому не выгонишь, то загуляет, будто с цепи сорвется. Учить таких надо! Старорежимным способом.

— Ох, горяч до чего! — засмеялась Наталья Карповна.— Жену лаской привораживают, обходительностью.

— Вожжами!

— Это не наука,— поддержала Наталью Карповну Марья Гавриловна, крупная, пышная, с сердитыми глазами.— Мой отец так-то что ни день за вожжи брался, а матушка все равно по его науке не жила. Не перечила, боялась, но тишком делала по-своему.

— Твой отец кулак был,— не глядя на Марью Гавриловну, сказал Илья Матвеевич.— Вот и брался за вожжи.

— Вы же сами говорите...

— Ну и говорю! А ты слушай да понимай!

Антон попытался переменить опасный разговор — не удалось. Настроение у всех заметно падало. Виной этому была, конечно, Лида. Она не возвращалась.

В двенадцатом часу Виктор пошел ее искать. Отправились и Костя с Алексеем. По соседям побежала Тоня.

Искали, наводили справки. Василий Матвеевич предложил заявить в милицию.

— Еще чего не хватало! — разозлился Илья Матвеевич.— Чтобы Журбиных милиция разыскивала?

— А вдруг несчастье случилось? Всякое бывает... и с Журбиными.

Так ее, Лидию, и не нашли. Ночь прошла в бессоннице, праздники получились комом, беспокойные, нерадостные. Все ждали: вернется, вернется... Не возвращалась. Кого ни спроси — никто ее и видеть не видывал.

А вот сегодня сидит, как ни в чем не бывало, на своем месте в поликлинике. Домой, говорит, не пойду, и не зовите. Стыд и срам! Что у них там с Виктором получилось?..

До чего же непонятное среди людей происходит иной раз. Работать бы людям да работать, жить в полную силу, разворачиваться, горами двигать,— а поглядишь, не всегда и не у каждого так получается. Кто, что мешает? Поди разберись в неурядице между Виктором и Лидией! А мешает им эта неурядица? Мешает. Ну вот и пожалуйста,— вот она внутренняя трудность. Другая бывает трудность — лодырь человек, лентяй. Откуда в нем такое? Третий и работает неплохо, да только общее дело мало его интересует, за высокую получку бьется, получил — и сидит дома в шлепанцах да в пижаме: иди всё мимо него, не коснись. Скажут — это пятна капитализма, они сходят, их немного и осталось. Ладно, пусть пятна... А теряться перед затруднениями, перед ответственностью?.. Откуда это идет? С засученными рукавами человек должен жить!

Илья Матвеевич дошел до пирса, до своей конторки, сбросил возле нее на скамью дождевик с кепкой и, как бы желая подтвердить свою мысль действием, высоко засучил рукава кителя. Дождь орошал его крепкую шею,— он неторопливо, старательно мыл руки под краном бака.

## 2

Бесшумно распахнулась обитая коричневым гранитолем высокая дверь. Секретарь областного комитета партии Ковалев встретил представителей завода на пороге своего кабинета. Он пригласил их в кабинет, но руки никому не подал, только показывал ладони и растопырен-

ные пальцы: они были измазаны, как у слесаря из починочной мастерской.

— Прошу заходить, товарищи! Прошу! — повторил несколько раз.— Располагайтесь тут, пожалуйста. Я сейчас... — И вышел.

Иван Степанович, держа на коленях портфель, тотчас уселся в кресле возле покрытого зеленой материей длинного стола для заседаний. На столе были три черных пепельницы и два графина с водой. Горбунов тоже сел, хотя и менее решительно, чем Иван Степанович, и налил себе в стакан из графина. Жуков подошел к одному из окон, за которым открывалась панорама города. Антон и другие инженеры, впервые попавшие в этот кабинет, стояли под люстрой, на ковре, и осматривались.

Бывает так, что в кабинетах секретарей обкомов представлены в моделях, в отдельных образцах все основные виды продукции, вырабатываемой на предприятиях области. Зная промышленность родного города и окрестных районов, Антон мог ожидать, что в кабинете Ковалева увидит модели четырехосных железнодорожных платформ и думпкаров, экскаваторов, подъемных кранов, автомобильных шин, прицепных тракторных орудий для обработки почвы, образцы изоляторов для высоковольтных линий, различного инструмента, приборов, приспособлений. Но взамен всего этого на рабочем столе Ковалева стояла маленькая яркая моделька товаро-пассажирского теплохода того типа, какие судостроительный завод выпускал еще до войны, а на столике возле окна, на толстом листе плексигласа, были разбросаны части какого-то прибора. Кабинет был большой и немножко пустынный, в нем гулко слышались голоса. Инженеры переговаривались почти шепотом.

Ковалев вернулся с полотенцем на плече. Он подошел к столику, на котором лежали части прибора, и, старательно вытирая руки, заговорил с веселым недоумением:

— Наши отечественные умельцы — это, знаете ли, товарищи, совершенно непостижимые люди. Вот перед вами приборчик... очень точный измерительный масляный приборчик... очень важный и необходимый для строителей двигателей внутреннего сгорания. Вручную — пожалуйста! Вручную его отлично вырабатывают эти умельцы. А массовое производство наладить пока не можем.

— В чем же сложность? — спросил Корней Павлович, подойдя к столику.

— В чем? В том, что поршенек должен быть подогнан к этому цилиндрику с таким минимальным зазором, через который на испытаниях не проникал бы даже керосин, не то что масло, и даже под давлением в десять атмосфер.

— Ого! — сказал Корней Павлович.— Практически это означает полное отсутствие зазора.

— Да! И вот на часовом заводе нашлись мастера — правда, и там их всего двое, — которые добиваются необходимой точности; причем точность обработки поверхностей цилиндрика и поршня они определяют... не поверите!.. — Ковалев обвел всех смеющимся взглядом. — Даю слово, не поверите. Определяют они эту точность... пальцами!

Ковалев повесил полотенце в шкаф и вновь пригласил всех располагаться вокруг стола, покрытого зеленым.

— Ну, докладывайте! — сказал он.— С чем пришли? Слушаю вас, товарищи кораблестроители.

— Пришли мы к вам, Дмитрий Дмитриевич, вот с чем.— Иван Степанович, вытащив из портфеля, развертывал на столе большую карту СССР. Инженеры помогали ему разглаживать ладонями складки плотной бумаги, наклеенной на полотно.— Видите, стрел сколько начертили, кружков, квадратиков... Прямо план предстоящего боя. Месяц назад вот в этом кабинете, на бюро обкома, нас обязали в точные сроки, по точно определенным этапам осуществлять реконструкцию цехов, постройку поточных линий и вместе с тем поставить производственную деятельность завода так, чтобы день пуска главного потока был днем закладки корабля и с того бы дня начался ритмичный, бесперебойный выпуск судов. Мы наметили мероприятия, которые обеспечат выполнение решений обкома, обдумали, обсудили их в цехах. Но вот предстоит бой и на другом фронте. С заводами-поставщиками придется драться. Помощи просим, Дмитрий Дмитриевич.

— Точнее.

— Точнее? Точнее будет так,— продолжал Иван Степанович.— Обкому это не хуже нас известно — мы во многом, очень во многом зависим от поставщиков. Ново-Краматорский завод... «Электросталь»... «Уралмаш»... — При каждом слове он пальцем проводил линию от Лады к Донбассу, Подмосковью, Уралу, Петрозаводску, Ташкенту, Днепропетровску, ко многим и многим городам, краям, областям страны и говорил: — Здесь — крупное литье. Там — спецсталь. А вот— турбинные лопатки...

Электрооборудование... Телефонные станции... Карельская береза... Цветное литье. Бук... Трубы...

Если бы эти пояснения Ивана Степановича слышал кто-либо посторонний, он мог бы подумать, что все города Советского Союза, все его заводы, фабрики, большие и малые предприятия только и заняты тем, что работают для кораблей, которые строятся где-то на Ладе. И этот случайный слушатель был бы не так уж далек от истины. На Ладу слали никель с Кольского полуострова, медь из Прибалхашья, джут из Средней Азии, всевозможные приборы из Ленинграда... Не было в стране уголка, где бы не работали для кораблей, строившихся на Ладе.

— И если до сего дня, — говорил Иван Степанович, — мы так или иначе могли мириться с тем, что те или иные поставки на месяц — на два задерживались, то теперь, когда завод перейдет на сборку крупными секциями, на поток, на выпуск кораблей сериями, задержка не то что на месяц — на неделю, на день! — уже сорвет нам работу, уже отразится на производственном ритме завода. Мы хотим, чтобы наш обком связался с другими обкомами, чтобы поставлен был вопрос...

— Иван Степанович,— перебил его Ковалев,— а я думаю, что другие обкомы и без нас с тобой этот вопрос поставят. Мы же не дожидаемся ниоткуда специальных писем, когда требуем от наших предприятий строгого и своевременного выполнения планов. Чтобы государственные планы выполнялись, в этом заинтересована любая партийная организация, не только наша. Что там — заинтересована! Любая партийная организация отвечает за выполнение государственных планов.

— Так-то оно так...— Иван Степанович все еще стоял над своей густо разрисованной картой.— Но и напомнить о себе не мешает.

— Письма мы, конечно, можем написать всем партийным организациям областей, где есть ваши поставщики... напишем. Но не это главное, товарищи. Уверяю вас, не это. Главное находится не за тридевять земель. Оно ближе. Оно здесь, на вашем заводе. Вот вы перейдете на сборку секциями... Электросварка, следовательно, почти полностью вытеснит клепку. А вы позаботились о том, чтобы в один прекрасный день ваши клепальщики не оказались не только без работы, но и без профессии? А вы проверили — достаточной ли квалификации ваши сварщики и достаточно ли их самих? Хорошо ли они знают

автоматическую сварку? Достаточной ли квалификации мастера?

Ковалев выжидательно посматривал то на Ивана Степановича, то на Жукова, то на инженеров. Все молчали, все думали — мысленно производили проверку заводских кадров.

— Когда я знакомился с планом реконструкции завода,— снова заговорил Ковалев,— меня знаете что поразило? Перемены, какие должны у нас произойти, внешне кажутся не очень значительными. Расширили один цех, передвинули другой, построили третий... Ничего как будто бы коренного. Но это ошибочное мнение. Перемены будут огромные, и не столько с внешней стороны, сколько в самых сокровенных глубинах заводской жизни. Могут случиться неслыханные неожиданности. Их же надо предвидеть, предугадать, чтобы вовремя направить коллектив на преодоление трудностей и препятствий, на устранение опасности всяческих заминок, застоя. Обком не сомневается в том, что вы умеете смотреть вперед,— вот вы увидели возможность осложнений со стороны поставщиков. И это правильно. Но пример с электросварщиками и клепальщиками — а таких примеров поискать, найдутся десятки, — говорит о том, что и в вашем собственном доме есть над чем задуматься.

Иван Степанович воспользовался паузой.

— Насчет кадров, Дмитрий Дмитриевич... Вот вы говорили о тех умельцах...— Он указал в сторону столика у окна.— А у нас разве таких умельцев нету? У нас в каждом цехе, на любом участке...

— Прости, перебью! — Ковалев поднял руку, как бы желая остановить Ивана Степановича.— Не договаривай. Знаю, что скажешь. И умельцев ваших знаю. Давай их беречь.— Он умолк на секунду и вдруг спросил: — Кто-нибудь из вас бывал, товарищи, в Павловском дворце под Ленинградом? А вы помните, Корней Павлович, там, в небольшом зальце, похожем на восьмерку, до войны висели два бронзовых фонаря? Казалось, они были сделаны не из металла, а из кружев. Они ничем не отличались друг от друга. Но один из них был сделан в Париже и подарен французским королем российскому императору, а второй, в пару ему, был изготовлен русскими крепостными мастерами. Причем русские мастера заявили: не будь заморского образца, мы бы соорудили покрасивей. И в самом деле, они «сооружали» удивительные

металлические цветы, стебли которых были покрыты ворсинками, такими тонкими, что с ними можно было сравнить разве только те гвозди, которыми тульский Левша подковал английскую блоху. Но... прошу обратить внимание на это «но». Такие изделия требовали долгих, долгих месяцев работы. Я восхищаюсь искусством кудесников с нашего часового завода. — Ковалев тоже сделал жест в сторону столика, на котором были разбросаны латунные детальки. — Однако, чтобы на изготовление одного такого прибора уходило не девяносто шесть часов, как сегодня, а час — полтора, как того требует моторостроительная промышленность, — над этим работают сейчас три научно-исследовательских института и два завода. И сказать вам откровенно, и я вот третий день пачкаю руки керосином. Вспомнил старую свою специальность.

Ковалев весело улыбнулся. Улыбка скользнула по лицу, и тотчас оно вновь стало серьезным.

— Эти кудесники — что они делают? — продолжал он.— Они вручную, час за часом, сидят и шлифуют, шлифуют на самых тонких шлифовальных кругах. Прежде чем приступить к работе, они измеряют температуру в собственных пальцах. Пальцы не должны быть ни холодными, ни горячими, иначе металл в них или сожмется, или расширится. Столько всяческого колдовства! А нам надо, чтоб изготавливались приборы машинным способом. Самое трудное тут не изготовление, а определение точных размеров. Бьемся, ищем такой мерительный инструмент, на который не влияли бы изменения температур.

Жуков, пока говорил Ковалев, остро отточенным карандашом делал пометки в записной книжке. Когда Ковалев умолк, чтоб отпить глоток воды, он сказал:

— Вы совершенно правы. Сегодня для нас очень важно, что́ мы делаем. Но не менее важно, и ка́к делаем. А завтра это будет самым главным требованием в промышленности. Когда-то, бывало в истории, люди тоже возводили гигантские сооружения. Пирамида Хеопса, например. Сколько десятилетий она строилась! Далеко ходить нечего. Исаакиевский собор в Петербурге строили сорок лет. Здание же Московского государственного университета когда заложено? Года три назад на Ленинских горах я видел только экскаваторы да самосвалы. А вот сегодня это сооружение, высотой более чем в два Исаакиевских собора, готово. Или, например, четвертая очередь метро в Москве...

Жуков приводил один пример за другим. У него этих примеров труда по-новому, по-коммунистически было великое множество.

Антон сидел и с интересом слушал. Он думал о том, что весь план реконструкции завода именно и пронизан стремлением перевести труд кораблестроителей в новое качество, которое было бы созвучно эпохе великих строек коммунизма. И правильно говорят Ковалев и Жуков — надо умело подготовить рабочих, мастеров, инженеров к переходу на новую, более высокую ступень организации и производительности труда.

— Да, повторяю,— слышал он голос Ковалева,— умельцев надо беречь, берегите их, товарищи! Но растите и новых умельцев — мастеров коммунистического труда, мастеров владения машинами и механизмами!

Ковалев поднялся, пошел к своему письменному столу, порылся в папках и принес небольшой фотографический снимок. На снимке была изображена роза. Казалось, ее только что срезали с куста: свежие тонкие лепестки, тончайшие острые шильца шипов, мохнатый от ворсинок стебель, зубчатые, в прожилках, листья будто еще хранили на себе сверкающую утреннюю росу.

— Красиво? — спросил Ковалев, когда фотография обошла по кругу все руки.

— Великолепно! — ответил Корней Павлович. — Метод точного литья. Стальная роза. В прошлом году на одном из уральских заводов я видел ее в натуре.

— Не уступит ни тем кружевным фонарям, — продолжал Ковалев,— ни бронзовым или чугунным цветам крепостных мастеров. Но не месяцы ушли на ее изготовление, а секунды, и не руки кудесников ее изготовили, а наша техника. Вот так мы с вами обязаны строить и корабли. Техника должна решать дело, техника, доведенная до степени высочайшего искусства. В такой мы вступили век!

## 3

Люди, увлеченные своей профессией, отдавшие ей много лет жизни, очень часто и на все окружающее смотрят с точки зрения этой профессии. Иной раз стоишь в коридорчике вагона перед окном, тут же полковник или генерал с тремя, с четырьмя планками орденских лент на

кителе; по сторонам поезда бегут орловские или курские бугристые поля, овраги, жидкие лесочки, желтеют на косогорах подсолнечники, машут серебристыми метелками стебли кукурузы. Сосед рассматривает все это рассеянно, прищурив глаза, и думает будто бы о чем-то другом, далеком, чего за окнами вагона не видно. Вдруг взгляд его метнется через овраги, через подсолнечники... Посмотришь и ты туда же: высотка, перед ней равнина, пересеченная шоссейной дорогой, дорога идет из березовых туманных рощ к зеленым кущам старинного городка, над которым торчат белые колоколенки. Ничего особенного, пейзаж, какими богат любой уголок средней России. Почему же так оживился офицер, почему так энергично перебрасывает взгляд свой с высотки на дальние рощи, от рощ к окраинам города и вновь на высотку? Не потому ли, что высотка господствует над шоссейной дорогой, с высотки контролируется каждый шаг по этой дороге, и недавний комбат — ныне командир полка или дивизии — роет тут окопы, ходы сообщения, стрелковые ячейки,— он увидел местность, удобную для решения интереснейшей тактической задачи, он развертывает на ней свои подразделения для удара по противнику. Мы с вами думали, что это овраг, но это совсем не овраг, а почти готовые огневые позиции для минометной батареи; мы любовались рощей, но это не роща, а укрытие для живой силы и техники; и дорога не дорога — коммуникация, и колокольня ничто иное как ориентир; и подсолнухи с кукурузой в любой момент из полевых растений превратятся в подручные материалы для маскировки.

О Викторе Журбине нельзя было сказать, что он не замечал суровой красоты вековых сосен, могучими колоннадами тянувшихся вдоль побережья бухты, не слышал веселого шума молодых березок и дубков в новом парке за Веряжкой, никогда не любовался лиственницами и ясенями на городских улицах, не останавливался перед кедрами возле Исторического музея. Но вот стоит он так, разглядывая таежных обитателей, лет двадцать назад завезенных на Ладу, их прямые стволы, длинные иглы, собранные на ветвях в пучки, отчего темные кроны кедров всегда кажутся взъерошенными, всклокоченными, и вместе с тем видит нечто иное, скрытое от глаз человека не его профессии. Стволы, шершавая их кора в прозрачных каплях смолы, переплетение ветвей — это же только внешность дерева! Виктор Журбин больше любовался его

«душой». Кедр — могуч, красив, он царь тайги. А Виктор этому красавцу предпочтет скромненькую старушку грушу. За эффектной внешностью кедра мы не видим того, что его желтовато-коричневая мелкослойная древесина менее прочна, чем у лиственницы или даже обычной сосны, что кедр очень плохо полируется, в то время как груша, с ее бледно-розовой древесиной, по прочности превосходит дуб, полируется великолепно, до зеркального блеска, не коробится от влаги, плотна почти как бакаут — самое тяжелое и твердое из всех пород дерево на земном шаре.

Перед Виктором распахнуты «души» берез, грабов, ольх, чинар, пихт, пальм, деревьев, которые называются: красное, розовое, черное, палисандровое... Сколько в этих «душах» потемок! Там таятся кривизна, трещины, косослой, гниль, грибковая синева, наплывы, суковатость. Каждый из этих пороков имеет множество разновидностей. Суковатость, например. Есть роговые сучки, они почти всегда выпадают, и мы в таком месте доски видим ровно очерченную дырку. Есть ивлевые сучки, окруженные по своим границам белой пылью; этими сучками страдает милая нам всем береза. Существуют еще табачный и крапивный сучки. Табачный рассыпается в порошок, а крапивный гниет и заражает гнилью всю древесину вокруг себя. Гниль опасней всяких других пороков. Но и кособлой тоже плохо. Иной раз бьешься-бьешься над поленом, и не толстое как будто, а не расколоть, топор идет в него винтом,— волокна древесины пошли в стволе дерева по спирали, винтообразно. Доску из такого кособлойного дерева ни на палубный настил не употребишь, ни на изготовление трапов, дверей, мебели. Другое дело свилеватость. Тоже порок — волокна тут располагаются волнообразно,— но для ореха, для карагача или березы этот порок вдруг оборачивается очень ценным качеством: свилеватость дает красивое строение слоев древесины; отполируй — получится рисунок, из-за которого цена изделия возрастет во много раз.

Все эти премудрости столяров-краснодеревщиков были отлично известны и Виктору. Он сам был краснодеревщиком до того, как начал работать над моделями. А начал он работать над ними в войну, в ту пору, когда на завод приходили для ремонта боевые корабли. На отделку кают и салонов тогда обращали внимания куда меньше, чем на скорость ремонтных работ. Часто, вместо того чтобы составить чертежи, сразу же на месте изготовляли модели,

лишь бы сократить срок пребывания корабля у причальной стенки, лишь бы поскорее вернуть его в море. Тогда-то Виктор неожиданно для себя и стал модельщиком, увлекся модельным делом, полюбил его, возвращаться к салонам, шкафам, креслам, панелям не захотел. Прежде он знал корабль только со стороны внешней, парадной; став модельщиком, узнал корабельный организм, как Виктор сам говорил, со стороны рабочей. Чаще всего он изготовлял модели такого оборудования, таких механизмов, которые в технических проектах обрисовываются общими чертами, а точные их размеры, точные их конфигурации надо определять на месте. Виктор вместе с конструкторами лазал в трюмы, в машинные отсеки, в коридоры гребных валов, в тесные, узкие, мрачные корабельные ущелья и пещеры, о существовании которых даже и моряки-то не все знают, не то что не моряки. И сколько всяческих уникальных деталей было изготовлено в цехах завода не по чертежам, а по моделям Виктора!

Станок, изобретенный им, помог ему работать гораздо продуктивнее. Виктор мог теперь не ходить по нескольку раз в день на корабль и назад, в модельную. Благодаря тому что последовали совету Жукова и отлили части не из стали, а из сплавов алюминия, можно было носить станок с собой, устанавливать его где угодно и там, на месте, вносить необходимые изменения в модель. Это была истинная победа, как правильно сказала Зинаида Павловна при испытании станка.

Но вот в момент наивысшего душевного взлета, когда Виктор чувствовал себя победителем, произошла эта непонятная, путаная и скверная история с Лидой. Каких только предположений о причинах исчезновения Лидии не высказали в семье! Дед Матвей решил даже, что она уехала на Алдан золото искать. «Выдумаешь тоже, старый! — рассердилась тогда Агафья Карповна.— Горе какое, а он шуточки шутит».— «Чего плакать? — ответил дед Матвей.— Баб на земле мало? Допустим, одна уехала,— на другой Витька женится». Никто его не слушал, никто ему не верил, все знали, что говорит он слова, какие всегда говорятся в подобных случаях, не свои, чужие слова, ходячие. Сам-то он в них тоже не верил, сам-то он верил в то, что, сколько бы ни было женщин на земле, только одна из них напрочно войдет в жизнь мужчины. Другое дело, была ли убежавшая Лидия этой «одной» для Виктора? Не сразу такую встретишь. Нет, не

сразу. И где ее искать, как? Разве кто знает? На гуляньях, на танцах иные ищут, за выпивкой по сторонам озираются: не «она» ли та, смазливенькая, не «она» ли другая, бойкая на язык? Иные совет дают: смотри, какая она работница, есть ли ее портрет на доске Почета. По-всякому ищут, по-разному, да, бывает, не ту и найдут.

Виктор при разговорах родных молчал, чувствовал себя в чем-то виноватым, раздумывал, и чем больше раздумывал, тем яснее ему становилось, что не так, как надо бы, шла их жизнь с Лидией, с самого начала не сдружились они по-настоящему. Любовь тогда, вначале, была, это верно, а дружбы не получилось. А потом?.. Если разобраться, никаких общих дел у них и не нашлось. Чтó ему ее поликлиника, ее регистрационные карточки с описанием болезней жителей Старого и Нового поселков? Чтó ей его доски, брусья и фанера?

И все-таки привык, привязался к жене Виктор, и все-таки по-своему была она ему дорога. Присутствия ее как будто бы не замечал, но отсутствие стал ощущать на каждом шагу.

Увидел Виктор Лиду только после праздников, на ее обычном месте, в поликлинике.

— Напрасно искал,— сказала ему Лида, холодно, как чужая.— Домой я больше не приду. Не было у меня дома никогда и нет. Сам знаешь.

Да, Виктор знал, что мать Лидии умерла, когда девочке исполнилось семь или восемь лет, что жила она у тетки, что, встретив его, тотчас вышла замуж, лишь бы не оставаться в семье, которую не любила.

— Но почему, почему это все, Лидия? — спрашивал он растерянно, стоя перед окошечком регистратуры.

Лида ответила, что она не желает никаких разговоров, тем более что худшего места, чем поликлиника, и худшего времени, чем рабочее, для этого не найти.

Разговор все же состоялся. Виктор встретил Лидию вечером у подъезда. Они ходили по улицам часа три, и Лида высказала ему много такого, о чем он слышал впервые.

— Вы все — и ты, и ты! — эгоисты,— говорила она с непривычной для нее горячностью, с раздражением, даже со злобой.— Вы думаете только о заводе, вы заботитесь только о кораблях! Только о том, что интересно вам. Вам! Это и есть эгоизм! А если у меня другие интересы, значит, на меня плевать!.. Да, плевать?..

— Что ты говоришь, Лида?! Кто плюет?

— Кто? Ты, вы все! Вспомни шестое ноября!

Виктор не понял было, при чем тут шестое ноября, но тотчас почувствовал стыд. Как он мог забыть, что именно шестого ноября день их свадьбы! Двенадцать лет подряд этот день отмечался в семье небольшим торжеством: с утра дарили подарки Лиде, пекли пироги, вечером пировали. Лучший подарок всегда дарил он, Виктор. Как же случилось, что на тринадцатый год об этом позабыли? Пироги пекли, но не во имя Лидиного вступления в семью Журбиных. Не только о подарках — поздравить утром и то не подумали... Корабль, корабль — он во всем виноват. Права Лида. О нем думали, о нем и беспокоились, все иное было забыто.

— У меня есть школьная подруга, живет за ипподромом,— сказала Лида с неожиданной для Виктора твердостью.— И с ней я отпраздновала шестое ноября. Но не как день свадьбы.

Он уговаривал ее пойти домой, обещал постараться стать другим; обещал, видимо, не очень горячо, не очень убежденно, потому что не представлял себе, каким другим он должен стать и как это делается. Уговоры на Лиду не подействовали, она продолжала держаться твердо, хотя в глазах у нее временами блестели слезы. Потом она села в троллейбус и уехала.

Виктор рассказал дома об этой встрече.

— Эх, Витя, Витя! — Илья Матвеевич только головой покачал.— Не ты ли, друг мой, виноват? Поглядел бы на Костю с Дуняшкой. И в кино они, и на залив... Веселье у них, смешки, шуточки. На нас с матерью тоже гляди. Старые — под руку прогуливаемся, в театр вот ездили, оперу слушали. А у вас что? Она — сама по себе, ты — сам по себе. Схимником заделался, и от нее схимы требуешь. Женщине-то, еще молодой да красивой, твои монастырские уставы не по силам. Через край ее винить не могу, тебя виню больше, сынок.

— Себя, Илья, вини. Никого другого,— сказал Василий Матвеевич, зашедший в тот вечер на Якорную.

— Почему это себя? — Илья Матвеевич насторожился.

— Не сумел в собственном доме порядок навести, допустил до того, что живой человек у вас вроде как на отшибе оказался. Не вникаешь, брат мой, в семейные дела. Что у вас творится? С Алексеем происшествие.

С Виктором... А семья — она ячейка государства. К ней шаляй-валяй относиться никто из нас не имеет права.

Поссорились, поругались, крик был страшный; били в стол кулаками; больше, конечно, бил Илья Матвеевич, Василий Матвеевич только сдержанно тискал кулаком столешницу.

— Кто ее затирал, кто? — кричал Илья Матвеевич.— Пожалуйста, развивайся, делай что знаешь!

— А интересовались, что она делать-то хочет? Свое дудите тут с утра до ночи...

— Пусть и она дудит свое. Кто мешает!

По-разному смотрели на жизнь, на человека братья Илья и Василий. Илья требовал от каждого активности, он любил напористых, умеющих добиваться своего. Василий готов был учить людей этой активности, помогать ей пробуждаться. Для Ильи человек, остановившийся на распутье, не нашедший своего пути, просто не существовал. Василий считал, что на такого человека надо обращать самое большое внимание: «чтобы не забрел куда не следует, чтобы шел вместе с нами».

## 4

— Товарищи члены завкома,— говорил Горбунов, поглаживая под столом колени,— наш клуб — имею данные — лучший клуб по всему министерству. В смысле помещений и оборудования— красавец клуб! А по работе он, ей-богу, худший! Ну никак не понять — почему? Никак!

— По очень простой причине, — сказал Жуков. — Это не клуб, а заштатное кино и танцевальная площадка.

— Вы забыли о библиотеке,— добавил Вениамин Семенович. С раскрытым блокнотом в руке он сидел в углу возле шкафа, чисто выбритый, в полувоенном костюме, в желтых кожаных крагах. — В ней шестьсот пятьдесят постоянных читателей! — Вениамин Семенович поправил на переносье свои внушительные очки в восемь граней.

— Библиотека, танцевальная площадка, кино — это еще не клуб,— ответил Жуков.—Вы назовите число постоянных посетителей кружков, кабинетов, комнат отдыха. Вы назовите нам такие мероприятия клуба, которые помогали бы заводу в его борьбе за реконструкцию,

за выполнение новой программы, помогали бы воспитывать нового человека. Вот что вы нам назовите.

— Что касается кружков... в кружке, например, кройки и шитья регулярно занимаются двадцать шесть человек.— Вениамин Семенович перевернул страничку блокнота.— В музыкальном кружке было...

— Почему «было», а не «есть»?

— Руководитель уехал, нового найти не можем. Я лично не музыкант.—Вениамин Семенович отвечал с улыбкой человека, уверенного в своей правоте.

— Но вы лично,— Жуков сделал ударение на этом «лично»,— как мне известно, в прошлом режиссер. Чем же объяснить, что не работает не только музыкальный кружок, но и драматический?

— Спросите об этом у товарища Горбунова, Николай Родионович. — Вениамин Семенович сверкнул очками.

— Не могу,— сказал Горбунов, подымая глаза от бумаг,— не могу согласиться на такие условия, товарищи члены завкома. За руководство драматическим кружком Вениамин Семенович требует тысячу двести рублей! Получается: за клуб тысячу да за кружок тысячу двести...

— Это же искусство! — перебил Вениамин Семенович.— Как вы не понимаете? Икусство требует всех сил человека. А если человек отдает все силы, то ему...

— Что за парламентские дебаты? — вступил в разговор Иван Степанович. — Клуб должен работать, должен! Взглянуть только на это здание — дворец! На его постройку ушло... — Иван Степанович назвал такую внушительную цифру, что сам же побагровел от возмущения.— Замороженные средства. Не клуб, а мертвый дом! Я настаиваю на самых решительных мерах.

— Вероятно, предложите меня снять,— вот, кажется, и все решительные меры, какие тут принимаются со дня открытия клуба.— Вениамин Семенович пожал плечами и, закрыв блокнот, сунул его в карман френча: все, мол, ясно, старая песня.— Клуб существует четырнадцать лет,— добавил он,— а заведующих в нем сменилось пятнадцать. Могу назвать фамилии, если угодно.

Он ошеломил собравшихся. Никто никогда таких подсчетов не вел. Заведующие приходили и уходили, почти не оставляя памяти о себе. О большинстве из них можно было сказать, что все они на одно лицо, все работали одинаково плохо, до крайности незаметно сменяли один

другого. Ну, думалось, пять их было, шесть,— только не пятнадцать. Невозможно теперь и вспомнить, когда, кого из них, за что и почему снимали. Некоторые возглавляли клуб по два-три месяца, а кто — всего пять-шесть дней.

Дольше всех держался Вениамин Семенович — два с половиной года.

Это был честолюбивый человек. В четырнадцать лет он написал первое стихотворение, а когда ему исполнилось семнадцать, областная молодежная газета напечатала одно из множества его стихотворных сочинений. Каких-нибудь восемь строчек. Но и их Вениамину Семеновичу, или, как его тогда ласкательно называли, Венику, оказалось достаточно, чтобы покорить сердце соученицы по литературному университету. Так у него появилась жена, а затем и дочка с мудреным именем Тайгина, произведенным от слова «тайга». Учиться стало трудно, приходилось зарабатывать Тайгине на манную кашку. Он поступил затейником на какую-то базу однодневного отдыха, через несколько месяцев написал брошюру о затейничестве, ее издали.

Брошюра открыла ему двери в редакции газет. Но беда в том, что те качества Вениамина Семеновича, за которые его в детстве колачивали мальчишки — крикливость и хвастовство, — с годами дополнились непреодолимой страстью к склочничеству. Из-за них он не мог удержаться ни в одной редакции. Но он не унывал. Было время больших строек — строились первые домны, металлургические комбинаты, тракторные заводы. Вениамин Семенович правду говорил Лиде с Катей — он и в самом деле порхал тогда с одной строительной площадки на другую, что-то писал в редакциях многотиражек и радиоузлов.

Поступив в клуб Сталинградского тракторного, он сошелся с актрисой такого возраста, что ее сын уступал ему лишь двумя годами. Актриса крепко взяла Вениамина Семеновича в руки. Он ушел от Тайгины и ее матери. Он их «перерос». Актриса устроила его помощником заведующего литературной частью в местный театр. Потом он стал помощником режиссера, потом добрался и до самостоятельной режиссуры. Но снова старая история: страсть к склокам не позволяла ему удерживаться в одном театре хотя бы год. Вениамин Семенович объяснял это интригами против него, завистью, непониманием его творческого метода.

Нет худа без добра. Калейдоскопическая перемена мест была ему в немалой мере на пользу. Исполнительные судебные документы, которые мать Тайгины посылала по адресам очередных театров, неизменно опаздывали: Вениамин Семенович уже выбывал в неизвестном направлении.

Время шло, актриса старела, Тайгина где-то росла, училась; все менялось, не менялся только он, Вениамин Семенович.

Мало отразилась на нем и Отечественная война, бо́льшую часть которой он провел где-то в Средней Азии. После войны снова замелькали театры, лектории, редакции. Наконец судьба занесла его на Ладу.

Поначалу он взялся за дело горячо: в клубе работали кружки, устраивались интересные лекции. Вениамин Семенович нажимал на все педали,— поговаривали о том, что заводу будет разрешено отметить семьдесят пять лет существования, а это значило, что последуют награждения орденами. Орден был очень нужен Вениамину Семеновичу: во время войны он его не заслужил. Но юбилей прошел, орденами наградили кого угодно — всяких клепальщиков и слесарей, даже уборщиц и вахтеров,— только не Вениамина Семеновича.

Вениамин Семенович обиделся, и работа у него пошла так же, как шла и у большинства его предшественников. Зачем тут лезть из кожи? Ни почета, ни славы, ни богатства.

Его не первый раз вызывали в завком, не первый раз требовали улучшить работу. Он держался всегда независимо, потому что привык к бродячей цыганской жизни, втянулся в нее, она его нисколько не страшила. Ну что ему могут сделать? Уволят? Советский Союз велик. Клубов, газет, театров, лекториев в нем тысячи и тысячи — не пропадет Вениамин Семенович, найдет себе место, и не такое — получше, где его оценят, в конце концов поймут. Почести, почести! — они дороже всяких денег. Сам бы рад платить деньги за них, да и денег нет, жалеют, скряги, лишнюю тысячу... А чего-то требуют.

— Снимайте с заведования,— сказал он.— Берите семнадцатого.

— Так и сделаем,— спокойно ответил Жуков.— Займитесь кружками.

— Поздно мне быть кружковцем. Через год собираюсь сорокалетний юбилей справлять.

— Товарищ Жуков правильно говорит,— сказал Горбунов.— Где шестнадцать, там пусть будет и семнадцать. Не выходит ничего у Вениамина Семеновича.

— Кое-что выходит! — вымолвил «король» гребных валов дядя Миша Тарасов. Он сидел рядом с Василием Матвеевичем.— Жену взял в два раза моложе себя. Боевой, знать, где не надо.

— Это мое личное дело.— Вениамин Семенович посмотрел на Тарасова надменно и так холодно, будто хотел его заморозить.— Прошу личную жизнь не затрагивать. Надеюсь, она не подконтрольна завкому.

— Завкому нет, а общественному мнению — да,— сказал Жуков.

Горбунов видел, что все относятся к Вениамину Семеновичу с явной неприязнью, и сам чувствовал в себе эту неприязнь. Дай ей волю, от Вениамина Семеновича только пух да перья полетят, и о цели заседания никто не вспомнит. Чтобы этого не случилось, он поспешил спросить:

— Какие же будут предложения? Заведующего снять, а дальше что?

— Нового поставить.

— Кого?

— Я так думаю...— Тарасов поднялся, огладил усы, кашлянул.— Бьемся, бьемся — толку нет, кого только не нанимали. Предлагаю взять хорошего производственника... Ну, конечно, еще и такого, чтоб он был и хорошим общественником... Да и сказать ему: «Вот, брат, тебе задание от всего заводского коллектива. Двигай!» Знаю такого человека...

— Разрешите, — попросил слова Вениамин Семенович и, не дожидаясь разрешения, продолжал: — Мое мнение для завкома, может быть, ничто. Но не могу промолчать, когда предлагают подобные нелепости. Всякая культурная работа имеет специфические особенности, тем более — работа клубная. Придет не знающий этих особенностей человек... Что получится, товарищи? Кустарщина, отсебятина, чепуха.

— Головы нам дурите особенностями! — обозлился Тарасов.— Какие такие особенности?

— Они есть, конечно, дядя Миша,— сказал Жуков.— Тому товарищу, кого мы поставим, с ними посчитаться придется. Пусть поучится. Кого же вы предлагаете?

— Его! — Тарасов указал рукой на Василия Матвеевича.— Василия Журбина.

— Что?! — Василия Матвеевича подняло со стула будто пружиной.—Прошу поаккуратней предложения вносить. Шутки шутишь, а люди всерьез примут.

— А я всерьез и предлагаю. Тебе, как никому другому, быть в клубе. И производственник, и общественник, и университет по марксизму-ленинизму посещаешь...

— Сам, сам иди, если такое рвение имеешь! — еще яростней запротестовал Василий Матвеевич.

Вениамин Семенович засмеялся.

— Нелегкое, оказывается, дело клубом заведовать,— сказал он.

— А что, Василий Матвеевич,— заговорил Горбунов.— Берись-ка, не трусь. Поможем. Человек ты — дай боже — с характером, напористый... Правление клуба выберем новое. А то Вениамин Семенович совсем его размагнитил: сам, дескать, да сам. Они и успокоились.

— Работал, работал...— Василий Матвеевич, потрясенный предложением Тарасова, не слышал того, что говорил Горбунов.— Нет,— сказал он,— не пойду! Что вздумали?

Жуков предложил отложить решение о новом заведующем клубом на недельку,— пусть каждый подумает о возможной кандидатуре.

В эту неделю он разговаривал с Василием Матвеевичем чуть ли не ежедневно. Василий Матвеевич стоял на своем. Нет и нет.

На помощь мужу поднялась и жена — Марья Гавриловна. Она пришла к Горбунову, приблизилась вплотную к столу, злая, взвинченная.

— Это что же такое! — заговорила, почти закричала, перегибаясь через календари и чернильницы.— Рабочего человека, мастера — в служащие! Я в Москву, Сталину писать буду. Где такие права — людьми кидаться?

— Никто не кидается. Повышение хотим ему дать.

— Провалились бы вы с вашим повышением! С девками да с парнями старику велят прыгать. Срам на седую голову! Вся семья — на заводе, он — на танцульках да на экскурсиях... на утренниках. Не пойдет Василий, слышишь, Петрович, не пойдет!

Марья Гавриловна побывала у Жукова, у директора, на всех накричала: не позволит рабочего человека позорить — и все тут. Дед Матвей, увидев ее такой разъяренной, немало удивился: «Марья-то, Марья, за рабочую

честь, что лев, кидается. Вот Василий научил бабу понимать, что такое рабочая честь!»

Положение изменилось внезапно. Изменилось оно именно в тот момент, когда Жуков уже совсем было решил отступиться от Василия Матвеевича. В заключение одного из разговоров он сказал ему:

— Что ж, силой вас в клуб не потащим, товарищ Журбин. Ответственности боитесь, киваете на соседа.

Василий Матвеевич насупился, его уязвили слова парторга, обидели, оскорбили.

— Я? Боюсь? — проговорил он медленно и грозно.— На соседа киваю? Нет у нас этого! Пойду, провались он, чертов клуб, со всеми потрохами!

С завода он отправился прямо в клуб, через Веряжку, в Новый поселок. Он ходил по бесчисленным гостиным, аудиториям, кабинетам, залам, коридорам, вдыхал затхлый воздух пустующих помещений, злобно плюнул в сухой аквариум... Подымаясь по какой-то лестнице, чуть не ударился лбом о зеркало — оно было похоже на дверь,— увидел себя: взъерошенный, свирепый, не человек — туча с градом.

Вышел на балкон. Завод дымил, окутанный мглистым вечерним туманом. Тучи с градом висели низко, почти касаясь кранов. От них тянуло ледяным холодом.

Что же теперь будет? Завод там, а он, Василий Матвеевич, здесь? Веряжка разделит их навсегда? Казалось, ледяной холод проникал прямо в сердце от этой мысли. Зачем он согласился: «Пойду!»? Почему не выстоял перед Жуковым? Не выстоял, ну и злись теперь, горюй. Слово сказано, слова обратно не берут.

— Новое хозяйство изучаете? — услышал он позади себя. Оглянулся — Вениамин Семенович.— Вы не теряйтесь,— покровительственно продолжал Вениамин Семенович.— Помогу.

Василий Матвеевич промолчал. В воздухе летел какой-то белый лепесток. Он протянул руку, поймал его на ладонь: снежинка! Вторая летит, третья... Снег обрадовал Василия Матвеевича: окончилось долгое ожидание зимы, зима пришла. Повеселев, посмотрел себе под ноги. Снежинки мягко ложились на цементный пол балкона и не таяли. Их становилось все больше, в несколько минут балкон побелел. Побелели крыши соседних домов, побелела земля. Она устала от летних забот и хлопот, она уходила на покой, на отдых — до весны, до нового лета.

Перед тем как покинуть клуб, Василий Матвеевич сказал смещенному заведующему, отныне своему работнику:

— Послезавтра приду ровно в девять.

— В двадцать один ноль ноль? — пытался шутить Вениамин Семенович.

— В девять, в девять! Без всяких нулей. И чтоб все были на месте.

Василий Матвеевич стоял вполоборота к Вениамину Семеновичу, почти спиной к нему. Зубы стиснул, глаза сузил, смотрел в одну точку. Что он там видел? Не вспоминал ли он грязную пивнушку, темный трактирчик на одной из улиц возле Петербургского порта? Не вспомнил ли ту пору, когда он, пятнадцатилетний парнишка, стоял часовым, охранял вход в заднее помещение трактира, заставленное бочками? Да как не вспомнишь о том времени! У дворян тогда свои были клубы — дворянские собрания, у офицеров свои — офицерские собрания, у маклаков тоже какие-то «деловые» клубы. У всех по клубу. А у рабочего класса? Вот эта пивнушка, этот трактир. Но в ней, в этой пивнушке, в заднем ее помещении, среди бочек,— какие люди бывали! В трактирных конурах составлялись планы забастовок, охватывавших весь порт, планы политических выступлений; в трактирных конурах портовики встречались с подпольщиками-революционерами. Подумать только! — в тесных, темных клетушках вызревали идеи, потрясшие весь мир. А тут дворец! — и что в нем?.. Танцульки да радиолы. Завоевали право иметь такие дворцы, кровью за это право заплатили, жизнью, тяжелым трудом первых лет после революции...

Василий Матвеевич даже кулаки сжал.

— Чтоб все были на месте! — повторил он. — Та́к вот!

## ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

### 1

Заводу было очень трудно в ту зиму. И не только потому, что зима стояла на редкость суровая, трескучая, с бешеными ветрами. Уже в первых числах декабря Ладу сковало так, что она свободно держала трехтонные грузовики. Снег лежал на льду неровно,

гребнями, уплотненными, отполированными, блестел под солнцем, как рыбья чешуя. Люди мерзли, зазеваешься — мороз тотчас прихватит щеку или подбородок. Топлива уходило много, сверх всяких норм, и все равно холод проникал в цехи, в конторки, в мастерские; лопались водопроводные трубы, иней шапками нарастал на каждом гвозде.

Но не в капризах природы заключалась главная трудность. Главное заключалось в том, что в этих условиях надо было строить, строить быстро, по графику, который ни в чем не уступал графикам военного времени, когда завод в сроки вдвое, втрое меньше обычных ремонтировал эсминцы и крейсеры. И строить не только корабли, а самый завод. К весне должны быть готовы основные линии главного потока. Это означало не только расширить, удлинить или передвинуть здания цехов, но и создать множество новых механизмов, приспособлений, реконструировать крановое хозяйство.

Иван Степанович, которого часто винили за мягкосердечие к людям и потворство их слабостям, во многих иных чертах характера мог служить примером даже самым строгим и требовательным своим критикам. Он был хорошим специалистом и неплохим, в сущности, организатором, который стремится влиять на подчиненных не строгостью, а убеждением, проникновением в душу человека, добрым словом, добрым поступком. Плохо это или хорошо — кто возьмет на себя ответственность решить такой вопрос в категорической форме? На фронте, в боевых условиях, где иной раз от минуты, от секунды зависит исход боя, — там надо приказать и любыми средствами требовать выполнения приказа. Но в условиях мирной жизни, в условиях мирного труда,— разве в этих условиях нет времени убедить человека, добраться до его души, сказать, найти для него проникновенное слово?

Иван Степанович, в белых высоких бурках, в теплой шапке, завязанной на подбородке, с поднятым барашковым воротником, добрую половину дня проводил среди строителей, на морозе. Беседовал с ними, курил, шутил. Сам принимался класть кирпичи в тепляках — у него получалось, каменщики одобряли директорскую кладку. Отесывал топором бревно — тоже получалось, только сильно и шумно выдыхал воздух при каждом ударе: начинал сказываться возраст.

Для строителей оборудовали теплые общежития, заботились о зимней одежде для них, о валенках, ватниках, меховых рукавицах. Не случалось прорывов в снабжении строительными материалами: как ни трудно было Ивану Степановичу этого добиваться, он все же добивался. И пошла о нем слава среди плотников, бетонщиков, арматурщиков, каменщиков: хороший директор, у такого можно поработать на совесть.

Ходил Иван Степанович по заводу и часто встречался в цехах с Антоном Журбиным. Антона он знал с мальчишек. Но познакомился с ним по-настоящему только теперь, в эту лютую зиму. В начале работ по реконструкции, когда профессор Белов оставил Антона полномочным представителем института на заводе, Иван Степанович мало интересовался этим молодым инженером: инженер как инженер, только пошел вот не на производство, а в науку,— таких тысячи. С течением времени мнение свое Ивану Степановичу пришлось переменить. Может быть, инженеров, подобных Антону, и тысячи, но внимания они, однако, заслуживают, и немалого. Однажды он заговорил с Антоном о своей довоенной поездке на английские судостроительные верфи. Антон внимательно его выслушал и тоже заговорил об этих верфях. Иван Степанович был изрядно удивлен. Сын Ильи Матвеевича, недавний парнишка-судосборщик, знал кораблестроительную технологию англичан не хуже Ивана Степановича, пожалуй даже лучше, хотя в Англии никогда не бывал. Слушая Антона, Иван Степанович вспоминал виденное на Британских островах и поражался: Антон как бы заставлял своего слушателя увидеть то, что много лет назад ускользнуло от его внимания. Иван Степанович, попав в Англию, изучал только новое, интересовался только новым, передовым — его только и видел. Антон знал и это некогда новое, передовое, и вместе с тем ему было известно все, что мешает полному, широкому применению передовой технологии на верфях Англии, все, что отдельным достижениям английских конструкторов и технологов не позволяет слиться в единое целое, свое, национальное, новаторское, неповторимое.

В дальнейшем Иван Степанович убедился в том, что Антон прекрасно знал кораблестроительную литературу — отечественную, иностранную, новую, старую и даже петровских и допетровских времен, что знал он историю постройки чуть ли не каждого сколько-нибудь значительного

корабля — в любой стране, в любом веке, знал организацию производства на большинстве крупных заводов и верфей мира; тут же на первом попавшемся под руку листке бумаги он мог вычертить план каждого из этих предприятий и дать ему обстоятельную критическую оценку. С Антоном можно было говорить о заклепках, о гребных винтах, о турбинах, о запасе плавучести корабля, об остойчивости — о чем угодно; обо всем он имел свое, определенное, точное суждение.

В его возрасте Иван Степанович не обладал таким запасом знаний, такой эрудицией. Почему? Не потому ли, что и возраст Советской страны двадцать — двадцать пять лет назад был иным, не потому ли, что и советская наука в ту пору была куда как моложе и советская практика куда как беднее опытом? И не потому ли, что таков закон жизни: одни поколения расчищают путь другим, и те, другие, уже не спотыкаются о камни, по которым прошли старшие?

Антон рассказал Ивану Степановичу, как он учился в институте:

— С девяти утра до десяти вечера сидел на лекциях и в библиотеке. Тринадцать часов в сутки. Из них надо исключить час на обед. Значит, двенадцать. И так шесть лет, считая работу над дипломным проектом. Перемножим... Двенадцать на триста шестьдесят пять — число дней в году, и еще на шесть — число лет. Получается более двадцати шести тысяч учебных часов. Ну, несколько меньше: летом — в июле, августе — я работал менее яростно. Округлим. Допустим, двадцать пять тысяч часов. Можно за такое время кое-что сделать? Можно, Иван Степанович. Гору свернуть можно.

— Надо обладать дьявольским упорством. Молодого человека и в кино тянет, и на вечеринку, и в театр, и с девушкой поболтать. Себя помню, пять часов занятий в день — потолок! Упорство необходимо фантастическое.

— У нас в группе было трое таких упрямцев. Все — фронтовики.

— Познали люди цену времени, цену часу и минуте.

— Главное, Иван Степанович, познали цену жизни. Слишком она короткая, чтобы можно было ее тратить зря.

— Да,— задумчиво произнес Иван Степанович,— и цели наши слишком велики, чтобы идти к ним вразвалочку. Так и тянет броситься бегом. По себе знаю: буквально

страдаешь, изо дня в день видя корабль на стапеле. Какая медленная, кропотливая работа!

День за днем крепло уважение Ивана Степановича к Антону. К тому самому мальчишке, который как-то незаметно вырос и вот встал в ряд с командирами советского кораблестроения, плечом к плечу с ним, с Иваном Степановичем, пятидесятилетним, седеющим человеком. Иван Степанович звал его к себе в трудных случаях, когда надо было посоветоваться. Сам ходил к нему.

«Великая сила — Журбины»,— говорил иной раз он самому себе, но, поминая Журбиных, думал о чем-то таком, что невозможно ограничить рамками одной семьи, о чем-то огромном, гигантском, что владеет судьбами мира, судьбами всего человечества.

Как-то часов в восемь вечера Иван Степанович зашел в цех. Он увидел там Антона, профорга участка, председателя цехового комитета и Горбунова.

— Ну что я могу сделать, товарищи? Кто я такой для него? — спрашивал Антон.

— Как кто? Брат! — доказывал председатель цехкома.— Брат!

— Что случилось? — поинтересовался Иван Степанович.

Профорг участка указал рукой на переплетение металлических конструкций в среднем пролете. Это был кондуктор для сборки секций корабля. На одной из балок кондуктора сидел электросварщик, лицо его закрывала защитная маска. Работал он быстро, ловко, притом спокойно; и никак нельзя было понять, что́ так взволновало профсоюзных работников.

— Не ушел после дневной смены, Иван Степанович,— объяснил Горбунов.— Придется акт писать.

— Кто он, как фамилия?

— Антона Ильича брат, Константин Журбин.

— И хотят, чтобы я его стащил оттуда за шиворот,— со смехом сказал Антон. — Я ему брат дома, здесь мы с ним равны. Освободите, товарищи, от непосильного труда. Не могу я заниматься перевоспитанием своих братьев.

— Журбин! — крикнул Иван Степанович.— Журбин! Слезать давай, слезать! Что за безобразие!

— Вот кончу — слезу,— ответил Костя, не оборачиваясь.

— Журбин! — снова окрикнул Иван Степанович.— Ты понимаешь, что делаешь?

— А что именно? — Костя выключил аппарат, поднял щиток с лица.

— Что именно? Вот что. Если «Би-би-си» или «Голос Америки» узнают о твоей выходке, они же на весь мир о принудительном труде заблажат.

— И так блажат, товарищ директор. Все равно врать будут, хоть три часа в день работай. На них равняться!.. На понедельник это оставлять, что ли? Да у меня воскресенье тогда пропадет.

— Как пропадет?

— Очень просто. Дела осталось на копейку, а висеть над тобой будет. Не люблю, когда недоделано.

— Слезай!

— Не надо, Иван Степанович. — Антон взял директора под руку.— Ничего не выйдет.

Но Иван Степанович не успокоился. После выходного дня он вызвал Костю к себе в кабинет, принялся отчитывать.

— «Би-би-си» — ладно, как-нибудь стерпим,— сказал он.— Хуже — когда сверхурочные часы тень на весь завод бросают. Не военное время. Не умеем, скажут о нас, работать ритмично, по графику, по плану, штурмовщину насаждаем. Понял?

— Не понял,— ответил Костя смело.— Какая же это штурмовщина! Нас отец чему учил с детства? И за обедом все доедать, не оставлять ни кусочка, и работу на полдороге не бросать.

— Норму ты до гудка выполнил?

— На сто сорок.

— Где же полдороги, Журбин? Полторы дороги!

— Не хотелось оставлять на понедельник.

— Твоего хотения не спрашивают. Есть дисциплина, есть трудовой распорядок, ему и подчиняйся.

— Снова непонятно, Иван Степанович. Я что у вас — батрак? Я рабочий!

Так они и не сговорились — директор и рабочий.

Иван Степанович после ухода Кости вспомнил те времена, когда он, комсомольский руководитель, боролся с лодырями, летунами, прогульщиками, когда вот так же вызывал к себе молодых ребят и доказывал им необходимость трудиться по-новому, сознательно, по-социалистически. И часто ничего не добивался.

«Ты хозяин завода»,— объяснял он.

«Какой же я хозяин! — ухмылялся парень.— Хозяин — директор. Наше дело вкалывать и денежки получать».

Вступив в зрелый возраст, Иван Степанович любил мысленно обозревать путь, какой на его глазах прошла страна и какой он тоже прошел вместе с нею. Он считал, что человеку полезно смотреть не только в будущее, но и в пережитое. Иначе не с чем сравнивать достигнутое, а без сравнения невозможно и оценить. Этот Костя Журбин, он твердо знает, что человек в Советском Союзе имеет право на труд — так сказано в Конституции; и не только на труд — на свободное творчество. Но знает ли Костя, что в то время, когда он родился, еще существовала биржа труда и возле нее неделями стояли очереди людей, желавших получить хоть какую-нибудь работу?

Биржа исчезла лишь с началом индустриализации страны. Тогда на воротах каждого завода, на заборе каждой строительной площадки появились объявления: «Требуются...» с длинными перечнями всех, какие только существуют на свете, производственных профессий. Эти объявления Костя видит и сегодня, а о бирже он наверняка и не знает. Так прочно она позабыта народом.

Знает ли Костя о зажигалках, о кражах инструмента, о порче станков? Может быть, знает по рассказам, по книгам, по хрестоматиям, как знает об Азефе, о Гришке Распутине,— не больше.

Знает ли Костя, как трудно было первым ударникам, как их освистывали те, кому они становились поперек дороги, как их тайно преследовали, швыряли в них булыжниками из-за угла? Ему известен только почет, каким окружены сегодня стахановцы.

Нет, Костя многого не знает, очень многого. А Иван Степанович через все это прошел, все испытал. У него есть с чем сравнивать новый день родины. И когда он перед собой ставит рядом того парня, который говорил: «Какой я хозяин? Хозяин — директор», и Костю, он волнуется,— значит, он не просто прожил столько-то лет, а вступил в другую эпоху.

Любил Иван Степанович порассуждать так сам с собой. После этого лучше работалось, меньше угнетали трудности, прибавлялось сил. Огромны силы, скрытые в человеке, но далеко не всегда они отмобилизованы, далеко не всегда и не все приведены в движение. Степень мобилизации их зависит от цели, какая поставлена перед

человеком, от сознания того, насколько человек уже продвинулся к этой цели. Иван Степанович подсчитывал достигнутое страной, как считают ступеньки, подымаясь на неведомые, нехоженые лестницы.

Он искренне уважал людей, вместе с которыми шел по этим лестницам и у которых была цель, была идея. Антон Журбин казался ему именно таким человеком. Антон жил своей идеей. Он сказал Ивану Степановичу однажды:

«То, что у нас будет после реконструкции, это еще далеко не идеал. Я мечтаю о настоящем конвейере. Как на тракторных или на автомобильных заводах».

«Слишком велика разница между автомобилем и кораблем, Антон Ильич».

«Почему же? Если абсолютно все узлы, все агрегаты и машины до мельчайших деталей стандартизировать, хотя бы для одного типа кораблей, и готовить корабли сериями,— конвейер возможен. Он необходим. Иначе рост нашего флота будет отставать от наших потребностей. На штучном способе не уедешь. Смотрите, как стремительно автомобилизируется страна! Благодаря конвейеру. А мы, кораблестроители, все еще штучники. А кораблей нам надо, пожалуй, не меньше, чем автомобилей. Пятьдесят тысяч километров морских границ!..»

## 2

Последним крупным кораблем, построенным по старой технологии, был корабль, который спустили в канун октябрьских праздников. Теперь за ним должны будут пойти цельносварные океанские рефрижераторы. Они существовали уже не только в чертежах, а и на плазу, в моделях, в заготовках. Над ними давно работали конструкторы и технологи — подготавливали техническую документацию; работали модельщики и разметчики. Только на стапельных участках получилась пауза. Пустовали и старые стапеля и новые, недавно сданные отделом капитального строительства.

Чтобы заполнить эту паузу, министерство поручило заводу выпустить серию небольших морских рыболовных траулеров. Такие суда завод строил два года назад, сохранил все чертежи, документы, шаблоны, поэтому заказ не содержал в себе ничего сложного. На старом стапеле и на одном из новых закладывали сразу по три корабля.

Снова на участок Ильи Матвеевича вернулись его мастера, бригадиры-судосборщики, электросварщики, переброшенные было на ремонт и на достройку. После сдачи кондуктора для главного потока вернулся и Костя. Лишь сверловщики, клепальщики, чеканщики оставались в цехах и в достроечном бассейне. С передовых позиций судостроения их все дальше и дальше оттесняла победоносно шествующая электрическая дуга.

Алексей после успеха, какого он вновь достиг осенью, чувствовал себя чуть ли не тем подсобником, который подносит горновщицам заклепки со склада. Подклепывая новые листы обшивки у ветхого пароходика ближнего каботажа, он осматривал иной раз свой молоток, принесший ему славу. Можно, пожалуй, еще что-нибудь изменить, улучшить в этом молотке. Но кому это надо? Кто станет совершенствовать лопату землекопа, когда есть экскаватор, или ломать голову над реконструкцией сохи, когда есть многокорпусный тракторный плуг?

Вот учился он, Алексей, стал бригадиром, мечтал о большем, — к чему пришел? К тому, чтобы все начинать сначала. А что, собственно, начинать, за что браться? Что он знает еще, что умеет? Немножко токарничать, немножко слесарничать. Стать слесарем? Токарем? Расстаться с кораблями? Не подходит. Кто строил корабли, ничего иного строить уже не будет. Корабль держит человека возле себя всю жизнь. Не случайно же так прочно оседают кадры на судостроительных заводах.

Алексей решил изучить электросварку. Он отлично понимал, что за ней будущее кораблестроения. Для начала он пошел посмотреть, как работает Костя. Это было в то время, когда сваривали кондуктор в цехе. Варили они вдвоем — Костя и его ученик Игорь Червенков. Варили вручную. У Игоря движения были точные, рассчитанные и такие отчетливые, будто их ограничивал невидимый шаблон. Так примерно разговаривают иностранцы, хорошо изучившие чужой язык, но еще не способные выйти за пределы книжных знаний.

Алексей вспомнил недавно слышанную по радио лекцию о философском понимании свободы. В лекции говорилось, что свобода воли человека — это не что иное, как способность принимать решения с полным знанием дела. Свобода определяется знанием, а знание дает уверенность в том, что ты принимаешь правильное решение и поступаешь так, как необходимо. Незнание же несет с собой и

неуверенность, невольное подчинение тому предмету, который человек собрался подчинить себе, а вот не может. Игорь знал, видимо, только главные основы электросварки, в их пределах он и действовал, они его и ограничивали, как речь иностранца ограничивается книжным знанием чужого языка. Тонкостей Костин ученик еще не постиг.

А Костя... Костя держался, как держится знаменитый скрипач. Он не смотрел в ноты. Он работал легко, свободно. Алексей даже подумал: «С вариациями». За его движениями было невозможно уследить, они не отделялись одно от другого. Есть такие учебно-физкультурные кинофильмы. Показывают в них, например, пловца, который прыгает с вышки. Прыгнул, пролетел ласточкой, скользнул в воду — и не поймешь, что́ он там делал, чтобы совершить такой красивый прыжок. Но вот эти же кадры идут перед тобой в замедленном темпе, ты видишь, как пловец собирает каждый мускул, как он подскакивает на носках, как раскидывает в воздухе руки, как изгибает тело,— все видишь. Может быть, Игорь это и есть замедленный Костя, и не у Кости, а у Игоря сто́ит сначала поучиться?

«Нет уж,— сказал Алексей себе,— учиться, так учиться у настоящих мастеров. Подмастерья натаскают, а не научат».

— Что, дружище? — окликнул его Костя.— Хлеб у нас отбить хочешь?

— Вроде бы. Когда занимаетесь, по каким дням? Зайду.

— Не ходи. Мы за высший пилотаж беремся, потолочные швы варим. Ничего не поймешь. С тобой индивидуально надо. Опоздал. Плати полсотни в час, как профессору, — возьмусь за тебя, нагоним.

— Дерешь! — ответил Алексей.

— Ищи учителя подешевле.

Игорь не мог понять, серьезно говорят братья или в шутку.

Через несколько дней Алексей пришел на Якорную. С Костей они заперлись в комнате Тони. Разговор об электросварке возобновился.

— Первое дело, Алексей, которое ты должен запомнить, если и верно хочешь учиться, это...— Костя ловко закинул в рот фиолетовый леденец. С того дня, когда Дуняшка принесла домой сына, он пытался бросить курить:

Дуняшка заявила, что табачный дым вреден маленькому Саньке. В ходе бесплодной борьбы Костя и курил и грыз леденцы, от которых еще больше тянуло на курево.— Это,— повторил он, загнав леденец за щеку,— не смотреть на дугу без щитка.

— Знаю,— сказал Алексей.— Глаза портит и так далее.

— Не спеши, — обиделся Костя. — «Знаю»! А ты знаешь, что свет электрической дуги в десять тысяч раз сильнее того, какой наши глаза выносят без вреда? Вот поваляешься денек-другой в постели да повоешь волком, тогда говори: знаю. Я, если помнишь, с этого и начинал. Второе дело — внимательность.

Алексей уже не перебивал брата. Хочет профессора из себя изображать, пусть изображает, только бы учил, стерпеть его назидания можно.

Костя рассказывал о сварочных машинах, сварочных аппаратах — ручных и автоматических, об электродах.

— Электроды, понимаешь, для чего обмазываются специальным составом?.. Ну, для получения устойчивости дуги — раз. А главное — на кораблях, например, где вязкость шва должна быть не хуже вязкости основного металла,— для этой самой вязкости. Обмазка не допускает воздух к шву, и металл не окисляется. Не понял? Вот я же тебе говорю: как происходит сварка? К шву подносят электрод, между ним и свариваемым металлом образуется электрическая дуга страшной силы, электрод плавится, металл с него переходит в шов, как бы каплями — кап-кап — штук тридцать в секунду. Воздух на эти капли кинулся бы, что тигр. Но шалишь! Обмазка тоже плавится, образует газ и шлак, они окружают каплю, и воздуху дороги к ней нету.

«Насколько же электросварка сложнее клепки,— думал Алексей, почувствовав после часового Костиного рассказа, что в голове у него начинается путаница.— Да в ней и за полгода не разберешься!»

— Хватит,— сказал Костя.— Вижу, ты задурел маленько. Начнем практически, все станет ясно. Пока вот тебе, почитаешь.— Он снял с полки несколько книжек и брошюр.— Не посей. У меня по сварке полная библиотека. По электрической, по газовой, по термитной, по кузнечной — по какой хочешь.

Дома Алексей не очень-то с большой охотой раскрыл Костины книги, но, к своему удивлению, зачитался ими.

Особенно его увлекла история дела. Он прочел о Бенардосе — о русском инженере, первом электросварщике на земле, об инженере Славянове, который усовершенствовал сварку, заменив угольный электрод Бенардоса металлическим. Прочел, как русское открытие перехватили иностранцы, как спустя двадцать семь лет после Славянова на его «электроотливке металла» нажилась Америка. Объявив в тысяча девятьсот семнадцатом году войну Германии, Соединенные Штаты задержали в своих портах множество немецких кораблей. Но немецкие командиры успели сильно попортить свои корабли. Машины, валы, главные механизмы были на них поломаны так, что хоть выбрасывай и ставь новые. А поставить новые,— значит, надо их изготовить; значит, потребуется немалое время. И вот американцы взялись за славяновскую электросварку. Через несколько месяцев все корабли вступили в строй действующего флота Америки. Срок ремонта был сокращен на добрый год. Америка сохранила в своем кармане не меньше двадцати миллионов долларов.

После этого случая капиталистический мир зашумел, электросварка потребовала себе достойного места в промышленности.

На свою родину она возвратилась только после Октябрьской революции. Но зато уж и разворот получила в полную мощь. В какую мощь — это Алексей сам видит, даже вся его профессия гибнет перед ее натиском. Варят домны, мосты, паровозы, железнодорожные цистерны, самолеты, плуги, каркасы зданий в тридцать этажей. Интересная у Кости специальность — ничего не скажешь.

Костя, если что пообещает, никогда не станет тянуть с выполнением обещания. Пообещав заняться с Алексеем практически, он сам позвал его на такое занятие.

— Ну, не передумал? — спросил он в обеденный перерыв. — Приходи после гудка в корпусный.

Алексей пришел. Костя показал ему аппараты для ручной и автоматической сварки, трансформатор, электроды, объяснил их устройство. Надел шлем, дал Алексею щиток.

— Теперь смотри, наблюдай.— Костя начал сваривать два обрезка корпусной стали.

Братья швыряли их потом на чугунную плиту, били тяжелой болванкой. Листы схватило прочным швом навечно.

— Пробуй сам теперь!..

Алексей пробовал, электрод в его руке тыкался мимо шва, рукам было жарко. Он вспомнил Зину, которая взялась однажды клепать его молотком; вспомнил, как у нее ползли и плющились в лепешку головки заклепок... Ему тогда было смешно, а Зина растерялась. Теперь сам он теряется, но Костя не смеется над ним. Костя говорит:

— У всех так вначале. Не обращай внимания. Понахальней действуй.

Алексей действовал и «понахальней» и «повежливей». Устал. Сели покурить. Алексей сразу взялся за папиросу, Костя сначала погрыз леденец, выплюнул его и тогда только закурил.

— Мне один парень говорил,— сказал он,— в отделе главного механика работает... будто сейчас изобретают в Киеве такой автомат, который по стенам, по потолку, где хочешь, сам пойдет. А то потолочные швы варить — горя натерпишься.

— Как же он пойдет?

— Будто бы с магнитами. Магниты его присосут к металлу.

День за днем, после гудка, братья ходили в корпусный цех и где-нибудь в углу, чтобы не мешать вечерней смене, сваривали не убранный вовремя металлический лом и хлам. Они наткнулись на длинную трубу, сваренную из нескольких частей уменьшающихся диаметров.

— Батькина мачта,— сказал Костя.— Вот тебе наглядный пример брака. Помню, как ее запороли прошлой весной. Батя орал на все стапеля. Дорогая штука, сколько тысяч стоит! А кто виноват? Тот, кто сваривал. Сейчас я тебе прочитаю лекцию. Ты видел на железной дороге зазор между рельсами?

— Видел.

— Для чего он?

— Известно, для чего. Чтобы, когда солнце нагреет, не порвало костыли да не погнуло рельсы.

— Ну точно. От температуры каждый металл расширяется. А электрическая дуга дает температуру в несколько тысяч градусов. В том месте, где варишь, металл расширяется, в таком виде ты его и прихватил. Потом, когда остынет, поглядишь — что такое? Все покоробилось, перекосилось. Остывая, это место сжимается. Понял? Усаживается, по-нашему, ну и тянет к себе соседние участки, коробит их. Кто варил эту мачту, не подумал как следует об усадке, и мачту испортил.

— Переделать нельзя разве? Доктора из кишки желудок делают,— сказал Алексей.— А тут не кишка.

— Попробуй переделай! «Не кишка»! — Костя ходил вдоль мачты, осматривал швы, выстукивал их молотком.— Тут, видишь, непровар, по звуку слышно, как битый горшок — звону нет! А тут пережог... Сам сварщик, должно быть, хватился, думал перекос выправить.

Давно пора было идти домой, но Костя все крутился возле мачты и рассуждал о невозможности ее исправить.

## 3

Виктор, впадавший в тяжелое раздумье дома, оживал в своей мастерской. Ему не хотелось после гудка уходить с завода. Пока он в труде, все иное забыто,— забыто, что от него ушла жена, что он и не холост и не женат, что он бобыль и что виноват в этом сам. Каждый раз он искал повода остаться на заводе хотя бы на час, на два.

Вскоре надобность во всяких поводах для этого отпала сама собой. Как-то раз в модельную пришло несколько молодых ребят из шлюпочной мастерской: «Виктор Ильич! Дядя Витя! Расскажите, пожалуйста, о своем станке, о своем методе!» Рассказывал один вечер, рассказывал второй, третий. Слушателей прибывало, и само собой случилось так, что молодые столяры, а с ними и часть старых стали собираться два раза в неделю на инструктаж к Виктору. Организовалась школа столяров-скоростников. Виктора очень увлекла работа в этой школе. Он видел, что молодежь легко осваивает его станок, что станок нравится столярам, и старался собрать в свою школу как можно больше народу.

Однажды Виктора вызвал к себе главный инженер завода.

— Мы составили полную техническую документацию на ваш станок, товарищ Журбин,— сказал он.— Пожалуйста, прочтите. Если что не так, сделайте пометки на полях, вместе исправим. И еще прошу... у станка нет названия. Не задумывались случайно над названием?

— Как не задумывался! Название есть: «Жускив-один».

— «Жускив»? Что же это означает?

— Сокращенно. По фамилии тех, кто работал над станком. Полно это получится так: «Универсальный сто-

лярный станок системы Журбина, Скобелева, Ивановой, модель первая».

— Позвольте. При чем тут Скобелев и Иванова? Кто сконструировал станок?

— Все вместе, втроем.

— Загадочная история! Впервые слышу. Мне известно, что эти товарищи вам кое в чем помогали, а...

— Во всем помогали. Вместе работали,— твердо сказал Виктор.

Он прочел документы, ошибок в них никаких не было, да и не могло быть — составляла документацию станка Зина,— и ушел. Но едва он открыл дверь мастерской, как ему сказали, что его зовет директор.

— Что выдумываешь-то, что? — заговорил Иван Степанович, встречая его на пороге кабинета.— Какие они тебе соавторы? Иванова — девчушка еще, ей учиться надо — не изобретать. Скобелев?.. Несерьезный разговор, Виктор Ильич. Ну, помогали, помогали. Каждый инженер обязан помогать новаторам. По должности обязан, ему деньги за это платят.

— Неправильно, Иван Степанович! Не за деньги люди работали. Каждый вечер мы вместе занимались. Я не уступлю. Станок будет назван «Жускив» или как хотите, не в названии дело,— дело в том, что авторов у него трое. Вы из меня мошенника думаете сделать? Да мне после такой штуки в глаза товарищам стыдно будет глядеть!

— Пойми, Виктор Ильич, мы тебя на Сталинскую премию выдвигаем. Тебя, тебя, рабочего-изобретателя, а не Скобелева, не дорос он до такой чести!

— На Сталинскую премию? — Виктор вытащил платок из кармана, вытер зачем-то лицо, словно оно было мокрое.— Да что вы, Иван Степанович! Не надо.

— Министерство поддержит. Ценное изобретение.

— Я не о том...

— А о чем же?

Иван Степанович подошел к телефону, набрал номер.

— Товарищ Жуков? Если есть время, очень прошу зайти ко мне. Нужна поддержка.

Когда Жуков пришел, Иван Степанович сказал Виктору:

— Ну-ка, объясни парторгу Центрального Комитета партии, почему не надо.

— А тут нечего и объяснять. Станочек наш — такой крохотный винтик в советской технике, что его в увели-

чительное стекло надо рассматривать. Вот и все объяснение.

— Впервые слышу подобную критику собственной работы! Что же, станок плохой?

— Нет, он хороший. Да разве же за такие штуки премии надо давать!

Иван Степанович стоял рядом, разводил руками.

— Вот средство против какой-нибудь зловредной болезни, касающейся всего народа, это да, оно достойно,— продолжал Виктор.— Новый метод труда для миллионов людей — он тоже достоин. Новый тип корабля, паровоза — и так далее. А то, мой дед рассказывает, один огородник тяпку изобрел, ручку, что ли, длиннее сделал или лезвие с двух сторон, не знаю точно. Так он тоже себе за эту тяпку Сталинскую премию требует. Во все организации заявления пишет.

— Но у вас не тяпка!

— Недалеко от нее. Я же, товарищ Жуков, член партии. Я не могу на дело только со своей колокольни смотреть. Я люблю станок, здо́рово люблю, но как взглянешь на него по-государственному: не канал Волга — Дон, не московское метро.

— Рассуждение неправильное, товарищ Журбин.— Жуков смотрел в окно, за окном густо падал крупный снег, снежинки подлетали к стеклу, какое-то мгновение толклись перед ним, подобно бабочкам, и вдруг уносились в сторону.— Иногда простой винтик важней Днепрогэса. Смотря что за винтик. Не масштабами, не размерами определяется ценность сооружения, изобретения или открытия. Определяется она теми зернами будущего, которые в этих открытиях заложены. Объясню. Можно создать сверхмощный молот — паровой, воздушный, гидравлический. И все-таки он не будет шагом вперед. Это будет простое увеличение масштабов существующего. А вот один ленинградский кузнец, может быть вы читали в газетах, заменил свободную ковку прессовкой, молот — прессом. Это шаг вперед, большой шаг. Поковка, или, как ее теперь назвать, — попрессовка, что ли? — получается абсолютно точной, по заданным чертежам, металл не деформируется под ударами, не сотрясаются стены цехов, соседствующее с молотом оборудование.

— Вот за это я бы дал премию! — воскликнул Виктор.

— Ее и дали.

— Значит, правильно я определяю, за что следует, за что не следует.

— Ваш станочек — тоже шаг вперед, шаг к полной механизации пока еще очень слабо механизированных столярных работ, особенно модельных. А моделей при поточном методе понадобится много, очень много.

— Шаг! — ответил Виктор.— Какой шаг? Первый шажок. Когда шагну второй раз да третий, тогда и разговор будет о премиях, товарищ Жуков.

— Разве в таких делах спрашивают согласия автора? — сказал Жуков.

Виктор ушел, нисколько не поколебленный в своем мнении.

О том, что он был у директора и у парторга, о содержании их разговора с ним узнал Скобелев. Тот страшно взволновался. Теперь уже никто не скажет, что у него, Скобелева, нет ничего за душой. У него есть изобретение, оригинальная конструкция, он не рядовой, заштатный инженер, он соавтор изобретателя, он новатор, творец!

Но состояние приподнятости не удержалось и трех дней. Возникли сомнения: начнут заседать, разбирать, доберутся до истины, и тогда... тогда каждый мальчишка будет пальцем указывать: примазался к чужой работе, потолкался возле нее, поплевал в ладони — и уже изобретатель!

Скобелев приуныл. Вся жизнь его проходила как на качелях — то подлетит, то снова вниз. Он принялся подводить обоснование под необходимость пойти и самому заявить о своей непричастности к авторским правам на станок Виктора Журбина, не ожидая, когда это сделают без него.

Он пришел к Ивану Степановичу, объяснил цель прихода.

— Ошалели вы все! — закричал Иван Степанович.— С вами мозги вывихнешь. Не завод, а институт благородных девиц! Разбирайтесь с Журбиным сами. Я отказываюсь.

Самому разбираться в таких делах, когда чувства твои раздваиваются, нелегко. Вот уже что-то пришло, дается в руки — важное, значительное; оно может изменить жизнь, упрочить твое общественное положение — и ты же сам должен доказывать, что это важное, значительное тебе не принадлежит, ты не имеешь на него права.

Грубый ответ директора ожесточил Скобелева. В его неустойчивом мышлении произошли быстрые перемены.

— Вы отказываетесь,— сказал он.— Так имейте в виду, что я не откажусь от защиты интересов изобретателя. Я буду их защищать! Я считаю это долгом советского гражданина.

Роль защитника чьих-то интересов необыкновенно понравилась Скобелеву,— в такой роли он выступал впервые. Он принялся надоедать Жукову, Горбунову, везде и всюду болтал о том, что его-де хотят подсунуть в соавторы Виктору Журбину, но он этого не допустит, он не позволит обкрадывать талантливого человека. В это самое время к нему в бюро пришел один из молодых электросварщиков.

— Вот, слышал, вы за Журбина болеете. А за меня никто не болеет. Один кручусь. Конечно, я не изобретатель, я только диаметр шестеренок прошу изменить. Все отмахиваются.

— Пошли! — решительно сказал Скобелев, выслушав смысл предложения. Ведя изобретателя за собой, он ворвался к главному технологу. — У нас на заводе рационализаторскую мысль зажимают! Безобразие! Вот товарищ третий месяц не может добиться толку. Предлагает реконструировать сварочный аппарат. Увеличивается скорость варения.

— Надо посмотреть.

— Давно это следовало сделать!

— Но я только сейчас слышу о предложении этого товарища. С кем вы разговаривали, товарищ? Кто и в чем вам отказывает?

— Мастеру говорил, технику по аппаратам. Ты, говорит, в аппараты лазить не имеешь права. И вообще эта система устарела — новые получаем. А зачем обязательно новые? Диаметр шестеренок изменить — и эти будут работать не хуже новых.

— Хорошо, займемся, я сегодня же пришлю на участок инженера, посоветуйтесь с ним. А вам, товарищ Скобелев, спасибо за горячее участие. Только не надо так нервно, поспокойней, пожалуйста.

— Будешь нервным. Шагу шагнуть человек не может, чтобы в бюрократических рогатках не увязнуть.

Всякая необходимость делать то, что он обязан был делать, давила Скобелева, повергала в уныние, в апатию. Теперь перед ним открылось поле деятельности, лежав-

шее вне пределов его должностных обязанностей: это поле влекло, манило, пробуждало энергию. Скобелев превращался в борца. Он перестал сидеть в бюро, ходил целыми днями по цехам, мастерским, участкам, беседовал с рабочими, с бригадирами, с мастерами, от него не ускользало ни одно, даже самое маленькое рационализаторское предложение. Он являлся с этими предложениями к главному технологу, к главному конструктору, к главному механику, требовал, доказывал, горячился. Он не достиг еще того, чтобы стучать кулаками по столам начальников, но и прежней трусоватости в нем уже было значительно меньше. Не за себя борется, за других,— сознание этого придавало ему смелости.

Однажды он зашел и в модельную мастерскую:

— Привет, Виктор Ильич, привет! Слышал, ущемить вас хотели, соавторов приплели. Я не позволю. Можете на меня положиться.

— Не приплели,— ответил Виктор, пожимая ему руку.— Наоборот, не признавать вас с Зинаидой Павловной вздумали. Я, конечно, дал отпор.

— И зря. Разве мы с Зинаидой Павловной соавторы? Так, помощнички в меру сил и возможностей. Вы, вы создатель этой машинки! — Скобелев погладил рукой полированную станину «Жускива», с нежностью погладил, снова вспомнив хорошую, светлую пору совместной работы.

## 4

Снег в это утро был похож на соль. Сухой и твердый, он хлестал по афише возле заводских ворот. Люди останавливались, рассматривали два желтых шара, изображенные на большом листе серого картона, читали черные надписи — вкось через желтое:

ЛИМОНЫ

*Как их выращивать*
*в комнатных условиях*

Начало в 8 ч. вечера
Лектор *В. В. Лобанов*

В сознании как-то не совмещались январская стужа, ледяной снег и тропические плоды. Люди пожимали плечами

и бежали к проходной. Но и в проходной, на досках объявлений в цехах и мастерских, на стенах строительных, обитых толем, тепляков, в коридорах заводоуправления — всюду перед ними мелькали желтые шары и четкие черные надписи. Деться было некуда от этих шаров. Видно, у самого у него, у нового заведующего клубом, у Василия Матвеевича Журбина, шарики в голове не работают; тоже придумал: лимоны!

О лимонах говорили весь день, над ними смеялись, смеялись и над Василием Матвеевичем, острословили. Техник компрессорной станции Поликарпов позвонил в завком Горбунову — осведомился: не собирается ли клуб переделывать природу на Ладе?

Когда Василия Матвеевича назначили заведовать клубом, Горбунов сказал ему: «Надо составить план работы. Помозгуйте вместе с Вениамином Семеновичем и несите сюда, посмотрим, утвердим». Василий Матвеевич помозговал, да только без Вениамина Семеновича, один. Он долго мозговал, больше месяца. Горбунов напоминал, поторапливал, в ответ неизменно слышал: «Сначала помещение в порядок приведу. Долго ждали. Еще обождете».

В конце концов план был составлен. Василий Матвеевич принес его в завком — три странички, исписанные крупным почерком, сел возле Горбунова на стул:

— Читай, Петрович, знакомься да утверждай.

Горбунов читал, и его охватывало беспокойство.

— Откуда ты взял эти лимоны, Василий Матвеевич? — спросил он.

— А тут городской садовник, Лобанов, приезжал... ну, который заводскую территорию озеленять будет. Разговорились, то да се, ко мне домой зашел, увидел Марьины фикусы да лимончик в горшке и объяснил — урожай получать можно. Интересная штука.

— Штука-то, может, и интересная, но как-то, знаешь... А байдарки — кому они нужны? Кружок рыболовный?.. Не боевой план.

— Что значит — не боевой? — сердясь заговорил Василий Матвеевич.— Самый боевой!

— Не то что не боевой... А не думается ли тебе, что он маленечко аполитичный?

— Ты мне про аполитичность, Петрович, моралей не читай. Сам знаю, что политично, а что нет.

Будь на месте Василия Матвеевича его брат, Илья Матвеевич, или Александр Александрович, те бы тотчас

припомнили и Красную Горку, и Царицын, и кронштадтский лед — все бои, в которых они учились политике. Но Василий Матвеевич, более сдержанный, добавил только:

— За этот план несу полную ответственность. Не справлюсь когда — снимайте, гоните. А пока — я заведующий! Я в ответе.

Они смотрели друг на друга и были недовольны друг другом: что это ты, брат, гордый такой и несговорчивый?

От Горбунова Василий Матвеевич сразу же пошел к Жукову. Парторгу лимоны тоже не очень понравились.

— План довольно живой, интересный,— сказал он.— Возражений особых не имею. Своеобразный, конечно. Что ж, попробуем так поработать. Только кое-что давайте всетаки добавим, товарищ Журбин. Вы, полагаю, сами чувствуете, чего тут не хватает? — Жуков взял красный карандаш.— В центре внимания не только нашего народа, народов всего мира — наши громадные стройки. Впишем? Впишем. О преобразовании природы, о техническом прогрессе... Только поярче, поживей об этом надо говорить. Разве можно сухо рассказывать о делах, которых история человечества еще не знала? Как вы думаете?

— Так и думаю: нельзя! И не желаю сухие мероприятия устраивать. По сих пор,— Василий Матвеевич провел пальцем по горлу, — накормили нас ими шестнадцать-то заведующих.

И вот, к большой тревоге Горбунова, клуб расклеил эту афишу с желтыми шарами. Горбунов не мог ни усидеть в завкоме, ни пойти домой в тот день, на который была назначена лекция. Он явился в клуб. Он давно знал обо всех переделках, произведенных в клубе Василием Матвеевичем. Председатель завкома сам утверждал эти переделки, сам следил за ними, но и его поразили строгий порядок и та чистота, какие представились теперь глазу, когда были зажжены все лампы в вестибюле, в коридорах, в гостиных, в комнатах отдыха.

Василий Матвеевич выбросил из «зимнего сада» обвитые войлоком сосновые жерди с пучками грязных листьев наверху, называемые пальмами, и привез из города несколько настоящих финиковых пальм. Аквариум наполнили водой; в центре его, раскидывая веером тонкие струйки, бил ленивый фонтанчик; под фонтанчиком, среди водорослей, плавали степенные рыбки — вуалехвосты. Из диванов выбили многолетнюю пыль. На одном из них

сидела полная женщина в зеленой шляпе и следила за рыбками в аквариуме. Неужели и жена Ивана Степановича интересуется лимонами!

Возле дверей в конференц-зал, где должна была состояться лекция, Горбунов увидел мастера Тарасова и двоих ребят из ремесленного. Тарасов говорил:

— Можно и семечком. Только плодов из семечка пятнадцать лет прождешь. Отростком надо, отростком. От привитого дерева.

Главный конструктор Корней Павлович прохаживался по коридору и рассматривал картины на стенах.

— Кто это придумал? — спросил он у Горбунова.

— Не помню,— ответил Горбунов.— Давно здесь висят. С самой постройки.

— Я не о картинах. Кто, говорю, лимоны эти придумал?

— А что — плохо?

— Почему плохо! По крайней мере, интересно. Я давно занимаюсь лимонами, выписывал когда-то трехлетки из Мичуринска. Те плодоносили. Но в войну сохранить их не удалось, холодно было в квартире. Завел новые — никакого толку.

— Из семечек вырастили, Корней Павлович? — осведомился Горбунов.— Из отростков надо, люди говорят.

— Из отростков, из семечек — по-всякому пробовал. А вы тоже любитель?

Прозвенел звонок. Из гостиных, из коридоров в конференц-зал мимо Горбунова потянулись судосборщики, токари, конструкторы, пожилые бухгалтерши, ремесленники, домохозяйки, настройщики станков, столяры, — почти всех Горбунов знал в лицо, по фамилиям, по именам, по производственным показателям; все было известно председателю завкома об этих людях, не знал он только об их пристрастии к лимонам.

Расселись по местам. Зал, рассчитанный на сто пятьдесят человек, был почти заполнен. Горбунов устроился в сторонке, у боковых дверей. В последнюю минуту, когда на лекторской кафедре из полированной корабельной фанеры появился городской садовник Валериан Валерианович, вошел Жуков и сел в последнем ряду.

Валериан Валерианович нисколько не был похож на садовника. О нем скорее подумаешь: кузнец или здоровяк-каталь. Стал на кафедру, кафедра ему едва до пояса. Руки длинные, крепкие, плечи широкие. Седые с про-

червью волосы. Повернется, переступит с ноги на ногу — кафедра поскрипывает.

— Не знаю, дорогие товарищи,— поглаживая подбородок ладонью, заговорил он басом, по-северному окая.— Не знаю, когда это будет, только верю, что будет: в нашем городе зацветут на улицах тропические растения. Выйдет человек из дому и под собственным окном сорвет на ходу апельсин или персик.

По залу пронесся веселый шумок.

— Да, верю, крепко в это верю,— продолжал Валериан Валерианович.— Триста лет стоит наш город на Ладе, двести девяносто шесть лет росли в нем одни боярышники, тополи да сосна, на двести девяносто седьмом я срезал в своем саду первую кисть винограда, а на двести девяносто девятом, то есть в прошлом году, сорвал первый персик. Значит, разговор мой не о пустом мечтании, не бабушкины это сказки, хотя и сказок знаю немало, — бабушка, как и у всех у вас, у меня, понятно, была.

Валериан Валерианович вынул из кармана платок, поприкладывал его к лицу, будто промокашку: в зале было жарко, Василий Матвеевич распорядился пустить отопление в тот день на полный ход.

— Идут южные гости на север. Приближаются к нашим местам. Человек ведет их, за ручку ведет, что малых ребятишек. Будут они не гостями тут вскорости, а коренными жителями.

Лектор рассказал о работах Мичурина, о мичуринских сортах теплолюбивых растений, которые под воздействием человека постепенно утрачивают свою любовь к теплу и привыкают довольствоваться умеренными температурами. Говорил он об арбузах и дынях под Москвой, о черешне под Ленинградом, говорил о планах преобразования природы, о великих каналах и лесных посадках, и чем больше говорил, тем легче и спокойнее становилось на душе у Горбунова. Валериан Валерианович рассказывал как будто о персиках и черешнях, а перед слушателями возникал образ человека-творца, который на своей родной советской земле совершает чудесные превращения, который все может, всего добьется, лишь бы он не жалел сил и трудов.

«Со смыслом получается,— думал Горбунов.— Ну никак не ожидал!» Ему невдомек было, что Василий Матвеевич за то время, когда составлялся план, не только

ремонтировал клубные помещения, — он ходил по цехам, толковал со старыми приятелями, с молодежью, допытывался — чего, мол, хотят они от своего клуба, что их интересует. Интересов у заводских рабочих оказалось хоть отбавляй. Даже дед Матвей высказался:

— Ты устрой там, Вася, такое помещение, чтоб и старикам было где посидеть, чтоб не затолкал нас там молодняк. Придем, посидим, побеседуем, кружечку пивка выпьем. И чтоб шуму не было. Не вздумай радио туда проводить или, чего доброго, баяниста не посади. Я вот, помнишь, на курорт когда под Ригу ездил, третьим годом, так в ресторан пошел. «Лида» называется. С одним доменщиком из Донбасса. Тоже дед. Давай, говорит, спаржи поедим, Дорофеич, никогда не пробовал, деликатес! Принесли. Тюря. Горькая, еще и с мочалкой внутри. Белые такие финтифлюшки. Да, я про другое... Главное, джазбанда в «Лиде» в этой до того старалась — тарелки прыгали по столу. Сидишь и дребезжишь весь. Язык вилкой уколол от такой вибрации организма. Вот и объясняю тебе, Вася, не вздумай про баянистов. Беседу вести да пиво пить — тишина нужна.

О лимонах Василию Матвеевичу сказала старушка Селезенкина, уборщица из завкома. Интересует ее-де, как сделать, чтобы не сохли и лист не роняли. «Никогда не была в клубе, а за таким делом непременно приду». И вот пришла, верно, в первом ряду сидит.

Устроили перерыв. Слушатели обступили Валериана Валериановича, и он, кому и перерыв-то нужен был только для того, чтобы выйти покурить, так и не покурил, все пятнадцать минут отвечал на вопросы.

— Кто не поленится, — продолжал он после перерыва, — пусть приезжает ко мне домой, покажу дерево, в человеческий рост оно, большое. С этого дерева снимаю штук по пятьдесят плодов. Каждый может вырастить такое дерево, у каждого всегда будут к чаю свои лимоны. Знаю, что и среди вас есть специалисты, у которых лимонные деревья плодоносят. Что надо делать, чтобы они у всех плодоносили? Вот и подумаем вместе.

Валериан Валерианович рассказывал сам, просил выступать желающих. Горбунов окончательно успокоился. Он пробрался потихоньку к Жукову, сел рядом с ним, зашептал:

— А ведь неплохо получается.

— А что у рабочих получается плохо? — коротко ответил Жуков.

«Что он мне о рабочих толкует! — подумал Горбунов.— Я сам рабочий. Мне эти лимоны, может быть, тоже по душе. А вот не сразу разберешься — нужны они или не нужны в современный момент. Жестокий бой идет на белом свете. Силы мира растут, крепнут, но и поджигатели не сдаются, на рожон лезут. Рука тянется в набат бить: в опасности мир! Вот и сообразуешь с этим каждый свой поступок, каждое слово. Где тут о лимонах рассуждать!»

После беседы часть слушателей ушла, но часть осталась. Валериана Валериановича увели в «зимний сад» и еще долго мытарили вопросами.

Жуков, за которым последовал и Горбунов, отыскал Василия Матвеевича. Василий Матвеевич на лекции не был, он сидел в своем кабинете и «прорабатывал» бывшего заведующего клубом, который упорно отказывался руководить драматическим кружком. Вениамин Семенович прямо не заявлял этого. Он ссылался на то, что в кружок записываться не хотят, а кто и записался, никаких сценических способностей не имеет.

— Сам соберу народ, докажу тебе! — сердился Василий Матвеевич. — Что значит — сценических способностей не имеет! У моего племянника жена галошницей была на резиновом заводе, галоши клеила. А знаменитой артисткой стала, по радио выступает. И на сцене выступала. Способности отыскивать надо, не ждать, когда они к тебе придут. Они и вовсе могут не прийти к таким ленивым, как мы с тобой.

— Словами кидаетесь, товарищ Журбин! Я не ленивый. Но и усердия не по разуму не признаю.

В этот момент и вошли Жуков с Горбуновым.

— Отличная лекция, Василий Матвеевич,— весело сказал Жуков.— Давно такой не приходилось слышать. Хорошо придумали, хорошо начинаете.— Он посмотрел на Вениамина Семеновича.— Вот как работать надо, товарищ режиссер!

— Таких лекций я мог бы вам организовать тысячу,— ответил Вениамин Семенович. — От меня не пустячков требовали, а мероприятий целеустремленных, направленных.

— Это были танцульки? Это было прокручивание старых кинокартин? Этого от вас требовали?.. Кстати, вы

как-то сказали, что собираетесь справлять сорокалетний юбилей. Чем вы его отметите? Чего вы достигли за сорок лет?

Впервые Вениамин Семенович не находил достойного ответа.

А Жуков продолжал:

— Недавно я получил письмо от вашей дочери. Она пишет, чтобы мы не считали вас ее отцом, что она переменила имя и фамилию.

— Как же теперь ее зовут? — воскликнул Вениамин Семенович, побледнев.

— Вы подумали о том, что сказали? — Жуков посмотрел на него с удивлением.— Вы у постороннего человека спрашиваете имя своей дочери. Отец!

Вениамин Семенович по очереди посмотрел на всех, усмехнулся, взял со стола лист бумаги и стал писать: «Заявление. Прошу... по собственному желанию...»

Закончив, он протянул заявление Василию Матвеевичу, тот повертел листок в руках и расписался вкось на уголке: «Согласен». Горбунов, тоже молча, в другом уголке вывел: «Освободить».

Вениамин Семенович, увидев эти надписи, пожал плечами и вышел.

— Нет,— заговорил Жуков после некоторого молчания,— не удалась у товарища жизнь.

— Если бы мне,— отозвался, насупясь, Василий Матвеевич,— сказали бы: не нужен ты никому, Журбин, — я бы тут же и провалился сквозь пол. На что мне и жить тогда?

— И я бы за тобой — под пол! — мрачно пошутил Горбунов.— Думал, между прочим, что через эти лимоны мы с тобой как раз такой маршрутик и проделаем.

## 5

Услышав гудок автомобиля, дед Матвей не спеша надел пальто, шапку с ушами, рукавицы и вышел из дому. Возле калитки стоял черный директорский «ЗИС». Шофер распахнул дверцу:

— Матвею Дорофеевичу!

— Здоро́во, Митя! — Дед уселся поудобней, прикрыл колени полами пальто.— А тепло у тебя в драндулете!

— Печку сегодня установил. Дает жару!

Машина проваливалась в снежные колеи, шла тяжело, освещая крутые сугробы по сторонам.

— Электрическая печка-то?

— Нет, от мотора.

— Вот бы рыбакам нашим что-нибудь такое придумать. Зябнут ребята. Иду в субботу в баню через Веряжку. Сидит над прорубью этот... знаешь, машинист с паровоза, Самохин? Ну, такой... лицо оспой побито. Застыл — морозюга крепкий. Щека бабьим платком обвязана. «Что, — кричу ему с моста, — вовсе, гляжу, ума рехнулся: с флюсом на реку пришел?» А он, бедняга, хочет подняться, на ноги встать — и не может: пальтишко ко льду приморозило. Чистая беда. От тепла тоже бывает неладное. Случилось раз с тыквой... Здоровенная, пуда в три. Привезли ее по морозцу, положили в теплом помещении на выставку. Она полежала полчасика, да ка-ак долбанет что бомба. Посетителей побила страх сколько! Кому коркой в ухо, кому семечком в глаз, а кому жидкой хлябью, внутри которая, по всей физиономии этак смазала. Ученые объяснили — воздух в ней нагрелся и разорвал. Ты, Митя, с тыквами полегче. Остерегайся. На укропчик налегай, на сельдерюшку. Мирный овощ, без подвохов.

С наступлением морозов Иван Степанович приказал возить деда Матвея на машине. И не только потому, что заботился о дедовом здоровье. Были и другие причины.

После вступления в новую должность дед Матвей поневоле свыкался с мыслью о том, что рабочая жизнь его кончилась, что дел отныне у него никаких, что должность ему выдумана «для блезиру». Он принес в директорский кабинет подушку, одеяло, простыни, вытребовал у Ивана Степановича ключ от книжного шкафа. Придвинет после ухода директора настольную лампу к дивану — приделал к ней длинный шнур,— уляжется и читает. Больше всего по душе ему пришлась энциклопедия. Сначала он читал подряд — с буквы «а» и дальше страницу за страницей. Но от такого чтения ничего, кроме путаницы, в голове не оставалось. Тогда стал читать только медицинское. Бросил и медицину: спалось от нее плохо. Саркома да рак снятся, хвостатые какие-то, с рогами. Выдумал игру — читать, где раскроется. Вот тут-то и пошло самое интересное. Раскроет, например: «Тайвань». Слышал, конечно, сто раз — китайский остров, Чан Кай-ши на нем засел да его американские покровители, а что оно такое «Тайвань» наглядно — кто его знает. Оказывается, благодатный

край, и рис там, и ананасы, и сладкая картошка — батат — растут, и климат что в раю — теплый, мягкий, и народ боевой на Тайване проживает. Или рядом: «Тамара». Подумать только, грузинская эта царица, про которую россказней сколько всяких рассказывается, была женой русского князя! Как он жил с ней, бедняга? Натерпелся, поди. «Тори» раскрылось. Английские аристократы. Уинстошка-то, Уинстошка, факельщик,— тоже их породы! Ну та́к он, дед Матвей, и знал: ясно, аристократ. Прощелыга.

Начитается, уснет; утром книги в шкаф под ключ и пошел домой. Однажды в самый разгар интересного чтения позвонил телефон. Никогда еще не было, чтобы подняли деда Матвея с дивана среди ночи. Подошел к аппарату, взял трубку.

— Чего там? Кому не спится? — спросил ворчливо.

— Товарищ директор?

— Какой директор! До утра он тебе сидеть будет? Утром звони.

— Утром поздно, товарищ! Это десятник Черноклюев говорит, товарищ. Трубы лопнули, вода хлещет! Всюду названиваю, никто не отвечает.

— Какие трубы-то? — осведомился дед Матвей.

— На бетономешалках.

— А ты выключи воду. Возле механического ваши бетономешалки? Отсчитай, значит, от входа в цех пятнадцать шагов по метру... Ты часом не коротконогий? Ну вот отсчитай,— там тебе колодец будет... А водопроводчики у тебя есть? Они пусть и лезут. Вентиль перекрыть надо. Сообразил? Чего — спасибо! А потом пусть трубы меняют. Чего же ты не отеплил их? Войлочком, войлочком обернул бы. На складе войлок есть. Завтра чтобы обернул. Не лето.

Следующей ночью дед Матвей сам позвонил строителям:

— Черноклюева к телефону, десятника! Черноклюев? Журбин с тобой говорит, от директора. Как вода у тебя? Трубы-то отеплил? Гляди, брат, чтоб никаких аварий. Ты нам плановую задачу не срывай.

Еще раз позвонили: дежурный из транспортного отдела. Семь вагонов лесу пришло, железнодорожное начальство требует, чтобы немедленно разгружали, порожняк обратно нужен. Дежурный спрашивал, разгружать или ждать до утра.

— До утра — они нам простой запишут, — сказал дед Матвей. — Народные денежки. Разгружай, и никаких!

— А у меня людей сейчас нету столько — на семь вагонов.

— Нету? — Дед Матвей задумался. Трудное положение! Начальство будить? А чего будить, подумаешь — семь вагонов! Не пожар и не потоп.— Ты мне... как тебя зовут-то? Мартьянов? Ты мне, Мартьянов, позвони минуток через десять. Решение скажу.

Дед Матвей положил трубку, постоял возле аппаратов, сел в директорское кресло. Народу на заводе ночью мало. Дежурные монтеры да механики, кочегары, вахтеры. Их с места не сорвешь, они при своем деле. Строители? Вот, пожалуй, строители!

— Черноклюев? — гудел он в трубку через минуту.— Прораб твой где? Один помощник? Давай его сюда! Товарищ помощник, тебе лес нужен? До зарезу? Есть семь вагонов... Я и говорю: хорошо. Вот, значит, разгрузить надо быстренько. Кто-кто! Журбин звонит, Журбин. Мобилизуй подсобников. Часика через три справлюсь.

Когда позвонил Мартьянов, дед Матвей ему сказал:

— Нажми на строительного помощника. Крути по тридцать девятому номеру. Он подсобников даст. Я распорядился. И доложи-ка мне потом, как дело пойдет.

В эту ночь дед Матвей на диван не укладывался и книжный шкаф не отмыкал. Он звонил по телефонам, справлялся о ходе разгрузки, расхаживал по кабинету — руки за спину, бубнил про трубы-горны.

«А не простая штука заводом-то руководить! — рассуждал он сам с собой.— Кто не знает — тому она легкая. Со стороны все легко, а покрутись, пораспоряжайся — узнаешь!»

Утром дед ушел, оставив на столе Ивана Степановича записку с кратким описанием ночных событий, с докладом о своем решении и о том, что на заре завод вернул порожняк железной дороге; никакого простоя не получилось, денежки сохранены.

Вечером он подровнял бороду ножницами, поужинал, стал натягивать валенки.

Вошел шофер Митя.

— Каким ветром занесло? — спросил его Илья Матвеевич, отрываясь от газеты.— Или срочное что?

— За Матвеем Дорофеевичем,— сказал Митя.

— То есть как? — Илья Матвеевич удивился.

— Обыкновенно, на «ЗИСе». Директор велел.

Все переглянулись: не нагоняй ли деду ожидается? Не накуролесил ли? И самого деда Матвея взяло беспокойство: что́ если он неправильно нараспоряжался? Не много ли принял на себя сторож директорского кабинета? Всю дорогу до завода он скреб за ухом; там почему-то чесалось, и коленка чесалась, и у ступни; только нос никакие силы не беспокоили — не в рюмку, знать, везут смотреть, нет, не в рюмку,— в глаза своей вине.

Но Иван Степанович встретил деда Матвея крепким рукопожатием и прочитал приказ: деду объявлялась благодарность за инициативные действия.

— Приказ приказом,— добавил Иван Степанович,— еще и от меня тебе, Матвей Дорофеевич, особое, личное спасибо.

— На одном деле стоим с тобой, Иван Степанович. Ты за него, и я за него.

С того дня и отдал Иван Степанович распоряжение — возить деда Матвея на завод и обратно в машине.

— Дедушка! — воскликнула тогда Тоня.— Да ты совсем как директор стал!

— А что, ребятки? — Дед Матвей усмехнулся. — Я их... как их... с лестниц-то в революцию кидал... которые... Ну и вот... Достигайте и вы. Кому что положено, то он и получает.

Теперь, уходя домой, Иван Степанович, случалось, поручал деду Матвею что-нибудь проверить ночью, о чем-нибудь напомнить строителям или механикам; давал эти задания он устно или письменно, дед выполнял их со стариковской придирчивой требовательностью.

Ночью на заводе был, конечно, диспетчер. Но диспетчер занимался вопросами, непосредственно связанными с производством,— координировал ночную работу цехов, именно цехов. А в связи с развернувшимся строительством возникали порой такие неожиданные вопросы, на которые никакой диспетчер не ответит. На помощь приходил дед Матвей. Он знал завод до самых глухих закоулков, знал его подземное хозяйство, без всяких планов и схем — по памяти — мог рассказать, где проходят электрические кабели, старые и новые линии труб от воздуходувки, где и каких сортов сложен строительный лес. Ему звонили, к нему обращались за справками и советами.

Кто первый сказал это слово — неизвестно, но деда Матвея стали называть не иначе как «ночной директор».

Где уж теперь было спать! Едва приляжешь, едва раскроешь книжку — названивают: дед Матвей! Матвей Дорофеевич! Так, мол, и так. В отличие от дневного директора ночной директор отзывался на каждый звонок. Секретарши у него не было, никакие переключатели ночью не действовали — попадали все прямо к нему, без канители и бюрократизма: что да кто, по какому вопросу?

Дед Матвей забросил ватник, в котором вначале ходил на дежурство, стал носить пиджак, надевавшийся прежде только по воскресеньям, чаще подстригал свою львиную гриву и старательно расчесывал, холил бородищу. Он уже не был сторожем, и заводские дела волновали его не только ночью; на завод деда Матвея тянуло и днем. Выспится к полудню — стариковский сон недолог,— придет, шаркает валенками по строительным подмостьям, ворчит: «Лед бы скололи с досок, убиться народ может»... «На «козе» кирпич таскаете? Этак при царе Горохе рабатывали». Прораб или десятник ответят ему: «Много ли его, кирпича-то, Матвей Дорофеевич! Простенок заложить — тысчонки полторы». — «А и полторы — зачем горб ломать? Моторный кран стребуйте».

Обойдет стройки, складские дворы — вечером рассуждает с Иваном Степановичем обо всем, что видел и что не понравилось ему. Глядишь, и лед скалывают, и мотокран пригнали, и отделочный лес дорогих пород из снега перетаскивают под крышу. Дедовы зоркие глаза подмечали многое из того, что ускользало от внимания директора.

И сегодня, приехав на завод, дед Матвей заговорил о неполадках на строительстве:

— Понимаешь, Иван Степанович, гравий не моют. Морозно, объясняют,— корка получается. А гравий тот грязный, пыльный. Как его в бетон пускать! Надо мыть, в тепляке мыть.

— Смотрю я на тебя, Матвей Дорофеевич,— сказал Иван Степанович,— а не мог бы ты директора заменить? Как думаешь?

— Старый, старый я для этого дела. Силенок не хватит, Иван Степанович. Да и неученый. Это, конечно, неученый — не главное. Главное — старый. Был бы помоложе — на ученье мог бы и поднажать.

— Образование, силенки, они, считаешь, нужны? А вот мне один товарищ говорил... На заводе, говорит, где все налажено, где крепкий рабочий коллектив, где хороший инженерно-технический персонал, там, дескать, и директор ни к чему, без него обойдутся.

— Загнул твой товарищ, — подумав, ответил дед Матвей.— Это он соображает так: вроде духового оркестра. Планы, графики, нормы — они заместо нот. Катай по ним — и вся музыка? А оркестр без этого самого, как его...

— Капельмейстер? Дирижер?

— Во-во! Без капельмейстера-то и оркестр с толку собьется. Тебе один товарищ говорил, а мне другой рассказывал. Про оркестр рассказывал. Без руководителя, если оркестр большой, что получится? То они, музыканты, равняясь друг на друга, все быстрей да быстрей играть начнут, под конец понесутся вроде взбесившихся жеребцов, а то всё медленней да медленней, на заупокойную съедут. Капельмейстер следит вроде бы за каждым в отдельности, а получается — за всю музыку враз он болеет. В нотах, конечно, все написано, да ведь ноты — они бумага. Если только в бумагу глядеть, неважно получится. Человеку человеческое руководство надобно, человеческое объяснение.

— И проверка.

— И проверка, как же! Кто как действует. Наша партия, Иван Степанович, раздумаюсь, бывает, она что? Она тоже решение на бумаге напишет. Хорошее решение, всякому понятное. Распечатай на машинке его, это решение, раздай каждому: действуйте, мол, по написанному, все тут сказано. Ан нет, не так получается. Собрание будет партийное, обсудят все, обдумают, каждому особое дело определят. Партийный комитет — на ноги, к народу пойдут, объясняют. Парторг рукава засучивает. Опять соберутся, кто как выполняет партийное решение, посмотрят. Хорошо человек выполняет — еще лучше попросят. Худо выполняет — поднажмут на него или помогут... смотря что там и отчего. Неверно говорю?

— Верно, верно, Матвей Дорофеевич.

Не первый раз дед Матвей заставлял задумываться Ивана Степановича. Дедовы слова о том, что даже в самых, казалось бы, мелких поступках надо брать пример с великих людей, сказанные осенью, прозвучали тогда для Ивана Степановича укоризной. Иван Степанович от-

давал заводу все силы, все свое время, ничто иное, кроме завода, для него не существовало. Он не ездил в театр, почти не бывал в кино, читал только техническую литературу. От семьи оторвался, домой приезжал пообедать да переночевать. Он думал, что так и надо. Но дед Матвей наговорил таких слов, что Иван Степанович не мог их забыть.

Кто такой дед Матвей? Представитель народа, частица народа! И во многом-многом прав был старик. Ведь и на партийной конференции говорилось о том, что Иван Степанович иной раз либеральничает по отношению к лентяям, к тем, кто не слишком-то добросовестно выполняет свой долг. Часто в таких случаях ограничивается только «личным внушением». Да, пожалуй, это так. Сам рабочий, сам инженер, Иван Степанович считал своей обязанностью «входить в положение» каждого рабочего и каждого инженера и понимал эту обязанность в непомерно широком смысле.

Ему казалось, что дед Матвей, старейший производственник, должен был одобрить, поддержать действия директора, которые касаются защиты рабочих интересов. Но дед, как выяснилось тогда, в подобной защите нисколько не нуждался. Он говорил, что защищать рабочего — это прежде всего защищать свое Советское государство.

И вот снова Иван Степанович задумался — над тем, как же прав дед Матвей в его рассуждениях о жизни, о роли руководителя, о партии. Он ничего не сказал деду на прощанье, только крепко пожал руку.

Телефоны в эту ночь молчали. Дед Матвей посидел за столом над книгами, да и задремал в кресле. Его разбудил звонок. Снял трубку с аппарата — гудок станции. — Что такое? Снял со второго аппарата, с городского. Тоже гудок. А звонки звонят. И вдруг дед Матвей понял, что зовет его к себе московский телефон, на отдельном круглом столике, всегда таинственно тихий, загадочный. Брать или не брать? Дед растерялся. Может, Ивану Степановичу брякнуть, пусть сам едет, разговаривает? Но аппарат звал настойчиво, нетерпеливо; надо было браться за трубку.

— Алё! — сказал дед Матвей осипшим голосом. — Алё!

— Завод? Кто у телефона? — спросил его далекий, но отчетливо ясный голос.

— Матвей Журбин,— ответил он.— Дежурный.

— Сейчас будете разговаривать с Николаем Васильевичем.

Кто такой Николай Васильевич — дед Матвей не знал, но оттого, что названо было самое простое, обыкновенное имя, страх и замешательство его стали проходить.

— Ну давай, давай,— сказал он значительно бодрее.— Слушаю.

— Товарищ Журбин? — заговорил в трубке другой голос.— А директор где?

— Отдыхает директор, товарищ Николай Васильевич. За день-то накрутился, набегался. Поспать человеку положено. Что надо, сам скажу. Про строительство, что ли?

— Как с траулерами дело? В каком состоянии? Сегодня Совет Министров предложил нам сдать их к Первому мая.

— Все шесть? — осведомился дед Матвей.— Значит, что — не на плаву достраивать? На плаву ведь не выйдет. Лада наша поздно вскрывается. Полную отделку на стапелях давать?

— Да, на стапелях.

— Это можно. Дело такое. Суда мелкие. Постараемся, Николай Васильевич. Так министрам и скажите: постараемся. Народ на заводе крутой. Бывали у нас? Нет еще? Милости просим. Да я, как его... Ребята вот смеются: ночной директор. А в общем-то старый рабочий, Матвей Журбин. Все передам, в точности. Утром приедет — и передам. Здоров, здоров! И вы бывайте здоровы.

В трубке умолкло, но дед Матвей долго еще держал ее в руке, рассматривал. Разговор с Москвой ему понравился. Обходительный парень, этот Николай Васильевич. Здоровьем поинтересовался, директора будить не велел. А разбудить хотелось, тут же сказать о тральщиках, которых ждет Совет Министров.

Дед заходил по кабинету, по огромному ковру, волоча простреленную ногу и досадливо притопывая валенком на поворотах.

Утром он узнал от Ивана Степановича о том, что «обходительный парень» Николай Васильевич уже и к директору на квартиру позвонил, и есть он не кто иной, как министр их судостроительной промышленности.

## ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

### 1

В конторку Ильи Матвеевича принесли из заводоуправления толстый пакет со множеством разноцветных марок, почтовых штемпелей, туго перетянутый прочной бечевкой.

Илья Матвеевич прикинул его на ладони: граммов пятьсот — шестьсот; надев очки, прочел адрес отправителя. Скажите пожалуйста! — Москва, какая-то Потылиха, М. В. Белов! Вспомнил, как начальник Антона приходил к ним на огород, как поспорили и ни до чего не доспорились. Вскрывать пакет не спешил, раздумывал над ним, потому что это только кажется: ни до чего не доспорились, — заронил профессор сомнение в душу Ильи Матвеевича. Уж так ли прочно он, Илья Матвеевич, стоит на стапелях со своим опытом? Никогда он не держался за старое. Все новшества кораблестроения — новшества, касающиеся сборки корпусов, прежде всего испытывались и применялись на его участке. Но какие новшества? Те, которые не выходили за пределы десятилетиями и даже столетиями вырабатывавшейся технологии. А эта технология твердила: корабль в основном строится на стапеле. Именно здесь, здесь, на стапеле, собирают, склепывают, оснащают его в возможных пределах и затем сталкивают на воду. Что с течением лет менялось на глазах у Ильи Матвеевича? Все больше механизировалась подача материалов сборщикам, совершеннее становилось крановое хозяйство: ручную клепку заменили пневматической; в последние годы почти все механизмы на корабле монтировались в стапельный период его жизни, чем значительно сокращался срок достройки корабля на плаву.

В пределах этой технологии Илья Матвеевич был тем «мастером доброй пропорции», о каких говорилось так еще во времена Петра. Он был не просто мастером, но еще и отличным хозяином. Его участок не знал случая, когда бы не хватило материалов или заготовок. Илья Матвеевич умел создавать запасы — небольшие, не бросающиеся в глаза, но вполне надежные.

— Как дела? — спросит его директор при встрече.

— Плохи, Иван Степанович.

— А что такое?

— Материалов дня на два осталось. Не дальше как в пятницу хоть садись да закуривай. Корпусная мастерская задерживает.

Материалов было, конечно, не на два дня, а на неделю или на несколько недель, но Илья Матвеевич считал своим долгом «подвинтить» директора: пусть тот в свою очередь подвинчивает начальников цехов. Начальники цехов знали, что не выполнить в срок заказы для Журбина — значит навлечь на себя уйму неприятностей. Такой тарарам подымется — беги с завода. Да и как не выполнить, когда еще задолго до срока Илья Матвеевич с кем-нибудь из своих мастеров или бригадиров появляется в цехе. Идет, посматривает, все до мелочи замечает: как дисциплинка, как труд организован, а главное — не запустил ли начальник цеха чужой заказ вне очереди. И чуть что не так — откуда еще возьмутся журбинские помощнички! — такое объясненьице затеют, свету не взвидишь.

Александр Александрович не раз говаривал Илье Матвеевичу:

— Рабочий ты человек, Илья... А погляжу, бывает,— кулак кулаком. Все бы только тебе да тебе.

— Надо разницу понимать, Саня. Кулак себе тащит, я — для дела. Каждый должен драться за дело, на которое поставлен. Иначе он шляпа. Я шляпой быть не желаю.

И за электросварку наружной обшивки Илья Матвеевич ратовал как хозяин. Его представление о судосборке она не меняла. Что ж, не будет клепки — будет сварка, срок пребывания корабля на стапеле сократится. Остальное как было, так и будет.

Но вот подуло таким ветром, что кораблю отныне строиться в цехе, по кускам. На стапеле куски эти только сметывай, соединяй — да в воду, да в воду! Сузилась, сжалась, маленькой стала задача стапельного участка, а вместе с нею и роль Ильи Матвеевича.

Натура Ильи Матвеевича не позволяла ему ходить ни в последних, ни даже в середнячках. Место ему только в первом ряду. А для этого, получается, надо учиться,— так, что ли? Смешно сказать — человеку чуть ли не под шестьдесят — и учиться! Нет, это уж пусть они, другие, которые помоложе.

Снова подкинул на ладони пакет — что еще он, этот профессор, придумал? — и решительно надорвал оберточную бумагу.

В пакете была книга. По синему коленкору ее переплета шла надпись: «Академик А. Н. Крылов. Воспоминания и очерки».

Крылов! Кто не знает Крылова! Алексея Николаевича, академика! Илья Матвеевич читал его статьи в журналах, в сборниках, о нем самом читал, лекции о его жизни и трудах слушал. И об этой книге слыхивал, да руки до нее не доходили. В библиотеке пять экземпляров — всегда кто-нибудь читает. И вообще — ну что там разные воспоминания и очерки? Много ли от них пользы в практической работе?.. Развлекательство.

Илья Матвеевич раскрыл книгу. Тут, на внутренней стороне обложки, на белом листе было написано мелким, но очень четким — будто напечатано — почерком Белова:

«Уважаемый Илья Матвеевич! При нашем последнем разговоре Вы ссылались на П. А. Титова. Да, это был выдающийся инженер-практик. Но только ли практик? Прочтите страницы 106—113. Если они Вам уже известны, прошу извинить. С уважением Ваш *М. Б.*».

Хотел отложить чтение до вечера — не выдержал, отыскал страницу сто шестую. Ну и что же. Правильно... С двенадцати лет подручный у своего отца — машиниста на пароходах Петрозаводской линии; шестнадцати лет пошел в корабельную мастерскую Невского завода в Петербурге — так, все так. А вот уже чертежник, дальше — плазовый мастер, помощник корабельного мастера... и, наконец, пожалуйте,— корабельный инженер, у которого в кармане не то что инженерного диплома, даже свидетельства сельской школы — и того не было!

Илья Матвеевич с увлечением, с азартом читал о новшествах, какие ввел в кораблестроение «подручный пароходного машиниста». Было их немало, этих новшеств. Они касались разметочных, сверловочных, сборочных работ, клепки, чеканки, изготовления чертежей, проектирования. Петр Акиндинович умел охватить своим умом весь огромный и сложный процесс кораблестроения.

Весело усмехнулся Илья Матвеевич над тем, как Н. Е. Кутейников, в те времена самый образованный русский корабельный инженер, пытался проверять правильность тех или иных размеров, которые Титов назначал на глаз... Поймать Титова никогда не удавалось. Расчеты, произведенные по всем правилам науки, только подтверждали точность титовского глаза. Вот ведь каков был человек! Вот что значит опыт, практика!

Но что такое, что пишет академик Крылов?! Возможно ли, чтобы Титов мог сказать: «Обучи ты меня этой цифири, сколько ее для моего дела нужно»?.. Да сказал бы — еще ладно. Возвратясь с завода, он садился за задачник и до поздней ночи решал задачу за задачей. «Так,— читал Илья Матвеевич дальше,— мы в два года прошли элементарную алгебру, тригонометрию, начало аналитической геометрии, начало дифференциального и интегрального исчисления, основания статики, основания учения о сопротивлении материалов и начало теории корабля. Титову было тогда 48—49 лет».

Рабочий день давно кончился, в конторке стояла тишина, тикали ходики, под полом плескалось. Можно было без помех пораздумывать о человеке, по возрасту немногим моложе его, Ильи Матвеевича,— всего несколькими годами,— но который сел за учебник. Неужели вот так все в этот учебник и упрется? Учиться! А где учиться? И как? И чему? По десять лет люди в школе сидят, по пять, по шесть в институтах... Это что же, если начинать все сначала,— до могилы доучишься, а полную науку так и не осилишь. С кем бы поговорить об этом, с кем посоветоваться? Антон? Антон сказать полезное слово может, но в семье надо авторитет держать и виду не показывать, что зашатался. К директору сходить, к парторгу? Еще не так поймут, скажут — слабнуть стал, к старости дело, не подыскать ли ему работенку полегче да попроще? Кого-нибудь из старых инженеров пригласить на рюмку водки да порасспрашивать? Получится ли как надо? Старые инженеры — Илья Матвеевич не раз в этом убеждался — давно позабыли все школьные науки. А без тех наук — куда же двинешься! Ведь вот и Титов элементарную алгебру да геометрию проходил.

Нет, старые инженеры ему в таком деле не советчики. Кто же тогда?

Разик да другой в мыслях, когда перебирал всех инженеров, мелькнула Зина Иванова — Тонина приятельница. Не придал этому особого значения — вроде перелистывает книжку с картинками, и вот разные физиономии попадаются. Молоденькая инженерша снова мелькнула в мыслях. Припомнилось ее первое появление на стапеле, разговор с ней... Второй разговор вспомнился, ночью, в конторке, перед спуском корабля. Как просила, как настаивала, рвалась на производство, на сборку. Правильно сказал тогда Александр Александрович: ценить та-

кое рвение надо. Оно города берет. И Виктор одобрительно о ней отзывался: толковая, мол. А Виктор зря слова не обронит.

В конце концов Илья Матвеевич остановился на том, что он пойдет и побеседует с девушкой. Так, между делом, конечно, не раскрывая секретов и намерений. Просто выпытает, чему и как положено учиться, чтобы корабельная наука тебя не переросла.

Долго тянул Илья Матвеевич с осуществлением своего намерения. Однажды собрался и пошел. Вечером пошел, в потемках. Чтобы на Алешку часом не нарваться. Зине дали квартирку в том же доме, где и Алешке, только по другой лестнице. Вот и нарвешься. Подумает еще, балбес, что-нибудь не то, что следует.

Зина дара слова лишилась, увидев у себя такого гостя. Уж кого-кого она могла ожидать, только не Илью Матвеевича, знаменитого Журбина, перед которым готова была благоговеть. Хозяйка усадила Илью Матвеевича на крохотную — не детскую ли? — кушеточку. Вся мебель у Зины была скромная, простенькая — дирекция помогла приобрести в рассрочку. Илья Матвеевич огляделся — чистота в комнате, что в музее, увидел на полу мокрое пятно: таял снег, налипший на его ботинки; почувствовал, что недоволен собой.

— Набезобразничал, — сказал он с виноватой ухмылкой.

— Что вы, что вы, Илья Матвеевич! Пожалуйста! — поспешила успокоить его Зина, накрывая стол к чаю.— Пустяки!

— Зачем чай? Я на минутку. Вот зашел... взглянуть, как живет молодежь.

С каждым его словом Зина все больше смущалась. Она не могла понять, почему зашел Илья Матвеевич. Конечно, не за тем, чтобы посмотреть, как живет молодежь.

У Зины была библиотека; книги размещались на небольшой этажерке, на которой нашлось место еще и зеркалу, и флаконам с духами, и школьному альбомчику в потертом бархате. Илья Матвеевич подошел к этажерке, взял самую толстую книгу — «Технология кораблестроения», раскрыл на середине, полистал — все тут было знакомо, понятно, в какую страницу ни укажи пальцем. Подготовка стапеля, пробивка базовых линий, сборка, сверловочные работы, клепальные, чеканные, сварочные...

Но вот он наткнулся на страницу, испещренную цифрами и различными значками. Речь шла о разметке корпусной стали без применения шаблонов, по расчетам, с помощью начертательной геометрии. Илья Матвеевич прочел объяснение. Будь оно неладно! Тут как раз то, над чем они бились, когда ставили дополнительную обшивку. Вот эти формулы... Наверно, они. Какие же еще?

Зина тоже заглянула в книгу.

— Способ инженера Челнокова? — заговорила она, вытирая полотенцем чашки.— Этот способ, я думаю, уже немножко устарел. А вы как думаете, Илья Матвеевич?

Практически Илья Матвеевич разметку знал, сам на ней когда-то работал с отцом — дедом Матвеем, по шаблонам, конечно; о способе инженера Челнокова слышал краем уха.

— Чего же ему стареть? Книга новая. Сорок шестого года.

— Ну, с сорок шестого мы далеко ушли! Смотрите, как много надо считать. Теперь проще делается и точнее.

— А ну-ка посчитайте, посчитайте, Зинаида Павловна! — оживился Илья Матвеевич.— С чаем успеется. Потом чай. Давно разметкой не занимался, мое дело сборка, позабыл все.

Зине показалось, что он ее хочет проверить, проэкзаменовать. Она взяла тетрадку, карандаш и стала объяснять так, будто отвечала профессору, громко, по-институтски отчетливо, со всеми подробностями.

— На среднем шпангоуте данного листа,— она провела кривую линию, — берем точку *O* в середине его дуги. Вот... Эта точка принимается за среднюю точку строевой линии *AB*.

— Правильно, строевой,— подтвердил Илья Матвеевич.

— Которая,— продолжала ободренная его замечанием Зина,— проводится по способу средних нормалей к шпангоутам. Параллельно строевой *AB*, на расстоянии примерно в триста миллиметров вверх и вниз от нее, проводятся... тут не хватит бумаги, Илья Матвеевич.

— Ничего. Главное— теоретически.

— Ну вот, вверх и вниз от нее проводятся две вспомогательные строевые: *A*-прим, *B*-прим и *A*-второе, *B*-второе.

Зина в конце концов написала такую длинную и страшную формулу, что Илья Матвеевич не выдержал, засмеялся:

— Здо́рово! Ну и здо́рово!

— А правильно?

Он ничего не понял, но сказал уверенно:

— Точка в точку! Еще какую-нибудь задачку, может, решим?

— Какую же? — с готовностью спросила Зина.

— Допустим, про то, как два купца шли навстречу и где они сойдутся.

— Это школьная задача, и не про купцов, а про пешеходов. Купцы каким-то сукном торговали, у них что-то такое вышло, забыла что.

— А вот школьную и решайте, Зинаида Павловна. Или не вспомните?

— Постараться — вспомню. Я по математике хорошо училась.

— А других бы вы, например, могли учить?

— Не пробовала, не знаю. Я очень нетерпеливая. Кричать буду на учеников.

— А если ученики смирные, выносливые?

— Не знаю, Илья Матвеевич, не знаю. Почему вы это спрашиваете? Может быть, меня хотят в ремесленное училище отправить, учительницей?

— Да нет, просто так, любопытствую. А это вот и есть начертательная геометрия? — Илья Матвеевич раскрыл другую книгу.— Сколько всего разных наук-то пришлось пройти?

— Технологию, теорию сопротивления материалов, механику, эту самую начерталку, черчение...

Зина говорила и упорно раздумывала: зачем пришел начальник стапельного участка? Может быть, они там с директором переменили свое решение держать ее на задворках, может быть, хотят взять на сборку, и Илья Матвеевич задумал проверить ее знания? Какое было бы счастье!

Илья Матвеевич слушал и тоже раздумывал, хмурился. Вот ее бы теорию да его опыт — какой инженер мог получиться! Но вся и беда в том — у одного опыта много, теории не хватает, у другого теории на пятерых, опыта мало. Поглядеть на Антона. Повезло Антону. Оттого и в гору идет быстро — опытишко получил еще мальчишкой,

науки проходил в зрелом возрасте, без гульбы, без пустозвонства, серьезно. Упорством взял. У него, у Ильи Матвеевича, упорства, пожалуй, побольше, чем у Антона. Что бы пораньше-то спохватиться, лет на пятнадцать! Теперь поздновато, поздновато. Антонина говорит — ее знания в двух десятках книг. А на эти книги, чтобы пройти их, десять лет человек тратит. Вот тебе и два десятка, стопочка невеликая!..

— Да-а...— Он покрутил бровь.

В Зининых глазах возникло выражение тревоги: неужели недоволен, неужели провалила экзамен? Не зря ли столько наболтала, построже бы держаться надо, посолидней. Не получалось солидней,— Илья Матвеевич подавлял ее своим авторитетом. Она знала, что у него нет инженерского диплома, что он практик, самородок. Но самородок — это же давно известно — всегда большой талант. Само слово «самородок» притягивает. О золоте когда говорят: брусок, слиток, — никак его не представляешь: нечто ровное, гладкое, с правильными гранями. Скажут: самородок,— видишь угловатое, неотделанное, но яркое, сверкающее, поистине драгоценное. А что она? «Рядовой инженер!» — сказала Зина о себе мысленно, и ей стало грустно.

Чаю Илье Матвеевичу не хотелось, он не любил чай, любил кофе, который варила Агафья Карповна; отпил полчашки и распрощался, ушел убежденный в том, что науку ему во веки веков не осилить. Путь его лежал мимо фирменной пивной завода «Белый медведь», на углу Барочной и Канатной. Дверь пивной распахнулась, когда Илья Матвеевич поравнялся с нею; на улицу вышел здоровенный парень — шапка на затылке, ворот расстегнут; во весь рот он гаркнул в морозном воздухе, словно желая очистить легкие от табачного дыма:

— Не нужен мне бе-ррег турецкий, вся Африка мне не нужна!

— А что тебе нужно? — спросил Илья Матвеевич.— Ты чей?

— Чей? Женкин казначей.

— Казна-то поди пустая?

— Зато жизнь густая. Вот, батя, держи пять! Брови у тебя красивые, что у филина, торчком. Люблю филинов, шикарно поют. Мой батька в клетке держал, мать со страху к стрелочнику на железную дорогу сбежала. Я от него и родился.

— От кого? От филина, от отца или от стрелочника?

— От филина? Ты что! — Парень постоял, покачался на нетвердых ногах и повернулся к двери.

— Эй, послушай! — окликнул его Илья Матвеевич, удерживая за рукав.— Тебе бы, дураку, над задачником сейчас сидеть, а не здесь, среди бутылок. Люди в пятьдесят лет учатся, не чета тебе люди, пообразованней. А ты горланишь без всякого соображения. Рабочий или кто?

Парень ответил довольно миролюбиво: лохматые брови Ильи Матвеевича, суровый взгляд действовали на него отрезвляюще.

— Токарь,— сказал он.

— Откуда?

— С этого... с механического...

— Видишь, токарь, рабочий, ведущий класс, а держишь себя будто нэпман. Разложился.

— Я, батя, не разложился, ты извини меня. Шестой разряд сегодня получил... Понимаешь, комиссию прошел. Ребят угощаю. Гуляем. Завтра, вот тебе слово, вкалывать начну по шестому. Это же знаешь — шестой! Вроде как токарный институт кончаю, а? Седьмой дадут — полный профессор!

— Дурак ты, а не профессор! — Илья Матвеевич плюнул с досады.

Придя домой, он выпил стопочку водки и четыре стакана кофе, разгулялся, позвал Костю.

— Костька, по пивным шляешься?

— Чего я там забыл!

— А берег турецкий?

— Какой берег? Привязываешься!

— Отец не привязывается, отец учит. Берег турецкий и вся Африка — они нам не нужны, объяснил мне один певец. А ты как считаешь?

— Мне тоже.

— Тоже! И что мелет! Кто живет в Африке и на турецком берегу? Угнетенные народы! Желаем мы им добра? Желаем. Желаем, чтобы стали они свободными и с нами в дружбе жили? А ты что поешь?

— А берег, папочка, кажется, не турецкий, а тунисский,— сказала Тоня, отрываясь от книг. Она готовила уроки.— Когда поют, не разобрать.

— И ты эту песню знаешь?

— Знаю. Очень хорошая песня. Хочешь послушать? Я сейчас к Вале сбегаю, пластинку принесу.

— Да ну тебя...— Илья Матвеевич продолжал смотреть на Костю.— Я тебя не затем позвал,— заговорил он зло.— Ты что там с грот-мачтой моей затеял?

— Алешку учу,— безразличным тоном ответил Костя.

— Ты на чем другом учи. Она еще сгодится, эта мачта.

— Да мы ее уже сожгли.

— Как сожгли? Вещь денег стоит! Под суд отдать за такое безобразие! — Илья Матвеевич так ткнул вилкой в стол, что она впилась в дерево и обратно не вытаскивалась.

Костя, пока отец бушевал, не смотрел на него, прятал глаза, едва сдерживая смех.

— Чего там — под суд! — заговорил он в тон Илье Матвеевичу, зло и громко.— Получай свою мачту! — Выхватил из кармана акт технического контроля и бросил его через чашки и сахарницы.

Илья Матвеевич надел очки, прочел акт, сложил его аккуратно и опустил в свой карман. Посмотрел на Костю искоса, хмыкнул, еще раз хмыкнул:

— Ну и что? Хвалить, думаешь, буду, лобызать?.. За уши — вот хочешь? — отдеру!

В глазах Ильи Матвеевича вспыхивали горячие огни, но он напускал на себя суровость. Агафья Карповна огней этих не увидела.

— Что ж ты, Илья, так строго,— сказала она.— Костенька старался...

— Поздно расстарался. Раз мог это сделать, должен был сделать раньше.

— Никто не просил,— вставил Костя.

— Ага, тебя просить, значит, надо, в пояс кланяться! Осчастливьте, Константин Ильич, облагодетельствуйте! Сам должен прийти, если видишь, что нужен! Так у нас рассуждают, а не «просили»!

— Я и пошел.

— А как ее... стоять-то она будет? — помолчав, спросил Илья Матвеевич.

— Акт у тебя в кармане.

— Мне не акт на корабль ставить — мачту.

— Постоит.

— Считай, приятель, кружка пива за мной.

— За мачту — кружка! Ну и размахнулся, батя! Да ты же и не велишь пить.

— С отцом можно.

## 2

Дед Матвей шел домой с Василием Матвеевичем пешком. Стояла хорошая морозная погода, ехать на машине не захотел.

С тех пор как он превратился в «ночного директора», его отношения с сыновьями изменились. Другими стали и темы разговоров. Реже дед рассказывал бесчисленные свои истории,— больше всего говорилось о заводских делах. Теперь не только Василий Матвеевич, но и сам дед Матвей «вращался в кругах» и тоже кое-что ему было видно «с горы». Первым в семье он узнавал содержание приказов министра, был осведомлен о переменах в производственной программе. Казалось, возраст его пошел на попятный. Совсем еще недавно, когда его корили в ошибках на разметке, к нему подкрадывалось прежде неведомое чувство: непонятно почему, он начинал смотреть на сыновей и даже на внуков снизу вверх, будто его укоротили наполовину. Теперь к деду Матвею вернулся его прежний богатырский рост. Он снова загудел уверенным басом, не заботясь о том, как воспримут его слова, не страшась того, что над ним посмеются. Он прямил согнутую спину, показывал боевые и трудовые ордена, которые вынул из заветного своего сундучка и привинтил к пиджаку. Он сходил с Тоней в универмаг, купил две зефировые сорочки и черный с белыми горошинами галстук. Были еще куплены роскошная пыжиковая шапка и фетровые валенки с галошами. «Не годится мне в подшитых ходить, не годится, Тонюшка,— рассуждал дед.— Не то что валенки, бурки бы надо, как у Ивана Степановича, белые с кожей. Да в бурках скользко, брякнусь еще где, кости поломаю».

Шуба у деда была хорошая, старинного, но прочного сукна, подбитая хорьком. Он разоделся в новые покупки, распахнул шубу.

— Ну как? — спросил.— Силен дедка?

— Или профессор, или артист! — воскликнула восторженно Тоня.

— Поп! — ответил дед Матвей, рассматривая себя в магазинном зеркале.— Служитель культа. Гряди, гряди, голубица!

К Василию Матвеевичу он приходил важный, спрашивал: «Провертываешь, Вася, мероприятия? Тебя народ хвалит. Старайся. Ужо соберусь к тебе на постановку.

Ложа чтоб была». С Марьей Гавриловной заигрывал: «Добреешь, Марья? Директорский-то харч послаще клепальщицкого? Чем же ты недовольна? Мужик в гору идет. Может, он начальником ансамбля станет. Как вдарют в сорок липовых ложек да в тридцать глиняных соловьев засвистят — дух замлеет».

В этот вечер, осторожно ступая на тротуары — хотя они и были посыпаны песком,— дед рассуждал:

— Ну так, значит, Вася, тральщики сдадим, стапеля-то и освободятся. Антоха говорит: поток к началу лета пойдет. Работка у нас начнется! Пароходов наплодим на все океаны. Я знаешь про что думаю? Соединят Волгу с Доном, получится путь с Балтийского и с Черного морей на Каспий, оттуда на Арал, да по дороге новых морей сколько будет... Кораблики-то особенные понадобятся, такие, чтоб и для речного и для морского плавания годились. Вот и думаю: нам бы заказ такой взять. Лестно. В Сормове, говоришь, строят? Одно Сормово не управится, ты что! Ты, Вася, как-то легко смотришь.

Василий Матвеевич шел вместе с дедом Матвеем на Якорную — провожать Антона. С главным инженером завода и с главным инженером отдела капитального строительства Антон уезжал ночным поездом в Москву. Их вызывали в министерство на доклад о ходе реконструкции.

В доме была суматоха.

— Верочку за нас поцелуй, сынок,— говорила свое Агафья Карповна.— Бедная, она там одна, без родных. Бросил жену, как не совестно?

— Совестно, мама, очень совестно. Так вот и получается: то мать бросишь, то жену бросишь. Но ведь как в песне поется? «Жена найдет себе другого, а мать сыночка — никогда».

— Не греши о ней, нехорошо.

— А что — не греши? — заговорил Илья Матвеевич.— Жизнь, мать, жизнь! Одно потеряешь, другое найдешь. Не терял бы старого — и нового бы не находил. Вот диалектика.

— Диалектика! Слова-то пошли! До чего заработался, лысый.

Был тут при этих сборах и Алексей. Он пришел попрощаться с Антоном. Он видел, с какой радостью едет тот в Москву, — его ждет там Вера Игнатьевна. Антон шутит, разговаривает, а самого уже здесь и нету, там он,

в Москве, с женой. Разве не видно, что только она у него сейчас в мыслях? Разве не позавидуешь ему?

Наблюдая за тем, как плотно Антон укладывает в чемодан свои мыльницы, зубные щетки, полотенца, папки с бумагами, Алексей раздумывал: да, счастливый, счастливый человек.

К нему подсел Василий Матвеевич:

— Как дела, племянник?

— Помаленьку, дядя Вася.

— А мы этого типа, бывшего-то зава, уволили.

Если бы Алексей не держался так спокойно, если бы всем своим видом, всем поведением не показывал, что происшедшее с Катей для него совершенно безразлично, Василий Матвеевич, конечно, не заговорил бы с ним на подобную тему.

— Плохо работал? — спросил Алексей, чувствуя, как к его лицу приливает кровь.

— Уж куда хуже! Темная личность. От него родная дочка отказалась. Катюшкиного возраста.

— Да что ты, дядя Вася?! — Алексей ощутил острую жалость к Катюше.

На улице затрубил в три длинных трубы заводский черный «ЗИС». Все присели на минутку перед дорогой, потом накинули шубы, платки, жакеты, двинулись к воротам. Алексей нес чемодан. Агафья Карповна тайком крестила в темноте широкую Антонову спину.

Антон уехал. Вернулись в дом. Разошлись по своим комнатам. Остались в столовой дед, Василий Матвеевич и Алексей.

— Скажу вам, ребята,— заговорил дед Матвей,— будет Антоха наш министром. Голова! Тебе, Лешка, тянуться за ним да тянуться. Может, и дотянешься. Только нескоро. Задумчивый ты, смурый. А жизнь напористых любит, веселых.

— А я, отец, напористый? — спросил Василий Матвеевич.

— Ты, Вася? Ты напористый. Только в министры все равно опоздал. Время твое для этого ушло. Но горевать не горюй. Свое, сынок, сделал. Сколько кораблей построил, хороших кораблей, на долгую память. Вот, Лешка, и ты так старайся, чтобы память на земле оставить. Когда увидишь, что много наработал,— ноги тверже станут. Человек делами своими крепок. Дело крепче — и он крепче. Бывает, навалятся напасти на человека,— пропадай

человек? Нет, не пропадай. Дело подпирает его, поддерживает.

Простые слова говорил дед, самые обыкновенные, но они полностью соответствовали мыслям Алексея. Миновала пора, когда Алексей только и думал о славе. У него как будто бы уже была слава, а что она ему принесла? Чего он достиг через эту славу? Катюшка на нее и не посмотрела. Надо жить, как Антон живет. Славы не ищет, а все необходимей, все нужнее становится людям.

— Дело-то человека поддерживает,— сказал Василий Матвеевич.— Да и сам он дело это из рук выпускать не должен. Не то одолеет оно его, подомнет под себя.

— Правильно, Вася,— ответил дед Матвей.— Всю душу измотает недоделанное дело. Раз задумал — добивайся, не отступай, держи характер.

### 3

Ночью морозило. Заборы трещали от стужи. Но утром, когда взошло солнце, стало капать с крыш, на карнизах росли сверкающие сосульки; под ними, в снегу, образовались лужицы, в которых, приседая и топыря крылышки, брызгались прокопченные за зиму, грязные воробьи.

— Товарищи! — сказал Илья Матвеевич, выйдя к завтраку и оглядывая по очереди всех женщин, сидевших за столом.— Поздравляю с вашим Международным днем! — Он обнял Агафью Карповну, поцеловал ее в лоб.— И вас также,— добавил, оборачиваясь к остальным.

Было восьмое марта. Миллионы мужчин на земном шаре в этот день поздравляли своих подруг с их праздником. В школьных классах подымались с парт ученики и ученицы, чтобы дружно прокричать слова привета любимым учительницам. Молодые люди, забежав на почту, торопливо черкали на телеграфных бланках: «Обнимаю, целую» — или поскромнее: «Разрешите пожелать вам счастья, удачи, успехов».

Завод дымил, как всегда, величественно; как всегда, гудели цехи; как всегда, трещало и лязгало в достроечном бассейне; как всегда, выполнялись и перевыполнялись нормы; и только одно было против обычая — женщины покинули свои рабочие места за два часа до гудка. Они разошлись по домам раньше мужчин, чтобы переодеться, стать понарядней и встретиться вечером в клубе.

У входа в клуб висела афиша:

НАШИ ЖЕНЩИНЫ

*Рассказы самих женщин.*

Василий Матвеевич сильно волновался: никакого доклада не будет. Он настоял, чтобы его не было. Зачем доклад? Пусть женщины сами поговорят. Но они-то поговорят — желающих нашлось много,— а что из этого получится? Вдруг разговорятся о всяких личных своих делах, о заводских недостатках? Женщины — они такие, в них одна критика сидит, никакой самокритики. Народ необъективный, руководствуется больше чувствами, чем разумом.

Заведующий клубом, одетый в новый костюм, выбритый, помолодевший, встречал гостей в вестибюле, поздравлял их. Гремел оркестр, и женщины понимали, что музыка эта — в их честь, входили торжественные, горделивые, по-хозяйски ведя за собой мужей, братьев, знакомых.

Пришли Агафья Карповна с Ильей Матвеевичем. Увидев брата, Илья Матвеевич развел руками, указывая на Агафью Карповну: притащила, дескать, как ни упирался. Выскочили из-за колонны Дуняшка с Костей. Дуняшка смеялась, Костя за что-то ей выговаривал.

— Наследника-то куда подевали? — спросил Василий Матвеевич.

— Соседям подбросили! — ответила Дуняшка, и они умчались по коридору.

Не без тревоги посмотрел Василий Матвеевич на Елизавету Серебрякову — могучую монтажницу электрооборудования. Серебрякова плавала на кораблях в морские испытания, не раз бывала за границей. Она славилась прямотой суждений и дерзостью языка. Тоже будет выступать сегодня...

Проходя мимо Василия Матвеевича, Серебрякова слегка толкнула его в бок пальцем. Василий Матвеевич качнулся.

— Не балуй! — сказал сердито.— Мужик побьет.

— Мужик в командировке. Вольная я. Подсыплю вам перцу, начальнички дорогие. Вот она, речь! — Серебрякова хлопнула ладонью по карману жакета.

Так Василий Матвеевич и знал: кроме перцу, от нее ничего не дождешься.

Народу прибывало.

Расходились по фойе, по гостиным, стояли в широких светлых коридорах перед портретами стахановок завода, перед фотовитринами. Фотовитрины последовательно изображали рост завода за годы советской власти. Василию Матвеевичу, чтобы отыскать все эти документы истории, пришлось переворошить сотни папок в заводском и городском архивах. Он нашел даже такую фотографию, на которой узнал самого себя: молодой парень вручную склепывал листы пароходного котла. Не только Василий Матвеевич — многие увидели тут свою молодость. Инженеры узнавали себя в учениках-фабзайчатах, пожилые матери семейств указывали на каких-то тоненьких девчоночек — то ли с косичками, то ли стрижеными, горновщиц или табельщиц — и восклицали: «А ведь это я! Посмотрите внимательней».

Интересно посмотреть, как выглядел ты двадцать — двадцать пять лет назад, но куда интересней увидеть то, что сделано тобой за эти годы. А сделано: корабли, корабли, корабли... «Рабочий», «Партизан», «Заря», «Чайка», «Богатырь»... Десятки иных судов, больших и малых.

Люди медленно двигались вдоль витрин, переговаривались, что-то вспоминали, улыбались. А витрины вели их все дальше, вели в завтрашний день завода — к огромным планам новых цехов, сухих доков, которые в недалеком будущем придут на смену стапелям, к рисункам остекленных эллингов — тех гигантских колпаков, о которых в ветреные дни мечтает Александр Александрович, к схемам автоматических поточных линий.

В коридорах, в гостиных становилось все теснсй и теснсй. С улицы всё шли и шли. Шли старые, шли молодые, шли степенные, шли смеющиеся. Пришла жена, Марья Гавриловна. В директорскую ложу вести постеснялся, отвел ее в седьмой ряд, к Агафье с Ильей. Позади них сидели Виктор, Тоня и Зина Иванова. Виктор не хотел идти в клуб,— ему бы лучше на завод, в свою модельную или на корабль. Но Тоня сказала, что и она в клуб не пойдет и тоже останется дома, а если и пойдет, то только с ним. Тоня считала подлым оставить брата одного после того, что произошло. Ей было его очень жалко. Лида-то ведь так домой и не вернулась. Но и это еще не все. Она пожила-пожила у какой-то подруги, походила недели две в свою поликлинику — да и вовсе исчезла из города. Виктор получил от нее коротенькую записочку. Было в записочке сказано: «Вот я и убедилась, что врозь нам

быть лучше. Поэтому — не ищи. Да ты и не станешь. Разве есть у тебя настоящее чувство ко мне?..» Ходит теперь Витя молчаливый, грустный. Нет, нельзя его оставлять дома в одиночестве.

С Зиной они встретились уже здесь, в клубе. Сели все вместе. Зина тоже знала, что произошло у Виктора с женой, и ей тоже было его очень, очень жалко. Она завела речь о заводских делах, о станке,— знала, что об этом Виктор всегда охотно разговаривает и такой разговор, конечно, отвлечет его от мрачных мыслей.

Когда дали звонок, большой театральный зал был заполнен до отказа, сидели даже на приставных стульях, на ступеньках амфитеатра, на коленях друг у друга.

Торжественное заседание открыла член завкома Анна Логинова, старая работница плаза.

Выбрали президиум. Ни одного мужчины за длинным столом, накрытым красной материей. Рядом с лысеющей бабушкой Любой, которая когда-то шила паруса для рыбацких шхун, сидела беленькая крановщица Клава Наметкина. Заняв место возле общественницы, жены главного конструктора Корнея Павловича, Софьи Михайловны, технолог Коломейцева сразу же принялась показывать на свою грудь, на плечи, на рукава — объясняла, видимо, как застрочены складки ее нового платья. Среди всех высилась Елизавета Серебрякова. Она хозяйственно переставила на столе лампу и графин — чтобы лучше видеть зал.

— Докладчика, товарищи, у нас сегодня нету,— снова заговорила Логинова.—Будем по-домашнему, поговорим — кто как умеет. Какие корабли строим, какие проводим каналы, какие выпускаем машины! Скажем хорошее, правдивое слово о самих себе. У меня по записи первой идет Настя Семенова. Прошу, Настенька. Народ просит!

Высокая стройная женщина с черными косами поднялась из рядов и быстро прошла к сцене. Когда она встала на трибуне лицом к залу, у нее на груди увидели два ордена. Кто она такая? Работала Семенова, кажется, в шлюпочной мастерской и, кажется, нормировщицей. На заводе ее плохо знали.

— Когда началась война,— заговорила она негромким приятным голосом,— я была шестнадцатилетней девочкой. Я немедленно пошла на фронт.

Семенова рассказывала не о себе — о бойцах, о солдатах, об офицерах, об их мужестве, героизме, но перед

слушателями вставал образ юной патриотки, которая под ураганным огнем выносила раненых бойцов с поля боя и тоже сражалась за родину.

— Да, товарищи,— закончила Семенова,— я поняла, что война — это тяжелая, трудная работа, это великое бедствие. Я не хочу новой войны, как не хотите ее и все вы, но я не забыла свою военную специальность. Товарищи мужчины, запомните мою специальность. Я — санинструктор. Я перевязываю раны.

Зал загудел, загрохотал. Товарищи мужчины знали, что такое санинструктор на фронте. Если бы они сбросили пиджаки и сорочки, у многих из них на теле открылись бы следы ран, когда-то перевязанных заботливыми девичьими руками.

— Все вы знаете о том, что я была на конгрессе сторонников мира,— заговорила, выйдя вслед за Семеновой, Ксения Михайлова, формовщица из меднолитейного цеха.— Я рассказывала вам о нем. Но я вам не рассказала, дорогие товарищи, о своей встрече с черной женщиной из Африки, из страны, которая называется Берегом Слоновой Кости, — с Элизабет Литл.. по-русски: с маленькой Елизаветой. Разговорились через переводчика. Она меня спросила, чем я занимаюсь. Корабли, говорю, строю. Улыбается: «Корабли? Видела ваши корабли с красным флагом. Много раз видела». Интересно, думаю: а не приходилось ли ей видеть корабли нашего завода? Спрашиваю, называю разные названия. И что вы думаете! «Заря» там была у них. Наша «Заря» дошла до Африки! Вот и хочу сказать: все, что мы делаем с вами, далеко видно, друзьям нашим видно, во всем мире. Радует оно их, ободряет. Когда сознаешь это, работается лучше. Как же! Построим новый корабль — он не просто корабль, в трюме у которого хлеб или машины,— он вестник свободы для наших друзей, весенняя ласточка.

— Это очень, очень правильно! — прошептала Зина.— Правда ведь, Виктор Ильич?

Виктор посмотрел на нее, улыбнулся и ответил:

— Ну а как же! Корабль — такое дело. Не то что наш с вами станочек.

— Со станком не шутите, Виктор Ильич. Мы в бюро каждый день получаем письма о нем со всех концов страны. Прочли, понимаете ли, в газетах, вот и пишут.

Одна за другой выходили тем временем на трибуну женщины. Слушали их в глубокой тишине. Сколько раз

праздновали день восьмого марта, но никогда еще не было таких волнующих рассказов, никогда так полно не раскрывались в этом зале женские души и сердца.

— Тетки-то, тетки у нас какие! — Александр Александрович подталкивал в бок Илью Матвеевича.— Ходят в платочках да в комбинезонах, и не подумаешь, что орлицы они...

Не один Александр Александрович был удивлен тем, какие замечательные женщины работают на заводе, как много каждая из них пережила, перевидела, испытала. И как было не удивляться! Нашлись среди них матери-героини, нашлись женщины, которые, подобно Семеновой, были на фронте, которые побывали в Сибири, на Кавказе, в Средней Азии, на Сахалине; которые рыбачили с отцами, были красноармейцами в гражданскую войну, сортировали уголь в шахтах, строили Днепрогэс.

К удивлению и радости Василия Матвеевича, все благополучно обошлось и с Елизаветой Серебряковой. Должно быть, сообразила, что день для критики неподходящий, и даже свою речь «с перцем» из кармана не вынула, рассказывала о загранице, о заграничных порядках, о бесправном положении женщин в западных странах Европы.

Только в одиннадцатом часу Логинова объявила о том, что список желающих выступить окончен.

После клубного вечера Журбины сошлись дома, взволнованные, в приподнятом настроении. Все весело разговаривали, пили наливку — излюбленный женский напиток. Зина, которую тоже привели на Якорную, отпив глоток, замахала руками:

— Ой, не люблю я сладкое!

— Горькое есть в запасе, — сказал Илья Матвеевич. — Это мы сегодня ради вас, женщин, такую муку мученическую принимаем. Из солидарности.

— И горькое не люблю.

— Шампанское, значит?

— Шампанское? Конечно, шампанское. Лучше всех вин.

— Не догадались купить.

— И зря не догадались,— вставила Дуняшка.— От него весело, легко.

— Тебе и так, гляжу, не тяжко. — Илья Матвеевич усмехнулся. — Сына бросила, по концертам бегает. Раньше-то по-другому бывало.

— А чего хорошего-то раньше? — заговорила Агафья Карповна.— Сиди дома да дома с ребятами, ровно клуша.

— Зато, мать, ребят каких вырастила! Вот и есть ты героиня. Материнское геройство проявила.

Зина бы тоже шутила вместе со всеми. Но ее смущало упорное молчание Виктора. Конечно, ему очень трудно. Зина, как ни старалась, не могла понять, почему Лида ушла от него. Неужели Лиде стало скучно? Как может быть скучно с таким умным, хорошим человеком? Ей, Зине, например, с Виктором никогда не было скучно. Он, правда, немножко медлительный и молчаливый. Что ж из этого? Он ведь и старше, скажем, ее, Зины, лет на восемь. Ему уже не полагается скакать и прыгать, трещать, как чечетка. Нет, Виктор Ильич очень, очень интересный человек.

— А что о нем пишут-то? — вдруг спросил Виктор, неожиданно возвращаясь к разговору в клубе.

— Что? Где его взять, спрашивают, да нельзя ли сделать самим, нет ли у нас свободных чертежей.

— Интересно! Может быть, мы с вами еще поработаем, Зинаида Павловна. Я новую машинку обдумываю. Что-то такое мне представляется вроде автомата, который сам будет выполнять модельные операции. С клавишами. Нажал — строгает, нажал — точит, нажал — сверлит.

Когда Зина собралась уходить, Виктор надел пальто и шапку.

— Поздно,— сказал он,— третий час. Провожу вас.

Пошла провожать и Тоня. Было морозно, но в воздухе пахло натаявшими за день лужами, весной. Лед в лужах трещал под ногами. Виктор и Тоня взяли Зину под руки. Возле моста через Веряжку кто-то из них поскользнулся, сбил с ног остальных. Поднялись, отряхивали друг друга, смеялись.

Зине стало так хорошо, как бывает только среди родных. До ее дома дошли незаметно.

Прежде чем отворить дверь подъезда, Зина взглянула на угловые окна четвертого этажа. Она знала, что это окна Алексея. Там горел свет.

## 4

Алексей сидел за столом. Он в клуб не пошел, он решал трудные тригонометрические задачи, он так увлекся ими, что позабыл обо всем на свете. Он с усилием давил

карандашом на бумагу, как давят ножом на консервную банку, вскрывал тайны тригонометрии, переполнявшие задачник. Но объяснений, объяснений, которые даются в школе, в институте, в задачнике почти не было. Приходилось додумываться, ломать голову. Игоря Червенкова бы сюда! Да и с Игорем немногим легче. Пока Игорь объясняет — все понятно, уйдет — ничего не понятно. Распутываешь эту путаницу, распутываешь — и запутаешься сам. Другой бы давно бросил непосильное занятие. Другой — только не Алексей. Когда становилось совсем трудно, он подходил к зеркалу, рассматривал свое побледневшее лицо, злые глаза и резко спрашивал:

— Что, скис?

— Нет, не скис! — отвечал ему тот Алексей, из зеркала, поворачивался спиной и снова возвращался к столу.

Время шло, один месяц сменялся другим, но Алексей все не мог позабыть о Катюшке. Случилась однажды такая пора, что он меньше думал о ней,— в те самые дни, когда с Костей варили мачту. Костины хождения вокруг мачты и его причитания — испорчена, дескать, вчистую — закончились тем, что Костя сказал:

— А исправить-то можно. Будешь помогать?

— Буду,—ответил Алексей.

На следующий день Костя договорился с начальником цеха. «Брата учу. Можно ту мачту, которая за вальцами, испортить?» — «Порти, она брошенная. Все равно резать будем, так и так». Костя примеривал, прицеливался, переваривал швы; он рассчитывал усадки металла, искусно давал им нужное направление. Алексей завидовал ему — вот это свобода так свобода! — забывая о том, что сам он был так же, как и Костя, свободен, когда брался за свой молоток.

Через несколько дней Костя позвал мастера из отдела технического контроля. Мачту краном вытащили из угла, ощупали калибрами, проверили ее прямизну специальными приборами; подвешивая тяжелый груз, испытали на излом. Мачта выдержала все.

После совместной работы над мачтой уроки Кости с Алексеем вскоре закончились: недели через две Костя объявил:

— Дальше я тебе, Алешка, не учитель. Дальше на ошибках учись, как говорится, на опыте. Иди сдавай на разряд и прощайся со своим молотком. Не жалко?

— Жалко. Привык.

Экзаменовали Алексея двое мастеров и техник по безопасности. Пожали руку, поздравили:

— Вот тебе четвертый разряд. Работай, как на клепке работал. Желаем твои портреты на заводской доске видеть.

Вечером к нему пришел Володька Петухов.

— Слыхал про тебя, — сказал Володька, — бросаешь клепку? — Он сел в кресло, растирал ладонями щеки с мороза. — Ну и дерет! Шел, посмотрел на аптеке — градусник вовсе сжался. Двадцать семь ниже нуля. Бросаешь, значит?

— Бросаю.

— А честно это?

— Соревноваться тебе не с кем будет?

— Соревноваться с кем — найду. Нет, ты, Алешка, скажи — честно от своей профессии отказываться? Ты же вроде дезертира. Все ребята так считают.

— И ты?

— И я. Говорят знаешь как? Привык Журбин тысячи загребать, на сотни съехал — и тягу.

Алексей походил по комнате, посмотрел на Володьку по-отцовски, исподлобья.

— Слушай, Вовка,— заговорил он.— Не такие мы серые, чтобы только о тысячах думать.

Володька засмеялся, показав золотой зуб — предмет своей гордости.

— Тысячи — это бытие,— сказал он.— Лучше живешь — лучше работаешь, а лучше работаешь — лучше живешь.

— Ну и я тебе отвечу, если ты меня политграмотой побить хочешь. Что в книгах по такому поводу сказано. В книгах прямо сказано: чтобы не ошибиться, надо смотреть вперед, а не назад. Смотреть на то, что растет, а не на то, что отживает. Что же, мы с тобой в отсталых дураках через год окажемся? Будем ходить в дирекцию да в завком и плакаться в жилетку? Были передовиками, а стали поденщиками: придумайте, будьте любезны, нам работку. Этого хочешь?

— Видишь, какое дело, Алексей, — сказал Володька. — Я к тебе не по теоретическим вопросам пришел. У меня по ним консультант есть, инженер Маштаков. Ты мне практически ответь: по-комсомольски это — от ребят потихоньку смываться? О чем я говорю? Да все о том. Это

каждому известно, что клепка свой век отжила. Но почему ты один, не по-товарищески, в сторону от нас вильнул? Почему не предложил заниматься вместе? Не у каждого имеется такой братишка, как у тебя.

— Курсы зато есть. Объявляли о них? Объявляли.

— Чего же ты сам на курсы не пошел?

— И пошел бы, да они давно занимаются. Не догонишь.

— А ребята — догоняй? Так, Алешка, рассуждать не дело. Я тебе насчет тысяч и сотен нарочно закрутил. Ребята иначе считают: проработать тебя как следует на собрании.

— За что же, интересно? За то, что вторую профессию без отрыва от производства освоил?

— За индивидуализм! Но у тебя есть возможность оправдаться.

— И не подумаю оправдываться.

— Подумаешь,— сказал Володька с уверенностью.— Семенов, Лебедев, Нарышкин и я — тоже хотим на электросварщиков учиться. Будешь учить!

— Как же я буду вас учить, если сам еще плаваю?

— Вместе и поплывем. Братишку позовешь. Выкручивайся как знаешь. На бюро решили.

— Меня бы сначала спросить надо.

— Вот я и спрашиваю. На собрании твой ответ объявим.

Алексей никогда еще никого и ничему не учил. Учить других — в этом было что-то страшноватое и вместе с тем заманчивое. Заманчивое: выходишь к ребятам, объясняешь им, ребята внимательно слушают, задают вопросы, с достоинством отвечаешь; потом о них заговорят: ученики Алексея Журбина! Перестанет Александр Александрович укорять: «Вот твой батька! Он таких, как ты, не одну сотню на ноги поставил. А ты, сынок, кого и чему научил?»

Алексей согласился. Но первый урок начался совсем не так, как он его себе представлял. Молодые клепальщики явились к нему домой, расселись на стульях, на диване, одновременно закурили папиросы.

— Ну, давай рассказывай!

Что рассказывать, с чего начинать? Вспомнил Костю и начал так:

— Первое дело, ребята, которое вы должны запомнить, это не смотреть на дугу без щитка.

— Знаем! На плакатах читали.

— А что знаете? А вот, например, что свет электрической дуги в десять тысяч раз сильнее обыкновенного,— это вы знаете? Ну, нечего и кричать!

— Строгий дядька! Объясняй дальше.

Объяснял. На прощанье дал каждому по книге.

— Только чтобы не посеять. Костина библиотека. Голову оторвет.

Вскоре начались затруднения, которых Алексей не предвидел. Ребята стали задавать вопросы не по его знаниям. Они спрашивали об устройстве генераторов, об отличии переменного тока от постоянного, о том, почему при постоянном токе трансформатор не действует, как изменить силу тока; лезли в физику, в металлургию, в химию — во все то, о чем слышали когда-то в школе, в мастерских ремесленного училища, о чем где-нибудь вычитали, но в чем толком не разобрались.

— Я не университет,— сердился Алексей и на них и на себя.— Вынь да положь! Электросварка так электросварка. А вы целый вуз хотите устроить.

Перед каждым занятием он копался в книгах, перетащил к себе Тонины учебники — от седьмого класса до десятого, зубрил по ним — и все равно путался. Это сильно ущемляло самолюбие Алексея: он не мог мириться с положением незнайки или полузнайки.

— Алешенька,— рассудительно посоветовала ему Тоня, когда он рассказал ей о своей беде,— а ты бы спрашивал у кого-нибудь. У Антоши, например. Расспроси, а потом и ребятам передай. Ничего стыдного. У нас учитель химии знаешь как говорит? «Спросить — стыд минуты, не знать — стыд всей жизни».

Но Антон, когда Алексей пришел к нему, ответил: «Предположим, братишка, я тебе объясню одно, разъясню другое, третье. На такой кустарщине далеко не уедешь. Нужны фундаментальные знания». Словом, отмахнулся.

Алексей мрачнел от непрерывных обид, и чем их становилось больше, тем сильнее в нем разгоралось желание добиться своего. Только Костя, резкий, но добрый Костя, поддерживал Алексея. Костя вел с Алексеевыми учениками практические занятия, за которые Алексей, конечно же, не взялся бы, потому что он только еще выходил на самостоятельную дорогу,— ему поручали варить самые простые узлы на траулерах.

В те трудные для себя дни, едва забыв о Катюшке, он вновь почувствовал, как сильно недостает ему друга,— таким другом Алексей в мыслях всегда видел Катюшку. Как глубоко она вошла в его жизнь, и как ему без нее тяжко! А она? Встретил ее раз на заводе, проскользнула мимо, не взглянув, глаза в землю, торопливая, испуганная. Что она переживает?

Встретил другой раз, загородил дорогу. «Не надо, Алеша,— шепотом сказала она.— Не надо. Пусти...» И снова не взглянула.

Но что бы ни происходило в душе Алексея, на работе это никогда не сказывалось. Все свободней владел он сварочным аппаратом, приобрел легкость, своеобразную грацию в новом труде, — как было раньше на клепке. Помогал ребятам, вел с ними занятия. Ходил к Косте на инструктаж. Подружился с Игорем Червенковым. Игорь оказался хорошим парнем, компанейским, веселым. Одно было непонятно Алексею: как это, окончив десять классов, можно было не пойти учиться дальше? Одно дело, когда его самого отец снял с учебы. Но тогда была война, надо было помогать заводу, и не десять классов, а шесть окончил к тому времени Алексей. Спорили по этому поводу с Игорем, ругались.

По воскресеньям они брали лыжи и дотемна ходили среди сосен над Ладой, в тех местах, где Алексей бывал когда-то с Катюшкой, где Катюшка рассказывала ему об истории, о древних веках. Алексей уже и сам узнал о тех веках, он прочел о них, и, пожалуй, Катюшка удивилась бы теперь его познаниям. Она удивилась бы тому упорству, с каким Алексей сидел над книгами. Книги стали его друзьями. Они раскрывали перед ним мир, огромный, трудный для познания, величественный.

Но Катюшки не было, и удивляться было некому.

## 5

В этот поздний час бодрствовал и дед Матвей. Сидел за столом в кабинете директора и нетерпеливо нажимал на кнопки телефонных аппаратов:

— Гараж мне, гараж! Отъедини, барышня,— кто там разболтался. Срочно машина нужна, барышня!

На столе перед ним лежала только что доставленная телеграмма министра: «Слушайте радио зпт читайте за-

втра газетах тчк Модельщику Виктору Ильичу Журбину присуждена Сталинская премия третьей степени тчк Поздравляю Журбина зпт весь коллектив высокой наградой тчк».

— Гараж? — кричал взволнованный дед Матвей.— Гони живенько машину! Зпт, понимаешь! Внук лауреат! Домой слетаю. Ладно, и от тебя передам.

Через пятнадцать минут он грохотал в дверь так, что проснулись Тоня, Дуняшка, Илья Матвеевич и Агафья Карповна. Поднялись, стали одеваться; думали — пожар, тем более что взошла полная луна и на улице было светло и желто.

— Где он? — загудел дед Матвей, когда ему отомкнули.— Спит, дурень! Сам себя не понимает!

Дед ворвался в комнату Виктора, сдернул одеяло. Все недоумевали: что случилось с дедом, не тронулся ли часом?

— Вставай, бродяга! Вставай! Дай обниму.— Сонное лицо Виктора исчезло в дедовой бородище.— Ну вот, теперь на́ — читай!

Виктор взял у него телеграфный бланк.

— Мама! — сказал он мальчишеским голосом.— Мамочка! Мне Сталинскую премию дали.

— Сынок! — Агафья Карповна охнула и опустилась на Викторову теплую постель.— Что же теперь нам делать-то? Витенька!

Тоня бросилась на шею Виктору, ее оттолкнул Илья Матвеевич. Босиком пришлепал Костя. Все обнимали Виктора, тискали. Он терпел и счастливо улыбался.

— Что же делать-то, что? — повторяла Агафья Карповна. К ее ногам твердость еще не возвратилась.

— Водку пить! — выкрикнул Илья Матвеевич и так хлопнул Виктора по плечу, что тот тоже повалился на кровать.

— Потише ты! Зашибешь лауреата! — рассердился дед Матвей. И сам стукнул Виктора по спине.

— Изобьют всего, дурные! — Агафья Карповна заслонила собой сына.— Взбесились! Лупят и лупят.

Общая радость замутила головы, как хмель. Ждали ее, ждали, но пришла она все равно будто и нежданная, ударила внезапно, подобно выстрелу. Виктор знал, что его все-таки представили на премию, что представили одного: Зина и Скобелев написали заявление и, приложив к нему

документы, Викторовы наброски, эскизы, расчеты, доказали, что Виктор — единственный автор станка. Все Виктор знал. Одного не знал — как велика будет его радость.

— Ладно, лупите,— говорил он отцу, деду и Косте.— Стерплю, чего там!

## ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

### 1

Антон вовремя вернулся: к самым великим в жизни семьи торжествам. Привез с собой Веру. Она взяла отпуск до завершения работы Антона, до пуска потока.

— Я устала одна,— сказала Вера Агафье Карповне.— Не в таком уже мы возрасте с Антошей, чтобы расставаться надолго. Хочется быть вместе, всегда вместе.

Но зачем невестка говорит это, когда всякому видно, что не только желание быть всегда вместе с Антоном привело ее на Ладу, в семью Журбиных,— она ждет ребенка. Агафья Карповна обрадовалась. Она давно в душе горевала о том, что Антон и Вера, как и Виктор с Лидой, не имеют детей: бог их знает, не навеки ли так останется. Нет, не осталось. Еще один внук! А может быть, внучка? Хотелось бы внучку. Но пусть будет внук, пусть и Илья порадуется. Ему мальчишки нужны из принципа, из упрямства. Ладно, пускай внук. Лучше бы, конечно, внучку...

Празднество по поводу Сталинской премии, которую получил Виктор, началось с того, что был заводский митинг, было торжественное заседание завкома с активом. Виктора чествовали. Виктору приходилось отвечать на приветствия. Отвечал он неуклюже, краснея, стесняясь, забывая самое главное, что надо было бы сказать, но искренне, от всей души.

Когда прежде Виктор рассматривал в газетах портреты лауреатов Сталинских премий, они, эти люди, казались ему какими-то особенными, как бы специально рожденными для высокой чести, недосягаемыми в своих успехах. Он им не завидовал, потому что человек редко завидует тому, на что он, по его мнению, неспособен. Редко портной позавидует всемирно известному астроному. Ред-

ко зоотехник позавидует машинисту врубовой машины, как бы ни гремело в газетах имя этого машиниста. Редко токарь станет завидовать доменщику. Зависть чаще всего приходит тогда, когда тебя обгоняет равный тебе по силам и способностям, когда токаря обгоняет токарь. Но если человек шагнул вместе со всей страной вперед, если шагает он в коммунизм с открытой душой, эта зависть заставит его тянуться за товарищем, догонять товарища, работать так, чтобы тоже добиться успеха.

На людей, портреты которых он видел в газетах, Виктор смотрел с уважением, изумлялся могучим их силам, их творческой смелости, их дарованию. И вот собственный портрет видит в газете. Помещен он в одном ряду с народной артисткой, с конструктором нового автомобиля и с профессором медицины, открывшим средство борьбы с тяжелой болезнью. Ошибка это или не ошибка? Кругом утверждают, что никакой ошибки нет, что премию он, Виктор, заслужил по праву. Значит, и они, те ученые, артисты, изобретатели — обыкновенные работящие люди; значит, и они были когда-то обыкновенными мальчишками и девчонками и тоже стреляли из рогаток, тоже лазали в чужие сады.

Виктор получал множество поздравительных телеграмм от каких-то совсем ему незнакомых людей. Он каждый день ходил на почту, отправлял ответы. Только на одну телеграмму Виктор не ответил. На телеграмму Лиды. Ее: «Поздравляю, дорогой Витя. Хочу тебя повидать. Может быть, осенью приеду. Не сердись. Лидия» — не вызвало в нем никакой радости. Приедет? Ну пусть приезжает, пусть живет, дом большой, места всем хватит.

Перечитывая телеграфные строки, он думал о Лиде не как о жене, а просто как об одном из членов семьи Журбиных — привычном, знакомом, и только. Он сам удивлялся этому. Еще несколько дней назад, вспоминая о ней, он думал, что и Лиде где-то там, далеко, тоже одиноко и грустно. Но она бодро написала: «Не сердись», и это короткое слово развеяло всю грусть Виктора. Да он и не сердится, с чего она взяла!

Дело было, конечно, не в том или ином слове. Виктор, сам того не сознавая, уже пережил Лидин уход. Тонкая нить, которая их связывала,— долголетняя привычка — оборвалась. Лида уже могла не приезжать, не возвращаться в дом. Куда дороже Лидиной телеграммы были Виктору слова, сказанные Зиной в то утро, когда радио

объявило о премиях. Зина прибежала к нему в модельную, протиснулась сквозь толпу поздравляющих, сжала крепко руку и воскликнула: «Вы не знаете, не знаете, Виктор Ильич, как я за вас рада!» И по глазам, по всему лицу ее было видно, что она действительно рада успеху Виктора.

С Зиной происходило что-то для нее непонятное. А что? — она задумалась над этим только в тот день, когда вот так влетела в модельную и выкрикнула: «Вы не знаете, не знаете, Виктор Ильич!..» Задумалась, и ей стало страшно: куда она идет, и что же из всего этого получится? Первой мыслью ее было — подать заявление директору, сложить чемодан и уехать с Лады.

С такой мыслью она пришла вечером домой, испуганная, несчастная. Она села на свой детский диванчик и неподвижно сидела так до сумерек, сжавшаяся, какая-то маленькая. «Надо ехать, ехать, ехать! Бежать, бежать, бежать!» — шептала она, кутая плечи теплым платком. Куда подевалась та девушка, о которой студенты говорили: «Чтобы объясниться ей, надо прежде стать мастером спорта по бегу. Иначе просто не догонишь».

Звонок в прихожей заставил ее вздрогнуть. Зина отворила. Нежданно-негаданно пришли Алексей с Тоней. Зина им очень обрадовалась. Как же не радоваться: ей было бесконечно дорого все, что сколько-нибудь касалось Виктора. А тут были его родные брат и сестра.

— Не радуйся, Зиночка,— сказала Тоня.— Мы по делу к тебе. Алеша не хотел идти, упирался. Привела за руку. Он взялся решать такие задачи, какие у нас даже в десятом не проходят. По институтскому задачнику. Может быть, поможешь?

— Конечно! Давайте, Алексей Ильич, свой задачник. Садитесь, посмотрим.— Зина раскрыла учебник.— Вот эта, которая подчеркнута?

— Она.

— Имеется шар, в него вписана четырехгранная усеченная пирамида... Ой-ой, трудновато и мне!

Зина сидела возле Алексея, над ухом у нее дышала Тоня. Зине было тепло, хорошо среди этих почти родных ей людей. Не будет она подавать никакого заявления Ивану Степановичу, и чемодан пусть стоит на месте в передней. Никуда она с Лады не побежит.

Все сообща, втроем, они распутывали тригонометрические головоломки.

— А вы неплохо знаете предмет,— сказала Зина, когда Алексей напомнил ей забытую формулу: — Чувствуется, вы с кем-то занимались...

— Он с Игорем Червенковым занимается,— вместо Алексея ответила Тоня.— Но Игорь за десятилетку хорошо знает математику, а наш Алеша уже дальше пошел. Игорь ему теперь не учитель. Ты знаешь, какой Алеша!

— Вижу — какой! — Зина смеялась.— В институт будете поступать?

— Еще чего! Никуда я поступать не буду. Не хватало мне в двадцать три года с ребятишками за партой сидеть!

Часа три позанимались — отложили книги и карандаши в сторону. Зина поставила чай. Тоня толкала Алексея кулачком в бок и что-то шептала ему на ухо. Алексей отнекивался. Тогда Тоня рассердилась:

— Давай деньги! Сама схожу.

— Куда схожу? Какие деньги! — Зина встревожилась.— У меня все есть. Никуда ходить не надо. Что вы, что вы!

— Раз ты его, злюку, учила, пусть он нас тортом угощает,— ответила Тоня.— Не идет, такой упрямый! Ему всегда все стыдно. Я не знаю, как он мне духи покупал в подарок. Наверно, спиной к прилавку подходил, чтобы никто не видел, что Алексей Ильич Журбин ерундой интересуется. Да, Алеша? Спиной?

Зина хотела удержать Тоню, но Тоня вырвалась и все-таки убежала за тортом.

Остались вдвоем.

— Алексей Ильич, — спросила Зина, — а вы помните, как мы встретились с вами в первый раз?

— У ворот? Или на стапелях?

— На стапелях.

— Обманул я вас тогда, с молотком-то?

— А я вас обманула с профессией.

— Часто обманываете?

— Очень редко.

— Это хорошо, Зинаида Павловна. Среди вас есть непонятный народ: на словах одно, а на деле другое.

Зина поняла, кого и что Алексей имеет в виду.

— Не оскорбляйте всех,— сказала она.— Я, например, на такой обман неспособна.

— Кто знает.

— Я знаю, я, Алексей Ильич!

— А интересно, как можно все о себе знать вперед? Вдруг увидишь, что ошибся,— что же? Продолжать ошибку или исправить?

— Не надо ошибаться.

— Не встречал таких, которые никогда не ошибаются.

Они, пожалуй, рассорились бы, если бы не подоспела Тоня с тортом.

За чаем говорили о детстве, о рыбной ловле, об электросварке, о том, что Тоня осенью уедет в Ленинград и поступит на биологический факультет университета, о Зининой мечте работать на стапелях.

Тоня и Алексей ушли поздно.

Зина оставила на столе немытые чашки. Легла. После подъема, вызванного приходом брата и сестры Виктора, она снова почувствовала упадок сил. Вот они ушли, им хорошо, весело, они родные, они поддержат друг друга в трудную минуту. А кто поддержит ее, Зину Иванову?

В черные окна ломился весенний ветер, упругий, тугой, громыхал по крышам. Со звоном падали на тротуар подтаявшие сосульки. Капало, хлюпало — убаюкивало. Тянуло в сон и тянуло в неведомые дали.

Молодые, мы бродили такой тревожной порой по платформам железнодорожных станций в своих городках, вдыхали запах вагонной смазки, смотрели на сверкающие под солнцем рельсы. Нам представлялось, как они бегут и бегут через поля, через леса, через горы и реки — куда-то, где необыкновенно хорошо. Захватывало дыхание от проносящихся гулких поездов. Манили обшитые деревом, лакированные спальные вагоны, а еще сильнее — платформы с таинственными угловатыми ящиками, испещренными черными надписями, с ворохами тусклого угля и кипами досок. Взобраться бы на эти доски — они непременно теплые, пахучие,— лечь и мчаться — куда привезет поезд.

Зине казалось, что и ее мчит куда-то неведомый поезд. Куда он ее привезет?

## 2

Василий Матвеевич пришел на Якорную. Все видели, что пришел он по делу, но по какому — не говорит, ввязывается в любой разговор, будто вся цель его прихода — убить время.

— Беда с тобой, Вася! — сказал ему Илья Матвеевич.— Прижимистый мужик. Ты, гляди-гляди, всех нас в кулак зажмешь со своим клубом. Народ поговаривает — клубу такое внимание стало, что вроде он и не клуб, а главный цех завода.

— Правильно. По затратам он не дешевле корпусной мастерской обошелся. Правильно — цех!

— Начальник, значит, клубного цеха?

— А что ты думаешь! К тому же — главного цеха! В тех цехах с металлом, с деревом имеют дело. В моем — с человеком.

Василий Матвеевич, пожалуй, не преувеличивал. Клуб у него и в самом деле превратился в своеобразный цех завода. Лимоны были только началом, поисками путей к такой работе, которая смогла бы захватить, увлечь, заинтересовать как можно больше судостроителей. Лимоны заинтересовали одних, беседа о том, как построить охотничью байдарку,— других; всезаводский шахматно-шашечный турнир привлек более трехсот участников и столько же болельщиков. В цехах ежедневно вывешивались результаты упорной борьбы, публиковались они и в многотиражке. За ними следили, следили за тем, как один за другим отсеивались потерпевшие поражение, как выявлялись свои «мастера» и «гроссмейстеры».

Постепенно установилось мнение о том, что «в клубе интересно». Василий Матвеевич приглашал лекторов, докладчиков, он говорил рабочим в цехах, инженерам, мастерам: «Вы, товарищи, не стесняйтесь. К нам придет любой ученый, любой специалист. Требуйте от меня — приглашу. Отказа еще не было. Каждый, кто понимает задачу нашего завода, готов помочь нам ее выполнить». И в самом деле, в каком бы учреждении города не появлялся заведующий клубом судостроительного завода, всюду немедленно откликались на его просьбы прислать лектора «особо высокой квалификации».

Клуб все шире и шире развертывал свою работу. Этой работой охватывались уже не только сами судостроители, но и семьи, и не только взрослые в этих семьях, а и маленькие. В заводских домах стало слышно сквозь окна, как старательные детские пальцы выстукивали на черных и белых клавишах первые ноты песенок: «Жили у бабуси два веселых гуся» и «На зеленом лугу». Это Василий Матвеевич пригласил двух девушек, оканчивающих му-

зыкальный техникум, и они начали учить музыке малышей.

Одно не удавалось Василию Матвеевичу: не мог он никак наладить работу драмкружка, не мог найти хорошего руководителя. И вот, сказав о своем «главном цехе», он пристально посмотрел на Веру.

— Вера Игнатьевна! — заговорил проникновенно.— Сильно нуждаюсь в помощи. Сел на мель и не знаю, как с нее сойти. Кручусь и так и эдак — ни с места дело.

— В чем же оно заключается, Василий Матвеевич? — спросила Вера. Зрение ее постепенно крепло, она уже не носила ни темных, ни светлых очков. Родным Антона открылись ее большие серые глаза в густых каштановых ресницах.

— Оно заключается... драмкружок-то... Время, между прочим, идет...

— Ах, вот что! Меня хотите эксплуатировать? Трудно мне, дорогой Василий Матвеевич. В другую б пору...— Вера улыбнулась.

— Знаю: трудно. А мне легко? Взялся сам с ребятами пьесу читать. Пока читаем, вроде все на должном месте. Один или одна, допустим, говорит, другой отвечает. Это пока сидим за столом. На сцене не просидишь все действие, двигаться надо. Кому куда двигаться? Полная неразбериха. Ребята пристают: «Как, извините, трактовать данную роль?» Откуда я знаю — как. Как написано... Там, между прочим, ни черта не написано. Нескладно пишутся пьесы, скажу вам. Никаких объяснений, одни разговоры.

Вера рассмеялась.

— Режиссер вам нужен, товарищи, режиссер!

— Режиссер? Был режиссер. Что толку? Все равно кружок не работал. Настоящий человек нужен, с душой, а не режиссер.

Вера еще веселей рассмеялась.

— Вот у нас на заводе,— сказала она,— где я занималась в кружке, был и режиссер, и он же человек настоящий.

— Согласились бы вы, между прочим...

— Как же я соглашусь? Как приду к молодежи такая... толстая, неуклюжая. Не могу.

— Знаю: не могу. Что же делать-то?.. Согласились бы, а?

— Отстань, Василий! — В разговор вмешалась Агафья Карповна.— Уговаривать ты мастер, и телеграфный столб уговоришь сплясать вприсядку, не то что человека. Уж так пристанет, так пристанет!

— Мое дело общественное.

— Зажмет, зажмет всех в кулак,—снова сказал Илья Матвеевич.— Держись, невестушка, не уступай ему.

— Сговорились не уступать, не уступайте,— продолжал свое Василий Матвеевич.— А что, например, приведу я к вам, Вера Игнатьевна, одного паренька? Интересуется и, прямо скажем, неплохо соображает, что кому па сцене делать.

— Это кто же, дядя Вася? — спросил Костя.— Не Володька ли Петухов?

— Ну, Володька. Что из того?

— Ничего. Он смешить здоров. Директора изобразит — лопнешь со смеху. Дуняха, помнишь, показывал пам Ивана Степановича?

— Обсмеялись,— подтвердила Дуняшка.

— Или тебя, дядя Вася,— продолжал Костя.— Надуется, шею в плечи, глазами ворочает.

— А ты видишь,— вставил дед Матвей,— над родным дядей надсмехаются,— в ухо дай.

— Оп вовсе и не насмехается. Дружеский шарж. Как в стенгазете.

— В стенгазете? В ней тоже нарисуют — не все терпи.— Дед говорил будто бы и всерьез, а глаза у него смеялись.— Директоршу столовой нарисовали раз, она к редактору пришла, чернильницы ему перебила кулаком. Не то, говорит, обидно, что вы из человека корову сделали. Главное — старуха какая-то, а не я. Где у меня такие морщины? Да за мной еще трое видных мужчин ухаживают. Муж ее — тот с редактором и по сей день не здоровается. Дружеский шарж — он тоже разный бывает.

— Загудел, дед! Тебя послушать...

— Ума прибавится.

— Как же будет-то, Вера Игнатьевна? — нетерпеливо перебил деда и Костю Василий Матвеевич.— Вести Володьку или окончательно — нет?

Вера вздохнула. Василий Матвеевич понял ее вздох по-своему: сдалась.

Он привел Володьку.

Володька явился с книгами под мышкой, бросил их на стол. Вера увидела записки Станиславского и Юрьева.

— Читаете? — спросила она.

— Читаю. Все по-разному пишут. Один — одно, другой — другое. Запутался.

— Таких рецептов, как в аптеке, искусство не любит,— сказала Вера.— Искусство — это творчество, и каждый творит по-своему.

— Понятно.

Володька был парень смелый. Он сел напротив Веры, дерзко ее разглядывал: первый раз сидел так близко возле настоящей артистки. Ничего особенного, женщина как женщина. Да еще и... в положении.

— Дядя Вася думает,— продолжал он,— что я в режиссеры гожусь. А я не гожусь. Я в постановках играть люблю. В ремесленном учился — играл. Играть буду, режиссером не хочу.

— Кого же вы играли? — поинтересовалась Вера.

— Кого? Разных. В «Ревизоре» Хлестаковым был, Иван Александровичем. Чичикова могу, Павла Ивановича, в инсценировке.

— Неужели? — удивилась Вера.— Ну, пожалуйста, Володя, покажите мне человека, у которого радостно на душе, которому что-то удалось значительное, который получил хорошее известие. Ну, например, девушка ответила ему на признание в любви.

— Жениха, значит, изобразить? Можно.

Володька подумал с полминуты, и неожиданно в столовой Журбиных появился совсем иной человек. Это не Володька Петухов, это настоящий жених, с пьяноватыми от счастья глазами, восторженный, море ему по колено.

— Отлично! — воскликнула Вера.— Ну, пожалуйста, теперь человека с большим горем. Но не сломленного этим горем. Мужественно его переживающего.

Володька медленно поднялся на ноги. Что он сделал со своим туловищем, с головой, с лицом? Ничего как будто бы не сделал. Но перед Верой стоял скорбный и вместе с тем гордый, сильный герой. Не так ли стояли советские воины над пепелищами родных хат, над могилами близких, давая клятву мстить врагу без пощады?

— Василий Матвеевич,— спросила Вера,— у вас много таких кружковцев?

— Сколько угодно.

Уезжая из Москвы на Ладу, Вера никак не думала, что она там выйдет на сцену. Она ждала тихой весны,

рождения ребенка, затем тихого лета, после чего они уже втроем, да, втроем, вернутся в Москву... Но вот — вышла на сцену, явилась в клуб.

Спектакль был подготовлен к концу апреля, к праздничным дням, и прошел при полном зале. Руководительница кружка на нем не присутствовала. Ее уже отвезли в больницу. Тайные надежды Агафьи Карповны не оправдались. Родился, конечно, внук, а не внучка. До чего злая журбинская порода, не терпит женского пола — да и только!

Снова, как и год назад, стрелял Илья Матвеевич из централки, снова сбежались к палисаднику соседи, снова гуляли за столом, снова говорили о Журбаке, который «сошел со стапеля», спорили о его будущем.

Лейтенант милиции Егоров, услышав звук выстрелов, догадался, что это «салют» в честь рождения рабочего человека, на Якорную не пошел, да и не мог пойти: он собрал в тот вечер женщин и затеял с ними беседу о поведении детей на улице.

— Такое дело,— говорил он,— к троллейбусам цепляются. У нас, конечно, не Москва, движение потише. А без ног и у нас остаться могут. Вам что — инвалидов растить интересно? Воспитывать, гражданки, ребят надо, внушать им уважение к транспорту. Не может транспорт на ребят на ваших равняться, пусть они на него равняются. Или другая сторона. Идешь по любой деревне, ребятишки навстречу бегут, обязательно здороваются: здравствуйте, дяденька, здравствуйте, тетенька. А у нас как? И глядеть на тебя не хотят. На меня-то, допустим, глядят, со мной здороваются. Я для них вроде грозного явления природы. А, скажем, вас, Мария Степановна, Александры Потаповны детишки приветствуют?.. Приветствуют?! Что это они! В общем, всех взрослых должны приветствовать. Взрослые для их будущей жизни стараются. Вот как рассуждать полагается.

Егоров делал большое, важное дело, повседневно беседуя с домохозяйками, заботясь о здоровье и жизни их ребятишек, о чистоте во дворах, о порядке на улицах. Он говорил женщинам: «Вы живите в полном со мной контакте. Чуть беда какая — ко мне!.. Обсудим, разберемся, решение найдем. Поэта Маяковского знаете? Что сказал поэт Маяковский? «Моя милиция меня бережет». А он понимал, что к чему. Он был великий поэт нашей эпохи». Егорова уважали и любили.

Услышав выстрелы, он прервал речь об уважении к транспорту и сказал:

— Прибавленьице семейства у Журбиных!

— Еще один уличный нарушитель родился,— ответила Марья Степановна, с которой, к удивлению Егорова, здоровались дети Александры Потаповны. И все засмеялись. Засмеялся и Егоров:

— Он в Москву уедет. Там с порядком построже, чем у нас. Воспитают.

## 3

В последних числах апреля вскрылась Лада. Трое суток шел тяжелый зеленый лед. Бился в причальные стенки, лез пластами на пороги стапелей, выбрасывался на берега. Он прошел, и в канун праздника, тридцатого числа, спустили на воду траулеры, все шесть в один день.

— Ну вот, и отработали мы с тобой, Илюша,— сказал Александр Александрович, когда они с Ильей Матвеевичем, продрогшие, вернулись со стапелей в свою конторку, к печке. В окно были видны пустынные, нежилые стапели, в беспорядке заваленные брусьями кильблоков, досками, трубчатыми звеньями металлических лесов.— Отработали, отработали,— повторил Александр Александрович.

— Как то есть отработали? Еще поработаем,— ответил Илья Матвеевич.

— Ты, может быть, поработаешь. А я отработал. Тебе эти новшества, вижу, по душе. Мне — не очень. Уйду от тебя в док, по ремонту...

— Ты упрямый или дурной? Не пойму.

— И дурной и упрямый, Илюша. Ты моложе меня, потому ничего и не понимаешь. А я вроде твоего батьки скоро сделаюсь, вроде деда Матвея. На стапелях по новой методе гонка начинается. Где же мне, старому, в этой гонке участвовать?

— Не жар ли у тебя, Саня? Не захворал ли?

— Захворал, захворал. Сроду не был Добрыней Никитичем по здоровью. На жилах держался, они у меня сухие, хвороба не брала. Теперь ослабли. Не видишь, что ли, толчея какая поднялась на заводе? Устоишь разве в этой толчее на моих ногах? Молодняк прет. Ты вот ершишься, а и по твоим корням уже тюкают топориками.

Сухое дерево, червяком изъеденное,— его из лесу воп, на дрова. Нам с тобой время на печку.

— Для меня печка еще не построена,— ответил задиристо Илья Матвеевич.— Еще и глины на кирпич для моей печки не накопали.

— Ну, а для моей накопали.

Александру Александровичу казалось, что новая техника, новая технология сомнут его, из почтенного, прославленного мастера он превратится в подмастерье, которого будут терпеть на стапелях только во имя его прежних заслуг, во имя его старости. Потерпят, потерпят — не век же терпеть! — и дадут отставку. Сто́ит ли дожидаться этого? Не уйти ли подобру-поздорову работать в док, где ремонтируют старые корабли? Там клепка, там все привычное, знакомое, родное. Там его не затолкают, там, там место старому мастеру — со старыми кораблями. Старики меж собой поладят.

— Еще передумаешь, — сказал Илья Матвеевич. — А не передумаешь — начнешь потом рвать на себе волосенки.

— Мне рвать нечего! — Александр Александрович дернул себя за жиденькую седую прядку над виском.

— Я тебя не отпущу! — по-другому заговорил Илья Матвеевич.— Такой мастер — и на ремонт! Кто позволит?

— Иван Степанович позволит. Он понимает.

— Как рассуждаешь! Хочешь дезертировать с трудового фронта? Ты, коммунист!

— И коммунисты, Илюша, стареют. И вообще, я по-коммунистически рассуждаю. Старое должно уступать дорогу новому.

— Старое — когда оно уже отжило, когда мешает. Ты отжил, что ли?

— Отжил не отжил, а место свое понимаю. Как ты его не поймешь, удивляюсь. Умный ведь человек.

Александр Александрович ожидал, видимо, что Илья Матвеевич скажет ему: «Правильно, Саня. Старики мы. Пойдем вместе на ремонт. Никогда не разлучались, и теперь нас не разлучат. Мы еще себя покажем. Наша слава еще не погасла». Но слова его произвели совсем другое действие. Илью Матвеевича возмутили намеки на то, что он должен уйти со стапелей.

— Раскаркался, что ворона перед дождем! — ответил Илья Матвеевич, глядя в окно.— Противно слушать.

Они не встали друг перед другом боевыми петухами, не вскричали: «Товарищ Басманов!» «Товарищ Жур-

бин!», после чего опять пришли бы в согласие и дружбу. Они даже не шевельнулись, не повысили голоса. Так тихо, без шума они еще никогда не спорили.

Александр Александрович поднялся, сказал: «Пока, Илюша. Будь здоров!» — и вышел из конторки. Илья Матвеевич положил перед собой пачку нарядов — последних нарядов на работу по-старому, по старой технологии. Эта работа была завершена, окончена. Осталось только подписать листки. А что будет потом? Будет новая работа, грозно хмурясь, подумал Илья Матвеевич, и этой новой работой будет руководить по-прежнему он, Илья Журбин. Напрасно вы каркаете, товарищ Басманов!

Он посидел-посидел за столом да и вышел на пирс. Александр Александрович расхаживал по стапелю среди того ералаша, который остается после спуска корабля. Длинный, тощий, в узком своем пальто, старый мастер напоминал восклицательный знак, с маху поставленный острым пером.

Глядя на него, Илья Матвеевич вспомнил день, когда началась их дружба... Он израсходовал все патроны, а казаки лезли и лезли на бруствер окопа. Илью Матвеевича прострелили из нагана — он держался; полоснули плечо шашкой — держался, тоже выскочил на бруствер, бил направо и налево, штыком, прикладом. Хватили чем-то сзади по голове, упал, солнце почернело, думал: все, отвоевал, отжил — сейчас прикончат... Но над ним возник вдруг яростный этот восклицательный знак — и в ту пору тощий, и в ту пору длинный — и разметал беляков.

И еще вспомнил Илья Матвеевич — не гражданскую войну, а Великую Отечественную. Приехали они с бригадой ремонтников за несколько сотен километров от Лады на стоянку боевых кораблей. Надо было заделать огромную пробоину, которую немецкая торпеда разворотила в подводной части бортовой обшивки крейсера. Зима подходила к концу, вокруг кораблей лежал толстый лед, а на расстоянии выстрела дальнобойной пушки был враг.

Военные моряки еще с осени установили на пробоину деревянный кессон, но произвести ремонт своими силами не смогли. Илья Матвеевич и Александр Александрович спустились в кессон. Он стоял непрочно, его заливало ледяной водой. Пробоина была серьезная, броня, разорванная торпедой, висела лоскутьями. Работа предстояла большая.

Выйдя из кессона, оба задумались. Рабочих спускать в этот шаткий дощатый ящик опасно: хлынет вода — пропадут ребята, не выдержат. Делать новый — долго. А морское командование просит закончить ремонт как можно скорей.

— Я думаю так,— сказал тогда Илья Матвеевич.— Полезем-ка мы, Саня, с тобой вдвоем... Старые зубры. Если справимся с заданием, значит, выстояли боевую вахту. А кости если сложим, ну что же — война! Как смотришь?

— Обыкновенно смотрю. Пойдем, Илюша.

Несколько суток они провели подо льдом, в кессоне. Сами были и разметчиками, и газорезчиками, и сварщиками. Противник обстреливал стоянку. В кессон при близких ударах снарядов врывалась вода, и тогда они работали почти по пояс в воде, пока ее не откачают. Однажды снаряд упал рядом с крейсером, кессон залило так, что моряки вытащили их без сознания, захлебнувшихся; поили спиртом, растирали сапожными щетками, суконками.

Когда обсушились, обогрелись,— снова пошли под лед. Стояли вахту дальше.

Вспомнив те времена, Илья Матвеевич мысленно выругался: «Поди ты к лешему со своими ссорами!» — и зашагал на стапель. Увидев его, Александр Александрович сделал какой-то зигзаг между разобранными кильблоками и исчез, скрылся. «Хорошо,— сказал обозленный Илья Матвеевич. — Упрямствуй. А еще о справедливости болтаешь. Где же твоя справедливость?» Он догадывался, как теперь пойдет дело. Александр Александрович закончит уборку стапеля, наведет там полный порядок и отправится к директору. Иван Степанович будет растроган стариковскими сетованиями, размякнет — Александра Александровича переведут на ремонтные работы. Останется Илья Матвеевич один. Не в буквальном смысле слова один — у него есть еще трое мастеров, двое из них инженеры,— но в смысле дружеской поддержки.

Разве только дома, в личной жизни, нужна человеку дружеская поддержка? На работе она необходима не меньше, а, пожалуй, еще больше. Не с каждым посоветуешься, не каждому выскажешь свои сомнения. Иной неправильно истолкует твое слово, не так поймет тебя, не разделит с тобой твои мысли.

С Александром Александровичем они делили все — и удачи и неудачи, и успехи и промахи, и любые начинания. И вот старый леший вздумал бросить его, Илью Мат-

веевича, трудностей испугался, захотел податься туда, где полегче, попроще. Не ожидал, не ожидал Илья Матвеевич такой трусости от тебя, товарищ Басманов. Валяй, иди к директору; ремонтируй старые галоши. Илья Матвеевич лезть следом за тобой на печку и не подумает. Если понадобится, другого мастера найдет.

Но при мысли о другом мастере Илья Матвеевич затосковал. Придет чужой человек, незнакомый, непонятный... Да хоть и знакомый — кто может заменить Саню?

Снова поискал взглядом Александра Александровича. На стапеле его не было. Окончательно обозлился.

На другой день они, как всегда, встретились возле калитки Александра Александровича, но всю дорогу до завода шли молча — ни один не заговаривал, ожидая от другого первых слов примирения. Не дождались.

Разговор о печках, о возрасте, о необходимости уступить дорогу молодым больше не возобновлялся. Александр Александрович сделал по-своему; через несколько дней он заявил, что Иван Степанович разрешил ему уйти работать в док.

Следующим утром Илья Матвеевич, идя на завод, на Канатную улицу со своей Якорной не сворачивал. Он тяжело переживал то, что называл изменой Александра Александровича. Теперь у него не было привычной поддержки, отныне он везде и всюду должен за все отвечать сам и рассчитывать только на себя. Вновь он задумался о Титове — не о том, каким Илья Матвеевич представлял себе талантливого кораблестроителя, не о практике Титове — нет, о другом, изображенном в книге академика Крылова. Он уже давно следовал примеру крыловского Титова и не первый месяц тайком от Агафьи Карповны, когда она уснет, просиживал по ночам над учебниками Тони. Но поступал он не во всем по примеру Титова. Титов не стеснялся обращаться за помощью к инженерам,— он, Илья Матвеевич, ни к кому еще не обращался. И получается: география, история, биология — просто, читай да запоминай, а математика и физика — их сам не больно раскусишь, помощь нужна. Вот и задумался о Петре Акиндиновиче. Пошел бы тот к Зинаиде Павловне или нет? А отчего не пойти, в конце концов? Пусть погоняет его по учебникам. Она вроде бы скромница, болтать о том, что начальник стапельного участка заделался школьником, не будет.

Он нашел Зину в бюро технической информации. Там только что закончилось какое-то совещание, было накурено. Зина открывала форточки. Илья Матвеевич принялся рассматривать на столе электросварочный автомат незнакомой ему марки.

— Самый новый,— сказала Зина,— на днях получили. Собрала вот мастеров, ознакомила. Остались довольны. Говорят: хороший. Садитесь, Илья Матвеевич, пожалуйста.

— Некогда рассиживаться. Я на минутку.— Он не думал, что так трудно будет вести этот разговор. — У меня такое дело... как бы объяснить похитрей?.. Ну, в общем, кто я есть с точки зрения науки?

Зина удивленно расширила глаза в золотистых ресницах.

— Вижу: вопрос непонятный,— продолжал Илья Матвеевич.— Скажу иначе. Не довелось мне учиться за школьной партой. На стапелях учился. Наука эта прочная, да только узкая — полного обзора не дает. Кое-что, конечно, сам делаю, грызу помаленьку, но не все разгрызаю, не все по зубам...

И снова никак не высказать было главное — зачем пришел.

— Вы хотите, чтобы я вам помогла? — спросила Зина, не веря себе; глаза ее раскрылись еще шире.

— А что — не выйдет?

— Не в том дело... Не знаю...— Зина растерялась.— Смогу ли я? Вы такой человек!..

— Возьмем да и попытаем. По рукам, что ли?

— Я-то согласна, я с радостью! Будете ли вы довольны — боюсь.

— Ну значит, договорились? Когда приходить?

— Куда приходить? Я сама к вам приду.

— Нет, это не годится — вам ходить. Я ученик, я и ходи. Только так, Зинаида Павловна...— Илья Матвеевич помялся и добавил не без смущения: — Такой уговор, между прочим... никому про это ни-ни, ни слова. Ни домашним моим, ни чужим. Будто бы и нет никаких занятий. Не молоденький, совестно.

— Учиться совестно? Неправда это, Илья Матвеевич! Неправда!

— Правда ли, неправда, а вот совестно — и все тут.

Договорились, что заниматься они будут два раза в неделю, условились о днях. Илья Матвеевич ушел. Зина

разволновалась. Кого она взялась учить, и разве она учительница для Ильи Матвеевича? Надо было отказаться. Но как откажешься? Отказать такому человеку в такой просьбе — по меньшей мере подло. Нет, она постарается, постарается сделать для Ильи Матвеевича все, что в ее силах. Удивительные вещи творятся на этой Ладе! Ты — инженер, имеешь диплом, но тебе не доверяют самостоятельную серьезную работу. Требуют от тебя опыта. А человек с опытом, большой специалист, идет к тебе за школьными знаниями. Может быть, не только на Ладе, — везде в жизни такое? Еще плохо она, Зина, знает жизнь.

Занятия пошли совсем не так, как представляла себе Зина, пошли для нее трудно. Взялись, например, за физику; Илья Матвеевич почти ничего не знал о газах, мало знал об электричестве, надо было проходить с ним все с начала. Зато его познаниям в механике мог позавидовать любой выпускник института. Взялись за математику. Илья Матвеевич уверенно производил сложнейшие тригонометрические построения, но такими приемами, по таким формулам, о которых и слыхом не слыхивали в институте. Это были приемы и формулы практиков. Они имели сходство с народной медициной, с народными способами предсказывать погоду, основанными на многовековом опыте.

Если бы Зина вздумала изобразить познания Ильи Матвеевича графически, на бумаге получилась бы причудливая кривая с резкими взлетами острых пиков и с глубочайшими провалами до нулевой линии. Ей, Зине, предстояло заполнить эти провалы, выровнять кривую. Она работала с Ильей Матвеевичем, проявляя небывалое для нее терпение. Она даже прочла несколько брошюр по педагогике. Но напрасно: то, что годилось для ребят, к Илье Матвеевичу никак не подходило. Его не надо было ни заставлять, ни подгонять, ему надо было просто объяснять. Кажется, дело нехитрое? Но вот нехитрое, а поди справься с ним. Объясняешь одно — твердит: не понимаю. Начинаешь объяснять другое, ничуть не менее сложное, — скажет: чего жвачку-то жевать, время тратить, без объяснений ясно, не солома в голове. Еще и обижается.

Трудно было Зине, очень трудно, и все-таки она ни разу не пожалела о том, что взялась заниматься с Ильей Матвеевичем. Слишком наглядны были результаты этих занятий. Упрямец во всем, Илья Матвеевич оставался

упрямцем и в учении. Неторопливо, без скачков, но с удивительной основательностью он накапливал знания; он как бы строил прочное здание, пригонял камень к камню плотно, без всяких зазоров, и, только уложив один ряд, принимался за другой. «Так он и корабли строит,— думала, следя за ним, Зина.— С тщательностью часовщика».

Илья Матвеевич занимался с Зиной весь май. Он приходил к ней в понедельник и четверг. Дома говорил, что идет на курсы мастеров, в баню или на рыбалку. Когда говорил: в баню — приносил к Зине веник и чемоданчик; когда на рыбалку — удочки и жестянку с червями. Агафья Карповна удивлялась, почему он так долго моется; получалось, конечно, слишком долго, потому что после урока Илья Матвеевич и в самом деле шел в баню: надо же белье переменить и голову показать влажную. «На полке́ залежался, — отвечал он бодро. — Пар хорош!» — «Так залежишься — не дай бог, не встанешь,— сетовала Агафья Карповна.— Не молоденький — сердце трепать». Удивлялись в семье и тому, что рыба вдруг перестала клевать. Куда бы ни шел Илья Матвеевич — на Ладу, на Веряжку, — возвращался с пустыми руками или приносил десяток ершей: покупал их на мосту у мальчишек. Хитрил всячески, не хотел, чтобы знали, куда он ходит.

Однажды Илья Матвеевич пропустил занятие. В четверг было партийное собрание, закончили поздно, в одиннадцатом часу. Пришел Илья Матвеевич к Зине в пятницу — авось да свободна она. Не хотелось терять дорогое время: в субботу не уйдешь из дому — с гостями сиди, в воскресенье — и подавно закрутишься. До понедельника, значит, ждать? Долго. Пришел он с удочками. Зина была дома, но почему-то сильно покраснела, открыв ему дверь. «Уж не на кавалера ли наскочил? — подумал Илья Матвеевич, когда увидел, как она смущена.— Вот оказия!» Он потоптался в прихожей, заглянул в комнату. Ну и штука! За столом сидел Алексей. Куда нашел дорогу, — ну и ходок.

Внимательно посмотрели друг на друга; Алексей что-то смахнул со стола себе на колени, спросил:

— Батя?

— Ага, я. — Илья Матвеевич вошел в комнату. — Ты что тут?

— Так просто.

— Просто? Ну вот, получается, оба мы просто. Мне

с Зинаидой Павловной об информации потолковать надо. Под столом-то что прячешь?

Зина не знала, как ей быть, расстроилась. Вдруг Илья Матвеевич поссорится с Алексеем? Что тогда? Ужас!

— Под столом? — ответил Алексей.— Под столом книжка. Вот она! — Он бросил на стол учебник физики.

Илья Матвеевич увидел свой учебник, недовольно посмотрел на Зину. Неужели выдала секрет? И кому? Алешке. Разболтает теперь.

— Зачем взял? — спросил он.

— Посмотреть. А что — нельзя?

— Почему нельзя? Моя, что ли? Смотри.

— Батя,— сказал Алексей с улыбкой.— А книжка-то ведь как раз твоя.— Он раскрыл учебник, на титульном листе стояла подпись: «И. Журбин».

Илья Матвеевич пробурчал что-то невнятное.

— Батя,— снова проговорил Алексей,— не напускай туману.

— Какого еще туману?

— Вообще.

— Вот дам тебе сейчас «вообще» по затылку!

— Ну дай, не жалко, дай! Только не напускай туману. Я же тебя каждый понедельник и четверг из окошка вижу, как идешь к Зинаиде Павловне. С веником сегодня или с удочками?

Озадаченный Илья Матвеевич с силой дернул за бровь, поморщился.

— С удочками,— ответил он, и в глазах у него сверкнули веселые огоньки.— А ты с чем ходишь?

— Ни с чем. Мне прятаться не надо. Перебежал из подъезда в подъезд — и тут. На урок, значит, пришел, батя? Может, мне уйти?

Илья Матвеевич не мог не оценить поведения сына по достоинству: знал, паршивец, но молчал, не проболтался.

— Сиди,— сказал он,— вместе уйдем. Начнем, что ли, Зинаида Павловна?

— А ты что, батя, проходишь?

— Поучись вместе со мной — узнаешь. Польза будет.

Зина обрадовалась: все обошлось, скандала не получилось. Журбины не поссорились.

Пока Зина и Илья Матвеевич занимались, Алексей сидел и слушал. Когда занятие было закончено, он сказал:

— А я тебя, батя, обогнал!

— То есть как?

— Ну, дальше, дальше прошел по учебникам.

— Докуда же, братец?

Отец принялся экзаменовать сына, сын отвечал отцу тем же. «А ну, реши эту!» — говорил один, указывая на номер задачи. Другой решал и тоже требовал: «А ты реши-ка попробуй эту!» Придирались друг к другу, как ни один учитель не придирается к своему ученику.

— Где же ты учишься? — спросил Илья Матвеевич.

— В вечерней школе, в десятом классе. Как учился Антон. Ходил бы и ты туда, а? Зинаиде-то Павловне, наверно, трудно. Со мной было занималась, с тобой теперь. Учебно-курсовой комбинат!

Зина горячо запротестовала, она сказала, что такие разговоры ее обижают.

Пора было уходить. В передней, увидев удочки, Алексей рассмеялся:

— Чудак-рыбак, батя!

— Понесешь их. До дому проводишь.

Попрощались с Зиной, ушли. По дороге Илья Матвеевич спросил:

— А ты что? Та́к учишься, для интересу, или со значением?

— Со значением. Хочу на заочное в вуз поступить.

— Правильно, правильно соображаешь. Куда подашь-то?

— Куда же иначе? Где и Антон учился. Я узнал: у них заочное есть.

— Подавай, подавай! Если трудно будет, можешь и работу бросить.

— Нет, батя, работу я не брошу. Я без работы не проживу.

— То есть как не проживешь? Отец прокормит, полагаю.

— Не про кормежку говорю. Знаешь, сказано: труд — естественная потребность человека.

— Знаю. Еще один к тебе вопросик, Алексей. Ты, того-этого, не амуры ли крутишь с Зинаидой Павловной? Не серчай, по-отцовски спрашиваю.

— Выдумал, батя!

— Ничего не выдумал. Девушка она симпатичная, достойная, дай бог каждому такую невесту.

— Сказать тебе, батя, правду? Только чтобы дальше не пошло?

— Отцу условия?

— Дело-то серьезное, вот и условия. Понимаешь, батя, наблюдаю второй месяц... и только одно от нее слышу: Виктор Ильич да Виктор Ильич...

— Болтай больше! — Илья Матвеевич даже остановился на тропинке среди кустов.— Как же это? А он что?

— Он? Он ничего. Сам по себе.

— Плохо, Алешка! Крепко плохо. Женатый человек.

— Да какой он женатый! Жена сбежала.

— Какой ни есть, а женатый. Ты ее отговори. Беда ей будет. Одни огорчения.

— Отговори! Попробуй сам поотговаривай. Кто, интересно, тебя слушать будет?

Илья Матвеевич до самой Якорной шел молча. Возле калитки сказал:

— Ну озадачил ты меня. Озадачил. Еще не хватало. А может, ошибаешься? Так, в голову взбрело?

— Думаю, что не ошибаюсь.

— Смотри помалкивай про это, языком зря не чеши. И еще помалкивай, что мы с тобой школьники. Понял?

— Понял.

— Пойдем-ка ужинать. Что врать-то будем? Опять рыбы нету.

Илья Матвеевич толкнул калитку. За ней стояла Агафья Карповна. Она все слышала, но ничего не поняла.

## ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

### 1

Скобелев сидел на решетчатой скамье в скверике у вокзала, поворотясь спиной к вечернему солнцу, чтобы не слепило глаза. Недавно прошел теплый дождь, пахло молодой зеленью, отцветающей сиренью и землей.

Возле ног Скобелева полз большой бледный червяк. Скобелев нацелился тросточкой, вдавил червяка в мокрый песок и перерезал надвое. Более толстая половина поползла в сторону, более тонкая осталась извиваться на месте. «Интересно,— подумал Скобелев,— что тут получилось: два червяка или один укороченный? Очень худо, когда ты раздвоен, еще хуже, когда тебя укоротят».

Отнюдь не червяк был причиной заунывной философии Скобелева. Днем он крупно поговорил с Антоном Журбиным. Если точнее, то поговорил не он с Антоном, а Антон с ним, и не слишком крупно, просто сказал несколько слов. Но каких слов! Журбин явно зазнался.

Скобелев ходил по цехам, где заканчивают монтаж главной поточной линии. Останавливался, смотрел: интересно же! Не один он ходит туда смотреть, весь завод ходит. Что в этом плохого? Настроение было хорошее, весеннее. Но появился знаменитый Антон и, вместо того чтобы поздороваться, вдруг спросил: «Разрешите полюбопытствовать, товарищ Скобелев, где вы работаете, кем вы работаете, что вы работаете?» — «Надеюсь, Антон Ильич, вам это известно», — ответил он, Скобелев. «Ничего мне не известно. Я вижу только, что вы постоянно прогуливаетесь по заводу с видом экскурсанта. Сейчас время рабочее. На экскурсию прошу прийти попозже. Мешаете. Поберегитесь!» Скобелев шатнулся в сторону, мимо его головы проплыл в воздухе тяжелый гак мостового крана. «Видите,— продолжал Антон,— как опасно быть без дела. Зашибить могут».— «Я, извините, не без дела. У меня есть дело».— «Ну какое у вас дело! Я же не случайно спросил, где вы работаете. Не то в бюро информации, не то в БРИЗе. А вернее — нигде. Ни за что не отвечать, заниматься любительством вроде ловли бабочек сачком или разведения тритонов в банке, это не работа».— «Антон Ильич, вы несправедливы,— ответил Скобелев с запальчивым достоинством. — Сила обстоятельств... Меня засунули в эту информацию вопреки моему желанию». — «Если у человека есть какое-то желание, если человек в чем-то убежден, он своего непременно добьется. Меня, например, не заставят подшивать бумаги. Добивайтесь, а не разгуливайте руки в брюки. Осторожно!..»

Теперь уже не пустой гак, а тяжелая станина кузнечного пресса нависла над головой Скобелева. Он выскочил из цеха. Настроение было испорчено. Он был убежден в том, что не шатается по заводу руки в брюки. Он помог многим рационализаторам добиться признания их изобретений, их технических новшеств. К нему ходят люди, в нем нуждаются. Кто дал такую волю Журбину, кто дал ему право так разговаривать? Что — он старый, опытный, заслуженный специалист? Молодой инженерик, моложе его, Скобелева.

Скобелев придумывал веские, внушительные ответы Антону, но было поздно, смертоносные возражения повисали в воздухе, годились теперь только «для внутреннего потребления».

Расстроенный, обиженный, он отправился под вечер в город — развлечься. Бродил по улицам в шляпе, с тросточкой, усики подстрижены; напускал на себя загадочный вид. Когда-то в Череповце, откуда он был родом, эти приемы изрядно влияли на сентиментальные девичьи сердца. Усики, тоскующий взгляд, тросточка с костяным набалдашником в виде мертвой головы делали свое дело. Но времена прошли, он напрасно щурил глаза и надвигал на брови широкополую шляпу,— никакого восхищенного шепота. Только дважды позади него довольно громко сказали: «Псих!» — и кто сказал! Милые белокуренькие девушки, стройные, веселые, для которых как раз и предназначалась вся эта бутафория.

Дождь загнал Скобелева в кафе. Он сел за столик, попросил стакан чаю, непременно крепкого и непременно с молоком. Пожалел, что не пьет вина,— согрело бы душу. В открытое окно было видно, как дождь хлещет по асфальтовым тротуарам, накаленным за день солнцем. Тротуары дымились, и пахло горелой резиной.

Когда туча уползла за реку, Скобелев снова походил по городу, хотел зайти в кино, но билеты были уже проданы,— отправился к вокзалу. Он любил железные дороги и поезда с детства: в Череповце перед приходом вечернего поезда на перроне устраивались гулянья. Перечитал в зале для пассажиров все таблицы с ценами на билеты, «правила пользования вокзалами». Делать на вокзале больше было нечего, вышел в сквер и уселся на сырой скамье. Раздавил червяка. Пофилософствовал. Снова нечего делать.

Стал оглядываться по сторонам и увидел бывшего заведующего заводским клубом Вениамина Семеновича. Вениамин Семенович сошел с троллейбуса, посмотрел на вокзальные часы и не спеша пересекал площадь, огибая сквер. В одной руке он нес, видимо, очень тяжелый чемодан — весь изогнулся; через другую руку были перекинуты пальто и плащ. Солнце еще не скрылось, очки Вениамина Семеновича вспыхивали ярко, как стекляшки на свалке мусора.

По мнению Скобелева, это был неплохой парень. Начитанный, знающий, водки тоже не пил. Несколько раз

они встречались, каждый раз говорили всласть, не слушая один другого. Понимая, что оба врут, мешать взаимному вранью и не думали. Отчасти друг друга даже уважали.

Скобелев окликнул. Ему показалось, что Вениамин Семенович вздрогнул. Вениамин Семенович и в самом деле вздрогнул, но, увидев, кто его зовет, весело улыбнулся, крикнул:

— Добрый вечер, Евсей Константинович! Какими судьбами?

Он перешагнул через деревянный бордюрчик сквера, подтащил к скамейке чемодан, сел, принялся утирать платком потное лицо.

— Я-то что! Я гуляю,— ответил Скобелев.— А вы какими судьбами?

Вениамин Семенович снова посмотрел на вокзальные часы:

— Рано приехал. Еще сорок минут до поезда. Не беда, посидим.

Он был весел, как человек, вырвавшийся из-под гнета, из неволи, и вместе с тем несколько встревожен, как человек, который еще не совсем избежал опасности.

— В командировку? — спросил Скобелев.

— В какую командировку? Кто меня пошлет в командировку? Я безработный. Наверно, единственный безработный во всем Советском Союзе. Хотел в театр устроиться — подходящего места нет. В газету писал... Один очерк напечатали, второй не напечатали. Вы, говорят, поставили редакцию в неудобное положение, вы насочиняли чего и не было. Не понимают, что художественная правда выше фактографии. Провинциалы!

Скобелев понимающе и утвердительно покивал головой. Но развязный тон Вениамина Семеновича ему не совсем понравился. Особенно не понравилось высказывание о провинциалах. Скобелев никогда не жил в столице, в Ленинграде только учился, а рос, работал и работает в таких вот местах, как здесь, на Ладе. Значит, что же — и он, если послушать Вениамина Семеновича, провинциал? Хотел возразить, но не набрался смелости.

— Куда же теперь? — поинтересовался он.

— Куда глаза глядят. — Глаза Вениамина Семеновича в третий раз уставились на часы. Видимо, очень рвался он поскорее уехать отсюда, с Лады, от «провинциалов».

— Идите в кассу,— сказал Скобелев.— А то скоро закроют.

— Билет у меня еще позавчера куплен, на городской станции,— бодро ответил Вениамин Семенович.

— Ну, а семья как? — продолжал любопытствовать Скобелев.— Потом вызовете?

— Сложный вопрос с этой семьей, Евсей Константинович. Надеюсь, вы меня поймете. Теща — как будто бы культурный человек, учительница, но мещанка.

— Я не о теще говорю,— о Катюше. Она ведь... как это... ребенка ожидает.

— В том-то и дело! — воскликнул Вениамин Семенович, уверенный в сочувствии единственного симпатичного ему на Ладе человека.— В том-то и дело! Я просил принять какие-нибудь меры. Не хочет, отказывается. А мне уже сорок лет. В сорок лет писк, визг, пеленки — это не так весело. Это, знаете ли, болото, которое засосет.

— Что же все-таки будет с Катей? — Скобелев настаивал. Он ощущал непонятную для него тревогу.

— Ничего сверхобычного.— Вениамин Семенович пожал плечами. Утер лицо. Платок он из рук не выпускал.— Буду посылать ей деньги. Я человек честный. Все, что в моих силах, сделаю. А что не в силах...— Он развел руками.

Скобелев уже был уверен в том, что Вениамин Семенович сбежал от Кати тайком, поэтому приехал так рано, поэтому через каждую минуту смотрит на часы, поэтому — от спешки — он обливается потом, поэтому Катя его не провожает. Скобелев хорошо знал эту розовощекую, скромную, тихонькую чертежницу, с золотистой прической, полненькую, миловидненькую, очень, наверно, любящую, преданную, терпеливую. Ему стало ее жаль.

— Так нельзя,— сказал он осторожно.— Нет, Вениамин Семенович, нельзя. Вы губите девушку.

— А что прикажете делать? Спасать девушку и губить себя?

— Надо было думать раньше.

— Раньше! Кто о таких вещах думает раньше! Жизнь, жизнь, дружище! Не одни розы у нас под ногами. Больше шипов, чем цветочков. Так-то!

— Вот и ходите сами по шипам.

— Что это значит?

— Это значит — надо вернуться.— Скобелев сказал мрачно, с нарастающей решительностью. Его охватывало

негодование. Может быть, он и правда разгуливает по заводу руки в брюки, что, кстати, еще надо доказать; может быть, он не прочь состроить глазки скучающим дамам, но он не подлец, не последний негодяй. Он никогда так хладнокровно и цинично не рассуждал о чужой судьбе, о чужой жизни, как рассуждает Вениамин Семенович, он никогда так не поступал и никогда не поступит. У него есть понятие и о чести, и о совести, и о долге.

— Вернуться надо! — повторил он сквозь зубы.

— Это что же — моралитэ? — Вениамин Семенович усмехнулся, откинулся на спинку скамьи и закачал ногой.— От кого слышу? Вы меня удивляете, Евсей Константинович. Вы — романтик. Я тоже был когда-то таким. Но жизнь — великая мельница. Она всех нас перемалывает на муку, всех со временем делает одинаковыми.

— С вами одинаковым я быть не желаю!

— Вы думаете, я желаю? — Вениамин Семенович наглел.— Нет уж, увольте. Быть похожим на вас! На человека без хребта!

У Скобелева позеленело в глазах.

— Без хребта? — выкрикнул он.— При чем тут хребет? Вы мне ответьте — вернетесь или не вернетесь?.. Или я немедленно позову милиционера.

— Я, кажется, ничего не украл, чтобы звать милиционера. Зовите.

Вениамин Семенович усмехался. Он встал, поднял свой чемодан; в чемодане были все пожитки, которые непризнанный гений накопил за сорок лет: десяток книг, заштопанные Катей носки, чугунный Будда, утащенный из реквизиторской какого-то театра, пачка писем той, которую когда-то звали Тайгиной, бритвенный прибор, поношенные костюмы, дуэльный пистолет с отломанным курком — настенное украшение всех комнат, в каких жил когда-либо Вениамин Семенович; поднял и пошел не оглядываясь,— до отхода поезда оставалось меньше пятнадцати минут.

За ним неотступно следовал Скобелев, повторяя:

— Это же подлость, подлость! Вернитесь, в последний раз вам говорю!

Вениамин Семенович не обращал на него никакого внимания. Это было обидно, оскорбительно. Скобелев не знал, что и делать, как вести себя. Позвать милиционера? В самом деле, Вениамин Семенович ничего не украл, ни-

кого не убил, он чист перед законом, как агнец. И в то же время он негодяй, он преступник перед маленькой чертежницей, которая, может быть, только сейчас вернулась домой и только сейчас увидела, что нет ни носков, заштопанных ею, ни пистолета на стене, ни самого хозяина пистолета. Скобелев представлял себе эту страшную картину: Катя, изумленная, испуганная, окаменевшая от горя,—и его тянуло ударить кулаком по сутулой спине Вениамина Семеновича, по оттопыренному шляпой уху, по восьмигранным очкам.

Так, гуськом, они вышли на перрон, дошли до вагона. Вениамин Семенович предъявил билет проводнице, поднялся в тамбур. Через минуту он появился в открытом окне.

— Поучитесь-ка жить сначала, потом читайте морали,— сказал он и положил локти на опущенную раму.

— Поучусь! — ответил Скобелев, цепенея. Он уже не раздумывал, как ему быть, звать или не звать милиционера. Он изо всех сил хлестнул ладонью по влажной щеке Вениамина Семеновича. Звук был как выстрел.

Вокруг него зашумели, закричали: «Безобразие! Хулиганство!» Подошел сержант железнодорожной милиции:

— Гражданин! Это вы ударили пассажира?

— Я! — громко и радостно выкрикнул Скобелев. — Я, товарищ милиционер. Кто же еще?— Он дрожал от волнения, что-то говорил, объяснял окружающим.

— Придется составить акт. Где потерпевший?

— Не выйдет он, ваш потерпевший! — смеялся Скобелев.— Не выйдет!

Сержант ожидал, что из вагона выскочит взбешенный, разъяренный человек. Но никто не вышел.

— Говорю, не выйдет! — Скобелев встал на цыпочки, просунул голову в окно.— Вон он, в углу сидит. Тащите его оттуда!

Сержант вошел в вагон.

— Вы не видите, что он сумасшедший,— доказывал ему Вениамин Семенович.— Сумасшедшему место в психиатрической лечебнице. Никуда я не пойду, сейчас поезд тронется. Какие акты!

Он боялся остаться в ненавистных ему местах еще на сутки. Впереди была свобода, позади — одни неприятности. Сержант с трудом уговорил его выйти на перрон. Но едва Вениамин Семенович вышел, поезд тронулся, и он снова вскочил на площадку. Он уехал.

В отделении железнодорожной милиции составили акт. Скобелев рассказал там всю известную ему историю Вениамина Семеновича и Кати. Лейтенант милиции говорил о недопустимости решать конфликты таким способом, каким вздумал их решать Скобелев; Скобелев с ним соглашался, но в душе чувствовал свою правоту. Он даже сказал: «Если бы этот негодяй три рубля украл, вы бы его задержали? Ну вот! А тут жизнь, молодость украдены у человека...»

Час спустя он снова шагал по городу в свете уличных фонарей, зажженных с наступлением сумерек. Глаз не щурил, шляпу на брови не надвигал. Шагал гордо. Он был собой доволен. «Что ж,— думал он,— общественность разберется. Пусть даже не одобрят, взыщут, зато все увидят: Скобелев поступил честно, как ему подсказывала совесть. Есть она, совесть, у Скобелева, есть; есть у него сознание долга. Это и Антон Журбин увидит и не пожалеет ли о несправедливых своих словах, сказанных в цехе: «Руки в брюки!..»

Возникла мысль: а что если для Антона Журбина он, Скобелев, все равно как для него, Скобелева, Вениамин Семенович? Почему Антон Журбин заговорил с ним грубо и откровенно? Ясно — почему. Не уважает, презирает. С точки зрения Антона он, Скобелев, ведет себя так же, как с точки зрения его, Скобелева, ведет себя Вениамин Семенович. Один подло сбежал от обманутого им человека, другой — ну не подло, конечно, нельзя этого сказать — избегает порученной ему работы, берется за всякую другую, только не за свою.

Мысль эта встревожила Скобелева. «Извините!» — подумал он. «Пожалуйста»,— ответил кто-то из прохожих. Значит, он подумал вслух. Скобелев обогнул вежливого прохожего, продолжая думать о том, что, дескать, извините, товарищи, упрощенно судите. Он бы работал, отлично работал, но не в бюро технической информации. А что же ты, Скобелев, не добиваешься другой работы или добиваешься, да слишком вяло, не энергично? Не прав ли Антон Журбин, говоря: «Если у человека есть какое-то желание, если человек в чем-то убежден, он своего непременно добьется»?

Вступившись за Катю, Скобелев впервые в жизни почувствовал себя настоящим мужчиной. Чувство мужества было для Скобелева непривычным чувством, оно наполня-

ло его гордостью; он шел не прежней своей кошачьей мягкой походочкой, а твердо и громко ступая по тротуару.

На площади перед заводом Скобелев так резко выскочил из троллейбуса, что чуть не угодил под встречную машину. Машина затормозила — это был директорский «ЗИС»,— из нее высунулся дед Матвей.

— Чего кидаешься? — сказал дед.— Жизнь надоела?

— Нисколько, Матвей Дорофеевич. Хорошая жизнь!

— А с чего ты веселый такой, заложил, что ли? Слыхал — непьющий. С непривычки и развезло? Не заложил? А вот попробуй, хвати шкалик, пуще взбодришься. Ну, пусти с дороги, некогда мне тут с тобой...

Скобелев бродил по улицам в надежде встретить когонибудь из знакомых. Очень хотелось рассказать о подлости бывшего заведующего клубом, о пощечине. Знакомые не попадались. Но даже и попадись они, Скобелев все равно смолчал бы. Он думал: рассказать расскажешь, а как же Катя? И так ей, бедняжке несладко, еще и всякая болтовня вокруг начнется. Ее навестить, что ли, проведать, подбодрить! Не очень знакомы для таких поздних визитов.

Отправился домой. Долго расхаживал по комнате. Все в ней ему не нравилось, впервые не нравилось,— и паутина под потолком, и еще с прошлого лета засиженная мухами лампочка, и не знавший года полтора мастики и щетки пол, и окна без занавесок, унылые какие-то, черные, и арестантская железная койка. Наведет порядок, наведет, вот возьмется и наведет... Пока что он напишет заявление директору.

Сел к столу, написал: «Категорически настаиваю...» Он настаивал так категорически, что даже стукнул кулаком по бумаге. Написанное размазалось, чернильные буквы в обратном порядке отпечатались на ребре ладони: юавиатсан иксечирогетак. Прочитал марсианские слова с интересом и обозлился на себя: вся беда в том, что он несерьезный человек. Все у него получается несерьезно, включая и эту драку. Потому с ним и не считаются, и прощают многое, и разговаривают как с мальчишкой. Довольно, довольно! Он не мальчишка. Завтра утром директор в этом убедится. Хватит. Надоела грязная комната, надоели десятые роли, надоело положение зяблика, которому была бы ветка — он чирикает на любой.

## 2

Жуков давно освоился с заводом, с заводским коллективом, прочно в него вошел. Он был своеобразный человек. Несмотря на свои пятьдесят лет, он как будто не старел, оставался комсомольцем боевых революционных лет, по-прежнему горячим, увлекающимся, только прибавилось опыта, жизненных наблюдений, знания людей. Комсомольцем остался Жуков и в личной жизни. Он привез с собой на Ладу жену и двоих сыновей, старшую дочь оставив в Москве; она училась в университете. Ему временно отвели небольшую квартирку из двух комнат. «Временно» превратилось в «постоянно». Заселяли новые дома, Жукову приносили ордер на новое жилище — просторней, удобней, но он отказывался. Он даже серьезно поспорил по этому поводу с Иваном Степановичем. Иван Степанович сказал: «Не понимаю, товарищ Жуков, вашей позиции. Человек, который столько работает, как вы, который выполняет задачу, поставленную Центральным Комитетом партии, вправе он претендовать на хорошие жилищные условия или нет?» — «Да, вправе, — ответил Жуков.— Но мы с вами, товарищ Сергеев, капитаны. Завтра, если партия потребует, станем матросами. Но сегодня капитаны. Капитан, как известно, уходит с корабля последним».— «Что вы этим хотите сказать?» — «Только то, что на новую квартиру я перееду, лишь когда все до единого наши рабочие будут расселены из общежитий и дедовских домишек Старого поселка. Прошу на эту тему со мной больше не заговаривать».

Он принес с собой на завод тот стиль работы и поведения, о котором твердил Ивану Степановичу дед Матвей. Был Жуков прост во всем, и главное — в отношениях с людьми. От него никогда не слышали расплывчатых, неопределенных ответов: подумаем, обсудим, посмотрим. Он говорил только «да» или «нет». «Так можно и ошибиться»,— сказал ему однажды Иван Степанович. «Можно,— ответил Жуков.— Тогда надо ошибку исправить. Но тянуть, крутить, ничего не решать — это худшая из ошибок. На войне, например, она часто совсем неисправима».

На заводе к Жукову относились по-разному. Были и такие, которым его резкий и четкий стиль работы не нравился. Этот стиль исключал неопределенность, пустое времяпрепровождение, замаскированное внешней деловитостью и напускной озабоченностью. Можешь иметь ка-

кой угодно вид, можешь мчаться с папками под мышкой из цеха в цех,— ни напускное величие, ни мелкая суета Жукова не обманут, о тебе он судит по тому, как идет твое дело. Естественно, что хорошие работники Жукова полюбили, плохие или не любили, или просто боялись, потому что от него не укроешься. Он говорил человеку в глаза все, что думал о его работе, и этого же требовал от каждого. Дед Матвей очень любил беседы с Жуковым, приходил к нему в кабинет запросто, «обменяться мнениями». Ходили к Жукову многие рабочие. И не только в кабинет, а и домой, и не только по заводским делам, но и по личным. Рабочие его приглашали в гости, снова звали на рыбалку. От рыбалки Жуков отказывался. «Какой я рыбак, товарищи! — говорил он.— Тридцать пять лет не рыбачил. Червя насаживаю с хвоста».

Однажды домой к Жукову пришел Александр Александрович — вскоре после того, как расстался с Ильей Матвеевичем. Семья Жуковых сидела за столом. Был вечер, пили чай. Поставили стакан и перед Александром Александровичем. Но тот от чаю отказался, спросил:

— Время у вас, товарищ Жуков, есть?

— Есть.

— Выйдем со мной на улицу — что покажу.

Они вышли. На улице, у подъезда, стояла сверкающая лаком и стальными частями серая «Победа», вокруг которой толпились ребятишки.

— Вот, товарищ Жуков! — торжественно заговорил Александр Александрович.— Приобрел! Старый стал, может, и жить уже недолго. Побалуюсь. Как смотрите?

— Замечательная машина, товарищ Басманов! Поздравляю.

— А если прокатимся, а? — Александр Александрович отомкнул ключом дверцу. — Вы вроде почетный пассажир. Первый!

— Почетным быть не хочу, а первым — с удовольствием. В канаву не влетим?

— Этого не бойтесь.

Поехали по гравийной плотной дороге вдоль залива, вдоль дюн, меж соснами. Александр Александрович умело вел машину, сидел за рулем сосредоточенный, серьезный, никак и ничем не проявляя своей радости. Он упорно откладывал на сберегательную книжку деньги и долго в мыслях гонял по этим дорогам. Сбылось, свершилось!

Покупка машины ускорилась размолвкой с Ильей Матвеевичем. Обидел Илья Матвеевич своей заносчивостью: ты, мол, валяй на ремонт, а я еще в тираж выходить не собираюсь. Тебе, мол, вроде и дела всего что старые галоши ремонтировать, а только мне одному всюду главенствовать. Все может, все одолеет! Назло Илье Матвеевичу, может быть и на зависть, поспешил обзавестись машиной. Пусть видит, живу — не тужу.

Жуков с интересом рассматривал новые для него места, в которых ни разу еще не бывал за год работы на заводе. Попросил остановиться возле ручья. Ручей бежал через лесные мхи к заливу, размывая песчаный берег; на дне его оголились круглые гранитные валуны. Жуков прыгнул на один из них. Ветер с моря был свежий, прохладный и, как всякий морской ветер, непростудный.

— Ну и воздух! — сказал Жуков.— Понимаю теперь, почему рыбаки такие здоровые.

— Воздух хороший,— согласился Александр Александрович и закурил.

— Зачем же курить, товарищ Басманов? Лучше подышать.— Жуков развел руки, вдохнул всей грудью.— Вы, мне кажется, курите слишком много. Уговаривать бросить не собираюсь. Я не врач, который сам курит, а требует, чтобы другие не курили. Но и так много курить тоже нельзя. Сколько вам лет?

— Десятков шесть с половиной.

— Удивительно, как в такие годы можно ссориться по-мальчишески, из-за пустяка, без серьезных причин!

— Это вы про нас с Ильей? Дело внутреннее,— уклончиво ответил Александр Александрович.— И не ссора вовсе, а несогласие.

— А я в него и не намерен вмешиваться, в это дело. Просто удивлен. Взрослые люди, большие мастера, коммунисты... Весь завод смеется.

— То есть как смеется? — Александр Александрович навострил подбородок на Жукова.

— Да говорит народ: Журбин с Басмановым игрушки не поделили.

— Что значит — игрушки! Не игрушки. По-разному на дело смотрим. Я что говорю? Я говорю: мы, Илья, старые, на заводе по-новому дело пойдет, отодвинемся, друг, в сторонку, дадим дорогу молодым. Не то мешать им будем, болтаться у них под ногами со своим гонором. Неправильно разве?

— Неправильно, товарищ Басманов. А как считает Журбин?

— Он считает, что дороги не уступит, что он — кровь из носу — главным будет и на потоке.

— Молодец Журбин! Помиритесь-ка с ним, пожалуйста, и оба держитесь главными.

— Пусть сам идет мириться. Я постарше его.

Жуков спорить не стал. Поехали дальше; повернули вскоре обратно.

— Довольны машиной? — спросил Жуков.

— Вы на спидометр взгляните,— сказал Александр Александрович.— Восемьдесят километров легко берет. Могу и сто, и сто двадцать выжать.

— Избави от лукавого! Не надо.— Жуков засмеялся, вспомнив чьи-то слова насчет игрушек, какими увлекается человек в зависимости от возраста. В пятнадцать лет он мечтает о перочинном ноже, который, если его раскрыть, ощетинится шильями, консервными ключами, вилками, ложками, отвертками — четырьмя десятками в высшей степени практически бесполезных предметов. Мечта двадцатилетнего — фотоаппарат «лейка», патефон, велосипед. Тридцатилетний стремится к мотоциклу и телевизору. В сорок лет наступает очередь автомобилей.

— Все-таки постарайтесь помириться с Журбиным,— сказал на прощанье Жуков, когда Александр Александрович довез его до дому.

— Пусть сам, пусть сам! — упрямо повторил Александр Александрович.

К Жукову решил сходить и Скобелев, хотя как раз Скобелев и принадлежал к тем, кто Жукова побаивался. Он уже побывал у Ивана Степановича, подал ему свое категорическое заявление. Но Иван Степанович не очень поверил Скобелеву, не очень вник в суть его просьбы: для Ивана Степановича Скобелев не был значительным явлением в судостроительной промышленности.

— Оставьте,— сказал он,— подумаем,— и положил заявление под толстую папку на столе.

В кабинет Жукова Скобелев постарался войти с видом скромным, но мужественным. Иван Степанович, у которого он был два дня назад, о происшествии на вокзале еще не знал, но два дня прошло, на завод о Скобелеве сообщили, и Жуков сразу же спросил:

— С кем вы там подрались? Что это за выходки, товарищ инженер?

Скобелев рассказал подробно все, что знал о Вениамине Семеновиче, о Кате, об Алексее Журбине. Он никому об этом не рассказывал, храня Катину тайну. Парторгу ЦК рассказать, конечно, было можно.

— Знаете что,— сказал Жуков, когда выслушал длинную речь Скобелева,— я вас по-человечески понимаю. Такие люди заслуживают оплеухи.— Он помолчал, подумал и неожиданно добавил: — Хорошие были времена, товарищ Скобелев,— каменный век. Берет человек дубину и шагает к соседу выяснять отношения.

Скобелев покраснел.

— Ну так,— продолжал Жуков,— отношения выяснены. Что еще?

— Еще у меня просьба. Не подумайте, что я пришел жаловаться. Я не жалуюсь, я прошу у вас совета, а если можно, то и помощи. Не могу, товарищ Жуков, больше работать в информации! Не могу!

— Почему же?

— Не подходит эта работа для меня. Пустое дело. Никаких результатов.

— Неправда, очень важная работа, и результаты есть.

— В общем, не могу. Вы, например, стали бы делать то, что вам отвратительно и неинтересно?

— Меня в пример брать не стóит, товарищ Скобелев. Далеко не всегда я делал в своей жизни только то, что было интересно лично для меня. Правда, отвратительного, как вы сказали, партия мне никогда ничего не поручала. Где же вы хотите работать?

— В БРИЗе. Мне это нравится. Вот, понимаете, говорят: «Вкус к работе»... К работе с заводскими рационализаторами у меня и есть вкус.

— Ну что же, я не директор, такие вопросы решает директор, но помочь вам обещаю.

Скобелев все не уходил. Ему было приятно сидеть тут с парторгом Центрального Комитета партии на заводе, разговаривать с ним, чувствовать, что парторг его понимает, готов поддержать. Внезапно к Скобелеву пришла мысль — а что было бы, как бы с ним стал разговаривать Жуков, если бы знал о его, Скобелева, похождениях во время прошлогодней командировки на юг?

Ему показалось, что Жуков начинает догадываться, о чем он думает. Он снова покраснел, встал, наскоро попрощался и вышел.

Проводив Скобелева, Жуков тоже вышел на завод. День был теплый, но ветреный; над Морским проспектом, как всегда, летали чайки, ветер бросал их то вверх, то вниз; пахло морем, оно шумело где-то далеко, за дюнами.

Жуков, как и Антон, любил иногда подниматься в будочку стапельного крана. Кран в эти дни стоял на ремонте — перед большой работой, элеватор не действовал, пришлось взбираться по железным маршам узкой лестницы. Натальи Карповны в будочке не было. Жуков сел на ее высокий винтовой стул и загляделся на знакомую картину. Она заметно изменилась с прошлого года. В полтора раза длиннее стала корпусообрабатывающая мастерская, соединенная с огромнейшим цехом секционной сборки. Исчезла шлюпочная мастерская, придвинувшаяся было к самым стапелям. Между цехом секционной сборки и стапельными участками лежало открытое пространство. Через него вели рельсовые пути, по которым, подавая секции на стапель, будут ходить специальные катучие площадки и краны.

Вдали тоже видны были свежая кирпичная кладка, новые пути, новые строения. Экскаватор с длинной стрелой и землесос рыли котлован, отгороженный от реки. Когда он будет готов, перестанут собирать корабли на стапеле, их не надо будет сталкивать в воду, не надо будет судостроителям не спать ночей перед спуском, волноваться. Под корабль, собранный в этом котловане, который превратится в док, пустят воду, корабль всплывет и спокойно выйдет на простор Лады.

Жуков смотрел на кровли цехов, на крыши старого поселка и городских кварталов, подступивших к заводу, но видел не кровли, не крыши, а людей, которые под ними трудились и обитали. За год он узнал многих из них, но сколько тут ему еще и неизвестных. Они изобретают, они любят, они бьются над тем, чтобы облегчить труд, увеличить его производительность. Они рожают новых людей — себе на помощь, на смену, они разводят огороды, ходят на рыбалку, они учатся, они затевают ссоры и даже вот дерутся. Все разные, самобытные, со своим норовом, со своими характерами, мыслями, стремлениями. Но вместе они составляют коллектив, могучую силу, которая строит не просто корабли — нечто более значительное и великое.

## ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

### 1

Стены квартиры Алексея были завешаны множеством рисунков и чертежей. Он вырезывал их из журналов, перерисовывал из книг, из альбомов; он проводил над ними почти все то вечернее время, какое оставалось после занятий в школе рабочей молодежи и приготовления уроков.

Тоня ему говорила иной раз: «Шел бы ты, Алеша, гулять. Ты так захвораешь». Отрываясь от чертежной доски, на которой был приколот кнопками лист бумаги для очередного рисунка, Алексей только насвистывал в ответ мотив марша французских докеров. Тоня не выдерживала, тоже начинала напевать: «Мы легионы труда...» Она подходила к Алексею, становилась за его спиной и смотрела на то, как его рука — сначала из карандашных штрихов, затем из туши и акварельных красок — строила на ватмане то ли барк с тремя, с четырьмя мачтами, то ли семимачтовую шхуну, то ли смешной иол, у которого кроме грот-мачты торчит на корме, позади головы руля, еще и маленькая бизанька.

Тоня спросила однажды:

— Алеша, зачем тебе эти парусники? На них корсары когда-то плавали. Бриги, бригантины, тендеры! Где ты их теперь увидишь? Кто их строит?

— Во-первых,— заговорил Алексей,— если ты не видала морских парусников, это еще ничего не значит. До сих пор некоторые заграничные торговые компании возят с Цейлона в Европу чай только на парусниках. Считают, что за время долгого пути во влажном морском воздухе чай становится лучше. Во-вторых, в условиях капитализма парусный флот кое-где изо всех сил конкурирует с паровым и дизельным. Дешевле берет за перевозки. Вот видишь ту семимачтовку, да? Шхуна, пять тысяч двести регистровых тонн. Этих шхун сколько угодно. Спросишь — где? В Америке, сестренка, в Соединенных Штатах, о которых думают, что у них давным-давно нет парусного флота. А в-третьих, парусники — азы кораблестроения, его таблица умножения. Не зная азбуки, не зная, что получится, если два умножить на два, далеко не уедешь.

Он «строил» свои иолы и шхуны, за ними — лесовозы, танкеры, товаро-пассажирские корабли, лайнеры. На стенах появлялись поперечные и продольные разрезы новых и новых судов. Под ними было столько всяческих пояснительных подписей, что Тоня, которая раньше слышала только названия самых основных частей корабля — днище, борт, палуба, форштевень, ахтерштевень, трюм,— теперь уже различала и таранную переборку — первую от форштевня водонепроницаемую поперечную стену, и коффердам — узкий отсек, устраиваемый для того, чтобы нефтепродукты не попадали в соседнее помещение; различала форпик — крайний носовой отсек судна, ахтерпик — крайний кормовой отсек; могла объяснить, что такое «длина между перпендикулярами», считаемая по грузовой ватерлинии от задней кромки форштевня до передней кромки ахтерштевня. Тоня удивлялась упорству, с каким учился Алексей. У нее шли экзамены, решающие экзамены, после которых школа останется позади и откроется дорога в институт. Казалось бы, в такие дни нельзя терять ни минуты. Однако она теряла не только минуты — целые часы. И в кино сбегает, и просто с девочками погуляет, и с Игорем поспорит о чем-нибудь. А этот Алеша... будто он из камня — с места его не стронешь.

Если бы Тоня задумала отыскать в жизни брата тот день, с которого все это началось, она с удивлением увидела бы, что началось это, когда Алексей принес домой под мышкой Костины книги по электросварке, когда он прочел о Бенардосе, о Славянове, об их удивительных открытиях, об их труде, о том, как совершенствовалась электросварка, как сварные конструкции пришли на смену клепаным, литым, кованым, как ученые разрабатывают все более совершенные сварочные аппараты.

Так были прочитаны первые технические книги. Еще больше пришлось Алексею прочесть за время занятий с ребятами. Занятия длились недели две-три, после чего ребята перешли в стахановские школы тех цехов, куда их назначили работать, но чтение технической и научной литературы стало для Алексея потребностью. И странное дело, Алексей заметил, что в эту пору начали меняться его отношения с Антоном. Прежде он как-то стеснялся оставаться с Антоном наедине, не о чем было говорить со старшим братом. Алексей любил его, уважал, но робел перед ним. Теперь эта робость прошла, для разговоров с Антоном у Алексея отныне была неисчерпаемая тема:

кораблестроение. Алексей решил, что он пойдет той же дорогой, которой шел и Антон,— он будет инженером-судостроителем. Он уже легко находил общий язык с Антоном в разговорах о судостроении. Однажды решился расспросить его о принципах реконструкции завода, о перспективах на будущее.

Антон привел его к себе, в тесную комнатушку возле конструкторского бюро, разложил на столе чертежи и стал подробно объяснять. Он понимал, что не праздное любопытство толкает Алексея на эти расспросы, он видел, с каким интересом Алексей всегда слушает каждое его слово.

— Понимаешь, Алеша,— говорил, перелистывая чертежи, Антон,— корабль будет строиться, что называется, заводским, фабричным способом. На наших заводах уже давно предварительно собирают целые переборки, секции днищевого, бортового и палубного наборов, секции носовой и кормовой оконечностей, шахты, дымоходы, секции надстроек. Но вот ты видишь, как мы переставляем на сборочных площадках крановое оборудование, какие изготовили сборочно-сварочные стапды, поворотные столы, кантовальные площадки, какие кондукторы для сборки. Для чего? Для того, чтобы собирать не мелкие, а большие, крупные секции. Я тебе скажу так: корабли запроектированных для нас типов будут разбиты примерно на сто двадцать, на сто сорок отдельных, в большинстве своем объемных, секций. Например: двойное дно — десять секций, переборки до нижней палубы — тоже десять секций, туннель гребного вала — четыре, и так далее. Все эти сто двадцать частей, из которых состоит корабль, будут собираться предварительно. И как, где собираться? В цехе, под крышей. Ни мороз, ни солнце не повлияют там на качество электросварки. Я тебе говорю об электросварке, потому что в ней ты понимаешь.

— А вот про позиционный метод я слышал — он что такое? — спросил Алексей.

— Позиционный? Поточно-позиционный. Вот для чего у нас и организуется большой поток. Секция как будет собираться? В максимальной степени готовности, так, чтобы на стапеле оставалось соединить секции — и корабль готов. Например, секции трюмных и палубных помещений будем собирать со всеми трубопроводами и арматурой, с выгородками, фундаментами и вспомогательными механизмами. Секция палубной надстройки полу-

чит в цехе полное наружное и внутреннее оборудование: вентиляторные раструбы, световые люки, двери, трапы, местную мебель. Я же тебе говорю — готовый кусок корабля! И вот что такое поточно-позиционный метод. На одном станде над секцией работает бригада сборщиков и сварщиков. Закончили. Секция подается на другой станд. За нее принимается бригада, скажем, арматурщиков, трубопроводчиков. На третьем — орудуют монтажники механизмов. Понял?

— Понял.

— Это и есть сборка по отдельным позициям. Поток! Одна секция сошла со станда, с позиции — на ее месте уже другая. Один корабль собирается на стапеле, а в цехе, частями, готов уже второй, готовятся третий, четвертый. Стапель не будет гулять ни одного дня. Вот мощь какая! Кораблей пятнадцать — двадцать начнем выпускать в год, а не четыре или шесть, как теперь.

Воодушевление Антона передавалось Алексею. Алексей по-новому смотрел на свой завод. Романтика трудностей, обожествления мастеров-умельцев, их «секретов» сменялась в представлении Алексея романтикой индустрии, размаха, гигантских масштабов.

— И ты это все сам-один придумал? — спросил он Антона.

— Как один? — Антон даже рассмеялся.— Весь Советский Союз это придумал, все наши судостроители. Чудак! В одиночку можно было только каменный топор придумать. Уронил наш лохматый предок обломок нефрита на орех, орех раскололся: молоток, значит. Попробовал этим обломком сук перешибить — легче, чем голыми руками: топор, значит. И то до деревянной рукоятки додумался уже другой предок, а шлифовкой топора занялся третий. В одиночку! Ну и скажешь! Весь институт работал. Да и другие институты помогали.

Еще шире развернулись перед Алексеем горизонты будущего. Какие огромные там, впереди, предстоят ему дела! В каких величественных деяниях суждено ему участвовать! Катюша, почему не захотела ты идти туда, в будущее, вместе с ним? Он не забыл тебя, он о тебе очень тоскует. Ведь вот и ты мечтала учиться. А получилось что? Говорят, что-то скверное произошло в твоей жизни. Говорят, что ты осталась одна, что тебе тяжело и горько.

Алексею, после того как он услышал, что Катя осталась одна, очень захотелось повидать ее, поговорить

с ней. Но Катя, оказалось, с завода ушла, работает где-то в другом месте, а где — никто не знает; говорят даже, что и в городе она уже не живет. Да, вот тебе и университет, вот тебе и история!

Задумав повидать Катю, он решил отыскать ее во что бы то ни стало. Идти к ее матери, к Маргарите Степановне, казалось ему почему-то неудобным. Он нашел на лесном складе бракеровщицу, которая жила на одной лестничной площадке с Травниковыми. Может быть, она знает что-нибудь о Катюше?

— Как не знать! Знаю. Все знаю,— ответила Катина соседка.— Ушла Катька из дому тихо, без ссоры. Взяла и ушла. Работает в подсобном хозяйстве. Кем — точно не скажу, будто бы табельщицей. И живет вроде бы там же, при подсобном. Гордая девушка.

Алексей поехал в подсобное хозяйство. Четыре километра автобус вез его по шоссе, затем остановился возле деревянной арки с надписью «Приморье».

Вечерело. В воздухе, предвещая хорошую погоду на завтра, толклась мошкара. Где-то далеко в поле слышалась песня; пели складно и грустно, как поют такими вечерами в деревнях.

Алексей зашел в контору. Застал там старичка, который длинным сухим пальцем гонял костяшки на счетах.

— Травникову? — переспросил старичок.— Новенькую-то? Она там, все там.— Он указал в сторону плаката на стене, объяснявшего, как бороться с проволочным червем.— На поле. Брюкву сажают. Полная мобилизация.

Алексей зашагал по утоптанной шинами грузовиков полевой дороге. Песня была для него ориентиром. Он уже видел телегу с бочкой, в которой подвозили воду для поливки брюквы, видел женщин, мужчин, ребятишек. Они ходили вдоль борозд, нагибались, что-то быстро делали, вновь разгибались. Алексей остановился,— он искал взором среди этих людей Катю. Он увидел ее. Катя стояла возле телеги, груженной корзинками и ящиками.

Алексей смотрел на Катю и не мог двинуться дальше. Он ехал, шел сюда с твердым намерением поговорить с Катей; намерение утратило твердость, стало совершенно невыполнимым. Ну что он ей скажет, о чем? О любви? Зачем Кате его любовь? Выскажет сожаление? Кто его об этом просит?

Но увидеть Катю хотелось неотвратимо. Алексей свернул с дороги в кусты и подкрался так близко к телеге,

что Катя была теперь от него в каких-нибудь пятнадцати шагах. Женщины подходили к ней, подхватывали на плечи корзины с рассадой и уходили. Катины пальцы быстро перебирали зеленые ростки, глаза были опущены к ним. Алексей не видел глаз, но видел лицо — не такое румяное, как прежде, похудевшее, привычной улыбки на нем не было. И все же она оставалась для Алексея все той же милой Катюшей, без которой не будет у него счастья на земле.

Алексей простоял в кустах не меньше часа. Солнце совсем опустилось к горизонту, стало сумеречно. Огородницы собирали тяпки, лопаты, лейки, складывали их возле дороги. Возчик выпряг лошадь из телеги с бочкой, вскочил верхом и зарысил к усадьбе. Катя сбросила серый халат, в котором работала, свернула в узел, осталась в знакомом Алексею стареньком полосатом платьице. Оно ей было узко...

Алексей почувствовал, как у него замерло сердце, как захватило дыхание и по спине прошел холод. Он давным-давно уже не думал, можно или нет исправить что-нибудь в его отношениях с Катей,— конечно же, нет. И шел сюда он совсем не для каких-то исправлений, просто повидать ее, и больше ничего. Но почему же стало теперь так тоскливо, так черно, так безнадежно на душе, как никогда не бывало? Неужели в нем еще жили до сих пор тайные мечты, и только в эту минуту, когда Катя сняла свой просторный халатик, мечты его были окончательно похоронены?

Катя пошла тоже к усадьбе, поле опустело, остались на нем бочка с водой, тяпки и лейки и телега с остатками рассады, накрытая брезентом. Алексей подошел к телеге, стал на то место, где только что стояла Катя, поднял брезент, потрогал ростки, которые трогала Катя, и устало опустился на грязный ящик, сброшенный на землю.

Он просидел на ящике до темноты и только тогда ушел с поля. Проходя через усадьбу, он всматривался в освещенные, задернутые занавесками окна. За которым из них живет Катя, что она сейчас делает?

Дома он застал Тоню, как всегда, над книгами. Тоже взял в руки книгу, прилег с нею на диван, но не читал, а смотрел на сестру и думал: вот единственный, кроме матери, человек, который его по-настоящему любит. А он не ценит этой любви, даже чурается ее.

— Сестренка,— спросил он грустно,— как ты думаешь, что со мной будет?

— Какой-то ты, Алеша, странный сегодня,— с удивлением ответила Тоня.—И вопросы задаешь странные. Почему с тобой должно что-то быть?

— Потому, сестренка, потому...

Он рассказал Тоне все, что увидел в подсобном хозяйстве, что думал по этому поводу,— обо всем.

— Я знала, давно знала. Только не хотела тебе говорить.— Тоня присела поближе к Алексею, на диван.— А разве тебя это еще волнует, Алеша?

— Как ты думаешь?

— Думаю, что да, если ты переживаешь. Не надо, Алеша. Зачем?

— Смешная девчонка — «зачем?».

## 2

Скобелев страдал напрасно; напрасно он хранил тайну Катюши Травниковой. Тайны никакой не было, и вообще все было совсем не так, как он полагал.

Случайно встретив Вениамина Семеновича с Лидой в городском саду, Катя и не подозревала тогда, что когда-нибудь станет его женой. Но уже в тот день он удивил ее, заинтересовал. Катю восхитили его знакомства, его намерения, вся его необыкновенная жизнь. Влюбленная в историю, Катя всегда жила в несколько романтическом, ею же самою и созданном мире. Когда она училась в школе, ее кумирами были люди, сыгравшие в истории выдающуюся роль, — такие, как пламенный Рылеев или Чернышевский — человек стоической жизни. Она искала вокруг себя похожих на них, и тогда ей очень нравился учитель физики, который, как однажды писали в газете, во время ледохода спас из воды женщину с семилетней девочкой. Это был Катин герой детских лет. Человек разносторонний, человек больших убеждений, человек воли, упорно идущий вперед,— вот кого увидела она в Вениамине Семеновиче с первого раза. И ее потянуло к нему, точнее — к тому миру, в котором он жил, к тем интересам, которые были его интересами. Воспользовавшись приглашением Вениамина Семеновича почаще заходить в клуб, Катя вскоре предстала перед дверью с дощечкой «Заведующий клубом». Открыть эту дверь, обитую клеенкой,

она, пожалуй бы, и не решилась — ее характер был совсем не такой, как у тех людей, которых она избирала себе в кумиры, — но открывать дверь и не понадобилось, — Вениамин Семенович сам увидел ее в коридоре. Через несколько минут она уже рассматривала книгу знаменитого историка с дарственной надписью: «Дорогому другу на добрую память». Надпись, правда, была безыменная. Но подпись, подпись!.. Кто мог сомневаться в подлинности этой подписи! Она читала затем письмо какой-то артистки, которая очень хвалила режиссерские способности Вениамина Семеновича и восклицала в конце: «Только от зависти они обвиняют тебя в формализме. Держись, не сдавайся. Это все интриги».

Началась какая-то ослепительная жизнь. Вениамин Семенович не давал Кате опомниться, он водил ее в театр, он приносил ей книги, он непрестанно говорил, все рассказывал, рассказывал, на каждом шагу, каждым словом демонстрируя благородство мыслей и стремлений. У Кати захватывало дыхание. Катя уже не сомневалась в том, что Вениамин Семенович — ее герой.

Откуда ей было знать, что книгу с надписью знаменитого историка Вениамин Семенович стащил у другого известного человека, когда, будучи корреспондентом одной из газет, приходил к нему брать интервью; что автор хвалебного письма — та самая актриса, к которой Вениамин Семенович ушел от матери Тайгины; что все его обширнейшие знакомства выдуманы. Книга существовала, письмо существовало, людей, о которых он рассказывал, Катя знала по книгам, по газетам, и все это поражало Катино воображение. Вениамин Семенович к тому же не скупился на обещания, он говорил, что со всеми этими людьми он познакомит и ее, надо только поехать в Москву, в Ленинград, в Киев. Он преподнес ей однажды стихотворение. Откуда было знать Кате, что оно много лет назад, когда Катя еще не родилась, преподносилось матери Тайгины и теперь только заново переписано на другой бумаге, другими чернилами; стихотворение существовало, оно было посвящено ей. Вениамин Семенович показывал Кате брошюры, книжки, выходившие когда-то из-под его пера, свои вырезанные из газет и журналов статьи.

У Кати не оставалось времени думать об Алексее. Блеск талантов Вениамина Семеновича ослепил Катю, как в свое время этот блеск ослепил мать Тайгины.

Не мог Вениамин Семенович ослепить только Катину мать, Маргариту Степановну. Маргарите Степановне заведующий клубом не нравился с первого же дня его появления в их доме. «Что это за знакомство? — спрашивала она Катю.— Где Алеша? Почему ты ему солгала?» А когда Маргарита Степановна поняла, что́ это за знакомство, она запротестовала против него открыто и откровенно: «Катя, я тебе не позволю! Катерина, прекрати свои безумства!» Она готова была бежать к Алексею, к его родителям, просить их вмешаться, но события надвигались с неотвратимой последовательностью, и Маргарита Степановна оказалась перед ними бессильной. Вениамин Семенович вошел в ее дом уже не как гость, а как зять. Тайком она часто плакала.

Став женой Вениамина Семеновича, Катя принялась мечтать о поездках по стране — на Кавказ, в Среднюю Азию, в таинственные древние города, на пароходе по Волге,— там она увидит начала великих плотин; мечтала об университете, где она непременно будет учиться, когда они переселятся в Москву или в Ленинград. Вениамин Семенович продолжал всячески поддерживать ее мечтания, говорил, что они вот-вот сбудутся, он ждет приглашения на очень интересную работу.

Катя возмутилась, когда его освободили от заведования клубом, она негодовала, требовала: «Давай немедленно отсюда уедем. Немедленно!»

Но Вениамин Семенович никуда ехать не спешил. Ему нравилось у Травниковых. Мамаша, правда, смотрит косо, но что из того! Мало ли кто на него смотрел косо. Всякое бывало. Зато уже много-много лет не жил он так уютно, в атмосфере такого обожания, каким окружила его Катюша.

«Не надо спешить, не надо»,— отвечал он Кате и уверял, что один из московских журналов заказал ему большую литературоведческую статью. Он вырядился в старый халат Катиного отца, в его войлочные, расшитые линялым сутажом туфли и с утра до вечера читал — до полудня в постели, с полудня на диване или за Катиным письменным столиком, загораживая книгу рукой. Рядом с книгой лежали блокнот и карандаш, но пометок в блокноте Вениамин Семенович никаких не делал.

Книги у него были толстые, многотомные. Вениамин Семенович прятал их в свой чемодан, под замок: библиографическая редкость! Но как бы он их ни загораживал,

как бы ни прятал, Маргарита Степановна с глубоким огорчением отмечала в уме появление каждой очередной книги. «Агасфер», «Граф Монте-Кристо», «Жиль Блаз» прошли перед нею за какой-нибудь месяц. Вениамин Семенович воистину отдыхал от бурной своей жизни. Никаких планов на дальнейшее у него, как видно, не было.

Когда за «Жиль Блазом» настал черед похождений Антона Кречета, Маргарита Степановна решила поговорить с Катей. Но с Катей сговориться было невозможно. Катя, оказывается, знала, почему Вениамин Семенович читает такие книги: он должен написать для журнала статью как раз о старом романе. Почему мама этого не хочет понять? А что уволили из клуба — это интриги. Искусство требует жертв. Оно никогда никому легко не давалось. И сколько так бывало: сегодня человека не понимают — завтра поймут, сегодня он не признан — завтра призна́ют.

— Искусство, Катюша,— говорила Маргарита Степановна,— это значит работать, гореть, служить народу, а не выжидать, когда тебя призна́ют. И ты жестоко ошибаешься: от чтения «Антона Кречета» искусство стоит где-то очень далеко.

В доме было худо, в доме возникало напряжение; среди этого напряжения свободно и привольно чувствовал себя только Вениамин Семенович: он благоденствовал. Катя вновь и вновь звала его уехать. Она хотела уехать еще и по другой причине. К ней почему-то стал прокрадываться страх перед возможными встречами с Алексеем. Она боялась этих встреч, избегала их, ждала каждую минуту, поэтому стала домоседкой. Быстро бежит на завод, быстро бежит домой, нигде и ни с кем не задерживаясь. Тем не менее встречи время от времени происходили, были они страшные, — Катя не могла поднять на Алексея глаз, ее охватывал ужас, она проскакивала мимо, подавленная, дрожащая всем телом, как в сильной простуде. Скорей бы, скорей подальше от Лады, от завода, от этих мест, где живет Алексей! Пока он рядом, Катя не будет никогда спокойна и полностью счастлива. Странно — почему? Будто Алексей имеет над нею какую-то власть?

Случился такой день, когда благоденствие Вениамина Семеновича было поставлено под удар. В этот день Катя осторожно, намеками, сообщила ему о том, что у них будет ребенок. Вениамин Семенович ответил: «Поздравляю».

Он походил по комнате, усмехнулся и добавил: «Вот и ягодки. Всегда так. Невозможно жить одними цветами». К удивлению Кати, радости он никакой не выразил, ни в одном из его слов не было ничего иного, кроме досады.

Неделю спустя он сказал, чтобы она поговорила с Маргаритой Степановной,— надо-де непременно найти акушерку и принимать меры. Катя не поняла, о каких мерах он говорит. Вениамин Семенович объяснил резко и грубо. Она заплакала, замотала головой. Ей от всего этого стало страшно. Ей казалось, что она все еще девочка, девочка — и вдруг над ней нависло что-то очень нехорошее, стыдное, о чем она слышала только в разговорах взрослых женщин. А самое страшное было в том, что на ее глазах Вениамин Семенович начал неожиданно меняться.

— Ты, может быть, считаешь это преступлением? — говорил он, сдерживая крик, отчего злобно шипел.— Да, по-твоему, это преступление? Чепуха! Пойми простую вещь: преступление — все то, что тебя ограничивает, все, что тебе мешает. Что некрасиво, то и неморально. Ничего красивого в твоем состоянии нет.

Катя даже вздрогнула, услышав эти слова. Год назад она листала какую-то книгу, кажется, том «Истории гражданской войны», и там прочла именно эти слова. Их произносил человек с лицом эстетствующего бандита, державший в одной руке бомбу, в другой — цветок.

— Зачем же повторять слова Бориса Савинкова? — сказала Катя.

— Я чужих слов повторять не люблю. Я не знаю, о чем болтал Савинков. Я высказываю свои мысли.

Что ни день, то «мысли» Вениамина Семеновича становились пошлей, отвратительней, гаже. Он видел: будет ребенок, который прикует Катю к нему, к отцу, прочной цепью. Деваться ей уже некуда, разливаться соловьем перед ней, непрерывно играть благородного рыцаря нужды уже нет.

В конце концов Катиного героя не стало. Был щупловатый сорокалетний человек, с редеющими, зализанными волосами, в восьмигранных очках, — и больше ничего. Катя не могла с ним оставаться дольше, он сделался ей противен. Сказать Маргарите Степановне она ничего не могла. Как скажешь об этом матери, которая как раз и предупреждала, что так случится?

К удивлению Кати, у нее появилось совершенно неожиданное утешение — будущий ребенок. Она будет растить его и воспитывать, они будут любить друг друга, и никого больше им не надо. В какие-то короткие дни Катя повзрослела, из девочки превратилась в женщину. Зачем вечно хмурится мама? Зачем изощряется в пошлостях Вениамин Семенович? Разве все это трогает ее, Катю? Нет, Кате теперь не страшны даже встречи с Алексеем. И он и Вениамин Семенович перестали для нее существовать. Катя поняла, что дома ей жить нельзя. Она думала, думала и наконец придумала, как поступить. Она пошла к заместителю директора по хозяйственной части и попросила перевести ее в подсобное хозяйство,— там есть общежитие, там далеко от Вениамина Семеновича и вообще от всех глаз. Заместитель директора принял самое деятельное участие в устройстве Катиной судьбы. Он даже сказал, что уходить с завода ей совсем не обязательно, что завод может дать отдельную комнату, если она не желает жить в прежней квартире. Но Катя настаивала на том, чтобы ее перевели в подсобное хозяйство. И заместитель директора согласился. Катю приняли на должность табельщицы, поселили в маленькой комнатке.

К ней часто приезжала Маргарита Степановна. Плакала. Катя утешала: «Ну что ты, мамочка, что ты? Все будет хорошо. Не горюй». Явился один раз и Вениамин Семенович, но Катя разговаривать с ним не захотела, велела ему немедленно уйти. Вскоре она узнала, что он исчез, уехал из города, собрал все свои вещи и потихоньку сбежал. Маргарита Степановна тотчас приехала сообщить об этом Кате и увезти ее домой. Но Катя заявила, что в подсобном хозяйстве ей хорошо, никуда она отсюда не поедет до тех пор, пока не родится ребенок.

Катя добросовестно выполняла нетрудную обязанность табельщицы и ждала ребенка. Никто из окружающих не досаждал ей соболезнованиями,— все были заняты своим делом, никто не осуждал, не подсмеивался. Напротив, просто, по-человечески заботились. Женщины давали всевозможные практические советы: «Ты молоденькая. Тебе надо это знать, милая».

Когда старичок бухгалтер сказал ей, что накануне ее спрашивал какой-то молодой человек, она никак не могла догадаться, кто же это такой?

— Неужто не нашел? — сокрушался бухгалтер.— Травникову, мол, ему надо. Я объяснил: в поле, говорю, в поле. Как же он не нашел, чудило! Дорога прямая.

Катя раздумывала. Не Вениамин ли Семенович вернулся? Где ему вернуться! Маргарита Степановна откуда-то узнала, что он устроился в театре то ли в Куйбышеве, то ли в Саратове — словом, далеко-далеко от Лады — на Волге. Но если не Вениамин Семенович — кто же тогда? По описаниям бухгалтера Катя никак не могла предположить, что приходил Алексей, тем более что о нем она уже давно не думала и ждать его не ждала.

Но часто к тебе является именно тот, кого не ждешь. Разве могла Катя ждать к себе Тоню Журбину, сестру Алексея? Они никогда не были с Тоней приятельницами. Учились, правда, в одной школе, но в разных классах,— Катя на два класса старше Тони; видели друг друга на переменах, вместе выступали однажды на школьной сцене — вот и все знакомство.

Тоня прошлым летом возненавидела Катю; к этой ненависти ее привела девчоночья ревность сестры к брату. Катя отнимала у нее брата Алешу, который из-за этой чертежницы совсем потерял голову. Позже и ревность и ненависть остыли,— Катя вышла замуж и вновь стала безразлична Тоне.

Но вот Алеша снова заговорил о Кате. «Он любит эту Катьку, любит! За что — такую противную и путаную?» Говорила Тоня о Кате злые слова, а чувства за этими словами были совсем другие. Она знала о Катином несчастье, можно было бы и позлорадствовать; но в семье никто никогда не злорадствовал над чужой бедой, не было такого обычая у старых Журбиных, не учили они и детей своих злорадству. После разговора с Алексеем Тоня задумалась над Катиной жизнью. В сущности, очень несчастная она, Катька. Ей бы еще учиться, она же историком хотела быть, какие хорошие доклады по истории делала в школе! Зачем вышла замуж за негодного человека? А еще ребеночек будет... Бедная, бедная! И Алеша бедный, бедный... Вот как все испортила Катька и себе и ему.

Тоня сдала экзамены, получила аттестат. Вместе с Игорем они написали заявления — она в университет, он в институт; отправили документы ценными пакетами. На душе было так отлично, как у человека, который стоит где-нибудь на высоком берегу моря и дышит всей грудью.

Шел он, шел трудно, много-много лет, наконец дошел до моря. Теперь его ждет там корабль, белый, светлый, прекрасный корабль самостоятельной жизни.

Счастье может так переполнить человека, что он спешит поделиться им с другими. Что же касалось Тони, то ее еще и любопытство одолевало. Тоня решила навестить Катю, посмотреть, что с ней сталось. Приехала в подсобное хозяйство. Катя встретила ее с недоумением. Тоня тоже немного растерялась: о чем говорить? Но женщины в таких случаях находчивей мужчин.

— Как ты поживаешь, Катюша? — спросила Тоня.

— Да так вот, поживаю. — Может быть, на месте Кати другая бы ответила с напускной гордостью: хорошо, отлично, великолепно. Обиженные люди или не в меру жалуются, или не в меру заносятся. Катя оставалась сама собой.

— Много работы? — продолжала Тоня, осматривая маленькую Катину комнатку, где нечего было и осматривать: постель, тумбочка с зеркалом и флаконом одеколона, квадратный стол — как в столовых, два стула.

— Не очень много. Справляюсь. Еще время остается. В поле хожу помогать.

— А разве тебе можно? — Тоня смотрела на Катю серьезно и участливо. Катя в таком положении была для Тони носительницей великих тайн.

— Почему же? Конечно, можно. А ты как поживаешь?

— Я? Я послала документы в университет. Жду не дождусь ответа. Допустят или нет до экзаменов?

— Вот смешно — не допустят! Даже и думать нечего.— Катя помолчала.— Завидую тебе,— заговорила снова.— Я тоже так хотела в университет, так хотела!

— Поедем вместе, Катюша?

— Ты говоришь — и даже не думаешь, что говоришь. Разве я могу? Я, Тонечка, теперь отучилась. Я теперь буду мамой, я буду стирать пеленки, нянчить. Мне все вокруг говорят, что только из этого и состоит жизнь матери. Как ты думаешь, правда это?

— Не знаю, Катюша.— Тоне хотелось приласкать ее, обнять, поцеловать, так за нее стало грустно, обидно и горько.

— Катюша,— сказала она неожиданно для себя,— а про тебя Алексей часто-часто спрашивает.

Катя опустила глаза, промолчала.

— Он к тебе приезжал недавно, — снова сказала Тоня.

— Приезжал? Он? — Катя покраснела, забеспокоилась.— Зачем?

— Так. Повидать. Он тебя очень любит.

— Не говори, Тоня. Не говори. Не хочу слышать.— Катя зажала на миг уши ладонями и тотчас спросила: — Он тебе все рассказывает, да?

— Да, все. Он очень хороший.

Перед Катей вдруг встало ее прошлое — тихое, светлое и огромное. Как сидели они с Алексеем в «зимнем саду», пропустив танцы, как бродили над Ладой в соснах после дождя, как вместе думали о будущем каждого из них. Она опустила голову на стол, на холодную клеенку и заплакала. Зачем, зачем пришла Тоня, зачем напомнила о том, чего уже никогда не будет?

Испуганная Тоня бросилась к ней, обняла за плечи, прижалась щекой к ее голове:

— Катя, милая, хорошая, Катюшенька, прости! Не надо было ничего говорить? Катюша, а Катюша?

— Почему же? Говори, Тонечка, говори.— Катя тоже обняла Тоню, тоже прижалась к ней.— Говори. Мучай меня. Ведь я во всем виновата, я.

Вот, значит, вот почему так боялась всегда она, Катя, встреч с Алексеем. Потому, что знала, что во всем виновата она — виновата в том, что не оценила по-настоящему чувств Алексея, не разобралась, запуталась в своих. Катя впервые ощутила всю громадность и непоправимость случившегося. Кто такой был этот Вениамин Семенович? Откуда он взялся? Кто его любил? Она? Катя? Не может быть! Нет же, она его не любила, ей казалось, что она любит,— только казалось. Она не его любила. Нет, совсем нет, она любила ту жизнь, которая виделась ей почему-то непременно рядом с ним. Она любила знаменитых друзей Вениамина Семеновича, которые дарили ему книжки с надписями, любила Кавказ, куда она должна была с ним поехать, волжские плотины, синие горы и горячие пески, Москву, Ленинград, театры... Все это рухнуло, развалилось, и где он там, под обломками выдуманного счастья?

Катя плакала все сильней. Невольно, не замечая этого, заплакала вместе с ней и Тоня. На плач пришла соседка.

— Что случилось, девочки? Что такое? — спросила она.

Тоня только махнула рукой, и соседка ушла, поняв, что она тут лишняя и ничем помочь не может.

— Поедем, Катюша, к нам,— уговаривала Тоня, когда все немножко улеглось и успокоилось.— Нельзя тебе жить одной. Страшно одной. Поедем, Катюша? И мама будет рада, и все.

Тоня совсем не знала, будет ли рада Агафья Карповна, если она привезет с собой Катю, но ей хотелось помочь Кате.

— Что ты, Тонечка! — ответила Катя.— Спасибо тебе за хорошие слова, но я отсюда никуда не поеду. Могла бы ведь к маме, но не хочу, не хочу. Осталась одна, так одна и буду жить.

— Нет, не одна! — запальчиво воскликнула Тоня.— Нет, ты не будешь одна. Не будешь!

## 3

В одно из июльских воскресений к Зине зашел Алексей. В белом, первый раз надетом кителе, в «капитанке», тоже с белым по-летнему верхом, в начищенных до зеркального блеска ботинках, загорелый, он показался Зине таким красивым, что она смотрела на него во все глаза, даже и не скрывая своего восхищения.

— Вам бы только на капитанском мостике стоять, Алексей Ильич! — сказала она.— Капитан Журбин!

— Как вы насчет футбола, Зинаида Павловна? — спросил польщенный Алексей.— У меня билеты есть.

— Вот уж не знаю, как я насчет футбола. Никогда не была на футболе. Только по радио слушала. Очень смешно...

— По радио игру мастеров передают. К нам ездят лишь команды по классу «Б». Сегодня наши заводские с калининградской командой играют. Пойдемте. Места хорошие, на центральной трибуне.

— С удовольствием, Алексей Ильич. Вот спасибо вам! А то я совсем не знала, что мне сегодня делать, чем заняться.

Зина затворилась в другой комнате, где у нее была спальня, и вышла оттуда нарядная не менее Алексея. Высокая пышная прическа, пестрое в неярких цветах платье, новые туфли на тонких каблучках, подобно кителю Алексея надетые в первый раз. Алексей увидел вдруг

то, чего никогда не замечал: глаза у Зины голубые, а Зининой фигуре может позавидовать даже Костина Дуняшка. Он хотел сказать: «Какая вы красивая, Зинаида Павловна!», но подумал о Кате и не сказал, — Катя была красивей.

На городской стадион можно было попасть двумя путями. Один — ехать троллейбусом до центра и там пересесть на трамвай или на автобус. Или же идти пешком, окраинными полевыми дорогами — километра два от Веряжки.

Времени оставалось немного, и Алексей сказал, что все-таки лучше идти пешком, быстрее. Они пошли. Зина спрашивала по дороге:

— А вы играете в футбол, Алексей Ильич?

— Нет. Я гимнастикой занимаюсь. На снарядах. У нас в семье только один футболист: Антон. Он здóрово играл до войны. Теперь, конечно, не может, из-за ноги. У нас все разные. Костя — тому яхты подавай, велосипеды. Один раз он поехал на велосипеде с лыжного трамплина. Ему тогда шестнадцать лет было.

— Зимой поехал?

— Нет, почему зимой? Летом. Еле жив остался. Мама, как узнала про это,— сломаю, кричит, велосипед, выброшу на помойку. А батя только посмеивается. Батя любит смелых. Он говорит: мужчина должен быть мужчиной, а не ба... извините, Зинаида Павловна... а не женщиной. Он сам плавать нас всех учил, даже Тоньку. Кинет в воду, как щенка, и будь здоров!

— А Виктор Ильич? Он тоже занимается физкультурой?

— Виктор? — Алексей вспомнил наказ отца отговорить Зину от увлечения Виктором.— Нет,— сказал он, презрительно махнув рукой.— Виктор у нас шляпа. Он в неаполитанском оркестре играл вместо физкультуры.— Этого Алексею показалось мало. Он добавил: — Шляпа и растяпа.

— Неправда! — воскликнула Зина.— Неправда.

— Я-то лучше знаю. Я ему брат.

— Значит, худой брат, если так говорите!

Зина насупилась. Она не могла позволить, чтобы оскорбляли Виктора Ильича, чтобы говорили о нем плохо. Вскоре выяснилось к тому же, что новые туфли жмут, с каждым шагом идти в них становилось все больней. Но Зина не показывала Алексею своих страданий и шла по-

прежнему быстро, а то еще и о ней скажет: шляпа и растяпа.

Они поднялись на трибуну, на них оглядывались: пара была слишком заметная, чтобы не оглянуться. «Алешка-то Журбин,— перешептывались, перемигивались заводские ребята,— инженершу подцепил! Ловкий парень». Ловкий парень, а с ним и Зина слышали эти шепотки, но Зине было не до них. Зина только и думала о том, как избавиться от нестерпимой боли. Она придумала. Одернула платье пониже, сняла туфли и спрятала их под скамью. Наступило такое блаженство, что Зина даже зажмурилась и только после этого стала осматривать зеленое поле, трибуны, заполненные зрителями, своих соседей.

— Какой хороший стадион! — сказала она.— Я бывала на физкультурных парадах, когда в институте училась, на ленинградском стадионе «Динамо». Почти такой же.

Над головами щелкало от ветра голубое полотнище флага, ветер пролетал по трибунам, летний, теплый, развевал платки, ленты шляп. Зина мысленно снова поблагодарила Алексея за то, что он пригласил ее сюда. Она не знала, что это Тонина выдумка, что именно Тоня заставила Алексея повести Зину на футбол. «Ей скучно,— говорила Тоня утром.— Сидит одна да одна. Как не стыдно, Алеша, только о себе думать». Алексей сопротивлялся: «Пойди сама».— «Пошла бы, да ты же знаешь, куда мне надо ехать». Алексей знал: в подсобное хозяйство, навестить Катю.

Футболисты выбежали двумя цепочками — в голубых и в красных майках, выстроились кру́гом в центре поля, о чем-то там поговорили; потом, тоже бегом, рассыпались по всему полю, в воротах встали вратари: один, весь в черном, длинный, мрачный, застыл на месте, скрестив руки; другой, маленький, шустрый, заметался от штанги к штанге, он прыгал и суетился, даже когда мяч был возле ворот противника.

Зина не сразу разобралась — кто и куда должен был гнать мяч. Но когда разобралась, игра стала для нее интересней, она то и дело хватала Алексея за локоть, за плечо: «Это же неправильно, Алексей Ильич! Тот, справа, ударил рукой, а судья не видит!.. Алексей Ильич, за что нашим штрафной? Играли как полагается. Не понимаю». Вокруг кричали: «Судья подсуживает динамовцам!», «Тама!» — ревели мальчишки, когда мяч оказывался в сетке.

«Коля, Коля, жми, родной! Эх, мазила!» Алексей не шумел, не кричал, только по лицу его, напряженному, непрерывно менявшему выражение, было видно, что и он не на скамье зрителей, а на поле, среди защитников, полузащитников и нападающих. Если бы с помощью какого-нибудь аппарата можно было делать видимыми мысли болельщиков, а тела их невидимыми, то оказалось бы, что трибуны во время футбольного матча стоят пустые, зато на поле вокруг мяча происходит невероятная свалка, в которой участвует несколько тысяч мужчин, женщин, ребятишек — директоров, милиционеров, бухгалтеров, слесарей, хлебопеков, часовщиков, пяти- и десятиклассников. Были в этой свалке и Зина с Алексеем.

В перерыве Зина не пошла гулять,— боялась надеть туфли. Сказала Алексею, что хочет посидеть, устала. Алексей принес ей мороженое в бумажном стаканчике.

Но если можно было не трогаться с места во время перерыва, то когда матч окончился, хочешь не хочешь, а встать и идти надо. Зина попробовала надеть туфли — не могла. Алексей понял, в чем дело. Он сказал:

— Снимайте чулки и шагайте босиком.

— Неудобно.

— В таких железных сапогах ходить — действительно неудобно. Босиком очень удобно. Хотите, тоже разуюсь, из солидарности?

Пока они выясняли, как же быть, трибуны опустели.

— Нет, я все-таки попробую идти, как все люди ходят.— Зина, морщась и прикусывая губы, всунула ноги в туфли.

Кое-как они спустились с трибуны. Алексей поддерживал Зину под руку. Дошли до гимнастического городка. Зина остановилась:

— Не могу, Алексей Ильич. Идите один. Я потом.

— На предательство толкаете? — Алексей улыбнулся.— Разувайтесь, ей-богу, ну что вы, Зинаида Павловна! В своем отечестве.

— Дайте передохнуть. Сейчас пойдем.

— Ладно, отдыхайте. А я пока попробую вас развлечь.

Алексей снял китель, подпрыгнул и крепко ухватился за перекладину турника. Белая майка плотно облегала его грудь, на бронзовых от загара сильных руках высту-

пил каждый мускул. Алексей подтянулся, перекинул тело через перекладину, сделал какие-то быстрые движения, встал на руки вертикально, задержался так секунду-две, и затем все его тело махнулось вниз, снова вскинулось над перекладиной,— он крутил «солнце», описывая круг за кругом.

«Пятнадцать»,— насчитала Зина, когда Алексей спрыгнул на землю. Ну что же, Виктор Ильич, пожалуй, не умеет и не умел крутить «солнце», не играет он и в футбол — и это хорошо. Зине с ее непоседливым, вспыльчивым характером, с ее торопливостью должен был нравиться и нравился человек уравновешенный. Зину привлекало в Викторе то, чего не хватало ей,— способность спокойно обдумывать любое жизненное положение, не выходить, как говорят, из себя, не теряться и в то же время не слишком увлекаться, способность анализировать каждую вещь и каждое явление.

— Ну как? — спросил Алексей, надевая китель.

— Очень хорошо!

Они прошли еще шагов пятьсот — до того места, где стояла небольшая, но плотная группа молчаливых, сосредоточенных людей.

— Что они там делают, Алексей Ильич?

— Штангу выжимают,— ответил Алексей небрежно.— Медвежий спорт.

Он взял Зину под руку, хотел провести ее мимо штангистов, потому что узнал того, кто находился в центре группы. Но Зина тоже увидела — там был Виктор. Она подошла ближе и долго наблюдала, как Виктор то одной рукой, то двумя руками, то медленно, то рывком поднимал с земли и выжимал над головой стальную ось с надетыми на концы чугунными дисками; ему добавляли диск, два, три, и он выжимал.

— Могуч Журбин! — сказал кто-то.

— А вы что говорили о Викторе Ильиче? — Зина с укоризной оглянулась на Алексея.— Зачем же вы?

— Все равно он мешок у нас.— Алексей не нашел лучшего ответа.

Виктор бросил штангу на землю — земля дрогнула; распустил рукава сорочки, закатанные до локтя, утер влажный лоб. Вставляя запонки в петли манжет, он заметил Алексея с Зиной. Приветливо улыбнулся Зине, вышел из круга:

— Футбол смотрели?

— Да.— Зина протянула руку, но Виктор показал ей свою испачканную ладонь:

— Извините, Зинаида Павловна, маленько не того... Грязноват наш Витя бедный. Пойдем вместе или у вас своя компания?

— Какая компания! — заговорил Алексей.— Придется нам с тобой, Витя, нести Зинаиду Павловну на руках. Туфельки жмут.

— Туфельки? Ну что ж, понесем,— весело согласился Виктор.— Как носят раненых. Возьмемся вот так... Давай, Алешка, руку... Понесем.

Зина отказалась, сбросила проклятые туфли, потом попросила Виктора и Алексея отвернуться, сняла чулки.

— Загорать надо, Зинаида Павловна,— сказал Алексей, когда увидел ее белые ноги.— С такими ногами только виноград давить на винных заводах, как раньше делали, а не корабли строить.

Они шли не по дороге, а полем, тропинкой, которая извивалась в молодом, едва в рост человека, березнячке.

— Сколько веников! — сказал Алексей. Срывая на ходу листья, он думал: «Наверно, ей хочется, чтобы меня тут не было. И в самом деле, чего я путаюсь между ними? Батькину инструкцию выполняю? Выполняй-ка, папаша, сам. Я тебе не надзиратель».

Алексей сделал вид, что у него развязался шнурок ботинка. Он сел на траву, принялся перешнуровывать:

— Вы идите, догоню.

Зина беспокойно оглядывалась. Алексея уже не было видно за березками. Она окликнула его.

— Не потеряется,— сказал Виктор.— А вы знаете, Зинаида Павловна, я начальство теперь. Вчера на мастера сдал. Мастер модельной мастерской. Как вам это нравится?

— Очень! — Зина старалась не смотреть на Виктора. Ей казалось, что глаза выдадут ее: они, наверно, влюбленные и глупые.

— А еще,— продолжал Виктор,— завод электроинструментов взял мой станок и запускает в производство.

— Как хорошо, Виктор Ильич! Это большая радость. — Зина оглянулась, Алексея все не было. — Где же Алеша?

— Что вам Алеша? Говорю, найдется. А то я подумаю, что вы со мной от скуки пропадаете.

— Не надо так думать, Виктор Ильич. Просто непонятно, куда он делся. А про скуку не надо говорить. Вы же сами знаете, с какой радостью, я помогала вам подбирать материалы, чертила для вас.

— То была работа, Зинаида Павловна. Часто и так бывает: на работе у тебя одни друзья, за воротами завода — другие. Разве неправда?

— Мне кажется, неправда. Мне кажется, это не очень хорошие друзья, которые или только на заводе, или только за воротами. И дружба плохая, если ее можно отгородить заводским забором.

— Я тоже так считаю. Но бывает, в жизни всякое бывает. Почему, например, когда со станком все покончено, вы перестали к нам ходить? А часто ходили.

Зина видела, что разговор идет по опасному для нее руслу, необходимо предотвратить опасность, но сил для этого не было, ничего поделать она с собой не могла. —

— Во-первых, Виктор Ильич, вы ошибаетесь. Я ходила к вам всю зиму, а не только когда мы работали над станком. Во-вторых, вы правы — в жизни всякое бывает. Может быть, у меня есть причина, которая мешает мне взять и прийти к вам, к Журбиным.

— Не вижу никакой логики, Зинаида Павловна. С Тоней дружите, Тоня — Журбина. С Алешкой даже на футбол пошли. Алешка — Журбин... Выходит так, что только со мной вам не очень приятно.

— Не в этом дело, не в этом дело, Виктор Ильич! — Зина запуталась.— Я не знаю, в чем дело. Понимаете, не знаю.

— Ну та́к порешим: никто из нас ничего не знает, а поэтому мы видеть друг друга не хотим. Только ко мне этот вывод не относится. Я всегда рад вас видеть. Я никогда не забуду, как вы поддерживали меня, ободряли, какую большую оказывали помощь. Вам это, конечно, неинтересно, что я говорю. Ясно одно: вы что-то против меня затаили.

— Если бы вы знали, Виктор Ильич, как несправедливо все, что вы говорите! — Зина даже швырнула на землю туфли, которые несла в руках. — Что, что я могла затаить?

— Вот и я интересуюсь — что?

Виктор поднял туфли. Дошли уже до клубного сада, близко был Зинин дом. И только тут позади появился Алексей.

— Ящерицу ловил,— сказал он.— Хотел преподнести Зинаиде Павловне вместо брошки. Удрала.— Алексей видел, что Зина расстроена, что Виктор почему-то несет ее туфли. Он отобрал их у Виктора: — Тебе, Витя, нельзя. Ты отец семейства. А я... мне по штату положено: кавалер.

Зина выхватила свои злосчастные «лодочки» у Алексея.

— Мне нужны друзья, а не кавалеры! — сказала она резко и побежала к подъезду дома.

— Ты не знаешь, Алешка, что с Зинаидой Павловной? — спросил Виктор.— Не ты ли, братец, виноват? Не любовные ли осложнения?

Алексей остолбенел от удивления: как может обернуться дело! Сказка, да и только!

— Ну, Витя,— ответил он,— ты попал в самую точку... Объяснил бы я тебе все, да не имею полномочий.

— От кого полномочий?

— От батьки.

— При чем тут батька? — Теперь изумился Виктор.

— Батька при чем? Батька, ты же знаешь, главный блюститель нравственности.

— Какой нравственности?

— Обыкновенной. Человеческой, Витя. Хочешь, конечно,— я тебе скажу. Разве сам-то ты не замечаешь?

— Чего не замечаю? Говори или не говори... что-нибудь одно. А то крутишь на серединке.

— Вот здесь оно все крутится, здесь! Не на серединке, а слева.— Алексей поводил пальцем по своему кителю напротив того места, где у человека сердце.

— Кто — я? — Виктор догадался, что обозначает этот жест.

— Она.

— Зинаида Павловна?

— Да, Зинаида Павловна. Заместитель заведующего бюро технической информации завода.

— Осел ты, Алексей, осел! — Виктор даже плюнул от досады и раздражения, настолько нелепым показалось ему то, о чем говорил Алексей.

## ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

### 1

Тоня сдержала обещание. Катя больше не была одинокой. Каждый вечер, каждое воскресенье к ней в подсобное хозяйство приезжала или сама Тоня, или Тонины подруги. Кате их постоянные посещения были приятны и вместе с тем тягостны. Выпускницы десятого класса, в сущности еще девочки, они не умели скрывать свое сожаление к бывшей соученице по школе. Они заботились о ней, как об очень больной и немощной,— спешили подать стул, поддерживали под руки, если шли гулять; то и дело восклицали: «Не нагибайся! Не поднимай! Тебе это нельзя!» При них Катя не имела права ни ступить с дороги в поле, ни сорвать василек; послушать девочек — она должна только лежать или сидеть. А Кате хотелось двигаться, рвать васильки, играть в лапту. Катя чувствовала себя совершенно здоровой и плохо представляла то, что вскоре должно было с ней произойти.

Произошло это ночью. Девочки давно уехали. Катя лежала в постели, но не спала. Большая луна спокойно и холодно смотрела в окно. Кате было не до луны, она ощущала во всем своем теле какие-то незнакомые ей тревожные движения. Ей становилось страшно. Она жалела, что находится не дома, что возле нее нет мамы. Зачем, зачем она не попросила маму побыть с ней? Маргарита Степановна приезжала два дня назад, говорила о том, что у нее началась конференция, но она готова и конференцию пропустить, если Катюше это надо. Катя и слушать не хотела, она знала, что городские учительские конференции бывают каждое лето, что Маргарита Степановна непременно выступает там с каким-нибудь докладом,— только в прошлом году не выступала, потому что болела. Катя ответила: «Не беспокойся, мамочка, я чувствую себя прекрасно. Все еще не скоро, и все будет хорошо».— «Ну, смотри, смотри. В случае чего немедленно сообщи мне. Ах, как это нескладно получилось, что ты здесь, а не дома!..»

И вот настала эта ночь, началась эта тревога... Что же делать, что?

Когда пришла внезапная боль, Катя решилась,— она забарабанила кулаком в стену, оклеенную пестрыми обоями.

Вошла соседка, зажгла свет, увидела испуганные Катины глаза.

— Время, значит, доченька, время,— заговорила она.— Дело не страшное, обыкновенное. Женская доля. Ты одевайся пока, схожу к дежурному, пускай подводу дают или машину.

Дежурный, или попросту сторож дядя Митя, спал в конторе на скамейке, подложив под бок шубу, а под голову валенки.

— Вот беда-то, вот беда-то! — запричитал он, узнав, по какому делу к нему пришли.— Где же ее, подводу, брать? Будить начальство или как? Конюхов подымать? Искать шофера?

— Пока проищешь их, поздно будет. Звони в «Скорую помощь», а то в завод.

— «Скорую» — где ее номер! Я в завод брякну.

Дядя Митя вызвал заводский коммутатор:

— Соедини, барышня, с главным! Кто там главный? Спешное, барышня, происшествие. В больницу надо.

Главным, как всегда в ночную пору, оказался дед Матвей.

— Журбин слушает,— услышал дядя Митя хриплый бас.

— Матвей Дорофеевич, что ли? Здоро́во, Матвей Дорофеевич! Матвей Дорофеевич, родит тут у нас одна. Молоденькая.

— А я что — повитуха? У меня производство.

— Матвей Дорофеевич, рассуди: конюхов будить, шофера искать... А человек на свет божий просится. Ему ждать некогда.

— Ладно. Ты... как тебя — Зайцев?

— Лагуткин.

— Ты, Лагуткин, покороче. Порядкам меня не учи. Вели ей потерпеть. Уговори там, слышь? Как фамилия?

— Травникова. От вас которая, с завода. Табельщица.

— Ну, ну, исполняй должность! Выйди, встреть машину.

К восьми часам утра все было кончено. Измученная, разбитая, Катя уснула и спала до глубокого вечера. Когда проснулась, первое, что увидела, — огромный и лохматый букет георгинов на тумбочке возле кровати. Она много

раз слышала о цветах, которые приносят родившим женщинам. Их всегда приносят, непременно. Но кто мог принести цветы ей? Тоня? Девочки? Наверно, они. Спасибо, девочки.

Но не девочки, а дед Матвей распорядился отправить Кате букет. Дед Матвей не ограничился тем, что послал в подсобное хозяйство машину, он счел своим долгом позвонить утром в больницу и справиться, как дела у молодой роженицы, а возвратясь домой, сказал Агафье Карповне:

— Травниковой-то дочка... того... у самой дочка. Вели Дуняшке, когда придет, цветков нарезать. Не скупись, Агаша, нельзя: человек родился.

Кате было приятно, что и у нее цветы, а не только у той женщины, которая лежит возле окна. Даже еще лучше, чем у той, букет. Но она недолго любовалась цветами. Лишь на несколько секунд они отвлекли ее от мысли о ребенке. Катя смотрела на цветы, а думала о том, кто у нее родился, и представлялся он ей не как девочка или мальчик,— просто ребенок: ее, Катин, ребенок. Совсем это неважно — девочка или мальчик. Лишь бы красивый.

Катя увидела ребенка только на следующее утро. Белый кулечек с красным личиком оказался девочкой, некрасивой: лысенькой, курносой, глаз почти не видно, вместо них узкие щелки.

Через десять дней с этим кулечком на руках, осторожно, боясь оступиться, Катя спустилась в вестибюль больницы. Там ее ждали девочки и Агафья Карповна, которую Тоня уговорила пойти с ними: «Мамочка, ты нам очень нужна. Ты объяснишь, что и как полагается делать. Пойдем, мамочка, пожалуйста!» — «У нее своя мать, зачем же я пойду?» — «Маргарита Степановна не знает, что Катя сегодня выписывается, она думает, что завтра. Катя ей не сказала про сегодня. Катя ведь очень гордая. Она говорит: когда все устроится, тогда позовет Маргариту Степановну. Катя хочет все делать сама, без помощи, понимаешь?» — «Нет, не понимаю»,— ответила Агафья Карповна, снимая с вешалки свое летнее пальтецо из льняного выцветшего полотна.

Снова были цветы, снова заводская машина, и Катя вернулась в свою комнатку. По-прежнему она не хотела покидать подсобное хозяйство.

— Керосинку надо или плитку,— сказала Агафья Карповна, осмотрев Катино хозяйство.— Кастрюльки. Водичку греть.— Она распеленала ребенка.— Как назовешь-то? Или уже назвала?

— Назвала, Агафья Карповна, — смущенно улыбаясь, ответила Катя.— Мариной.

— Марина Вениаминовна! — сказала одна из девочек, пощекотав пальцем Катину дочку.

— Нет,— поправила Катя,— Алексеевна.— И густо покраснела.

— Как же это? — Агафья Карповна тоже покраснела. — Нельзя так, — сказала она, от волнения не находя других слов. — Нельзя, нельзя!

— Почему, Агафья Карповна? — почти шепотом спросила Катя, волнуясь не меньше ее.— Почему нельзя? Мы же были не зарегистрированы, он не хотел. А я не хочу, чтобы оставалась от него память. Не хочу, Агафья Карповна, не хочу!

— Нельзя, говорю, чужое имя брать!

— Оно не чужое, Агафья Карповна. Это имя моего папы.— По Катиным щекам светлой цепочкой побежали мелкие слезинки.

Девочки тоже волновались. Они не совсем ясно представляли сущность разногласий между Тониной мамой и Катей; они были, конечно, на стороне Кати. Если Катя так хочет, пусть будет «Марина Алексеевна» — еще красивей.

— Глупые вы, глупые! — сказала им Агафья Карповна.— «Хочет!» Одного хотения мало.— Ее немножко успокоило то, что, давая отчество маленькой, Катя имела в виду своего отца, которого Агафья Карповна хорошо знала. Она снова поразглядывала Катину дочку, сказала: «Вылитая ты» — и уехала расстроенная.

## 2

Каждое воскресенье на целый день в подсобное хозяйство приезжала Маргарита Степановна, которая очень волновалась оттого, что Катя не хотела возвращаться в город. Иной раз она урывала время и появлялась среди недели по вечерам. Часто гостили у Кати девочки. Среди них, правда, уже не было Тони. Вскоре после Катиных родов Тоня уехала в Ленинград держать экзамены в уни-

верситет. Она обещала писать часто-часто. «Смотри отвечай, Катюша!»

Нет, Катю не забывали, Катю не оставляли одну.

Но Катя была уверена в том, что единственное существо, которому она необходима по-настоящему,— Маринка. Маринка не могла прожить без нее и часу. Проснется — сразу кричит, зовет. Агафья Карповна сказала правду, теперь уже каждый мог видеть, на кого похожа Маринка. Это была вторая Катя, какой ее сохранили любительские фотографии отца. «Никого нам с тобой не надо,— шептала Катя, баюкая Маринку.— Нам и вдвоем хорошо. Будем жить дружно, весело. Расти только, пожалуйста, скорей».

Она уверяла себя, что никто ей больше не нужен, но в мыслях у нее все чаще и чаще возникал Алексей. Она его обманула, обидела, оскорбила, а он ходит, расспрашивает о ней, он ее не забыл, помнит. Алеша такой, какие встречаются редко. «Вот, Маринушка, что натворила твоя бедная глупая мама».

Пришел срок, и Катя снова вернулась на работу. Уносила утром Маринку в ясли, в положенные часы ходила ее кормить и вечером приносила домой. Права оказалась Маргарита Степановна,— ей было очень трудно, времени свободного ни минуты.

Катя крепилась, сама удивляясь, откуда у нее берутся силы и терпение. Она похудела, осунулась, но унылой ее никто никогда не видел.

Однажды, оставив Маринку у соседок, Катя поехала в город, в магазин. Доехав на автобусе до ближайшего магазина в Новом поселке и быстро купив все, что было надо, она возвращалась к остановке. Дорогу ей загородил Алексей.

— Как хорошо, что мы встретились, — сказал он. — Я хотел к тебе ехать сегодня. Вот шел к автобусу.

— Зачем? — тихо сказала Катя.

— Навестить. Посмотреть, как ты живешь.

Катя подумала о пеленках, раскиданных по комнате, о кастрюлях, ванночке, о Маринке...

— У меня худо, Алеша. Не надо ко мне ездить.— Катя заговорила еще тише.— И я... и я... сама худая.

— Неправда, хорошая,— сказал Алексей, тоже переходя на шепот.

— Я пойду.

— Вместе пойдем. Я тебя провожу.

— Не надо, Алеша.

— Надо.

Алексей сидел рядом с Катей в автобусе. Он не поворачивался к ней, но все равно видел каждое ее движение.

До подсобного хозяйства доехали молча.

— Теперь я пойду одна,— сказала Катя, останавливаясь у ворот.

— Нет, и я пойду. Я хочу видеть, как ты живешь.

Как ни протестовала Катя, как ни упрашивала его уехать, Алексей вошел в ее комнату, осмотрелся. Поднял руку и достал до потолка:

— Тесно тебе, Катюша.

Катя тоже стояла, тоже зачем-то осматривала давно все виденное. Надо было бежать к Маринке, — Маринка кричала за стеной. Но не двигались ноги. Кате казалось, что Маринку необходимо скрывать от Алексея, что Алексею будет неприятно ее видеть. И она ждала, когда же Алексей уйдет. Скорей бы уж, скорей. Зачем эти мученья? Зачем он пришел? Зачем они встретились? И в то же время всей душой она желала, чтобы Алексей не уходил, чтобы еще побыл возле нее. Маринка продолжала кричать. Катя извинилась и побежала к соседке.

Когда она вернулась, Алексея уже не было. Только на столе лежала записка — листок бумаги, вырванный из блокнота. «Катюша,— прочла она, чувствуя, как у нее слабеют ноги,— я люблю тебя, Катюша, еще больше. Алексей».

Алексей вернулся домой, в пустые комнаты, расхаживал по ним, волнуясь и негодуя на самого себя. Он понимал, что должен принять какое-то решение. Жить в такой неопределенности он больше не мог. «Или — или!..» — говорил он себе, а вот что означало каждое из этих двух «или» — не знал.

Среди ночи он пришел в кабинет директора. Дед Матвей, по обыкновению, сидел там за столом и читал.

— Дедушка,— сказал Алексей,— у меня очень трудный вопрос.

— Трудные вопросы, Леша, решаются разом, чик — и готово. И когда решают такой вопрос, вперед глядеть надо: что получится не сегодня, а, понимаешь, завтра. Если ты за завтра уверен — решай и действуй. Если тебе это дело только сегодня приспичило, подожди его решать до завтра. Мне один строитель-каменщик, то ли из Ташкента, то ли из Ашхабада, такую поговорку объяснил, прямо

клад нам с тобой. Я ему сказал про что-то: утро, дескать, вечера мудренее. А он и объяснил: «У нас, говорит, по-другому, по-восточному. У нас говорит, так: утром мы смеемся над тем, что делали вечером». Понял, верно как? Значит, жди утра. Нельзя ждать — подумай: не станешь ли смеяться над собой завтра, то есть в будущей жизни. Ну, а вопрос-то какой, говори. Обмозгуем.

— Спасибо, дед. Ты все сказал, что нужно.

Алексей ушел, так и промолчав о том деле, за которым приходил. Дед Матвей нисколько не удивился: он догадывался, что́ гоняет внука по ночам, что́ не дает ему покоя, поэтому и начал не с дела, а с общих рассуждений. Дед Матвей знал: в таком деле, как Алешкино, никто не разберется, кроме самого Алешки, но натолкнуть его на то, как размышлять надо, все-таки следует.

На свою записку, оставленную на столе в Катиной комнате, Алексей ответа не ждал. Он послал Кате письмо, в котором высказал все свои чувства. Катя не ответила и на письмо.

С работой в эту пору Алексей еле успевал справляться. Работы было так много, как, пожалуй, еще не бывало никогда. Главные поточные линии в основном были смонтированы, но, чтобы пустить их, надо было завершить тысячи всяческих мелочей. Заводы строятся медленно, почти как города; труден процесс и их реконструкции. Большой поток был только началом работ, рассчитанных на три года, но таким началом, которое не могло не повлечь за собой ускорения этих работ. Большой поток заставил быстрее создавать потоки во всех цехах, он потребовал материалов, готовых конструкций, механизмов, он впитывал их жадно, как впитывает влагу пересохшая почва. Завод работал в небывалом темпе. Этот темп захватывал Алексея, был ему по душе, вызывал азартное чувство, подобное тому, какое Алексей испытывал, когда с Костей ходил на яхте в открытое море. Яхта летит по волнам, шипит вода под бортами, парус гудит от натуги, от напряжения. Огромная скорость, замираешь на взлетах волн, а все хочется, чтобы волна была круче и скорость больше. Алексей вступил в соревнование уже не с Володькой Петуховым — Володьке электросварка давалась нелегко,— а с самим Костей, своим учителем. «Мальчик — со мной соревноваться!» — говорил Костя, но видел, что Алешка не такой уж мальчик и почти наступает ему на пятки.

Этот волнующий темп труда привел Алексея к желанному решению. Впервые выполнив за день две с половиной нормы, он узнал от Зины, что Костя в тот день на четверть нормы от него отстал... Костя отстал! Нет, Алексея голыми руками не возьмешь! Он понимает батькину гордость — Журбины ни перед чем не сгибаются, стоят твердо и шагают большими шагами.

Когда стемнело, возбужденный Алексей пришел к Александру Александровичу:

— Дядя Саня, машина твоя на ходу?

— Новая машина, с чего ей быть не на ходу!

— Дай, пожалуйста, дядя Саня! Очень нужна. На полчасика.

— Спать хочу, Алешка. Что вздумал, на ночь глядя?

— Спи. Сам водить умею.

— Дудки — «сам»! — Первое увлечение, когда Александр Александрович катал на «Победе» каждого желающего, прошло, лишний раз садиться за руль не хотелось, но Алексей был как шальной — шуток не понимает; видать, стряслось что-нибудь. И Александр Александрович добавил: — Куда ехать-то? Поедем.

Выехали за город, свернули вскоре под арку подсобного хозяйства. Фары осветили домик, в котором жила Катя. Александр Александрович выключил их. В Катином окне было темно. «Неужели спит? Рановато. Устает, наверно»,— подумал Алексей и, войдя в коридор, осторожно постучал в дверь.

— Да! — откликнулась Катя. — Мария Ивановна? Сейчас открою.

Она появилась перед Алексеем в коротком халатике.

— Прилегла отдохнуть,— говорила она, все еще думая, что пришла соседка. Но увидела Алексея и вскрикнула: — Алеша? Что же это такое? Зачем ты здесь?

— Собирайся, Катюша! — твердо сказал Алексей, входя в комнату.— Ты отсюда уезжаешь.

— Куда я уезжаю? Никуда я не уезжаю.

— Уезжаешь. Обратно, в город.— Алексей сгреб с кровати ее постель вместе с волосяным матрацем, простынями, одеялом, подушками и отнес в машину. Вернулся за чемоданами.

— Алеша, Алеша! — Катя ходила за ним следом.— Что такое? Что такое? Я ничего не понимаю.

— Потом поймешь. Забирай ребенка. А это,— он окинул взглядом кухонную утварь,— здесь оставь. Хлам!

— Я не могу никуда ехать, с ума ты сошел, Алеша! Мне завтра на работу.

— Договорились насчет работы. Можешь не беспокоиться.

Никто ни с кем не договаривался, но Алексей чувствовал в себе такую силу, такую энергию, так был взвинчен, что море ему казалось по колено. О чем там раздумывать: договорится, разбудит, поднимет с постели директора подсобного хозяйства, сходит с утра в отдел кадров завода — и все будет сделано.

— Бери ребенка, Катюша. Пошли!

Алексей накинул на Катины плечи, поверх халатика, пальто и подтолкнул ее к двери:

— Пошли!

Натиск был так стремителен, так неожидан, что Катя опомнилась только в машине, с Маринкой на руках.

— Куда вы меня везете? — крикнула она, когда машина понеслась к городу.

— Ты взбесился, Алексей,— сказал Александр Александрович.

— Не волнуйся, Катюша, — успокаивал Алексей Катю. — Только не волнуйся. Все будет хорошо.

Возле своего подъезда он снова сгреб Катины постель и чемоданы, сложил их на мостовой.

— Я не выйду, не выйду, — говорила Катя. И вышла.

— Спасибо, дядя Саня,— сказал Алексей.— Ни в чем не сомневайся. Ты меня знаешь. Уезжай, дядя Саня. Теперь разберемся сами.

Александр Александрович удивленно пожал плечами. Он не мог понять, надо ли ему вмешиваться или не надо, договорился Алексей с Катей или не договорился; бывает, вмешаешься не в свое дело, сам в дураках останешься.

— Ну вот, Катюша, мы приехали. — Алексей поднял чемоданы, вошел в подъезд. Катя колебалась. Маринка тем временем захлебывалась от крика. В окно высовывались люди, спрашивали: «Переезжает кто, что ли?»

Алексей отомкнул дверь своей квартиры, ввел Катю в комнату, зажег везде свет и спустился за остальными вещами. Когда вернулся, заговорил:

— Катюша, ты будешь жить здесь.

— Я не могу, Алеша. Это невозможно.

Катя боролась с собой. Она хранила в кармане жакета письмо и записку Алексея. Она по нескольку раз в день их перечитывала, радовалась и плакала над ними. Но

разве можно вот так, сразу все и решить! Может быть, Алеша ошибается, может быть, он будет жалеть о своем порыве, и тогда к ней придет новое несчастье, новое горе, еще более горькое, чем было.

— Не могу, Алеша, не могу,— повторяла она, качая Маринку.— Ты не знаешь, что делаешь.

— Я все знаю. Она, наверно, есть хочет. — Он кивнул на Маринку.— Я выйду пока.— Он ушел в кухню и сидел там на табурете до тех пор, пока Маринка не уснула и пока Катя сама не пришла за ним.

— Алеша, пойми, не могу,— снова сказала она, едва удерживая слезы.

— Не можешь или не хочешь? — спросил он.

Катя промолчала. Она стояла перед ним маленькая, несчастная, растерянная, с широко раскрытыми глазами, в которых были тоска, и страх, и любовь — все вместе.

— Ты не думай, — заговорил Алексей, — это не моя квартира, теперь она будет твоя. Слышишь, Катюша, твоя. Я сейчас уйду к нашим, на Якорную. А ты живи здесь. Тебе здесь лучше, и девочке твоей лучше. Здесь просторно, тепло, сухо. Слышишь?

Чем больше он говорил, тем сильнее Катя бледнела. В глазах ее уже не было ни тоски, ни страха. Алексею показалось, что она вот-вот упадет в обморок. Он двинулся к ней, чтобы поддержать, но Катя отступила на шаг.

— Слышу, — ответила она. — Слышу, Алеша. Значит, это жертва? Мне жертв не надо. Ты пожалел меня. Не хочу никакой жалости.

Перед Алексеем был совсем другой человек. Не несчастный и маленький, а гордый и оскорбленный.

— Немедленно увези меня обратно! Или я уйду пешком.

— Хорошо, ты уйдешь. Я тебя отвезу. Но скажи, почему ты не ответила на мое письмо?

— Только потому, что знала: ты же написал его из жалости. И вот не ошиблась.

— Только потому?

— Да, потому.

— Если так, Катюша, то я сказал тебе неправду. Я привез тебя совсем не для того, чтобы уходить. Я думал, ты захочешь остаться со мной. Я хочу быть с тобой, Катюша. Я не могу без тебя...

— Боюсь верить, Алеша...— Катя зашептала, как было там, на площади возле завода.— Боюсь...

Алексей сделал шаг к ней, Катя не отступила; шагнул еще. Третий раз переменилось выражение Катиных глаз. Там были теперь тревожное ожидание и готовая вспыхнуть радость. Алексей не увидел этой радости, потому что Катя крепко, всем лицом вдруг прижалась к его груди и обхватила руками его плечи.

### 3

Антон с волнением следил за стальной махиной, под звуки музыки медленно плывшей в воздухе. Катучая площадка подала ее через раздвинутые во всю ширь ворота цеха, краны подхватили и понесли на стапель. Через час, через два площадка подаст к стапелю следующую махину весом в сто тонн, снова краны подхватят ее... Сто двадцать, сто тридцать таких подхватов, и на стапель из цехов будет перетащен весь корабль. Он там давно заготовлен. Одновременно с перестройкой цехов в них продолжалась и производственная работа. Корпусообрабатывающая мастерская производила заготовки. На специально оборудованных площадках сваривались узлы и секции. Все четыре стапеля после спуска тральщиков тоже были приведены в полную готовность к приему секций.

Антон стоял среди большой группы гостей. Вот министр. В руке он еще держит ножницы, которыми только что перерезал красную ленточку у выхода из главного цеха сборки секций. Рядом с министром — товарищ из Центрального Комитета партии, который когда-то разговаривал с Антоном о проекте. Дальше секретарь обкома. За ним несколько академиков и профессоров, среди которых и Михаил Васильевич, наставник и учитель Антона. Все они почему-то одновременно и дружно протирают платочками стекла своих очков. Вот делегаты других заводов, которые тоже строят корабли. Старый завод на Ладе привлек всеобщее внимание, потому что из старого он превращался в новый, вступал в совсем иную для него жизнь.

Антон стоял и волновался: в том, что его родной завод вступал в иную жизнь, была немалая доля и его, Антонова, труда.

В институте, слушая курс технологии кораблестроения, Антон все, что слышал, непременно переносил мысленно на свой завод. Он вспоминал отца с инеем на

косматых бровях, Александра Александровича, который проклинал ветер; вспоминал себя, своих друзей на этом ветру, в эти морозы. Почему, думал он, корабль должен год, а то и год с лишним простаивать на стапеле? Почему на их заводе чуть ли не каждый лист обшивки, каждый угольник и швеллер ставятся на место только на стапеле, а если и собираются предварительно в секции, то в какие секции? В небольшие, незначительные — флоры, бракеты, шпангоуты, бимсы. На передовые заводы пришла новая технология, а на их заводе все держат и держат корабль месяцами на стапеле, на суше, не пускают в море.

И когда настало время распределения тем дипломных проектов, Антон взял себе давно им выбранную тему — проект реконструкции завода на Ладе. Он включил в этот проект все судостроительные новшества — и уже апробированные практикой, и едва наметившиеся в научно-исследовательских институтах. Антон работал над своим проектом с таким жаром и вдохновением, с таким трудолюбием, с таким упорством, что его работу оценили на «отлично», и даже с особым примечанием, в котором говорилось: может стать основой для последующей защиты диссертации на степень кандидата технических наук. Антона взяли работать в научно-исследовательский институт, и, когда министерство поручило институту подготовить для правительства материалы о возможностях реконструкции завода на Ладе, профессор Белов сказал: «Антон Ильич, мне думается, ваш дипломный проект нам пригодится. Вытаскивайте-ка его на свет божий!»

Торжественно трубили трубы оркестра. В их голосе Антон, с волнением следя за плывущей в воздухе махиной, слышал: «Дело, для которого ты сюда приехал, сделано. Можно и уезжать». Не можно, а дóлжно. Министр сказал вчера, что его, Антона Журбина, ждет командировка на Балтику, где еще один старый завод надо сделать молодым. Большой поток начинается во всем судостроении отечества.

Большой поток пошел, и в тот же день многие на заводе поняли, что в их жизни совершаются крутые изменения. Пусть неплохо они работали, пусть даже хорошо, но уже и «хорошо» не годится, надо «отлично». Илья Матвеевич, когда на подготовленные кильблоки опускалась первая секция нового корабля, думал о том, что за ней точно в срок, час в час, минута в минуту, придет вторая, что ходить по стапелю да рассуждать, как бывало,

нельзя, что проволочки, подобные той, какая случилась у них с Александром Александровичем по поводу дополнительной обшивки, совершенно недопустимы. Прежде корабль мог простоять на стапеле лишних два-три месяца, а цехи все равно работали с полной нагрузкой — готовили материалы, оборудование и механизмы для следующих кораблей. Теперь застрять со сборкой на стапеле — значит остановить большой поток — главную заводскую артерию. Саня, Саня! Не прав ли ты, старый друг? Не сойдет ли он, Илья Матвеевич, с круга? Сможет ли расстаться с привычками практика-умельца, сумеет ли приобрести другие навыки взамен старых, навыки не выбиваться из общего ритма?

День прошел быстро. Журбины собрались дома к обеду. Агафья Карповна положила в суп молодых стручков фасоли, но фасоль никто из тарелок не выбрасывал, — ее не замечали, так были заняты знаменательным событием.

— Уедешь теперь, Антошенька,— сказала Агафья Карповна, когда, переговорив обо всем, за столом замолчали. — Надолго, поди, а?

— Надолго, мама.

— По таким делам накоротко не ездят! — добавил Илья Матвеевич.— Журбины везде надобны.

— Да они, отец, и так везде есть,— ответил Антон весело.— Только фамилии у них разные. Один — Алексеев, другой — Васильев, третий — Степанов.

— Встречал?

— Встречал.

— Семейной гордости у тебя нет, сынок.

— Она у меня немножко пошире. За всех Журбиных сразу: и за тех, которые Степановы, и за тех, которые Васильевы.

— Дипломат ты! Увернулся в сторону от главного. Почему князья да графы всякие своими фамилиями могли гордиться, а мы не можем?

— Вот их и прогнали.

— Прогнали! Дело ясное, прогнали. Потому и прогнали, что, кроме фамилий, у них ничего за душой не было.

— Получается, следовательно: дело-то не в фамилии.

— Вот дипломат! Ну и дипломат! Загнал отца родного в щель что таракана. Ну и называйся как знаешь: Васильевым или Степановым.

— Зачем же? Буду называться Журбиным.

— Нравится фамилия?

— Вполне.

— Крышка дипломату! Сдался!

В то время, когда Илья Матвеевич и Антон спорили так — полушутя, полусерьезно, домой к Зине пришла курьерша из заводоуправления. Зину срочно вызывал директор. Зачем? — раздумывала она, переодеваясь перед зеркалом. Может быть, министр чем-нибудь недоволен? Может быть, хотят, чтобы она рассказала о своем бюро?

На улице она столкнулась с Алексеем.

— Куда вы, Зинаида Павловна? — спросил Алексей.

— К директору вызывают. Наверно, попадет за что-нибудь.

— Сегодня не попадет. Сегодня вроде праздника. Провожу вас. Постою там за дверью. В случае чего — заступлюсь.

Они шли и тоже говорили о пущенном потоке, потому что все и на заводе, и в поселке, и в городе говорили только о нем.

— Не знаю, как я это перенесу,— сказала Зина.— Весь завод начинает работать по-новому, только в нашем несчастном бюро ничто не изменилось.

— А у меня изменилось. Дают полуавтомат, буду секции сваривать.

— На стапеле?

— Конечно, на стапеле. Где же? Мне в цехе не усидеть. Привык к стапелям.

— Счастливый до чего человек!

К удивлению Зины, в кабинете директора не было ни министра, ни представителя ЦК. Один Иван Степанович.

— Садитесь, Зинаида Павловна,— заговорил он.— Буквально несколько слов.

— Мы так редко встречаемся, Иван Степанович, что нескольких слов мало.— Зина пыталась шутить, а сама все ждала: вдруг разнос, вдруг разнос?

— Вы на меня в обиде? — Иван Степанович смотрел на нее с усмешкой.

— В обиде.

— Надоела информация?

— Ужасно.

Иван Степанович встал, отомкнул сейф,— в руках его появилась черная шелковая лента.

— Возьмите, Зинаида Павловна, и наденьте свой бант, — сказал он, улыбаясь во все лицо. — Тогда, только тогда сообщу вам нечто очень для вас важное.

— Нельзя ли без бантиков? Я их давно не ношу.

— Никак нельзя. Просто невозможно.

Зина пожала плечами, вышла из кабинета и через несколько минут вернулась. Черный бант большой бабочкой сидел у основания ее волнистой косы — совсем так, как сидел он, когда она впервые появилась на заводе.

— Ну вот, теперь я вам скажу.— Иван Степанович держал перед собой лист бумаги, исписанный карандашом.— Вы, отлично помню, сняли этот бантик и оставили тут в кресле. Вам казалось, что так вы расстались со своей институтской неопытностью. Нам казалось иначе. Нам казалось, что вы расстаетесь с ней, работая в бюро информации, изучая завод, производство, участвуя в заводской жизни, помогая своими институтскими знаниями нашим практикам. Настало время, и я, тот самый отвратительный директор-бюрократ, который помешал вам пойти на стапель, говорю: товарищ Иванова, согласны ли вы быть мастером на стапельном участке номер один, у Журбина?

— Иван Степанович! — Зина вскочила с кресла, прижала кулачки к груди.— Вы не шу́тите, Иван Степанович? Если это шутка, я умру!

— Умирать не надо. Так не шутят.

— Спасибо, Иван Степанович! Вы не знаете, какое вам спасибо!

— Не мне спасибо — Журбину.

— Илье Матвеевичу?

— Кому же? Он поймал меня сегодня на стапеле и при министре, при товарище из ЦК учинил скандал: почему, дескать, ему на участок не дают молодых инженеров. Вот есть Иванова, старательная, знающая, рвется на стапеля, а директор не пускает.

Иван Степанович умолчал о том, что Илья Матвеевич только опередил его, что он уже сам задумывался: не пора ли доверить Зине производственную работу, к которой она так стремится и право на которую вполне завоевала?

— Так вы согласны, не боитесь? — переспросил он.— Не растеряетесь? Журбин потребовал, чтобы вы завтра же были у него.

Боится ли Зина? Ничего она не боится, а растеряться Илья Матвеевич не даст, Илья Матвеевич поддержит. Милый Илья Матвеевич! Ничего не говорил, молчал, и вдруг вот какая неожиданность, какая радость!

— Завтра, завтра буду на стапеле, Иван Степанович! — Зина вспомнила вдруг о своем бюро.— А как же информация? — спросила она.— Один Евсей Константинович останется?

— Посмотрим. Вчера приехал специалист по таким делам. Евсей Константинович, может быть, уйдет в БРИЗ. О нем хлопочет парторг. Вы, кстати, помогите Скобелеву ознакомить нового товарища с заводом, ввести в курс деятельности бюро.

— В нерабочее время, Иван Степанович! Только в нерабочее. На стапель уйду утром!

Зина выскочила на улицу и чуть не бросилась обнимать Алексея.

— Говорил, — сказал Алексей, узнав, в чем дело, — говорил, что сегодня вроде праздника у всех. А вы не верили. Что это у вас за бантик такой? Шли на завод — не было.

— Мой бант. Иван Степанович в сейфе хранил с прошлого года.

Зина рассказала о первой встрече с директором. Алексей смеялся.

— Алексей Ильич,— попросила Зина,— сходимте на Якорную, хочу Илью Матвеевича поблагодарить. И о работе договориться надо.

Журбины сидели в палисаднике, на скамейках, на стульях, на табуретах,— вокруг клумбы, на которой цвели красные и желтые георгины. Дед Матвей, разморенный свежим воздухом, дремал. Агафья Карповна качала самого юного Журбина, которого в честь деда Вера и Антон назвали Матвеем, чем дед был необыкновенно обрадован. Год назад в это время на руках Агафьи Карповны пищал Сашка. Теперь Сашка уже лез в клумбу, замахивался на кота, пытался прыгать и падал, не успев подпрыгнуть. Костя и Антон играли в шахматы, разложив доску на табурете. Дуняшка вышивала цветными нитками какую-то салфетку. Илья Матвеевич читал газету.

Зина стремительно подошла, почти подбежала к нему и, ко всеобщему удивлению, крепко обняла, смяв газету.

— Что такое? Что такое? — Илья Матвеевич поднял очки на лоб, в прищуренных глазах сверкнули веселые огни.— Молодые девчата на шею бросаются. Слышь, мать! А ты говоришь: старый да старый. За что такие чувства?

— Сами знаете! — ответила Зина.— Завтра же приду к вам! Расскажите, пожалуйста, что мне делать?

— Придете, и поговорим. Ишь какая спешка-нетерпение.

— Год ждала, Илья Матвеевич! Больше года!

— Будьте, граждане, знакомы,— объявил Илья Матвеевич.— Новый мастер!

Зашумели, стали поздравлять. Агафья Карповна недоумевала: какой же это мастер — девчонка! Хорошая, душевная, порядочная, но девчонка. Неодобрительно посматривала то на Илью Матвеевича, то на Зину: может быть, шутки шутят? Не было похоже на шутки: говорили о базовых линиях, шергенях, укосинах и шпациях. Агафья Карповна знала — это главные слова Ильи. В шутку он никогда их не говорит.

— Зинуша! — крикнула Тоня, появляясь из беседки.— Иди сюда. Что ты со стариками?

— Не «Зинуша», а «товарищ мастер»,— поправила Тоню Дуняшка.— Говори уважительно, с почтением.

Пока Тоня выясняла, почему «товарищ мастер», а не «Зинуша», из беседки вышел Виктор. Зина смутилась, от смущения сказала, наверно, не то, что следовало. Она сказала:

— Вот я и пришла, Виктор Ильич.

Виктор молча и очень осторожно пожал ей руку, будто боялся раздавить.

— Мастер? — Дед Матвей неожиданно открыл глаза. Он все слышал, о чем тут говорилось.— Ну и что? Будет мастером. Я в женскую силу верю. Упрямые. Возьмутся — за свое постоят. Правильно Иван Степанович решил, одобряю. Держись, Павловна, не сдавайся. Может, конечно, лучше бы и не соглашаться тебе на такое дело,— трудное оно. Ну, взялась — не сдавайся.

— Вы святые слова говорите, дедушка,— сказала Вера. — В силу женщины нельзя не верить. Все говорят, разрешите и мне высказаться.

Она стала читать из «Русских женщин» Некрасова,— читала негромко, просто, как рассказывала; рассказывала о женщинах неисчерпаемых душевных сил, высокого подвига, подвига долготерпения, любви, преданности, материнства.

— Это был пассивный подвиг,— сказала Тоня, когда Вера закончила.

Антон засмеялся и поднял голову от шахмат:

— До чего же ты дотошная, сестренка!

Виктор, вернувшийся в беседку, заиграл на мандолине. Умолкли. Звук мандолины сливался с гудением вечерних жуков, которые с размаху падали в клумбу; один угодил на шахматную доску, другой запутался у Дуняшки в волосах. Вера отцепила его, подержала на ладони. Он расправил жесткие синие надкрылья и улетел, набирая высоту, тяжело, как бомбардировщик. Не хотелось думать о том, что где-то есть настоящие бомбардировщики, для которых приготовлены бомбы, ужасные — атомные, водородные, с чумой и удушливым газом, что где-то живут люди, которые лютой ненавистью ненавидят эту мирную семью Журбиных — и деда Матвея, и Антона, и Дуняшку, и правнука Матвея — всех. Бомбы могут оборвать жизнь деда, лишить жизни Дуняшку, Антона, маленьких, одного из которых баюкает на руках Агафья Карповна; но какие бомбардировщики, какие бомбы завалят могилу, которую вырыли и с каждым днем углубляют для хозяев тех бомбардировщиков Журбины!

Эти мысли при виде жуков пришли в голову Илье Матвеевичу.

— А здо́рово, — заговорил он, — сказала та женщина, забыл фамилию, из шлюпочной мастерской, на вечере восьмого марта: «Товарищи мужчины, запомните мою специальность. Я перевязываю раны». Вот они какие наши женщины: они и в мирной жизни возле тебя, и когда эти, как их... когда раны. Поработаем, Зинаида Павловна, поработаем. А вы раны перевязывать умеете?

— Умею, Илья Матвеевич. Училась в санитарном кружке.

Зина собралась уходить, попрощалась, еще раз сказала Илье Матвеевичу, что придет завтра на стапель. Тогда из беседки вышел Виктор:

— По дороге нам. Надо за папиросами сходить.

— И ты пойди,— сказала Агафья Карповна Тоне. Она чувствовала что-то тревожное в отношениях Виктора и Зины, хотя ей об этих отношениях никто не рассказывал. Женским чутьем чуяла. — Пойди, пойди! — повторила она.

— Никуда я не пойду,— ответила Тоня.— И так все ноги сегодня стерла.

— Ну, Алексей, пойди! — настаивала Агафья Карповна.

— Я-то пойду, только в другую сторону.

Виктор и Зина вышли за калитку вдвоем. Шли по улице медленно, их долго было видно в сумерках.

— Два мастера,— сказала им вслед Дуняшка.— Такая быстрая... Как она терпит Викторову походочку?

— Шальной ты, Илья,— заворчала Агафья Карповна.— Сменял сокола на воробьиху. После Александра-то Александровича — девчонка мастер! До седой бороды дожил...

— Вот бесу-то в ребро и время! — весело ответил Илья Матвеевич.— А бороды у меня, мать, нету, с дедом спутала. — Он погладил подбородок, старательно выбритый утром специально к пуску большого потока.

## 4

Агафья Карповна собирала огурцы в огороде. Ранний заморозок побил листья, они сморщились и почернели, будто опаленные огнем. Огурцы лежали среди них на виду — то крупные, желтые, перезревшие, то маленькие, колючие, согнутые крючком. Агафья Карповна наполняла ими плетеную кошелку и раздумывала о жизни. Агафье Карповне было о чем подумать. Столько всяких событий произошло в семье. Уехал Антон. Хорошо с ним было, весело, время пролетело — и не заметили. Давно ли приехал, а вот уже и уехал. Надолго теперь, жди — не дождешься. За ним уехала Вера с маленьким Матвеем. Тоня уехала,— приняли в университет. Уехала вместе с Игорем Червенковым. Вот и он тоже решил учиться. Сначала все его ругали, что не учится дальше, а потом сам, говорит, увидел: в производстве шагу нельзя ступить без математики. Особенно Алексей стыдил его. У Алексея тоже какие события — просто диву даешься! Женился-таки на своей Катерине. Дед Матвей хвалит его: «Молодец парень! По-мужски поступил. Что трудно дается, то сердцу навсегда мило; что легко добыто, с тем и расставание легкое. Добрую долю предсказываю». И верно, жаловаться нельзя, дружно живут, душа в душу. Алексей учится к тому же. На заочное приняли в институт; сдал в городе экзамены профессорам, и отметки отправили в Ленинград, туда, где Антон учился. Алексей объявил: что за пять лет проходят — за три пройду. И Катюша, дескать, с ним учиться будет, тоже на заочном, только не на

кораблестроителя, понятно, а на историка. Всегда мечтала. А пока снова вернется на завод.

У всех судьба ясная, прямая,— не поймешь только Витю. Награды всякие получает, а в семейной жизни сбился с дороги. Ну, допустим, Зина эта, инженерша... Хорошие они оба, сердечные, душевные. Что бы раньше-то им повстречаться... А теперь как же? Лидия-то — куда ее подеваешь? Хоть и укатила из города — все равно жена.

Спокойное это занятие — возиться в огороде, среди грядок. Обо всем передумаешь, все решишь. Одна беда — в огороде решаешь так, а в жизни получается иначе.

Агафья Карповна уже наполняла огурцами вторую кошелку, когда ее неожиданно кто-то обнял за шею и поцеловал в щеку. Разогнула спину и увидела перед собой загорелую женщину в кожаном желтом пальто нараспашку.

— Лидия! — воскликнула Агафья Карповна и уронила кошелку на землю.

Лида снова кинулась обниматься, огурцы хрустели у нее под ногами.

— Лидия! — повторила Агафья Карповна.— Да что же это?! Как же ты?! Откуда?

— Оттуда, мама, из-за тридевяти земель! — Лида махнула рукой в сторону востока.— Вижу, не рады мне.

— Пойдем в дом-то, пойдем. Как же не рады! Говоришь пустые слова. Родной ведь человек! Подожди, Витя с работы вернется... Все придут... Вот радость будет!

Лида умылась, сбросила костюм, помятый в поездах, достала из чемодана голубое с белыми узорами вязаное платье, переоделась. И без того была всегда красивой, а теперь стала — просто засмотришься. Стройная, затянутая, ноги тонкие, сильные, шея точеная, зубы покажет — что снег. Только загар не женский — мужской. Очень уж загорела, что плотовщица.

— Ну, рассказывай, рассказывай! — Агафья Карповна хлопотала, накрывала на стол — закусить, попить чайку с дороги.— Скоро год, как не видались. Беды ты натворила, Лидия. Горевали мы, сильно горевали.

— Мне кажется, мама, что не беду я сотворила, а доброе дело — и для себя, и для Виктора, и для всех нас. Ну, об этом мы поговорим с Виктором.

Лидия держалась уверенно, спокойно и с достоинством знающего себе цену человека. Она положила ногу на

ногу, откинулась в дедовом кресле, смотрела на Агафью Карповну с улыбкой, с какой смотрит человек, после долгих лет разлуки возвратившийся в те места, где он родился, где вырос: родные они, милые сердцу — и вместе с тем уже далекие, отошедшие в прошлое. В этом взгляде — и любование, и грусть, и сожаление, и превосходство.

— Что же вам рассказать, мама? — сказала она. — Я, например, геолог, коллектор. Работа у меня страшно интересная. Зимой я училась на курсах, а все лето пробыла в экспедиции. Вы всегда думали, что я клуша, только бы мне сидеть в беседке да в палисаднике. А «клуша» в иной день выхаживала пешком по шестьдесят километров, переправлялась по шею в воде через речки. За спиной к тому же рюкзак килограммов на двадцать.

— Матушки-светы!

— Ездила верхом, взбиралась на скалы, тонула в болотах, спала прямо на земле, пухла от комаров и мошек.

— И ничего, не хворала?

— Не чихнула ни разу.

— Героиня ты, Лидия!

— Какая же героиня? Все геологи так работают. Некоторым экспедициям еще труднее приходится.

Агафья Карповна тоже принялась рассказывать — о домашних делах, об Алексее, о Тоне, об Антоне с Верой — обо всем, что обдумывала в огороде. Только о Викторе ни слова не проронила. Не спрашивала о нем и Лида. Агафье Карповне очень хотелось знать, что Лида думает делать дальше, как намерена жить. Но спросить об этом боялась: слишком уверенно и независимо держала себя Лидия. Агафью Карповну тревожила предстоящая встреча Лиды и Виктора. Что из этой встречи получится — поладят или не поладят? Если поладят, то надолго ли?

Пришел дед Матвей — он в дровяном сарае чинил бочку под капусту. Увидев Лиду, дед шевельнул бровями и сказал будничным голосом, будто Лида не за тридевятью земель пропадала и не год, а на час или на два уезжала в город, в магазин:

— Вернулась?

— Здравствуйте, дедушка! — ответила Лида, быстро подымаясь с кресла. Тут Агафья Карповна увидела странные перемены, какие произошли вдруг с Лидой. Лида как-то вся сжалась перед дедом, вылиняла, будто бы даже и загар с нее сошел, и на вязаном ее платье, которое

только что было новым, обнаружилась штопка, и в глазах не гордость, не усмешка, а тревога, затаенное ожидание, усталость.

— Здравствуй, здравствуй.— Дед Матвей обниматься не стал, сложил инструменты в ящик, расчесал бороду.— Ну и как она — жизнь-то? Золото искать ездила или жар-птицу?

— Железо, дедушка.

— Нашла?

— Много нашли. Богатые залежи. Лет на триста хватит.— Лида стояла перед дедом Матвеем как школьница, не зная, куда девать руки, трепала кончик вязаного пояска.

— Кто же ты теперь? — спрашивал дед.

— Помогаю геологам в разведке, дедушка.

— Ну, это хорошо. Я про тебя хуже думал. Хорошо. Польза, значит. Зачем только не по-хорошему ушла из дому? Не старые времена. Если душа куда просится, удерживать бы не стали. По-человечески договориться обо всем можно. Мальчишки раньше из дому бегали к индейцам да жулики от полиции.

— Виновата, дедушка, очень виновата. Сама понимаю. Прощения просить за это у вас приехала.

— Какое же прощение! Железо нашла, вот тебе и прощение! Это если во всенародном масштабе. А в нашем, в семейном, как еще придется,— ты же нам в картуз наплевала. Про это думала, когда тягу собиралась давать? Нет? Человек должен жить с открытой душой. Приди, скажи: жизнь ваша, товарищи дорогие, не по мне. Желаю размахов, желаю воли, а вы тут копаетесь что муравьи.

— Я не имела права так говорить, дедушка.

— Ну, по-другому говори: ошиблась, муж не тот попался. Бывает. Чего не бывает. Говори все, не таясь, не носи камень за кофтой. Люди какую хочешь правду стерпят, пусть самую злую. Не стерпят они обмана.

Агафья Карповна со страхом ждала возвращения Виктора. Она увидела его первая. Виктор пришел с Костей и с Дуняшкой. Они стояли в палисаднике и о чем-то рассуждали.

Лида, видимо, очень боялась деда Матвея, его откровенных высказываний, боялась встретиться с Виктором при нем: наговорит бог знает еще чего. Она вышла на крыльцо и вполголоса окликнула:

— Виктор!

Через окно Агафья Карповна увидела, как Виктор обернулся. Она ожидала, что он вскрикнет, как вскрикнула сама в огороде; на крайний случай — растеряется. Но Виктор удивленно смотрел в сторону крыльца; шагнув Лиде навстречу, спросил не как дед Матвей: «Вернулась?», а — «Приехала?»

Вот и встретились, подали друг другу руки. Не муж и жена — обыкновенные знакомые. Агафья Карповна вздохнула, отошла от окна. Надо было накрывать на стол к обеду,— скоро придет Илья.

## ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

### 1

Сборка корабля на стапеле шла полным ходом. Это был первый для Зины корабль. Долгожданная работа вновь вернула Зине ее энергию, ее характер, требовавший во всем быстроты, скорости. Илья Матвеевич все больше убеждался, что он не совершил никакой ошибки, попросив Зину мастером на свой участок.

Илья Матвеевич решил взять ее к себе на участок по соображению, над которым задумывался неоднократно. Во время занятий с Зиной он всегда видел, как отлично его учительница знает теорию, как много уже почерпнула практических сведений за время работы на заводе, как горячо она любит корабли, как предана делу, которому и он, Илья Матвеевич, посвятил всего себя. Что ж, соединить его опыт, его осмотрительность и ее теоретические познания, ее горячность — неплохие могут получиться результаты. А главное — ей, ей польза. Поработает под его руководством, с годами настоящим специалистом может стать.

В первые дни Зининой работы на стапеле он смотрел на нее как на девочку, как на студентку, все ей объяснял, втолковывал, следил за каждым ее шагом. Ему было немножко обидно за Александра Александровича, место которого заняла Зина. Такой мастер, такой мастер! И вот пришла девчушка и воображает, что сможет этого мастера заменить. Годами, десятилетиями идут люди до

мастерства, подобного мастерству Александра Александровича.

Но проходили недели, и Илья Матвеевич начинал менять свое мнение о Зине. Пожалуй, и Александр Александрович не бывал так предусмотрителен, как Зина. Она умела видеть и весь корабль в целом, и каждый его отдельный узел; она умела заблаговременно подготовить все для скоростного соединения секций. А это было очень, очень важно — заранее подготовить бесперебойную сборку. Поток требовал ровного, четкого, сильного пульса в работе стапеля. «Нет, что ни говори, великое дело образование,— размышлял Илья Матвеевич.— Ведь вот же кого научили кораблестроению — девчушку!» С каждым днем он все меньше опекал Зину, все больше давал ей самостоятельности, все больше оказывал доверия. «Не подведет, пожалуй, стрекозиха, не подведет. А построит один-два корабля — и вовсе грамотная станет».

Зине нравилось работать с Ильей Матвеевичем. Про себя она его называла «папашей». Папаша сказал, папаша просил, папаша распорядился. Но не со всем, что сказал и насчет чего распорядился папаша, Зина соглашалась. Она, правда, с ним не спорила, стеснялась спорить, — делала просто по-своему, и, когда дело было сделано, Илье Матвеевичу ничего не оставалось, как согласиться с Зиной. Только один раз Илья Матвеевич обозлился на нее. Она разрешила Алексею ускорить сварку одного из внутренних швов, и в результате получился непровар.

— Кто распорядился? — спросил Илья Матвеевич.

— Я распорядилась,— ответила Зина.

— Чего не знаете, Зинаида Павловна, спросите у меня,— продолжал он.— Я отвечаю за корабль, я. С меня спросят, а не с вас.

— Почему только с вас? — Зина вспыхнула.— Я тоже отвечаю за корабль!

Она сказала это так твердо и убежденно, что Илья Матвеевич сдержал себя и решил ее не разубеждать, — пусть отвечает: больше ответственности — больше толку. Скажи человеку, что не он, а кто-нибудь другой за него в ответе,— человек так и работать будет, надеясь на другого.

В конце концов оказалось, что Зина была все-таки права. Скорость работы надо было и можно было увеличить, но для этого пришлось перейти и на другой тип

сварочного аппарата, и на другой, повышенный, режим варения.

С каждым днем все увереннее держалась она на стапелях, все крепче входила в коллектив строителей кораблей. Еще год, даже полгода назад примерно так в ее представлении выглядело полное человеческое счастье. За эти год, полгода Зинино представление о счастье несколько изменилось. Она все сильнее и сильнее любила Виктора. Ее тянуло к нему, она вновь часто бывала на Якорной, вновь заходила иногда в модельную, где Виктор работал над станком, который он называл модельным автоматом, — станок у него пока не получался. Она боялась надеяться и вместе с тем надеялась, что когда-нибудь настанет такое время... ну, такое, такое, — зачем уточнять! Вначале она все время помнила о Лиде. Лида, даже и отсутствующая, стояла между нею и Виктором, была таким препятствием, которое не преодолеешь. Зина в ту пору дала себе слово никогда и ничем не выказывать своих чувств Виктору. Но постепенно она позабыла о Лиде, о Лидином существовании. И вдруг Лида приехала. Лида существует.

О ее приезде Зине сообщил Алексей.

— У нас в семействе крупное происшествие, Зинаида Павловна,— сказал он ей на следующий день.— Викторова жена приехала.

Он сказал это намеренно: пусть сразу узнает, что надеяться ей не на что,— и сказал в шутливом тоне, стараясь смягчить, затушевать значение своих слов, страшное для Зины. Алексей сочувствовал Зине,— он-то ее прекрасно понимал.

— Кто? Лида? — переспросила Зина. Казалось, она не очень тронута таким известием.— Откуда приехала?

Зина не слышала, что ответил Алексей. Она ушла под корму корабля, на самый край стапеля, где никого не было, и опустилась на сосновый брус. Неужели все кончено? Она качала головой в такт своим мыслям, и вся раскачивалась, как человек, которому очень больно. Перед ней бежала, блестела под осенним солнцем зеленая вода, от воды веяло холодом. Зина мерзла, но не подымалась с бруса: идти никуда не хотелось. Может быть, ее ищет Илья Матвеевич, ищут бригадиры? Им нужен мастер. Пусть ищут. Какой она мастер! Она женщина, у нее горе, горше которого не бывает.

— Товарищ Иванова!

Зина подняла лицо, стиснутое ладонями. Возле нее стоял бригадир сборщиков.

— Зубы болят? — спросил он участливо.

— Что? Зубы? Да, зубы, — ответила Зина. — Вы ко мне?

— К вам. Надстройку подали, сорок шестую секцию. Надо ставить.

— Конечно, надо. Пойдемте!

Зина поднялась по трапам, взошла по ним своим стремительным, энергичным шагом.

— Товарищ бригадир! — спросила она на ходу.— Когда подали?

— А уж полчаса как.

— Почему не позвали меня сразу?

— Да не могли найти. Искали.

— Плохо искали! Безобразие!

Зина почти взбежала на палубу, такая рассерженная, что Володька Петухов от нее отшатнулся. Она распоряжалась, давая, как всегда, очень точные и правильные указания. Никакой тут девушки Зины не было: была инженер Зинаида Павловна Иванова, мастер стапельного участка, помощник Ильи Матвеевича Журбина, которому она когда-то давала обещание научиться сдерживать свои чувства и который говорил ей: «Выдержка нужна в нашем деле, характер...»

## 2

Дед Матвей по временам отводил взгляд от книги и прислушивался к вою и грохоту ветра за окнами. Ветер проникал сквозь оконную замазку, шевеля шторы, тонко пищал где-то на потолке, тяжело ступал по кровлям. Дед послушает-послушает и снова читает.

Небольшая книга, но дед сидел над ней долгие ночи, перелистнет страницу — и раздумывает... Вся его жизнь проходила по этим страницам, длинная: без двадцати лет — век. Он прочел немало книг — про всякие века: и про те, когда торговали людьми, как скотом, и про те, когда людей травили в римских цирках голодными львами, и про те, когда людей за науку жгли на кострах. Не было еще, пока существует человек на земле, такого века, какой выпал на долю деда Матвея, в какой довелось ему жить. С сотворения мира не знал простой человек оте-

чества. Какое же это отечество, если тебя и в соху запрягут, и ноздри тебе вырвут, и на кол посадят, а и не посадят — все одно по-собачьи будешь жить до скончания дней. Куда ни ступи, получалось: с сильным не борись, с богатым не судись. Вот пишут: не одно тысячелетие прожил человек не по-человечески, и только в дедов век нарушились, поломались эти порядки. Повезло, посчастливилось ему: угодил родиться в такое время. Проживешь жизнь — не пожалеешь: в книги попал, прочитают когда-нибудь о тебе другие люди, позавидуют.

Дед бурчал над книгой, разговаривал с собой вслух; то снимет очки, то вновь наденет.

В кабинет зашел Жуков.

— Директора нет? — спросил он.— Уже уехал? Противная погодка, товарищ Журбин.— Жуков сел напротив деда Матвея.— Это не опасно?

— Ветер-то? Может беды натворить. У нас вроде как в Ленинграде. С залива вода нажмет, с верховьев тоже жмет — течение. Лада и вспухнет, подымется. В девятьсот восьмом году, говорят, на заводе котельная взорвалась. Не погасили вовремя, водой захватило — котлы и ахнули. Давнее дело, понятно. Нынче берега выше стали, насыпали их и котельную перенесли. Бывает, поплещется водичка по причалам, да и уйдет.

— Корабли бы не опрокинула.

— Не случалось.

— А вы что читаете? — Жуков взял книгу у деда Матвея, посмотрел на обложку: — «В помощь изучающим историю партии»? Усваиваете?

— Меня один инженер спрашивал тоже,— ответил дед, — впервые, мол, партийную историю проходите? Я и говорю: с пеленок начал проходить, всю прошел. Как же я, товарищ Жуков, не усвою? Про меня тут, куда ни посмотри. Вот дай-кось книжку, вот... что говорится? Отменили, значит, крепостное право, помещики начали откупные драть, и пошло-поехало: крестьянин разоряется, нищает, идет в город, заработков ищет. Дешевая сила фабриканту. До того дешевая — дальше ехать некуда. Мне сколько немец Бисмарк платил? Четвертную в год! Двадцать пять рублей! И то не с первого года, а со второго. В первый год — шиш тебе, одна баланда. Свинья дороже обходится, чем я обходился хозяину. Все точно написано: обсчитывали рабочего, штрафовали, в их лавчонках гнилье нам по талонам в долг давали, на рубль двугри-

венный накидывали. Это уж после, не у Бисмарка,— в Петербург когда приехал. Ну, понятно: кто о тебе позаботится? С тебя шкуру дерут. Заботься о себе сам. Для партии-то пашня и появилась, мы то есть, рабочий класс.

— Правильно, товарищ Журбин.

Дед Матвей неторопливо полистал страницы.

— Или вот,— продолжал он,— про Столыпина. Мне то время в самом сердце застряло. После болезни поднялся с постели, на ногах не держусь. Куда податься? Жена, ребятишки... Ты ребятишек моих знаешь — Илью да Василия. Есть хотят. Туда сунусь — не берут, в другое место — опять не берут. «Черные списки», погромы... Страшное дело! Про расценки и не говори — урезали, рабочий день прибавили, штрафы — будь здоров — на каждом шагу. Как тут Ленина не вспомнишь! Не по мелочам требовать надо, а всю машину трясти. Не то она, маленько нажмешь на нее — вроде сдаст, уступку сделает, а потом духу наберется и завинтит пуще прежнего.

— Совершенно точно! — Жуков старался не перебивать деда Матвея. Впервые он принимал такой своеобразный экзамен по истории партии.

А дед увлекся, листал и листал страницы.

— Я, конечно, теперь так складно объясняю. Тогда еще серый был, про свое только заботился. Просветлел в самую революцию, когда служил на «Авроре». Ильича когда послушал. Приказ когда нам объявили: крой буржуев и временных, пришел наш праздник! Двинули мы из носового орудия, да и на берег, на берег — к Зимнему! Потом эти полезли, интервенты. Уинстошка...

— Какой Уинстошка? — спросил Жуков.

— Один есть Уинстошка!.. Поджигатель.

Дед Матвей задумался, подперев голову рукой. Мелькали в голове воспоминания о гражданской войне, о первых годах жизни на Ладе. Была семья Журбиных в центре этой жизни. Матросы, питерские рабочие, своими руками делавшие революцию, они держались тесной кучкой с кадровыми металлистами завода, отбивали атаки на партию, на советскую власть и восстанавливали завод. Он нужен был советской власти.

— Приехали мы сюда, на Ладу, моих ребят партия мобилизовала на трудовой фронт. Засучили рукава, работаем, восстанавливаем. Мазурики всякие — тут сказано:

троцкисты, а мы их называли «лёвкины подручные» — воду мутят. Нечего, мол, заниматься такими пустяками — восстанавливаем, все равно плохо нам будет, в Германии революцию задушили, в Болгарии тоже, и мы погибнем, не выдержит советская власть. Мы тут одного на заводском митинге чуть в люке не утопили,— вздумал нам письмо Троцкого читать. Илья мой ему по уху смазал. Илья горячий был смолоду, не то что Василий. Василий соблюдал себя.

Ветер грянул по кровлям с новой силой. Оба прислушались, и, когда затихло за окнами, Жуков спросил:

— Почему вы, товарищ Журбин, в партию не вступили? Немножко даже странно для вашей биографии.

— Чего странного! Странного нет. До революции-то, говорю, серый был, сам по себе, а в революцию мне уже стало под пятьдесят. Гляжу, ребята мои в партию записываются, и кругом все партийные — молодежь. Неловко, думаю, старому среди них путаться, да так сроки и пропустил, еще старее сделался. «Подам, подам заявление», — собирался. И не собрался. Что за партийный из меня? Силы от года к году меньше, не вскочишь этак, не схватишься за пиджак, как бывало, если тебя партия куда потребует. А раз не можешь на первое слово отозваться, в партию-то и не лезь, не мешай ей своими немощами. Партия же, товарищ Жуков... Вот, скажем, идет войско,— она вроде головная застава, первая на себя всякий удар принимает. Крепкий там народ, в головной заставе, должен быть.

— Но вы, наверно, слышали, товарищ Журбин, о Николае Островском, о писателе?

— Который, как сталь закаляется, написал? Читал. Знаю, что скажете. В постели, мол, лежал, а партии великую пользу принес, вся ребятня на его книжке воспитывается. Пример мне неподходящий, товарищ Жуков. Я ведь кто? Рабочий. Я, лежа в постели, корпусную сталь размечать не могу. Так? Так. Я на заводе показать себя должен, на производстве. Рабочий, если он партийный, он работает по-стахановски. Обыкновенно — почему. Головной отряд! Тут, в книге, что о стахановцах говорится? Стахановец ломает старые нормы, работает по-новому, выжимает из техники все, на что она способна. Мне не то что в семьдесят, а и в шестьдесят не угнаться было за

молодняком. Вот и не получился бы из меня стахановец. А стахановца нет — нет и коммуниста. Стахановец-то — кто он? Он — который бьется за такую работу, которая к коммунизму ведет. Он, значит, и есть коммунист. А я... Чего там говорить! Опоздал в стахановцы, вот и в коммунисты опоздал.

— Интересно вы рассуждаете, товарищ Журбин. С одной стороны — очень правильно, с другой стороны — совсем неправильно. Конечно, рабочий-коммунист должен быть передовиком. Но мне известно, что до самой войны, в преклонном уже возрасте, вы были одним из лучших разметчиков завода.

— Был, был,— прервал Жукова дед Матвей.— Только по качеству. Количество не получалось. Уже сдавал. И главное — не по-новому работал, как нынче работают, а по старинке, вот, что называется, действительно по-дедовски.— Он усмехнулся и замолчал.

Было поздно, часы ударили двенадцать раз. Жуков поднялся.

— Значит, не опасно, думаете? — переспросил он.

— Вода-то? Кто ее знает? В девятьсот восьмом накуролесила.

Жуков попрощался и ушел. Дед Матвей закрыл книгу и лег на диван: устала спина от сидения в кресле. Он уснул, и снилось ему, что снова позвонил министр, снова говорили о заводских делах, желали друг другу здоровья. Но разговору все время мешал звонок, будто телефон взбесился: люди говорят, а он названивает. Дед Матвей подумал, что надо вызвать монтера, пусть-ка исправит, и проснулся. Телефон звонил наяву.

— Матвей Дорофеевич! — говорил вахтер с пирса.— Докладываю: сто десять.

— Чего сто десять? — Дед Матвей не понял.

— Сто десять выше ординара. Вот передо мной водомер.

Сто десять! Недаром беспокоился Жуков,— вода поднимается. Дед Матвей представил себе водомерную рейку, черными и красными линиями расчерченную на сантиметры. Она была прибита к сваям напротив конторки Ильи. В забытых всеми инструкциях по борьбе с наводнением, о которых помнил на заводе, пожалуй, только он, дед Матвей, сказано, что критической точкой считается сто восемьдесят пять выше ординара, и тогда объявляется тревога. Но до ста восьмидесяти еще далеко.

— Слушай,— сказал дед.— Если будет прибавляться, звони про каждые десять сантиметров. Обязательно чтоб звонил. Соображаешь?

Дед Матвей размышлял о том, что трезвонить по начальству нужды еще никакой нет. Бывало, и на сто пятнадцать подымалась вода и на сто сорок,— тревог не устраивали. Обходилось. Да к тому же и инструкция, вполне возможно, устарела. Берега (каждый год перед войной землесос-рефулер работал) насыпали, обвели их бетонными стенками. Вот разве стапельные участки... Под корабли если хлынет вода да развалит кильблоки... Корабль Ильи готов почти полностью. Второй корабль заканчивается. Скоро и третьему спуск. Теперь до весны ждать не станут, придет морской ледокол и перед спуском будет ломать лед на реке. В феврале освободится четвертый стапель, а на первом к тому времени наполовину соберут уже новый корабль. С такой скоростью пошла сборка, только успевай подсчитывай заводскую продукцию. Не хватало, чтобы вода вмешалась в дело. За ночь такого натворит, проклятая, — за год не разберешься. Известно, что в Ленинграде было в тысяча девятьсот двадцать четвертом году. Стихия, да и только!

Через несколько минут вахтер с пирса снова позвонил:

— Сто двадцать один, Матвей Дорофеевич! Прет, глядеть страшно. Волны вроде как в океане.

— В океане! Был ты в океане! Звони еще.

Следующий звонок поднял деда Матвея на ноги. Вахтер кричал. Видимо, на пирсе ветер ревел еще сильнее, и вахтеру казалось, что дед не услышит его слов:

— Сто сорок!

Вода прибывала с неимоверной быстротой. Происходило то, о чем дед Матвей говорил Жукову: встретились ветер с залива и течение Лады, ветер брал верх, Лада вспухала. Не более как через час вахтер выкрикнул в трубку:

— Сто восемьдесят три!

Дед Матвей, услышав это, вызвал квартиру директора. Ивана Степановича дома не было, жена сказала: «На заводе». Позвонил Жукову — тоже ответили: на заводе. Пока названивал так, вахтер сообщил:

— Сто восемьдесят семь!

Дед встал за столом, выпрямился, заложил руки за спину, вскинул бороду, посмотрел на часы: половина третьего, глубокая ночь, люди спят. Он один отвечает за все

последующее, он один должен решить, подымать ли их с постелей. А вдруг все обойдется, вдруг напрасно подымет? Что тогда? Сорвется рабочий день, не смогут невыспавшиеся, неотдохнувшие люди работать в полную силу. Какой вред причинит преждевременная тревога! А если не подымет вовремя, опоздает — еще хуже, вред будет в тысячи раз больший. Эти же люди, его товарищи, никогда не простят ему такой оплошности. И к тому же всеми забытая инструкция требовала немедленных действий.

Дед Матвей потянул руку к трубке телефонного аппарата.

— Котельную...— сказал он телефонистке.— Котельная? Говорит Журбин. Объявляю...— и тотчас зажал трубку ладонью.

В кабинет, резко распахнув дверь, стремительно вошел Иван Степанович в залитом дождем пальто из черной кожи.

— Матвей Дорофеевич! — заговорил он прямо с порога.— Вызывай котельную. Объявляем тревогу.

— Объявляем тревогу! — повторил дед Матвей в трубку, отняв от нее ладонь.— Давай гудок. По личному приказанию...

— По решению «тройки», — поправил его Иван Степанович.

Через минуту-две в кабинете директора собралось уже человек пятнадцать. Пришел Жуков, за ним явился Горбунов с главным механиком, потом еще инженеры, начальники, коменданты. Все мокрые. Они уже побывали и у водомерных реек, и на пирсах, и в цехах.

Гудок взревывал коротко, тревожно. Затрещали звонки телефонов. Деда, полагая, что он один в директорском кабинете, спрашивали мастера, рабочие, работники партийного комитета, служащие; всех волновало — что случилось, почему тревога; некоторые кричали: идем, едем; другие молча вешали трубку.

Еще раз позвонил вахтер, на рейке было за двести. Ветер грохотал так, что сотрясались толстые стены старинного здания; в окна хлестал дождь. Деда тянуло туда, к пирсам, к стапелям, но он не мог уйти со своего поста. Иван Степанович распорядился оповестить всех ответственных работников. Несколько человек село к телефонам. Не отходил от аппарата и дед Матвей. Он чувствовал себя в эти минуты чуть ли не капитаном на корабле, который попал в жестокий шторм. Он звонил пожарным, в полик-

линику, звонил в милицию. Объявлялся аврал, потому что волны уже захлестнули водомерную рейку и вода в обход бетонных стенок пробиралась к цехам со стороны устья Веряжки.

Гудок ревел, телефоны звонили,— люди просыпались, вскакивали с постелей, и каждый вел себя в полном соответствии со своим характером.

— Я так и предполагал еще с вечера! Вода! — воскликнул главный конструктор Корней Павлович. Он ринулся по лестнице с пятого этажа без пальто, в одном пиджаке. Жена догнала его уже во дворе и на ходу помогла надеть брезентовый дождевик. Она бежала рядом с мужем почти до моста и, только когда Корней Павлович скрылся в темноте, увидела в своих руках его фуражку.

Скобелев поднялся не сразу. Пораздумывал. Не мог понять, в чем дело. Думал: погудит гудок, да и перестанет. Гудок не переставал. Пришлось подняться, позвонить на завод. Вода, вот еще не хватало! Неприятность большая. Но что, собственно, изменится, если он, Скобелев, придет на завод? Воду он не остановит — тогда зачем идти? Он рассуждал, с его точки зрения, трезво, последовательно, логично. Логика оставалась логикой, но, кроме нее, были еще чувства; они заставили Скобелева все-таки одеться и выйти в коридор общей квартиры, по которому носились поднятые с постелей мужчины и женщины — соседи Скобелева.

На улице ветер валил его с ног, хлестал по лицу и за шиворот дождем. Скобелев пытался защищаться от дождя, высоко, до ушей, поднимал воротник пальто, застегивая его под подбородком. Но когда понял, что все равно уже вымок и вымокнет еще больше, до нитки, до костей, плюнул на все, в мыслях появилась некая бесшабашность, желание преодолеть этот проклятый ветер; незаметно для себя он прибавил шагу и в конце концов побежал.

Он столкнулся в потемках с Зиной. Ее бросило ветром прямо на него. Мокрые с головы до ног, они не узнали друг друга, не сказали ни слова, почти даже и не заметили этого столкновения.

Тревогу объявили не только на судостроительном. На многих предприятиях города заработали «тройки»; засветились недавно погасшие окна в зданиях обкома и горкома партии, областного и городского Советов. По улицам мчались пожарные и санитарные машины, катили

грузовики, бежали люди. Движение это было как будто бы и хаотичным, но так только казалось,— людской водоворот разбивался на ручейки, устремленные по определенным руслам. На проспект, который шел вдоль Лады, со всех концов города стекались судостроители и двигались к своему заводу.

В доме Журбиных первым услышал тревогу Виктор и пошел в комнату отца.

— Батя! — Он потрогал Илью Матвеевича за плечо.— Завод гудит, батя.

— Что там стряслось? — Илья Матвеевич вылез из-под одеяла и схватился за ботинки.— Чего же ты молчал раньше? Раньше надо было будить.

Пока он одевался, Дуняшка успела сбегать за ворота, встретила там Егорова, которого вызвали по телефону в отделение, и вернулась с полными сведениями:

— Вода на два метра!

— Пошли, ребята, пошли, — торопил Илья Матвеевич. — Худо дело.

Он мысленно видел свой корабль, который, конечно, стоит на стапеле прочно, высоко, но сила воды известна — двинет по кормовым упорам, вышибет их, корма и повиснет. Был случай на одном заводе, не водой — льдинами своротило упоры, корабль и завалился набок. Хорошо что речной был пароход, легкий, краны его подняли. А тут махина на двенадцать тысяч тонн водоизмещения. Какие краны помогут?

Журбины вышли за ворота. Агафья Карповна провожала их далеко, до самой Канатной. Они ушли, она осталась под дождем, напуганная, переполненная тревогой. Ее толкали бегущие, перекликающиеся люди. Она уже давно потеряла из виду своих родных, — но была с ними; ей все еще казалось, что она их видит. Они не бегут, идут твердым шагом, тесной маленькой толпой. Илья, Витя, Костя, Дуняшка. Где-то там, наверно, уже и Алеша...

Гудок все ревел, и что там делалось, куда ушли ее родные, одному богу было известно. Ветер сорвал платок с головы Агафьи Карповны, унес в темноту. Не стала разыскивать — до платков ли? — медленно пошла обратно, навстречу ветру, который бил ее по ногам мокрым подолом.

— Агаша! — услышала оклик с дороги.

Там по щиколотку в воде, шлепая резиновыми ботами, шла Наталья Карповна.

— И ты туда же? — спросила Агафья Карповна. — Одна-то, баба? Мешать только будешь.

— Одинокая баба — все равно что мужик, — ответила Наталья Карповна. — Иди домой, Агаша, простынешь. Простоволосая зачем вышла?

Агафья Карповна вернулась в дом. Сашка спал, не проснулся ни от гудка, ни от суматохи. Было их теперь только двое в доме — он да она. Что бы стала тут делать Лидия, если бы не уехала две недели назад снова в далекие края? Навсегда расстались они с Виктором, по-хорошему расстались, дружески, пожелали друг другу счастья.

Агафья Карповна вспомнила, как после сухой, нерадостной встречи, постояв среди двора, Виктор и Лида пошли в беседку, багряную от осенних листьев винограда. Знать бы, о чем они там говорили?

Они сели напротив за круглый стол об одной ноге и долго не начинали трудного разговора. Виктор помнил телеграмму, в которой Лида обещала приехать осенью, но он в эти обещания не очень верил и не ожидал, что она когда-нибудь приедет. Он посмотрел на нее как на знакомую, никаких чувств к ней у него не было. Было только чувство досады на то, что надо в чем-то объясняться, а объясняться совсем не хотелось. В чем объясняться, и главное — зачем? Все прошло, все отболело.

«Виктор, — решила заговорить Лида, зная, что он мог промолчать так и час, и два, и до самого вечера. — Виктор, пойми, я не могла поступить иначе. Виктор, мы плохо с тобой жили». — «Кто виноват в этом, я?» — «Не знаю, Виктор, не знаю. Зачем об этом говорить? Может быть, ты, может быть, я, — разве так важно найти виновных? Важнее то, что ты — я это вижу — меня разлюбил. Я ехала с надеждой вернуть прежнее, оно у нас было, было когда-то. Но глаза твои мне сказали все. Пожалуй, это к лучшему. Мы уже давно шли с тобой врозь душой и чувствами. Мой отъезд ничего, по существу, не изменил в наших отношениях. Но для меня он изменил все. У меня ведь есть сила, я в ней теперь убедилась. Хочешь, покажу характеристики на меня, выписки из приказов?» — «Зачем? Я верю».

Лида выговорилась, боевое, приподнятое настроение, с которым она приехала, прошло: она поняла, что напрасно приехала. Никому — ни ей, ни Виктору — не нужна затеянная ею экскурсия в прошлое; Лиде стало грустно,

но только грустно — не больше. «Витя, а что если я сегодня же уеду обратно? — спросила она просто.— Как ты думаешь, ваших это не обидит?» — «Ты устала. Зачем сегодня? Отдохни». От этих простых вопросов и ответов обоим стало легко. Пока Лида не без драматических ноток говорила о минувшей любви, об утраченном, Виктор чувствовал раздражение; заговорила об отъезде — раздражение прошло, появился вдруг интерес к ее новой жизни. Виктор расспрашивал Лиду о тайге, о геологической разведке, о Лидиных обязанностях в поисковой группе. Лида рассказывала, и он понял, что ей очень, очень тяжело там, в тайге, но она увлечена своей работой и ради нее готова многое перенести. Перед Виктором сидел новый для него, совершенно ему незнакомый человек.

Выйдя на крыльцо, Агафья Карповна услышала голос Виктора: «Не понимаю! Люди имеют такую отличную аппаратуру, самолеты — и все еще тюкают молотком!» Виктор и Лида разговаривали дружески, совсем позабыв, что они муж и жена. Они уже не были ни мужем, ни женой, сами собой исчезли причины взаимного недовольства, и ничто не препятствовало их дружеским отношениям.

Да, что бы стала делать в такой час Лидия? Год назад, случись эта беда на заводе, и с места бы не тронулась. «Не люблю ваш завод, не пойду». И только. Теперь-то, кто ее знает, может быть, тоже кинулась бы со всеми вместе. Ходит же где-то по горам, через реки перебирается. Чудно́: вот взрослые люди, не ребятишки, которые что глина — лепи из них любую фигуру, а тоже меняются. Сегодня был один человек, завтра — будто его подменили...

Не могла Агафья Карповна ни прилечь, ни даже сесть. Погасив свет в комнате, чтобы лучше было видно, стояла у окна и всматривалась во мрак, туда, где была калитка. Ветер драл крышу, будто когтями, ломил деревья в палисаднике, сирень стучала голыми ветками в стекло. Пронеслась по улице машина, осветила дорогу — дороги не видать, одна вода. Может быть, санитарная машина, «скорая помощь», может быть... Нет, страшно думать об этом, не будет так думать Агафья Карповна. Но все равно думала, как из века в век думают матери, когда долго не возвращаются домой их дети, даже если нет ни бури, ни наводнения, даже если тихая летняя ночь.

Гудок осекся и замолчал. Спокойней от этого не стало, стало еще страшней.

## 3

Обогнуть административное здание было нелегко. Только высунешься из-за угла — ветер отбрасывает обратно, опрокидывает, валит на землю. Алексей шел с усилием, плечом вперед, всем телом нажимая на ветер, как нажимают на туго отворяющуюся дверь или на задок застрявшей в грязи подводы.

Когда люди сотнями врывались в заводские ворота, казалось, все смешается, никто не будет знать, что ему делать. Но получалось так, что каждый спешил к тому месту, на тот участок, где он работал днем,— к своему станку, к своей площадке, к своим инструментам. А там были начальники цехов и мастера, были парторги, профорги, бригадиры.

И Алексей пришел не куда-либо, а именно на стапель, где было всего опасней и страшней.

Зажгли все прожекторы, какие были на заводе, осветили линию причалов, достроечный бассейн, стапельные места, корабли. Проливной дождь рассекал световые лучи: они как будто дымились. Волны ухали через бетон, и клочья их летели вдоль Морского проспекта; лязгала, пронзительно скрипела обшивка кораблей, прижатых к стенкам. Срывались с лесов доски, ветер швырял их, как спички, они падали на землю, но звука не было слышно за грохотом урагана.

Илья Матвеевич стоял под днищем своего корабля и кричал в морской мегафон — трубу из белой жести:

— Скобы, скобы!

Вода все выше поднималась на стапель, клокотала вокруг кормовых клеток и кильблоков. Алексей понял, что отец требует укрепить клетки дополнительными железными скобами. Он увидел Виктора, который по колено в воде возился под кормовым подзором, освещенным сбоку прожектором. К Виктору с охапкой тяжелых скоб бежал Костя.

В будке стапельного крана горела яркая лампочка, подобно одинокой звезде в черном небе. Неужели там сидит тетка Наталья?

— Что делать, батя? — спросил Алексей.

— Помогай ребятам, помогай, Алешка! — ответил Илья Матвеевич.— Спасать корму надо.

Вода добрасывалась до его ног, грязная — со щепками, с травой, с мусором, смытым с берегов. Она шипела,

клубилась; Виктор и Костя по временам исчезали в ее рыжих яростных клубах. Алексей тоже ринулся под корму, прихватив тяжелую кувалду.

Вдоль причальных стенок, от одной чугунной тумбы к другой, такелажники тянули пеньковые канаты — леера, чтобы не сбросило людей в реку, чтобы они могли за эти леера держаться.

Всюду крепили, опутывали тросами, приваривали, приколачивали, поднимали талями. Все знали свое место, всем нашлось дело. Только Скобелев метался от цеха к цеху, не находя, за что бы ему взяться. Он прибежал на завод с намерением совершить подвиг, но подвиг совершал каждый рабочий на своем участке,— а где участок Скобелева? Комната БРИЗа? Папки, столы, пишущую машинку можно не спасать, они на втором этаже, вода до них не дойдет.

Скобелева занесло на земляную перемычку, насыпанную в шпунтовых стенках вокруг котлована будущего сухого дока. Перемычку размывало, и десятки людей подвозили по узким доскам тачки с песком, опрокидывали их; другие люди подхватывали песок лопатами, швыряли его в размывы, прыгали в засасывающую жижу, утаптывали ее ногами. Скобелев хотел им помочь,— не было лопаты, потоптался в воде и понял, что на перемычке он не нужен.

Кто-то крикнул: «Воздуходувка! На воздуходувку людей!» Помчался к воздуходувке — к компрессорной станции, которая подавала сжатый воздух для пневматических инструментов. В кирпичном низком здании, кроме техника Поликарпова, было несколько ребят из ремесленного училища. Они отвинчивали ключами гайки болтов, которыми крепились на фундаментах электромоторы. На полу здесь уже плескалась вода в радужных масляных пятнах.

— Где народ? — крикнул один из ребятишек. — Подымать надо. Дядя, действуй! Жми, дяденька!

Над каждым электромотором с бетонного потолка свисали подвешенные на крюках цепи талей. Скобелев ухватился за цепь и стал быстро перебирать ее руками. Он работал изо всех сил, цепи натянулись, напряглись, мотор качнулся, но подымался он невыносимо медленно, вода уже подступала к его жизненным частям.

Рядом тянули цепи соседних талей, тянули ничуть не быстрее Скобелева, но ему казалось, что его обгоняют, что

он отстает. Он заработал руками еще яростнее, он помнил только о моторе, под который подхлестывала вода. Его увлек этот поединок: кто кого? Когда вода дошла почти до колен Скобелева, мотор находился от ее поверхности уже на расстоянии полуметра.

Скобелев вытер ладонью испарину со лба, сердце у него стучало от непривычной нагрузки, как швейная машина,— часто и отрывисто. Дверь воздуходувки распахнуло сокрушительным ударом ветра, она пустила перед собой волну по полу; Скобелева, как языком, облизнул холодный поток косого дождя.

Ветер не утихал. Он сломал железную трубу кочегарки, труба рухнула на крышу шлюпочной мастерской и разрезала мастерскую надвое. Он сорвал с причалов нефтяную баржу; два буксирных катера гонялись за ней по Ладе; баржа кидалась на них, подобно морскому зверю, катера шарахались от нее и кричали тонкими испуганными голосами.

Погас прожектор на решетчатой башне, и под кораблем на стапеле стало непроницаемо черно. Зине, которая распоряжалась установкой стальных оттяжек для укрепления лесов, показалось, что она ослепла.

Зина не испытывала никакого страха за себя. Она работала вместе с такелажниками, которые ставили оттяжки. Их бригадир то и дело кричал ей в ухо: «Тросов не хватит, товарищ инженер. Пошлите на склад!.. Да и рабочих еще надо. Не справимся одни».

Зина посылала на склад, Зина искала рабочих, Зина тоже, как Илья Матвеевич, командовала в мегафон, от которого стыло вокруг губ. Может быть, хоть на минуту, на секунду подкрадывалось к ней раскаяние в том, что она выбрала себе такую ужасную профессию? Нет, конечно нет, тысячу раз нет! Она ни о чем не жалела, она хотела только одного: удержать корабль, сберечь, не дать волнам повредить ее, Зинин, первый корабль.

Что-то свистнуло, грохнуло рядом с Зиной. «Трос лопнул!» — услышала она голос бригадира такелажников. Снова команда в мегафон, снова бежать к телефонному аппарату — звонить на склад. Ползет мимо медвежья лапа крана,— он тащит бревна для подпор, туда, к корме, к Виктору, там центр борьбы за корабль, на который идут атакой волны залива и взбесившейся Лады. И оттуда порой долетает далекий-далекий крик Ильи Матвеевича:

«Витя, Витя! Подклинь левую клетку. Подклинь, Витя!» Зина знает, где эта клетка — самая ближняя к воде; и у нее замирает сердце от страха за Виктора.

Наконец-то вспыхнул прожектор. Зина увидела, как там, под кормой, по пояс в воде, держась за леера, доски, брусья, друг за друга, метались люди; они взмахивали руками, раскрывали рты, но у них не было мегафонов, и Зина не могла разобрать, что они кричали.

Они смотрели в сторону Лады, одни из них толкали навстречу волнам длинную доску. Зина различила Костю, — он кидал тонкий и прочный джутовый конец, нахлестывал его на что-то, как нахлестывают аркан, но аркан этот свивало ветром, относило, швыряло Косте в лицо.

Зина увидела и Илью Матвеевича. Он стоял над водой, на клетке, и тоже смотрел в сторону Лады. Рядом с ним был Алексей. Алексей торопливо сбрасывал китель, за кителем рубашку, брюки. Он остался на ледяном ветру в майке и трусах, в ослепительном луче прожектора. Зина вспомнила стадион, турник. Ни о чем больше она подумать не успела,— Алексей согнул ноги, распрямился и прыгнул в воду головой.

Он выскочил далеко в волнах, и только тогда Зина поняла, что случилось несчастье. Загребая одной рукой, Алексей толкал впереди себя ту длинную доску, которую до него пытались толкать люди под кормой. Ее заворачивало к берегу, Алексей тоже заплывал в сторону, выравнивал доску и продолжал гнать туда, где кончалась полоса света.

Илья Матвеевич слез с клетки, грузно пробежал по воде и пошел вверх по стапелю.

— Что произошло, Илья Матвеевич, что? — Зина перехватила его на пути, крепко вцепилась ему в рукав тужурки.

— Люди гибнут, — ответил он, не останавливаясь.

— Кто, кто, Илья Матвеевич? — Зина трясла рукав, не слыша, как трещит под ее пальцами намокшая ткань.

— Зубарева смыло. Плотника.

— Какой ужас! А где Виктор Ильич? Я не вижу его.

— Там. Тоже. Надо катер вызывать.

У Зины дрогнули ноги. Илья Матвеевич скрылся в будке вахтеров, где был телефонный аппарат,— она хотела броситься туда, где был Виктор, но почувствовала

чью-то руку у себя на плече. Оглянулась. Бригадир такелажников говорил ей:

— Поставили тросы, товарищ инженер. Держатся. Теперь по левому борту опасно. Может, еще одну оттяжку, возле сорокового шпангоута, поставить?

## 4

Дождь утихал. Радио объявляло по всему заводу о положении воды. Рупоры кричали каждые пять минут: «Сто девяносто один... сто семьдесят девять.. сто шестьдесят пять...» Люди уходили с перемычки, с причалов, из-под кораблей; их потянуло к огню, теплу. Только теперь они начинали чувствовать холод, обнаруживали раны, ссадины, ушибы.

Вышли из дока Александр Александрович с Василием Матвеевичем. У Александра Александровича под глазом темнел огромный синяк, глаз опух,— старый мастер ударился лицом о чугунную тумбу; у Василия Матвеевича сзади была разодрана куртка от воротника до полы — зацепило крюком лебедки, по спине ходил ветер, Василий Матвеевич зябнул.

— Цистерну бы сюда со спиртом, сколько бы здоровья людям сохранили.

Скобелев, выйдя из воздуходувки, встретил деда Матвея. Дед стоял посредине Морского проспекта и смотрел на небо, в котором сквозь тучи пробивался свет луны. Это был хороший признак — к тихой погоде, к быстрому спаду воды.

— Наработался, молодой человек? — спросил дед Матвей у Скобелева. — Моторы подымал? Герой. На́-ка хлебни! — Он вытащил из кармана пальто плоскую бутылку. — Хлебни, не бойся! Чаек. Видишь, желтенький какой. Пей, говорят! — прикрикнул он, когда Скобелев стал отказываться.— Простуду задумал схватить?

Скобелев понюхал горлышко, понял, что это водка, которую называют «старкой», зажмурил глаза и, запрокинув голову, сделал несколько торопливых глотков.

— Эй, Вася!— уже позабыв о Скобелеве, подзывал кого-то другого дед Матвей. — Ты с кем, с Александром Александровичем? Нате, ребята, хлебните и вы.

— Гляди, Василий! — воскликнул Александр Александрович.— Только подумать успели — оно и тут! Сохранение здоровья. Завком, что ли, заботится?

— Чего там завком! — сказал дед.— «Тройка» распорядилась. Народ-то прозяб, промок. Эй, Володька! Шагай сюда, лечись, братец, лечись. В медицинском пункте еще сто граммов получишь.

Скобелев, дойдя до самых ворот, почувствовал в теле приятное тепло и бодрость. Уходить с завода вдруг не захотелось, потянуло обратно, к деду Матвею,— поговорить. Но деда на прежнем месте уже не было. Скобелев отправился на медпункт, где выдавали водку. Простая водка на вкус была куда противнее «старки». Но от нее, против ожидания, вовсе не тошнило, а все прибавлялось и прибавлялось бодрости.

Медицинский пункт работал вовсю. Там перевязывали, мазали йодом, вытаскивали занозы, пускали капли в глаза. Нескольких рабочих принесли на носилках, дежурные машины «скорой помощи» тотчас помчались в центральную городскую больницу. Слышались слова: немедленная операция, кислородную подушку... Не легко сдавалась вода, с ней пришлось выдержать тяжелый, смертный бой.

Скобелев больше не раздумывал: изменилось что-либо в этом бою от его, Скобелева, участия? Что там раздумывать! Он поднял, спас от воды электромотор воздуходувки. Нет, Скобелев раздумывал совсем о другом,— он раздумывал о том, что долгое-долгое время его угнетало, что мешало ему окончательно расправить спину и развернуть плечи. Ему вот поручили руководство БРИЗом, о его работе в БРИЗе отзываются хорошо, — значит, и о нем самом думают хорошо. И Иван Степанович так думает, и Жуков, и все... Но ведь он может стать еще лучше! Он может в полной мере оправдать такое мнение о себе.

Совсем иные мысли занимали Зину. Работая с такелажниками, она пропустила тот момент, когда подошел катер, когда тонувших вытаскивали из воды, и не знала теперь, что с ними со всеми, что с Алексеем, с Виктором. Не ранен ли Виктор, здоров ли? После отбоя ей еще долго пришлось пробыть на стапеле, осматривать леса, подпоры, крепления. Только час спустя она пришла к конторке, возле которой на пирсе уже было устроено нечто вроде прачечной,— выжимали, скручивали вдвоем пиджаки, куртки, гимнастерки, шлепали кепками и фуражками

о поручень парапета, выливали воду из сапог и ботинок. В самой конторке растапливали печь, сгоняли веником остатки воды с пола. Илья Матвеевич стоял среди рабочих, без кителя, в синих подтяжках, с которых краска перешла пятнами на сорочку.

— Все благополучно? — спросила Зина.

— Да вот, обошлось. Зубарев воды нахлебался. Алешка цел и невредим. Один Виктор маленько пострадал. Сухожилия в руке растянул да голову расшиб. Прыгнул Зубарева вытаскивать, когда того смыло, о бревно и ударился. Пустяки!

Зачем Илья Матвеевич говорит: пустяки? Зина хотела бы немедленно бежать, разыскивать Виктора. Но мастер не имел права никуда бежать, мастер еще был нужен на участке. Еще никто не уходил с завода. Опасность, борьба, напряжение спаяли, сроднили людей: люди держались друг возле друга, рассказывали, пересказывали виденное, слышанное, совершенное, сушились возле батарей, времянок, электрических каминов. Многим не верилось, что сражение с водой закончено, они еще чего-то ждали, взвинченные нервы требовали еще действий. Все проверяли свои рабочие места, свои станки, механизмы, которыми они заведовали, инструмент; начали монтировать поднятое с фундаментов оборудование, разбирали хлам, занесенный на заводские дворы водой. Нет и нет, не могла Зина искать сейчас Виктора.

Ну, а если она пойдет и разыщет его где-нибудь на медпункте,— что тогда будет? О чем она ему скажет? И для чего?

Илья Матвеевич пристально смотрел на нее, молчаливую, встревоженную, подошел, взял руку, крепко пожал.

— С боевым крещением, Зинаида Павловна. Теперь уж полностью верю — кораблестроитель из вас выйдет. Да.

Уже рассвело, когда Зина шла по Морскому проспекту к заводским воротам. Ветер, не ураганный, а все же еще студеный, резкий, разбрасывал полы ее пальто, старался сорвать платок с головы. Зине было холодно, ее знобило так, что начали постукивать зубы. И вдруг она забыла о холоде. Возле проходной стояли Василий Матвеевич, Алексей и он, Виктор,— неуклюжие в новых, сухих ватниках. Голова у Виктора была в бинтах, рука на перевязи. Он улыбнулся, заговорил:

— Вас ждем, Зинаида Павловна. Пойдемте-ка к нам, на Якорную, чай пить. Озябли? Сбрасывайте пальто, сбрасывайте. Все мокрое...

Зина почувствовала на своих плечах широкий ватник.

## 5

В тот день, когда на восстановленном после гражданской войны заводе построили первый морской пароход, при спуске его на воду присутствовало почти все население Старого поселка. Не только строители корабля, не только их семьи, но были тогда среди них — старые рабочие это помнят — и участковый детский врач, и работники аптеки, и парикмахеры, и продавцы из кооператива... А еще из города сколько приехало народу!

Когда спускали второй пароход, ни парикмахеров, ни продавцов из кооператива к стапелю уже не пустили; но родственников не допустить было просто невозможно. Они лезли в завод через заборы, пробирались по прибрежным камням вдоль Лады, подъезжали к пирсам на лодках... Кое-кого заводская охрана задержала — главным образом старух и ребятишек. Старух — потому что те никаких запретов признавать не желали и с гордостью рабочих матерей, не таясь, пришли на самые почетные, на самые видные места к стапелю; ребятишек — исключительно из-за их ребячьей беспечности.

Задержать задержали, да тут же и отпустили. Руководство завода увидело: складывается традиция, по которой день спуска корабля становится не только праздником на заводе, но и праздником в поселке. Нельзя было этого не понять. Корабль построен — перевернута еще одна страница жизни кораблестроителя, а следовательно, жизни и всей его семьи. Корабль — детище, корабль — кормилец и поилец, корабль — дело доблести и славы, прекрасное, совершенное создание рук мужа, сына, отца, — разве могут жена, мать, дочь остаться равнодушными и усидеть дома в такой день, когда это создание двинется в первое для него плавание?

Только во время Отечественной войны, когда приходили ремонтироваться боевые корабли, традиция была нарушена, и все понимали: так надо — надо беречь, хранить военную тайну. Но после войны на спуск очередного корабля вновь шли семьями, шли по именным пригласи-

тельным билетам, которые служили пропусками и в которых было написано: «Уважаемая Мария Гавриловна» или: «Уважаемая Агафья Карповна! Дирекция, партийный комитет и комитет профессионального союза работников судостроительной промышленности приглашает Вас...» Шли в лучших одеждах, как на первомайскую демонстрацию.

В который раз за свою жизнь, показав вот так пропуск вырядившемуся в парадную форму вахтеру, дяде Коле Горохову, выходила Агафья Карповна на заводский Морской проспект. Погода была скверная, как всегда в позднюю ноябрьскую пору. Моросил дождь, колючий, противный. Но Агафья Карповна надела свое выходное плюшевое пальто, повязалась белым оренбургским платком. Она шла в толпе одна, хотя в этот день на заводе были все ее родные — и Илья, ушедший из дому еще вчера утром, и дед Матвей, тоже не ночевавший на своей постели, и Алеша с Катей, и Витя, и Костя с Дуняшкой, которая потащила сюда и маленького Сашку, и Василий с Марьей, и сестра Наталья. Жалко, Антоши нет, не смог приехать, звонил по телефону, просил написать ему подробно-подробно, как спустят корабль. Ведь вот думал, что о постройке этого корабля напишет научную диссертацию, а получилось — без него тут построили, он на другом заводе поток налаживает. «Ну что ж,— говорит, отца с матерью утешает,— поточный метод буду защищать».

Агафья Карповна шла, осматривалась: что натворило наводнение? И не видно ничего, как будто ничего и не было. В проходах меж цехами прибрано, чистенько, порядок; стекла всюду сверкают — где новые вставили, где старые помыли.

Следов наводнения Агафья Карповна так и не нашла, зато удивлялась она на каждом шагу тем переменам, какие случились на заводской территории за последний год. И цехов прибавилось —до чего же длиннющие и высоченные стены сложили каменщики, какие воротища распахнули! И кранов стало больше, в какую сторону ни глянь — краны. А мелкие постройки — куда только они подевались? Вновь подумала было об Антоше, да тут же стала думать совсем о другом: не любила, не терпела, стыдилась хвастовства даже в мыслях.

Агафью Карповну знали все старые рабочие и инженеры завода. С ней здоровались, ее пропускали вперед. Усач Бабашкин, кузнец, пожал руку, сказал: «Так и не

подросла еще, Агаша? Затолкают тебя, махонькую-то. К трибуне, к трибуне держи курс». Но у Агафьи Карповны было любимое место — на фундаменте башенного крана. Она пробралась туда, встала на бетон и во всей красе увидела наделавший столько хлопот, вызвавший столько тревог и волнений, наклоненный к воде корабль с красным, как жаркий огонь, днищем, и возле корабля — крохотную фигурку, которую сразу узнала в тысячной толпе. Илья Матвеевич размахивал рукой: не выспался, старый, изнервничался, а распоряжается как ни в чем не бывало. Он исчез ненадолго с глаз Агафьи Карповны и появился уже на капитанском мостике корабля; не видит он ее, даже не смотрит в эту сторону, захлопотался. Там же, на корабле, расхаживает по палубе Алексей; передвигает какой-то ящик Костя.

Агафье Карповне было известно, что родные ее взобрались на корабль совсем не из любопытства, а на тот случай, если на воде обнаружится течь или еще какая-нибудь неисправность, — сразу чтобы отвести беду, где надо — заварить, зачеканить. У всех тут свои места. Вон и те, которые стоят внизу у кормы, у носа, под днищем,— все, как солдаты, на боевом посту.

Дождик утихал, крепче становился ветер с моря, пестрые мокрые флаги на башнях кранов щелкали, будто из ружей. Народ шумел, гудел, перекликался. И вот все сразу смолкло и замерло. С деревянной трибунки возле стапеля Иван Степанович махнул платком, наклонился, сказал что-то человеку в серой барашковой шапке. Тот пошел на командный мостик — и в громкоговорителях послышалось:

— Кильблоки долой!

Под кораблем завозились, заспешили; растаскивались в стороны деревянные клетки, маляры поставили стремянки, замазывают красным черный металл, где эти брусья подпирали днище.

Стало еще тише. Зашипел, набирая голос, заводский гудок: двенадцать. Агафья Карповна тянулась, чтобы ничего не упустить, все увидеть, подымалась на цыпочки.

По одному, по два, группами выходили рабочие из-под корабля к носовой его части, где был командный мостик. На мостике стоял тот человек в барашковой шапке, — должно быть, главный инженер; не узнать его: шапку, что ли, купил новую? Подходили к нему, докладывали, он согласно кивал.

— Кормовые стрелы долой! — крикнуло в рупорах. «Ой-ой!» —полетело над Ладой. Там, у воды, в нижней части стапеля, ударили кувалдами.

— Носовые стрелы долой!

Снова глухие звуки кувалд.

Агафья Карповна, которая только что тянулась, подымалась на носки, сжалась при этих ударах, сделалась еще ниже, меньше. Только ли Илья Матвеевич думал в это мгновение — пойдет или не пойдет корабль? Только ли мастера, инженеры стапелей думали об этом с тревогой? Все, кто был вокруг Агафьи Карповны, тоже как бы пригнулись к земле, будто ожидая выстрела. И этот выстрел грянул:

— Задержники ру-у-би!

Ударили топоры, пеньковые канаты были перерублены, ничто не удерживало корабль на стапеле, но он стоял, не двигался, время же летело со страшной скоростью. Думалось, десять минут прошло в ожидании, пятнадцать... на самом деле только несколько коротких секунд, и корабль не стоял, он полз на салазках к воде — заканчивал свое сухопутное существование.

Это движение первой заметила Зина,— она дежурила возле рисок «фискала» — двух черточек, нанесенных красной краской на полоз салазок и направляющий брус. Когда эти черточки отошли одна от другой, Зина подняла руку. Кому подавался сигнал? Видимо, всем. Агафья Карповна внутренне улыбнулась: прежде на том месте, где теперь Зина, бывал Александр Александрович. По старому обычаю, он тайком кидал в днище двинувшегося корабля бутылку вина. Ему, конечно, только казалось, что он это делает тайком, все видели его проделку, все видели, как мастер чокался с кораблем. Конец пришел чоканью...

Не успела Агафья Карповна подумать это, как Зина взмахнула рукой,— в напряженной тишине послышался далекий хруст и звон разбитого стекла.

«Светики родимые! — сказала сама себе Агафья Карповна. — Неужто и верно из нее мастер получается?»

Стальная красно-серая махина ползла тем временем меж двух шеренг кранов все быстрее и быстрее. Перед кормой, которой она врезалась в воду, взметнулись зеленые с белым буруны, и тогда покатилось, загрохотало «ура»; оно едва не заглушило оркестр, игравший Гимн Советского Союза.

Корабль соскользнул со стапеля, медленно и тяжело качнулся с кормы на нос, потом еще медленнее снова на корму, и так, кланяясь тем, кто дал ему жизнь, удалялся к фарватеру Лады, могучий, величественный, спокойный. Ни Ильи Матвеевича, ни сыновей Агафьи Карповны на его палубе уже не было, они лазали в отсеках, между днищами.

Упали якоря, корабль, дрогнув, остановился. К нему подходил буксир с медной, до блеска начищенной трубой и с пронзительным, требовательным голосом. Буксир отведет громаду к достроечной стенке. Громада будет ему послушна, потому что еще мертвы ее недомонтированные турбины, ее котлы, ее электростанции, валы, через которые сила турбин передается гребным винтам. Несколько месяцев спустя все это встанет на места, и тогда океанская громада покажет свою мощь этим меднотрубым крикливым работягам. Труд Журбиных, Басмановых, Тарасовых, Кузнецовых пойдет в далекие моря, в далекие страны, понесет людям мир. Во имя мира сто́ит жить, бороться, работать, ведь мир — это грядущее счастье человечества. Для человечества живут Журбины, ему отдают свое умение они, честные, строгие люди открытой души.

Слушая речь парторга Жукова, Агафья Карповна думала о своем Илье, о своих сыновьях. Жуков говорил, конечно, и о других мужьях, и о других детях, но Агафья Карповна воспринимала его слова по-своему. Пусть они, ее родные, и не больно ласковы, и грубоватые порой, и ворчливые, и у каждого разные фантазии в голове,—но какое великое дело они делают! Разве им не простишь за это дело все домашние неурядицы и ссоры, разве не будешь все терпеть, все улаживать, все сносить ради их труда, такого нужного народу?

Но что это? Что она слышит?

— Им тоже всем спасибо и поклон,—говорил Жуков, комкая в руках фуражку.— Спасибо матерям и женам, наставницам, подругам и советчицам. За дружбу и за ласку, за то, что нам уютно дома и тепло, за верность в трудную минуту, за поддержку, — за все спасибо!

Где-то на краю неба солнце прорвало тучи, лучи его выбились на простор, медная труба буксира на Ладе ослепительно вспыхнула; заблестело, тоже слепя глаза, сало на стапеле, по которому прошел к воде корабль; яркие,

трепетали флаги расцвечивания на кранах. Оркестр гремел во всю свою мощь, весело и торжественно.

Позади себя Агафья Карповна услышала разговор:

— А вот когда не со стапеля корабль пойдет, когда его в доке водой подымать станут, тогда такой красоты уже не увидишь, не будет ее.

— Зато кораблей будет больше!

## ЭПИЛОГ

Июньским вечером Илья Матвеевич и Александр Александрович шли за Веряжку к Алексею. Алексей в тот день должен был вернуться с очной сессии института. Он пробыл в Ленинграде целый месяц. Отцу не терпелось повидать заочника, расспросить об успехах, об отметках. Он пригласил с собой старого друга Саню.

Они покончили со своим «несогласием» несколько месяцев назад, в конце зимы, когда Илья Матвеевич заканчивал сборку второго корабля. Александр Александрович пришел к нему на пирс, обломил сосульки с усов, сел, навострил подбородок, побарабанил пальцами по столу.

— Долго упрямого козла из себя будешь строить? — спросил он со злостью.

— Товарищ Басманов! — ответил Илья Матвеевич, встал и вышел на середину конторки.

— Товарищ Журбин! — встал и Александр Александрович.

Они постояли друг перед другом, почти грудь в грудь; смотрели оба свирепо. Илья Матвеевич раскачивался с пяток на носки, с носков на пятки. Разошлись к противоположным окнам, показав спины один другому. Помолчали.

— Ну что тебе? — спросил Илья Матвеевич, не поворачиваясь.

— А ничего, пообщаться пришел. Как дела-то?

— Сам знаешь. Как твои?

— Мои? Плохи мои дела, Илюша.

— Что так?

Они вернулись к столу. Александр Александрович достал папиросу, долго разминал ее в пальцах.

— А вот что,— заговорил он.— Ремонт мне осточертел.

— Не уходил бы. Чего тебя туда понесло?

— Да ведь как, Илюша, рассуждал человек, я то есть? Привык по-старому работать... клепка... все такое. Привычка. А что такое она, привычка? Вторая, говорят, натура. Попробуй переломи свою натуру! Она откуда? Из практики берется, из жизни. Возьми-ка ты, куришь всю жизнь, брось курево. Не выйдет. Разве что к гипнотизеру пойдешь.

— Владеть собой, Саня, надо,— ответил Илья Матвеевич как можно спокойней и рассудительней.— Владеть! Тогда и натуру переломишь.

— Ну-ну, переломи, ежели бойкий.

— И переломлю. Хочешь, курить брошу?

— Мечтаю!

— Вот гляди, что твердый человек может сделать! — Илья Матвеевич открыл форточку и швырнул в нее полированный, из темной карельской березы портсигар. Александр Александрович видел, как портсигар, описав дугу, шлепнулся на лед, скользнул дальше и скрылся в полынье, пробитой ледоколом.

— Выбросил! — усмехнулся он.— Это пока деревяшка, а не привычка. Привычку выбрось! Посмотрю я, как ты через часок-другой стрелять начнешь у ребят...

— За меня не беспокойся, Саня,— сказал Илья Матвеевич и тут же почувствовал, что неминуемо умрет, если немедленно не закурит. Он обозлился на себя за необдуманный, явно глупый поступок, обозлился на Александра Александровича, который подбил его на этот поступок, раскричался, разнес старика за бегство со стапелей.

— Чего, чего ты достиг? — спрашивал он.

— Вот ничего и не достиг. Потому и говорю, что плохие мои дела,— довольно мирно отвечал Александр Александрович.— Ушел, думал — клепка там будет, кукиш получил: тоже на сварку переходим. Тогда уж лучше новое строить, чем галоши-то чинить. У тебя как — место есть свободное?

— Э-э, нет! Дезертиров не берем.— Илья Матвеевич повеселел.— Не берем, не берем,— повторил он.

— Не берете — не надо. Сам не пойду к тебе. Нарочно, для растравки сказал про это. Меня, Илюша, на третий стапель зовут. Во как! Дела-то мои хороши, а не плохи. Понял?

Александр Александрович ушел на третий стапель. Но он каждый день заходил в конторку к Илье Матвеевичу справиться:

— Не закурил еще?

Предсказание Александра Александровича не оправдалось. Ни через час-другой, ни назавтра, ни через месяц он так и не увидел папиросы в руках Ильи Матвеевича. Сам стал уговаривать: «Не страдай ты, Илюша, попусту. Ну, поговорили, поспорили, а зачем из-за пустого разговора устраивать себе египетскую казнь? На́, закури!..» — «Финтить теперь нечего, Саня. Слово сказано, должно и дело делаться».

С завода они уходили порознь, но на завод снова шли всегда вместе, снова встречались у калитки Александра Александровича, снова беседовали по дороге обо всех заводских и мировых событиях.

В этот день ушли и с завода вместе. Александр Александрович нес под мышкой какой-то сверток. Илья Матвеевич еще вчера сказал:

— Алешка приедет. Сходим завтра, посмотрим на орла? Студентом ведь, леший, стал! До того зубрит крепко — пар от затылка валит.

У Алексея уже сидели Агафья Карповна, Дуняшка, Зина и Виктор. Катя накрывала на стол. Она была с обновкой: Алексей привез ей золотые часы. Но не столько часам радовалась Катюша, сколько той небольшой книжечке, которую первым делом подал ей ее Алеша, разбирая вещи в чемодане. Это была программа испытаний для поступающих в Ленинградский государственный университет.

— Говори отметки! — Илья Матвеевич шлепнул Алексея ладонью по спине.— Отличился? Или завалил?

— Что отметки! — ответил Алексей.— Сдал, батя, и все. Первого курса как не бывало. И от второго две трети осталось. На́-ка тебе! — Алексей протянул Илье Матвеевичу громадную, как бухгалтерская книга, коробку, на верхней крышке которой были изображены запорожцы, пишущие письмо турецкому султану.

Но когда Илья Матвеевич уже взял и с любопытством осматривал подарок, Алексей засмеялся:

— Забыл, батя, что ты не куришь. Совсем забыл.

Илья Матвеевич поднял крышку. Под ней двумя рядами лежали внушительные, крупные и красивые папиросы.

— Жалость какая! Закурить, что ли?

— Кури, конечно,— сказал Александр Александрович.

— Нет, брат Саня, кури сам. Бери ее себе.— Илья Матвеевич отдал папиросы ему.— Наслаждайся. Меня на провокацию не возьмешь.

Сели за стол. Алексей рассказывал о жизни в Ленинграде, об институте, где все преподаватели знают Антона, о Тоне с Игорем, которые скоро приедут на каникулы, о зачетах; по рукам ходила его зачетная книжка.

— «Хор» да «отл»,— говорил Илья Матвеевич, перелистывая ее странички.

— А помнишь, Алешенька,— сказал Александр Александрович,— как мы к тебе в «знатный» день приходили?

— Ну и вспомнил, дядя Саня! — Алексей смущенно покосился на Катю.— Нашел, что вспоминать.

— А как же не вспомнить? За портретами, парень, гнался. Книжонка-то эта про тебя лучше говорит, чем портреты.

В разгар пиршества пришли дед Матвей и Костя.

— Объясняй,— заговорил дед Матвей,— как там у вас в университете? Меня по заочному примут?

— Тебя — не знаю,— ответил Алексей шутливо, в тон ему, — а вот... — Он посмотрел на Илью Матвеевича — тот сидел серьезный, покручивал бровь,— и Алексей не закончил.

Зина молча слушала разговоры, всматривалась в каждого из Журбиных. Они любят пошутить, но разве от этих шуток семейная поступь становится менее твердой? Упрямо идут Журбины своими путями. Вот Алексей... он закончил первый курс института. Вот Костя... он ходит три раза в неделю в вечерний техникум... Его Дуняшка тем временем занимается на курсах мастеров. Вот Илья Матвеевич — по-прежнему ее, Зинин, студент. Он учится, не рассчитывая ни на какие дипломы,— «для себя», чтобы не отставать от жизни, от техники, от молодых, чтобы идти вместе с ними, с молодыми, до глубокой старости. Вот ее Виктор. Он тоже не думает пока ни о каких дипломах, но сколько книг перечел! Историю, литературу он знает, пожалуй, лучше Зины, окончившей десятилетку и институт. Он никогда не хвастается, не щеголяет этими знаниями, они у него для понимания людей, жизни, событий. С каждым днем Зина раскрывает в Викторе все новые и новые качества, с каждым днем любит его все больше. А когда есть любовь — как хорошо жить и работать,

насколько легче с любовью в сердце преодолеваешь трудности, которые возникают на твоем пути!

— Алексей Ильич,— заговорила Зина,— я вижу вас уже главным инженером или директором нашего завода.

— Кем он там будет, покажет время,— ответил Зине Александр Александрович.— А пока что выпьем-ка за его отметочки, за «хоры» да «отлы».— Старый мастер извлек из своего свертка две бутылки.— Водчонка — тому, кто покрепче, нам, значит, с Ильей, винишко — слабакам разным: дамскому полу да студентам...

— Обожди ты с выпивкой этой! — рассердилась Агафья Карповна.— Дай по душам-то поговорить!

— По душам? — Улыбка сошла с лица Александра Александровича.— Ну, по душам так по душам.— Он снова взялся за сверток.— Вот для такого случая я ему принес тут одну картинку, вроде подарок на радостях, за успешное учение. Кнопки у вас в доме имеются?

Катя подала мелкие гвоздики и молоток. Александр Александрович развернул большой лист пожелтевшей, обтрепанной по краям бумаги и стал прибивать его к стене.

— Вот, Алексей, портрет твой! — сказал Александр Александрович в торжественной тишине.— Храни его. Я хранил с двадцатых годов.

Это был старый плакат — плакат первых лет революции. Рабочий, в мужественных чертах лица которого, в сильной фигуре, в яростном взмахе рук читалось общее и с Алексеем, и с Виктором, и с Антоном, и с Костей, и с Ильей Матвеевичем, с тысячами тысяч простых тружеников, бьет тяжелым молотом по цепям, опутывающим земной шар. Он бьет со всего маху, он устремлен вперед, он ни перед чем не отступит. Он бьет — и рвутся, падают железные звенья. Гудят материки от этих могучих ударов.

*1950—1952*

# С О Д Е Р Ж А Н И Е

**Кочетов В.**

**К 75** Собрание сочинений. В 6-ти томах. Т. 1. Товарищ агроном. Журбины. Романы. Вст. статья П. Строкова. М., «Худож. лит.», 1973

728 с.

Настоящий том включает два широко известных романа В. Кочетова: «Товарищ агроном», рассказывающий о жизни послевоенной колхозной деревни, о самоотверженном труде большого сельского коллектива, и «Журбины», посвященный рабочему классу, великому классу творцов. Герои этого романа — семья потомственных рабочих Журбиных — активно участвуют в реконструкции судостроительного завода.

**К $\frac{0732-170}{028(01)-73}$ Подп. изд.** **Р2**

ВСЕВОЛОД АНИСИМОВИЧ КОЧЕТОВ

Собрание сочинений

том 1

Редактор В. Буланова

Художественный редактор
В. Горячев

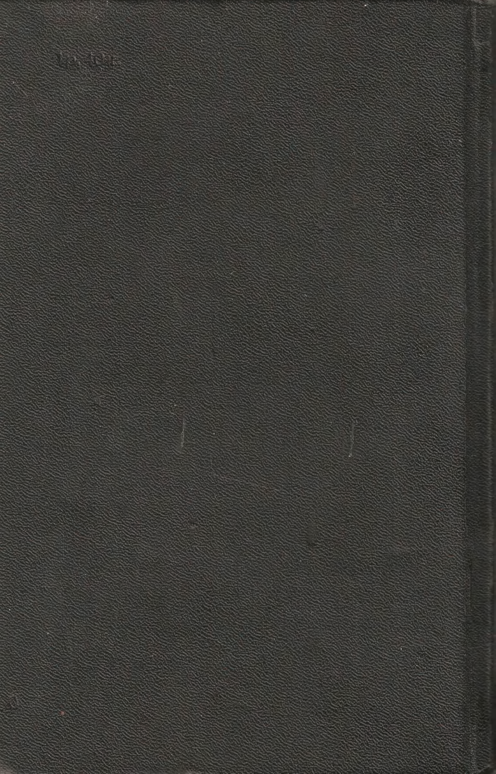
Технический редактор
С. Ефимова

Корректоры Р. Пунга и А. Юрьева

Сдано в набор 16/I 1973 г. Подписано к печати А04214 22/XI 1973 г. Бумага типогр. № 1. Формат $84\times108^{1}/_{32}$. 22,75 печ. л. 38,22 усл. печ. л. 41,274+1 вкл.= =41,321 уч.-изд. л. Заказ 670. Тираж 150.000 экз. Цена 1 р. 40 к.

Издательство
«Художественная литература»
Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

Ордена Трудового Красного Знамени Ленинградская типография № 1 «Печатный Двор» имени А. М. Горького Союзполиграфпрома при Государственном комитете Совета Министров СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Ленинград, Гатчинская ул., 26


1р. 40к.